АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ



Молодая гвардия

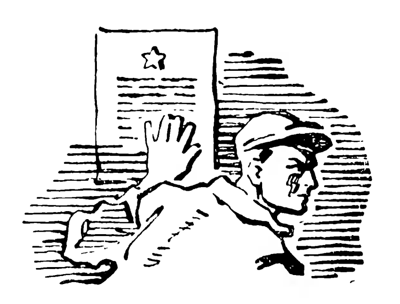
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

А. Фадеев



А. ФАДЕЕВ

Молодая гвардия



РОМАН

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Казань 1965

Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью проложим путь себе...
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял,
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!

Песня молодежи



Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ



ет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние... Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, — человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, — даже трудно сказать, какая из них прекрасней, — а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, — у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде.

— Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно поискала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились. — Ау!..

— Ау... ау... уу! — отозвались на разные голоса совсем рядом.

— Идите сюда!.. Уля нашла лилию, — сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, послышались перекаты орудийных выстрелов — оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

— Опять!

— Опять... — беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух.

— Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! — сказала Валя. — Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали прислушиваясь.

— Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, — мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда, — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. — Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может размягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу. У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темно-карие, — не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? — понизив голос, спрашивала Уля.

— Помню, — прошептала Валя. — Этот закат. Помнишь?

— Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, и будто она бесприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, бывало она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко, высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадей, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное,

отступление. Поэтому они и в глаза боятся смотреть. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

— Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат, и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть?.. Они все идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево, — должно быть, в Ровеньках, — и закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... Что-то грозное нависло над нашими душами, — сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? — сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! — сказала Уля. — Но что же делать, что же делать! — совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, заслышав голоса подруг, и в глазах ее заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду.

— Девочки, лилия! — воскликнула выскочившая из кустов тоненькая, гибкая девушка с мальчишескими отчаянными глазами. — Нет, чур моя! — взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг. — Ой, да тут глубоко! — со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки — их было еще шестеро — с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донецкие каленые ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

— ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пуговички!

— А я б не могла сестрой, право слово, — я крови ужас как боюсь!

— Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

— Ой, какая лилия!

— Майечка, цыганочка, а если бросят?

— Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

— Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

— Улька, чудик, куда ты полезла?

— Еще утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов — Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах.

— Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотко мое? — говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые колени подруги ушли под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выше подобрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля сделала еще шаг и, сильно перегнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым расплетенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

— Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а скажем, нашего союза неприкаянных дивчат с рудника «Первомайки»! — стоя по икры в воде, вытаращив на подругу округлившиеся мальчишеские карие глаза, говорила Саша. — Давай квитку! — И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно вьющиеся по вискам и в косах Улины волосы. — Ой, как идет тебе, аж завидки берут!.. Обожди, — вдруг сказала она, подняв голову и прислушиваясь. — Скребется где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осиному, то низкому, урчащему рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

— Не один, а целых три!

— Где, где? Я ничего не вижу...

— Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то распадались на отдельные, пронзительные или низкие, рокочущие звуки. Самолеты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

— Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

— Или на Миллерово.

— Скажешь — на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слыхала сводку вчера?

— Все одно, бои идут южнее.

— Что же нам делать, дивчата? — говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери и страдания ни несла она людям, юность с ее здоровьем и радостью жизни, с ее наивным добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдание для себя, пока они не нагрянут и не нарушат ее счастливой походки.

Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школу-десятилетку на руднике Первомайском.

Окончание школы — это немаловажное событие в жизни молодого человека, а окончание школы в дни войны — это событие совсем особенное.

Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки.

Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошиловградская область еще оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и Сталино, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса все шли и шли через Краснодон, меся рыжую грязь по улицам; и казалось, грязи становится все больше и больше оттого, что люди наносят ее со степи на своих чеботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со своей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были

задержаны далеко перед Ворошиловградом, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой, началось наступление Красной Армии, и люди надеялись, что все еще обойдется.

Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных, под этернитовыми крышами домиках в Краснодоне, и в хуторских избах «Первомайки», и даже в глиняных мазанках на «Шанхае» — в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат, — теперь живут, ночуют чужие люди: работники пришлых учреждений, бойцы и командиры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии.

Они научились распознавать все роды войск, воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных. С первого взгляда разгадывали типы танков — не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскаленного воздуха, а и когда, подобно грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе или буксовали по осенним, расползшимся, и по зимним, заснеженным, военным шляхам на запад.

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои и немецкие самолеты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду, донецком небе.

— Это наши «лаги» (или «миги», или «яки»), — говорили они спокойно.

— Вон «мессера» пошли!..

— Это «Ю-87» пошли на Ростов,— небрежно говорили они.

Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо на шахтах, на крышах школ, больниц. И никто уже не содрогался сердцем, когда воздух сотрясался от дальней бомбежки и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то там, то здесь по горизонту или когда вражеские пикировщики среди бела дня обрушивали фугаски на тянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом с воем били из пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как распоротая глиссером вода, разбегались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи; полюбили летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна, задушевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове; полюбили долгие бес-

сонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юноши, и утренняя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит на серовато-розовых крышах, каплет со свернувшихся осенних листочков акаций прямо на землю в палисаднике, и пахнет загнивающими в сырой земле корнями отвянувших цветов и дымом дальних пожарищ, и петух кричит так, будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им прямо в очи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россошь, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля — Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части.

Лисичанск — это было уже совсем рядом. Лисичанск — это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодон и «Первомайку», на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яблонями, в прохладную, с закрытыми ставенками, хату, где еще висит на гвозде шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат, — в ту самую хату, где материнские теплые, в жилочках, руки вымыли до блеска каждую половицу, и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку, — может войти, войдет фашист-немец!

За время передышки в городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда все знавшие бритые майоры-интенданты. Они с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соленые кавуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте № 1-бис и в клубе имени Ленина в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не то обходительных, не то озорных — не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедуванной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки к родне или на летние каникулы после года учения в вузе, каждый краснодонец считал себя уже дома, — на этой Верхнедуванной и по всем другим станцийкам железной дороги на Лихую — Морозовскую — Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж или отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. А в иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача, — дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные руки, неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железною мукою в сердце.

Девушки просыпались утром под звуки дальних орудийных выстрелов, ссорились с родителями, — девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды, — девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом.

И вот оно разразилось.

— Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! — резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими, гладкими, точно приклеенными, волосами и двумя короткими и бойкими, торчащими вперед косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

— Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят — значит, еще не сдали, — сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную своевольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех

воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

— Мы давно знаем все, что ты можешь сказать: «Девочки, вы не знаете диалектики!» — сказала Вырикова так похоже на Майю, что все девушки засмеялись. — Скажут нам правду, держи карман пошире! Верили, верили и веру потеряли! — говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы. — Наверно, опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами драпают! — сказала Вырикова, видимо повторяя слово, которое она часто слышала.

— Странно ты рассуждаешь, Вырикова, — стараясь не повышать голоса, говорила Майя. — Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

— Не связывайся ты с ней, — тихо сказала Шура Дубровина, молчаливая девушка постарше других, коротко остриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, придававшими ее лицу странное выражение.

Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году, перед занятием Харькова немцами, вернулась в Краснодон к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегливанову и всегда и везде ходила за Майей, — «как нитка за иголкой», говорили девушки.

— Не связывайся ты с ней. Коли она уже такой колпак надела, ты ее не переколпачишь, — сказала Шура Дубровина Майе.

— Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? — не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова. — В окопах трава растет! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам.

— Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? — робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми, заправленными за крупные уши прядями темно-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском направлении пропала без вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала

войны ушедшая на фронт военным фельдшером, все, все на свете казалось Тоне Иванихиной непоправимым и ужасным, и ее унылые глаза всегда были на мокром месте.

И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела косу, потом, выставляя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к ее черным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги обсохли, Уля продолговатой ладошкой обтерла подошвы загорелых по высокому суховатому подъему и словно обведенных светлым ободком по низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли.

— Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? — говорила тоненькая Саша. — Мне предлагали в спецшколу энкаведе, — наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью, — осталась бы я здесь, в тылу у немцев, вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я, оказывается, здесь остаюсь от энкаведе! Я бы этими дурачками из гестапо, — вдруг фыркнула она, с лукавой издевкой взглянув на Вырикову, — я бы этими дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьезно и внимательно посмотрела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у нее в лице: то ли губы, то ли тонкие, причудливого выреза ноздри.

— Я без всякого энкаведе останусь. А что? — сердито выставляя свои рожки-косицы, сказала Вырикова. — Раз никому нет дела до меня, останусь и буду жить, как жила. А что? Я учащаяся, по немецким понятиям вроде гимназистки: все ж таки они культурные люди, что они мне сделают?

— Вроде гимназистки?! — вдруг вся порозовев, воскликнула Майя.

— Только что из гимназии, здрасте!

И Саша так похоже изобразила Вырикову, что девушки снова рассмеялись.

И в это мгновение тяжелый страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жухлые листки, древесная пыль с коры, и даже по воде прошла рябь.

Лица у девушек побледнели, они несколько секунд молча глядели друг на друга.

— Неужто сбросил где-нибудь? — спросила Майя.

— Они ж давно пролетели, а новых не слыхать было! — с расширенными глазами сказала Тоня Иванихина, всегда первая чувствовавшая несчастье.

В этот момент два взрыва, почти слившихся вместе, — один совсем близкий, а другой чуть запоздавший, отдаленный, — потрясли окрестности.

Словно по уговору, не издав ни звука, девушки кинулись к поселку, мелькая в кустах загорелыми икрами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами настолько, что пыль взбивалась из-под ног, донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала река с тянувшейся по ее берегам узкой полосой леса, была так глубока, что, отбежав триста — четыреста шагов, девушки не могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса — степь поглотила все.

Это не была ровная степь, как астраханская или сальская, — она была вся в холмах и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высокими валами по горизонту, этими выходами на поверхность земли крыльев гигантской синклинали, внутри которой, как в голубом блюде, плавал раскаленный добела воздух.

То там, то здесь по изборожденному лицу этой выжженной голубой степи, на холмах и в низинах, виднелись рудничные поселки, хутора среди ярко- и темно-зеленых и желтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт, а рядом — высокие, выше копров, темно-голубые конусы терриконов, образованных выброшенной из шахт породой.

По всем дорогам, связывавшим между собой поселки и рудники, тянулись группы беженцев, стремившихся попасть на дороги на Каменск и на Лихую.

Отзвуки дальнего ожесточенного боя, вернее — многих больших и малых боев, шедших на западе и северо-западе и где-то совсем уже далеко на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь по горизонту.

Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма — два ближних и один дальний — в районе самого города, еще не видного за холмами. Это были серые слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в воздухе, и, может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не терпкий,

как бы чесночный запах, все более чувствовавшийся по мере того, как девушки приближались к городу.

Они взбежали на круглый холм перед поселком Первомайским, и глазам их открылись и самый поселок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, пролегавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего поселок от города Краснодона. По всему видному отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и колонны беженцев и, обгоняя их, неистово ревя клаксонами, мчались машины — обыкновенные гражданские и военные, раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, витым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе.

И тут случилось невозможное, непостижимое: железобетонный копер шахты № 1-бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер взметенной ввысь породы на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского терриконa неподвижно стоял на своем месте, а на месте копра клубами вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над взбаламученным поселком Первомайским, и над невидным отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть всплескивали далекие человеческие голоса, — то ли они плакали, то ли проклинали, то ли стонали от муки.

Все это: мчащиеся машины, и идущие непрерывным потоком люди, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра, — все это одним мгновенным, страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, что стеснились в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя, — чувство разверзшейся перед ними бездны конца, конца всему.

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванихиной, но он точно вырвался из души каждой из них:

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась: большинство девушек побежало в поселок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе в город, в райком комсомола.

Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку.

— Улечка! — сказала она робким, униженным, просящим голосом. — Улечка! Куда ты? Идем домой... — Она запнулась. — Еще что случится...

А Уля круто, всем корпусом обернулась к ней и молча взглянула на нее, — нет, даже не на нее, а как бы сквозь нее, в далекую-далекую даль, и в черных глазах ее было такое стремительное выражение, будто она летела, — должно быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы.

— Обожди, Улечка... — сказала Валя умоляющим голосом и притянула ее за руку, а другой, свободной рукой быстро вынула лилию из черных вьющихся волос Ули и бросила на землю.

Все это произошло так быстро, что Уля не только не успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не заметила этого. И вот они, не отдавая себе в том отчета, за все время их многолетней дружбы впервые побежали в разные стороны.

Да, трудно было поверить, что всѐ это правда, но когда три девушки во главе с Майей Пегливановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами: рядом с гигантским конусовидным терриконом шахты № 1-бис уже не было стройного красавца копра со всеми его могучими подъемными приспособлениями, только желто-серый дым всходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым чесночным запахом.

Новые взрывы, то более близкие, то отдаленные, потрясали землю и воздух.

Кварталы города, примыкавшие к шахте № 1-бис, были отделены от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем. Весь этот район, если не считать балки с лепящимися по ее склонам вдоль ручья глинобитными мазанками, был, как и центр города, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом, перед каждым был разбит палисадник — частью под огородом, частью в клумбах с цветами. Иные хозяева вырастили уже вишни, или сирень, или жасмин, иные высадили рядком, внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, кленочки. И вот среди этих аккуратных домиков и палисадников теперь медленно текли колонны рабочих, служащих, мужчин и женщин, перемежаемые грузовиками с имуществом предприятий и учреждений Краснодона.

Все так называемые «неорганизованные жители» высыпали из своих домиков. С выражением страдания, а то и лю-

бопытства одни смотрели из своих палисадников на уходящих, другие тащились по улицам вдоль колонн, с узлами и мешками, с тачками, где среди семейного добра сидели и малые дети, — иные женщины несли младенцев на руках. Подростки, привлеченные взрывом, бежали к шахте № 1-бис, но там стояла цепь милиционеров и не пускала. А навстречу катился поток людей, бежавших от шахты, в который вливались с улочки, со стороны рынка, разбегавшиеся женщины-колхозницы с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, запряженные волами.

Люди в колоннах шли молча с сумрачными лицами, сосредоточенными на одной думе, настолько поглотившей их, что, казалось, люди в колоннах даже не замечают того, что творится вокруг. И только шагавшие обок руководители колонн то останавливались, то забегали вперед, чтобы помочь пешим и конным милиционерам навести порядок среди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению колонн.

Женщина в толпе перехватила Майю за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них, а Уля, стремившаяся только как можно скорее попасть в райком, бежала дальше вдоль заборов, грудью налетая на встречных, как птица.

Зеленый грузовик, с ревом выползший из-за поворота из балки, откинул Улю вместе с другими людьми к палисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста, белокурую, очень изящно сложенную, как выточенную, девушку со вздернутым носиком и прищуренными голубыми глазами, стоявшую у самой калитки, между двух свисавших над ней пыльных кустов сирени.

Как ни странно это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку кружащейся в вальсе. Уля слышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром, и это видение вдруг больно и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья.

Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела, она кружилась до утра со всеми без разбора, она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней, и голубые ее глаза, ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно быть, перед войной, это было в той жизни, это было во сне.

Уля не знала фамилии этой девушки, все звали ее Люба, а еще чаще — Любка. Да, это была Любка, «Любка-артистка», как иногда называли ее мальчишки.

Самое поразительное было то, что Любка стояла за калиткой среди кустов сирени совершенно спокойная и одетая так,

точно она собирается идти в клуб. Ее розовое личико, которое она всегда оберегала от солнца, и аккуратно подвитые и уложенные валом золотистые волосы, маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в легкие кремовые туфельки на высоких каблуках, — все это было такое, точно Любка вот-вот выйдет на сцену и начнет кружиться и петь.

Но еще больше поразило Улю то необыкновенно задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было в ее розовом, с чуть вздернутым носиком лице, в полных губах немного большого для ее лица, нарумяненного рта, а главное — в этих прищуренных голубых, необыкновенно живых глазах.

Она, как к чему-то совершенно естественному, отнеслась к тому, что Уля едва не выломила перед ней калитку, и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала черт знает что.

— Балда! Ты что ж людей давишь... Видать, сильно у тебя заслабила гайка, коли ты людей не можешь переждать! Куда? Куда?.. Ах ты, балда — новый год! — задрав носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика. Водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.

Грузовик был полон имущества милиции под охраной нескольких милиционеров.

— Вон вас сколько поналазило, блюстители! — обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. — Нет того, чтобы народ успокоить, сами — фьюить!.. — И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка.

— И чего звонит, дура! — обиженный этой явной несправедливостью, огрызнулся с грузовика милицейский начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

— А, товарищ Драпкин! — приветствовала его Любка. — Откуда это ты выискался, красный витязь?

— Замолчишь ты или нет?.. — вспылил вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

— Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! — не повышая голоса и нисколько не сердясь, сказала Любка. — Счастливого пути, товарищ Драпкин! — И она небрежным мягким движением своей маленькой руки напутствовала побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника.

Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, при этой ее внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую «контру», поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное детское выражение в ее голубых глазах и если бы ее реплики не были направлены большей частью тем людям, которые их действительно заслужили.

— Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой идешь! — кричала она. — Жинка у тебя вон какая маленькая. Еще шляпу надел!.. Горе мне с тобой!..

— Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? — кричала она старухе на возу. — Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..

Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого, — похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней.

— Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, с чего все это началось?

— Обыкновенно... — охотно ответила Любка, дружелюбно обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю. — Наши оставили Ворошиловград, оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям...

— А райком комсомола? — упавшим голосом спросила Уля.

— Ты что, облезлый, девчонку бьешь? У, злыдень! Вот выйду, наподдам тебе! — тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. — Райком комсомола? — переспросила она. — Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде, он еще на заре выехал... Ну что ты, девушка, глаза вылупила? — сердито сказала она Уле. Но вдруг, взглянув на Улю и поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась: — Я шутю, шутю... Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?

— А как же мы? — вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.

— А ты, стало быть, тоже уезжай. Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?

— А ты? — в упор спросила Уля.

— Я?.. — Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. — А я еще посмотрю, — сказала она уклончиво.

— А ты разве не комсомолка? — настойчиво спрашивала Уля, и ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки.

— Нет, — сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась. — Папка! — вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому.

Впереди шли директор шахты № 1-бис Валько, плотный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная, из разных людей, толпа любопытных: даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных.

Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Вся их одежда, лица, руки были в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой — ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода.

Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть.

И Уля вдруг поняла, почему все на улице загодя испуганно расступались перед ними, — вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту № 1-бис — гордость Донецкого бассейна.

Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним.

В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли, — моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы и многое другое, — все это было уже кончено.

Люди сбросили все это и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости.

— Ну что ж, Григорий Ильич, сбирайся швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой, — сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей.

И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице.

У калитки остались Григорий Ильич с Любкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик шахтер с прокуренными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохший и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь.

— Любовь Григорьевна, кому сказано? — сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на девушку, не отпуская, однако, ее руки.

— Сказала, не поеду, — угрюмо отозвалась Любка.

— Не дури, не дури, — явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. — Как можешь ты не ехать? Комсомолка...

Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее тотчас появилось строптивое, даже нахальное выражение.

— Комсомолка без году неделя, — сказала она, поджав губы. — Кому я что сделала? И мне ничего не сделают... Мне мать жалко, — добавила она тихо.

«Отреклась от комсомола!» — вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди ее.

— Ну, Григорий Ильич, — таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик, — пришло время нам расставаться... Прощай... — И он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой.

Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив старинной русской красотой.

— А может, рискнешь с нами? А? Кондра́тович? — спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь.

— Куда же нам со старухой? Пущай уж нас наши дети с Красной Армией вызволяют.

— А старший твой что ж? — спросил Григорий Ильич.

— Старший? О нем что ж и говорить, — сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто

хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь?» — Прощай, Григорий Ильич, — печально сказал он и протянул Шевцову высохшую костистую руку.

Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время.

— Да... что ж... Моя старуха и, вишь, дочка тоже остаются, — медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся. — Как это мы ее, Кондратович? А?.. Красавицу нашу... Всей, можно сказать, страны кормилицу... Ах!.. — вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо.

Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд.

Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой, на «Первомайку».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В то время, когда на окраинах города все было охвачено этим волнением отступления и спешной эвакуации, ближе к центру города все уже несколько утихло, все выглядело более обыденно. Колонны служащих, беженцы с семьями уже схлынули с улиц. У подъездов учреждений или во дворах стояли в очередь подводы, грузовые машины. И люди, которых было не больше чем требовалось для дела, грузили на подводы и на машины ящики с инвентарем и мешки, набитые связками документов. Слышен был говор, негромкий и как бы нарочито относящийся только к тому, чем люди занимались. Из распахнутых дверей и окон доносился стук молотков, иногда — стрекот машинок, наиболее педантичные управляющие делами составляли последнюю опись вывозимого и брошенного имущества. Если бы не дальние раскаты артиллерийской стрельбы и сотрясающие землю глубокие толчки взрывов, могло бы показаться, что учреждения просто переезжают из старых помещений в новые.

В самом центре города, на возвышенности, стояло новое одноэтажное здание с раскинутыми крыльями, обсаженное по фасаду молодыми деревцами. Оно видно было людям, покидавшим город, с любого пункта. Это было здание райкома и районного исполкома, а с прошлой осени в нем помещался и Ворошиловградский областной комитет партии большевиков.

Представители учреждений, предприятий беспрерывно входили в здание через главный вход и почти выбегали из здания. Неумолчные звонки телефонов, ответные распоряжения в трубку, то нарочито сдержанные, то излишне громкие, доносились из раскрытых окон. Несколько легковых машин, гражданских и военных, выстроившись полукругом, поджидало возле главного подъезда. Последним в ряду машин стоял сильно пропыленный военный вездеходик. С заднего сиденья его выглядывало двое военных в выцветших гимнастерках — небритый майор и громадного роста молодой сержант. В лицах и позах шоферов и этих военных было одно неуловимо общее выражение: они ждали.

В это время в большой комнате, в правом крыле здания, разыгрывалась сцена, которая по внутренней своей силе могла бы затмить великие трагедии древних, если бы по внешнему своему выражению не была так проста. Руководители области и района, кто должен был сейчас уехать, прощались с руководителями, кто оставался завершить эвакуацию и с приходом немцев бесследно исчезнуть, раствориться в массе, перейти в подполье.

Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе трудности.

Все время войны, от первого ее дня до нынешнего, было слито для этих людей в один беспрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу только закаленным, богатырским натурам.

Все, что было наиболее здорового, сильного и молодого среди людей, они отдали фронту. Они перевели на восток наиболее крупные предприятия, которые могли бы попасть под угрозу захвата или разрушения: тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семейств. Но, как по волшебству, они тут же изыскали новые станки и новых рабочих и снова вдохнули жизнь в опустевшие шахты и корпуса.

Они держали производство и всех людей в том состоянии готовности, когда по первой же необходимости все снова можно было поднять и двинуть на восток. И в то же самое время они безотказно выполняли такие обязанности, без которых немыслима была бы жизнь людей в советском государстве: кормили людей, одевали их, учили детей, лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, агрономов, держали столовые, магазины, театры, клубы, стадионы, бани, прачечные, парикмахерские, милицию, пожарную охрану.

Они трудились на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. Они забыли, что у них может быть своя жизнь: семьи их были на востоке. Они жили, ели, спали

не на квартирах, а в учреждениях и предприятиях, — в любой час дня и ночи их можно было застать на своих местах.

Отпадала одна часть Донбасса, за ней другая, потом третья, но с тем большим напряжением трудились они на оставшихся частях. С предельным напряжением они трудились на последней части Донбасса, потому что она была последняя. Но до самого конца они поддерживали в людях это титаническое напряжение сил, чтобы вынести все, что война возложила на плечи народа. И если уже ничего нельзя было выжать из энергии других людей, они вновь и вновь выжимали ее из собственных душевных и физических сил, и никто не мог бы сказать, где же предел этим силам, потому что им не было предела.

Наконец пришел момент, когда нужно было покинуть и эту часть Донбасса. Тогда в течение нескольких дней они подняли на колеса еще тысячи станков, еще десятки тысяч людей, еще сотни тысяч тонн ценностей. И вот наступила та последняя минута, когда им самим уже нельзя было оставаться.

Они стояли тесной группой в большой комнате секретаря Краснодонского районного комитета партии, где уже было снято с длинного стола заседаний красное сукно. Они стояли друг против друга, шутили, поталкивали друг друга в плечо и все не решались произнести слова прощания. И у тех, кто уезжал, было так тяжело, и смутно, и больно на душе, будто ворон когтил им душу.

Естественным центром этой группы был работник обкома Иван Федорович Проценко, выдвинутый на подпольную работу еще осенью прошлого года, когда перед областью впервые встала угроза оккупации. Но тогда дело само собой отложилось.

Иван Федорович был маленький, складно и ловко сшитый тридцатипятилетний мужчина с зачесанными, редеющими, с залысинами на висках, русыми волосами, с румяным лицом, раньше всегда чистым, бритым, а теперь заросшим мягкой, темной — уже не щетиной, но еще не бородкой: он начал отпускать ее недели две назад, когда понял по ходу дел на фронте, что не миновать ему подполья.

Он дружелюбно и уважительно тряс руку стоявшего перед ним высокого пожилого человека в военной форме без знаков различия. Худое, мужественное лицо этого человека, испещренное мелкими морщинками — следами застарелого переутомления, — примечательно было тем выражением спокойствия, простоты и в то же время значительности, которое присуще бывает настоящим крупным руководителям и возникает вследствие большего знания и понимания ими того, что происходит на свете.

Человек этот, один из руководителей недавно созданного Украинского партизанского штаба, прибыл в Краснодон еще вчера, чтобы установить взаимодействие между партизанскими отрядами области и частями действующей армии.

Тогда еще не думали, что отступление зайдет так далеко, надеялись задержать противника хотя бы на рубеже Нижнего Донца и Нижнего Дона. По предписанию штаба Иван Федорович должен был установить связь между партизанским отрядом, в котором ему предстояло базироваться, и дивизией, перебрасываемой в район Каменска на поддержку нашего заслона на Северном Донце. Дивизия эта, сильно пострадавшая в боях в районе Ворошиловграда, только-только подходила к Краснодону, а ее командир прибыл вчера вместе с представителями партизанского штаба и политического управления Южного фронта. Командир дивизии, генерал лет сорока, стоял тут же, дожидаясь очереди проститься с Иваном Федоровичем.

Иван Федорович тряс руку партизанского руководителя, который и в мирное время был его руководителем, запросто бывал на дому Ивана Федоровича и хорошо знал его жену, — Иван Федорович тряс ему руку и говорил:

— Спасибо и еще раз спасибо, Андрей Ефимович, за помощь, за науку. Передайте наше партизанское спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву. Коли при случае придется побывать в центральном штабе, расскажите, что завелись, мол, теперь и в нашей Ворошиловградской такие-сякие партизаны... А коли выпадет вам, Андрей Ефимович, счастье побачить главкома товарища Сталина, так скажите ему, что долг свой выполним с честью...

Иван Федорович говорил по-русски, временами невольно перескакивая на родной украинский.

— Выполните — вас и так услышат. А то, что выполните, не сомневаюсь, — с мужественной улыбкой, осветившей все морщинки его лица, сказал Андрей Ефимович. Вдруг он обернулся к людям, окружавшим Ивана Федоровича, и сказал: — Хитрый же этот Проценко: еще и воевать не начал, а уже прощупывает, нельзя ли снабжение получать из самого центрального штаба!

Все засмеялись, кроме генерала, который во все время разговора стоял с застывшим на его полном, сильном лице выражением суровой печали.

В ясных синих глазах Ивана Федоровича промелькнула хитринка, и они заискрились, да не оба сразу, а то один, то другой, будто какая-то резвая искорка скакнула из глаза в глаз на одной ножке.

— Снабжение у меня свое заховано,— сказал он.— А кончится, будем жить, як тот старый Ковпак, без интендантства: что у ворога возьмем, то и наше... Ну, а коли чего-нибудь подкинете... — Иван Федорович развел руками, и снова все засмеялись.

— Передайте наше великое спасибо работникам политуправления фронта, они нам великую помощь оказали, — говорил Иван Федорович, тряся руку пожилого военного в звании полкового комиссара. — А вам, ребятки... вам уж не знаю, що и казати, только расцеловать могу... — И растроганный Иван Федорович по очереди обнял и расцеловал молодых хлопцев из НКВД.

Он был человек тонкий и понимал, что в любом деле нельзя обидеть ни одного работника, большого или малого, коли он, работник, вложил в дело свою долю. Так поблагодарил он все организации и всех людей, которые помогли ему в формировании отрядов и подпольной сети. Долгим и тяжким было его прощание с товарищами по обкому. Накрепко связала их дружба-судьба за все эти месяцы войны, пролетевшие, как один день.

С увлажненными глазами оторвался он от друзей и посмотрел вокруг, с кем же он еще не простился. Генерал — он был невысокого роста и плотного сложения — молча сделал навстречу Ивану Федоровичу быстрое, сильное движение всем корпусом и протянул руку, и в простом русском лице генерала вдруг появилось что-то детское.

— Спасибо, спасибо вам, — с чувством сказал Иван Федорович. — Спасибо, что потрудились лично заехать. Теперь мы с вами вроде как одной веревочкой связаны... — И он потряс плотную руку генерала.

Детское выражение мгновенно сошло с лица генерала. Он сделал недовольное, как будто даже сердитое движение своей крупной круглой головой в фуражке, потом маленькие умные глаза его остановились на Иване Федоровиче с прежним суровым выражением. Хотелось ему, видно, сказать что-то очень важное, но он ничего не сказал.

Решительное мгновение наступило.

— Береги себя, — изменившись в лице, сказал Андрей Ефимович и обнял Проценко.

Все снова стали прощаться с Иваном Федоровичем, с его помощником, с остающимися работниками и один за другим выходили из кабинета с выражением некоторой виноватости. Лишь один генерал вышел с высоко поднятой головой, обычной быстрой, легкой походкой, неожиданной при его полноте. Иван Федорович не пошел их провожать, он только слышал, как на улице взревели машины.

Все это время в кабинете неумолчно работали телефоны, и помощник Ивана Федоровича попеременно хватал то одну, то другую трубку и просил позвонить через несколько минут. Только Иван Федорович простился с последним из отъезжавших, как помощник мгновенно протянул ему одну из трубок.

— С хлебозавода... раз десять уже звонили...

Иван Федорович маленькой рукой взял трубку, сел на угол стола и сразу стал не тем человеком, то добродушным и растроганным, то хитроватым и веселым, который только что прощался со своими товарищами. В жесте, которым он взял трубку, в выражении его лица и в голосе, которым он заговорил, появились черты спокойной властности.

— Ты не тарахти, ты меня послухай, — сказал он, сразу заставив замолчать голос в трубке. — Я тебе сказал, что транспорт будет, значит, он будет. Горторг заберет у тебя хлеб и будет народ в дороге кормить. А уничтожать столько хлеба — преступление. Зачем же ты его всю ночь пек? Я вижу, ты сам торопишься, так ты не торопись, пока я тебе не разрешил торопиться. Понятно? — И Иван Федорович, повесив трубку, снял другую, разливавшуюся пронзительной трелью.

В раскрытое окно, выходившее в сторону шахты № 1-бис, видно было движение воинских частей, грузовых машин, покидавших город, колонн эвакуируемых жителей. Отсюда с холма видно было почти как на карте, что движение распадается в основном по трем руслам: главный поток двигался на юг, к Новочеркасску и Ростову, несколько меньший — на юго-восток, на Лихую, а еще меньший — на восток, на Каменск. Вытянувшиеся в ряд машины, только что покинувшие здание райкома, держали путь на Новочеркасск. И только пропыленный вездеходик генерала пробирался по улицам в сторону ворошиловградского шоссе.

В это время мысли генерала, возвращавшегося к своей дивизии, были уже далеко от Ивана Федоровича. Палящее солнце искоса било ему в лицо. Пыль окутывала и машину, и генерала с шофером, и примолкших на заднем сиденье небритого майора и рослого сержанта. Звуки дальней артиллерийской стрельбы, рев машин на шоссе, вид людей, покидавших город, — все это невольно приковывало мысли этих столь разных по возрасту и по званию военных людей к грозной действительности.

Из всех людей, прощавшихся с Иваном Федоровичем, только представитель Украинского партизанского штаба и генерал, как люди военные, понимали, что означало взятие немецкими танковыми частями Миллерова и их бросок на Морозовский — город на железной дороге, связывавшей Донбасс со Сталинградом. Это означало, что Южный фронт уже изо-

лирован от Юго-Западного и что Ворошиловградская и большая часть Ростовской области отрезаны от центра, а Сталинград — от Донбасса.

Задача дивизии состояла теперь в том, чтобы возможно дольше задержать немцев, наседавших на юг от Миллерова, до тех пор, пока армии Южного фронта успеют отойти к Новочеркасску и Ростову. А это значило, что дивизия, которой командовал генерал, через несколько дней или вовсе перестанет существовать, или попадет во вражеское окружение. Мысль об окружении была глубоко противна генералу. Но генерал не хотел допустить и того, чтобы дивизия его перестала существовать. С другой стороны, он знал, что выполнит свой долг до конца. И все душевные силы его были направлены теперь на решение этой неразрешимой задачи.

По возрасту своему генерал принадлежал не к старшему, а к среднему поколению советских военачальников, к тому поколению, которое начало свой путь в гражданскую войну или вскоре после гражданской войны совсем еще юными и малозаметными людьми.

Рядовой солдат, он исходил ногами ту самую донецкую степь, через которую мчался теперь на вездеходе. Сын курского крестьянина, девятнадцатилетний пастух, он начал свой воинский путь, когда уже гремела бессмертная слава Перекопа. Он стал солдатом в период ликвидации банд Махно на Украине: это был последний слабый отзвук великих битв против врагов революции. Он сражался еще под командованием Фрунзе. В те юные годы он выдвинулся как стойкий боец. Он выдвинулся как умный боец. Но он выдвинулся не только поэтому: стойкие и умные люди не редкость в народе. Исподволь, незаметно, казалось бы даже медленно, усваивал он все то, чему учили бойцов-красноармейцев ротные политруки, батальонные и полковые комиссары — вся бесчисленная, безыменная армия работников политотделов и воинских партийных ячеек, да живет во веки веков память об этих людях! И он не просто усваивал их науку, — он перерабатывал и прочно укладывал ее в своей душе. И вдруг выдвинулся среди боевых товарищей своих как человек незаурядного политического дарования.

Дальнейший путь его был прост и головокружителен, как путь любого из военачальников его поколения.

Великую Отечественную войну он начал командиром полка. За плечами его была уже Военная академия имени Фрунзе, Халхин-Гол, линия Маннергейма. Это было неслыханно много для человека его происхождения, его возраста, но как этого было еще мало! Отечественная война сделала его полководцем. Он рос, но еще больше того — его растили. Его

растили теперь на опыте великой войны, как растили когда-то в военном училище, потом в Академии, а потом на опыте двух малых войн.

Поразительным было это новое ощущение, сознание самого себя, крепнущее в ходе войны, несмотря на всю горечь отступления. Солдат наш лучше, чем солдат противника, не только в смысле морального превосходства, — какие могли быть здесь сравнения! — а просто в военном смысле. Наши командиры неизмеримо выше не только по своей политической сознательности, но и по военному образованию, по свойству быстро схватывать новое, применять практический опыт разносторонне. Военная техника не хуже, а в известной части даже лучше, чем у противника. Военная мысль, создавшая все это и направляющая все это, исходит из великого исторического опыта, но в то же время она нова, смела, как породившая ее революция, как это невиданное в истории советское государство, как гений людей, сформулировавших и претворивших в жизнь эту мысль, — она парит на крыльях орлиных. А приходится все-таки отступать. Противник берет пока что числом, внезапностью, жестокостью, не поддающейся нормальным определениям совести; берет всякий раз предельным напряжением сил, когда уже не думают о резервах.

Как и многие советские военачальники, генерал довольно рано понял, что эта война, больше чем какая-либо война в прошлом, — война резервов людских, материальных. Их нужно было уметь создавать в ходе самой войны. Еще сложнее того было ими оперировать: распределять во времени, направлять туда, куда надлежит. Разгром противника под Москвой, его поражение на юге говорили не только о превосходстве нашей военной мысли, нашего солдата, нашей техники, — еще больше они говорили о том, что великие резервы народа, государства в бережливых руках, умелых руках, в золотых руках.

Обидно, очень обидно было снова отступать на глазах народа, когда, казалось, уже все, все известно о враге и о себе!

Генерал молча ехал, погруженный в свои думы. Едва вездеход, пробравшись не без труда улицами, запруженными эвакуируемым населением, достиг ворошиловградского шоссе, как почти над самой головой, ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Они вывернулись так внезапно, что ни генерал, ни сопровождавшие его офицер и сержант не успели выскочить и остались в машине. Поток бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынул в обе стороны шоссе, — кто бросился ничком в канаву, кто привалился к завалинке дома или прижался к стенке.

И в это мгновение генерал увидел на самой обочине шоссе одинокую стройную девушку в белой кофточке, с длинными черными косами. Все шоссе на громадном протяжении опустело, девушка осталась совершенно одна. С бесстрашным мрачным выражением проводила она глазами этих промчавшихся над нею раскрашенных птиц с черными крестами на распластанных крыльях, летевших так низко, что, казалось, они обдали девушку ветром.

Что-то вдруг клокнуло в горле у генерала, и спутники испуганно посмотрели на него. Генерал сердито покрутил своей крупной круглой головой, будто воротник жал ему шею, и отвернулся, не в силах видеть эту одинокую девушку на шоссе. Вездеход круто свернул и, прыгая по неровной местности, помчался рядом с шоссе по степи — не в сторону Каменска, а в сторону Ворошиловграда, откуда только-только подходила к Краснодону дивизия генерала.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пикировщики, промчавшиеся над Улей Громовой, уже где-то за городом дали несколько пулеметных очередей по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска воздухе. И только через несколько минут послышались вдали глухие взрывы, — должно быть, пикировщики бомбили переправу на Донце.

В поселке Первомайском все ходуном ходило. Навстречу Уле неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала всех этих людей, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не заговаривал с ней.

Самым неожиданным было впечатление от Зинаиды Выриковой, «гимназистки», которая с невообразимо испуганным лицом сидела среди двух женщин на возу, заваленном ящиками, узлами и кулями с мукой. Какой-то дед в картузе, свесив набок белые сапоги в муке, концами вожжей изо всей силы хлестал клячонку, тщетно пытаясь поднять ее в гору на галоп. Несмотря на неимоверную жару, Вырикова была в драповом коричневом пальто, но без платка и шляпки, и поверх драпового жесткого воротника по-прежнему воинственно торчали вперед ее косицы.

Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в этом районе — от него, собственно, и начался город Краснодон. «Первомайским», или в просторечии «Первомайкой», он стал называться с недавнего времени. В преж-

ние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, самым крупным из которых считался хутор Сорокин.

Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, были наклонные и такие маленькие, что уголь подымали конными или даже ручными воротками. Шахтенки принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь рудник называли — рудник Сорокин.

Шахтеры, выходцы из центральных русских губерний и с Украины, селились по хуторам у казаков, роднились с ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, строились рядом.

Закладывались новые шахты — за длинным холмом, по которому пролегает теперь ворошиловградское шоссе, и дальше за балкой, что разделяет теперь город Краснодон на две неравные части. Эти новые шахты принадлежали одинокому помещику Ярманкину, или «бешеному барину», поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахт, первое время назывался в просторечии поселок Ярманкин, или «Бешеный». Дом самого «бешеного барина» — каменный серый одноэтажный дом, в одной половине которого был разбит зимний сад с диковинными растениями и заморскими птицами, — в те времена один стоял на высоком холме за балкой, открытый всем ветрам, и его тоже называли «бешеным».

Уже при советской власти, в годы первой и второй пятилеток, в этом районе были заложены новые шахты, и центр рудника Сорокина переместился в эту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме, рядом с домом «бешеного барина», выросло красивое, с крыльями, здание районного исполкома. А в самом доме «бешеного барина» разместилась проектная контора треста «Краснодонуголь», служащие которой уже и понятия не имели, что это за дом такой, где они проводят третью часть своей жизни.

Так рудник Сорокин превратился в город Краснодон.

Уля, ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своим городом. Совсем еще маленькими школьницами и школьниками в праздник древонасаждения они участвовали в посадке деревьев и кустов на заваленном мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникла среди старых комсомольцев — тех еще поколений, что помнили «бешеного барина», поселок Ярманкин, первую немецкую оккупацию и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне, — у иных уже седина пробрызнула в волосах или в казацком буденновском усе, —

но в большинстве жизнь разбросала их по всей нашей земле, а кое-кто пошел высоко в гору. А руководил той посадкой садовник Данилыч, он и тогда уже был старый. Но он и теперь работал в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем ветхим.

И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для взрослых, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью в пору ее юного цветения, он рос вместе с ними, он был юн, как они, но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тенисто и можно было найти таинственные укромные уголки, а ночью, под луной, он был прекрасен, а в дождливые осенние ночи, когда опадал мокрый желтый лист, виясь и шурша во тьме, там было даже страшновато, в этом парке.

Так росла молодежь вместе со своим парком, вместе со своим городом и по-своему крестила его районы, слободки, улицы.

Отстроят новые бараки, — это место так и назовут: «Новые бараки». Уже и бараков никаких нет, уже каменные дома вокруг, но название переживает то, что его породило. До сих пор существует окраина «Голубятники». Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете и мальчишки водили там голубей, теперь там тоже стандартные дома. «Чурилино» — это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин. «Сеняки» — там был раньше сенной двор. «Деревянная» — это совсем отдельная улица за переездом, за парком, она так и осталась отдельной от всего города, и домики остались те же, деревянные. Там живет девушка Валя Борц с темно-серыми глазами и светло-русыми золотистыми косами, самолюбивая девушка не старше семнадцати лет. «Каменная» — это улица первых стандартных каменных домов. Теперь таких домов много, но только эту улицу называют «Каменной»: она была первой. А «Восьмидомики» — это уже целый район, несколько улиц на том месте, где стояло всего восемь таких стандартных домиков.

Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбасс. И первый вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фан-ча слепил себе на пустыре жилье из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, одну к другой, как соты, и сдавать их внаем, пока пришлые люди не поняли, что незачем снимать комнатки у Ли Фан-чи, можно слепить свои. Так образовался обширный район лепящихся друг к другу мазанок, — этот район назвали «Шанхаем». Потом такие же мазанки-соты возникли вдоль всей балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть «шанхайчиками».

С той поры, как была пущена в ход самая крупная в районе шахта № 1-бис, заложенная как раз между хутором Сорокином и бывшим поселком Ярманкиным, город Краснодон распространился в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся с соседними, более мелкими хуторами, превратился в поселок Первомайский — один из районов города.

От других районов города его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков осталось от прежних казачьих хуторов, — это были собственные домики, каждый на свой манер, и среди населения здесь по-прежнему было много казаков, работавших не на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в несколько колхозов.

Домик родителей Ули Громовой был расположен в низине, на дальней окраине поселка, — раньше это был хутор Гаврилов, и домик этот был старым казачьим домиком.

Матвей Максимович Громов был родом украинец, из Полтавской губернии, и с малых лет ходил с отцом на заработки в Юзовку. Был он рослым, сильным, красивым и отважным парнем с ниспадающими русыми кудрями, кольцами завивавшимися понизу, славился как силач-забойщик, и его любили девушки. И не было ничего удивительного в том, что, попав в эти края на заработки в те самые, казавшиеся Уле библейскими, времена, когда здесь открылись первые шахтенки, он пленил Матрену Савельевну, бывшую тогда еще маленькой черноглазой казачкой Матрешей с хутора Гаврилова.

В русско-японскую войну он служил в 8-м Московском гренадерском полку, шесть раз был ранен, два раза тяжело, имел много наград и последнюю — за спасение знамени своего гренадерского полка — святого Георгия.

С той поры здоровье его сдало. Некоторое время он еще работал на малых шахтенках, а потом стал служить при шахте кучером, да так и осел здесь, на хуторе Гаврилове, после бродячей своей жизни, в домике, доставшемся Матреше в приданое.

Едва Уля взялась за калитку родного дома, силы оставили ее. Уля любила мать и отца, и, как это бывает в юности, она не то что не думала, а не могла представить себе, что в самом деле придет такая минута жизни, когда надо будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от семьи. И вот эта минута пришла.

Уля знала, что ее мать и отец слишком привязаны к своему дому и слишком стары и больны, чтобы решиться на уход из дому. Сын был в армии, а Уля была девушка без определившегося пути в жизни, человек без должности, и не могла взять их на свое попечение. А у другой дочери, много старше

Ули, бывшей замужем за служащим шахтоуправления, человеком уже пожилым, жившим в их семье, — у этой старшей дочери были свои дети, и она тоже не решалась на уход из дому. И все они уже давно решили, что бы ни случилось, никуда не уходить с родного места.

Одна Уля до этой вот крайней минуты не имела ни ясного плана, ни твердой цели в душе своей. Ей все казалось, что ею должны распорядиться другие. То ей хотелось уйти в армию, обязательно в авиацию, и она писала письма брату, который служил техником в одной из авиационных частей, не поможет ли он ей поступить в летную школу. Иногда ей казалось, что проще всего было бы пойти на курсы медицинских сестер, как сделали некоторые из краснодонских девушек, — таким путем она могла бы очень скоро попасть в действующую армию. То ее преследовала тайная мечта уйти в партизанское подполье, в места, занятые врагом. То вдруг ею овладевала такая жажда учиться, учиться дальше! Ведь война не вечна, вот кончится она, надо будет жить, трудиться, и как еще нужны будут люди, знающие дело,— она ведь очень скоро может стать инженером или учителем. Но так никто и не распорядился ее судьбой, и вот подошло время, когда она должна отворить калитку и...

Тут только она почувствовала, как страшно может обернуться жизнь. Она должна бросить мать, отца врагу на поругание и одна ринуться в этот неизвестный и страшный мир лишений, скитаний, борьбы... Она почувствовала такую слабость в коленях, что едва не опустилась на землю. Ах, если бы она могла залезть сейчас в эту маленькую обжитую хатку, закрыть ставни, упасть в свою девичью постель и так вот лежать тихо-тихо и ничего не решать! Кому какое дело до черненькой девочки Ули! Вот так вот забраться в постель, поджать ноги и жить среди близких, любящих людей — будь что будет... Да и что оно будет, и когда оно будет, и долго ли оно будет? А может быть, это не так уж страшно?

Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения гордости, унижения от самой возможности допустить такой выход. Да уже и не было времени выбирать: к ней уже бежала мать навстречу. Какая сила подняла ее с постели? За матерью шли отец, сестра, муж сестры, бежали ребятишки. Печать необыкновенного волнения лежала на всех лицах, а маленький племянник плакал.

— Куда же ты запропала, доню моя? Тебя же с самой зари найти не могут. Беги скорей до Анатолия, коли он не уехал, беги, доню! — говорила мать, и слезы, которые она даже не пыталась убрать, катились по ее загорелым бледным морщинистым щекам.

Мать все еще была чернява, хотя и стара и начала гнуться к земле. Она была чернява, и черные глаза у нее были красивые, как у большой дикой птицы, хотя сама она была маленькая. И характером она была сильная и умная, — дочери и старый Матвей Максимович слушались ее. Но вот пришел час, когда дочь должна была решить сама за себя, и силы матери надломились.

— Кто искал? Анатолий? — быстро спросила Уля.

— Та с райкому шукали, — стоя позади матери с тяжело опущенными большими руками, говорил отец.

Как он был уже стар! Спереди он почти совсем облысел, только на затылке да на висках еще остались следы былых кудрей, они все еще завивались кольчиками, но в гренадерских рыжеватых усах его было уже столько седины, и щетина на лице была седоватая, и нос совсем сизый, и кирпичного цвета лицо его, лицо солдата, было все в морщинах.

— Беги, беги, доню! — повторяла мать. — Обожди, я Анатолия скличу! — И она, маленькая, старая, побежала между грядок к соседям Поповым, сын которых Анатолий вместе с Улей окончил в этом году первомайскую школу.

— Да ложитесь же вы, мама, я сама!

Уля бросилась за матерью, но та уже бежала вишенником вниз, и они побежали вместе, старая и молодая.

Усадьбы Громовых и Поповых граничили садами, полого спускавшимися в пересохшую балочку, по самому дну которой пролегала граница — плетень. Но хотя они всю жизнь были соседями, Уля никогда не видалась с Анатолием помимо школы да комсомольских собраний, где он часто выступал с докладами. В детстве у него были свои мальчишеские интересы, а в старших классах над ним подтрунивали, будто он боится девочек. И правда, когда он встречался с Улей, да и не только с Улей, где-нибудь на улице или на квартире, он так терялся, что даже не успевал поздороваться, а если здоровался, то краснел так, что любую девочку вгонял в краску. Об этом девочки иногда говорили между собой и подсмеивались над Анатолием. Но все-таки Уля уважала его, он был такой начитанный, умный, замкнутый, любил те же стихи, что и Уля, собирал жуков и бабочек, минералы и растения.

— Таисья Прокофьевна! Таисья Прокофьевна! — кричала мать, перегнувшись через низенький плетень в садик соседей. — Толечка! Уля пришла...

Где-то на той стороне вверху, невидная за деревьями, отозвалась тоненьким голоском сестренка Анатолия. И вот он уже сам бежал среди деревьев, усеянных маленькими поспевающими вишенками, — в украинской, вышитой по подолу

и концам рукавов, рубашке с расстегнутым воротом и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, чтобы не рассыпались его зачесанные назад длинные, овсяного цвета, волосы.

Его всегда серьезное худое загорелое лицо с белесоватыми бровями было сильно разгорячено, он так вспотел, что мокрые пятна кругами выступали у него под мышками. И, видно, он совсем забыл о том, что Ули можно стесняться.

— Ульяна... ты знаешь, я тебя с самого утра ищу, ведь я уже всех ребят и дивчат обегал, я из-за тебя Витьку Петрова задержал с отъездом, они у нас здесь, отец его ужас как ругается, собирайся немедленно, — быстро говорил он.

— Мы же ничего не знали. Чье это распоряжение?

— Распоряжение райкома — всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил, а вашей всей компании нет, я ужас как перенервничал. А тут с хутора Погорелого едут Витька Петров с отцом. Отец у него еще в гражданскую войну партизанил тут против немцев, задерживаться ему, конечно, нельзя ни минуты, и, представляешь себе, Витька специально заезжает за мной! Вот товарищ, так товарищ! Отец у него лесничий, лошади у них в лесхозе хар-рошие! Я, конечно, стал их задерживать. Отец ругается, я говорю: «Вы же сам старый партизан, понимаете, что товарища бросать нельзя, к тому же, говорю, вы, должно быть, человек бесстрашный...» Вот мы тебя и ждем, — быстро говорил Анатолий, желая, видимо, немедленно поделиться с Улей всем, что он пережил, взглядывая на нее то светло-серыми, то голубыми, вдруг просиявшими глазами, которые мгновенно придавали такое обаяние его белесоватому лицу.

И как это оно казалось ей раньше ничем не примечательным? В лице Анатолия было выражение душевной силы, да, именно силы — где-то в складке полных губ, в широком вырезе ноздрей.

— Толя,— сказала Уля,— Толя... ты...— Голос ее дрогнул, она протянула ему через плетень узкую загорелую руку.

И тогда он смутился.

— Быстро, быстро, — сказал он, боясь встретиться с ее черными, прожигавшими его насквозь глазами.

— Я уже все собрала, — подъезжайте к воротам... Подъезжайте... подъезжайте, — повторяла Улина мама, и слезы все катились и катились по ее лицу.

До этой минуты мать еще не совсем верила, что дочь ее пустится одна в этот огромный, распавшийся мир, но она знала, что дочери оставаться опасно, и вот нашлись добрые люди, и взрослый человек с ними, и теперь все уже было кончено.

— Но, Толя, ты предупредил Валю Филатову? — сказала Уля с решимостью в голосе. — Ты же понимаешь, это моя лучшая подруга, я не могу уехать без нее.

На лице Анатолия изобразилось такое искреннее огорчение, что он не мог, да и не пытался скрыть его.

— Ведь лошади-то не мои и нас уже четыре человека... Я просто не знаю, — растерялся он.

— Но ты понимаешь, что я не могу бросить ее и уехать?

— Лошади, конечно, очень сильные, но все-таки пять человек...

— Вот что, Толя, спасибо тебе за все, за все... Выезжайте, а я с Валей... мы пешком пойдем, — решительно сказала Уля. — Прощайте!

— Господи, как же пешком, доню моя! Я ж тебе все платья, белье в чемодан сложила, а постель? — И мать, по-детски утирая кулаками лицо, громко заплакала.

Благородство Ули по отношению к подруге не только не казалось Анатолию удивительным, — оно казалось ему вполне естественным, было бы удивительно, если бы Уля поступила иначе. Поэтому он не раздражался и не выражал нетерпения, — он просто искал выхода из положения.

— Да ты хоть спроси у нее! — воскликнул он. — Может, она уже уехала, а может, и не собирается никуда, она же не комсомолка все-таки!

— Я за ней сбегаю, — воспрянула Матрена Савельевна; она уже совсем потеряла меру силам своим.

— Да ложитесь же вы, мама, я все сама сделаю! — сказала Уля в сердцах.

— Толька! Скоро вы там? — сильным, звучным голосом позвал сверху, от хаты Поповых, Виктор Петров.

— Лошади, конечно, у них сильные. В крайнем случае мы можем по очереди бежать за телегой, — вслух размышлял Анатолий.

Но Уле не понадобилось идти за Валей. Только Уля с матерью поднялись к крылечку дома, там, между этим крылечком и домашними пристройками, кухонькой и сарайчиком для коровы, стояла среди домашних Ули осунувшаяся Валя Филатова. Бледность в лице ее проступила даже сквозь сильный загар.

— Валюша, собирайся, есть лошади, мы его уговорим, чтобы он взял нас обеих! — быстро сказала Уля.

— Обожди, мне нужно сказать тебе два слова...

Валя взяла ее за руку.

Они отошли к калитке.

— Уля! — сказала Валя, прямо взглянув ей в глаза своими широко расставленными светлыми глазами, выражав-

шими подлинную муку. — Уля! Я не поеду никуда, я... Уля! — сказала она с силой.— Ты необыкновенный человек, да, да, в тебе есть что-то сильное, большое, ты все можешь, и правду говорит моя мама — бог дал тебе крылья... Улечка, ты мое счастье на свете, — говорила Валя с жаром любви, — самое счастливое, что у меня было на свете, это ты, но я... я не поеду с тобой. Я самый обыкновенный человек, я это знаю, и я всегда мечтала о самом обыкновенном... Вот, думала, выучусь, буду работать, встречу хорошего, доброго человека, выйду замуж, будут у меня дети, мальчик, девочка, будет у нас жизнь светлая, простая, и больше ни о чем я не думала. Улечка, я не умею бороться, я боюсь пуститься на сторону одна... Да, да, я вижу, теперь все рушилось, эти мои мечты, но у меня мама старенькая, я никому ничего худого не сделала, я человек незаметный, и я останусь и... и прости меня...

И Валя заплакала в платочек, который она все время комкала в руках. И Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, тоже заплакала над ее такой знакомой, милой пахучей русой головкой.

С самого детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг с другом первые девичьи радости, горести, тайны. Уля была замкнута и только в минуты особенного душевного состояния раскрывала себя, а Валя всегда говорила ей все, все, не поспевая своими чувствами за ходом Улиных признаний, но разве в юности заботятся о том, чтобы понимать друг друга, — радость состоит в чувстве доверия, в возможности поделиться. И оказалось, что они совсем, совсем разные... Но столько чистых, прозрачных дней стояло за их нежной, святой девичьей дружбой, что горе разлуки раздирало их сердца.

Валя чувствовала, что она отказывается сейчас от чего-то самого большого и светлого в своей жизни, дальше оставалось что-то очень серое и что-то очень неизвестное и ужасное.

А Уля чувствовала, что она теряет единственного человека, которому она могла в минуту счастья или самого великого душевного стеснения раскрыть всю себя, какая она есть, Уля. Она не заботилась о том, чтобы подруга понимала ее, она знала только, что всегда найдет отклик чувства — доброты и покорности, любви и просто чуткости — в ее душе. И Уля плакала потому, что это был конец ее детства, она становилась взрослой; она выходила в мир, и выходила одна.

Только теперь она вспомнила, как Валя вынула из ее волос лилию и бросила на землю. Уля поняла теперь, зачем

Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы ее подруга с этой лилией в волосах там, где рвут шахты, и поэтому она освободила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой обыкновенной, как она говорила, она могла понимать многое.

Какое-то предчувствие говорило им, что то, что происходит между ними, происходит в последний раз. Они не только чувствовали, они знали, что они в каком-то особенном, душевном смысле прощаются навсегда. Поэтому они плакали от всего сердца, не стесняясь своих слез и не пытаясь их сдерживать.

Много слез было пролито в эти годы — не только на донецкую, а и на всю порушенную, выжженную, политую кровью советскую землю. Среди этих слез были и слезы бессилия, ужаса, прямой нестерпимой физической боли. Но сколько было слез высоких, святых, благородных — самых святых и благородных, какие только проливало человечество.

Едва затарахтела, подъезжая к воротам, длинная, с косыми решетками, селянская, переделанная из гарбы телега, заваленная узлами и чемоданами, запряженная в дышло двумя добрыми гнедыми конями, которыми правил крупный пожилой мужчина с мясистым сильным лицом, в полувоенной гимнастерке и кожаной фуражке, — Уля оторвалась от подруги, низом продолговатой ладони, как подушечкой, смахнула слезы, и лицо ее приняло обычное выражение.

— Прощай, Валя...

— Прощай, Улечка. — Валя заплакала в голос.

Они поцеловались.

Подвода остановилась у ворот. Из-за нее, красные и потные от бега и тоже заплаканные, показались мать Анатолия — Таисья Прокофьевна, здоровая, с светлыми глазами и волосами, рослая, белотелая казачка, и младшая сестра Анатолия, Наташа. Отец его с первых дней объявления войны был на фронте.

Анатолий сидел уже на возу; рядом с ним сидел, в распахнутой на груди майке, темноволосый, миловидный, с выражением грусти в смелых мальчишеских глазах, Виктор Петров, державший в руках обернутую во что-то мягкое и перевязанную шнуром гитару.

Уля повернулась и, точно деревянная, пошла навстречу семье. Ей уже несли чемодан, узлы, платок. Мать, со своими черными глазами большой дикой птицы, маленькая и старая, метнулась к ней.

— Мама, — сказала Уля.

Мать всплеснула сухонькими ручками и упала замертво.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Со времени великого переселения народов не видела донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года.

По шоссейным, грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы — то колоннами, то вразброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах.

Они шли, топча созревающие и уже созревшие хлеба, и никому уже не было жаль этого хлеба — ни тем, кто топтал, ни тем, кто сеял, — они стали ничьими, эти хлеба: они оставались немцам. Колхозные и совхозные картофельные поля и огороды были открыты для всех. Беженцы копали картофель и пекли его в золе костров, разведенных из соломы или станичных плетней, — у всех, кто шел или ехал, можно было видеть в руках огурцы, помидоры, сочащийся ломоть кавуна или дыни. И такая пыль стояла над степью, что можно было, не мигая, смотреть на солнце.

То, что поверхностному взгляду отдельного человека, как песчинка вовлеченного в поток отступления и отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что совершается вокруг него, могло показаться случайным и бессмысленным, было на самом деле невиданным по масштабу движением огромных масс людей и материальных ценностей, приведенных в действие сложным, организованным, движущимся по воле сотен и тысяч больших и малых людей, государственным механизмом войны.

Но как это бывает в вынужденном быстром отступлении, кроме главных, больших, хотя и трудных, но осмысленных движений масс войск и гражданского населения, по всем дорогам и прямо по степи в направлении на восток и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и коллективы, разрозненные команды и обозы войск, разбитых в боях, потерявших связь, сбившихся с пути, группы военных, отставших по болезни или ранению, по недостатку транспорта. Это то бóльшие, то меньшие группы, не имевшие никакого представления о том, что же в действительности происходит на фронте, шли, куда им казалось вернее и выгоднее, забивали все поры и вены главного движения и прежде всего забивали переправы через Донец, где у паромов и понтонных мостов, подвергаясь вражеской бомбардировке с воздуха, в течение суток крутились целые таборы людей, машин, подвод.

Как ни бессмысленно для гражданских людей было движение на Каменск в условиях, когда немецкие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, на Морозовский, значительная часть беженцев из Краснодона устремилась именно в этом направлении, потому что в этом направлении двигались только что миновавшие Краснодон головные части дивизии, перебрасываемой на подкрепление нашей обороны на Донце южнее Миллерова. И именно в этот поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми конями селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий Попов, Виктор Петров и его отец.

Едва скрылись из глаз последние хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила на пологий съезд с холма, из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев мотора, и снова низко над головами, застив солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулеметов.

Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фуражке, с мясистым лицом и сильным голосом, вдруг побелел.

— В степь! Ложись! — крикнул он ужасным голосом.

Но ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец Виктора, опустив вожжи, тоже соскочил с телеги и тут же на месте исчез, будто испарился, будто это был не мужик-лесничий в тяжелых сапогах, а дух бесплотный. Одна Уля осталась на возу, — она сама не знала, почему она не побежала. Но в то же мгновение испуганные кони рванули так, что едва не выкинули ее из телеги.

Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться: кони, едва не налетев грудью на бричку впереди, взмыли на дыбы и рванули в сторону, чуть не оборвав постромки. Устойчивая, длинная, вместительная телега было опрокинулась, но снова стала на колеса. Уля, уцепившись одной рукой за край телеги, а другой за какой-то тяжелый чувал, напрягала все силы, чтобы не выпасть: ее тут же задавили бы бесновавшиеся вокруг лошади других подвод.

Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытоптанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая пеной. Вдруг с брички впереди соскочил высокий, широкоплечий, светловолосый юноша с непокрытой головой и кинулся, казалось, под самых коней.

Уля не сразу сообразила, что произошло, но через мгновение она увидела меж конских голов с взметенными гривами и оскаленными пастями его очень юное, свежее, сверкающее глазами, с выражением необычайного напряжения и силы, с румянцем на щеках, скуластое лицо.

Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожжу у самых удил, юноша стоял между конем и дышлом, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял, рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой паре с темно-красным галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым костяным наконечником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать за вожжу другого коня. Только по вздувшемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило.

— Тпру... тпру... — говорил он не очень громко, но повелительно.

И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще встряхивали гривами, косясь на него звериными очами, но он не отпускал их, пока они вовсе не притихли.

Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал, к немалому удивлению Ули, — он большими ладонями аккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, расчесанные на косой пробор светло-русые волосы. Потом он поднял на Улю совершенно мокрое от пота скуластое лицо мальчика с большими глазами в длинных темных золотистых ресницах и широко, простодушно и весело улыбнулся.

— Добрые к-кони, могли разнести, — сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, которая, все еще держась за край телеги и за чувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него черными глазами.

Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть возле убитых и раненых, грудились женщины: оттуда доносились стоны и причитания.

— Я так боялась, что они собьют тебя дышлом! — сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения.

— Я сам того боялся. Да кони не злые, холощеные, — наивно сказал он и большой загорелой рукой с длинными пальцами небрежно потрепал по потной глянцевитой шее коня, ближе к которому стоял.

Вдали, где-то уже на Донце, послышались глухие и одновременно резкие удары бомбежки.

— Очень людей жалко, — сказала Уля, оглядываясь вокруг.

Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз, будто большая шумливая река катилась.

— Да, жалко. А особенно матерей наших. Что они переживают! И что им еще предстоит пережить! — сказал юно-

ша, и лицо его сразу стало серьезным, и на лбу его собрались не по возрасту резкие продольные морщины.

— Да, да... — беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою, как она лежала, маленькая, распластавшись на выжженной земле.

Отец Виктора Петрова так же внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлеи, вожжи. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке и все же не теряя обычного серьезного выражения, показался Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный.

— Гитара-то моя цела? — быстро спросил Виктор, озабоченно оглянув воз. И, увидев обернутую в стеганое одеяло, заложенную между узлов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и рассмеялся.

Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню и, свободно и легко неся на широких плечах крупную непокрытую голову со светлыми волосами, подошел к возу.

— Анатолий! — радостно воскликнул он.

— Олег!

Они крепко взяли друг друга за руки повыше локтей, и в то же время Олег покосился на Улю.

— Кошевой, — назвал он себя и протянул ей руку.

Одно плечо, левое, было у него чуть выше другого. Он был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого лица, высокой легкой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим темно-красным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей его манеры двигаться, говорить с легким заиканием исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала доверие к нему.

А он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно охватил глазами ее облеченный в белую кофту и темную юбку стройный стан с гибкой и сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой страде, черные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные, стройные загорелые ноги, едва ниже колен прикрытые темной юбкой, — вспыхнул, резко повернулся к Виктору и, смущенный, подал ему руку.

Олег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе — имени Горького, — расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел впервые, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами, дружбой от одного комсомольского совещания до другого.

— Да, вот где привелось встретиться, — сказал Анатолий. — А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем гамузом воды напиться, и ты нас всех познакомил... со своей бабушкой! — засмеялся он. — Она что, с тобой едет?

— Нет, б-бабка осталась. И мама осталась, — сказал Олег, и на лбу его снова собрались продольные морщины. — Нас пятеро: Коля, мамин брат, — никак язык не повернется назвать его дядей! — улыбнулся он. — Жинка его, да их мальчишка, да д-дед, что нас везет. — И он кивком головы указал на бричку впереди, откуда его уже несколько раз окликали.

Бричка, запряженная низкорослым, прытким на ноги буланым коньком, теперь все время катилась впереди, а гнедые кони так напирали сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи и уши сидящих в бричке.

Дядя Олега Кошевого, Николай Коростылев, или дядя Коля, инженер-геолог треста «Краснодонуголь», в синей пиджачной паре, красивый, чернобровый, кареглазый и флегматичный молодой человек, старше племянника всего лет на семь, друживший с ним, как с равным, поддразнивал его Улей.

— Этого, брат, упускать нельзя, — бубнил дядя Коля скучным голосом, не глядя на племянника, — шутка сказать, девку какую мало от смерти не спас! Здесь, брат, дело не обойдется без сватов. Верно, Марина?

— А ну вас к богу! Я так злякалась!

— А правда, хороша? — спрашивал Олег у своей молоденькой тетушки. — Просто чудо, как хороша!

— А Леночка?.. Ах ты, Олежка-дролежка! — так и пронзив его черненькими глазками, сказала тетушка.

Тетушка Марина была из прехорошеньких тетушек-хохлушек, которые, кажется, сошли с лубочной картинки, — в вышитой украинской кофте, в монистах, черненькая, белозубая, с пышными волосами, пушистым облаком стоящими вокруг головы, — даже внезапные сборы в дорогу не помешали ей убраться к лицу.

Она придерживала рукой трехлетнего толстого мальчика, необыкновенно жизнерадостно отзывавшегося на все, что он видел вокруг, и не подозревавшего, в какой ужасный мир он попал.

— Нет, я так скажу: Леночка, она, правда, пара нашему Олегу, а эта хоть и хорошенькая, а она нашего Олега никак не полюбит, бо Олег ще мальчик, а вона вже дивчина дай боже, — быстро говорила тетушка Марина, беспокойно поводя черными глазками вокруг и то и дело поглядывая на небо. — Это коли жинка уже старая, так ей нравятся мальчики, а коли вона ще молоденькая, то ей николи не полюбит-

ся моложе ее, то я по себе скажу, — говорила она такой скороговоркой, которая показывала, что тетушка действительно «злякалась».

Лена Позднышева была девушка-одноклассница, оставшаяся в Краснодоне, с которой Олег дружил, в которую был влюблен и которой были посвящены многие страницы его дневника. Может быть, он, Олег, и вправду поступил нехорошо по отношению к ней, так восторженно отозвавшись об Уле? Но что же в этом может быть нехорошего? Леночка — это уже навсегда в душе его, это уже никогда не может уйти, а Уля... И он снова видел перед собой Улю, и этих коней, и снова чувствовал, как конь слева дышал на него. И неужели после всего этого Марина может быть права, то есть эта девушка может не полюбить его оттого, что он еще мальчик! «Ах ты Олежка-дролежка!..» Он был влюбчив и сам знал это за собой.

Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долго еще маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну, но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся также пробиться вперед, и везде, куда ни хватал глаз, был все тот же поток людей, машин и подвод.

И постепенно образы Ули и Леночки покинули Олега, и все заслонил этот беспрерывный поток людей, в котором, как утлые лодки в море, покачивались бричка, запряженная буланым коньком, и телега с гнедыми конями.

Степь без конца и края тянулась на все концы света, тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились в голубом небе, и не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами.

И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...

...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, — он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, — ведь им столько выпало работы в жизни, — но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки.

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле,

положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «бе-а — ба, ба-ба». Я вижу, как сильной рукой своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, прямо на серп, вижу неуловимое сверкание серпа и потом это мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей.

Я помню твои руки, несгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, — казалось, совсем одни на свете, — и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела — пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались! Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, — отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!

Ты проводила на войну сыновей, — если не ты, так другая, такая же, как ты, — иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, — все это сделали руки матери моей — моей, и его, и его.

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, — не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь при-

дет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости...

Такие мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать его осталась «там» и бабушка Вера, «подруга дней моих суровых», которая тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, тоже осталась «там».

И лицо Олега стало серьезным, неподвижным, большие глаза в темно-золотистых ресницах заволоклись влажной пеленой. Он сидел, ссутулившись, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу.

Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленький сынишка, и такая же тишина установилась на подводе, следовавшей за ними. Потом и буланый конек и добрые гнедые кони в этой страшной жаре и толчее притомились, и обе подводы незаметно снова выбились на шоссе, по которому все катился и катился поток людей, машин и подвод.

И что бы ни делали, ни думали, ни говорили люди в этом великом потоке людского горя — шутили ли они, придремывали, кормили детей, заводили знакомства, поили лошадей у редких колодцев,— за всем этим и надо всем незримо простиралась черная тень, надвигавшаяся из-за спины, простершая крылья уже где-то на севере и на юге, распространявшаяся по степи еще быстрее, чем этот поток.

И ощущение того, что они вынужденно покидают родную землю, близких людей, бегут в безвестность и что сила, бросившая эту черную тень, может настигнуть и раздавить их, — тяжестью лежало на сердце у каждого.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Среди машин и беженцев, двигавшихся по обочине шоссе, куда прибило бричку и телегу, ползла грузовая машина шахты № 1-бис, на которой среди работников и имущества шахтоуправления ехали директор шахты Валько и Григорий Ильич Шевцов, с которым Уля всего несколько часов назад рассталась у калитки его дома.

Тут же пешком двигался детский дом для сирот участников Отечественной войны, помещавшийся в свое время на «Восьмидомиках», — мальчики и девочки в возрасте пяти — восьми лет, в сопровождении двух девушек-нянь и заведую-

щей домом — воспитательницы, пожилой женщины с пронзительными, невидящими глазами, с красным платком на голове, повязанным, как у жницы, и в резиновых пропылившихся ботах, надетых прямо на чулок.

Детский дом сопровождало несколько подвод с имуществом дома, и на них сажали по очереди притомившихся детей.

С того момента, как грузовик шахты № 1-бис настиг этот детский дом, все пассажиры грузовика поспрыгивали с машины и усадили в нее ребят. Григорию Ильичу так понравилась белокурая голубоглазая девочка с серьезным личиком и толстыми щечками — «пампушками», как называл их Григорий Ильич, — что он почти всю дорогу нес девочку на руках, целовал ей ручки и щечки-пампушки и разговаривал с ней, сам такой же белокурый и голубоглазый, как она.

За подводами детского дома, к которым присоединились теперь бричка и телега, двигалась сильно растянувшаяся по шоссе воинская часть с кухнями, пулеметами, артиллерией. Взгляд опытного военного сразу обратил бы внимание на то, что часть сильно оснащена противотанковыми ружьями и пушками. Странно выделяясь на фоне донецкого неба, плавно колыхаясь, как хоругви, медленно плыли гвардейские минометы. Издалека не видно было грузовиков, на которых они были установлены, и казалось, что эти странные сооружения сами по себе плывут над всей этой растянувшейся на многие километры массой военных и гражданских людей.

Сгущенная пыль какого-то уже ржавого цвета въелась в сапоги бойцов и командиров, — часть несколько суток была на походе. В голове колонны прямо за подводами, обтекая их, когда движение подвод замедлялось, шла рота автоматчиков. Они шли с прокаленными, как огнеупорный кирпич, лицами, неся перед собой на груди, как младенцев, свои автоматы, придерживаемые одной рукой, натруженной, а то и перевязанной после ранения.

Подвода, на которой ехала Уля, по какому-то неписаному распорядку сразу стала как бы принадлежностью хозяйства роты автоматчиков, частью самой роты: и на походе и на стоянке подвода неизменно оказывалась в центре роты, и, куда бы Уля ни глядела, она все время встречала бросаемые исподволь, а то и прямо направленные на нее взгляды молодых воинов в этих пропыленных сапогах и пилотках и в не раз пропотевших, высохших и вновь пропотевших, вываленных в сырой земле, в песке, в болоте, в хвое, в солончаке, выдержавших ливни и палящее солнце солдатских гимнастерках.

Несмотря на отступление, бойцы были в обычном в присутствии девушек бодром, озорном, шутливом настроении, и, как и во всякой роте на походе или на отдыхе, в роте автоматчиков оказался свой любимец-балагур.

— Куда, куда без приказа? — кричал он отцу Виктора, когда тот, используя малейшую возможность продвинуться вперед, понукал коней. — Не-ет, друг милый, вам теперь без нас ходу нет. Мы вас приписали к нашей роте навечно, служить вам теперь, как медному котелку. Мы вас и на довольствие зачислили, на шильное, мыльное, на приварок, а девушку — храни господь и православная церковь ее красоту! — каждое утро будем кофеем поить. Сладким!..

— Верно, Каюткин, не давай роту в обиду! — смеялись автоматчики, весело поглядывая на Улю.

— А что? Мы сей же час это проверим. Товарищ старшина! Федя! Аль он спит? Гляди, ребята, на ходу спит... Старшина! Подметки потерял...

— А ты головы не потерял?

— Одну глупую потерял, да она случайно у тебя на плечах оказалась, а умная при мне. Оне ж у меня приставные, гляди...

И Каюткин, аккуратно взявшись за свою некрупную голову — одной рукой за подбородок, а другой за затылок под пилоткой, небрежно сдвинутой на одну бровь, — выкатив глаза, стал производить головой вращательные движения, как бы вывинчивая шею. Иллюзия того, что голова отделяется от туловища, была настолько полной, что вся рота и все, кто был вблизи, грохнули хохотом. Уля не выдержала и тоже рассмеялась, звонко, по-детски, и смутилась. И все автоматчики радостно посмотрели на Улю, точно они знали, что Каюткин делает это для нее.

Он был физически мал, но необыкновенно ловок в движениях, этот балагур Каюткин. Лицо у него было все в мелких морщинках, но такое подвижное, что никак нельзя было угадать, сколько ему лет, — ему могло быть и за тридцать и не больше двадцати, а по фигуре и повадке он был совсем мальчишка. Глаза у него были большие, синие, тоже в сети мелких морщинок, и, когда он умолкал, в них проглядывала вдруг идущая с самого глубокого дна застарелая усталость, но он будто не хотел, чтобы люди видели его усталость, и почти не умолкал.

— Вы откуда будете, молодые люди? — обратился он к товарищам Ули. — Вот видите! Вы из Краснодона, — удовлетворенно сказал он. — А девушка, скажем, будет кому-нибудь из вас сестрица? Или, извиняюсь, папаша, ваша дочь?.. Что ж это такоича? Девушка вполне свободная, ни дочь, ни

сестра, ни мужняя жена! В Каменске ее, не иначе, мобилизуют. Мобилизуют, поставят регулировщицей. При сплошном поулошном движении! — И Каюткин неповторимым жестом показал на все, что творилось на шоссе и на степи. — Уж лучше ей к нам, в роту автоматчиков!.. Ей-богу, вы, ребята, скоро попадете в Россию, там девок страсть как много, а у нас в роте ни одной. А нам такая девушка очень нужна для прививки настоящей речи и для благородства поведения...

— Уж это как она сама захочет, — с улыбкой отвечал Анатолий, смущенно поглядывая на Улю, которая, стараясь не смеяться и все же смеясь, глядела в сторону, чтобы не встретиться глазами с Каюткиным.

— У-у, ее мы уговорим! — воскликнул Каюткин. — Мы от нашей роты таких ребят выставим, они какую хочешь девушку уговорят!

«А что, если и в самом деле пойти, вот соскочить с телеги и пойти?» — вдруг с замиранием сердца подумала Уля.

Олег Кошевой, теперь все время шагавший рядом с телегой, не сводил с Каюткина глаз, как завороженный. Он был влюблен в Каюткина и хотел, чтобы все были влюблены в него. Стоило Каюткину открыть рот, как Олег уже смеялся, закинув голову, показывая все свои зубы. От удовольствия он даже потирал кончики пальцев, так ему нравился Каюткин. Но Каюткин словно и не чувствовал этого, даже ни разу не взглянул на него, как он ни разу не взглянул на Улю и ни на одного из людей, которых забавлял.

В одно из таких мгновений, когда Каюткин отпустил что-то совсем уже отчаянное и бойцы рассмеялись, с ротой поравнялся догнавший ее прямо по степи, весь покрытый слежавшейся пылью вездеходик.

— Смир-рно!..

Возникший из гущи роты капитан с длинной жилистой шеей, придерживая рукой болтающуюся кобуру, быстро перебирая худыми ногами, побежал к остановившемуся вездеходу, откуда выглянул полный генерал в новой фуражке на крупной круглой голове.

— Не надо, не надо, — сказал генерал, — отставить...

Он вылез из вездехода, пожал откозырявшему капитану руку, в то же время быстро оглядывая шагавших по пыли автоматчиков маленькими глазами, весело блестевшими на его суровом простом лице.

— Скажи, пожалуйста, наши курские и — Каюткин! — сказал он с видимым удовольствием. И, сделав рукой знак вездеходу, чтобы тот двигался следом по степи, генерал неожиданно легким для его комплекции шагом пошел вместе с автоматчиками. — Каюткин — это отлично... Ежели жив

Каюткин, значит дух войска непобедим, — говорил он, весело глядя на Каюткина, но обращаясь к теснившимся к нему на ходу бойцам.

— Служу Советскому Союзу! — сказал Каюткин не в том искусственно приподнятом, шутливом тоне, в каком он говорил до сих пор, а очень серьезно.

— Товарищ капитан, бойцы знают, куда и зачем идем? — спросил генерал, обращаясь к идущему рядом, чуть отставая, командиру роты.

— Знают, товарищ генерал...

— Здорово показали себя тогда у водокачки, помните? — сказал генерал, быстрым взглядом окидывая бойцов, теснившихся к нему. — А главное — себя сохранили... А-а, вот то-то и оно! — воскликнул он, будто кто-то возражал ему. — Помереть нетрудно...

Все понимали, что генерал не столько хвалит за прошлое, сколько подготавливает к будущему. Улыбки сошли со всех лиц, и в них возникло неуловимо общее значительное выражение.

— Народ молодой, а опыт у вас знаете какой? Разве можно, например, сравнить с тем, как я был молодым, — говорил генерал. — Было время, шагал и я по этой дорожке. Ну-у, и враг был другой и техника не та! По сравнению с той школой, что я тогда прошел, вы прошли университет...

Генерал сделал такое движение своей крупной головой, как будто ему хотелось не то что-то прогнать, не то утвердить. Это было у него в одних случаях выражение недовольства, а в других — удовлетворения. Сейчас это было выражение удовлетворения. Должно быть, ему приятно было вспомнить молодость и радовал его вид автоматчиков с их боевой выправкой, ставшей уже для них естественной.

— Разрешите обратиться, — сказал Каюткин. — Далеко он прошел?

— Далеко, черти бы его не учили! — сказал генерал. — Так далеко, что нам с вами вроде бы уж и неловко.

— И дальше пойдет?

Генерал некоторое время шел молча.

— От нас с вами зависит... С тех пор как мы его зимой побили, он силенок подкопил. Собрал технику со всей Европы и ударил в одном месте, по нас с вами. Расчет такой — не выстоим. А резервов у него нет... А-а, вот то-то и оно!..

Взгляд генерала упал на подводу впереди, и вдруг он узнал среди людей на подводе ту одинокую девушку на шоссе, над которой неслись немецкие пикировщики. Он представил себе все, что могло произойти и в судьбе и в душе этой девушки за то время, пока он на своем вездеходе успел

только побывать во втором эшелоне дивизии и нагнать миновавшие Краснодон головные части. Выражение не то чтобы жалости, а сумрачной озабоченности появилось на лице генерала, и он вдруг заторопился.

— Успеха вам!

И, сделав знак вездеходу остановиться, он тем легким шагом, который был так неожидан при полноте генерала, быстро пошел к вездеходу.

Все время, пока генерал находился среди автоматчиков, вопросы, обращенные к нему, и жесты Каюткина были совершенно серьезными. Как видно, он и не считал нужным проявлять перед генералом те самые черты, благодаря которым он был заметен среди бойцов и любим ими. Но как только вездеход скрылся из глаз, прежняя энергия шутливой веселости вновь овладела Каюткиным.

Боец-пехотинец, громадного роста, с большими и черными, как сковороды, руками, запыхавшись, выбился из задних рядов колонны, держа в руке какие-то тяжелые предметы, завернутые в замасленную тряпку.

— Товарищи! Где здесь, сказали мне, шахтерская машина идет? — спрашивал он.

— Вон она, да только стоит! — пошутил Каюткин, указав на грузовик, весь усаженный детишками.

Колонна действительно остановилась из-за затора впереди.

— Извините, товарищи, — сказал боец, подходя к Валько и Григорию Ильичу, бережно поставившему белокурую девочку на землю, — хочу вам инструмент отдать. Вы народ мастеровой, и он вам сгодится, а мне он лишняя тяжесть на походе. — И он стал разворачивать перед ними замасленную тряпку.

Валько и Григорий Ильич, склонившись, смотрели ему на руки.

— Видали? — торжественно сказал боец, показывая в развернутой в его больших руках тряпке набор новеньких слесарных инструментов.

— Не понял — продаешь, что ли? — спросил Валько и недружелюбно поднял на него из-под сросшихся бровей цыганские свои глаза.

Кирпично-красное лицо бойца побагровело до того, что все покрылось капельками пота.

— Как только язык у тебя ворочается! — сказал он. — Я его на степе подобрал. Иду, а он так и лежит в тряпке, — должно, кто обронил.

— А может, выбросил, чтобы легче кульгать! — усмехнулся Валько.

— Мастеровой человек инструмента не выбросит. Обронил, — холодно сказал боец, обращаясь уже только к Григорию Ильичу.

— Спасибо, спасибо, друг... — сказал Григорий Ильич и торопливо стал помогать бойцу завертывать инструменты.

— Ладно, что пристроил, а то ведь жалко, инструмент хороший. У вас вон машина, а мне-то на походе, в полной выкладке, куда там! — говорил боец, повеселев. — Счастливо вам! — И он, пожав руку одному Григорию Ильичу, побежал обратно и скоро замешался в колонне.

Валько некоторое время молча смотрел ему вслед, и на лице его было выражение мужественного одобрения.

— Человек... да... — хрипло сказал Валько.

И Григорий Ильич, державший в одной руке инструменты, а другой поглаживавший по головке белокурую девочку, понял, что его директор недоверчиво отнесся к бойцу не по недостатку сердца. Должно быть, директор привык к тому, что люди иногда обманывают его — руководителя предприятия, на котором работали тысячи людей, которое давало тысячи тонн угля в сутки. Предприятие это было теперь взорвано его, директора, собственными руками, люди частью были вывезены, частью остались на погибель. И Григорий Ильич впервые подумал, как темно может быть сейчас на душе у директора.

К вечеру стали слышны впереди звуки орудийной стрельбы. Ночью они приблизились, можно было даже расслышать пулеметные очереди. И всю ночь там, в районе Каменска, видны были вспышки, иногда настолько сильные, что они освещали всю колонну. Зарева пожаров окрашивали небо то там, то здесь в винный цвет и тяжело и багрово отливали среди темной степи по вершинам курганов.

— Братские могилы, — сказал отец Виктора, молча сидевший на телеге с огоньком самокрутки, иногда вырывавшим из темноты его мясистое лицо. — Это не стародавних времен могилы, это наши могилы, — глухо сказал он. — Мы пробивались тут с Пархоменко да с Ворошиловым и захоронили своих...

Анатолий, Виктор, Олег и Уля молча поглядели на курганы, облитые заревом.

— Да, сколько мы в школе сочинений написали о той войне, мечтали, завидовали отцам нашим, — и вот она пришла, война, к нам, будто нарочно, чтобы узнать, каковы мы, а мы уезжаем... — сказал Олег и глубоко вздохнул.

За ночь в движении колонны произошли перемены. Теперь машины и подводы учреждений и гражданских лиц и толпа беженцев вовсе не двигались, — говорили, что впереди

проходят воинские части. Дошла очередь и до автоматчиков, они завозились в темноте, тихо позвякивая оружием, за ними вся часть зашевелилась. Машины, давая дорогу ей, теснились, рыча моторами. Во тьме мерцали огоньки цигарок, — казалось, что это звездочки в небе.

Кто-то тронул Улю за локоть. Она обернулась. Каюткин стоял со стороны воза, обратной той, где сидел отец Виктора и где стояли мальчики.

— На минуточку, — сказал он едва слышным шепотом.

Что-то такое было в его голосе, что она сошла к нему с воза. Они отошли немного.

— Извиняйте, что побеспокоил, — тихо сказал Каюткин, — нельзя вам ехать на Каменск, его вот-вот немец возьмет, а по той стороне Донца немец и вовсе далеко пошел. Про то, что я вам сказал, вы никому не говорите, я на то права не имел, но люди вы свои, и мне жалко, коли вы пропадете ни за что. Надо вам свернуть куда южнее, и то дай бог, чтобы поспели.

Каюткин говорил с Улей так бережно, будто огонек держал в ладонях, лицо его было плохо видно в темноте, но оно было серьезным и мягким и в глазах не было усталости — они блестели в темноте.

И на Улю подействовало не то, что он сказал, а то, как он говорил с ней. Она молча глядела на него.

— Как зовут-то тебя? — тихо спросил Каюткин.

— Ульяна Громова.

— Нет ли у тебя карточки своей?

— Нет.

— Нет... — повторил он печально.

Чувство жалости к нему и в то же время какое-то озорное чувство вдруг так и подхватило Улю, — она близко, совсем близко склонилась к его лицу.

— У меня нет карточки, — сказала она шепотом, — но если ты хорошо, хорошо посмотришь на меня, — она помолчала и некоторое время смотрела ему прямо в глаза своими черными очами, — ты не забудешь меня...

Он замер, только большие глаза его некоторое время печально светились в темноте.

— Да, я не забуду тебя. Потому что тебя нельзя забыть,— прошептал он чуть слышно. — Прощай...

И он, грохоча тяжелыми солдатскими сапогами, присоединился к части, которая все уходила и уходила во тьму со своими цигарками, нескончаемая, как Млечный Путь.

Уля еще раздумывала, сказать ли кому-нибудь о том, что он сказал ей, но, видно, это было известно не только ему и уже проникло в колонну.

Когда она подошла к телеге, многие машины и подводы сворачивали в степь, на юго-восток. В том же направлении потянулись вереницей беженцы.

— Придется на Лихую, — послышался хриплый голос Валько.

Отец Виктора о чем-то спросил его.

— Зачем разлучаться, будем двигаться вместе, раз уж судьба связала нас, — сказал Валько.

Рассвет застал их уже в степи без дороги.

Он был так прекрасен в открытой степи, этот рассвет, — проясневшее небо над необъятными пространствами хлебов, здесь почти не тронутых; светло-зеленая отава на дне балок, посеребренная росою, в капельках которой радужно отражался скользящий вдоль балок нежный свет солнца, встававшего прямо на людей. Но тем печальнее в свете этого раннего утра выглядели измученные, заспанные, осунувшиеся лица детей и сумрачные, измятые, полные тревоги лица взрослых.

Уля увидела заведующую детским домом, в этих ее насквозь пропылившихся резиновых ботах, надетых прямо на чулок. Лицо у заведующей почернело. Всю дорогу она шла пешком и только с ночи подсела на одну из подвод. Донецкое солнце, казалось, иссушило и выжгло ее дотла. Эту ночь она, видно, тоже не спала и уже все время молчала, все делала машинально, в пронзительных, невидящих глазах ее было потустороннее, не здешнего мира выражение.

С самого раннего утра в воздухе, не умолкая, стоял рокот моторов. Самолетов не было видно, но впереди слева слышны были сотрясавшие воздух гулкие бомбовые удары, и иногда где-то очень далеко стрекотали пулеметы в небе.

Там, над Донцом и Каменском, невидимые отсюда, а только слышимые, развертывались воздушные бои. И только один раз они увидели впереди уходивший низом, отбомбившийся немецкий пикировщик.

Олег вдруг соскочил с брички и подождал, пока телега поравняется с ним.

— Подумать только, нет, только подумать, — сказал он, идя рядом с телегой, держась за край ее и глядя на товарищей большими повлажневшими глазами, — ведь если немцы за Донцом, а эта часть, что шла с нами, задерживает их в Каменске, ей уже не уйти, и этим автоматчикам, и этому парню чудесному, что всех веселил, и этому генералу, всем им уже не уйти! И они, конечно, знали это, когда шли, они знали это! — взволнованно говорил Олег.

Мысль о том, что Каюткин прощался с ней перед смертью, так и пронзила сердце Ули, и она вся вспыхнула от сты-

да, когда вспомнила то, что она сказала ему. Но чистый внутренний голос говорил ей, что она не сказала ничего такого, что было бы тяжко вспомнить Каюткину, когда он встретит свой смертный час.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Беженцы все еще проходили через Краснодон, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшей одежду людей, цветы, листья лопухов и тыкв грязно-черно-рыжим слоем.

За парком погромыхивал взад-вперед по ветке железнодорожный состав, подбиравший от шахты к шахте оборудование, какое еще можно было вывезти. Слышно было сопение паровоза, свистки, рожок стрелочника. Оттуда, с переезда, доносились возбужденные человеческие голоса, шелест множества ног по пыли, урчанье машин и грохот колес артиллерии по помосту, — это продолжали отходить воинские части. И слышны были то в том, то в другом направлении за холмами дальние гулкие раскаты орудийных залпов, как будто там, за этими холмами, по необъятному простору степи покатывали с места на место громадную, с боками до неба, порожнюю бочку.

На широкой улице, упиравшейся в ворота парка, возле двухэтажного каменного здания треста «Краснодонуголь» еще стоял грузовик, и люди, мужчины и женщины, выносили через главные распахнутые двери последние остатки имущества треста и грузили их на машину.

Люди работали спокойно, споро, молчаливо. Их лица с выражением хмурой озабоченности и руки, отяжелевшие от таскания тюков и чемоданов, были потны и грязны. А немного в сторонке, под самыми окнами треста, стояли юноша и девушка и разговаривали так увлеченно и беззаветно, что видно было — и этот грузовик, и потные, грязные люди, и все, что происходило вокруг, не было и не могло быть для них важнее того, о чем они говорили.

Девушка в розовой кофте и в желтых туфлях на босу ногу была крупная, полная, русая, с темными, матово поблескивающими, как миндалины, глазами, чуть косоватыми. Оттого, что она чуть косила, она смотрела на юношу немного сбоку, повернув на белой полной атласной шее вскинутую точеную голову.

Юноша был длинный, нескладный, сутуловатый, в синей застиранной косоворотке с короткими для его длинных рук рукавами, подпоясанной узким ремешком, в серых, в корич-

невую полоску, коротковатых брюках и в тапочках на босу ногу. Длинные прямые темные волосы не слушались его, когда он говорил, падали на лоб, на уши, и он то и дело закидывал их резким движением головы. Лицо его принадлежало к тому типу бледных лиц, которые почти не берет загар. К тому же юноша был явно застенчив. Но в выражении лица его было столько природного юмора и в то же время затаенного, вот-вот готового вспыхнуть вдохновения, что это волновало девушку: она смотрела ему в лицо не отрываясь.

Им не было никакого дела, слушают ли их и смотрят ли на них люди. Но за ними наблюдали.

Наискосок через улицу, возле калитки стандартного дома стояла сильно побитая, местами порыжевшая, местами вытертая до какого-то жестяного блеска, точно ей, как евангельскому верблюду, пришлось-таки ободрать бока, пролезая сквозь игольное ухо, черная легковая машина старой конструкции, высоко поставленная на колесах. Это было первое детище советского автомобилестроения, везде уже вышедшее из употребления и в просторечии именуемое «газик».

Да, это был «газик» — из тех, что прошли тысячи, десятки тысяч километров по степям Дона и Казахстана и по тундрам Севера, что взбирались едва не по козьим тропам на горы Кавказа и Памира, что проникли в таежные дебри Алтая и Сихотэ-Алиня, обслужили строительство Днепровской плотины, и Сталинградского тракторного, и Магнитостроя, что подвозили Чухновского и его товарищей к северному аэродрому для спасения экспедиции Нобиле и сквозь метели и торосы ползли по амурской ледяной трассе на подмогу первым строителям Комсомольска, — одним словом, это был «газик» из тех, что, напрягая усилия, вытянули на своей спине всю первую пятилетку, вытянули, устарели и уступили свое место более совершенным машинам, детищам тех самых заводов, которые они вытянули.

«Газик», что стоял возле стандартного дома, был закрытый «газик»-лимузин. Внутри него, у заднего сиденья, в ногах, стоял длинный тяжелый ящик; сбоку, поперек сиденья и ящика, лежало два чемодана, один на другом; поверх них, под самой крышей, — два туго набитых рюкзака; к ним прислонены были два автомата «ППШ» с надетыми дисками, и еще рядом лежала стопка дисков. А на месте, оставшемся свободным, сидела белокурая загорелая женщина со строгими чертами лица, в плотном дорожном платье неопределенного, от частого пребывания под солнцем и дождем, цвета. Ей уже негде было свободно поставить ноги, и она, закинув одну на другую, едва поместила их между ящиком и дверцей.

Женщина беспокойно поглядывала в сквозные отверстия дверок лимузина, — стекол в дверцах давно уже не было, — то на крыльцо стандартного дома, то в сторону грузившейся у треста машины. Видно было, что она ждет кого-то, ждет довольно долго, и ей неприятно, что люди, которые грузят на машину, могут видеть и этот одинокий лимузин и ее, женщину, в лимузине. Беспокойство, как тень, пробегало по ее строгому лицу, потом она снова откидывалась на сиденье и в отверстие в дверце пристально и задумчиво смотрела на юношу и девушку, разговаривавших под окнами треста. Постепенно черты ее лица смягчались, и, не замечаемый ею самой, слабый отзвук доброй и грустной улыбки возникал в ее серых глазах и на ее твердых, резкого рисунка губах.

Женщине было тридцать лет, и она не знала, что это выражение доброго сожаления и грусти, возникавшее в лице ее, когда она смотрела на юношу и девушку, только и было выражением того, что ей уже тридцать лет и что она не может быть такой, как эти юноша и девушка.

Несмотря на все, что происходило вокруг и на всем белом свете, юноша и девушка объяснялись в любви. Они не могли не объясниться, потому что они должны были расстаться. Но они объяснялись в любви, как объясняются только в юности, то есть говорили решительно обо всем, кроме любви.

— Я так рада, Ванечка, что ты пришел, у меня точно тяжесть с души упала, — говорила она, глядя на него своими мерцающими, поблескивающими глазами с этим косым поворотом головы, милее которого не было для него ничего на свете, — я уже думала, мы уедем, и я так тебя и не увижу...

— Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни? — спрашивал он глуховатым баском, сверху вниз глядя на нее близорукими глазами, в которых, как угли под золой, теплилось вот-вот готовое вспыхнуть вдохновение. — Нет, я знаю, ты все, все понимаешь... Я должен был уехать еще три дня тому назад. Я уже совсем сложился и даже красоту навел перед тем, как зайти к тебе проститься, вдруг меня — в райком комсомола. Пришел в аккурат этот приказ об эвакуации, и все навыворот пошло. Мне и досадно, что курсы мои уехали, а я остался, и ребята просят помочь, и я сам вижу, что помочь надо... Сегодня Олег предлагал мне место в бричке, ехать на Каменск, — ты знаешь, как мы с ним дружим, — но мне было уже неловко уезжать...

— Ты знаешь, у меня точно тяжесть с сердца упала, — сказала она, неотрывно глядя на него своими матово поблескивающими глазами.

— Признаться, я в душе тоже был рад: думаю, я ее еще много-много раз увижу. Черта с два! — басил он, не в силах оторваться от ее глаз, весь в плену того жаркого, нежного тепла, которое шло от ее чуть раскрасневшегося лица и полной шеи и от всего ее большого, чувствующегося под розовой кофточкой тела. — Нет, ты представляешь себе? Школа имени Ворошилова, школа имени Горького, клуб Ленина, детская больница — и все на меня. Счастье, что помощник хороший нашелся — Жора Арутюнянц. Помнишь? Из нашей школы. Вот парень! Сам вызвался. Мы с ним не помним, когда и спали. И днем и ночью — все на ногах: подводы, машины, погрузка, фураж, там шина чертова порвалась, там бричку надо в кузню. Бред сивой кобылы!.. Но я, конечно, знал, что ты не уехала. От отца знал, — сказал он с застенчивой улыбкой. — Вчера ночью иду мимо вашего дома, у меня аж сердце оборвалось! А что, думаю, ежели постучать? — Он засмеялся. — Потом вспомнил родителя твоего — нет, думаю, Ваня, терпи...

— Ты знаешь, у меня просто тяжесть... — начала было она.

Но он, увлеченный, не дал ей договорить.

— Сегодня я, правда, уже решил плюнуть на все. Уедет, думаю! Ведь не увижу! И что ж ты скажешь? Оказалось, детский дом — тот, что на Восьмидомиках, что организовали зимой для сирот, — еще не эвакуирован. Заведующая — она рядом с нами живет — прямо ко мне, чуть не плачет: «Товарищ Земнухов, выручите. Хоть через комитет комсомола достаньте транспорт». Я говорю: «Уехал уже комитет комсомола, обратитесь в отдел народного образования». — «Я, говорит, с ним все эти дни связана, обещали вот-вот вывезти, а сегодня утром прибежала — у них и для себя-то транспорта нет. Пока сбегала туда-сюда, уже и отдела народного образования не осталось...» — «Куда же он делся, говорю, ежели у него транспорта нет?» — «Не знаю, говорит, как-то рассосался...» Отдел народного образования рассосался! — Ваня Земнухов вдруг так весело расхохотался, что его непослушные длинные прямые волосы попадали на лоб и на уши, но он их тотчас же откинул резким движением головы. — Вот чудики! — смеялся он. — Ну, думаю, пропало твое дело, Ваня! Не видать тебе Клавы, как своих ушей! И можешь представить себе, взялись мы с Жорой Арутюнянцем за это дело, достали пять подвод. И, знаешь, у кого? У военных. Заведующая прощалась, слезами нас до нитки промочила. И ты думаешь, это все? Я говорю Жоре: «Беги укладывай свой мешок, а я пока уложу свой». Потом я ему намекаю, что мне-де в одно место надо, ты, мол, заходи

за мной, немного, в случае чего, обожди, в общем внушаю ему всякое такое... Только я мешок свой уложил, вваливается ко мне этот, знаешь ты его? Ну, Толя Орлов? У него еще прозвище — «Гром гремит»...

— У меня просто тяжесть с сердца упала, — прорвавшись наконец сквозь поток его слов и страшно понизив голос, проговорила Клава со страстным блеском в глазах. — Я так боялась, что ты не зайдешь, ведь я же не могла сама зайти к тебе, — говорила она на каких-то бархатных низах своего голоса.

— Почему же? — спросил он, внезапно удивившись этой мысли.

— Ну, как ты не понимаешь? — Она смутилась. — А что бы я отцу сказала?

Пожалуй, это было самое большое, на что она могла пойти в этом разговоре: дать наконец понять ему, что их отношения не есть обыкновенные отношения, что в этих отношениях есть тайна. Она в конце концов должна была напомнить ему об этом, если он сам не хочет об этом говорить.

Он замолчал и так посмотрел на нее, что вдруг все ее крупное лицо и белая полная шея до самого выреза розовой кофты на груди стали, как эта кофта.

— Нет, ты не думай, что он плохо к тебе относится, — быстро заговорила она, мерцая своими косоватыми, как миндалины, глазами, — он столько раз говорил: «Умный этот Земнухов...» И ты знаешь, — тут она снова перешла на неотразимые бархатные низы своего голоса, — если бы ты захотел, ты мог бы поехать с нами.

Эта вдруг возникшая возможность уехать с любимой девушкой не приходила ему в голову и так была заманчива, что он растерялся, посмотрел на девушку, неловко улыбнулся, и вдруг лицо его стало серьезным, и он рассеянно поглядел вдоль улицы. Он стоял спиной к парку, и вся перспектива улицы, уходящая на юг, облитая жарким солнцем, бившим в лицо, открылась перед ним. Улица точно обрывалась вдали, там был спуск ко второму переезду, и далеко-далеко видны были голубые холмы в степи, за которыми вставали дымы дальних пожаров. Но он этого ничего не видел: он был сильно близорук. Он только услышал раскаты орудийных выстрелов, свистки паровоза за парком и такой мирный, знакомый с детства, такой свежий и ясный под степным небом рожок стрелочника.

— У меня же, Клава, и вещей с собой нет, — сказал он грустно и растерянно и развел руками, словно показывая и свою непокрытую голову с распадающимися длинными тем-

но-русыми волосами, и эту с короткими рукавами застиранную сатиновую рубаху, и коротковатые поношенные брюки в коричневую полоску, и тапочки на босу ногу. — Я даже очков не захватил, я и тебя-то как следует не вижу, — грустно пошутил он.

— Мы попросим папу и заедем за вещами, — тихо и страстно говорила она, искоса глядя на него. Она даже сделала движение взять его за руку, но не решилась.

И, как нарочно, отец Клавы, в кепке и сапогах и в сером поношенном пиджаке, неся два чемодана, весь обливаясь потом, вышел из-за грузовика, высматривая место, куда поставить чемоданы. Машина была загружена с верхом.

— Давай, товарищ Ковалев, я пристрою, — говорил работник, стоявший среди тюков и ящиков, и, опустившись на одно колено, придерживаясь рукой за край грузовика, по очереди принял чемоданы.

В это время, так же обходя грузовик, подошел и отец Вани, несший перед собой обеими худыми, жилистыми загорелыми руками узел, похожий на узел из прачечной, — должно быть, с бельем. Ему было очень трудно нести этот узел: он нес его перед собой в вытянутых руках, едва волоча подгибающиеся и шаркающие по земле длинные ноги. Его вытянутое морщинистое загорелое лицо, все в поту, даже побледнело, и на этом худом, изможденном лице страшно выделялись сильно белесые, с нездоровым блеском, строгие до мучительности глаза.

Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, работал сторожем в тресте, а Ковалев, отец Клавы, заведующий хозяйством управления, был его непосредственным начальником.

Ковалев был из тех многочисленных завхозов, которые в обычное время спокойно несут бремя человеческого негодования, насмешек и презрения, выпадающих на долю всех завхозов, в отместку за зло, причиняемое человечеству некоторыми их нечестными собратьями, — он был одним из тех завхозов, которые в тяжелые минуты жизни обнаруживают, что же такое есть на свете настоящий завхоз.

В течение всех последних дней, с того момента, как он получил от директора приказ эвакуировать имущество треста, он, невзирая на мольбы и жалобы сослуживцев, льстивые проявления дружбы со стороны тех из начальников, которые в обычное время замечали его не больше, чем половую щетку в передней у голландской печки, невзирая на все это, он так же спокойно, ровно и споро, как всегда, упаковал, погрузил и отправил все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Этим утром, на заре, он получил приказ уполномоченного по эвакуации треста не задерживаться долее ни

минуты, уничтожить документы, которые нельзя вывезти, и немедленно выезжать на восток.

Но, получив этот приказ, Ковалев так же спокойно и быстро препроводил сначала самого уполномоченного с его имуществом и, неизвестно откуда и как добывая все виды транспорта, продолжал отправлять оставшееся имущество треста, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. Пуще всего он боялся, что и в этот трагический день его, как всегда, обвинят в том, что он прежде всего устраивает себя, и поэтому он твердо решил уехать вместе с семьей на последней машине, которую он все-таки приберег на этот случай.

А старик Земнухов, Александр Федорович, сторож треста, по старости своей и болезни вообще не собирался и не мог выехать. Несколько дней тому назад он, как и все служащие, кто не мог выехать, получил окончательный расчет с двухнедельным выходным пособием, то есть все его дела с трестом были покончены. Но все эти дни и ночи он, так же волоча свои изуродованные ревматизмом ноги и шаркая ступнями, помогал Ковалеву паковать, грузить и отправлять имущество треста, потому что старик уже привык относиться к имуществу треста, как к своему имуществу.

Александр Федорович был старый донецкий шахтер, чудесный плотник. Еще молодым парнем, выходцем из Тамбовской губернии, он начал ходить на шахты на заработки. И в глубоких недрах донецкой земли, в самых страшных осыпях и ползунах, немало закрепил выработок его чудесный топорик, который в руках у него поклевывал, играл и пел, как золотой петушок. С юных лет работая в вечной сырости, Александр Федорович нажил свирепый ревматизм, вышел на пенсию и стал сторожем в тресте и работал сторожем так, как будто он по-прежнему был плотником.

— Клавка, собирайся, матери помоги! — взревел Ковалев, тыльной стороной грязной плотной ладони смахивая пот со лба под задранным козырьком кепки. — А, Ваня! — безразлично сказал он, увидев Земнухова. — Видал, что делается? — Он яростно покачал головой, но тут же схватился руками за узел, который нес перед собой Александр Федорович, и помог взвалить на машину. — Действительно, можно сказать, дожили, — продолжал он, отдышавшись. — Ах, сволочь! — и лицо его перекосилось от особенно гулкого раската той страшной бочки, что, как сумасшедшая, весело покатывалась по горизонту. — А ты что же, не едешь, или как? Как он у тебя, Александр Федорович?

Александр Федорович, не ответив и не взглянув на сына, пошел за новым узлом: он и боялся за сына и был недово-

лен им за то, что сын еще несколько дней тому назад не уехал в Саратов, вдогонку за ворошиловградскими юридическими курсами, где Ваня учился этим летом.

Клава, услышав слова отца, сделала Ване таинственный знак глазами и даже тронула за рукав, и уже сама хотела что-то сказать отцу. Но Ваня опередил ее.

— Нет, — сказал он, — я не могу ехать сейчас. Я должен еще достать подводу Володе Осьмухину, он лежит после операции аппендицита.

Отец Клавы свистнул.

— Достанешь ее! — сказал он одновременно насмешливо и трагически.

— А кроме того, я не один, — избегая взгляда Клавы, с вдруг побелевшими губами сказал Ваня. — У меня товарищ, Жора Арутюнянц, мы тут вместе с ним крутились и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим.

Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня посмотрел на Клаву, темные глаза которой заволоклись туманом.

— Вот как! — сказал Ковалев с полным безразличием к Ване, к Жоре Арутюнянцу и к их уговору. — Значит, прощай пока, — и он шагнул к Ване и, вздрогнув от орудийного залпа, протянул ему свою потную широкую ладонь.

— Вы на Каменск поедете или на Лихую? — спросил Ваня очень басистым голосом.

— На Каменск?! Немцы вот-вот возьмут Каменск! — взревел Ковалев. — На Лихую, только на Лихую! На Белокалитвенскую, через Донец — и лови нас...

Что-то тихо треснуло и зазвенело над их головами, и сверху посыпался мусор.

Они подняли головы и увидели, что это распахнулось окно на втором этаже, в комнате, где помещался плановый отдел треста, и в окно высунулась толстая, лысоватая, малиновая голова, с лица и шеи которой буквально ручьями катился пот, — казалось, он сейчас начнет капать на людей под окном.

— Да разве ж вы не уехали, товарищ Стаценко? — удивился Ковалев, признав в этой голове начальника отдела.

— Нет, я разбираю здесь бумаги, чтобы не осталось немцам чего-нибудь важного, — очень тихо и вежливо, как всегда, сказал Стаценко грудным низким голосом.

— Вот-то удача вам, скажи на милость! — воскликнул Ковалев. — Ведь мы же минут через десяток уехали бы!

— А вы езжайте, я найду, как выбраться, — скромно сказал Стаценко. — Скажи-ка, Ковалев, не знаешь, чья это вон машина стоит?

Ковалев, его дочь, Ваня Земнухов и работник на машине повернули головы в сторону «газика».

Женщина в «газике» мгновенно переменила положение, подавшись вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в дверце.

— Да он вас не возьмет, товарищ Стаценко, у него своей хворобы хватит! — воскликнул Ковалев.

Он так же, как и Стаценко, знал, что в этом домике с прошлой осени живет работник обкома партии Иван Федорович Проценко, живет один, снимая комнату у чужих людей: жена его работала в Ворошиловграде.

— А мне и не нужно его милости, — сказал Стаценко и посмотрел на Ковалева маленькими красными глазками застарелого любителя выпить.

Ковалев вдруг смутился и быстро покосился на работника на машине, — не понял ли тот слов Стаценко в том нехорошем смысле, в каком они были высказаны.

— Я, в простоте душевной, полагал, что они уже все давным-давно удрали, а вдруг гляжу — машина, вот и я подумал: что бы это за машина? — с добродушной улыбкой пояснил Стаценко.

Некоторое время они еще поглядели на «газик».

— Выходит, еще не все уехали, — сказал Ковалев, помрачнев.

— Ах, Ковалев, Ковалев! — сказал Стаценко грустным голосом. — Нельзя быть таким правоверным — больше, чем сам римский папа, — сказал он, перевирая поговорку, которой Ковалев и вовсе не знал.

— Я, товарищ Стаценко, человек небольшой, — хрипло сказал Ковалев, выпрямившись и глядя не вверх, на окно, а на работника на машине, — я человек небольшой и не понимаю ваши намеки...

— Что же ты на меня-то серчаешь? Я ж тебе ничего такого не сказал... Счастливого пути, Ковалев! Вряд ли увидимся уже до самого Саратова, — сказал Стаценко, и окно наверху захлопнулось.

Ковалев невидящими глазами и Ваня с выражением некоторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалев вдруг густо побагровел, словно его обидели.

— Клавка, собирайся! — взревел он и пошел вокруг машины в здание треста.

Ковалев действительно был обижен и был обижен не за себя. Ему обидно было, что человек, не простой, рядовой человек, как он, Ковалев, который по незнанию обстоятельств дела имел бы право роптать и жаловаться, а человек, подобный Стаценко, то есть приближенный к власти, немало хле-

ба-соли съевший с ее представителями и сказавший им в хорошие времена немало льстивых, витиеватых слов, — этот человек теперь осуждал этих людей, когда они уже не могли заступиться за себя.

Женщина в «газике», вконец обеспокоенная привлеченным ею вниманием, вся порозовев, сердито смотрела на входную дверь в стандартный домик.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Распахнув окна, чтобы сквозняком выдуло дым от сожженных документов, в одной из комнат, выходящих на глухой двор, сидели Иван Федорович и с ним еще двое. Хозяева квартиры выехали несколько дней тому назад. В комнате, как и во всем доме, было пустынно, уныло, бесприютно: живая душа покинула дом, осталась одна оболочка. Предметы были сдвинуты со своих мест. Иван Федорович и двое его собеседников сидели не за столом, а посреди комнаты на стульях. Они делились наметками предстоящей работы, обменивались явками.

Иван Федорович должен был сейчас уехать на партизанскую базу, куда несколько часов тому назад уже выехал его помощник. Как одному из руководителей областного подполья, Ивану Федоровичу надлежало находиться при отряде, базировавшемся в лесу возле станицы Митякинской, на границе Ворошиловградской и Ростовской областей. А двое его товарищей оставались здесь, в Краснодоне: природные донецкие шахтеры, оба они участвовали в гражданской войне во времена еще той немецкой оккупации и деникинщины.

Филипп Петрович Лютиков, оставленный секретарем подпольного райкома, был немного постарше своего товарища, — было ему уже за пятьдесят. В густых волосах Филиппа Петровича прорезалась неравномерная проседь, больше на висках и в чубе. Седина пробрызнула и в его коротко подстриженных колючих усах. Чувствовалось, что он был когда-то физически сильным человеком, но с годами и в теле и в лице его появилась нездоровая полнота, лицо оплыло книзу, и от этого подбородок, тяжеловатый от природы, казался теперь еще тяжелее. Лютиков привык следить за собой и даже в нынешних обстоятельствах одет был в опрятный черный костюм, плотно облегавший его большое тело, и в чистую белую рубашку с отложным воротничком и туго повязанным галстуком.

Старый мастеровой, герой труда еще тех первых лет восстановления хозяйства, он выдвинулся как производственник: был директором сначала совсем маленьких, а потом все более крупных предприятий. В Краснодоне он работал уже лет пятнадцать, в последние годы — начальником механического цеха Центральных мастерских треста «Краснодонуголь».

Его товарищ по подполью, Матвей Шульга, по отчеству Ко́стиевич, как его чаще и называли, — Ко́стиевич это по-украински — Константинович — принадлежал к самому первому призыву промышленных рабочих, брошенных на помощь деревне. Родом из Краснодона, он так всю жизнь и проработал потом в разных районах Донбасса на должностях, связанных с деревней. С начала войны он работал заместителем председателя исполкома одного из северных сельских районов Ворошиловградской области.

В отличие от Лютикова, который еще со времени первой угрозы оккупации знал, что останется в подполье, Шульга получил назначение всего лишь два дня тому назад, по его личной просьбе, после того как район, в котором он работал, был занят немцами. Нашли, что удобно и выгодно оставить Шульгу для подпольной работы именно здесь, в Краснодоне: с одной стороны, он был человек местный, а с другой — его уже здесь мало кто знал.

Матвей Шульга, или Костиевич, был мужчина лет сорока пяти, с сильными круглыми плечами и крепким, резких очертаний, загорелым лицом, с редкими темными крапинами в порах лица — этими следами профессии; они остаются навек у людей, долго работавших шахтерами или литейщиками. Костиевич сидел сейчас в кепке, сдвинутой на затылок, голова его была коротко острижена под машинку, из-под кепки выступало его могучее темя той крепкой кости, что редко выпадает человеку; у него и очи были воловьи.

Во всем Краснодоне не было людей, настроенных так же спокойно и в то же время торжественно-приподнято, как они трое.

— Хороший народ, прямо можно сказать, настоящий народ остался под твоим командованием, с таким народом большие дела можно делать, — говорил Иван Федорович. — Сам-то ты у кого думаешь жить?

— А там, где и жил, — у Пелагеи Ильиничны, — сказал Лютиков.

На лице Ивана Федоровича выразилось не изумление, а как бы некоторое сомнение.

— Что-то не понял я тебя, — сказал он.

— Чего же мне прятаться, Иван Федорович, судите сами,— сказал Лютиков. — Я здесь в городе человек настолько извест-

ный, что скрыться мне невозможно. Также и Баракову. — Он назвал фамилию отсутствовавшего здесь третьего руководителя подпольного райкома. — Немцы нас сразу найдут, да еще подумают что-нибудь плохое, ежели мы будем прятаться. А нам прятаться нечего. Немцам мастерские наши нужны позарез, а мы — тут как тут! Скажем: директор предприятия сбежал, инженерно-технический персонал большевики насильно увезли, а мы вот — остались работать на вас, на немцев. Рабочие разбежались, — мы их соберем. Нет инженеров? А вот вам Николай Петрович Бараков, инженер-механик, — пожалуйста! Он и по-немецки говорит... Уж мы на них поработаем, — сказал Филипп Петрович без улыбки.

Взгляд его, устремленный на Ивана Федоровича, был строгий, внимательный, и в нем было то особенное выражение ума, какое свойственно людям, привыкшим не брать ничего на веру, а все проверять самостоятельной мыслью.

— А Бараков как? — спросил Иван Федорович.

— Это наш план общий.

— А знаешь, какая первая опасность у вас обоих? — спросил Иван Федорович, обладавший уменьем видеть всякое дело со всех сторон, каким оно, это дело, может повернуться в жизни.

— Знаю: коммунисты, — отвечал Лютиков.

— Не в том дело. Коммунисты пошли работать на немцев, чего же им, немцам, лучше! Да не успеют понять свою выгоду; пока вы будете объяснять, чего хотите, они вас сгоряча...— Иван Федорович показал под потолок.

— Мы исчезнем на первые дни. Придем, когда в нас будет нужда.

— Вот! О том и речь. Меня и интересует, куда ты исчезнешь.

— Пелагея Ильинична найдет, куда спрятать... — Лютиков улыбнулся в первый раз за все время разговора, и его оплывшее книзу тяжелое лицо стало таким светлым от этой улыбки.

Выражение сомнения сошло с лица Ивана Федоровича: он был доволен Лютиковым.

— А як Шульга? — спросил он, посмотрев на Костиевича.

— Он не Шульга, он Остапчук Евдоким, — сказал Лютиков, — такая у него трудовая книжка с паровозостроительного. На днях поступил к нам слесарем в механический. Дело ясное: работал в Ворошиловграде, человек одинокий, бои начались — перебрался в Краснодон. Мастерские начнут работать, призовем и слесаря Остапчука поработать на немцев. Мы на них поработаем, — сказал Филипп Петрович.

Проценко обернулся к Шульге и, незаметно для себя, заговорил не на русском языке, каким он только что говорил с Лютиковым, а на смешанном, то русском, то украинском, — так говорил и Шульга.

— Скажи ж мени, Костиевич: на тех квартирах укрытия, що тебе дали, знаешь ли ты лично хоч едину людину? Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны, что у них за семьи, что у них за окружение?

— Сказать так, що воны мне известны, так они мне досконально не известны, — медлительно сказал Шульга, поглядывая на Ивана Федоровича своими спокойными воловьими очами. — Один адресок, — по старинке у нас тот край назывался Голубятники, то Кондратович, или, як его, Иван Гнатенко, у осьмнадцатом роци добрый був партизан. А второй адресок, на «Шанхае», — то Фомин Игнат. Лично я его не знаю, бо вин у Краснодони человек новый, но и вы, наверно, слыхали — то один наш стахановец с шахты номер четыре, говорят, человек свой и дал согласие. Удобство то, що вин беспартийный, и хоть и знатный, а, говорят, никакой общественной работы не вел, на собраниях не выступал, такой себе человек незаметный...

— А на квартирах у них ты побывал? — допытывался Проценко.

— У Кондратовича, чи то — Гнатенка Ивана, я був последний раз рокив тому двенадцать, а у Фомина я николи не був. Да и когда ж я мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно, что я только вчера прибыл и мне только вчера разрешили остаться и дали эти адреса. Но люди ж подбирали, я думаю, люди ж знали? — не то отвечая, не то спрашивая, говорил Матвей Костиевич.

— Вот! — Иван Федорович поднял палец и посмотрел на Лютикова, потом опять на Шульгу. — Бумажкам не верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте! Все и всех проверяйте наново, своим опытом. Кто ваше подполье организовал, тех — вы сами знаете — уже здесь нет. По правилу конспирации — то золотое правило! — они уехали. Они уже далеко. Мабуть, уже у Новочеркасска, — сказал Иван Федорович с тонкой улыбкой, и резвая искорка на одной ножке быстро и весело скакнула из одного его синего глаза в другой. — Это я к чему сказал? — продолжал он. — Я сказал это к тому, что создавали подполье, когда еще была наша власть, а немцы придут, и будет еще одна проверка людям, проверка жизнью и смертью...

Он не успел развить своей мысли. Хлопнула наружная дверь с улицы, по комнатам послышались звуки шагов, и вошла та самая женщина, что сидела в «газике» у дома. На лице

ее было написано все, что она испытывала, поджидая Ивана Федоровича.

— Заждалась, Катя? Та вже ж поихалы, — с широкой виноватой улыбкой сказал Иван Федорович и встал, встали и другие. — Знакомьтесь, то жинка моя, учителька, — сказал он с неожиданным самодовольством.

Лютиков уважительно пожал ее энергичную руку. С Шульгой она была знакома и улыбнулась ему:

— А ваша жена?

— Та мои ж уси... — начал было Шульга.

— Ах, простите... простите меня, — вдруг сказала она и быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и пониже ладони видно было, как все лицо ее залилось краской.

Семья Шульги осталась в районе, захваченном немцами, и это была одна из причин, по которой Шульга попросил оставить его на подпольной работе в области. Семья его не успела выехать, потому что немцы вторглись так внезапно, а Костиевич был в это время в дальних станицах: сбивал гурты скота для угона на восток.

Семья у Шульги была очень простая, как и он сам. Когда семьи работников эвакуировались на восток, семья Матвея Костиевича — жена и двое ребят: девочка школьница и семилетний сын — не пожелала уехать, и сам Матвей Костиевич не настаивал на том, чтобы семья уехала. Когда он был еще молодым и партизанил в этих местах, его молодая жена была вместе с ним, и первый их сын, теперь командир Красной Армии, родился как раз в это время. И им, по старой памяти, казалось, что семьи и в трудную пору жизни не должны разлучаться, а должны нести все тяготы вместе,—так они воспитывали и детей своих. Теперь Матвей Костиевич чувствовал себя виноватым в том, что его жена и дети остались в руках немцев, и надеялся еще выручить их, если они живы.

— Простите меня, — снова сказала жена Проценко, отнимая от лица руку, и сочувственно и виновато посмотрела на Костиевича.

— Що ж, товарищи дорогие... — начал было Иван Федорович и смолк.

Пора уже было ехать. Но все четверо почувствовали, что им очень не хочется расставаться.

Прошло всего лишь несколько часов, как их товарищи уехали, уехали к своим, по своей земле, а они четверо остались здесь, они вступили в новую, неизвестную и такую странную, после того как двадцать четыре года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они только что видели своих товарищей, товарищи были еще так недалеко от них, что физически их еще можно было бы догнать, но они не могли

догнать своих товарищей. А они, четверо, стали теперь так близки друг другу — ближе, чем самые родные люди. И им очень трудно было расстаться.

Они стоя долго трясли руки друг другу.

— Побачим, що воны за немцы, яки воны хозяева та правители, — говорил Проценко.

— Вы себя берегите, Иван Федорович, — сказал Лютиков очень серьезно.

— Та я живучий, як трава. Бережись ты, Филипп Петрович, и ты, Костиевич.

— А я бессмертный, — грустно улыбнулся Шульга.

Лютиков строго посмотрел на него и ничего не сказал.

Они по очереди обнялись, поцеловались, стараясь не встречаться глазами.

— Прощайте, — сказала жена Проценко. Она не улыбнулась, она сказала это как-то даже торжественно, и слезы выступили на ее глазах.

Лютиков вышел первым, а за ним Шульга. Они ушли так же, как и пришли, — черным ходом, через дворик. Здесь были разные хозяйственные пристройки, из-за которых каждый незаметно вышел на соседнюю, параллельную главной улицу.

А Иван Федорович с женой вышли на главную, Садовую улицу, упиравшуюся в ворота парка.

В лицо им ударило жаркое послеполуденное солнце.

Иван Федорович увидел нагруженную машину напротив через улицу, работника на ней и юношу и девушку, прощавшихся возле машины, и понял, почему жена его была так обеспокоена.

Он долго крутил ручкой, «газик» встряхивало, но мотор не заводился.

— Катя, покрути ты, а я дам газу, — смущенно сказал Проценко, залезая в машину.

Жена взялась за ручку своей тонкой загорелой рукой и с неожиданной силой сделала несколько рывков. Машина завелась. Жена Ивана Федоровича тыльной стороной ладони смахнула пот со лба, швырнула ручку в ноги шоферского сиденья и сама села рядом с Иваном Федоровичем. «Газик» рывками, будто уросливый конек, стреляя выхлопной трубой и пуская струйки грязновато-синеватого дыма, побежал по улице, потом наладился и вскоре скрылся за спуском к переезду.

— И понимаешь, входит этот Толя Орлов, — знаешь его, — глуховатым баском говорил в это время Ваня Земнухов.

— Не знаю, он, наверно, из школы Ворошилова, — беззвучно отвечала Клава.

— Одним словом, он ко мне: «Товарищ Земнухов, здесь через несколько домов от вас живет Володя Осьмухин, очень активный комсомолец, недавно перенес операцию аппендицита, и его рано привезли домой, и вот у него открылся шов и загноился, не можете ли вы ему достать подводу?» Понимаешь мое положение? Я того Володю Осьмухина прекрасно знаю, — золото, а не парень! Понимаешь мое положение? «Ну, — я говорю, — иди к Володе, я сейчас зайду тут в одно место, а потом постараюсь достать что-нибудь и зайду к вам». А сам побежал к тебе. Теперь ты понимаешь, почему я не могу поехать с вами? — виновато говорил Ваня, стараясь заглянуть в ее глаза, все больше наполнявшиеся слезами. — Но мы с Жорой Арутюнянцем... — снова начал он.

— Ваня, — сказала она, вдруг приблизившись к самому его лицу и обдав его теплым молочным дыханием. — Ваня, я горжусь тобой, я так горжусь тобой, я... — Она испустила стон, совсем не девичий, а какой-то низкий, бабий, и с этим стоном, забыв обо всем на свете, свободным, тоже не девичьим, а бабьим движением охватила его шею своими большими, полными, прохладными руками и страстно прильнула к его губам.

Девушка оторвалась от Вани и убежала в калитку. Ваня постоял немного, потом повернулся и, размахивая длинными руками, подставляя лицо и растрепавшиеся волосы, которых он уже не поправлял, солнцу, быстро пошел по улице в сторону от парка.

То вдохновение, которое, как угли под пеплом, теплилось в душе его, теперь, как пламя, освещало необыкновенное лицо его, но ни Клава и никто из людей не видели его лица теперь, когда оно стало таким прекрасным. Ваня один шел по улице, размахивая руками. Где-то в районе еще рвали шахты, где-то еще бежали, плакали, ругались люди, шли отступающие войска, слышались раскаты орудийных залпов, моторы грозно ревели в небе, дым и пыль стояли в воздухе, и солнце немилосердно калило, но для Вани Земнухова не существовало уже ничего, кроме этих полных, прохладных, нежных рук на его шее и этого терпкого, страстного, смоченного слезами поцелуя на губах его.

Все, что происходило вокруг него, все это уже не страшило его, потому что не было уже ничего невозможного для него. Он мог бы эвакуировать не только Володю Осьмухина, а весь город — с женщинами, детьми и стариками, со всем их имуществом.

«Я горжусь тобой, я так горжусь тобой», — говорила она низким бархатным голосом, и больше он уже ни о чем не мог думать. Ему было девятнадцать лет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Никто не мог сказать, как сложится жизнь при немцах.

Лютиков и Шульга заблаговременно договорились о том, как им находить друг друга: по условному знаку, через третье лицо, хозяина главной явочной квартиры в Краснодоне.

Они вышли порознь и пошли каждый своей дорогой. Могли ли они предполагать, что уже никогда больше не увидят друг друга?

Филипп Петрович поступил так, как говорил Ивану Федоровичу: он исчез.

Шульге тоже надо было бы сейчас скромненько спрятаться на одной из квартир, указанных ему,—лучше всего на квартире Ивана Гнатенко, или Кондратовича, как его запросто звали, старого партизана, его товарища. Но Шульга не видел Кондратовича двенадцать лет и почувствовал, что ему очень и очень не хочется именно сейчас идти к Ивану Гнатенко.

Как ни спокойно он держался, душа его болела и страдала. Ему нужен был сейчас человек очень близкий. И Матвей Костиевич стал вспоминать, кто же есть в Краснодоне из тех, с кем он особенно был близок во время того подполья, в 1918—1919 годах.

И тут Матвей Костиевич вспомнил сестру старого своего товарища Леонида Рыбалова, Лизу, и на большом лице его с въевшимися на всю жизнь крапинами угля выступила детская улыбка. Он вспомнил Лизу Рыбалову, какой она была в те годы, стройная, светловолосая, бесстрашная, с резкими движениями и голосом, быстроглазая, вспомнил, как она носила ему и Леониду еду на «Сеняки» и как она смеялась, сверкая белыми зубами, когда Шульга все шутил, что жалко, мол, у меня жинка, а то бы я за тобой присватал. И она ж хорошо знала жену его!

Лет десять — двенадцать тому назад он как-то встретил ее на улице и один раз, кажется, на каком-то женском собрании. Помнится, она была уже замужем. Да, она сразу же после гражданской войны вышла за какого-то Осьмухина. Этот Осьмухин служил потом в тресте. Он же сам, Матвей Шульга, был в жилищной комиссии, когда им давали квартиру в стандартном доме где-то на той улице, что идет к шахте № 5.

Он все вспоминал Лизу такой, какой он знал ее в дни молодости, и на него с такой силой нахлынули воспоминания тех молодых дней, что он снова почувствовал себя молодым. И все, что предстояло ему теперь, вдруг тоже представилось ему как бы освещенным светом его молодости. «Она не могла измениться, — думал он, — муж ее, Осьмухин, тоже вроде свой

был человек... А, куда ни шло, задери его черт, зайду к Лизе Рыбаловой! Может, они не уехали, может, сама судьба ведет меня до них. А может, она уже одна живет?» — с волнением подумал он, спускаясь к переезду.

За десять лет, что он тут не был, весь этот район застроился каменными домами, и теперь уже трудно было разобраться, в каком из них могут жить Осьмухины. Долго ходил он по притихшим улицам, среди домов с закрытыми ставнями, не решаясь зайти и спросить. Наконец он сообразил, что надо ориентироваться по копру шахты № 5, видневшемуся далеко в степи, и когда он пошел улицей, глядевшей прямо на копер, он сразу нашел домик Осьмухиных.

Окна с цветами на подоконниках были распахнуты, — ему почудились молодые голоса в комнатах, и сердце его забилось, как в молодости, когда он постучал в дверь. Наверно, его не слышно было; он постучал еще раз. За дверью послышались шаги в мягкой обуви.

Перед ним стояла Лиза Рыбалова, Елизавета Алексеевна, в домашних туфлях, с лицом одновременно и злым и полным горечи, с опухшими, красными от слез глазами. «Эге, как потрепала ее жизнь», — мгновенно подумал Шульга.

Но все же он сразу узнал ее. У нее и в молодости бывало это резкое выражение не то раздражения, не то злости, но Матвей Костиевич знал, как она на самом деле была добра. Она по-прежнему была стройна, и в светлых ее волосах не было седины, но продольные морщины, морщины тяжелых переживаний и труда, легли по лицу ее. И одета она была как-то неряшливо, — раньше она никогда не допускала себя до этого.

Она недружелюбно и вопросительно смотрела на незнакомого человека, который стоял на крыльце ее дома. И вдруг выражение удивления и словно отдаленной радости, возникшей где-то за стоящими в глазах слезами, появилось в лице ее.

— Матвей Константинович... Товарищ Шульга! — сказала она, и рука ее, державшая скобу двери, беспомощно упала. — Каким вас ветром занесло? В такое время!

— Трошки извини, Лиза, чи Лизавета Алексеевна, не знаю, як прикажешь звать... Еду вот на восток, эвакуируюсь, забежал проведать.

— То-то, что на восток, — все, все на восток! А мы? А дети наши? — вдруг сразу возбужденно заговорила она, нервными движениями быстро поправляя волосы, глядя на него не то злыми, не то очень замученными глазами. — Вы вот едете на восток, товарищ Шульга, а сын мой лежит после операции, а вы вот едете на восток! — повторяла она, точно именно

Матвей Костиевич не раз был ею предупрежден о том, что так может быть, и вот именно так и случилось, и он был виноват в этом.

— Извините, не серчайте,—сказал Матвей Костиевич очень спокойно и примирительно, хотя в душе его внезапной грустью отозвалась какая-то тоненькая-тоненькая струна. «Вот ты какая оказалась, Лиза Рыбалова, — отозвалась эта струна, — вот как ты встретила меня, милая моя Лиза!»

Но он многое видел в своей жизни и владел собой.

— Скажите толком, что у вас приключилось такое?

Он тоже перешел на «вы».

— Да уже и вы извините, — сказала она все в той же резкой манере. Тень давнишнего доброго отношения снова появилась в лице ее. — Заходите... Только у нас такое идет! — Она махнула рукой, и на ее красных, подпухших глазах снова выступили слезы.

Она отступила, приглашая его пройти. Он вслед за ней вошел в полутемную переднюю. И сразу в распахнутую дверь, в залитой солнцем комнате направо, увидел трех или четырех парубков и девушку, стоявших возле кровати, на которой полулежал на подушке, покрытый выше пояса простыней, подросток-юноша с когда-то сильно загорелым, а теперь побледневшим лицом, с темными глазами, в белой майке с отложным воротничком.

— Это к сыну прощаться пришли. Вы сюда пройдите, — Елизавета Алексеевна указала ему в комнату напротив. Комната была с теневой стороны дома, в ней было темновато и прохладно.

— Так здравствуйте ж поперву, — сказал Матвей Костиевич, снимая кепку и обнажая крепкую, стриженную под машинку голову, и протянул руку.—Не знаю, як уже вас и называть — Лиза чи Лизавета Алексеевна?

— Зовите, как вам удобнее. За важностью не гонюсь и величанья не требую, а только какая уж я Лиза? Была Лиза, а теперь... — Она резко махнула рукой и замученно и виновато и в то же время как-то очень женственно взглянула на Матвея Костиевича своими подпухшими светлыми глазами.

— Для меня ты всегда будешь Лиза, бо я уже сам старый, — улыбнулся Шульга, садясь на стул.

Она села напротив него.

— А коли я уже старый, извини, начну прямо с замечания тебе. — все с той же улыбкой, но очень серьезно продолжал Шульга.— На то, что я еду на восток и другие наши люди едут на восток, на то ты серчать не должна. Сроку нам немец проклятый не отпустил. Когда-то ты вроде была своя жинка,

значит, могу тебе сказать, что он, тот немец проклятый, вышел нам в глубокий тыл...

— А нам с этого разве легче? — с тоской сказала она.— Вы ж едете, а мы остаемся...

— Кто же в том виноват? — сказал он, помрачнев.— Семьи такие, как ваша, — сказал он, вспомнив свою семью, — мы с начала войны и доси вывозили на восток, и помощь давали, и транспорт. Мало сказать, семьи — мы тысячи, десятки тысяч рабочих людей вывезли на Урал, в Сибирь. Чего ж вы в свое время не ехали?—спросил Матвей Костиевич со все более возникавшим в нем горьким чувством.

Она молчала, и в том, как она сидела, неподвижно, прямо, точно прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате, через переднюю, чувствовалось, что она плохо слушает его. И сам он невольно стал прислушиваться к тому, что происходит в той комнате.

Оттуда доносились только редкие тихие звуки голосов, и нельзя было понять, что там происходит.

Ваня Земнухов, при всей его настойчивости и хладнокровии, которые у товарищей его вошли даже в поговорку, так и не нашел подводы или места в машине для Володи Осьмухина и вернулся домой, где он застал истомившегося от ожидания Жору Арутюнянца. Отец тоже был уже дома, и по этому признаку Ваня понял, что Ковалевы уехали.

Жора Арутюнянц был сильно вытянувшийся в длину, но все же на полголовы ниже Земнухова, очень черный от природы да еще сильно загоревший семнадцатилетний юноша с красивыми, в загнутых ресницах, армянскими черными глазами и полными губами. Он смахивал на негра.

Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти несколько дней: оба они были страстные книгочеи.

Ваню Земнухова даже называли в школе профессором. У него был только один парадный, серый в коричневую полоску, костюм, который он надевал в торжественных случаях жизни и который, как всё, что носил Ваня, был ему уже коротковат. Но когда он поддевал под пиджак белую с отложным воротничком сорочку, повязывал коричневый галстук, надевал свои в черной роговой оправе очки и появлялся в коридоре школы с карманами, полными газет, и с книгой, которую он нес в согнутой руке, рассеянно похлопывая себя ею по плечу, шел по коридору вразвалку, неизменно спокойный, молчаливый, с этим скрытым вдохновением, которое таким ровным и ясным светом горело в душе его, отбрасывая на бледное лицо его какой-то дальний отсвет, — все товарищи, а особенно ученики младших классов, его питомцы-пионеры, с невольным

почтением уступали ему дорогу, как будто он и в самом деле был профессором.

А у Жоры Арутюнянца даже была заведена специальная разграфленная тетрадь, куда он заносил фамилию автора, название каждой прочитанной книги и краткую ее оценку. Например:

«Н. Островский. Как закалялась сталь. Здорово!

А. Блок. Стихи о Прекрасной даме. Много туманных слов.

Байрон. Чайльд-Гарольд. Непонятно, почему это произведение так волновало умы, если его так скучно читать.

В. Маяковский. Хорошо! (Нет никакой оценки).

А. Толстой. Петр Первый. Здорово! Показано, что Петр был прогрессивный человек».

И многое другое можно было прочесть в этой его разграфленной тетрадке. Жора Арутюнянц вообще был очень аккуратен, чистоплотен, настойчив в своих убеждениях и во всем любил порядок и дисциплину.

Все эти дни и ночи, занимаясь эвакуацией школ, клубов, детских домов, они, ни на минуту не умолкая, с жаром говорили о втором фронте, о стихотворении «Жди меня», о Северном морском пути, о кинокартине «Большая жизнь», о работах академика Лысенко, о недостатках пионердвижения, о странном поведении правительства Сикорского в Лондоне, о поэте Щипачеве, радиодикторе Левитане, о Рузвельте и Черчилле и разошлись только в одном вопросе: Жора Арутюнянц считал, что гораздо полезнее читать газеты и книги, чем гонять по парку за девочками, а Ваня Земнухов сказал, что он лично все-таки гонял бы, если бы не был так близорук.

Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей сестрой и сердито сопевшим, крякавшим и старавшимся не глядеть на сына отцом, который в последний момент, однако, перекрестил его и вдруг припал к его лбу сухими губами, — Жора убеждал Ваню, что если он не достал подводы, то нет уже и смысла заходить к Осьмухиным. Но Ваня сказал, что он дал слово Толе Орлову и надо зайти и объяснить все.

Они вскинули за плечи вещевые мешки, Ваня взглянул в последний раз на свой любимый угол у изголовья кровати, где висел литографированный портрет Пушкина работы художника Карпова, изданный украинским видавництвом в Харькове, и стояла этажерка с книгами, среди которых главное место занимали собрание сочинений Пушкина и маленькие томики поэтов пушкинской поры, изданные «Советским писателем» в Ленинграде, — Ваня взглянул на все это, преувели-

ченно резким движением насунул на глаза кепку, и они пошли к Володе Осьмухину.

Володя, в белой майке, покрытый до пояса простынею, полулежал на постели. Возле него лежала раскрытая книга, которую он, должно быть, еще сегодня утром читал, — «Релейная защита».

В углу у окна, за кроватью, кое-как свалены были, чтобы не мешали убирать комнату, всевозможные инструменты, мотки провода, самодельный киноаппарат, части радиоприемника, — Володя Осьмухин увлекался изобретательством и мечтал быть инженером-авиаконструктором.

Толя Орлов, по прозвищу «Гром гремит», лучший друг Володи и круглый сирота, сидел на табуретке возле кровати. «Гром гремит» его прозвали за то, что он вечно, и зимой и летом, был простужен и гулко кашлял, как в бочку. Он сидел, ссутулившись и широко расставив крупные колени. Все его суставы и сочленения в локтях, кистях, коленях, стопы и голени были неестественно развиты, мосласты. Густые серые вихры торчали во все стороны на круглой голове его. Выражение глаз у него было грустное.

— Ходить, значит, никак не можешь? — спрашивал Земнухов Володю.

— Куда же ходить, доктор сказал — шов разойдется, кишки вывалятся! — мрачно сказал Володя.

Он был мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а и потому, что из-за него оставались мать и сестра.

— А ну, покажи шов, — сказал распорядительный Жора Арутюнянц.

— Что вы, он же у него забинтован! — испугалась сестра Володи Люся, стоявшая в ногах его, облокотившись о спинку кровати.

— Не беспокойтесь, все будет в совершенном порядке, — с вежливой улыбкой и приятным армянским акцентом, придававшим его словам особенную значительность, сказал Жора. — Я прошел сам всю школу первой помощи и великолепно разбинтую и забинтую.

— Это негигиенично! — протестовала Люся.

— Новейшая военная медицина, которой приходится работать в невыносимых полевых условиях, доказала, что это предрассудки, — безапелляционно сказал Жора.

— Это вы о чем-нибудь другом вычитали, — сказала Люся надменно. Но через мгновение она уже с некоторым интересом посмотрела на этого черного негритянского мальчика.

— Брось ты, Люська! Ну, я понимаю еще — мама, она человек нервный, а ты что вмешиваешься не в свои дела! Уходи, уходи! — сердито говорил Володя сестре и, откинув про-

стыню, открыл свои настолько загорелые и мускулистые худые ноги, что никакая болезнь и лежанье в больнице не могли истребить этот загар и эти развитые мышцы.

Люся отвернулась.

Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора приспустил его синие трусы и разбинтовал его. Шов гноился и был в отвратительном состоянии, и Володя, делая усилия, чтобы не морщиться от боли, сильно побледнел.

— Дрянь дело. Да? — сказал Жора морщась.

— Дела не важнец, — согласился Ваня.

Они молча и стараясь не глядеть на Володю, узкие коричневые глаза которого, всегда светившиеся удалью и хитрецой, теперь грустно и заискивающе ловили взгляды товарищей, снова забинтовали его.

Теперь им предстояло самое трудное: они должны были покинуть товарища, зная о том, что ему угрожает.

— Де же чоловик твой, Лиза? — спрашивал в это время Матвей Костиевич, чтобы перевести разговор.

— Умер, — жестко сказала Елизавета Алексеевна.—В прошлом году, как раз перед войной умер. Он все болел и умер,— несколько раз повторила она с злым, как показалось Шульге, укором. — Ах, Матвей Константинович! — сказала она с мукою в голосе. — Вы теперь тоже стали из людей власти и, может быть, всего не видите, а если б вы знали, как тяжело нам сейчас! Ведь вы же власть наша, для простых людей, я же помню, из каких вы людей, — таких же, как и мы. Я помню, как мой брат и вы боролись за нашу жизнь, и мне винить вас не в чем, я знаю, нельзя вам остаться на погибель. Но неужто ж вы не видите, что вместе с вами, все побросав, бегут и такие, кто мебель с собой везет, целые грузовики барахла, и нет им никакого дела до нас, простых людей, а ведь мы маленькие люди, все это сделали своими руками. Ах, Матвей Константинович! И неужто ж вы не видите, что этим сволочам вещи, извините меня, дороже, чем мы, простые люди? — воскликнула она с искривившимися от муки губами. — А потом вы удивляетесь, что другие люди обижаются на вас. Да ведь один раз в жизни пережить такое — ведь во всем разуверишься!

Впоследствии Шульга не раз с мучительным волнением и скорбью вспоминал этот момент их разговора. Самое непоправимое было то, что он в глубине души понимал, какие чувства владели этой женщиной, и в душе его, широкой и сильной, были настоящие слова для нее. Но в тот момент, когда она так говорила, с прорвавшейся в ней мукой и, как ему казалось, злобой, ее слова и весь ее облик так противоречили представлению о той Лизе, которую он знал в дни молодости,

так поразили его несоответствием тому, что он ожидал! И оскорбительным вдруг показалось ему, что, когда он сам оставался здесь, а вся семья его была уже в руках немцев, может быть, уже погибла, она, эта женщина, говорила только о себе, даже не спросила о его семье, о жене, с которой она была дружна в молодости. И с губ Шульги вдруг тоже сорвались слова, о которых он вспоминал потом с сожалением.

— Далеко вы заехали, Елизавета Алексеевна, в мыслях своих, — сказал он холодно, — далеко! Оно удобно, конечно, разувериться в своей власти, когда немецкая власть на поро́ге. Чуете? — сказал он, грозно подняв руку с коротким, поросшим волосом пальцем, и раскаты дальней артиллерийской стрельбы точно ворвались в комнату. — А думали вы, сколько там гибнет лучшего цвету народа нашего, тех, что из простых людей поднялись до власти, як вы кажете, а я скажу, — поднялись до сознания, що воны цвет народа, коммунисты! И коли вы разуверились в тех людях, разуверились в такой час, когда нас немец топчет, мне на то обидно. Обидно и жалко вас, жалко, — грозно повторил он, и губы его задрожали, как у ребенка.

— Да вы что это?.. Что это?.. Вы... вы хотите обвинить меня, что я немцев жду? — задохнувшись и еще больше распаляясь оттого, что он ее так понял, резко вскричала Елизавета Алексеевна. — Ах вы... А сын мой? Я мать!.. А вы...

— А разве вы забыли, Елизавета Алексеевна, когда мы с вами были простые рабочие люди, як вы кажете, и вставала нам опасность от немцев, от белых, разве мы поперву о себе думали? — не слушая ее, говорил Матвей Костиевич с горьким чувством. — Нет, мы поперву не о себе думали, а думали о лучших наших людях—вожаках, вот о ком мы думали! Вспомните-ка брата вашего? Вот как всегда думали и поступали мы, рабочие люди! Спрятать, уберечь вожаков наших, лучших людей, цвет наш, а самим стать грудью, — вот как всегда думал и думает рабочий человек, и думать иначе считает для себя позором! Неужели ж вы так изменились с той поры, Елизавета Алексеевна?

— Обождите! — вдруг сказала она и вся выпрямилась, прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате через переднюю.

И Шульга тоже прислушался.

В той комнате наступила тишина, и эта тишина подсказала матери, что там что-то происходит. Она, мгновенно забыв о Матвее Костиевиче, резко рванулась в дверь и прошла к сыну. Матвей Костиевич, недовольный собой, хмуро сминая в больших, поросших темным волосом руках кепку, вышел в переднюю.

Сын Елизаветы Алексеевны, полулежа на постели, прощался с товарищами долго, молча пожимая им руки, взволнованно и нервически подергивая шеей и темной, остриженной под машинку, уже несколько обросшей головой. Как это ни странно было в его положении, на лице у него было выражение радостного подъема, темные узкие глаза его блестели. Один из его товарищей, вихрастый, неуклюжий, мосластый, стоял у его изголовья и, отвернувшись так, что лицо его видно было только в профиль, с просветленным выражением, расширенными глазами смотрел в солнечное распахнутое окно.

А девушка по-прежнему стояла у больного в ногах и улыбалась. И у Матвея Костиевича вдруг больно сжалось сердце, когда в этой девушке он узнал прежнюю Лизу Рыбалову. Да, это была Лиза, какой он ее знал более двадцати лет назад, только более смягченная, чем та работница Лиза с немного большеватыми руками и резкими движениями, которую он знал и любил.

«Да, треба идти»,— с грустью подумал он, сминая в руках кепку, и неловко переступил по скрипящим половицам.

— Уходите? — громко спросила Елизавета Алексеевна, рванувшись к нему.

— Як кажуть, ничего не попишешь, пора уже ехать. Не серчайте. — И он надел кепку.

— Уже? — повторила она. Не то горькое чувство, не то сожаление прозвучало в этом ее вопросе-восклицании, а может быть, ему так показалось. — Не серчайте вы... Дай же вам бог, коли он есть, счастливо добраться, не забывайте нас, помните о нас, — говорила она, беспомощно опустив руки. И что-то такое доброе, материнское звучало в ее голосе, что к горлу его вдруг подкатил комок.

— Прощайте, — хмуро сказал Матвей Костиевич и вышел на улицу.

Ах, напрасно, напрасно ушел ты, товарищ Шульга! Напрасно ты покинул Елизавету Алексеевну и эту девушку, которая так походила на прежнюю Лизу Рыбалову, напрасно не вдумался, не вчувствовался в то, что произошло на твоих глазах между этими юношами, даже не поинтересовался тем, кто они, эти юноши!

Если бы Матвей Костиевич не поступил так, может быть, вся его жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не только не мог понимать это, он был даже чем-то обижен и оскорблен. И ему ничего не оставалось, как идти в дальний район, который в старину назывался «Голубятниками», разыскивать домик своего товарища по старому партизанству, Ивана Гнатенко, или запросто Кондратовича, у которого он

не был двенадцать лет. Мог ли он подумать, что в этот момент он делал первый шаг по тому пути, который привел его к гибели?

А вот что произошло в последнюю минуту перед тем, как он вслед за Елизаветой Алексеевной вышел в переднюю, — вот что произошло в комнате, где лежал сын Елизаветы Алексеевны.

Там стояло тягостное молчание. И тогда поднялся с табурета Толя Орлов, тот самый Толя Орлов, которого прозвали «Гром гремит», — он поднялся с табурета и сказал, что если уж его лучший друг Володя не может уехать, то он, Толя Орлов, останется с ним.

В первое мгновение все растерялись. Потом Володя прослезился и стал целовать Толю Орлова, и всеми овладело радостное возбуждение. Люся, та бросилась «Грому гремит» на шею, стала целовать его в щеки, в глаза, в нос, — он не знал минуты счастливее этой. Потом Люся сердито посмотрела на Жору Арутюнянца. Ей очень хотелось, чтобы этот аккуратный юноша-негр тоже остался.

— Вот здорово! Вот это товарищи! Вот это молодец, Толя! — довольным глуховатым баском говорил Ваня Земнухов. — Я горжусь тобой... — вдруг сказал он. — Я и вот Жора Арутюнянц, мы гордимся тобой, — поправился он.

И он пожал Толе руку.

— Да разве мы будем просто так жить? — с блестящими глазами говорил Володя. — Мы будем бороться, правда, Толя? И не может быть, чтобы здесь никого не оставили от райкома партии для подпольной работы. Мы их найдем! Разве мы не сможем быть полезны!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц, простившись с Володей Осьмухиным, влились в поток беженцев, катившийся вдоль железной дороги на Лихую.

Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, где у Жоры Арутюнянца была влиятельная, как он сказал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвижении, — там дядя его работал сапожником при станции. Но Ваня, которому Жора подчинялся как старшему товарищу, узнав, что Ковалевы едут на Лихую, в последнюю минуту предложил Жоре этот новый маршрут, очень туманно сформулировав его преимущества. И Жора, которому было решительно все равно,

куда ни идти, с готовностью изменил свой довольно ясный маршрут на туманный маршрут Земнухова.

На одном из этапов пути к ним присоединился маленький, кривоногий и донельзя усатый майор в сильно помятой гимнастерке с гвардейским значком с правой стороны груди, в сухих покоробленных сапогах. Его военная форма, особенно сапоги, находилась в таком горестном состоянии оттого, что, как он пояснил, она в течение пяти месяцев, пока он излечивался от ран, валялась в госпитальной кладовой.

Последнее время госпиталь занимал одно из отделений краснодонской главной больницы и теперь эвакуировался, но за недостатком транспорта всем, кто мог ходить, предложено было идти пешком, и еще более ста тяжелораненых осталось в Краснодоне без всякой надежды выбраться.

Кроме этого пространного объяснения судьбы своей и своего госпиталя, майор во весь остальной путь не произнес ни слова. Он был до крайности молчалив, он молчал упорно и совершенно безнадежно. Кроме того, майор хромал. Но, несмотря на свою хромоту, он довольно ретиво шагал в своих покоробленных сапогах, не отставая от ребят, и вскоре внушил такое уважение к себе, что ребята, о чем бы ни говорили, обращались к нему как к молчаливому авторитету.

В то время, когда множество людей, пожилых и молодых, и не только женщин, а мужчин с оружием в руках, страдало и мучилось в этом нескончаемом потоке отступления, Ваня и Жора, с вещевыми мешками за плечами, закатав рукава выше локтей, неся в руках кепки, шагали по степи, полные бодрости и радужных надежд. Их преимущество перед другими людьми было в том, что они были совсем юны, одиноки, не знали, где находится враг и где свои, не верили слухам, и весь свет с этой необъятной степью, раскаленным солнцем, дымом пожаров и пылью, тучей стоявшей в районе дорог, которые то там, то здесь бомбил и обстреливал немец, — весь свет казался им открытым на все четыре стороны.

И говорили они о вещах, которые не имели никакого отношения к тому, что происходило вокруг.

— Почему же ты считаешь, что быть юристом не интересно в наши дни? — спрашивал Ваня своим глуховатым баском.

— Потому что, пока идет война, надо быть военным, а когда война кончится, надо быть инженером, чтобы восстанавливать хозяйство, а юристом — это сейчас не главное, — говорил Жора с той четкостью и определенностью суждений, которая была ему свойственна, несмотря на его семнадцать лет.

— Да, конечно, пока идет война, я хотел бы быть военным, но военным меня не берут — по глазам. Когда ты отходишь

от меня, я уже вижу тебя как что-то неопределенно долговязое и черное, — с усмешкой сказал Ваня.— А инженером быть, конечно, очень полезно, но тут дело в склонности, а у меня склонность, как ты знаешь, к поэзии.

— Тогда тебе нужно идти в литературный вуз, — очень ясно и четко определил Жора и посмотрел на майора, как на человека, который единственный может понимать, насколько он, Жора, прав. Но майор никак не отозвался на его слова.

— А вот этого я как раз и не хочу, — сказал Ваня. — Ни Пушкин, ни Тютчев не проходили литературного вуза, да тогда и не было такого, и вообще научиться стать поэтом в учебном заведении нельзя.

— Всему можно научиться, — отвечал Жора.

— Нет, учиться на поэта в учебном заведении — это просто глупо. Каждый человек должен учиться и начинать жить с обыкновенной профессии, а если у него от природы есть талант поэтический, этот талант разовьется путем самостоятельного развития, и только тогда, я думаю, можно стать писателем по профессии. Например, Тютчев был дипломатом, Гарин — инженером, Чехов — доктором, Толстой — помещиком...

— Удобная профессия! — сказал Жора, лукаво взглянув на Ваню черными армянскими глазами.

Оба они засмеялись, и майор тоже улыбнулся в усы.

— А юристом кто-нибудь был? — деловито спросил Жора.

В конце концов, если кто-нибудь из писателей был юристом, это вполне устраивало его и в отношении Вани.

— Этого я не знаю, но юридическое образование таково, что оно дает знания в науках, необходимых писателю, — в области наук общественных, истории, права, литературы...

— Положим, эти дисциплины, — сказал Жора не без некоторого щегольства, — эти дисциплины лучше пройти в педвузе.

— Но я не хотел бы быть педагогом, хотя вы там и прозвали меня профессором...

— Все-таки глупо, например, быть защитником на нашем суде, — сказал Жора,— например, помнишь, на процессе этих сволочей-вредителей? Я все время думаю про защитников. Вот глупое у них положение, а? — И Жора опять засмеялся, показав ослепительно белые зубы.

— Ну, защитником у нас, конечно, не интересно, у нас суд народный, но следователем, я думаю, очень интересно, можно очень много разных людей узнать.

— Лучше всего — обвинителем, — сказал Жора. — Помнишь, Вышинский? Здорово! Но все-таки я бы лично не стал юристом.

— Ленин был юристом, — сказал Ваня.

— То другое время было.

— Я бы еще с тобой поспорил, если бы мне не было ясно, что на эту тему — кем быть — спорить просто бесполезно и глупо, — сказал Ваня с улыбкой. — Надо быть человеком образованным, знающим свое дело, трудолюбивым, а если у тебя к тому же есть талант поэтический, он себя проявит.

— Ваня, ты знаешь, я всегда с удовольствием читал твои стихи и в стенгазете и в журнале «Парус», который вы выпускали с Кошевым.

— Ты читал этот журнал? — живо переспросил Ваня.

— Да, я читал этот журнал, — торжественно сказал Жора, — я читал наш школьный «Крокодил», я следил за всем, что издается в нашей школе, — сказал он самодовольно, — и я тебе определенно скажу: у тебя есть талант!

— Уж и талант, — смущенно покосившись на майора, сказал Ваня и кивком головы закинул свои рассыпавшиеся длинные волосы. — Пока что так, кропаем стишки... Пушкин — вот это да, это мой бог!

— Нет, ты здорово, помню, Ленку Позднышеву продернул, что она все у зеркала кривляется... Ха-ха!.. Очень здорово, ей-богу! — с сильно прорвавшимся армянским акцентом воскликнул Жора. — Как, как это? «Прелестный ротик открывала...» Ха-ха...

— Ну, ерунда какая, — смущенно и глуховато басил Ваня.

— Слушай, а у тебя любовных стихов нет, а? — таинственно сказал Жора. — Слушай, прочти что-нибудь любовное, да? — И Жора подмигнул майору.

— Какие там любовные, что ты, право! — окончательно смутился Ваня.

У него были любовные стихи, посвященные Клаве и озаглавленные, совсем как у Пушкина: «К...». Именно так — большое «К» и многоточие. И он снова вспомнил все, что произошло между ним и Клавой, и все мечты свои. Он был счастлив. Да, он был счастлив среди всеобщего несчастья. Но разве он мог поделиться этим с Жорой?

— Нет, наверно, у тебя есть. Слушай, прочти, ей-богу, — сверкая мальчишескими армянскими глазами, упрашивал Жора.

— Брось глупости говорить...

— Неужели правда, не пишешь? — Жора вдруг стал серьезным, и в голосе его появилась прежняя учительская нотка. — Правильно, что не пишешь. Разве сейчас время писать любовные стихи, как этот Симонов, да? Когда надо воспитывать народ в духе непримиримой ненависти к врагу? Надо писать политические стихи! Маяковский, Сурков, да? Здорово!

— Не в этом дело, писать можно обо всем, — раздумчиво сказал Ваня. — Если мы родились на свет и живем жизнью, о которой, может быть, мечтали целые поколения лучших людей и боролись за нее, мы можем, имеем право писать обо всем, чем мы живем, это все важно и неповторимо.

— Ну, ей-богу, прочти что-нибудь! — взмолился Жора.

Невыносимая духота стояла в воздухе; они шли, то смеясь и вскрикивая, то переходя на тон интимно-доверительный; шли и жестикулировали, спины под вещевыми мешками были у них совсем мокрыми; пыль оседала на лицах, и, отирая пот, они размазывали ее по лицу; и оба они — и смуглый, как негр, Жора, и Ваня, с длинным лицом с бледным загаром, — и даже усатый майор походили на трубочистов. Но весь мир в эту минуту был для них — и они нисколько не сомневались в том, что и для майора, — сосредоточен на том, о чем они говорили.

— Ну что ж, я прочту...

И Ваня, не волнуясь, спокойным глуховатым голосом прочел:

Нет, нам не скучно и не грустно,
Нас не тревожит жизни путь.
Измен незнаемые чувства,
Нет, не волнуют нашу грудь.

Бегут мятежной чередою
Счастливой юности лета,
Мечты игривою толпою
Собой наполнили сердца.

Нам чуждо к жизни отвращенье,
Чужда холодная тоска,
Бесплодной юности сомненья
И внутренняя пустота.

Нас радости прельщают мира,
И без боязни мы вперед
Взор устремляем, где вершина
Коммуны будущей зовет.

— Здорово! У тебя определенный талант! — воскликнул Жора, с искренним восхищением глядя на старшего товарища.

В это время майор издал горлом какой-то странный звук, и Ваня и Жора обернулись к нему.

— Вы, ребята... вы даже не знаете, какие вы, ребята! — сипло сказал майор, с волнением глядя на них своими глубоко спрятанными под нависшими бровями влажными глазами. — Н-ет! Такое государство стояло и будет стоять! — вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким черным пальцем. — Он думает, он у нас жизнь пре-

кратил! — с издевкой в голосе продолжал майор. — Нет, брат, шалишь! Жизнь идет, и наши ребятишки думают о тебе, как о чуме или холере. Пришел — и уйдешь, а жизнь своим чередом — учиться, работать! А он-то думал! — издевался майор. — Наша-то жизнь навеки, а он кто? Прыщ на гладком месте, — сковырнул и нет его... Ничего! Я в этом проклятом госпитале сам было пал духом, — неужто ж, думаю, на него и силы нет, а как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное обновление души... Думаю, многие клянут сейчас нас, армейцев, а разве можно? Отступаем — верно. Так ведь он какой кулак собрал! Но подумайте, какая сила духа! Ах, боже мой! Да это счастье — стоять на месте, не отступать, жизнь отдать, — поверьте совести, я сам бы почел за счастье жизнь отдать, отдать жизнь за таких ребят, как вы! — с волнением, сотрясавшим его легкое, сухое тело, говорил майор.

Ваня и Жора, смолкнув, с растерянным и добрым выражением смотрели на него.

Майор высказался, поморгал, отер усы грязным носовым платком и смолк, и так молчал уже до самой ночи. А ночью майор с внезапной энергией и яростью кинулся «рассасывать», как он выразился, гигантскую пробку из машин, подвод и артиллерийского обоза, и Ваня и Жора навсегда потеряли его из виду и тотчас же забыли про него.

До Лихой они добирались двое суток. К тому времени уже стало известно, что на юге бои идут под Новочеркасском, а по той стороне Донца, в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части.

Но, по слухам, какая-то часть упорно сражалась под Каменском, не пропуская немцев на Лихую. Народная молва из уст в уста передавала фамилию генерала, командира части. Именно ему и его части люди были обязаны тем, что переправы через Нижний Донец все были в наших руках и еще можно было по степным проселкам свободно выйти на Дон и переправиться через него.

В последнюю ночь, измученные несколькими днями пути под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, свалились спать на каком-то хуторе, на сеновале. Их разбудили гулкие бомбовые удары, от которых дрожала пунька.

Солнце еще невысоко стояло над степью, но уже по всему пространству хлебов переливалось знойное, голубовато-золотистое марево, когда Ваня и Жора подходили к гигантскому табору машин, людей и подвод, раскинувшемуся по эту сторону Донца, немного ниже обширной станицы-города на той стороне реки, с зелеными садами, каменными зданиями

правительственных и торговых учреждений и школ, многие из которых были превращены в руины бомбардировкой с воздуха и еще дымились.

Весь этот гигантский табор, текучий по своему составу, но имевший и своих старожилов, весь этот табор, пополняясь новыми людьми и транспортом, образовался здесь уже недели две назад и жил своим особенным, неповторимым бытом.

Это была невообразимая смесь остатков воинских подразделений, коллективов учреждений и предприятий, всех видов транспорта, беженцев всех социальных категорий, возрастов и семейных положений. И все усилия, все внимание, вся деятельность этих людей были направлены на то, чтобы как можно ближе придвинуться к реке, к узкой полоске наплавного моста через Донец.

Но если все усилия людей, сгрудившихся в таборе, сводились к тому, чтобы попасть на мост, — все усилия военных людей, ведавших переправой, сводились к тому, чтобы не пустить этих людей на мост, а в первую очередь дать переправиться частям Красной Армии, отходящим на новые рубежи обороны между Донцом и Доном.

В этой борьбе индивидуальных и частных воль, усилий и военной, государственной необходимости, в условиях, когда враг вот-вот мог появиться и на том и на этом берегу Донца и когда слухи, один чудовищнее другого, подогревали взаимно противоречившие страсти и усилия, — в этой борьбе и проходила повседневная жизнь табора.

Иные организации стояли здесь так долго, дожидаясь очереди, что успели нарыть щели в земле. Иные разбили палатки, сложили временные очаги, на которых варили пищу. Лагерь был полон детей. И день и ночь тянулся через Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, по обеим сторонам которого люди переправлялись на плотах, на лодках. Тысячи голов скота, мыча и блея, теснились на берегу и шли вплавь.

Переправу ежедневно по нескольку раз бомбили и обстреливали с самолетов немцы, и тотчас же начинала бить охранявшая переправу зенитная артиллерия, звенели зенитные пулеметы, и весь табор в одно мгновение разлетался по степи. Но только исчезали самолеты, как все вновь возвращалось на свои места.

С того момента как Ваня попал в этот табор, у него уже не было другой цели, как только отыскать машину, на которой ехали Ковалевы. В нем боролись два чувства: он уже начинал понимать, сколь велика опасность, и ему хотелось бы, чтобы Клава с родителями была уже не только по ту сторону

Донца, а и по ту сторону Дона, и в то же время он был бы счастлив, если бы встретил Клаву еще здесь.

Они бродили по табору, Ваня и Жора, ища своих краснодонцев, как вдруг от одной из подвод кто-то окликнул их по именам, и Олег Кошевой, их товарищ по школе, загоревший и, как всегда, свежий, аккуратный, с выражением оживленной деятельности во всей его легкой с широкими плечами фигуре и в поблескивающих глазах с золотящимися ресницами, уже обнимал товарищей сильными, большими руками и крепко целовал в губы.

Они набрели на машину шахты № 1-бис с Валько и Шевцовым, на подводы с Улей и с родней Кошевого и на тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры и заведующая которым теперь даже не узнала их.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Во всей той части табора, куда вышли Ваня и Жора и где властвовала жесткая, смуглая рука директора шахты № 1-бис Валько, был уже порядок: машины, подводы стояли отдельно, вытянувшись в линии, везде были вырыты щели. Возле грузовика шахты лежал запас дров — несколько метров хуторского плетня, и тетушка Марина и Уля варили из свежей капусты щи с салом.

Он был настоящий хозяин, этот старый цыган Валько. Прихватив своих рабочих и пятерых ребят-комсомольцев, Валько тяжелой походкой, так свирепо поглядывая из-под сросшихся черных бровей, что люди расступались перед ним, направился к самой переправе, надеясь наложить свою жесткую руку на все это предприятие.

С того момента, как Валько стал наводить порядок, Олег был так же влюблен в Валько, как некоторое время тому назад он был влюблен в Каюткина, а еще некоторое время назад — в Улю.

Исключительная жажда деятельности, желание проявить всего себя, желание вмешаться в жизнь людей, в их деятельность, с тем чтобы внести в нее что-то свое, более совершенное, быстрее оборачивающееся и наполненное новым содержанием, — эта еще не вполне осмысленная, но охватывающая все его существо и составляющая основу его натуры духовная сила овладела Олегом.

— Ой, и д-добре ж, Иван, шо мы с тобой зуст-трились!— чуть заикаясь, весело говорил Олег, шагая рядом с Земнухо-

вым вслед за Валько. — Добре, шо мы зустрились, бо я дуже по тебе скучився. Видал? А ты кажешь — вирши! У-у, брат!.. — И Олег глазами и пальцем с уважением указал в спину Валько. — Да, брат, главная сила на свете — сила организации! — говорил он, остро поблескивая глазами в темнозолотистых ресницах. — Без нее, видно, самое хорошее и нужное дело ползет — вот как вязаная ткань, надорвется и ползет. Но стоит приложить руку и волю — и...

— И глядишь, тебе же и морду набьют,—не оборачиваясь, сказал Валько.

И ребята по заслугам оценили его мрачный юмор.

Подобно тому как на фронте, попав во вторые эшелоны армии, трудно судить о размерах и ожесточенности битвы на переднем крае, так и на переправе, находясь где-то в глубоком тылу ее, в последней очереди, нельзя судить об истинных размерах бедствия.

Чем ближе они подходили к переправе, тем запутаннее, непоправимее становилось положение переправляющихся и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение, которое было уже столь застарелым и столь накаленным, что вряд ли уже какая-нибудь сила могла его разрядить. Стремясь как можно ближе попасть к наплавному мосту, в силу напора задних машин на передние и движения между ними масс людей, все виды транспорта были уже так тесно и непоправимо перепутаны между собой, втиснуты в самых невероятных положениях, что не было уже никакой возможности привести их в иной порядок, кроме как постепенно направлять вперед.

В невыносимой жаре, еще более усиливавшейся от скученности, люди, обливавшиеся пóтом, находились в той степени каления, когда, казалось, от прикосновения друг к другу они могут взорваться.

Военные люди, ведавшие переправой, не спавшие уже много суток, черные от бессонницы, от солнца, на котором они жарились от восхода до заката, от пыли, все время взбиваемой тысячами ног и колес, осипшие от ругани, с воспаленными веками и потными черными руками, доведенные до той степени нервной усталости, когда ничто уже не держалось в этих руках, — продолжали, однако, свою нечеловеческую работу.

Было совершенно ясно, что ничего другого, кроме того, что делали эти люди, уже нельзя было сделать, но Валько все же спустился к самому съезду на мост, и его хриплый голос потерялся среди других голосов и рычания машин.

Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с выраже-

нием разочарования и удивления смотрел, как в этой пыли и жаре с оползшего и размешанного в чудовищное месиво берега один за другим ползут грузовики и подводы, нагруженные с верхом, и все идут и идут люди — потные, грязные, злые, униженные, но идут, идут...

И только Донец, эта любимая с детства река, на среднее течение которой столько раз в своей жизни ездили ребята-школьники купаться и ловить рыбу, только Донец, широкий, плавный в этих местах, катил по-прежнему свои теплые мутноватые воды.

— Нет, все-таки хочется кому-то морду набить! — вдруг сказал Виктор Петров, с грустным выражением в смелых своих глазах смотревший не на переправу, а на реку; он был с хутора Погорелого, вырос на этой реке.

— Тот-то уже, наверно, переправился! — пошутил Ваня.

Ребята фыркнули.

— Бить надо не здесь, а там, — холодно сказал Анатолий, кивнув головой в узбекской шапочке на запад.

— Совершенно верно, — поддержал его Жора.

И почти в то же мгновение, как он это сказал, раздался крик:

— Воздух!

И вдруг ударили зенитные пушки, зазвенели пулеметы, послышался рев моторов в небе и пронзительный нарастающий визг обрушившихся бомб.

Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние потрясали все вокруг, посыпались комья земли и щепки, и сразу вслед за первой очередью самолетов пронеслась вторая очередь, за нею третья, и визг, и вой, и взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и пулеметов заполнили, казалось, все пространство между степью и небом.

Но вот самолеты прошли, люди стали подыматься с земли, и в это время откуда-то не очень издалека, со стороны хутора, где ночевали Жора и Ваня, послышались округлые выстрелы пушек, и через мгновение, вздымая столбы земли и щепок, в самом таборе с резким грохотом начали рваться снаряды.

Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попáдали на землю, частью повернули головы в сторону рвущихся снарядов, не упуская в то же время из виду переправы. И по лицам и по поведению военных, ведавших переправой, люди поняли, что произошло что-то непоправимое.

Военные, управлявшие переправой, переглянулись, постояли мгновение, будто прислушиваясь; вдруг один из них бросился в блиндаж у самого спуска к наплавному мосту, а другой закричал вдоль берега, созывая команду.

Через минуту военный выбежал из блиндажа с двумя шинелями через руку и вещевыми мешками в другой руке, которые он тащил за лямки, и оба военных и бойцы комендантской команды, не строясь, бросились бегом по наплавному мосту, обгоняя машины, вновь начавшие свое движение к мосту и по мосту.

То, что произошло вслед за этим, произошло так внезапно, что никто не мог бы сказать, с чего все это началось. Какие-то люди с криком бросились вслед за военными. Какая-то сумятица произошла среди машин на самом съезде: несколько машин разом хлынули на понтон, сцепились, раздался треск, но хотя путь дальше был явно загорожен этими машинами, другие машины, напирая задние на передние, продолжали со страшным ревом моторов обрушиваться в эту кашу из машин на понтоне. Одна машина свалилась в воду, за ней другая, и готовилась свалиться третья, но водитель мощным движением руки приковал ее на тормозе.

Ваня Земнухов, с удивлением смотревший своими близорукими глазами на то, что происходит с машинами, вдруг воскликнул:

— Клава!

И бросился к съезду.

Да, эта третья машина, едва не свалившаяся в воду, была машиной Ковалева, где поверх вещей сидели он сам, его жена, дочь и еще какие-то люди.

— Клава! — снова крикнул Ваня, неизвестно как очутившийся у самой машины.

Люди выпрыгивали из нее. Ваня протянул руку, и Клава спрыгнула к нему.

— Кончено!.. К чертовой матери! — сказал Ковалев так, что у Вани похолодело сердце.

Клава, руки которой он не решился задерживать долее в своих, искоса, не видя, смотрела на Ваню, и ее била дрожь.

— Идти-то можешь? Скажи, можешь? — срывавшимся на плач голосом спрашивал Ковалев жену, которая, держась рукой за сердце, хватала ртом воздух, как рыба.

— Оставь, оставь нас... беги... они убьют тебя... — лепетала она задыхаясь.

— Да что, что случилось? — спросил Ваня.

— Немцы! — сказал Ковалев.

— Беги, беги, оставь нас! — повторяла Клавина мама.

Ковалев, брызнув слезами, схватил Ваню за руку.

— Ваня! — сказал он плача. — Спаси их, не бросай их. Будете живы — в Нижнюю Александровку, там у нас родня... Ваня! У меня на тебя...

Снаряд с грохотом разорвался у самого съезда, в месиве машин.

Люди с берега, военные и штатские, лавиной молча хлынули на понтоны.

Ковалев, отпустив руку Вани, сделал порывистое движение к жене, к дочери — видно, хотел проститься, но вдруг, в отчаянии взмахнув обеими руками, вместе с другими людьми побежал по наплавному мосту.

Олег с берега звал Земнухова, но Ваня ничего не слышал.

— Идемте, пока нас не сшибли, — сурово, спокойно сказал он матери Клавы и взял ее под руку. — Идемте к этому блиндажу. Слышите? Клава, иди за мной, слышишь? — строго и нежно говорил он.

Перед тем как они спустились в блиндаж, он еще успел заметить, как бойцы возле зениток, лихорадочно повозившись у орудий, отняли от стволов какие-то тяжелые части и, держа их в руках перед собой, побежали на мост и через некоторое время сбросили тяжелые части в воду. На всем протяжении реки, выше и ниже моста, вплавь перебирались люди и скот. Но Ваня этого уже не видел.

Его товарищи, потеряв из виду и его и Валько, стараясь не поддаться хлынувшему навстречу им людскому потоку, бежали к тому месту, где они оставили свои подводы.

— Держитесь вместе, мы должны быть вместе! — первый проталкиваясь среди людей своими сильными плечами, кричал Олег, оглядываясь на ребят горящими, злыми, желтыми от злости глазами.

Весь табор роился и уже распадался; машины двигались одна возле другой, рыча моторами, а те, что могли пробиться, уползали вдоль берега, вниз по реке.

В то время, когда налетели самолеты, тетушка Марина, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки из плетня, которые дядя Коля рубил артиллерийским кинжалом. А Уля сидела рядом на траве и, задумавшись о чем-то своем так, что в лице ее, где-то в углах губ и в тонком вырезе ноздрей, обозначились черты мрачной силы, смотрела на то, как Григорий Ильич, сидя на борту машины, обняв голубоглазую девочку, которую он только что поил молочком, что-то рассказывал девочке на ухо, а девочка смеялась. Машина, вокруг которой играли дети под наблюдением своих нянь и возле которой, безучастная ко всему, сидела заведующая домом, находилась метрах в тридцати от того места, где был разведен костер. Подводы детского дома, так же как и подводы Петрова и Кошевого, стояли в ряду других подвод.

Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел броситься в отрытые щели в земле и все попадали тут же на зем-

лю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала вихрем нараставший, точно расширявшийся книзу визг падающей бомбы. И в то же мгновение резкий удар страшной силы, как разряд молнии, разразился, казалось, не только над Улей, а в ней самой. Воздух со свистом прошумел над ней, и на спину посыпалась земля. Уля слышала рев моторов в небе и снова этот визг, но уже более дальний, и все лежала так, прижавшись к земле.

Она не помнила, когда встала и что подсказало ей, что надо и можно встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший ее, и из самой глубины ее души вырвался страстный, звериный вопль.

Не было перед ней ни машины шахты № 1-бис, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки, — их не было и нигде поблизости. На том месте, где стояла машина, зияла круглая воронка развороченной, черной, опаленной земли, а вокруг воронки в разных местах валялись обугленные части машины, изуродованные трупы детей, а в нескольких шагах от Ули шевелился странный, в красном платке, обрубок, вывалянный в земле. В этом обрубке она признала верхнюю часть туловища воспитательницы из детского дома. А нижней ее части с этими резиновыми ботами, надетыми прямо на чулок, не было нигде, — ее вообще уже не было.

Мальчик лет восьми, с натугой пригибая к земле голову, а ручки закинув назад, как будто он собирался прыгнуть, крутился на месте, притопывая ножкой, и визжал.

Не помня себя, Уля кинулась к мальчику, хотела обнять его, но мальчик с визгом затрепыхался в ее руках. Она приподняла его голову и увидела, что лицо у мальчика вздулось волдырем-отеком и вывороченные белые глаза вылезли из орбит.

Уля опустилась на землю и зарыдала.

Все бежало вокруг, но Уля уже ничего не видела и не слышала. Она почувствовала только, когда Олег Кошевой оказался возле нее. Он что-то говорил и своей большой рукой гладил ее по волосам и, кажется, пытался поднять ее, а она все рыдала, закрыв лицо руками. Звуки пушечной стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулемета доносились до слуха ее, но все это было ей уже безразлично.

И вдруг она услышала, как Олег своим очень юношеским, звучным, дрогнувшим голосом произнес:

— Немцы...

И это дошло до ее сознания. Она перестала плакать и внезапно выпрямилась. В одно мгновение она узнала стоящих возле нее Олега и всех товарищей своих, отца Виктора, дядю Колю, Марину с ребенком на руках, даже деда, который вез

Олега и его родных, — не было только Вани Земнухова и Валько.

Все эти люди со странным выражением напряженно смотрели в одну сторону, и Уля тоже посмотрела в ту сторону. В той стороне не было уже никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая, залитая солнцем яркая степь под раскаленным небом, в тусклом белом блеске. И в этом белом тусклом блеске воздуха по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесной лягушки зеленые немецкие танки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Немцы взяли Ворошиловград 17 июля, в 2 часа дня, после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен заслон, павший в этом бою с превосходящими силами противника. Оставшиеся в живых отступали с боями по линии железной дороги почти до станции Верхнедуванной, пока последний солдат не лег в донецкую землю.

К этому времени все, кто мог и хотел уйти из Краснодона и ближайших районов, ушли или выехали на восток. Но в дальнем Беловодском районе, по незнанию обстоятельств дела и отсутствию транспорта, застряла большая группа учащихся восьмого и девятого классов Краснодонской школы имени Горького, находившаяся в районе на полевых работах.

Вывезти эту группу учащихся отдел народного образования поручил учительнице этой же школы, преподавательнице русской литературы, Марии Андреевне Борц, уроженке Донбасса, хорошо знавшей местные условия, женщине энергичной и лично заинтересованной в успехе дела: среди учащихся находилась ее дочь Валя.

Для того чтобы вывезти эту группу учащихся, нужен был всего один грузовик, но Мария Андреевна получила поручение, когда уже никакого транспорта нельзя было достать. Она добиралась до совхоза со всякими оказиями и потратила на это больше суток. Измученная тяжелой дорогой и душевной болью за судьбу дочери-комсомолки и всех учащихся, она разрыдалась от душившего ее волнения и чувства благодарности, когда директор совхоза, с невероятным напряжением всего транспорта эвакуировавший имущество совхоза, охрипший от ругани, не спавший и не брившийся уже несколько суток, беспрекословно отдал Марии Андреевне последний грузовик.

Несмотря на то, что тяжесть положения на фронте была хорошо известна в Беловодском районе, до приезда Марии Андреевны учащиеся, со свойственной юности беспечностью и доверием к тому, что взрослые вовремя распорядятся ими, находились в том возбужденно-веселом настроении, которое всегда создается, когда собирается много молодых людей в условиях вольной, чудесной природы, с естественно завязывающимися между молодыми людьми дружескими романтическими отношениями.

Мария Андреевна не стала раньше времени расстраивать ребят и скрыла от них действительное положение дела. Но по ее нервной озабоченности и спешке, с какой их собирали к выезду домой, ребята поняли, что случилось что-то серьезное и неладное. Настроение сразу упало, у всех появились мысли о доме и — что с ними будет дальше.

Валя Борц, рано сформировавшаяся девушка, с покрытыми золотистым пушком сильно загорелыми руками и ногами, в которых было еще что-то детское, с глазами темно-серыми, в темных ресницах, независимыми и холодноватыми по выражению, с светло-русыми, золотистыми косами и полными яркими губами самолюбивой складки, подружилась за время работы в совхозе с учеником их школы Степой Сафоновым, маленьким, белоголовым, курносым, веснушчатым мальчиком с живыми, что называется, смышлеными глазами.

Валя была в девятом классе, а Степа в восьмом, и это могло бы послужить препятствием к их дружбе, если бы Валя дружила с девушками, — а Валя не дружила с девушками, — и если бы среди мальчиков был бы кто-нибудь, кто ей нравился, но ей никто не нравился. Она была начитанной девушкой, хорошо играла на пианино, по своему развитию она выделялась среди подруг и сама знала это и привыкла к поклонению сверстников-юношей. Степа Сафонов подошел ей не потому, что она нравилась ему, а потому, что он ее забавлял; он был действительно смышленый и душевный парень, что скрыто у него было под мальчишеским озорством, верный товарищ и страшный болтун. И именно потому, что сама Валя была не болтлива, никому не поверяла тайн, кроме своего дневника, мечтала о подвигах — она, как и все, хотела быть летчицей, — и в мыслях своих представляла своего героя тоже как человека подвига, Степа Сафонов забавлял ее своей болтовней и неистощимыми выдумками.

Впервые Валя отважилась с ним на серьезный разговор и в упор спросила, что он будет делать, если в Краснодоне окажутся немцы.

Она смотрела на него холодно своими темно-серыми, не допускающими в себя глазами, очень серьезно, испытующе,

и Степа, беспечный мальчик, увлекавшийся зоологией и ботаникой и всегда думавший о том, что он будет знаменитым ученым, и никогда не думавший о том, что он будет делать, если придут немцы, так же, не задумываясь, сказал, что он будет вести с немцами непримиримую подпольную борьбу.

— Это не болтовня? Это правда? — холодно спрашивала Валя.

— Ну, почему же болтовня? Ну, конечно же, правда! — не задумываясь, отвечал Степа.

— Поклянись...

— Ну, клянусь... Конечно же, клянусь... А что же нам иначе делать? Ведь мы же комсомольцы? — удивленно приподняв брови, спрашивал белоголовый Степа, задумавшись наконец над тем, о чем его спрашивали. — А ты?—с любопытством спросил он.

Она приблизила губы к самому его уху и зловещим шепотом сказала:

— Клянус-с-сь...

Потом, прижавшись губами к самому его уху, внезапно фыркнула, как лошадка, так что у него чуть не лопнула барабанная перепонка, сказала:

— Все-таки дурак ты, Степка! Дурак и трепач! — И убежала.

Они выехали на ночь. Рябое пятно света от приглушенных фар бежало перед машиной по степи. Огромное темное небо в звездах раскинулось над ними, и такой свежестью веяло из степи — пахло сеном, созревающими хлебами, медом, полынью; тугой и теплый воздух бил в лицо, и трудно было поверить, что, может быть, их дома ждут немцы.

Грузовик был полон ребят. Будь это другое время, они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целовались бы где-нибудь тайком в закутке. Теперь все ехали съежившиеся, молчаливые, изредка обмениваясь посторонними репликами вполголоса. Вскоре большинство ребят задремало на своих вещичках, прижавшись друг к другу, мотаясь головами на ухабах.

Валя и Степа ехали в машине позади всех — они назначены были дневальными. Степа тоже стал задремывать, а Валя, сидя на своем рюкзаке, все смотрела перед собой в степь, во тьму. Полные губы ее, с этим самолюбивым выражением, теперь, когда никто не видел ее, сложились по-детски грустно и обиженно.

Вот и не взяли ее в летную школу. Сколько раз делала она попытку, а ей отказали, дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь? Степка — болтун. Конечно, она работала бы в подполье, но как это делается и кто этим ведает? И что будет с

отцом, — отец Вали был еврей, — и что будет с их школой? Столько силы в душе, даже полюбить никого не успела, и вот каков итог жизни. Жизнь определенно не удалась. Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, стяжать славу, поклонение людей. Самолюбивые слезы закипали в ее глазах. Это были все же хорошие слезы, — ей было семнадцать лет, — это были не черствые, себялюбивые, а девичьи бескорыстные мечты сильной натуры.

Ей вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, вспрыгнув, вцепилась в заднюю стенку грузовика.

Она быстро обернулась — и чуть вздрогнула.

Не то мальчик, не то маленького роста паренек в кепке, худенький, цепкий, ухватившись обеими руками за край грузовика и уже навалившись животом, заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов, и в то же время быстро оглядывал все, что предстало ему.

Хочет ли он стащить что-нибудь? Что он, собственно говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение рукой, чтобы спихнуть его с машины, потом раздумала и, чтобы избежать переполоха, решила было разбудить Степу.

Но этот мальчик или паренек, необыкновенно быстрый и ловкий в движениях, уже был в машине. Он уже сидел рядом с Валей и, приблизив свое лицо со смеющимися глазами к самому ее лицу, приложил к губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение, и ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренек ее возраста, в задранной на затылок кепке, с лицом давно не мытым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами. Это мгновение, в течение которого Валя рассмотрела паренька, решило дело в его пользу.

Валя не сделала никакого движения и не подала голоса. Она смотрела на этого паренька с тем независимым холодноватым выражением, какое всегда появлялось на ее лице, если она была не одна.

— Что за машина? — шепотом спросил паренек, склонившись к ее лицу.

Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька были чуть курчавые, должно быть жесткие, волосы, сильная, грубоватая складка губ, тонких, немного выдавшихся вперед, — казалось, под губами немного припухло.

— А что? Не ту подали, которую ты ждал? — холодно отвечала Валя тоже шепотом.

Он улыбнулся.

— Моя в капитальном ремонте, а я так устал, что... — он махнул рукой с выражением: «Мне, мол, все равно».

— Извините, спальные места все заняты, — сказала Валя.

— Я шесть суток не кимарил, часок потерплю,— сказал он с дружеской откровенностью, не обижаясь на нее.

В то же время он быстро оглядывал все, что попадало в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте лица.

Кузов машины кидало на ходу, и Валя и этот паренек вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. Рука Вали однажды упала на его руку, но Валя тотчас же убрала свою, а паренек вскинул голову и внимательно посмотрел на нее.

— Это кто спит? — спросил он, приблизив лицо к мотавшейся из стороны в сторону белой голове Степы.— Степка Сафонов! — сказал он вдруг не шепотом, а в полный голос. — Знаю теперь, что за машина. Школа Горького? Едете из Беловодского района?

— Откуда ты знаешь Степу Сафонова?

— Мы познакомились у ручья в балке.

Валя подождала развития событий, но паренек больше ничего не сказал.

— Что вы делали у ручья в балке? — спросила она.

— Лягушек ловили.

— Лягушек?

— Точно.

— Зачем?

— Сначала я думал, что он их ловит, чтобы сомов ловить, а оказалось, он ловил их, чтобы резать! — И паренек засмеялся с явной издевкой по отношению к странным занятиям Степы Сафонова.

— А потом что? — спросила она.

— Я его уговорил пойти сомов ловить, и мы пошли на ночь, я поймал двух, одного маленького, на фунт, а другого ничего себе, а Степка ничего не поймал.

— А потом?

— Я уговорил его искупаться со мной на зорьке, он послушался, вылез весь синий и говорит: «Я, говорит, оклечетел, как общипанный петел, и уши, говорит, у меня полные воды холодной!» — И паренек фыркнул.— Ну, я его научил, как сразу согреться и вылить воду из ушей.

— А как это?

— А одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь: «Катерина, душка, вылей воду с ушка!» Потом другое ухо и опять кричишь.

— Теперь я понимаю, как вы подружились, — сказала Валя, чуть дрогнув бровью.

Но он не понял заключенной в ее словах иронии, вдруг стал серьезным и посмотрел вперед во тьму.

— Поздненько вы, — сказал он.

— А что?

— Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Краснодоне немцы будут.

— И что ж, что немцы? — спросила Валя.

То ли она хотела испытать этого парня, то ли ей хотелось показать, что она не боится немцев, — она сама не знала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые глаза с прямым и смелым выражением и, снова опустив их, ничего не ответил ей.

Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное чувство к нему. И — странное дело — он почувствовал это и сказал примирительно:

— Тикать-то некуда!

— А зачем тикать? — сказала она назло ему.

Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные отношения и опять сказал примирительно:

— И то верно.

Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлетворить ее любопытство, и отношения их тотчас же наладились бы. Но он или не догадывался об этом, или не хотел назвать себя.

Валя самолюбиво молчала, а он стал задремывать, но при каждом толчке машины и при каждом вольном или невольном движении Вали вскидывал голову.

Во тьме проступили окраинные строения Краснодона. Машина затормозила у первого переезда, не доезжая парка. Никто не охранял переезда, шлагбаумы были подняты, и фонарь не горел. Машина загромыхала по настилу, звякнули рельсы.

Паренек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под курткой, небрежно надетой на грязную гимнастерку с оторванными пуговицами, и сказал:

— Отсюда дойду... Спасибо за доброcть.

Он привстал, и Вале показалось, что в оттопыренных карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые предметы.

— Не хотел Степку будить, — сказал он, снова приблизив к Вале смеющиеся смелые глаза свои. — А проснется, скажи, что Сергей Тюленин просит его зайти.

— Я не почтовая контора и не телефонная станция, — сказала Валя.

Искреннее огорчение изобразилось на лице Сергея Тюленина. Он так огорчился, что не нашелся что ответить, губы его, казалось, еще сильнее припухли. И, не сказав ни слова, он соскочил с машины и исчез во тьме.

И Вале вдруг стало грустно, что она так огорчила его. Обиднее всего было то, что после того как она так сказала ему, она действительно не могла уже рассказать все это Сте-

пе и исправить несправедливость, допущенную по отношению к этому внезапно возникшему и внезапно исчезнувшему отважному парню. Так он и запомнился ей с этими смеющимися смелыми глазами, которые после ее грубых слов стали печальными, и с этими словно бы подпухшими тонкими губами.

Весь город лежал во тьме, нигде — ни в одном из окон, ни в пропускных будках в шахты, ни на переездах — не видно было даже проблеска света. В похолодевшем воздухе явственно ощущался запах тлеющего угля из еще дымившихся шахт. Ни одного человека не видно было на улицах, и так странно было не слышать привычного шума труда в районах шахт и на ветке. Одни собаки взлаивали.

Сережа Тюленин, бесшумной, быстрой кошачьей походкой идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с огромным пустырем, где в обычное время помещался рынок, обогнул пустырь и, скользнув мимо слепившихся, как соты, темных мазанок Ли Фан-чи, окруженных вишенником, тихо подошел к мазанке отца, белевшей среди таких же глиняных, но небеленых, крытых соломой дворовых клетушек-пристроек.

Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, он шмыгнул в чулан и через несколько секунд вышел с лопатой и, хорошо разбираясь в темноте в расположении отцовского хозяйства, через минуту уже был на огороде, возле кустов акаций, темневших вдоль плетня.

Он выкопал ямку меж двух кустов, довольно глубокую, — грунт был рыхлый, — и выложил на дно ее из карманов брюк и курточки несколько гранат-лимонок и два пистолета «браунинга» с патронами к ним. Каждый из этих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал ямку землей, разрыхлил и разровнял почву руками, чтобы утреннее солнце, подсушив землю, скрыло следы его работы, аккуратно обтер лопату полой куртки и, вернувшись во двор и поставив лопату на место, тихо постучался в дверь мазанки.

Щелкнула щеколда двери из горенки в сенцы, и мать, — он узнал ее по грузной походке,— шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери.

— Кто? — спросила она заспанным тревожным голосом.

— Открой, — тихо сказал он.

— Господи боже мой! — тихо, взволнованно сказала мать. Слышно было, как она, волнуясь, не могла нащупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась.

Сережка переступил порог и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так, молча, постояли в сенях, обнявшись.

— Где тебя носило? Мы думали, може, эвакуировался, може, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой, — ворчливым шепотом заговорила мать.

Несколько недель тому назад Сережка в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли и из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду.

— Задержался в Ворошиловграде, — сказал он обычным своим голосом.

— Тише... Деда разбудишь, — сердито сказала мать. «Дедом» она называла своего мужа, отца Сережки. У них было одиннадцать детей, и уже были внуки в возрасте Сережки. — Он тебе задаст!..

Сережка пропустил это замечание мимо ушей: он знал, что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забойщик, был разбит почти до смерти сорвавшейся с прицепа груженной углем вагонеткой на Анненском руднике на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах, но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался и даже, когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой, обшитой кожей обивкой, клюшку, потому что тело его совсем не держала поясница.

— Есть хочешь? — спросила мать.

— Хочу, да сил нет, в сон кидает.

Ступая на цыпочках, Сережка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где спали две его старшие сестры. Даша с ребенком полутора лет, — ее муж был на фронте, — и любимая, младшая из сестер, Надя.

Кроме этих сестер, в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Феня с детьми; ее муж тоже был на фронте. А остальных детей Гаврилы Петровича и Александры Васильевны жизнь разбросала по всему свету.

Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал куда попало свою одежду, оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю.

Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежевыпеченного пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку.

Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер! А глаза какие!.. Но ей он не понравился, это

факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал! Если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете! Но как хорошо дома, как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных, и жевать этот пахучий пшеничный хлеб домашней, материнской выпечки! Казалось, только он коснется постели, он уснет как убитый и будет спать по меньшей мере двое суток подряд, но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала! Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает, чья эта девчонка и что она за такое! Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову и, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Степка — болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал. Но зачем же ждать до завтра, когда все, решительно все можно рассказать сейчас же сестре Наде!

Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке.

— Надя... Надя... — тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами поталкивая ее в плечо.

— А?.. Что?.. — испуганно спросила она спросонья.

— Тсс... — он приложил свои немытые пальцы к ее губам.

Но она уже узнала его и, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо.

— Сережка... жив... Милый братик... жив...— шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представлял себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими румяными со сна скулами.

— Надя! Я с самого тринадцатого числа еще не ложился, с самого тринадцатого с утра и до сегодняшнего вечера все в бою, — взволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб.

— Ой ты! — шепотом воскликнула Надя, тронула его за руку и в ночной сорочке села на постели, поджав под себя ноги.

— Наши все погибли, а я ушел... Еще не все погибли, как я уходил, человек пятнадцать было, а полковник говорит: «Уходи, чего тебе пропадать». Сам он был уже весь израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, в крови. «Нам, говорит, все равно гибнуть, а тебе зачем?» Я и ушел... А теперь уж, я думаю, никого из них в живых нет.

— Ой ты-ы... — в ужасе прошептала Надя.

— Я, перед тем как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик, — там, за Верхнедуванной, там два холмика таких и роща слева, место приметное,— снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит: «Запомни, как

звать меня, — Сомов. Сомов, Николай Павлович. Когда, говорит, немцы уйдут или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб с честью...» Я сказал...

Сережка замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб.

— Ой ты-ы... — всхлипывала Надя.

Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал, лет с семи, — этакий кремешок.

— Как же ты попал к ним? — спросила она.

— А вот как попал, — сказал он, опять оживившись, и залез с ногами на койку сестры. — Мы еще укрепления кончали, а наши отошли, заняли тут оборону. Все краснодонцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, командиру роты,— прошу зачислить меня. Он говорит: «Без командира полка не могу». Я говорю: «Посодействуйте». Очень стал просить, тут меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он — ни в какую. Пока мы тут спорились, начала бить артиллерия немецкая, — я к бойцам в блиндаж. До ночи они меня не отпускали, жалели, а ночью велели уходить, а я отлез от блиндажа и остался лежать за окопом. Утром немцы пошли наступать, я обратно в окоп, взял у убитого бойца винтовку и давай палить, как все. Тут мы несколько суток все отбивали атаки, меня уже никто не прогонял. Потом меня полковник узнал, сказал: «Когда б мы сами не смертники, зачислили бы тебя в часть, да, говорит, жалко тебя, тебе еще жить да жить». Потом засмеялся, говорит: «Считай себя вроде за партизана». Так я с ними и отступал почти до самой Верхнедуванной. Я фрицев видел вот как тебя,— сказал он страшно пониженным, свистящим шепотом. — Я двоих сам убил... Может, и больше, а двоих — сам видел, что убил, — сказал он, искривив тонкие губы. — Я их, гадов, буду теперь везде убивать, где ни увижу, помяни мое слово...

Надя знала, что Сережка говорит правду, — и то, что убил двух «фрицев» и что еще будет убивать их.

— Пропадешь ты, — сказала она со страхом.

— Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо коптить.

— Ай-я-яй, что с нами будет! — с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть уже этой ночью. — У нас в госпитале более ста раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся, поубивают их немцы! — с тоской сказала она.

— Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так? — взволновался Сережка.

— Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит! У нас на «Шанхае» вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игната Фомина, а кто его знает, что за человек? Может, от немцев, все заранее выглядает? Фомин хорошего человека прятать не станет.

Игнат Фомин был один из шахтеров, за свою работу не раз премированный и отмеченный в газетах. Здесь, в поселке, он появился в начале тридцатых годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на «Шанхае». И разные слухи ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас Надя.

Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать.

— Ложись, Надя...

— А я и не усну теперь.

— А я усну, — сказал Сережка и перебрался на свою койку.

И только он коснулся подушки, перед ним встали глаза этой девушки на грузовике. «Все равно я тебя найду»,—сказал ей Сережка, улыбнулся, и все перед ним и в нем самом ушло во тьму.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как бы ты повел себя в жизни, читатель, если у тебя орлиное сердце, преисполненное отваги, дерзости, жажды подвига, но сам ты еще мал, бегаешь босиком, на ногах у тебя цыпки, и во всем, решительно во всем, к чему рвется твоя душа, человечество еще не поняло тебя?

Сережка Тюленин был самым младшим в семье и рос, как трава в степи. Отец его, родом из Тулы, вышел на заработки в Донбасс еще мальчишкой и за сорок лет шахтерского труда обрел те черты наивной, самолюбивой, деспотической гордости своей профессией, которые ни одной из профессий не свойственны в такой степени, как морякам и шахтерам. Даже после того, как он вовсе перестал быть работником, он все еще думал, Гаврила Петрович, что он главный в доме. По утрам он будил всех в доме, потому что по старой шахтерской привычке просыпался еще затемно и ему было скучно одному. А если бы ему и не было скучно, он все равно будил бы всех оттого, что его начинал душить кашель. Кашлял он с момента пробуждения не менее часа, он задыхался от кашля, харкал, отплевывался, и что-то страшно хрипело, свистело и дудело в его груди, как в испорченной фисгармонии.

А после того он весь день сидел, опершись плечом на свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявый и тощий, с длинным носом горбинкой, который когда-то был большим и мясистым, а теперь стал таким острым, что им можно было бы разрезать книги, с впалыми щеками, поросшими жесткой седоватой щетиной, с могучими прямыми, воинственными усами, которые, храня первозданную пышность под ноздрями, постепенно сходили до предельной упругой тонкости одного волоса и торчали в разные стороны, как пики, с глазами, выцветшими и пронзительными под сильно кустистыми бровями. Так он сидел то у себя на койке, то на порожке мазанки, то на чурке у сарайчика, опершись на свою клюшку, и всеми командовал, всех поучал, резко, отрывисто, грозно, заходясь в кашле так, что хрип, свист и дудение разносились по всему «Шанхаю».

Когда человек в еще не старые годы лишается трудоспособности более чем наполовину, а потом и вовсе впадает вот в этакое положение, попробуйте вырастить, научить профессии и пустить в дело трех парней и восемь девок, а всего одиннадцать душ!

И вряд ли то было под силу Гавриле Петровичу, когда бы не Александра Васильевна, жена его, могучая женщина из орловских крестьянок, из тех, кого называют на Руси «бой-баба», — истинная Марфа Посадница. Была она еще и сейчас нерушимо крепка и не знала болезней. Не знала она, правда, и грамоты, но, если надо было, могла быть и грозна, и хитра, и молчалива, и речиста, и зла, и добра, и льстива, и бойка, и въедлива, и если кто-нибудь по неопытности ввязывался с ней в свару, очень быстро узнавал, почем фунт лиха.

И вот все десять старших уже были при деле, а Сережка, младший, хотя и учился, а рос, как трава в степи: не знал своей одежки и обувки, — все это переделывалось, перешивалось в десятый раз после старших, и был он закален на всех солнцах и ветрах, и дождях, и морозах, и кожа у него на ступнях залубенела, как у верблюда, и какие бы увечья и ранения ни наносила ему жизнь, все на нем зарастало вмиг, как у сказочного богатыря.

И отец, который хрипел, свистел и дудел на него больше, чем на кого-либо из детей своих, любил его больше, чем кого-либо из остальных.

— Отчаянный какой, а? — с удовольствием говорил он, поглаживая страшный ус свой. — Правда, Шурка? — Шурка — это была шестидесятилетняя подруга его жизни, Александра Васильевна. — Смотри, пожалуйста, а? Никакого бою не боится! Совсем как я мальцом, а? Кха-кха кхаракха... — И он снова кашлял и дудел до умопомрачения.

У тебя орлиное сердце, но ты мал, плохо одет, на ногах у тебя цыпки. Как бы ты повел себя в жизни, читатель? Конечно, ты прежде всего совершил бы подвиг? Но кто же в детстве не мечтает о подвиге, — не всегда удается его совершить.

Если ты ученик четвертого класса и выпускаешь на уроке арифметики из-под парты воробьев, это не может принести тебе славы. Директор — в который уж раз! — вызывает родителей, то есть маму-Шурку, шестидесяти лет. «Дед», Гаврила Петрович, — с легкой руки Александры Васильевны все дети зовут его «дедом», — хрипит и дудит и рад бы дать тебе подзатыльника, да не может дотянуться и только яростно стучит клюшкой, которой он даже не может пустить в тебя, поскольку она поддерживает его иссохшее тело. Но мама-Шурка, вернувшись из школы, отвешивает тебе полнокровную затрещину, которая горит на щеке и ухе несколько суток, — с годами сила мамы-Шурки только прибывает.

А товарищи? Что товарищи! Слава, недаром говорят, — дым. Назавтра твой подвиг с воробьями уже забыт.

В свободное время лета можно добиться того, чтобы ты стал чернее всех, лучше всех нырял и плавал и ловчее всех ловил руками линьков под корягами. Можно, завидев идущую вдоль берега стайку девчонок, разогнаться с берега, с силой оттолкнуться от обрывистого края, смуглой ласточкой пролететь над водой, нырнуть и в тот момент, когда девчонки, делая вид, что им все равно, с любопытством ожидают, когда ты вынырнешь на поверхность, приспустить под водой трусы и неожиданно всплыть вверх попкой, белой румяной попкой, единственным незагоревшим местом на всем теле.

Ты испытаешь мгновенное удовлетворение, увидев мелькающие розовые пятки и развевающиеся платьица словно сдунутых с берега девчонок, прыскающих на бегу в ладошки. Ты получишь возможность небрежно принять восторг ребят-сверстников, загорающих вместе с тобой на песке. Ты на все времена завоюешь поклонение совсем маленьких мальчишек, которые будут ходить за тобой стаями, во всем подражать тебе и повиноваться каждому твоему слову или движению пальца. Давно уже прошли времена римских цезарей, но мальчишки тебя обожествляют.

Но этого тебе, конечно, мало. И в один из дней, ничем как будто не отличных от других дней твоей жизни, ты внезапно выпрыгиваешь со второго этажа школы во двор, где все ученики школы предаются обычным во время перерыва невинным развлечениям. В полете ты испытываешь краткое, как миг, пронзительное удовольствие — и от самого полета, и от дикого, полного ужаса и, одновременно, желания заявить о себе в мире, визга девчонок в возрасте от первого класса до

десятого. Но все остальное несет тебе только разочарования и лишения.

Разговор с директором очень тяжел. Дело явно идет к исключению тебя из школы. Ты вынужден быть грубым с директором оттого, что ты виноват. Впервые директор сам приходит в мазанку твоих родителей на «Шанхае».

— Я хочу знать условия жизни этого мальчика. Я хочу, наконец, знать причины всего этого,— говорит он значительно и вежливо. И в голосе его звучит оттенок упрека родителям.

И родители — мать с мягкими, круглыми руками, которые она не знает, куда деть, потому что она только что таскала ими из печи чугуны и руки черны от сажи, а на матери даже нет передника, чтобы обтереть их, и отец, до крайности растерявшийся, примолкший и пытающийся встать перед директором, опираясь на свою клюшку, — родители смотрят на директора так, будто они действительно во всем виноваты.

А когда директор уходит, впервые никто не ругает тебя, от тебя словно бы все отворачиваются. «Дед» сидит, не глядя на тебя, и только изредка покрякивает, и усы у него вовсе не воинственные, а довольно унылые усы человека, сильно побитого жизнью. Мать все хлопочет по дому, шаркает ступнями по земляному полу, стучит то там, то здесь, и вдруг ты видишь, как, склонившись к отверстию русской печки, она украдкой смахивает слезу черной от сажи, прекрасной, старческой круглой рукою своею. И они словно говорят всем видом своим, отец и мать: «Да ты вглядись в нас, ты вглядись, вглядись в нас, кто мы, какие мы!»

И ты впервые замечаешь, что старые родители твои давно уже не имеют что надеть к празднику. В течение почти всей своей жизни они не едят за общим столом с детьми, а едят особняком, чтобы их не было видно, потому что они не едят ничего, кроме черного хлеба, картошки и гречневой каши, лишь бы детей, одного за другим, поднять на ноги, лишь бы теперь ты, младший в семье, стал образованным, стал человеком.

И слезы матери пронзают твое сердце. И лицо отца впервые кажется тебе значительным и печальным. И то, что он хрипит и дудит, это вовсе не смешно — это трагично.

Гнев и презрение дрожат в ноздрях у сестер, когда то одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над вязаньем. И ты груб с родителями, груб с сестрами, а ночью ты не можешь спать, тебя гложет одновременно и чувство обиды и сознание своей преступности, и ты беззвучно утираешь немытой ладошкой две скупые слезинки, выкатившиеся на твои маленькие жесткие скулы.

А после этой ночи оказывается, что ты повзрослел.

Среди ряда печальных дней всеобщего молчания и осуждения твоему очарованному взору открывается целый мир немыслимых, баснословных подвигов.

Люди проплывают двадцать тысяч лье под водой, открывают новые земли; они попадают на необитаемые острова и все создают тебе наново собственными руками; они взбираются на высочайшие вершины мира, люди попадают даже на луну; они борются со страшными штормами в океанах, карабкаясь на раскачиваемые ветром мачты по марсам и салингам; на своих кораблях они проскальзывают над острыми рифами, выливая на бушующие волны бочки ворвани; люди переплывают океан на плоту, томясь от жажды, ворочая пересохшим, распухшим языком свинцовую пулю во рту; они переносят самумы в пустыне, сражаются с удавами, ягуарами, крокодилами, львами, слонами и побеждают их. Люди совершают эти подвиги из-за наживы, или для того, чтобы лучше устроить жизнь свою, или из страсти к приключениям, или из чувства товарищества, верной дружбы, для спасения попавшей в беду любимой девушки, а то просто совсем бескорыстно — для блага человечества, для славы родины, для того, чтобы вечно сиял на земле свет науки, — Ливингстон, Амундсен, Седов, Невельской.

А какие подвиги совершают люди на войне! Люди воюют тысячи лет, и тысячи людей навеки прославили свои имена в войнах. Повезло же тебе родиться в такое время, когда войны нет. Ты живешь в местах, где порастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних дней шумит слава полководцев тех великих лет. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам их биографий. Тебе хочется снова и снова возвращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей, и ты рисуешь их портреты,— нет, зачем говорить неправду, ты сводишь их портреты при помощи стекла на бумагу, а потом растушевываешь их по своему разумению мягким черным карандашом, намусливая его для большей силы и выразительности так, что к концу работы язык у тебя весь черный и его не оттереть даже пемзой. И портреты эти до сей поры висят над твоей постелью.

Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему поколению и останутся навеки в памяти человечества. А между тем это люди такие же простые, как ты. Михаил Фрунзе, Клим Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Сергей Киров, Сергей Тюленин... Да, может быть, и его имя, рядового комсомольца, стало бы в ряд с этими именами, если бы он успел проявить себя. Как на самом деле увлекательна и необыкновенна была

жизнь этих людей. Они изведали царское подполье. Их выслеживали, сажали в тюрьмы, высылали на север, в Сибирь, но они бежали снова и снова, и снова вступали в бой. Серго Орджоникидзе бежал из ссылки. Михаил Фрунзе бежал из ссылки два раза. Сталин бежал из ссылки несколько раз. За ними сначала шли единицы, потом сотни, потом сотни тысяч, потом миллионы людей.

Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна второго этажа школы, и это было просто глупо, как это теперь окончательно видно. И идет за ним в жизни только один Витька Лукьянченко.

Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус «Челюскина». И страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли, они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются на самолетах к пострадавшим сквозь пургу и мороз, они вывозят их, подвязывая к крыльям самолетов, — это первые Герои Советского Союза.

Чкалов! Он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку — мечта человечества! Чкалов. Громов. А папанинцы на льдине!

Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда.

По всей советской земле и в самом Краснодоне немало людей, простых, как и ты, но отмеченных подвигами и славой, — такими, о которых раньше не писали в книгах. В Донбассе, и не только в Донбассе, каждый человек знает имена Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может сказать, кто такая Паша Ангелина, и кто Кривонос, и кто Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. И отец всегда просит читать ему те места в газетах, где говорится об этих людях, и потом долго и непонятно хрипит и дудит, и видно, что ему горько на душе оттого, что он стар и что его подшибла вагонетка. Да, он много принял на свои плечи труда в жизни, Гаврила Тюленин, «дед», и Сережка понимает, как ему, «деду», тяжело, что он уже не может теперь встать в ряд с этими людьми.

Слава этих людей — это подлинная слава. Но Сережка еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-нибудь потом, там, во взрослой жизни. А вот для свершения подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он вполне созрел, — он чувствует это сердцем, что он для них вполне

созрел. Беда в том, что только он один на свете понимает это, и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением.

Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу, — да, он должен стать летчиком. Его не принимают.

Все школьники идут на полевые работы, а он, уязвленный в самое сердце, идет работать на шахту. Через две недели он уже стал в забой и рубил уголь наравне со взрослыми.

Он сам не знал, как многого он достиг во мнении людей. Он выходил из клети чумазый, только светлые глаза да белые маленькие зубы сверкали на черном лице его; он шел вместе со взрослыми, так же солидно, враскачку, шел под душ, фыркал, крякал, как отец, и неторопливо шел домой уже босой: обутка у него была казенная.

Он возвращался поздно, когда все уже пообедали, — его кормили отдельно. Он был взрослый человек, мужчина, работник.

Александра Васильевна вынимала из печи чугунок с борщом и наливала ему полную миску прямо из чугунка, который она придерживала обеими круглыми руками в тряпице. Пар валил от борща, и никогда еще не казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел и не кашлял, он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца: как идут дела в шахте, кто сколько вырубил? Отец спрашивал и про инструмент, и про спецодежду. Он говорил о горизонтах, штреках, лавах, забоях, газенках, как о комнатах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик на самом деле работал чуть ли не на всех шахтах в районе, а когда уже не мог работать, знал обо всём от своих товарищей. Знал, в каком направлении и сколь успешно движутся выработки, мог, расчерчивая воздух длинным костлявым пальцем, объяснить любому человеку расположение выработок под землей и все, что там, под землей, делается.

Зимой, прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу — артиллеристу, саперу или минеру, или летчику; в двенадцатом часу ночи со слипающимися веками готовил уроки, а в пять часов утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его вместе со своими бойцами стрелять из винтовки или из ручного пулемета. И он действительно не хуже любого бойца стрелял из винтовки, и из нагана, и маузера, и «ТТ», и дегтяревского ручного, и «максима», и из «ППШ», и метал гранаты и бутылки

с зажигательной смесью, и умел окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и разминировать местность, и знал устройство самолетов всех стран света, и мог разрядить авиабомбу, — и все это вместе с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого он всюду таскал за собой и который относился к нему примерно так же, как сам Сережка относился к Серго Орджоникидзе или к Сергею Кирову.

Этой весной он сделал еще одну, самую отчаянную попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год.

Да, это было страшное поражение — вместо школы летчиков идти на строительство оборонительных сооружений перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вернется домой.

Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть! Он не рассказал Наде и сотой доли тех ухищрений и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь он знал, что такое бой, и что такое смерть, и что такое страх.

Сережка спал так крепко, что даже утренний кашель отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было уже высоко; ставни в горенке были закрыты, но он всегда узнавал время по тому, как располагались на глиняном полу и на предметах в горенке полоски золотистого света из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, что немцы еще не пришли.

Он вышел во двор умыться и увидел «деда», сидевшего на приступочке, а немного поодаль от «деда» Витьку Лукьянченко. Мать была уже на огороде, и сестры давно ушли на работу.

— Ага! Здорово, воин! Аника! Кха-кха-кхаракха... — приветствовал его «дед». — Жив? По нонешним временам это самое главное. Хе-хе! Корешок твой с самой зари ждет, пока проснешься. — И «дед» очень дружелюбно повел усами в сторону Витьки Лукьянченко, неподвижно, покорно и серьезно смотревшего темными бархатными глазами на заспанное, с маленькими скулами, и уже полное жажды деятельности лицо своего бедового друга. — То добрый у тебя корешок, — продолжал «дед». — Каждое утро, чуть свет, он уже тут. «Сережка пришел? Сережка вернулся?» Сережка ему... кха-кха... один свет в окошке! — с удовольствием говорил «дед».

Так устами «деда» подтверждалась дружеская верность.

Оба они были на земляных работах под Ворошиловградом, и Витька, находившийся в полном подчинении у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы поступить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуться домой — не потому, что он жалел Витьку, а тем более его родителей,

а потому, что был уверен, что им не только не удастся поступить в часть двоим, но присутствие Витьки может помешать поступить в часть ему, Сережке. И Витька, до крайности огорченный и обиженный своим товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не только вынужден был уйти — он вынужден был поклясться, что он ни своим родителям, ни Сережкиным, вообще никому на свете не расскажет о планах Сережки: этого требовало Сережкино самолюбие на случай неудачи.

По тому, что говорил «дед», ясно было, что Витька сдержал слово.

Сережка и Витька Лукьянченко сидели за мазанкой на берегу грязного, поросшего осокой ручья, за которым был выгон для скота, а за выгоном — одинокое большое здание недавно построенной и еще не пущенной в ход горняцкой бани. Они сидели на краю балки, курили и обменивались новостями.

Из их товарищей по школе — оба они учились в школе имени Ворошилова — остались в городе Толя Орлов, Володя Осьмухин и Любка Шевцова, которая, по словам Витьки, вела не свойственный ей образ жизни: никуда не выходила из дому и нигде ее не было видно. Любка Шевцова тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из школы еще до войны, окончив семь классов: она решила стать артисткой и выступала в театрах и клубах района с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке: Любка была отчаянная девка, своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин в юбке.

Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было известно ему: что у Игната Фомина скрывается незнакомый человек и все на «Шанхае» ломают голову над тем, что это за человек, и боятся этого человека. А в районе «Сеняков», там, где находились склады с боеприпасами, в погребе, совершенно открытом, осталось несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, брошенных, должно быть, в спешке.

Витька робко намекнул, что неплохо было бы эти бутылки припрятать, но Сережка вдруг вспомнил что-то, посуровел и сказал, что им обоим нужно немедленно идти в военный госпиталь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Надя Тюленина с той поры, когда фронт приблизился к Донбассу и в Краснодоне появились первые раненые, добровольно поступила на курсы медицинских сестер и вот уже второй год работала старшей сестрой в военном госпитале, под который был отдан весь нижний этаж городской больницы.

Несмотря на то, что весь персонал военного госпиталя, за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько дней как эвакуировался и большинство медицинских работников больницы во главе со старшим врачом тоже ушло на восток, больница продолжала жить прежним распорядком жизни. И Сережка и Витька сразу прониклись уважением к этому учреждению, когда их задержала в приемной дежурная няня-сиделка, велела обтереть ноги сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за Надей.

Через некоторое время Надя в сопровождении няни-сиделки вышла к ним, но это уже не была та Надя, с которой Сережка беседовал ночью на ее кровати: на скуластеньком, с наведенными тонкими бровями лице Нади, так же как и на добром, мягком, морщинистом лице няни-сиделки, было какое-то новое, очень серьезное и строгое, глубокое выражение.

— Надя, — сминая в руках кепку и почему-то оробев перед сестрой, шепотом сказал Сережка,— Надя, надо же ребят выручать, ты же должна понимать... Мы бы с Витькой могли походить по квартирам, ты скажи Федору Федоровичу.

Надя некоторое время, раздумывая, молча смотрела на Сережку. Потом она недоверчиво покачала головой.

— Зови, зови врача, или нас веди! — сказал Сережка помрачнев.

— Луша, дай хлопцам халаты, — сказала Надя.

Няня-сиделка, достав из крашенного белой масляной краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребятам и даже поддержала по привычке, чтобы удобнее было попасть в рукава.

— А хлопчик правду говорит, — неожиданно сказала тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, взглянув на Надю добрыми, на весь остаток жизни умиротворенными глазами. — Люди возьмут. Я б одного сама взяла. Кому ж не жалко ребят? А я одна, сыны на фронте, я да дочка. Живем на выселках. Немцы зайдут, скажу — сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выдавали.

— Ты их не знаешь, немцев, — сказала Надя.

— Немцев, правда, не знаю, зато своих знаю, — быстро жуя губами, с готовностью сказала тетя Луша. — Я вам укажу хороших людей на выселках.

Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на город. Тяжелый теплый запах гниющих застарелых ран и несвежего белья, запах, который не могли заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, как они проходили мимо распахнутой двери в палату. И таким светлым, обжитым, мирным, уютным вдруг показался им залитый солнцем родной город из окон больницы!

Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежачие, и только некоторые на костылях слонялись по коридору. На всех лицах, молодых и пожилых, бритых и заросших многодневной солдатской щетиной, было все то же серьезное, строгое, глубокое выражение, что у Нади и у няни Луши.

Едва шаги ребят зазвучали по коридору, раненые на койках вопросительно, с надеждой подымали головы, а те, что на костылях, безмолвно, но тоже со смутным оживлением в лицах провожали глазами этих двух подростков в халатах и идущую впереди них с серьезным и строгим лицом хорошо знакомую сестру Надю.

Они подошли к единственной закрытой двери в конце коридора, и Надя, не постучавшись, резким движением своей маленькой точной руки распахнула ее.

— К вам, Федор Федорович, — сказала она, пропуская ребят.

Сережка и Витька, оба немного оробев, вошли в кабинет. Навстречу им встал высокий, широкоплечий, сухой, сильный старик, чисто выбритый, с седой головой, с резко обозначенными продольными морщинами на загорелом, темного блеска лице, с резко очерченными скулами и носом с горбинкой и угловатым подбородком, — старик был весь точно вырезан на меди. Он встал от стола, возле которого сидел, и по тому, что он сидел в кабинете один, и по тому, что на столе не было ни книги, ни газеты, ни лекарств и весь кабинет был пуст, ребята поняли, что врач ничего не делал в этом кабинете, а просто сидел один и думал такое, о чем не дай бог думать человеку. Они поняли это еще и потому, что врач был уже не в военном, а в штатском: в сером пиджаке, край воротника которого выступал из-под завязанного у шеи халата, в серых брюках и в нечищеных, должно быть не своих, штиблетах.

Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, как Луша и как раненые в палатах, смотрел на мальчиков.

— Федор Федорович, мы пришли помочь вам разместить раненых по квартирам, — сказал Сережка, сразу поняв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно.

— А примут? — спросил тот.

— Найдутся такие люди, Федор Федорович, — певучим голосом сказала Надя. — Луша, няня из больницы, согласна взять одного и еще обещала людей указать, и ребята могут поспрошать, да и я им помогу, да и другие из наших краснодонцев не откажут помочь. Мы бы, Тюленины, тоже взяли, да у нас помещения нету, — сказала Надя и покраснела так, что румянец ярко выступил на ее маленьких скулах. И Сережка вдруг тоже покраснел, хотя Надя сказала правду.

— Позовите Наталью Алексеевну, — сказал Федор Федорович.

Наталья Алексеевна была молодым врачом больницы; она не выехала вместе со всем персоналом из-за одинокой больной матери, жившей не в самом городе, а в шахтерском поселке Краснодон, в восемнадцати километрах от города. Поскольку в больнице еще оставались больные и больничное имущество, лекарства, инструменты, Наталья Алексеевна, стыдившаяся перед сослуживцами, что она никуда не едет и остается при немцах, добровольно приняла на себя обязанности главного врача больницы.

Надя вышла.

Федор Федорович сел на свое место у стола, решительным, энергичным движением откинул полу халата, достал из кармана пиджака табакерку и сложенную мятую старую газету, сторвал край газеты углом и, с необыкновенной быстротой действуя одной большой жилистой рукой и губами, свернул «козью ножку», которую тут же набил махоркой из табакерки и закурил.

— Да, это выход,— сказал Федор Федорович и без улыбки посмотрел на ребят, смирно сидевших на диване.

Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил их на Сережку, как бы понимая, что он — главный. Витька понял значение этого взгляда, но нисколько не обиделся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хотел, чтобы Сережка был главным, и гордился за Сережку.

В кабинет в сопровождении Нади вошла маленькая женщина лет двадцати восьми, но казавшаяся ребенком оттого, что в ее личике, ручках, ножках было то выражение детскости, мягкости и пухлости, которое так часто бывает обманчиво в женщине, заставляя предполагать сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, чтобы она продолжала образование в медицинском институте, проделала путь пешком из Краснодона в Харьков, и этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться, а потом, когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью в восемь человек, и теперь члены этой семьи частью уже воевали, частью работали в других городах, частью были пристроены в ученье, и этими же ручками она бесстрашно делала операции, которые не решались делать и врачи-мужчины постарше и с бо̀льшим опытом, и на детском пухлом личике Натальи Алексеевны были глаза того прямого, сильного, безжалостного, практического выражения, какому вполне мог бы позавидовать управляющий делами какого-нибудь всесоюзного учреждения.

Федор Федорович встал ей навстречу.

— Не трудитесь, я все знаю, — сказала она, приложив пухлые ручки к груди жестом, так противоречившим этому деловому, практическому выражению глаз и ее вполне точной и немного даже суховатой манере говорить. — Я все знаю, и это, конечно, разумно, — сказала она и посмотрела на Сережку и на Витьку без какого-либо личного отношения к ним, а тоже с практическим выражением возможности их использования. Потом она снова взглянула на Федора Федоровича. — А вы? — спросила она.

Он сразу понял ее.

— Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей больнице как местному врачу. Тогда я и им смогу помогать при всех условиях.— Все поняли, что под «ними» он подразумевал раненых. — Это возможно?

— Это возможно, — сказала Наталья Алексеевна.

— В вашей больнице меня не выдадут?

— В нашей больнице вас не выдадут, — сказала Наталья Алексеевна, приложив к груди пухлые ручки.

— Спасибо. Спасибо вам, — и Федор Федорович, впервые улыбнувшись одними глазами, протянул свою большую с сильными пальцами руку сначала Сережке, потом Витьке Лукьянченко.

— Федор Федорович,— сказал Сережка, прямо глядя в лицо врачу своими твердыми, светлыми глазами, в которых стояло выражение: «Вы и все люди можете расценить это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я считаю это своим долгом», — Федор Федорович, имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на меня и моего товарища Витю Лукьянченко, всегда. А связь с нами можно держать вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от себя и от моего товарища Вити Лукьянченко, что ваш поступок — что вы остались при раненых в такое время, — ваш поступок мы считаем благородным поступком, — сказал Сережка, и лоб его вспотел.

— Спасибо, — сказал Федор Федорович очень серьезно. — Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следующее: у человека, к какой бы профессии он ни принадлежал, любой профессии, может сложиться такое положение в жизни, когда ему не только можно, но и должно покинуть людей, которые зависели от него или которых он вел и они надеялись на него, да, может сложиться такое положение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бывает высшая целесообразность. Повторяю, у людей решительно всех профессий, даже у полководцев и политических деятелей, кроме одной — профессии врача, особенно врача военного. Врач должен находиться при раненых. Всегда. Что бы там ни было. Нет такой целе-

сообразности, которая была бы выше этого долга. И даже военная дисциплина, приказ могут быть нарушены, если они вступают в противоречие с этим долгом. Если бы мне даже командующий фронтом приказал оставить этих раненых и уйти, я не подчинился бы ему. Но он никогда не сказал бы этого... Спасибо, спасибо вам, — сказал Федор Федорович и низко склонил перед ребятами свою словно вырезанную на меди, с лицом темного блеска, седую голову.

Наталья Алексеевна молча прижала к груди пухлые ручки, и в практических глазах ее, обращенных на Федора Федоровича, появилось торжественное выражение.

На совещании в вестибюле, совещании, в котором участвовали уже только Сережка, Надя, тетя Луша и Витька Лукьянченко и которое было самым коротким за последнюю четверть века, так как оно заняло ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы ребята сняли свои халаты, был намечен план действий. И, уже не в силах сдерживать себя, ребята пулей вылетели из больницы, и в глаза им ударил нестерпимый блеск июльского полдня. Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за человечество, необыкновенная жажда деятельности переполняли их существа до краев.

— Вот человек, это человек! Да? — сказал Сережка, возбужденно глядя на своего друга.

— Точно, — сказал Витька Лукьянченко и замигал.

— А я узнаю сейчас, что за человек прячется у Игната Фомина! — вдруг без всякой видимой связи с тем, что они испытывали и говорили, сказал Сережка.

— Как ты узнаешь?

— Я предложу ему принять в дом раненого.

— Продаст, — сказал Витька очень убедительно.

— Так я и сказал ему правду! Мне лишь бы в хату зайти,— и Сережка засмеялся, хитро и весело блестя глазами и зубами. Мысль эта уже овладела им настолько, что он знал — она будет осуществлена.

Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина со склонившимися под окнами толстыми, окружностью в сито, подсолнухами на отдаленной от рынка окраине «Шанхая».

Долго никто не отзывался на стук, и Сережка догадывался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. Наконец дверь отворилась. Игнат Фомин, не отпуская скобу двери, а другой рукой опершись о косяк, нагнув голову,— он был длинный, как червь, — с искренним любопытством смотрел на Сережку маленькими, глубоко поместившимися в разнообразных и многочисленных складках кожи серенькими глазками.

— Вот спасибо, — сказал Сережка и так спокойно, словно бы ему открыли дверь именно для того, чтобы он вошел, поднырнул под опершуюся о косяк руку Игната Фомина и уже не только был в сенях, но открывал дверь в горницу, когда Игнат Фомин, не успевший даже удивиться, двинулся за ним.

— Извиняйте, гражданин, — уже в горнице сказал Сережка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых брюках, заправленных в яловичные, начищенные ваксой сапоги,— длинный, с длинным благообразным лицом скопца, принявшим наконец удивленное и несколько даже гневающееся выражение.

— Что тебе надо? — спросил Игнат Фомин, приподняв редкие бровки, и многочисленные и разнообразные складки вокруг его глаз пришли в очень сложное движение, как бы стремясь расправиться.

— Гражданин! — неожиданно для самого себя и для Игната Фомина приняв позу члена конвента времен Французской революции, с пафосом сказал Сережка. — Гражданин! Спасите раненого бойца!

Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекратили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, остановились, как кукольные.

— Нет, не я ранен, — сказал Сережка, поняв, что привело Игната Фомина в этакий столбняк. — Бойцы отступали, оставили раненого прямо на улице, аккурат возле рынка. Мы с ребятами увидели, и прямо к вам.

На длинном благообразном лице Игната Фомина вдруг отразились знаки многих обуревавших его страстей, и он невольно покосился на затворенную дверь в другую горницу.

— Почему же, однако, прямо ко мне? — снизив голос до шипения, спросил он, со злостью вонзив глаза свои в Сережку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо сложное движение.

— К кому же, как не к вам, Игнат Семенович? Весь город знает, что вы у нас первый стахановец, — сказал Сережка, с необыкновенно чистыми глазами, беспощадно вонзая в Игната Фомина это отравленное копье.

— Да ты чей? — все больше теряясь и приходя во все большее удивление, спросил Игнат Фомин.

— Я сын хорошо известного вам Прохора Любезнова, тоже стахановца, — сказал Сережка с тем большей решительностью, с чем большей вероятностью он знал, что никакого Прохора Любезнова не существует на свете.

— Прохора Любезнова я не знаю. И вот что, братец мой,— придя в себя и суетливо и бестолково задвигав длинными

руками, сказал Игнат Фомин, — у меня и места нет для твоего бойца, и жинка у меня больная, и ты, братец, тово... это...— Руки его, хотя и не вполне ясно, задвигались в сторону выходной двери.

— Довольно странно, гражданин, вы поступаете, когда всем известно, что у вас есть вторая комната, — с осуждением в голосе сказал Сережка, в упор глядя на Фомина прозрачными, детскими, дерзкими глазами.

И Фомин не успел еще сделать движения или хотя бы испустить звук, как Сережка шагом, не очень даже торопливым, подошел к двери в соседнюю горницу, отворил дверь и вошел в эту горницу.

В этой горнице с полуприкрытыми ставенками, уставленной мебелью и фикусами в кадках, чистенькой и аккуратно прибранной, сидел у стола человек в одежде мастерового, с круглыми сильными плечами, крепкой стриженой головой и лицом в темных крапинах. Он поднял голову и очень спокойно посмотрел на вошедшего Сережку.

И в то же мгновение Сережка понял, что перед ним сидит просто хороший, сильный и спокойный человек. И, поняв это, Сережка в то же мгновение дико и невероятно струсил. Да, ни одного грамма отваги не осталось в его орлином сердце. Он струсил настолько, что не мог сказать ни слова, не мог пошевельнуться, а в это время в дверях показалось крайне разъяренное и испуганное лицо Игната Фомина.

— Обожди, кум,— спокойно сказал этот сидевший у стола неизвестный человек Игнату Фомину, надвинувшемуся на Сережку. — А почему же вы не отнесли этого раненого бойца, скажем, к себе домой? — спросил он Сережку.

Сережка молчал.

— Твой отец-то тут или эвакуировался?

— Эвакуировался, — весь заливаясь краской, сказал Сережка.

— А мать?

— Мать дома.

— Що ж ты наперво до нее не пошел?

Сережка молчал.

— Хиба вона така жинка, що не примет?

Сережка с ужасным чувством в душе кивнул головой. С того момента, как игра кончилась, за словами «отец», «мать» он видел уже действительных отца и мать своих, и было мучительно стыдно говорить о них такую подлую неправду.

Но человек этот, видно, верил Сережке.

— Так, — сказал он, рассматривая Сережку. — Игнат Семенович казав тебе правду, що вин того бойца принять не может, — сказал он раздумывая.— Но ты такого человека най-

дешь, що примет. То дело доброе. То ты молодец, я так тебе скажу. Поищи и найдешь. Только то дело секретное, ты к случайным людям не ходи. А коли нигде не примут, придешь до меня. А коли примут — не приходи, лучше дай мне сейчас свой адресок, чтобы я мог тебя найти при случае.

И здесь Сережке пришлось расплатиться за свое озорство самым для него обидным и огорчительным способом. Именно теперь, когда Сережке очень бы хотелось сказать этому человеку свой настоящий адрес, он вынужден был тут же на ходу придумать первый попавшийся адрес и этой своей ложью уже навсегда отрезать для себя возможность общения с этим человеком.

Сережка вновь очутился на улице. Он был растерян и смущен. Не было никакого сомнения в том, что человек, который прятался у Игната Фомина, был настоящий, большой человек, и вряд ли можно было сомневаться в том, что Игнат Фомин был по меньшей мере человек неважный. Но они, несомненно, были связаны друг с другом. В этом было что-то необъяснимое.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В тот же день, когда Матвей Шульга покинул домик Осьмухиных, он направился на окраину Краснодона, называвшуюся по старинке «Голубятники», к своему другу по прежнему партизанству — Ивану Кондратовичу Гнатенко.

Эта окраина, как и многие районы Краснодона, была уже застроена стандартными домами, но Матвей Костиевич знал, что Кондратович по-прежнему живет в принадлежащем ему маленьком деревянном домике, одном из тех старинных домиков, по которым окраина и получила название «Голубятников».

На стук в оконце показалась в дверях похожая на цыганку, довольно еще молодая, но очень обрюзгшая и запущенная, хотя одета она была не бедно, женщина. Костиевич сказал, что он здесь проходом и ему нужен Иван Кондратович, он просит старика, если это возможно, выйти к нему на улицу поговорить.

И тут, за этим домиком, в степи, где они спустились в низинку, чтобы не маячить на юру, под звуки отдаленной артиллерийской канонады, которая в тот день была еще слышна, состоялась встреча Матвея Шульги и Ивана Гнатенко.

Иван Гнатенко, или запросто Кондратович, был одним из потомков тех поколений шахтеров, которые по праву могли считать себя основателями донецких рудников. И дед, и отец

его, выходцы с Украины, и сам Кондратович — это были настоящие, милостью божией шахтеры-коренники, построившие Донбасс, хранители шахтерской славы и традиций, та шахтерская гвардия, о которую сломали себе зубы в Донбассе немецкие интервенты и белые в 1918—1919 годах.

Это был тот самый Кондратович, который вместе со своим директором Андреем Валько и Григорием Ильичом Шевцовым взорвал шахту № 1-бис.

Вот какой разговор произошел у него с Матвеем Костиевичем в этой низинке в степи, под солнцем, уже склонявшимся к вечеру.

— Знаешь ли ты, Кондратович, зачем я прийшов до тебе?

— Не знаю, а догадываюсь, Матвей Константинович,— печально сказал Кондратович, не глядя на Шульгу.

Степной ветерок, врывавшийся в низинку, косо в один бок относил полы залатанной, дедовских времен куртки, висевшей, как на кресте, на высохшем теле старика.

— Я оставлен тут для работы, як у осьмнадцатом роци, с тем и прийшов до тебе, — сказал Костиевич.

— Вся моя жизнь — твоя, то ты знаешь, Матвей Константинович, — низким, хриплым голосом сказал Кондратович, не глядя на Шульгу. — Но я не можу принять тебя в дом, Матвей Константинович.

То, что сказал Кондратович, было так неожиданно и невозможно, что Матвей Костиевич даже не нашелся, что ответить, и замолчал. И Кондратович тоже молчал.

— Правильно я понял тебя, Кондратович, — ты отказываешься принять меня в дом? — вдруг перейдя на чистый русский язык, тихо спросил Шульга, боясь взглянуть на старика.

— Я не отказываюсь, я не можу, — печально сказал старик.

Некоторое время они разговаривали так, не глядя друг на друга.

— Ты давал согласие? — с закипающим в сердце гневом спросил Костиевич.

Старик опустил голову.

— Ты же знал, на что идешь?

Старик молчал.

— Ты понимаешь, что ты нас вроде предал?

— Матвей Костиевич... — страшно низко и хрипло, с угрозой, точно пролаял старик.— Не говори такого, чего нельзя поправить.

— А чего мне бояться? — со злобой сказал Шульга и посмотрел прямо в высохшее, с редкой, будто выщипанной, прокуренной бородкой лицо Кондратовича, и воловьи глаза

Шульги налились кровью.— Чего мне бояться? Страшней того, что я слышу, не може буты!

— Обожди... — Кондратович поднял голову и костистой рукой своей с изуродованными черными ногтями взял Матвея Костиевича за локоть. — Веришь ты мне? — спросил он печально и низко, на самых страшных низах своего голоса.

Шульга хотел что-то сказать, но старик крепко сдавил ему локоть и, глядя на него пронзительными запавшими глазами, сказал почти умоляюще:

— Обожди... послухай...

Теперь они смотрели прямо в глаза друг другу.

— Я не можу принять тебя в дом, бо я своего старшего сына боюсь. Боюсь, продаст, — хриплым шепотом сказал старик, приблизив свое лицо к лицу Матвея Костиевича. — Помнишь, ты был у нас в двадцать девятом? То последний раз ты был у нас, как мы со старухой справляли двадцать пять лет нашей жизни, серебряную нашу свадьбу. Всех моих ребят ты, видно, не помнишь, да и не обязан, — усмехнулся старик, — а старшего должен помнить еще по восемнадцатому году...

Шульга молчал.

— Вот он у меня свихнулся, — хриплым шепотом сказал Кондратович. — Помнишь, он тогда, в двадцать девятом, уже был без руки?

Шульга смутно помнил насупленного, медлительного, малоразговорчивого подростка, которого он видел у Кондратовича в восемнадцатом году. Но кто из окружавших Шульгу в двадцать девятом году на квартире у Кондратовича молодых людей был когда-то этим подростком, а кто из них был без руки, этого уже Шульга не помнил. Он с удивлением поймал себя на том, что он вообще плохо помнит тот вечер. Должно быть, он пошел тогда к Кондратовичу немножко по обязанности, и этот вечер затерялся среди многих схожих вечеров, проведенных так же, по обязанности, среди других людей, при других обстоятельствах.

— Руку ему на заводе оторвало в Луганске...— Кондратович употребил старое название Ворошиловграда, и из этого Шульга понял, что это дело давнишнее.— Он до дому вернулся, на наше иждивение. Наукам учить его поздно было, да мы сразу и не додумали, а профессии сходной, по возможностям своим, он не достал, — и свихнулся. Стал попивать на отцовы деньги, то есть на мои, а я его жалел. Замуж за него никто не шел, с того он еще пуще загулял. А в тридцатом свалилась на него вот эта цаца, что ты видел, обкрутила его, и пошли у них дела темные. Стала она вроде тайной шинкарки, занялись они спекуляцией и — тебе, как на духу, — не гну-

шаются и краденое скупать. Поначалу я его жалел, а потом стал бояться позору. Мы со старухой так и решили — будем молчать. И молчали. И перед детьми родными молчали. И молчим... Его при советской власти два раза судили, надо бы эту шкуру, да он всякий раз вину на себя. Ну, знаешь, судьи знают: я старый партизан, знатный забойщик, человек знаменитый, — один раз ему порицание, другой — условно. А он с каждым годом все злее. Веришь ты мне? Как же я могу тебя в дом принять? Он, может, чтобы ему дом достался, и нас со старухой продаст! — И Кондратович, стыдясь, отвернулся от Шульги.

— Но как же ты, зная это, мог дать согласие? — с волнением сказал Шульга, вглядываясь в острое, как нож, лицо Кондратовича, не зная, верить ли ему или не верить, и вдруг с отчаянием ловя себя на том, что он потерял в душе всякие критерии, каким людям можно, а каким нельзя верить в тех условиях, в каких он очутился.

— Но как же я мог отказаться, Матвей Константинович? — с тоской в голосе сказал Кондратович. — Ты же только подумай: я, Иван Гнатенко, и вдруг — отказаться. Позор-то какой! Ведь этот разговор-то когда был? Говорили так: может, и не придется, ну, а если придется, согласен? Ведь он вроде совесть мою проверял, а я бы ему вдруг про сына. Я бы вроде и сам увильнул и сына — под тюрьму. А ведь он мне сын!.. Матвей Константинович! — вдруг с предельной силой отчаяния сказал старик. — Я весь твой, на что угодно. Ты знаешь характер мой — молчок до гроба, а смерти я не боюсь. Ты мною располагай, как собой. Я тебе найду, где укрыться, я людей знаю, я верных людей найду, ты мне верь. Я ведь и тогда в райкоме так подумал: сам я на все готов, а насчет сына тут в райкоме я, как человек беспартийный, говорить не обязан, значит совесть моя чиста... Мне главное, чтобы ты мне верил... А квартиру я тебе найду, — говорил Кондратович, не замечая того, что в голосе у него появились даже нотки заискивания.

— Я тебе верю,— сказал Матвей Костиевич. Но он сказал не совсем правду: он верил и не верил. Он сомневался. А сказал он так потому, что это было выгоднее ему.

Лицо старика вдруг все изменилось, он сразу размяк, опустил голову и некоторое время молча сопел.

А Шульга стоял и смотрел на него и взвешивал все, что Кондратович сказал ему, перекладывая то одно, то другое с одной чашки весов на другую. Конечно, он знал, что Кондратович свой человек. Но Шульга не знал, как жил Кондратович целых двенадцать лет, и каких лет: когда совершались самые большие дела в стране. И то, что Кондратович укрывал

своего сына от власти, укрыл его даже в самую ответственную минуту жизни и пошел на ложь в таком насущном деле, как возможность использования его квартиры в немецком подполье, — все это перевешивало чашу весов за то, что нельзя целиком довериться Кондратовичу.

— Ты здесь пока посиди или полежи, я тебе поесть вынесу, — хриплым шепотом говорил Кондратович, — а я тут сбегаю в одно место, и все как есть наладим.

Одно мгновение, и Матвей Костиевич чуть было не поддался тому, что предлагал ему Кондратович, но тут же внутренний голос, который он считал не просто голосом осторожности, а голосом жизненного опыта, сказал ему, что не надо поддаваться чувству.

— Чего ж ходить, у меня не одна квартира на примете, я найду себе место, — сказал он, — а покушать — я потерплю: хуже будет, коли та самая чертова баба да сын твой чего-нибудь такое подумают недоброе.

— То тебе виднее, — с грустью сказал Кондратович. — А все ж ты на меня, старика, креста не клади, я тебе сгожусь.

— То я знаю, Кондратович, — сказал Шульга, чтобы утешить старика.

— И коли ты мне веришь, ты мне скажи, к кому ты идешь. Я тебе заодно скажу, добрый ли тот человек и стоит ли к нему идти, и буду, в случае чего, знать, где искать тебя...

— Сказать, куда я иду, того я тебе сказать не имею права. Ты сам старый подпольщик и конспирацию знаешь, — сказал Шульга с хитрой улыбкой. — А человек, до кого я иду, то человек мне известный.

Кондратовичу хотелось сказать: ведь вот и я человек тебе известный, а видишь, сколько оказалось неизвестного, и лучше уж тебе теперь посоветоваться со мной. Но он застыдился сказать так Матвею Костиевичу.

— То тебе виднее, — мрачно сказал старик, окончательно поняв, что Шульга ему не верит.

— Що ж, Кондратович, пошли! — сказал Костиевич с деланной бодростью.

— То тебе виднее, — в задумчивости повторил старик, не глядя на Матвея Костиевича.

Он повел было Костиевича по улице мимо своего дома. Но Шульга остановился и сказал:

— Ты меня лучше задами выведи, не то увидит еще эта твоя... цаца. — И он усмехнулся.

Старик было хотел сказать ему: «А коли ты знаешь конспирацию, то сам должен понимать, что тебе лучше уйти так же, как ты пришел,— кому же придет в голову, что ты приходил к старику Гнатенко по подпольному делу». Но он пони-

мал, что ему не верят и что говорить бесполезно. И он задами вывел Матвея Костиевича на одну из соседних улиц. Там, у угольного сарайчика, они остановились.

— Прощай, Кондратович, — сказал Шульга, и у него так защемило на сердце, легче в гроб лечь. — Я еще найду тебя.

— То как тебе будет угодно, — сказал старик.

И Шульга пошел по улице, а Кондратович еще некоторое время стоял у этого угольного сарайчика, глядя вслед Шульге, высохший, голенастый, в обвисшей на нем, как на кресте, старинного покроя куртке.

Так Матвей Шульга сделал второй шаг навстречу своей гибели.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Сережка Тюленин, его друг Витька Лукьянченко, и его сестра Надя, и старая сиделка Луша в течение нескольких часов нашли в разных частях города более семидесяти квартир для раненых. И все-таки около сорока раненых не были размещены; ни Сережка с Надей, ни тетя Луша, ни Витька Лукьянченко, ни те, кто помогал им, не знали, к кому еще можно было бы обратиться с этой просьбой, и не хотели рисковать провалом всего дела.

Странный был этот день — такие бывают только во сне. Отдаленные звуки проходящих по дорогам через город частей, грохот боев в степи прекратились еще вчера. Необыкновенно тихо было и в городе и во всей степи вокруг. Ждали, что в город вот-вот войдут немцы, — немцы не приходили. Здания учреждений, магазинов стояли открытые и пустые, никто в них не заходил. Предприятия стояли молчаливые, тихие и тоже пустые. На месте взорванных шахт все еще сочился дымок. В городе не было никакой власти, не было милиции, не было торговли, не было труда — ничего не было. Улицы были пустынны. Выбежит одинокая женщина к водопроводному крану, или колодцу, или в огород — сорвать два-три огурца, и опять тихо, и нет никого. И трубы в домах не дымили, никто не варил обеда. И собаки притихли, оттого что никто посторонний не тревожил их покоя. Только кошка иногда перебежит через улицу, и снова пустынно.

Раненых размещали по квартирам в ночь на 20 июля, но Сережка и Витька уже не принимали в этом участия. В эту ночь они перетаскали из склада в «Сеняках» бутылки с горючей жидкостью на «Шанхай» и зарыли их в балке под кустами, а по нескольку бутылок каждый закопал у себя в огороде, чтобы в случае надобности бутылки всегда были под руками.

Куда же все-таки девались немцы?

Рассвет застал Сережку в степи за городом. Солнце вставало за розовато-серой дымкой, большое, круглое, можно было смотреть на него. Потом край его высунулся над дымкой, расплавился, и миллионы капель росы брызнули по степи, каждая своим светом, и темные конусы терриконов, то там, то здесь выступавшие над степью, окрасились в розовое. Все ожило и засверкало вокруг, и Сережка почувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя гуттаперчевый мячик, пущенный в игру.

Езженая дорога шла вдоль железнодорожной ветки, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Обе дороги проложены были по возвышенности, от которой отходили в обе стороны небольшие отрожки, разделенные балками, постепенно понижавшиеся и сливавшиеся со степью. И самые отрожки и неглубокие балки между ними поросли кудрявым леском, кустарником. Вся эта местность носила название Верхнедуванной рощи.

Солнце, сразу начавшее калить, быстро подымалось над степью. Оглядываясь вокруг, Сережка видел почти весь город, раскинувшийся по холмам и низинам — неравномерно, узлами, больше возле шахт, с их выделяющимися наземными сооружениями,— и вокруг зданий районного исполкома и треста «Краснодонуголь». Кроны деревьев на отрожках ярко зеленели на солнце, а на дне заросших балок еще лежали прохладные утренние тени. Рельсы, сверкая на солнце, сливаясь, уходили вдаль и исчезали за дальним холмом, из-за которого медленно всходил к небу круглый беленький мирный дымок, — там находилась станция Верхнедуванная.

И вдруг на гребне этого холма, в той точке, где как бы кончалась езженая дорога, возникло темное пятно, которое быстро стало вытягиваться навстречу в виде узкой тёмной ленточки. Через несколько секунд эта ленточка отделилась от горизонта,— что-то продолговатое, компактное, темное стремительно двигалось издалека навстречу Сережке, оставляя позади себя конус рыжей пыли. И еще раньше, чем Сережка мог рассмотреть, что это такое, он понял по наполнившему степь стрекоту, что это движется отряд мотоциклистов.

Сережка юркнул в кусты ниже дороги и стал ждать, лежа на брюхе. Не прошло и четверти часа, как нараставший стрекот моторов наполнил собой все вокруг, и мимо Сережки, видные ему только верхней частью корпуса, промчались немецкие мотоциклисты-автоматчики, — их было более двадцати. Они были в обычном грязно-сером обмундировании немецкой армии, в пилотках, но глаза, и лоб, и верхнюю часть носа закрывали им громадные, темные, выпуклые очки, и это придавало

этим людям, внезапно возникшим здесь, в донецкой степи, фантастический вид.

Они доехали до окраинных домиков, застопорили машины и, соскочив с машин, рассыпались по сторонам; у машин осталось трое или четверо. Но не прошло и десяти минут, как все мотоциклисты один за другим вновь сели на машины и помчались в город.

Сережка потерял их из виду за домами в низине, но он знал, что, если они едут в центральную часть города, к парку, им не миновать хорошо видного отсюда подъема дороги за вторым переездом, и Сережка стал наблюдать за этим подъемом дороги. Четверо или пятеро мотоциклистов веером взнеслись на этот подъем, но не проследовали к парку, а свернули к той группе зданий на холме, где находились здания районного исполкома и «бешеного барина». Через несколько минут мотоциклисты промчались обратно к переезду, и Сережка вновь увидел весь отряд среди окраинных домов,— отряд возвращался на Верхнедуванную. Сережка пал ниц между кустами и уже не поднимал головы, пока отряд не промчался мимо него.

Он перебрался на поросший деревьями и кустами отрожек, выдвинутый в сторону Верхнедуванной, откуда видна была вся местность. Здесь пролежал он несколько часов под деревом. Солнце, передвигавшееся по небу, вновь и вновь находило Сережку и начинало так припекать, что он все время уползал от него по кругу — за тенью.

Пчелы и шмели гудели в кустах, собирая июльского настоя нектар с поздних летних цветов и прозрачную липкую падь с листьев деревьев и кустарников, образуемую на обратной стороне листьев травяными тлями. От листвы и от травы, которая пышно разрослась здесь, в то время как на всем пространстве степи она уже сильно выгорела, тянуло свежестью. Иногда чуть-чуть повевал ветерок и шелестел листвою. Высоко-высоко в небе стояли мелкие курчавившиеся, очень яркие от солнца барашки облачков.

И такая истома сковывала все его члены, ложилась на сердце, что временами Сережка забывал, зачем он здесь. Тихие и чистые ощущения детских лет приходили ему на память, когда он так же, закрыв глаза, лежал в траве где-нибудь в степи, и солнце так же калило его тело, и так же гудели вокруг пчелы и шмели, и пахло горячей травой, и мир казался таким родным, прозрачным и вечным. И снова в ушах раздавался стрекот моторов, и он видел этих мотоциклистов в неестественно огромных очках, на фоне голубого неба, и он вдруг понимал, что никогда-никогда уже не вернутся тихие, чистые ощущения детских лет, эти ранние, неповторимые дуновения счастья. И у него то больно и сладко щемило на

сердце, то все его существо снова захлестывалось жестокой жаждой боя, кипевшей в его крови.

Солнце стояло уже после полудня, когда из-за дальнего холма снова высунулась по дороге длинная темная стрела и сразу густо взнялась пыль на горизонте. Это были опять мотоциклисты, их было много,— длинная, нескончаемая колонна. За ними пошли машины, сотни, тысячи грузовых машин в колоннах, в промежутках между которыми двигались легковые машины командиров. Машины все выкатывались и выкатывались из-за холма. Длинная, толстая, зеленая, отблескивающая на солнце чешуей змея, извиваясь, все вытягивалась и вытягивалась из-за горизонта, голова ее была уже недалеко от того места, где лежал Сережка, а хвоста еще не видно было. Пыль валом стояла над дорогой, и рев моторов, казалось, заполнил все пространство между землей и небом.

Немцы шли в Краснодон. Сережка был первый, кто их увидел.

Скользящим движением, как кошка, он не то прополз, не то проскочил, не то перелетел через езженую дорогу, потом через железную и бегом ударил вниз по балке, уже по другую сторону возвышенности, где его нельзя было увидеть с хода немецкой колонны за железнодорожной насыпью.

Сережка придумал весь этот маневр, чтобы успеть раньше немцев достигнуть города и занять в самом городе наиболее выгодный наблюдательный пункт — на крыше школы имени Горького, расположенной в городском парке.

Пустырем возле выработанной шахты он выбежал на зады той самой улицы за парком, которая со стародавних времен сохранилась в своем первозданном виде, отдельно от города, и носила в просторечии название «Деревянная».

И здесь он увидел нечто, настолько поразившее его воображение, что вынужден был остановиться. Он бесшумно скользил вдоль заборов, огораживавших обывательские садики, выходящие на зады Деревянной улицы, и в одном из этих садиков увидел ту самую девушку, с которой позапрошлой ночью судьба свела его в степи на грузовике.

Девушка, расстелив на траве под акациями темный в полоску плед и подмостив под голову подушку, лежала шагах в пяти от Сережки в профиль к нему, положив одну на другую загорелые ноги в туфлях, и, невзирая на происходящие вокруг события, читала книгу. Одна из ее толстых русых, золотящихся кос покойно и свободно раскинулась по подушке, оттеняя загорелое лицо ее с темными ресницами и самолюбиво приподнятой верхней полной губой. Да, в то время, когда тысячи машин, наполнив ревом моторов и бензинной гарью все пространство между степью и небом,— целая немецкая

армия,— двигались на город Краснодон, девушка лежала на пледе в садике и читала книгу, придерживая ее обеими загорелыми, покрытыми пушком руками.

Сережка, сдерживая дыхание, со свистом вырывавшееся из груди, держась обеими руками за планки забора, несколько мгновений, ослепленный и счастливый, смотрел на эту девушку. Что-то наивное и прекрасное, как сама жизнь, было в этой девушке с раскрытой книгой в саду в один из самых ужасных дней существования мира.

С отчаянной отвагой Сережка перемахнул через забор и уже стоял у ног этой девушки. Она отложила книгу, и ее глаза в темных ресницах с выражением спокойным, удивленным и радостным остановились на Сережке.

В ту ночь, когда Мария Андреевна Борц привезла ребят из Беловодского района в Краснодон, вся семья Борц — сама Мария Андреевна, ее муж, старшая дочь Валя и младшая дочь Люся, двенадцати лет, — не спала до рассвета.

Они сидели при свете керосинового ночника,— электростанция, дававшая свет городу, не работала с семнадцатого числа, — сидели друг против друга за столом, как будто в гостях. Новости, которыми они обменялись, были несложны, но так страшны, что о них невозможно было говорить вслух в этой тишине, которая стояла в доме, на улице, во всем городе. Ехать куда-либо было уже поздно. Оставаться было ужасно. Все они, даже Люся, девочка с такими же, как у сестры, золотистыми, но еще более светлыми волосами и большими серьезными глазами на побледневшем личике, чувствовали, что произошло нечто настолько непоправимое, что разум еще не в силах охватить размеры бедствия.

Отец был жалок. Он все вертел цигарки из дешевого табака и курил. Детям уже трудно было представить себе то время, когда отец казался воплощением силы, опорой, защитой семьи. Он сидел худой, маленький. У него всегда было слабое зрение, а в последние годы он просто слепнул и уже с трудом готовился к урокам. Он, как и Мария Андреевна, преподавал литературу, и тетрадки его учеников часто просматривала за него жена. При свете ночника он ничего не видел, его глаза, какого-то египетского разреза, смотрели не мигая.

Все вокруг было такое привычное, знакомое с детства, и все было другое. Обеденный стол, накрытый цветной скатертью, пианино, на котором Валя играла каждый день свои пьески, буфет со стеклянными дверцами, за которыми симметрично была расставлена простая, со вкусом подобран-

ная посуда, открытый шкаф с книгами — все это было такое же, как всегда, и все было чужое. Многочисленные поклонники Вали говорили, что в доме у Борц уютно и романтично, и Валя знала, что это она, девушка, живущая в этом доме, делает романтическим все, что окружает ее. И вот все это стояло перед нею, точно обнаженное.

Им было страшно потушить свет, разойтись, остаться каждому в своей постели наедине со своими мыслями и ощущениями. И так они молча сидели до самого рассвета, — одни часы тикали. Только когда слышно стало, как соседи набирают воду из крана в водонапорной башне наискосок от их домика, они потушили лампу, открыли ставни, и Валя, нарочно производя как можно больше шума, разделась и залезла с головой под одеяло. Очень скоро она заснула. Заснула и Люся. А Мария Андреевна с мужем так и не легли спать.

Валя проснулась оттого, что в столовой мать и отец тихо позвякивали чайной посудой, — Мария Андреевна все-таки поставила самовар. Солнце било в окно. И Валя с внезапным брезгливым чувством вспомнила это ночное сидение. Унизительно и ужасно было так опускаться.

В конце концов какое ей дело до немцев! У нее своя духовная жизнь. Пусть кто хочет изнывает от ожидания и страха, но не она, нет.

Она с наслаждением вымыла волосы горячей водой и напилась чаю. Потом взяла из шкафа томик Стивенсона с «Похищенным» и «Катрионой» и, расстелив в саду под акацией плед, погрузилась в чтение.

Тихо было вокруг. Солнце лежало на запущенной клумбе с цветами и на травянистой лужайке. Коричневая бабочка сидела на цветке и то распускала, то сдвигала крылышки. Земляные пчелы, мохнатые, темные, с белыми широкими, пушистыми полосами вокруг брюшка, сновали с цветка на цветок, сладко гудели. Старая, многоствольная и многоветвистая акация бросала тени вокруг. Сквозь листву, местами начавшую желтеть, виднелись аквамариновые пятна неба.

И этот сказочный мир неба, солнца, зелени, пчелок и бабочек причудливо переплетался с другим, вымышленным, миром книги, миром приключений, дикой природы, человеческой отваги и благородства, чистой дружбы и чистой любви.

Иногда Валя откладывала книгу и мечтательно, долго смотрела в небо между ветвей акаций. О чем мечтала она? Она не знала. Но, боже мой, как хорошо было одной лежать вот так в этом сказочном саду с раскрытой книгой!

«Наверно, все уехали, успели,— вспоминала она о школьных товарищах своих, — и Олег, наверно, уехал». Она была дружна с Кошевым, так же как были дружны их родители.

«Да, все забыли ее, Валю. Олег уехал. И Степка не идет. Тоже друг. «Клянусь!» Вот болтун! Наверно, если бы тот парень, что вскочил тогда в грузовик, — как его... Сергей Тюленин... Сережа Тюленин, — если бы тот парень поклялся, он бы сдержал свое слово...»

И она уже представляла себя на месте Катрионы, а герой, Похищенный, полный отваги и благородства, представлялся ей тем парнем, что впрыгнул ночью в машину. Чувствовалось, что у него жесткие волосы, ей так хотелось их потрогать. «А то что за мальчишка, если волосы у него мягкие, как у девчонки, у мальчишки волосы должны быть жесткие... Ах, если бы они никогда не пришли, эти немцы!» — думала она с невыразимой тоской. И снова погружалась в вымышленный мир книги и облитого солнцем сада с земляными мохнатыми пчелами и коричневой бабочкой.

Так провела она весь день и на другое утро снова взяла плед и подушку и томик Стивенсона и ушла в сад. Так она и будет жить теперь, в саду под акацией, что бы там не происходило на свете...

К сожалению, такой образ жизни был недоступен ее родителям. И Мария Андреевна не выдержала. Она была женщина шумная, здоровая, подвижная, с полными губами, крупными зубами, громким голосом. Нет, так жить нельзя. Она привела себя в порядок перед зеркалом и пошла к Кошевым — узнать, в городе они или выехали.

Кошевые жили на Садовой улице, упиравшейся в главные ворота парка, и занимали половину стандартного каменного домика, предоставленную трестом «Краснодонуголь» дяде Олега, Николаю Николаевичу Коростылеву, или дяде Коле. В другой половине домика жил с семьей учитель, сослуживец Марии Андреевны.

Одинокий стук топора разносился по Садовой улице, и Марии Андреевне показалось, что стук этот доносится из двора Кошевых. У нее забилось сердце, и, перед тем как войти во двор, она огляделась вокруг, не видит ли кто-нибудь, — как будто она совершала поступок опасный и беззаконный.

Черный лохматый пес, лежавший у крыльца с высунутым от жары красным языком, приподнялся было на стук каблуков Марии Андреевны, но, узнав ее, виновато взглянул на нее: «Извини, мол, жара, нет даже сил, чтобы вильнуть тебе хвостом», — и снова опустился на землю.

Бабушка Вера Васильевна, худая, высокая, жилистая, колола дрова, высоко занося колун костлявыми длинными руками и опуская его с такой силой, что воздух с хеканьем и свистом вылетал из бабушкиной груди. Как видно, она еще не жаловалась на поясницу, а может быть, считала, что клин

клином вышибают. Лицо у бабушки было сильно загорелое, темное, худое, нос тонкий с трепещущими ноздрями,— в профиль она всегда напоминала Марии Андреевне Данте Алигьери, изображение которого Мария Андреевна видела в дореволюционном многотомном издании «Божественной комедии». Вьющиеся кольцами седоватые темно-каштановые волосы обрамляли смуглое лицо бабушки и падали ей на плечи. Обычно бабушка носила очки в черной тонкой роговой оправе, приобретенные так давно, что одна из держалок, которые заправляют за уши, отломилась просто от времени и была прикручена к оправе черной ниткой. Но в эту минуту бабушка была без очков.

Она работала с особенной — удвоенной, утроенной — энергией, поленья с грохотом летели во все стороны. Выражение лица и всей фигуры бабушки было примерно такое: «черт бы побрал этих немцев и черт бы побрал вас всех, коли вы боитесь немцев! Я лучше буду колоть эти дрова... кра... кра... И пусть эти поленья, чтобы черт их побрал, летят во все стороны! Да, я лучше буду греметь этими поленьями, чем допущу себя до вашего унизительного состояния. А если мне за это суждено погибнуть, то, черт меня побери, я уже старая и смерти не боюсь... кра... кра...»

И бабушка Вера, увязив колун в сучковатой чурке, вдруг развернулась всей чуркой через плечо да так трахнула об обушок, — чурка так и брызнула на две половинки, одна из которых едва не сшибла Марию Андреевну с ног.

Благодаря этому обстоятельству бабушка Вера увидела Марию Андреевну, прижмурилась, узнала ее и, отбросив колун, сказала своим громким голосом, который разнесся, казалось, по всей улице:

— А-а, Мария, чи то — Мария Андреевна! Ото дило, ото добре, що зашла, не погнушалась! А то вже дочка моя, Лена, третьи сутки учкнулась у подушку и реве, як та белуга. Я ей кажу: «Да сколько ж слез в тебе?» Заходьте, будьте ласковы...

Мария Андреевна и испугалась ее громкого голоса, и одновременно он как-то обнадежил ее, — ведь она сама любила говорить громко. Но все-таки она спросила тихо и с опаской:

— А наши уехали? — И указала на квартиру учителя.

— Сам десь уихав, а семья туточки, и тоже ревуть. Може, поснидаете со мною? Я такой борщ сварила с буряками, та никто не хочет исты.

Нет, она, как всегда, была на высоте, бабушка Вера, бобылка. Она была дочерью сельского столяра, родом из Полтавской губернии. Муж ее, уроженец Киева, мастеровой-путиловец, после первой мировой войны, с которой он пришел

сильно израненный, осел в их селе. Будучи замужем, бабушка Вера вышла на самостоятельную дорогу, была делегаткой на селе, работала в комнезаме, потом поступила на службу в больницу. И смерть мужа не сломила ее, а еще больше развила в ней эту черту самостоятельности. Теперь она уже, правда, не служила, а жила на пенсии, но еще и сейчас могла, в случае нужды, подать свой властный голос. Бабушка Вера уже лет двенадцать как была партийной.

Елена Николаевна, мать Олега, лежала на кровати вниз лицом в измятом цветастом платье, с голыми ногами, и ее светло-русые пышные косы, которые в обычное время увенчивали ее голову большой замысловатой прической, теперь не уложенные, прикрывали едва не до пят все ее маленькое, с развитыми формами, молодой, красивой и сильной женщины тело.

Когда бабушка Вера и Мария Андреевна вошли в горницу, Елена Николаевна оторвала от подушки заплаканное скуластое лицо с добрыми, умными, мягкими по выражению, опухшими глазами и, вскрикнув, кинулась к Марии Андреевне в объятия. Они обнялись, припали друг к другу, поцеловались, заплакали, потом засмеялись. Они рады были, что в эти страшные дни они могли так относиться друг к другу, так понимать и разделять общее горе. Они плакали и смеялись, а бабушка Вера, уперев жилистые руки в бока, качала своей кудрявой головой Данте Алигьери и все повторяла:

— От дурные, так дурные: то плачуть, то смиються. Смеяться вроде нема с чого, а наплакаться мы ще успеем уси...

И в это время до слуха женщин донесся с улицы странный нарастающий шум, будто рокот множества моторов, сопровождаемый злобным и тоже нарастающим, надрывным лаем собак, — похоже было, что по всему городу взбесились собаки.

Елена Николаевна и Мария Андреевна отпустили друг друга. И бабушка Вера опустила руки, и ее смуглое худое лицо побледнело. Они постояли так несколько мгновений, не смея дать себе отчет в том, что это за звуки, но они уже знали, что это за звуки. И вдруг все трое — первой бабушка, за ней Мария Андреевна, за ней Елена Николаевна — выбежали в палисадник и, не сговариваясь, чутьем понимая, как это нужно сделать, побежали не к калитке, а между гряд, сквозь подсолнухи, к кустам жасмина, высаженного вдоль забора.

Шум множества машин, разрастаясь, доносился из нижней части города. Колеса машин уже погромыхивали по мосту, где-то на втором переезде, не видном отсюда. И вдруг в конце улицы, на въезде, показалась серая легковая машина без верха и, ослепительно отразив стеклом на извороте солнце, не-

быстро покатилась по улице к стоящим у кустов жасмина женщинам. В машине прямо, строго, неподвижно сидели военные в сером, в серых фуражках с высоко поднятой передней частью тульи.

За этой машиной двигалось еще несколько легковых машин. Они въезжали с переезда на улицу и одна за другой небыстро катились сюда, к парку.

Елена Николаевна, не спуская глаз с этих машин, вдруг лихорадочными движениями маленьких, с чуть утолщенными суставами пальцев рук подхватила одну, потом другую косу и стала обкручивать их вокруг головы. Она сделала это очень быстро, совершенно машинально и, обнаружив, что у нее нет с собой шпилек, продолжала стоять на месте и смотреть на улицу, придерживая косы на голове обеими руками.

А Мария Андреевна, издав легкий вскрик, бросилась от куста жасмина, за которым она стояла, не к калитке на улицу, а обратно к дому. Она обежала дом с того края, где жил учитель, и другой калиткой выбежала на улицу, параллельную той, по которой двигались немцы. Эта улица была пуста, и этой улицей Мария Андреевна побежала домой.

— Прости, я уже не имею сил тебя подготовить... Мужайся... Тебе надо немедленно спрятаться... Они могут вот-вот хлынуть на нашу улицу! — говорила Мария Андреевна мужу.

Она задыхалась, прикладывала руку к сердцу, но, как все здоровые люди, она была такая красная и потная от бега, что этот внешний вид ее волнения не соответствовал страшному смыслу того, о чем она говорила.

— Немцы? — тихо сказала Люся с таким недетским выражением ужаса в голосе, что Мария Андреевна вдруг смолкла, взглянула на дочь и растерянно повела глазами вокруг.

— Где Валя? — спросила она.

Муж Марии Андреевны стоял с бледными губами и молчал.

— Я расскажу, я все видела,— необыкновенно тихо и серьезно сказала Люся.— Она читала в саду, а какой-то мальчик, уже взрослый, перескочил через забор. Она лежала, а потом села, и они все разговаривали, а потом она вскочила, и они перелезли через забор и побежали.

— Куда побежали? — с остановившимися глазами спросила Мария Андреевна.

— К парку... Плед остался, и подушка, и книжка. Я думала, что она сейчас вернется, вышла и стала караулить, а она не вернулась, и я все домой унесла.

— Боже мой... — сказала Мария Андреевна и грузно опустилась на пол.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Бабушка Вера и Елена Николаевна все стояли в кустах жасмина и смотрели, как, наполняя собой и своим грохотом улицу, взревывая на взъезде, выползали одна за другой громадные, высокие, длинные грузовые машины, в которых рядами, в куртках серого цвета, в серых грязных пилотках, потные, загорелые, пыльные, сидели немецкие солдаты, держа между ног ружья. Собаки со всех дворов со злобным лаем кидались на машины и прыгали вокруг в густой рыжей пыли.

Передние машины с офицерами уже поравнялись с палисадником у дома Кошевых, как вдруг за спиной женщин раздался свирепый лай, и черный лохматый пес, как шаровая молния, промчавшись среди подсолнухов, перемахнул через низенький забор палисадника и, низко подвывая, лая сипло и гулко, по-стариковски, заплясал вокруг передней машины.

Женщины в ужасе переглянулись. Им казалось, что сейчас должно произойти что-то ужасное. Но ничего ужасного не произошло. Машина проехала дальше, к самому парку, и остановилась у здания треста «Краснодонуголь», куда вслед за нею подошли и другие легковые машины. В это время грузовые машины с солдатами уже заполнили всю улицу. Солдаты спрыгивали с машин, разминали руки и ноги и с непривычным для русского уха шумным, резким говором растекались по дворам, палисадникам, стучались в двери. Черный лохматый пес растерянно стоял у калитки и неопределенно лаял на всю улицу.

Офицеры стояли возле здания треста, курили, денщики вносили в здание чемоданы. Маленький офицер с толстым брюшком и так высоко вздернутой тульей фуражки, что голова при ней уже не имела никакого значения, распоряжался разгрузкой машин. Молоденький офицер на неестественно длинных ногах в сопровождении солдата громадного роста, неуклюжего, в грубых ботинках и в пилотке на светлых, яркого палевого цвета волосах, быстро перебежал наискосок через улицу, в здание, где жил Проценко. Но через минуту и офицер и солдат вышли оттуда и быстро свернули в калитку соседнего владения. В этом соседнем доме тоже жили работники обкома, но они несколько дней назад уехали вместе с хозяевами квартиры. Офицер и солдат вышли из палисадника и направились к калитке во двор Кошевых.

Наконец-то черный лохматый пес увидел совершенно реального противника, двигавшегося прямо на него, и с лаем кинулся на молоденького офицера. Офицер остановился на длинных расставленных ногах, на лице его появилось мальчишеское выражение, он выругался сквозь зубы, потом вынул

из кобуры револьвер и в упор выстрелил в собаку. Пес ткнулся носом в землю, с воем прополз немного навстречу офицеру и вытянулся.

— Собаку вбили... що ж це воно буде? — сказала бабушка Вера.

Офицеры у здания треста и солдаты на улице оглянулись на выстрел, но, увидев убитую собаку, вернулись к своим занятиям. Одиночные выстрелы раздавались то там, то здесь. Офицер в сопровождении громадного денщика с палевой головой уже отворял калитку во двор Кошевых.

Бабушка Вера, неподвижно и прямо неся свою голову Данте Алигьери, пошла навстречу им, а Елена Николаевна осталась в кустах жасмина, придерживая обеими руками уложенные вокруг головы светло-русые косы.

Остановившись на длинных ногах против бабушки и, хотя бабушка тоже была высокая, сверху вниз глядя на нее холодными, бесцветными глазами, офицер спросил:

— Кто будет показать вашу квартиру?

Он сказал это, предполагая, что говорит на очень правильном русском языке, и перевел свой взгляд с бабушки на стоявшую в кустах жасмина с поднятыми руками Елену Николаевну, а потом снова на бабушку.

— Що ж ты, Лена? Иди покажи, — смущенно сказала бабушка хриплым голосом.

Елена Николаевна, придерживая руками косы, пошла между грядок к дому.

Офицер некоторое время с удивлением смотрел на нее, потом снова перевел взгляд на бабушку.

— Ну? — сказал он, приподняв светлые брови, и его юное холеное лицо барчука приняло капризное выражение.

Бабушка, непривычно семеня ногами, почти побежала к дому. Офицер и денщик пошли за нею.

Квартира Кошевых состояла из трех комнат и кухни. Прямо из кухни посетитель попадал в большую комнату, служившую столовой, с двумя окнами на соседнюю, параллельную Садовой, улицу. Здесь же стояла кровать Елены Николаевны и диван, на котором обычно стелили Олегу. Дверь из столовой налево вела в комнату, где жил Николай Николаевич с женой и ребенком. Другая дверь, направо, вела в совсем маленькую комнатку, где спала бабушка. Комнатка эта имела общую стену с кухней, как раз ту стену, к которой примыкала плита, и когда на кухне топили плиту, в комнате стояла нестерпимая жара, особенно летом. Но бабушка, как все деревенские старухи, любила тепло, а если уж больно донимала жара, она открывала оконце в палисадник, где под самым окном высажены были кусты сирени.

Офицер вошел в кухню, бегло оглядел ее, потом, пригнувшись, чтобы не задеть притолоки, вошел в столовую, постоял, поводя глазами вокруг. Видно, ему понравилось здесь. Комната была чисто выбеленная и вымытая до блеска, крашеные полы устланы суровыми, домашней выделки, чистыми половиками, на столе белоснежная скатерть, такой же пододеяльник на кровати Елены Николаевны, а подушки, одна меньше другой, были пышно взбиты и покрыты чем-то кружевным и воздушным. На окнах стояли цветы.

Офицер быстро прошел в комнату Коростылевых, так же согнувшись в дверях. Елена Николаевна, даже не заметившая, когда и как она укрепила косы, осталась в столовой, прислонившись к косяку двери закинутой головой в пышной короне светло-русых волос. А бабушка Вера прошла за немцем.

Эта комнатка с маленьким письменным столом, аккуратным чернильным прибором и висящими сбоку стола, на косяке двери, на гвоздочке рейсшиной, треугольником и лекалом тоже понравилась немцу.

— Schön! — сказал он удовлетворенно.

Вдруг он увидел смятую кровать, на которой, когда вошла Мария Андреевна, лежала Елена Николаевна. Он быстро шагнул к кровати, отвернул одеяло, простыни, брезгливо, двумя пальцами приподнял перину, нагнулся и втянул носом воздух.

— Клоп нет? — морщась, спросил он бабушку Веру.

— Клопив нема... Нэту, — сказала бабушка, исковеркав язык возможно понятнее для немца, и отрицательно затрясла головой, обиженная.

— Schön, — сказал немец и, согнувшись в дверях, вернулся в столовую.

В комнату бабушки он только заглянул и круто обернулся к Елене Николаевне.

— Здесь будет жить генерал барон фон Венцель,— сказал он. — Эти две комнаты освободить, — он указал на столовую и комнату Коростылевых. — Вам разрешается жить здесь, — он указал на комнатку бабушки Веры.— Что вам надо из этих две комнаты, возьмите сейчас... Убрать это, это, — он брезгливо, двумя пальцами отогнул белоснежный пододеяльник, одеяло, простыню на кровати Елены Николаевны.— И та комната тоже... убрать... Быстро! — И он вышел из комнаты мимо отшатнувшейся от него Елены Николаевны.

— Клопив, каже, нема? Вот ворог!.. Ото дожила бабуся Вера на старости лет! — громким резким голосом сказала бабушка. — Лена! Столбняк у тебя, чи що? — возмущенно сказала она. — Треба ж усе убрать для того барона, щоб у него очи повылазили! Приди в себя трошки. То ще, може,

наша удача, що нам барона поставили, може, вин не такий скаженный, як воны уси...

Елена Николаевна молча свернула свою постель, отнесла в комнату бабушки и уже не выходила оттуда. А бабушка Вера убрала постель из комнаты сына и невестки, убрала со стен и со стола фотографии сына и внука Олега в комод («щоб не выспрашивали, кто да кто») и перенесла к себе в комнату белье и платья свои и дочери («щоб уже не лазать до них, хай им грець!»). Все-таки ее мучило любопытство, ей не сиделось, и она вышла во двор.

В калитке снова показался громадного роста денщик с палевой головой и с палевыми веснушками на мясистом лице, несший в обеих руках длинные, широкие, плоские чемоданы в кожаных чехлах. Солдат за ним нес оружие — три автоматических ружья, два маузера, саблю в серебряных ножнах, и еще два солдата несли: один — чемодан, а другой — небольшой тяжелый радиоприемник. Они, не взглянув на бабушку Веру, прошли в дом.

И в это время генерал, очень худой, высокий, в узких, чуть тронутых пылью блестящих штиблетах и в фуражке с сильно вздернутой спереди высокой тульей, старый, морщинистый, с чисто промытым лицом и кадыком, вошел через калитку в палисадник, почтительно сопровождаемый длинноногим офицером, шедшим со склоненной головой на полкорпуса позади генерала.

Генерал был в диагоналевых серых брюках с раздвоенными лампасами и во френче с блекло-золотыми пуговицами и черным воротником, украшенным золотистыми пальмовыми ветвями по красному полю петлиц. Генерал шел, высоко неся на длинной шее узкую длинную голову с седыми висками, и отрывисто говорил что-то. А офицер, идя чуть позади него и нагнув голову, почтительно ловил каждое его слово.

Войдя в палисадник, генерал остановился, огляделся, медленно поводя головой на длинной малиновой шее, и это сделало его похожим на гуся, особенно потому, что у его фуражки со вздернутой тульей был выдавшийся вперед длинный козырек. Генерал огляделся, и на застывшем лице его ничего не изобразилось. Рукою с узкой кистью и сухими пальцами он быстро обвел вокруг, как бы обрекая все это, что оказалось в поле его зрения, и буркнул что-то. Офицер еще почтительнее нагнул голову.

Обдав бабушку Веру сложным парфюмерным запахом и задержав на ней на мгновение взгляд своих сильно выцветших, водянистых усталых глаз, генерал прошёл в дом, нагнув голову, чтобы не зацепить притолоки. Молодой офицер на длинных ногах, сделав знак солдатам, вытянувшимся

у крыльца, чтобы они не уходили, вошел вслед за генералом, а бабушка Вера осталась во дворе.

Через несколько минут офицер вышел, отдал солдатам короткое распоряжение и при этом обвел рукой палисадник, в точности повторив генеральский жест. Солдаты, повернувшись на месте и щелкнув каблуками, вышли один другому в затылок из палисадника, а офицер вернулся в дом.

Подсолнухи на огороде уже сильно склонили свои золотые головы на запад, длинные густые тени легли на гряды. С улицы из-за кустов жасмина доносился чужой возбужденный говор и смех, справа на переезде все рычали моторы, то в той, то в другой стороне слышны были выстрелы, визг собак, кудахтанье кур.

Два знакомых уже бабушке Вере солдата снова показались в калитке. В руках у них были тесаки. Бабушка не успела еще подумать, зачем им эти тесаки, как оба солдата — один в одну сторону от калитки, другой в другую — начали рубить вдоль заборчика кусты жасмина.

— Да що це вы робите, да хиба ж воно вам мешает? — не выдержала бабушка и, развевая юбки, ринулась на солдат. — То ж цветы, то ж красивые цветы! Да хиба ж воны вам мешають? — гневно говорила она, бросаясь от одного солдата к другому, едва удерживаясь, чтобы не вцепиться им в волосы.

Солдаты, не глядя на нее, молча, сопя, рубили кусты. Потом один из них сказал что-то своему товарищу, — оба они засмеялись.

— Ще смиються,— с презрением сказала бабушка.

Солдат выпрямился, утер рукавом пот со лба и, с улыбкой взглянув на бабушку, сказал по-немецки:

— Это приказ свыше. Военная необходимость. Видите, везде рубят. — И он указал тесаком на соседний палисадник.

Бабушка не поняла того, что он сказал, но посмотрела в направлении, куда указывал тесаком солдат, и увидела, что в соседнем палисаднике, и дальше за ним, и позади, за ее спиной, — везде немецкие солдаты рубили деревья и кусты.

— Партизанен — пу! пу! — пытался объяснить немецкий солдат и, присев за кустом, вытянув грязный указательный палец с толстым ногтем, показал, как партизаны это делают.

Бабушка, сразу вся ослабев и махнув рукой, пошла от солдат и села на крылечке.

В калитке показался солдат в белой поварской шапочке и белом халате, из-под которого видны были концы его серых брюк и грубые, на деревянной подошве, ботинки. Он нес в одной руке большую, мелкого плетения круглую корзинку, в которой позвякивала посуда, а в другой — большую алю-

миниевую кастрюлю. За ним шел еще солдат в засаленной серой куртке и что-то нес перед собой в большой миске. Они прошли мимо бабушки на кухню.

Внезапно, точно вырвавшись из другого мира, донеслись из дома обрывки музыки, треск, шипение, обрывки немецкой речи, снова треск и шипение и опять обрывки музыки.

На всем протяжении улицы солдаты вырубали палисадники, и вскоре и направо и налево стало видно от второго переезда до парка, открылась вся улица, по которой сновали немецкие солдаты и проносились мотоциклетки.

Вдруг из горницы за спиной бабушки полилась далекая, нежная музыка. Где-то очень далеко от Краснодона шла спокойная, размеренная жизнь, чуждая всему, что здесь сейчас происходило. Люди, для которых предназначалась эта музыка, жили далеко от войны, от этих солдат, которые сновали по улицам и рубили палисадники, и от бабушки Веры. И, должно быть, эта жизнь была далекой и чужой солдатам, которые рубили кусты в палисаднике, потому что солдаты не подняли голов, не приостановились, не прислушались, не обменялись словом по поводу этой музыки.

Они вырубили все деревья и кусты в палисаднике по самое окошко комнаты бабушки Веры, где, одинокая, молча сидела Елена Николаевна, и принялись теми же тесаками рубить под корень подсолнухи, склонившие на закат свои золотые головы. Они вырубили и эти подсолнухи, и тогда вокруг стало уже совсем чисто, и партизанам неоткуда было делать свое «пу-пу».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Немецкие солдаты и офицеры разных родов оружия в течение всего вечера растекались по всем районам города, только большой «Шанхай» и малые «шанхайчики» да отдаленный район «Голубятники» и Деревянная улица, на которой жила Валя Борц, оставались еще не занятыми.

Казалось, весь город, на улицах которого не видно было местных жителей, заполнился мундирами грязно-серого цвета, такими же пилотками и фуражками с серебряным германским орлом. Серые мундиры растекались по дворам и огородам; их можно было видеть в дверях домов, сараев, амбаров, кладовых.

Улица, на которой жили Осьмухины и Земнуховы, одной из первых была занята въехавшей на грузовиках пехотой. Улица эта была достаточно широка для того, чтобы на ней рас-

положить грузовики, но из боязни привлечь внимание советской авиации солдаты, по приказу своих начальников, повсеместно ломали низенькие заборчики палисадников, чтобы машины свободно могли пройти во двор под прикрытие домов и домашних пристроек.

Высокий длинный грузовик, с которого уже поспрыгивали солдаты, пятясь задом и ревя мотором, наехал на палисадник дома Осьмухиных своими громадными двойными колесами на литых шинах. Забор затрещал. Сминая цветы и клумбы перед домом, наполняя воздух бензинной гарью и рыча, грузовик задом въехал во двор Осьмухиных и остановился у стены.

Молодцеватый ефрейтор, весь черный, с черными, торчащими вперед жесткими усиками, черными жесткими волосами, обкладывавшими, как войлоком, его виски и затылок под сдвинутой на лоб пилоткой, ногой распахнув дверь в сени и из сеней в переднюю, ввалился в квартиру Осьмухиных в сопровождении группы солдат.

Елизавета Алексеевна и Люся с неестественно выпрямленным корпусом, похожие друг на друга, сидели у кровати Володи. Волнуясь и стараясь не показать своего волнения родным, Володя лежал покрытый до подбородка простыней, и сумрачно глядел перед собой узкими коричневыми глазами. Но когда раздался этот грохот в сенях и потные, грязные лица ефрейтора и солдат показались в передней, дверь в которую была открыта, Елизавета Алексеевна резко встала и, быстрая, прямая, с лицом, которое приняло свойственное ей решительное выражение, вышла к немцам.

— Ошень карашо, — сказал ефрейтор и весело засмеялся, с нахальной откровенностью, но дружелюбно глядя в лицо Елизаветы Алексеевны. — Здесь будут стоять наши солдаты... Только две-три ночки. Nur zwei oder drei Nächte. Ошень карашо.

Солдаты стояли за его спиной и молча, без улыбки, смотрели на Елизавету Алексеевну. Она отворила дверь в комнату, где обычно она жила с Люсей. Она еще до прихода немцев решила, если немцы станут на постой, перебраться в комнату к Володе, чтобы всем быть вместе. Но ефрейтор не прошел в эту комнату, даже не заглянул в нее, — он в растворенную дверь смотрел на Люсю, прямо и неподвижно сидершую у постели Володи.

— О! — воскликнул ефрейтор, весело улыбнувшись Люсе и козырнув.— Ваш брат? — Он бесцеремонно ткнул черным пальцем в сторону Володи. — Он ранен?

— Нет, — вспыхнув, сказала Люся, — он болен.

— Она говорит по-немецки! — Ефрейтор, смеясь, обер-

нулся к солдатам, которые по-прежнему без улыбки стояли в передней. — Вы хотите скрыть, что ваш брат красный солдат или партизан и что он ранен, но мы всегда можем это проверить, — с улыбкой говорил ефрейтор, заигрывая с Люсей своими блестящими черными глазами.

— Нет, нет, он учащийся, ему всего семнадцать лет, он лежит после операции, — с волнением отвечала Люся.

— Не бойтесь, мы не тронем вашего брата, — сказал ефрейтор, улыбнувшись Люсе, и, снова козырнув ей, заглянул в комнату, которую указала ему Елизавета Алексеевна.— Ошень карашо! А эта дверь куда? — спросил он Елизавету Алексеевну и, не дожидаясь ответа, отворил дверь в кухню.— Прекрасно! Сейчас же затопить. У вас есть куры?.. Яйки, яйки! — И он дружелюбно, с глупой откровенностью засмеялся.

Было даже удивительно, что он сказал то самое, что в течение всех месяцев войны было содержанием анекдотов о немцах, что можно было услышать от очевидцев, прочесть в газетных корреспонденциях и в подписях под карикатурами. Но он сказал именно это.

— Фридрих, займись нашим столом. — И он в сопровождении солдат вошел в комнату, указанную ему Елизаветой Алексеевной, и весь дом наполнился смехом и говором.

— Мама, ты поняла? Они просят яиц и просят затопить печь,— шепотом сказала Люся.

Елизавета Алексеевна продолжала молча стоять в передней.

— Ты поняла, мама? Может быть, мне принести дров?

— Я все поняла, — сказала мать, не меняя позы, как-то уж чересчур спокойно.

Немолодой солдат с сильно выдававшейся вперед нижней челюстью, с шрамом, спускавшимся из-под пилотки на бровь, вышел из комнаты.

— Это ты будешь — Фридрих? — спокойно спросила Елизавета Алексеевна.

— Фридрих? Это я Фридрих, — мрачно сказал солдат.

— Пойдем... поможешь мне принести дрова... А яиц я вам сама дам.

— Что? — спросил он, не понимая.

Но она сделала ему знак рукой и вышла в сени. Солдат последовал за нею.

— Да, — сказал Володя, не глядя на Люсю. — Закрой дверь.

Люся притворила дверь, думая, что Володя хочет что-то сказать ей.

Но когда она вернулась к кровати, он лежал с закры-

тыми глазами и молчал. И в это время в дверях, без стука, появился ефрейтор, голый по пояс, очень волосатый, черный, держа в руке мыльницу, с полотенцем через плечо.

— Где у вас умывальник? — спросил он.

— У нас нет умывальника, мы поливаем друг другу из кружки во дворе,— сказала Люся.

— Какая дикость! — Ефрейтор весело глядел на Люсю, расставив ноги в порыжелых ботинках на толстой подметке — Как ваше имя?

— Людмила.

— Как?

— Людмила.

— Не понимаю... Лю... Лю...

— Людмила.

— O! Luise! — удовлетворенно воскликнул ефрейтор. — Вы говорите по-немецки, а моетесь из кружки, — брезгливо сказал он. — Ошень плёхо.

Люся молчала.

— А зимой? — воскликнул ефрейтор. — Ха-ха!.. Какая дикость! Так полейте мне по крайней мере!

Люся поднялась и шагнула к двери, но он продолжал стоять в дверях, расставив ноги, черно-волосатый, и, улыбаясь, откровенно и прямо смотрел на Люсю.

Она остановилась перед ним, потупив голову, и покраснела.

— Ха-ха!.. — Ефрейтор еще постоял немного и уступил ей дорогу.

Они вышли на крыльцо.

Володя, понимавший их разговор, лежал, закрыв глаза, чувствуя всем телом сильные толчки сердца. Если бы он не был болен, он мог бы сам полить немцу вместо Люси. Ему было стыдно от сознания униженности того положения, в котором очутились он и вся его семья и в котором им предстояло жить теперь, и он лежал с бьющимся сердцем, закрыв глаза, чтобы не выдать своего состояния.

Он слышал, как немецкие солдаты в тяжелых, кованных гвоздями ботинках ходили через переднюю во двор и обратно. Мать что-то сказала на крыльце своим резким голосом, прошла на кухню, шаркая туфлями, и снова вышла на крыльцо. Люся бесшумно вошла в комнату и притворила за собой дверь, — мать заменила ее.

— Володя! Ужас какой, — быстро заговорила Люся шепотом.— Заборы кругом переломали. Цветники все затоптали, и все дворы забиты солдатами. Вшей трясут из рубах. А прямо перед нашим крыльцом, в чем мать родила, обливаются холодной водой из ведра. Меня чуть не стошнило.

Володя лежал, не открывая глаз, и молчал.

Во дворе закричала курица.

— Фридрих наших кур режет, — с неожиданной издевкой в голосе сказала Люся.

Ефрейтор, фыркая и издавая ртом прерывистые разнообразные звуки, — должно быть, он утирался на ходу полотенцем, — прошел через переднюю в комнату, и некоторое время там слышен был его громкий, жизнерадостный голос очень здорового человека. Елизавета Алексеевна что-то отвечала ему. Через некоторое время она вернулась в комнату Володи со свернутой постелью и положила ее в угол.

В кухне что-то пекли, жарили, даже через закрытую дверь наносило запахи жаренья. Квартира превратилась в проходной двор, все время кто-нибудь приходил, уходил. Из кухни, и со двора, и из комнаты, где расположился ефрейтор с солдатами, доносился немецкий говор, смех.

Люся, имевшая способность к языкам, по окончании школы весь год войны специально занималась немецким, французским и английским, — она мечтала поступить в институт иностранных языков в Москве, чтобы иметь возможность когда-нибудь потом пойти на дипломатическую работу. Люся невольно слушала и понимала многое из этих солдатских разговоров, сдобренных грубым словом или шуткой.

— А, дружище Адам! Здорово, Адам, что это у тебя?

— Свиное сало по-украински. Я хочу войти с вами в долю.

— Великолепно! У тебя есть коньяк? Нет? Будем пить, hol's der Teufel, русскую водку!

— Говорят, на том конце улицы у какого-то старика есть мед.

— Я пошлю Гансхена. Надо пользоваться случаем. Черт знает, долго ли мы здесь пробудем и что нас ждет впереди.

— А что нас ждет впереди? Нас ждут Дон и Кубань. А может быть, Волга. Уверяю тебя, там будет не хуже.

— Здесь мы по крайней мере живы!

— А ну их, эти проклятые угольные районы! Ветер, пыль или грязь, и каждый смотрит на тебя по-волчьи.

— А где они смотрели на тебя ласково? И почему ты думаешь, что ты приносишь им счастье? Ха-ха!..

Кто-то вошел в переднюю и сказал сиплым бабьим голосом:

— Heil Hitler!

— Тьфу черт, это Петер Фенбонг! Heil Hitler!.. Ах, verdammt noch mal [1], мы тебя еще не видели в черном! А ну, по-

---

[1] Будь проклят.

кажись... Смотрите, ребятишки, Петер Фенбонг! Подумать только, мы не виделись с самой границы.

— Можно подумать, вы, правда, обо мне соскучились,— с усмешкой отвечал этот бабий голос.

— Петер Фенбонг! Откуда тебя принесло?

— Лучше скажи — куда? Мы получили назначение в эту дыру.

— А что это за значок у тебя на груди?

— Я теперь уже ротенфюрер.

— Ого! Недаром ты растолстел. Должно быть, в частях СС лучше кормят!

— Но он, должно быть, по-прежнему спит в одежде и не моется, я это чувствую по запаху.

— Никогда не шути так, чтобы потом раскаиваться,— просипел бабий голос.

— Прости, дорогой Петер, но ведь мы старые друзья. Не правда ли? Что останется солдату, если нельзя и пошутить! Как ты забрел к нам?

— Я ищу квартиру.

— Ты ищешь квартиру?! Вам всегда достаются лучшие дома.

— Мы заняли больницу, это громадное здание. Но мне нужна квартира.

— Нас здесь семеро.

— Я вижу... Wie die Heringe! [1]

— Да, теперь ты пошел в гору. Но все же не забывай старых товарищей. Заходи, пока мы здесь.

Человек с бабьим голосом что-то пискнул в ответ, все засмеялись. Тяжело ступая коваными ботинками, он вышел.

— Странный человек этот Петер Фенбонг!

— Странный? Он делает себе карьеру, и он прав.

— Но ты видел его когда-нибудь не то что голым, а хотя бы в нижней рубашке? Он никогда не моется.

— Я подозреваю, что у него болячки на теле, которые он стыдится показать. Фридрих, скоро там у тебя?

— Мне нужен лавровый лист,— мрачно сказал Фридрих.

— Ты думаешь, что дело идет к концу, и хочешь заранее сплести себе венок победителя?

— Конца не будет, потому что мы воюем с целым светом,— мрачно сказал Фридрих.

Елизавета Алексеевна сидела у окна, облокотившись одной рукой о подоконник, задумавшись. Из окна ей виден был большой пустырь, облитый вечерним солнцем. На даль-

[1] Как сельди!

нем краю пустыря, наискось от их домика, стояли отдельно два белых каменных здания: одно, побольше,— школа имени Ворошилова, другое, поменьше,— детская больница. И школа и больница были эвакуированы, и здания стояли пустые.

— Люся, посмотри, что это? — сказала вдруг Елизавета Алексеевна и припала виском к стеклу.

Люся подбежала к окну. По пыльной дороге, пролегавшей слева через пустырь мимо двух этих зданий,— по этой дороге тянулась вереница людей. Вначале Люся даже не поняла, кто они такие. Мужчины и женщины в темных халатах, с непокрытыми головами, брели по дороге, иные едва ковыляли на костылях, иные, сами едва передвигая ноги, несли на носилках не то больных, не то раненых. Женщины в белых косынках и халатах и просто горожане и горожанки в обычных своих одеждах шли с тяжелыми узлами за плечами. Эта вереница людей тянулась по дороге из той части города, что не была видна из окна. Люди грудились возле главного входа в детскую больницу, где у больших парадных дверей возились две женщины в белых халатах, пытаясь открыть дверь.

— Это больные из городской больницы! Их просто выгнали,— сказала Люся.— Ты слышал? Ты понял? — спросила она, обернувшись к брату.

— Да, да, я слышал, я сразу подумал: а как же больные? Ведь я там лежал. Там ведь раненые были! — с волнением говорил Володя.

Некоторое время Люся и Елизавета Алексеевна наблюдали за переселением больных и шепотом делились с Володей своими наблюдениями, пока их не отвлек шумный говор немецких солдат. В комнате ефрейтора набралось, судя по голосам, человек десять — двенадцать. Впрочем, одни уходили, и приходили другие. Часов с семи вечера они начали есть, и вот уже совсем стемнело, а они все ели и ели, и все еще что-то жарилось на кухне. В передней взад-вперед топали солдатские ботинки. Из комнаты ефрейтора доносилось чоканье кружек, тосты, хохот. Разговор то оживлялся, то смолкал, когда приносили новое блюдо. Голоса становились все пьянее и все развязней.

В комнате, где сидели хозяева, было душно: наносило жаром и чадом из кухни, а хозяева по-прежнему не решались растворить окна. И было темно: по молчаливому соглашению они не зажигали лампы.

Спускалась темная июльская ночь, а они все сидели, не стеля постелей, не решаясь лечь спать. За окном на пустыре уже ничего нельзя было различить, только темный гре-

бень длинного холма справа от пустыря с выступающими на нем зданиями районного исполкома и «бешеного барина» вырисовывался на более светлом фоне неба.

В комнате у ефрейтора запели песню. Пели ее, как поют не просто пьяные люди, а как поют пьяные немцы: совершенно одинаковыми низкими голосами, со страшным напряжением; они даже сипели и хрипели — так им хотелось петь одновременно и низко и громко. Потом они опять чокались и пели, и снова ели, и на некоторое время, пока они ели, все стихало.

Вдруг тяжелые ботинки протопали в передней до самой двери в комнату хозяев и здесь остановились,— тот, кто подошел, прислушивался за дверью.

Раздался сильный стук в дверь пальцем. Елизавета Алексеевна сделала знак не открывать, будто они уже легли. Стук повторился. Через несколько секунд в дверь сильно стукнули кулаком, она отворилась, и черная голова высунулась в дверь.

— Кто есть? — по-русски спросил ефрейтор.— Хазайка!

Елизавета Алексеевна, прямо встав со стула, подошла к двери.

— Что вам нужно? — тихо спросила она.

— Я и мои солдаты просим вас немношко покушать с нами... Ты и Луиза. Немношко,— пояснил он.— И мальтшик!.. Ему вы тоже можете принести. Немношко.

— Мы уже ели, мы не хотим есть,— сказала Елизавета Алексеевна.

— Где Луиза? — не поняв ее, спросил ефрейтор, сопя и отрыгивая пищу, от него так и разило водкой.— Луиза! Я вижу вас,— сказал он, широко улыбнувшись.— Я и мои солдаты просим вас поесть с нами. И выпить, если вы не возражаете.

— Моему брату нехорошо, я не могу оставить его,— сказала Люся.

— Может быть, вам нужно убрать со стола? Пойдемте, я помогу вам, пойдемте.— И Елизавета Алексеевна, смело взяв ефрейтора за рукав, вместе с ним вышла в переднюю, притворив за собой дверь.

Желто-синий чад, от которого слезились глаза, наполнял все пространство кухни, передней и комнаты, где происходило пиршество. И в этом чаду точно растворился мерцающий желтый свет круглых жестяных плошек, залитых не то стеарином, не то другим, похожим на стеарин, белым веществом. Плошки горели и на столе, и на подоконнике в кухне, и на навесе вешалки в передней, и на столе в комнате, наполненной немецкими солдатами, куда вошла Елизавета Алексеевна вместе с ефрейтором.

Немцы обсели стол, придвинутый к кровати. Они, плотно сдвинувшись, сидели на кровати, на стульях, на табуретах, а мрачный Фридрих, со своим шрамом, сидел на чурбане, на котором обычно кололи дрова. На столе стояло несколько бутылок с водкой, и много пустых было и на столе, и под столом, и на подоконниках. Стол был заставлен грязной посудой, завален бараньими и куриными костями, огрызками зелени, корками хлеба.

Немцы сидели без мундиров, в нижних несвежих рубахах с расстегнутым воротом, потные, волосатые, с сальными от пальцев до локтей руками.

— Фридрих! — взревел ефрейтор. — Ты что сидишь? Разве ты не знаешь, как надо ухаживать за матерями хорошеньких девушек! — Он засмеялся еще более откровенно и весело, чем он делал это в трезвом виде. И все вокруг тоже засмеялись.

Елизавета Алексеевна, чувствуя, что это смеются над ней, и подозревая гораздо более худшее, чем на самом деле сказал ефрейтор, молча сметала со стола объедки в грязную пустую миску, бледная, молчаливая и страшная.

— Где ваша дочь Луиза? Выпейте с нами, — говорил молодой красный пьяный солдат, неверными руками беря со стола бутылку и ища глазами чистую кружку. Не найдя ее, он налил в свою.— Пригласите ее сюда! Ее просят немецкие солдаты. Говорят, она понимает по-немецки. Пусть она научит нас петь русские песни...

Он взмахнул рукой, в которой была бутылка с водкой, и, сильно напыжившись и выпучив глаза, запел ужасным низким голосом:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga,
Wolga, Wolga, Russlands Fluss...[1]

Он встал и пел, дирижируя этой бутылкой так, что из нее выплескивалось на солдат, на стол и на кровать. Черный ефрейтор захохотал и тоже запел, и все подхватили ужасными низкими голосами.

— Да, мы выходим на Волгу! — кричал очень толстый немец с мокрыми бровками, стараясь перекричать голоса поющих.—Волга—немецкая река! Deutschlandes Fluss. Так надо петь! — кричал он. И, утверждая свои слова и самого себя, воткнул в стол вилку так, что зубья ее погнулись.

Они были настолько увлечены пением, что Елизавета Алексеевна, не замеченная никем, вынесла миску с объедками

---

[1] Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река...

на кухню. Она хотела сполоснуть миску, но не обнаружила на плите чайника с кипятком. «Да они же не пьют чаю»,— подумала она.

Фридрих, возившийся у плиты с тряпкой в руке, снял с плиты сковороду с плавающими в жире кусками баранины и вышел. «Барана, должно быть, у Слоновых зарезали», — подумала Елизавета Алексеевна, прислушиваясь к нестройным одинаковым пьяным голосам, на немецком языке исполнявшим старинную волжскую песню. Но это, как и все, что происходило вокруг, было уже безразлично ей, потому что та мера человеческих чувств и поступков, которая была свойственна ей и ее детям в обычной жизни, была уже неприменима в той жизни, в которую она и ее дети вступили. Не только внешне, а и внутренне они уже жили в мире, который настолько не походил на привычный мир отношений людей, что казался выдуманным. Казалось, надо было просто открыть глаза — и этот мир исчезнет.

Елизавета Алексеевна бесшумно вошла в комнату Володи и Люси. Они разговаривали шепотом и смолкли при ее появлении.

— Может быть, лучше постелиться и лечь тебе? Может быть, лучше, если ты будешь спать? — сказала Елизавета Алексеевна.

— Я боюсь ложиться, — тихо отвечала Люся.

— Если он только еще раз попробует, собака, — вдруг сказал Володя, приподнявшись на кровати, весь в белом, — если он только попробует, я убью его, да, да, убью, будь что будет! — повторил он, белый, худой, упираясь руками в постель и блестя в полутьме глазами.

И в это время снова раздался стук в дверь, и дверь медленно отворилась. Держа в одной руке плошку, отбрасывающую колеблющийся свет на черное плотное лицо его, ефрейтор в нижней рубашке, заправленной в брюки, показался в дверях. Некоторое время он, вытянув шею, вглядывался в сидевшего на постели Володю и в Люсю на табурете в ногах у брата.

— Луиза, — торжественно сказал ефрейтор, — вы не должны гнушаться солдат, которые каждый день и час могут погибнуть! Мы ничего не сделаем вам плохого. Немецкие солдаты — это благородные люди, это рыцари, я бы сказал. Мы просим вас разделить нашу компанию, только и всего.

— Убирайся вон! — сказал Володя, с ненавистью глядя на него.

— О, ты бравый парень, к сожалению, сраженный болезнью! — дружелюбно сказал ефрейтор: в полутьме он не мог рассмотреть лица Володи и не понял того, что тот сказал.

Неизвестно, что могло бы произойти в это мгновение, но Елизавета Алексеевна быстро подошла к сыну, обняла его, прижала лицо его к своей груди и властно уложила сына в постель.

— Молчи, молчи, — прошептала она ему на ухо сухими, горячими губами.

— Солдаты армии фюрера ждут вашего ответа, Луиза! — торжественно говорил пьяный ефрейтор в нижней рубашке, с черно-волосатой грудью, покачиваясь в дверях, с плошкой в руке.

Люся сидела бледная, не зная, что ему ответить.

— Хорошо, очень хорошо! Гут! — резким голосом сказала Елизавета Алексеевна, быстро подойдя к ефрейтору и кивая головой. — Она сейчас придет, понимаешь? Ферштейге? Переоденется и придет. — И она показала руками, будто переодевается.

— Мама...— сказала Люся дрожащим голосом.

— Молчи уж, если бог ума не дал, — говорила Елизавета Алексеевна, кивая головой и выпроваживая ефрейтора.

Ефрейтор вышел. В комнате через переднюю послышались восклицания, хохот, звяканье кружек, и немцы с новым подъемом запели одинаковыми низкими голосами:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga...

Елизавета Алексеевна быстро подошла к гардеробу и повернула ключ в дверце.

— Полезай, я тебя закрою, слышишь? — сказала она шепотом.

— А как же...

— Мы скажем, ты вышла во двор...

Люся юркнула в гардероб, мать заперла за ней дверцу на ключ и положила ключ на гардероб.

Немцы яростно пели. Стояла уже глубокая ночь. За окном нельзя было уже различить ни зданий школы и детской больницы, ни длинного холма со зданиями районного исполкома и «бешеного барина». Только под дверью из передней пробивалась в комнату узкая полоска света. «Боже мой, да неужто же все это правда?» — подумала Елизавета Алексеевна.

Немцы кончили петь, и между ними возник шутливый пьяный спор. Все, смеясь, нападали на ефрейтора, а он отбивался сиплым веселым голосом удалого, никогда не унывающего солдата.

И вот он снова появился в дверях с плошкой в руке.

— Луиза?

— Она вышла во двор... во двор... — Елизавета Алексеевна указала ему рукой.

Ефрейтор, пошатнувшись, вышел в сени, неся перед собой плошку и стуча ботинками. Слышно было, как он с грохотом спустился с крыльца. Солдаты, смеясь, еще поговорили немного, потом они тоже повалили во двор, топоча ботинками в передней и по крыльцу. Стало тихо. В комнате через переднюю кто-то, должно быть Фридрих, бренчал посудой, и слышно было, как солдаты мочатся во дворе у самого крыльца. Некоторые из них вскоре вернулись с шумным, пьяным говором. Ефрейтора все не было. Наконец шаги его послышались на крыльце и в сенях. Дверь в комнату распахнулась, и ефрейтор, уже без плошки, появился на фоне призрачного света и чада из растворенной двери кухни.

— Луиза... — шепотом позвал он.

Елизавета Алексеевна, как тень, возникла перед ним.

— Как? Ты ее не нашел?.. Она не приходила, ее нет, — говорила она, делая отрицательное движение головой и рукой.

Ефрейтор невидящими глазами обвел комнату.

— У-у-у... — вдруг пьяно и обиженно промычал он, остановив мутные и черные глаза свои на Елизавете Алексеевне. В то же мгновение он положил ей на лицо громадную сальную пятерню, стиснул пальцы, едва не выдавив Елизавете Алексеевне глаз, оттолкнул ее от себя и, качнувшись, вышел из комнаты. Елизавета Алексеевна быстро повернула ключ в двери.

Немцы еще повозились и побубнили пьяными голосами, потом они заснули, не потушив света.

Елизавета Алексеевна молча сидела против Володи, который по-прежнему не спал. Они испытывали невыносимую душевную усталость, но спать не хотелось. Елизавета Алексеевна выждала немного и выпустила Люсю.

— Я чуть не задохнулась, у меня вся спина мокрая и даже волосы,— говорила Люся возбужденным шепотом. Это приключение как-то взбодрило ее. — Я тихонько окно открою. Я задыхаюсь.

Она бесшумно отворила ближнее к койке окно и высунулась на пустырь. Ночь была душная, но после духоты комнаты и всего, что творилось в доме, такою свежестью пахнуло с пустыря, в городе было так тихо, что казалось — и нет вокруг никакого города, только их домик со спящими немцами один стоит среди темного пустыря. И вдруг яркая вспышка где-то там, наверху, по ту сторону переезда, у парка, на мгновение осветила небо, и весь пустырь, и холм, и здания школы и больницы. Через мгновение — вторая вспыш-

ка, еще более сильная, и снова все выступило из тьмы, даже в комнате на мгновение стало светло. И вслед за этим — не то что взрывы, а какие-то беззвучные сотрясения воздуха, как бы вызванные отдаленными взрывами, один за другим пронеслись над пустырем, и снова потемнело.

— Что это? Что это? — испуганно спрашивала Елизавета Алексеевна.

И Володя приподнялся на постели.

Со странным замиранием сердца Люся всматривалась в темноту, в ту сторону, откуда просияли эти вспышки. Отсвет не видного отсюда пламени, то слабея, то усиливаясь, заколебался где-то там, на возвышенности, то вырывая из темноты, то вновь отпуская крыши зданий райисполкома и «бешеного барина». И вдруг в том месте, где находился источник этого странного света, взвилось в вышину языкастое пламя, и все небо над ним окрасилось багровым цветом, и осветились весь город и пустырь, и в комнате стало так светло, что видны стали и лица и предметы.

— Пожар!.. — обернувшись в комнату, сказала Люся с непонятным торжеством и вновь устремила взор свой на это высокое языкастое пламя.

— Закрой окно, — испуганно сказала Елизавета Алексеевна.

— Все равно никто не видит,— говорила Люся, ежась, как от холода.

Она не знала, что это за пожар и как он возник. Но было что-то очищающее душу, что-то возвышенное и страшное в этом высоком, буйном, победном пламени. И Люся, сама освещенная, не отрываясь, смотрела на него.

Зарево распространилось не только над центром города, но далеко вокруг. Не только здания школы и детской больницы были видны, как днем, можно было видеть даже расположенные за пустырем дальние районы города, примыкавшие к шахте № 1-бис. И это багровое небо и отсветы пожара на крышах зданий и на холмах создавали картину призрачную и фантастическую и в то же время величественную.

Чувствовалось, что весь город проснулся. Там, в центре, слышалось неумолчное движение людей, доносились отдельные голоса, вскрики, где-то рычали грузовики. На улице, где стоял домик Осьмухиных, и в их дворе проснулись, закопошились немцы. Собаки, — их еще не всех успели перестрелять, — позабыв дневные страхи, лаяли на пожар. Только пьяные немцы в комнате через переднюю ничего не слышали и спали.

Пожар бушевал около двух часов, потом стал затихать. Дальние районы города, холмы снова стали окутываться

тьмою. Только отдельные последние вспышки пламени иногда вновь проявляли то округлость холма, то группу крыш, то темный конус террикона. Но небо над парком долго еще хранило то убывающий, то вновь усиливающийся багровый свет, и долго видны были здания районного исполкома и «бешеного барина» на холме. Потом они тоже стали меркнуть, и пустырь перед окном все гуще заполнялся тьмою.

А Люся все сидела у окна, возбужденно глядя в сторону пожара, Елизавета Алексеевна и Володя тоже не спали.

Вдруг Люсе показалось, будто кошка мелькнула по пустырю слева от окна, что-то зашуршало по фундаменту. Кто-то крался к окну. Люся инстинктивно отпрянула и хотела уже захлопнуть окно, но ее остановил чей-то шепот. Ее звали по имени:

— Люся... Люся...

Она замерла.

— Не бойся, это я, Тюленин...— И голова Сережки без кепки, с жесткими курчавыми волосами возникла вровень с подоконником. — У вас немцы стоят?

— Стоят, — прошептала Люся, испуганно и радостно глядя в смеющиеся и отчаянные глаза Сережки. — А у вас?

— У нас пока нет.

— Кто это? — похолодев от ужаса, спрашивала Елизавета Алексеевна.

Дальний отсвет пожара осветил лицо Сережки, и Елизавета Алексеевна и Володя узнали его.

— Володя где? — спрашивал Сережка, навалившись животом на подоконник.

— Я здесь.

— А еще кто остался?

— Толя Орлов. Я больше не знаю, я никуда не выходил, у меня аппендицит.

— Витька Лукьянченко здесь и Любка Шевцова, — сказал Сережка. — И Степку Сафонова я видел, из школы Горького.

— Как ты забрел к нам? Ночью? — спрашивал Володя.

— Я пожар смотрел. Из парка. Потом стал «шанхайчиками» пробираться до дому, да увидел из балки, что у вас окно открыто.

— Что это горело?

— Трест.

— Ну-у?

— Там ихний штаб устроился. В одних подштанниках выскакивали, — тихо засмеялся Сережка.

— Ты думаешь — поджог? — спросил Володя.

Сережка помолчал, глаза его поблескивали в темноте, как у кошки.

— Да уж не само загорелось,— сказал он и снова тихо засмеялся. — Как жить думаешь? — вдруг спросил он Володю.

— А ты?

— Будто не знаешь.

— Вот и я так, — облегченно сказал Володя. — Я так тебе рад. Ты знаешь, я так рад...

— Я тоже,— нехотя сказал Сережка: он терпеть не мог сердечных излияний. — Немцы у вас злые?

— Пьянствовали всю ночь. Всех кур пожрали. Несколько раз в комнату ломились, — сказал Володя небрежно и в то же время словно гордясь перед Сережкой тем, что он уже испытал на себе, каковы немцы. Он только не сказал, что ефрейтор приставал к сестре.

— Значит, еще ничего, — спокойно сказал Сережка. — А в больнице остановились эсэсовцы, там раненых оставалось человек сорок, вывезли всех в Верхнедуванную рощу и — из автоматов. А врач Федор Федорович, как они их стали брать, не выдержал и вступился. Так они его прямо в коридоре застрелили.

— Ах, черт!.. Ай-я-яй... Какой хороший человек был, — сморщившись, сказал Володя. — Я ведь там лежал.

— Человек, каких мало, — сказал Сережка.

— И что ж это будет, господи! — с тихим стоном сказала Елизавета Алексеевна.

— Я побегу, пока не рассвело, — сказал Сережка. — Будем связь держать. — Он взглянул на Люсю, сделал витиеватое движение рукой и лихо сказал: — Ауфвидерзеген!.. — он знал, что она мечтает о курсах иностранных языков.

Его ловкое, юркое, щуплое тело скользнуло во тьму, и сразу его не стало ни видно, ни слышно,— он точно испарился.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Самое удивительное было то, как они быстро договорились.

— Что ж ты, девушка, читаешь? В Краснодон идут немцы! Разве не слышишь, как машины ревут с Верхнедуванной? — стоя у ног ее, с трудом сдерживая дыхание, говорил Сережка.

Валя все с тем же удивленным, спокойным и радостным выражением молча смотрела на него.

— Куда ты бежал? — спросила она.

На мгновение он смешался. Но нет, не могло быть, чтобы эта девушка была плохой девушкой.

— Хочу на вашу школу забраться, побачить, шо воно буде...

— А как ты заберешься? Разве ты бывал в нашей школе?

Сережка сказал, что он был в их школе один раз года два назад, на литературном вечере.

— Да уж как-нибудь заберусь, — сказал он с усмешкой.

— Но ведь немцы могут в первую очередь занять школу? — сказала Валя.

— Увижу, что они идут, да прямо в парк, — отвечал Сережка.

— Ты знаешь, лучше всего смотреть с чердака, оттуда все видно, а нас не увидят,— сказала Валя и села на своем пледе и быстро оправила косы и блузку. — Я знаю, как туда попасть, я тебе все покажу.

Сережка вдруг проявил некоторую нерешительность.

— Видишь, какое дело, — сказал он, — если немцы сунутся в школу, придется прыгать со второго этажа.

— Что ж поделаешь,— отвечала Валя.

— А сможешь?

— Спрашиваешь...

Сережка посмотрел на ее загорелые крепкие ноги, покрытые золотистым пушком. Теплая волна прошла у него по сердцу. Ну, конечно, эта девушка могла спрыгнуть со второго этажа!

И вот они уже вдвоем бежали к школе через парк.

Большая двухэтажная школа из красного кирпича, с светлыми классами, с большим гимнастическим залом, была расположена у главных ворот парка, против здания треста «Краснодонуголь». Школа была пуста и закрыта на ключ. Но, исходя из благородных целей, какие они преследовали, Сережка не посчитал для себя зазорным, наломав пук ветвей, с их помощью выдавить одно из окон в первом этаже, выходящее в глубину парка.

Сердца их благоговейно замерли, когда они, на цыпочках ступая по половицам, прошли через один из классов в нижний коридор. Тишина стояла во всем этом просторном здании, малейший шорох, стук гулко отзывались вокруг. За эти несколько дней многое сместилось на земле, и многие здания, как и люди, потеряли прежнее свое звание и назначение и еще не обрели нового. Но все-таки это была школа, в которой учили детей, школа, в которой Валя провела много светлых дней своей жизни.

Они увидели дверь с дощечкой, на которой написано было: «Учительская», дверь с дощечкой: «Директор», двери с дощечками: «Кабинет врача», «Физический кабинет», «Химический кабинет», «Библиотека». Да, это была школа, здесь взрослые люди, учителя, учили детей знанию и тому, как надо жить на свете.

И от этих пустых классов с голыми партами, помещений, еще хранивших специфический школьный запах, вдруг повеяло и на Сережку и на Валю тем миром, в котором они росли, который был неотъемлем от них и который теперь ушел, казалось, навсегда. Этот мир казался когда-то таким обыденным, заурядным, даже скучным. И вдруг он встал перед ними такой неповторимо чудесный, вольный, полный откровенных, прямых и чистых отношений между теми, кто учил и кто учился. Где они теперь, и те и другие, куда развеяла их судьба? И сердца Сережки и Вали на мгновение распахнулись, полные такой любви к этому ушедшему миру и смутного благоговения перед высокой святостью этого мира, который они в свое время не умели ценить.

Они оба испытывали одни и те же чувства и без слов понимали это, и за эти несколько минут они необыкновенно сблизились друг с другом.

Узкой внутренней лестницей Валя вывела Сережку на второй этаж и еще выше, к маленьким дверям, ведущим на чердак. Двери были закрыты, но это не обескуражило Сережку. Пошарив в кармане брюк, он достал складной ножик, сервированный многими другими полезными предметами, среди которых была и отвертка. Вывернув винтики, он снял ручку двери так, что замочная скважина предстала перед ним обнаженная.

— Классно работаешь, сразу видно, что профессиональный взломщик, — усмехнулась Валя.

— На свете, кроме взломщиков, есть еще слесаря,— сказал Сережка и, обернувшись к Вале, улыбнулся ей.

Поковыряв в скважине долотцом, он открыл дверь, и на них пахнуло жаром от накалившейся на солнце железной крыши, запахом нагретой чердачной земли, пыли и паутины.

Пригибаясь, чтобы не задеть головой балок, они пробрались к одному из чердачных окон, сильно запыленному, и, не вытерев окна, чтобы их нельзя было увидеть с улицы, прижались лицами к стеклу, едва не касаясь друг друга щеками.

Из окна им видна была вся Садовая улица, упиравшаяся в ворота парка, особенно та сторона ее, где стояли стандартные дома работников обкома партии. Прямо перед их глазами на углу улицы видно было двухэтажное здание треста «Краснодонуголь».

С того момента, как Сережка покинул Верхнедуванную рощу, и до того момента, как они вместе с Валей прижали свои лица к пыльному чердачному стеклу, прошло довольно много времени: немецкие части успели войти в город, по всей Садовой улице теснились машины, и там и здесь видны были немецкие солдаты.

«Немцы... Вот они какие, немцы! Немцы у нас в Краснодоне», — думала Валя, и у нее колотилось сердце, и грудь ее вздымалась от волнения.

А Сережку занимала больше внешняя, практическая сторона дела; острые глаза его схватывали все, что попадало в поле их зрения из окна на чердаке, и Сережка, сам того не замечая, запоминал каждую мелочь.

Не более десяти метров отделяли здание школы от здания треста. Здание треста было пониже здания школы. Сережка видел перед собой железную крышу, внутренность комнат второго этажа и ближайшую к окнам часть пола в первом этаже. Кроме Садовой улицы, Сережка видел и другие улицы, в иных местах загороженные от него домами. Он видел дворы и зады владений, в которых хозяйничали немецкие солдаты. Постепенно он вовлек и Валю в круг своих наблюдений.

— Кусты, кусты рубят... Смотри, даже подсолнухи,— говорил он.— А здесь, в тресте, у них, видно, штаб будет, видишь, как хозяйничают...

Немецкие офицеры и солдаты — делопроизводители, писаря — хозяйственно размещались в обоих этажах треста. Немцы были веселы. Они растворили все окна в тресте, рассматривали помещения, доставшиеся им, рылись в ящиках столов, курили, выбрасывая окурки на пустынную улочку, отделявшую здание треста от здания школы. Через некоторое время в комнатах появились русские женщины, молодые и пожилые. Женщины были с ведрами и тряпками. Подоткнув подолы, женщины стали мыть полы. Аккуратные, чистенькие немецкие писаря острили на их счет.

Все это происходило так близко от Вали и Сережки, что какая-то еще не вполне осознанная мысль, жестокая, мучительная и в то же время доставлявшая наслаждение ему, вдруг застучала в Сережкином сердце. Он даже обратил внимание на то, что оконца на чердаке легко вынимаются. Они были в легких рамах и держались в своих косячках на тонких, косо прибитых гвоздиках.

Сережка и Валя сидела на чердаке так долго, что могли уже разговаривать и о посторонних предметах.

— Ты Степку Сафонова после того не видала? — спрашивал Сережка.

— Нет.

«Значит, она просто не успела ничего сказать ему», — с удовлетворением подумал Сережка.

— Он еще придет, он парень свой, — сказал Сережка. — Как ты думаешь жить дальше? — спрашивал он.

Валя самолюбиво повела плечом.

— Кто же может это сказать теперь? Никто же не знает, как это все будет.

— Это верно, — сказал Сережка. — К тебе можно будет зайти как-нибудь? Родители не заругаются?

— Родители!.. Заходи завтра, если хочешь. Я и Степу позову.

— Как зовут тебя?

— Валя Борц.

В это время до их слуха донеслись длинные очереди из автоматов, а потом еще несколько коротких,— где-то там, в Верхнедуванной роще.

— Стреляют. Слышишь? — спросила Валя.

— Пока мы тут сидим, в городе, может, невесть что происходит,— серьезно сказал Сережка.— Может, немцы и на вашей и на нашей квартире уже расположились, как дома.

Только теперь Валя вспомнила, при каких обстоятельствах она ушла из дому, и подумала о том, что, может быть, Сережка прав, и мать и отец волнуются за нее. Из самолюбия она не решилась сказать первая, что ей пора уходить, но Сережка никогда не заботился о том, что могут о нем подумать.

— Пора по домам, — сказал он.

И они тем же путем выбрались из школы.

Некоторое время они еще постояли у забора, у садика. После совместного сидения на чердаке они чувствовали себя несколько смущенно.

— Так я зайду к тебе завтра, — сказал Сережка.

А дома Сережка узнал то, что он рассказал потом ночью Володе Осьмухину: об увозе раненых, оставшихся в больнице, и о гибели врача Федора Федоровича. Это произошло на глазах сестры Нади, она и рассказала Сережке, как это случилось.

К больнице подъехали две легковые и несколько грузовых машин с эсэсовцами, и Наталье Алексеевне, которая встретила их на улице, предложено было в течение получаса очистить помещение. Наталья Алексеевна сразу отдала распоряжение всем, кто может двигаться, переходить в детскую больницу, но все же стала просить об удлинении срока пере-

селения, ссылаясь на то, что у нее много лежачих больных и нет транспорта.

Офицеры уже садились в машины.

— Фенбонг! Что хочет эта женщина? — сказал старший из офицеров большому рыхлому унтеру с золотыми зубами и в очках в светлой роговой оправе. И легковые машины отбыли.

Очки в светлой роговой оправе придавали эсэсовскому унтеру вид если не ученый, то во всяком случае интеллигентный. Но когда Наталья Алексеевна обратилась к нему со своей просьбой и даже попыталась заговорить с ним по-немецки, взгляд унтера сквозь очки прошел как бы мимо Натальи Алексеевны. Бабьим голосом унтер позвал солдат, и они стали выбрасывать больных во двор, не дожидаясь, пока истекут обещанные полчаса.

Они вытаскивали больных на матрацах или просто взяв под мышки и швыряли на газон во дворе. И тут обнаружилось, что в госпитале находятся раненые.

Федор Федорович, сказавшийся врачом больницы, пытался было объяснить, что это тяжелораненые, которые уже никогда не будут воевать и оставлены на гражданское попечение. Но унтер сказал, что если они военные люди, то они считаются военнопленными и их немедленно направят куда следует. И раненых стали срывать с постелей в одном нижнем белье и швырять в грузовик одного на другого, как попало.

Зная вспыльчивый характер Федора Федоровича, Наталья Алексеевна просила его уйти, но он не уходил, а все стоял в коридоре, в простенке между окон. Его загорелое лицо темного блеска стало серым. Он все перебирал губами остаток «козьей ножки», и у него дрожало колено так, что он иногда нагибался и потирал его рукою. Наталья Алексеевна боялась отойти от него и просила Надю тоже не уходить, пока все не будет кончено. Наде было жалко и страшно смотреть, как полураздетых раненых в окровавленных бинтах тащили по коридору, иногда просто волочили по полу. Она боялась плакать, а слезы сами собой катились из глаз ее, но все-таки она не уходила, потому что еще больше она боялась за Федора Федоровича.

Двое немецких солдат тащили раненого, которому две недели тому назад Федор Федорович удалил разорванную осколком мины почку. Раненому было уже значительно лучше в последние дни, и Федор Федорович очень гордился этой операцией. Солдаты тащили раненого по коридору, и в это время унтер Фенбонг окликнул одного из них. Солдат бросил раненого, которого он держал за ноги, и убежал

в палату, где находился унтер, а второй солдат потащил раненого волоком по полу.

Федор Федорович внезапно отделился от стены, и никто не успел уследить, как он уже был возле солдата, тащившего раненого. Этот раненый, как и большинство из них, несмотря на муки, какие он испытывал, не стонал, но когда он увидел Федора Федоровича, он сказал:

— Видал, Федор Федорович, что делают? Разве это люди?

И заплакал.

Федор Федорович что-то сказал солдату по-немецки. Наверно, он сказал, что так, мол, нельзя. И наверно, сказал: дай, мол, я помогу. Но немецкий солдат засмеялся и потащил раненого дальше. В это время унтер Фенбонг вышел из палаты, и Федор Федорович пошел прямо на него. Федор Федорович вовсе побелел, и всего его трясло. Он почти надвинулся на унтера и что-то резко сказал ему. Унтер в черном мундире, собравшемся складками на его большом рыхлом теле, с блестящим металлическим значком на груди, изображавшим череп и кости, захрипел на Федора Федоровича и ткнул его револьвером в лицо. Федор Федорович отшатнулся и еще что-то сказал ему, наверно, очень обидное. Тогда унтер, страшно выпучив глаза под очками, выстрелил Федору Федоровичу прямо между глаз. Надя видела, как у него между глаз точно провалилось, хлынула кровь, и Федор Федорович упал. А Наталья Алексеевна и Надя выбежали из больницы, и Надя сама уже не помнила, как она очутилась дома.

Надя сидела в косынке и халате, как она прибежала из больницы, и снова и снова начинала рассказывать. Она не плакала, лицо у нее было белое, а маленькие скулы горели пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, кому она рассказывала.

— Слыхал, шлендра? — яростно кашлял отец на Сережку.— Ей-богу, возьму да выдеру кнутом. Немцы в городе, а он шлендрает где ни попало. Мало мать в могилу не свел.

Мать заплакала.

— Я ж извелась за тобой. Думаю, убили.

— Убили! — вдруг зло сказал Сережка. — Меня не убили. А раненых убили. В Верхнедуванной роще. Я сам слышал...

Он прошел в горницу и кинулся на кровать в подушку. Мстительное чувство сотрясало все его тело. Сережке трудно было дышать. То, что так томило и мучило его на чердаке школы, теперь нашло выход. «Обождите, пусть только стемнеет!» — думал Сережка, корчась на постели. Никакая сила уже не могла удержать его от того, что он задумал.

Спать легли рано, не зажигая света, но все были так возбуждены, что никто не спал. Не было никакой возможности

уйти незаметно,— он вышел открыто, будто идет на двор, и шмыгнул в огород. Руками он раскопал одну из ямок, где спрятаны были бутылки с горючей смесью,— ночью опасно было копать лопатой. Он слышал, как звякнула дверь, из хаты вышла сестра Надя и тихо позвала его несколько раз:

— Сережа... Сережа...

Она подождала немного, позвала еще раз, и дверь снова звякнула — сестра ушла.

Он сунул по бутылке в карманы штанов и одну за пазуху и во тьме июльской душной ночи, обходя «шанхайчиками» центр города, снова пробрался в парк.

В парке было тихо, пустынно. Но особенно тихо было в здании школы, куда он проник через окно, выдавленное днем. В здании школы было так тихо, что каждый его шаг, казалось, слышен был не только в здании, но и во всем городе. В высокие проемы окон на лестнице вливался снаружи какой-то смутный свет. И когда фигура Сережки возникла на фоне одного из этих окон, ему показалось, что кто-то затаившийся в углу во тьме теперь увидит и схватит его. Но он пересилил страх и вскоре очутился на своем наблюдательном пункте на чердаке.

Некоторое время он посидел у оконца, сквозь которое теперь ничего не было видно, посидел просто для того, чтобы перевести дух.

Потом он нащупал пальцами гвоздики, которые держали раму окна, отогнул их и тихо вынул раму. Свежий воздух пахнул на него, на чердаке все еще было душно. После темноты школы и особенно этого чердака он уже мог различать то, что происходило перед ним на улице. Он слышал движение машин по городу и видел движущиеся, приглушенные огни их фар. Непрерывное движение частей от Верхнедуванной продолжалось и ночью. Там, на всем протяжении дороги, видны были светящиеся в ночи фары. Некоторые машины двигались на полный свет, он вдруг вырывался из-за холма ввысь, как свет прожектора, далеко прорезая ночное небо или освещая часть степи или деревья в роще с вывернутой белой изнанкой листьев.

У главного входа в здание треста шла военная ночная жизнь. Подъезжали машины, мотоциклетки. Все время входили и выходили офицеры и солдаты, бряцая оружием и шпорами, слышался чуждый, резкий говор. Но окна в здании треста были затемнены.

Все чувства Сережки были так напряжены и так направлены в одну цель, что это новое, непредвиденное обстоятельство — то, что окна были затемнены, — не изменило его решения. Так он просидел возле этого оконца часа два,

не меньше. Все уже стихло в городе. Движение возле здания тоже прекратилось, но внутри него еще не спали,— Сережка видел это по полоскам света, выбивавшегося из-за краев черной бумаги. Но вот в двух окнах второго этажа свет потух, и кто-то изнутри отворил одно окно, потом другое. Невидимый, он стоял в темноте комнаты у окна,— Сережка чувствовал это. Потух свет и в некоторых окнах первого этажа, и эти окна тоже распахнулись.

— Wer ist da? — раздался начальственный голос из окна второго этажа, и Сережка смутно различил силуэт фигуры, перегнувшейся через подоконник.— Кто там? — снова спросил этот голос.

— Лейтенант Мейер, Herr Oberst, — ответил юношеский голос снизу.

— Я не советовал бы вам открывать окна в нижнем этаже, — сказал голос наверху.

— Ужасная духота, Herr Oberst. Конечно, если вы запрещаете...

— Нет, я совсем не хочу, чтобы вы превратились в духовую говядину. Sie brauchen nicht zum Schmorbraten werden, — смеясь, сказал этот начальственный голос наверху.

Сережка, не понимая, с бьющимся сердцем прислушивался к немецкой речи.

В окнах гасили свет, подымали шторы, и окна открывались одно за другим. Иногда из них доносились обрывки разговора, кто-то насвистывал. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой, осветив на мгновение лицо, папиросу, пальцы и потом огненная точка папиросы долго еще видна была в глубине комнаты.

— Какая огромная страна, ей конца нет, da ist ja kein Ende abzusehen, — сказал кто-то у окна, обращаясь, должно быть, к приятелю своему в глубине комнаты.

Немцы ложились спать. Все затихло в здании и в городе. Только со стороны Верхнедуванной, прорезая резким светом фар ночное небо, еще двигались машины.

Сережка слышал биение своего сердца, казалось, оно стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно, Сережка весь вспотел.

Здание треста с открытыми окнами, погруженное во тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да, это нужно было делать сейчас... Он сделал несколько пробных движений рукой, чтоб вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться.

Бутылки, которые он сразу, как пришел сюда, вынул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащупал

одну из них, крепко сжал ее за горлышко, примерился и с силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно и даже часть улочки между зданием треста и зданием школы, и в то же мгновение раздался звон стекла и легкий взрыв, похожий на то, как будто разбилась электрическая лампочка. Из окна вырвалось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно вторую бутылку, она разорвалась в пламени с сильным звуком. Пламя уже бушевало внутри комнаты, горели рамы окна, и языки огня высовывались вверх по стене, едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал в этой комнате, крики раздались по всему зданию. Сережка схватил третью бутылку и пустил ее в окно второго этажа напротив.

Он слышал звук, как она разбилась, и видел вспышку, такую сильную, что вся внутренность чердака осветилась, но в это время Сережка был уже далеко от окна, он был уже у выхода на черную лестницу. Стремглав пронесся он этой черной лестницей и, не имея уже времени разыскивать в темноте класс, где было выдавлено окно, он вбежал в ближайшую комнату,— кажется, это была учительская,— быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк и, пригибаясь, побежал в глубину его.

С того момента, как он бросил третью бутылку, и до того момента, как он осознал, что бежит по парку, он все делал инстинктивно и вряд ли мог бы восстановить в памяти, как все это происходило. Но теперь он понял, что надо упасть на землю и полежать одно мгновение тихо и прислушаться.

Слышно было, как мышка шуршит где-то неподалеку от Сережки в траве. С того места, где он лежал, он не видел пламени, но оттуда, с улицы, доносились крик и беготня. Он вскочил и пробежал еще дальше, на самый край парка, к террикону выработанной шахты.

Он сделал это на случай, если будут оцеплять парк, — отсюда он уже мог уйти при всех условиях.

Теперь он видел огромное, все более распространявшееся по небу зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет даже на этот далеко отстоящий от очага пожара старинный гигантский террикон и на макушки деревьев парка. Сережка чувствовал, что сердце его расширяется и летит. Все тело его содрогалось, он едва удерживался, чтобы громко не засмеяться!

— Вот вам! Зетцен зи зих! Шпрехен зи дейч! Габен зи этвас!.. — повторял он с неописуемым торжеством в душе этот набор фраз из школьной немецкой грамматики, приходивших ему на память.

Зарево все разрасталось, окрашивая небо над парком, и даже сюда доносилась суматоха, поднявшаяся в центральной части города. Нужно было уходить. Сережка почувствовал неодолимое желание снова очутиться в садике, где он увидел сегодня эту девушку, Валю Борц, — да, он знал теперь, как ее зовут.

Бесшумно скользя в темноте, он выбрался на зады Деревянной улицы, перелез через заборчик в сад и уже собирался калиткой выйти на самую улицу, когда до него донесся приглушенный говор людей возле самой калитки. Пользуясь тем, что немцы еще не заняли Деревянную улицу, жители, осмелев, вышли из домиков посмотреть на пожар. Сережка, обогнув домик с другого края, бесшумно перемахнул через забор и подошел к калитке. Там стояла группа женщин, освещенная заревом. Среди них он узнал Валю.

— Что это горит? — спросил он, чтобы дать ей знать о себе.

— Где-то на Садовой... А может быть, школа, — отвечал взволнованный женский голос.

— Это горит трест, — резким голосом сказала Валя с некоторым даже вызовом. — Мама, я пойду спать, — сказала она, притворно зевнула и вошла в калитку.

Сережка двинулся было за нею, но услышал, как каблучки ее простучали по ступенькам крыльца и дверь за нею захлопнулась.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В течение многих дней через Краснодон и ближние города и поселки двигались главные силы немецких войск: танковые части, пехота на машинах, тяжелые пушки и гаубицы, части связи, обозы, санитарные и саперные части, штабы больших и малых соединений. Гул моторов, не умолкая, катился по небу и по земле. Массы пыли мглою застилали небо над городом и над степью.

В этом тяжелом ритмическом движении неисчислимых войск и орудий войны был свой неумолимый порядок — Ordnung. И казалось, нет на свете такой силы, какая могла бы противостоять этой силе с ее неумолимым железным порядком — Ordnung'ом.

Вдавливая громадными колесами землю, плавно и грузно катились высокие, как вагоны, грузовики с боеприпасами и продовольствием, сплюснутые и пузатые цистерны с бензином. Солдаты были в добротном по виду и ладно пригнанном обмундировании. Офицеры были нарядны. С немцами двига-

лись румыны, венгры, итальянцы. Пушки, танки, самолеты этой армии носили клейма всех заводов Европы. У человека, знавшего не только русскую грамоту, рябило в глазах от одних марок заводов грузовых и легковых машин, и он ужасался тому, какая производственная сила большинства стран Европы питала немецкую армию, двигавшуюся сейчас через донецкую степь в реве моторов, в чудовищной пыли, мглою закрывавшей небо.

Даже самый маленький человек, мало смысливший в делах войны, чувствовал и видел, как под напором этой силы советские армии откатывались на восток и юго-восток, все дальше, неотвратимо, иному казалось — безвозвратно,— к Новочеркасску, Ростову, за тихий Дон, к Волге, на Кубань. И кто знает правду, где они теперь... И уже только по немецким сводкам и разговорам немецких солдат можно догадываться, где, на каком рубеже бьется, а может быть, уже сложил голову за землю родную сын твой, отец, муж, брат.

В то время как через город еще продолжали двигаться немецкие части, пожирая, как саранча, все, что еще не было пожрано частями, прошедшими ранее, в Краснодоне, как в уже освоенном доме, хозяйственно и прочно оседали глубокие тылы наступающих немецких армий, их штабы, отделы снабжения, резервные части.

В эти первые дни существования под властью немцев никто из местных жителей не разбирался в том, какое немецкое начальство здесь временно, а какое постоянно, какая власть установилась в городе и что требуется от жителей, кроме того, что творилось у каждого в доме по произволу проходящих солдат и офицеров. Каждая семья существовала сама по себе, и, все более сознавая безвыходность и ужас своего положения, каждая по-своему применялась к этому новому и ужасному положению.

Новым и ужасным в жизни бабушки Веры и Елены Николаевны было то, что в их доме расположился один из немецких штабов во главе с генералом бароном фон Венцелем, его адъютантом и денщиком с палевой головой и палевыми веснушками. Теперь у их дома всегда стоял немецкий часовой. Теперь их дом всегда был полон свободно, как в свой собственный дом, приходивших и уходивших, то совещавшихся, то просто пивших и евших немецких генералов и офицеров, звуков их немецкой речи и звуков немецких маршей и немецкой речи по радио. А хозяева дома, бабушка Вера и Елена Николаевна, были вытеснены в маленькую, нестерпимо душную от беспрерывно топившейся рядом на кухне плиты комнатку и с самого раннего утра до поздней ночи обслуживали господ немецких генералов и офицеров.

Еще вчера бабушка Вера Васильевна была заслужившая себе работой на селе общественное имя персональная пенсионерка, мать геолога одного из крупнейших трестов Донбасса, а Елена Николаевна — вдова видного советского работника, заведующего земельным отделом в Каневе, мать лучшего ученика краснодонской школы, — еще вчера обе они были всем известные и всеми уважаемые люди. А теперь они были в полном и беспрекословном подчинении у немецкого денщика с палевыми веснушками.

Генерал барон фон Венцель был настолько поглощен делами войны, что не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны. Он часами сидел над картой, читал, надписывал и подписывал бумаги, которые подавал ему адъютант, и пил коньяк с другими генералами. Иногда генерал сердился и кричал так, будто командовал на плацу, и другие генералы стояли перед ним, вытянув руки по сдвоенным красным лампасам. И бабушке Вере и Елене Николаевне было ясно, что по воле генерала фон Венцеля движутся через Краснодон в глубь страны немецкие войска с танками, самолетами, пушками и генералу важно именно то, чтобы они двигались и приходили всегда вовремя и в то место, куда им назначено. А все то, что они делали в местах, где они проходили, это не интересовало генерала фон Венцеля, как не интересовало его то, что он живет в доме бабушки Веры и Елены Николаевны.

По приказу генерала фон Венцеля или с его холодного молчаливого согласия возле него и вокруг него совершались сотни и тысячи дурных и грязных поступков. В каждом доме что-нибудь отбирали, отбирали и у бабушки Веры и у Елены Николаевны сало, мед, яйца, масло, но это не мешало ему так высоко носить неподвижную узкую голову с малиновым кадыком, уверенно расположившимся меж пальмовых ветвей, что казалось — ничто дурное и грязное не в силах досягнуть до сознания генерала.

Генерал был очень чистоплотный человек; дважды в день, утром и перед сном, мылся с головы до ног горячей водой. Морщины на узком лице генерала и его кадык всегда были чисто выбриты, промыты, надушены. Для него была сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера должна была ежедневно мыть, чтобы генерал мог совершать свои дела, не становясь на корточки. Генерал ходил в уборную по утрам всегда в одно и то же время, а денщик караулил возле и, услышав покашливание генерала, подавал ему специальную вафельную бумажку. Но при этой своей чистоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере и Елене Николаевне громко отрыгивать пищу после еды, а если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воз-

дух из кишечника, не заботясь о том, что бабушка Вера и Елена Николаевна находятся в комнате рядом.

А адъютант на длинных ногах старался во всем походить на генерала. Казалось, он, адъютант, даже вырос таким длинным только затем, чтобы походить на своего длинного генерала. И так же, как генерал, он старался не замечать ни бабушки Веры, ни Елены Николаевны.

Ни для генерала, ни для его адъютанта бабушка Вера и Елена Николаевна не существовали не только как люди, а даже как предметы. А денщик был теперь их полновластным начальником и хозяином.

И, осваиваясь с этим новым и ужасным положением, бабушка Вера с первых же дней обнаружила, что она не согласна мириться с этим положением. Хитрая бабушка Вера догадалась, что денщик с палевыми веснушками не настолько властен в присутствии своих начальников, чтобы посметь убить ее, бабушку Веру. И с каждым днем она все смелее пререкалась с денщиком, а когда он кричал на нее, она сама кричала на денщика. Однажды, вспылив, он пнул ее своим громадным каблуком в поясницу, но бабушка в ответ изо всей силы ударила его сковородой по голове, и, как это ни странно было, побагровевший денщик словно захлебнулся. Такие странные и сложные отношения установились у бабушки Веры с денщиком с палевыми веснушками. А Елена Николаевна все еще находилась в состоянии глубокого внутреннего оцепенения и, неподвижно нося чуть закинутую назад голову в короне пышных светло-русых волос, механически, молча исполняла то, что от нее требовали.

В один из таких дней Елена Николаевна шла по улице, параллельной Садовой, за водой и вдруг увидела двигавшуюся ей навстречу знакомую подводу, запряженную буланым коньком, и идущего рядом с подводой сына Олега.

Елена Николаевна беспомощно оглянулась, выронила ведра и коромысло и, раскинув руки, кинулась к сыну.

— Олежка... мальчик... — повторяла она, то припадая лицом к груди его, то поглаживая его светло-русые, позолотившиеся от солнца волосы, то просто касаясь ладонями его груди, плеч, спины, бедер.

Он был выше ее на голову; за эти дни он сильно загорел, осунулся в лице, возмужал; но сквозь эту возмужалость более чем когда-либо проступали те навеки сохранившиеся для нее в сыне черты, какие она знала в нем, когда он лепетал первые слова и делал первые шажки на полных, круглых загорелых ножках и его заносило вбок, точно ветром. Он действительно был еще только большое дитя. Он обнимал мать своими большими, сильными руками, а глаза его из-под ши-

роких светлых бровей сияли так, как они сияли матери все эти шестнадцать с половиной лет, — чистым и ясным сыновним светом, и он все повторял:

— Мамо... мамо... мамо...

Никого и ничего не существовало для них в эти несколько мгновений: ни двух немецких солдат, из ближнего двора наблюдавших за ними — нет ли в этом чего-либо, нарушающего порядок, Ordnung, ни стоявших возле брички родных, с разными чувствами смотревших на встречу матери и сына: дядя Коля — флегматично и печально, тетя Марина — со слезами на черных, красивых, утомленных глазах, трехлетний мальчик — удивленно и капризно, почему не его первого обнимает и целует тетя Лена, а дед-возчик — с тактичным выражением старого человека: вот, мол, какие дела бывают на свете. А добрые люди, тайком наблюдавшие из окон за встречей так похожих друг на друга рослого юноши с непокрытой, опаленной солнцем головой и совсем еще молодой женщины с пышными косами, окружавшими ее голову, могли бы подумать, что это встретились брат и сестра, когда б они не знали, что это Олег Кошевой вернулся до матери своей, как возвращались теперь сотни и тысячи краснодонцев, не успевших уйти от беды, возвращались к своим родным, в свои хаты, занятые немцами.

Тяжело было в эти дни тем, кто покинул родные места, дом, близких людей. Но те, кто успел уйти от немца, шли уже по своей, советской земле. Насколько тяжелее было тем, кто приложил все усилия, чтобы уйти от немца, и пережил крах этих усилий, и видел смерть перед лицом своим, и теперь брел по родным местам, которые еще вчера были своими, а вот стали немецкими, — брел без пищи, без крова, в одиночку, павший духом, отданный на милость встречного немца-победителя, как преступник в глазах его.

В то мгновение, когда в открытой яркой степи, в белом тусклом блеске воздуха Олег и его товарищи увидели двигавшиеся прямо на них немецкие танки, души их содрогнулись, впервые став перед лицом смерти. Но смерть повременила.

Немцы-мотоциклисты оцепили всех, кто не успел переправиться, и согнали в одно место к Донцу. И здесь снова сошлись вместе и Олег с товарищами, и Ваня Земнухов с Клавой и ее матерью, и директор шахты № 1-бис Валько. Валько был весь мокрый — бриджи и пиджак хоть выжми, — вода хлюпала в его хромовых сапогах.

В эти минуты всеобщего смятения мало кто обращал внимание друг на друга, но при взгляде на Валько каждый думал: «Вот и этому не удалось переплыть Донец». А он с выражением какой-то сосредоточенной злости на смуглом

небритом цыганском лице присел на землю, снял свои добротные сапоги, вылил воду, выжал портянки, обулся и, обернув к ребятам сумрачное лицо свое, вдруг не то чтобы подмигнул, а чуть-чуть свел веки черного глаза: не робейте, мол, я с вами.

Немецкий офицер-танкист, в черном шлеме-берете, с лицом закопченным и злым, на ломаном русском языке приказал всем военным выйти из толпы. Военные, уже без оружия, выходили из толпы группами или в одиночку. Немецкие солдаты, пиная их прикладами в спину, уводили в сторону, и вскоре неподалеку от толпы образовалась на степи другая, меньшая толпа военных. Что-то пронзительно-печальное было в лицах, взглядах этих людей, жавшихся друг к другу в своих застарело-грязных гимнастерках и запыленных сапогах среди залитой солнцем яркой степи.

Военных построили в колонну и погнали вверх по Донцу. А всех гражданских людей распустили по домам.

И люди начали растекаться по степи в разные стороны от Донца. Бо́льшая часть потянулась вдоль дороги на запад, через хутор, где ночевали Ваня и Жора, в сторону Лихой.

Отец Виктора Петрова и дед, везший Кошевого и его родню, в тот момент, как увидели в степи немецкие танки, присоединились с подводами к своим... И вся их группа, включившая теперь Клаву Ковалеву с матерью, влилась в поток людей и подвод, отходивших на запад, в сторону Лихой.

Некоторое время никто из людей не верил, что все именно так и будет, отпустили их и нет в этом никакого подвоха,— все с опаской косились на двигавшихся по дороге встречным потоком немецких солдат. Но солдаты с усталыми, потными, грязными от размазавшейся пыли лицами, озабоченные тем, что ждало их впереди, почти не смотрели на русских беженцев.

Когда прошло первое потрясение, кто-то неуверенно сказал:

— На то есть приказ немецкого командования — местных жителей не обижать.

Валько, от которого валил под солнцем пар, как от лошади, мрачно усмехнулся и, кивнув на колонны злых, вымазанных, как черти, немецких солдат, сказал:

— Не видишь, у них времени нет. А то дали б они тебе водички испить!

— А ты, кажись, уже испил? — вдруг весело отозвался чей-то голос, один из тех неунывающих голосов, какие при всех, даже самых ужасных обстоятельствах жизни обязательно обнаружатся, когда собираются русские люди.

— Я уже испил, — мрачно согласился Валько. И, подумав, добавил: — Да еще не всю чару.

На самом деле вот что произошло с Валько, когда он, покинув на берегу ребят, спустился к переправе. Благодаря свирепому своему виду он все же заставил одного из военных, ведавших переправой, вступить с ним в переговоры. От военного Валько узнал, что командование переправой находится на той стороне реки. «Я его заставлю, чтобы он со своими лайдаками порядок мне навел!» — яростно думал Валько, прыгая с края одного понтона на край другого, сбоку от двигавшихся по наплавному мосту машин. В это время налетели немецкие пикировщики, и он, как и все люди, прыгавшие вместе с ним, вынужден был лечь. Потом ударила немецкая артиллерия, на понтонах началась паника. И тут Валько заколебался.

По своему положению он не только имел право, а обязан был воспользоваться последней возможностью перебраться на ту сторону Донца. Но, как это бывает в жизни даже очень сильных и рассудительных натур, с горячей кровью, скрытно кипящей в жилах, иногда долг частный, меньший, но ближний, берет верх над долгом общим и главным, но дальним.

Едва Валько представил себе, что могут подумать о нем его рабочие, Григорий Ильич Шевцов — его друг, ребята-комсомольцы, оставшиеся на берегу, — едва Валько представил себе это, вся кровь прихлынула к черному лицу его, и он повернул обратно. В это время уже по всей ширине наплавного моста бежали навстречу ему люди сплошной лавиной. Тогда он, в чем был, бросился в воду и поплыл к берегу.

В то время, когда немцы уже обстреливали и оцепляли этот берег Донца и люди с этого берега, обезумев, бежали по понтонам на другой берег и дрались у спуска к понтонам и десятками и сотнями перебирались вплавь на другой берег, — Валько, рассекая волны своими сильными руками, плыл к этому берегу. Он знал, что будет первым из тех, с кем немцы расправятся, а плыл, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть.

На беду себе немцы поступили так недальновидно, что не убили Валько, а отпустили его вместе с другими. И вот, вместо того чтобы двигаться на восток, к Саратову, куда он обязан был явиться по службе и где находились его жена и дети, Валько в потоке беженцев двигался на запад.

Еще не доходя Лихой, вся эта сборная колонна беженцев начала распадаться. Валько предложил группе краснодонцев выделиться из остальной колонны, обойти Лихую и двигаться

к Краснодону вдали от больших дорог, проселками, а то и целиною.

Как это всегда бывает в трудные моменты жизни народов и государств, в душе даже самого рядового человека мысли о собственной судьбе тесно переплетаются с мыслями о судьбе всего народа и государства.

В эти первые дни после того, что было пережито ими, и взрослые и ребята находились в подавленном настроении и почти не говорили друг с другом. Они подавлены были не только тем, что ждало их впереди, а и тем, что будет теперь со всей советской землей. Но каждый переживал это по-своему.

В состоянии наибольшего душевного равновесия находился трехлетний сынишка Марины, двоюродный братик Олега. Никаких сомнений в устойчивости того мира, в каком он жил, у него не было, поскольку мама и папа всегда были при нем. Ему, правда, страшно было один момент, когда что-то заревело и загремело в небе и кругом так бухало и бежали люди. Но он рос в такое время, когда кругом всегда бухало и всегда бежали люди, поэтому он поплакал немного и успокоился. И теперь уже все было хорошо. Он только находил, что путешествие несколько затянулось. Это ощущение особенно владело им в полдень, когда его всего размаривало, и он начинал хныкать, скоро ли приедет домой к бабушке. Но стоило остановиться на привал и отведать кашки, и потыкать палкой в норку суслика, и обойти, ступая боком, почтительно задирая голову, вокруг гнедых коней, каждый из которых был чуть не вдвое больше буланого конька, а потом сладко поспать, уткнувшись головенкой в мамины колени, — как все становилось на свои места, и мир снова был полон прелести и чудес.

Дед-возчик думал о том, что вряд ли его жизни, жизни маленького старого человека, грозит опасность при немцах. Но он боялся, что немцы еще в дороге отберут у него лошадь. Кроме того, он думал о том, что немцы лишат его пенсии, которую он получал как возчик, проработавший на шахтах сорок лет, и не только лишат пособия, которое он получал за трех сыновей-фронтовиков, а еще, пожалуй, будут утеснять за то, что у него столько сыновей в Красной Армии. И его глубоко волновал вопрос о том, победит ли Россия в войне. В свете того, что он видел, он очень боялся, что Россия не победит. И тогда он, маленький дед, с взъерошенными на затылке серыми перышками, как у воробышка, очень жалел о том, что не умер прошлой зимой, когда у него, как говорил ему доктор, случился «приступ». Но иногда он вспоминал всю свою жизнь и войны, в которых сам участвовал, вспоминал, что Россия велика, богата, а за последний десяток лет стала

еще богаче, — неужели же найдется у немца сила победить ее, Россию? И когда дед думал так, им овладевало нервное оживление, он почесывал высохшие, черные от солнца лодыжки, почмокивал на буланого конька, по-детски выпячивая губы и подшевеливая конька вожжою.

Николаю Николаевичу, дяде Олега, было всего обиднее то, что его так хорошо начавшаяся работа в тресте — работа молодого геолога, выдвинувшегося в первые же годы исключительно удачными разведками, — вдруг прервалась таким неожиданным и ужасным образом. Ему казалось, что немцы непременно убьют его, а если не убьют, ему придется проявить немало изворотливости, чтобы уклониться от службы у немцев. А он знал, что при всех условиях не пойдет служить к немцам, потому что служить у немцев ему было так же неестественно и неудобно, как ходить на четвереньках.

А молоденькая тетушка Марина подсчитывала, из каких источников дохода складывалась их жизнь до немцев. И получалось, что их жизнь до немцев складывалась: из заработка Николая Николаевича, пенсии Елены Николаевны, которую она получала за покойного мужа — отчима Олега, пенсии бабушки Веры Васильевны, квартиры, которую им давал трест, и огорода, который они разводили при доме. И выходило так, что первых трех источников существования они с приходом немцев безусловно лишились и могли лишиться остальных. Она все вспоминала убитых детей на переправе и переносила жалость к ним на своего ребенка и начинала плакать. Ей приходили в голову рассказы о том, что немцы грубо пристают к женщинам и совершают насилия над ними, и тогда она вспоминала, что она хорошенькая женщина и к ней уже, наверное, будут приставать немцы, и она то ужасалась, то утешала себя тем, что будет нарочно попроще одеваться и изменит прическу и все, может быть, обойдется.

Отец Виктора Петрова, лесничий, знал, что возвращение домой грозит смертельной опасностью ему, как человеку, известному в районе своим участием в борьбе против немцев в 1918 году, и его сыну-комсомольцу. Но он заходил в тупик, когда думал о том, как ему теперь поступить. Он знал, что кто-нибудь из партийных людей обязательно оставлен для организации подпольной и партизанской борьбы. Но сам он, человек уже немолодой, всю жизнь честно работал рядовым лесничим и привык к той мысли, что он до конца жизни останется лесничим. Он мечтал дать хорошее образование сыну и дочери и вывести их в люди. Но когда теперь в сердце к нему закрадывалась мысль о том, что прошлое его может остаться неизвестным и у него сохранится возможность так же служить лесничим при немцах, — им овладевали такая тоска и

отвращение, что ему, крупному, сильному человеку, хотелось драться.

В это же самое время сын его, Виктор, находился в состоянии крайней обиды и оскорбления за Красную Армию. Он с детства обожал Красную Армию и ее командиров и с первых же дней войны готовился к тому, чтобы принять участие в войне как командир Красной Армии. Он был руководителем военного кружка в школе и проводил военные занятия и физические упражнения в кружке под дождем и на морозе, как учил этому Суворов. Отступление Красной Армии, конечно, не могло пошатнуть в глазах Виктора ее престижа. Но обидно было, что ему своевременно не удалось попасть в Красную Армию командиром, а между тем, будь он теперь командиром Красной Армии, она, несомненно, не попала бы в такое тяжкое и горестное положение. Что же касается его судьбы при немцах, то о ней Виктор просто не думал, целиком полагаясь на отца и на друга своего Анатолия Попова, который во всех трудных случаях жизни умел найти что-нибудь неожиданное и абсолютно правильное.

А друг его Анатолий всей душой болел за отечество и, молча покусывая ногти, всю дорогу думал о том, что же ему, Анатолию, теперь делать? За время войны он столько прочел докладов на комсомольских собраниях о защите социалистического отечества, но ни в одном из докладов он не мог выразить еще и того ощущения отечества, как чего-то большого и певучего, какой была его, Анатолия, мама, Таисья Прокофьевна, с ее рослым, полным телом, лицом румяным, добрым и с чудными старинными казачьими песнями, которые она певала ему с колыбели. Это ощущение отечества всегда жило в его сердце и исторгало слезы из глаз его при звуках родной песни или при виде потоптанного хлеба и сожженной избы. И вот отечество его находилось в беде, такой беде, что ни видеть это, ни думать об этом нельзя было без острой боли сердечной. Надо было действовать, действовать немедленно, но — как, где, с кем?

Такие мысли в большей или меньшей степени волновали всех его товарищей.

И только Уля не имела сил думать ни о судьбе родной земли, ни о личной своей судьбе. Все, что она пережила с того момента, как увидела пошатнувшийся копер шахты № 1-бис: прощание с любимой подругой и с матерью, этот путь по обожженной солнцем, вытоптанной степи и, наконец, переправу, где в этой окровавленной верхней части туловища женщины с красным платком на голове и в мальчике с вылетевшими из орбит глазами точно воплотилось все пережитое ею, — все это снова и снова, то остро, как кинжал, то тяжко-тяжко,

как жернов, поворачивалось в кровоточащем сердце Ули. Всю дорогу она шагала рядом с телегой, молчаливая, будто спокойная, и только эти черты мрачной силы, обозначившиеся в ее глазах, ноздрях, губах, выдавали, какие бури волнами ходили в душе ее.

Зато Жоре Арутюнянцу было совершенно ясно, как он будет жить при немцах. И он очень авторитетно рассуждал вслух:

— Каннибалы! Разве наш народ может с ними примириться, да? Наш народ, как в прежде оккупированных немцами местностях, безусловно, возьмется за оружие. Мой отец — тихий человек, но я не сомневаюсь — он возьмется за оружие. А мать, с ее характером, та безусловно возьмется за оружие. Если наши старики так поступают, как же мы, молодежь, должны поступать? Мы, молодежь, должны взять на учет — выявить, потом взять на учет,— поправился Жора,— всех ребят, кто не уехал, и немедленно связаться с подпольной организацией. Мне по крайней мере известно, что в Краснодоне остались Володя Осьмухин и Толя Орлов,— разве они будут сидеть сложа руки? А Люся, сестра Володи, эта прекрасная девушка,— с чувством сказал Жора,— она во всяком случае безусловно не будет сидеть сложа руки.

Выбрав момент, когда никто, кроме Клавы, не мог их слышать, Ваня Земнухов сказал Жоре:

— Слушай, ты, абрек! Честное слово, все с тобой согласны. Но... придержи язык. Во-первых, это дело совести каждого. А во-вторых, ты же не можешь поручиться за всех. А ну, как кто-нибудь невзначай трепанет, что тогда будет — и тебе и всем нам?

— Почему ты назвал меня абреком? — спросил Жора, в черных глазах которого появилось вдохновенно-самодовольное выражение.

— Потому, что ты черный и действуешь, как наездник.

— Ты знаешь, Ваня, когда я перейду в подполье, я обязательно возьму себе кличку «Абрек»,— понизив голос до шепота, сказал Жора Арутюнянц.

Ваня разделял мысли и настроения Жоры Арутюнянца. Но во все, о чем бы сейчас Ваня ни думал, властно вторгалось чувство счастья от близости Клавы и чувство гордости, когда он вспоминал свое поведение у переправы, и снова слышал слова Ковалева: «Ваня, спаси их»,— и чувствовал себя спасителем Клавы. Это чувство счастья было тем более полным, что Клава разделяла с ним это чувство. Если бы не беспокойство за отца и не жалобные причитания матери, Клава Ковалева была бы открыто и просто счастлива с любимым человеком здесь, в залитой солнцем донецкой степи,

несмотря на то, что на горизонте то там, то тут возникали башни немецких танков, стволы зениток и каски, каски, каски немецких солдат, мчавшиеся над золотистой пшеницей в реве моторов и в пыли.

Но среди всех этих людей, так по-разному думавших о судьбе своей и всего народа, было два человека, тоже очень разных по характеру и по возрасту, но удивительно схожих тем, что оба они находились в состоянии небывалого морального подъема и энергической деятельности. Одним из этих людей был Валько, а другим — Олег.

Валько был человек немногословный, и никто никогда не знал, что совершается в душе его под цыганской внешностью. Казалось, все в его судьбе изменилось к худшему. А между тем никогда еще его не видели таким подвижным и веселым. Всю дорогу он шел пешком, обо всех заботился, охотно заговаривал с ребятами, то с одним, то с другим, будто испытывая их, и все чаще шутил.

А Олегу тоже не сиделось в бричке. Он вслух выражал нетерпение, когда же наконец увидит мать, бабушку. Он с наслаждением потирал кончики пальцев, слушая Жору Арутюнянца, а то вдруг начинал подсмеиваться над Ваней и Клавой или с робким заиканием утешал Улю, или нянчил трехлетнего братишку, или объяснялся в любви тетушке Марине, или пускался в длинные политические разговоры с дедом. А иногда он шагал рядом с бричкой, молчаливый, с резко обозначившимися на лбу продольными морщинами, с упрямой, еще детской складкой полных губ, как бы чуть тронутых отзвуком улыбки, с глазами, устремленными вдаль с задумчивым, сурово-нежным выражением.

Они были уже не более чем в одном переходе от Краснодона, когда вдруг наскочили на какую-то отбившуюся команду немецких солдат. Немецкие солдаты деловито — даже не очень грубо, а именно деловито — обшарили обе подводы, взяли из чемоданов Марины и Ули все шелковые вещи, сняли с отца Виктора и Валько сапоги и взяли у Валько старинные золотые часы, которые, несмотря на купание, что он перенес, великолепно шли.

Душевное напряжение, какое они испытывали в этом первом непосредственном столкновении с немцами, от которых все ждали худшего, перешло в смущение друг перед другом, а потом в неестественное оживление — все наперебой изображали немцев, как они обшаривали подводы, поддразнивали Марину, очень сокрушавшуюся по шелковым чулкам, и даже не пощадили Валько и отца Виктора, больше других чувствовавших себя смущенно в бриджах и в тапоч-

ках. И только Олег не разделял этого ложного веселья, в лице у него долго стояло резкое, злое выражение.

Они подошли к Краснодону ночью и по совету Валько, полагавшего, что ночное движение в городе воспрещено, не пошли в город, а остановились на ночлег в балке. Ночь была месячной. Все были взволнованы и долго не могли уснуть.

Валько пошел разведать, куда тянется балка. И вдруг услышал за собой шаги. Он обернулся, остановился и при свете месяца, блестевшего по росе, узнал Олега.

— Товарищ Валько, мне очень нужно с вами поговорить. Очень нужно,— сказал Олег тихим голосом, чуть заикаясь.

— Добре,— сказал Валько.— Да стоя придется, бо дюже мокро.— Он усмехнулся.

— Помогите мне найти в городе кого-нибудь из наших подпольщиков,— сказал Олег, прямо глядя в потупленные под сросшимися бровями глаза Валько.

Валько резко поднял голову и некоторое время внимательно изучал лицо Олега.

Перед ним стоял человек нового, самого юного поколения.

Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действенность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение,— эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения.

Валько хорошо знал его, это поколение, потому что оно в большой мере было сколком с него самого.

— Подпольщика ты вроде уже нашел,— с усмешкой сказал Валько,— а что нам дальше делать, об том мы сейчас поговорим.

Олег молча ждал.

— Я вижу, ты не сегодня решился,— сказал Валько.

Он был прав. Едва возникла непосредственная угроза Ворошиловграду, Олег, впервые скрыв от матери свое намерение, пошел в райком комсомола и попросил, чтобы его использовали при организации подпольных групп.

Его очень обидели, когда сказали без всякого объяснения причин примерно следующее:

— Вот что, хлопец: собирай-ка свои манатки да уезжай подобру-поздорову, да поживее.

Он не знал, что райком комсомола не создавал самостоятельных подпольных групп, а те комсомольцы, которых оставляли в распоряжение подпольной организации, были уже выделены заранее. Поэтому ответ, который он получил в райкоме, не только не был грубым, а был даже, в известном смыс-

ле, выражением внимания к товарищу. И ему пришлось уехать.

Но в тот самый момент, как прошло первое напряжение событий на переправе и Олегу стало ясно, что уйти не удалось, его так и озарила мысль: теперь мечта его осуществится! Вся тяжесть бегства, расставания с матерью, неясности всей его судьбы свалилась с души его. И все силы души его, все страсти, мечты, надежды, весь пыл и напор юности — все это хлынуло на волю.

— Оттого ты так и подобрался, что решился,— продолжал Валько.— У меня у самого такой характер. Еще вчера — иду, а все у меня из памяти не выходит: то, как мы шахту взорвали, то, вижу, армия отступает, беженцы мучаются, дети. И такой у меня мрак на душе! — с необыкновенной искренностью говорил Валько.— Должен был радоваться тому, что хоть семью увижу, с начала войны и не видался,— а в сердце все стучит: «Ну, а дальше что?..». Так было вчера. А что ж сегодня? Армия наша ушла. Немец нас захватил. Семью я не увижу. Может быть, никогда не увижу. А на душе у меня отлегло. Почему? Потому, что теперь у меня один шлях, як у чумака. А это для нашего брата самое главное.

Олег чувствовал, что сейчас в балке под Краснодоном, при свете месяца, чудно блестевшего по росе, этот суровый, сдержанный человек со сросшимися, как у цыгана, бровями говорит с ним, с Олегом, так откровенно, как он, может быть, не говорил ни с кем.

— Ты вот что: ты с этими ребятами связи не теряй, это ребята свои,— говорил Валько.— Себя не выдавай, а связь с ними держи. И присматривай еще ребят, годных к делу, таких, что покремнистей. Но только смотри, без моего ведома ничего не предпринимай,— завалишься. Я тебе скажу, когда и что тебе делать...

— Вы знаете, кто оставлен в городе? — спросил Олег.

— Не знаю,— откровенно сознался Валько.— Не знаю, но найду.

— А мне как вас находить?

— Тебе меня находить не надо. Коли б у меня была квартира, я бы ее тебе все равно не назвал, а у меня, откровенно сказать, ее пока что нет.

Как ни печально было являться вестником гибели мужа и отца, но Валько решил на первых порах укрыться в семье Шевцова, где знали и любили Валько. С помощью такой отчаянной девчонки, как Любка, он надеялся установить связи и подыскать квартиру в более глухом месте.

— Ты лучше дай мне свой адрес, я тебя найду.

Валько несколько раз вслух повторил адрес Олега, пока не затвердил.

— Ты не бойся, я тебя найду,— тихо говорил Валько.— И коли не скоро обо мне услышишь, не рыпайся, жди... А теперь иди,—сказал он и своей широкой ладонью легонько подтолкнул Олега в плечо.

— Спасибо вам,— чуть слышно сказал Олег.

С необъяснимым волнением, словно бы несшим его по росистой траве, подходил он к лагерю. Все уже спали, одни лошади похрустывали травою. Да Ваня Земнухов сидел в головах у спящей Клавы и ее матери, обхватив руками острое колено.

«Ваня, друг любимый»,— с размягченным чувством, которое у него было теперь ко всем людям, подумал Олег. Он подошел к товарищу и с волнением опустился рядом с ним на мокрую траву.

Ваня повернул к нему свое лицо, бледное при свете месяца.

— Ну как? Что он сказал тебе? — живо спросил Ваня своим глуховатым голосом.

— О чем ты спрашиваешь? — сказал Олег, удивившись и смутившись одновременно.

— Что Валько сказал? Знает он что-нибудь?

Олег в нерешительности смотрел на него.

— Уж не думаешь ли ты со мной в прятки играть? — сказал Ваня с досадой.— Не маленькие же мы в самом деле!

— К-как ты узнал? — все более изумляясь, глядя на друга широко раскрытыми глазами, шепотом спросил Олег.

— Не так уж мудрено узнать твои подпольные связи, они такие же, как и у меня,— сказал Ваня с усмешкой.— Неужто ты думаешь, что я тоже не думал об этом?

— Ваня!.. — Олег своими большими руками схватил и крепко сжал узкую руку Земнухова, сразу ответившую ему энергичным пожатием.— Значит, вместе?

— Конечно, вместе.

— Навсегда?

— Навсегда,— сказал Ваня очень тихо и серьезно.— Пока кровь течет в моих жилах.

Они смотрели друг другу в лицо, блестя глазами.

— Ты знаешь, он пока ничего не знает. Но сказал — найдет. И он найдет,— говорил Олег с гордостью.— Ты ж смотри, в Нижней Александровке не задержись...

— Нет, об этом не думай,— решительно тряхнув головой, сказал Ваня. Он немного смутился.— Я только устрою их.

— Любишь ее? — склонившись к самому лицу Вани, шепотом спросил Олег.

— Разве о таких вещах говорят?

— Нет, ты не стесняйся. Ведь это же хорошо, это же очень хорошо. Она т-такая чудесная, а ты... О тебе у меня даже слов нет,— с наивным и счастливым выражением в лице и в голосе говорил Олег.

— Да, столько приходится переживать и нам и всем людям, а жизнь все-таки прекрасна,— сказал Ваня.

— В-верно, в-верно,— сказал Олег, сильно заикаясь, и слезы выступили ему на глаза.

Немногим более недели прошло с той поры, как судьба свела на степи всех этих разнородных людей: и ребят и взрослых. Но вот в последний раз всех вместе осветило их солнце, вставшее над степью, и показалось, что целая жизнь оставалась за их плечами,— такой теплотой, и грустью, и волнением наполнились их сердца, когда пришла пора расставаться.

— Ну, хлопцы та дивчата...— начал было Валько, один, в бриджах и тапочках, оставшийся посреди балки, махнул смуглой рукой и ничего не сказал.

Ребята обменялись адресами, дали обещание держать связь, простились. И долго еще они видели друг друга, после того как растеклись в разные стороны по степи. Нет-нет да и взмахнет кто-нибудь рукой или платком. Но вот один, потом другие исчезли за холмом или в балке. Будто не было этого совместного пути в великую страшную годину, под палящим солнцем...

Так Олег Кошевой переступил порог родного дома, занятого немцами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Марина с маленьким сыном поселилась в комнатке рядом с кухней вместе с бабушкой Верой и Еленой Николаевной. А Николай Николаевич и Олег сбили себе из досок два топчана и кое-как устроились в дровяном сарайчике во дворе.

Бабушка Вера, истомившаяся без слушателей (не могла же она считать собеседником денщика с палевыми веснушками!), сразу обрушила на них ворох городских новостей.

Дня два тому назад на входных будках наиболее крупных шахт, на здании школ имени Горького и имени Ворошилова, на здании райисполкома и еще кое-где были наклеены большевистские листовки, написанные от руки. Под текстом стояла подпись: «Краснодонский районный комитет ВКП(б)». Удивительно было то, что рядом с листовками наклеены были номера газеты «Правда» за старые годы с портретами Ленина и Сталина. По слухам, из разговоров немецких солдат

было известно, что в разных районах области, особенно по Донцу, на границе Ворошиловградской и Ростовской областей, в Боково-Антрацитовском и Кременском районах партизаны нападают на немецкий транспорт и воинские части.

До сих пор ни один коммунист и ни один комсомолец не явились на специальную регистрацию к немецкому коменданту («Да чтоб я сама им в глотку полезла,— нехай воны там подавятся!» — сказала бабушка Вера), но многих уже раскрыли и поарестовали. Ни одно предприятие и учреждение не работает, но по приказу немецкого коменданта люди обязаны являться по месту работы и огсиживать положенные часы. По словам бабушки Веры, на работу в Центральных электромеханических мастерских треста «Краснодонуголь» явились инженер-механик Бараков и Филипп Петрович Лютиков. По слухам, их не только не тронули, а назначили Баракова директором мастерских, а Лютикова оставили на старой должности — начальником механического цеха.

— И кто бы мог ждать от таких людей? То ж старые члены партии! Бараков на фронте был, ранен был! А Лютиков — такой общественник, его ж уси знають! Чи воны сказились, чи що? — недоумевала и негодовала бабушка Вера.

Еще она сказала о том, что немцы вылавливают в городе евреев и увозят под Ворошиловград, где будто бы образовано «гетто», но многие говорят, что на самом деле евреев довозят только до Верхнедуванной рощи и там убивают и закапывают. И Мария Андреевна Борц очень боится за своего мужа, чтобы кто-нибудь его не выдал.

С того момента, как Олег вернулся домой, то оцепенение, в котором все дни со времени его отъезда, а особенно с приходом немцев, находилась Елена Николаевна, снялось с нее, точно волшебной рукою. Она теперь все время находилась в состоянии душевного напряжения и той энергической деятельности, которая так свойственна была ее натуре. Как орлица над выпавшим из гнезда орленком, кружила она над своим сыном. И часто-часто ловил он на себе ее внимательный, напряженно-беспокойный взгляд: «Как ты, сынок? В силах ли ты вынести все это, сынок?»

А он после того нравственного подъема, который испытал в дороге, вдруг впал в глубокое душевное оцепенение. Все было не так, как он представлял себе.

Юноше, вступающему в борьбу, она предстает в мечтах, как беспрерывный ряд подвигов против насилия и зла. Но зло оказалось неуловимым и каким-то невыносимо, мерзко будничным.

Не было в живых лохматого, черного, простодушного пса, с которым Олег так любил возиться. Улица с вырубленными

в дворах и палисадниках деревьями и кустами выглядела голой. И по этой голой улице, казалось, ходили голые немцы.

Генерал барон фон Венцель так же не замечал Олега, Марины и Николая Николаевича, как он не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны.

Бабушка Вера, правда, не чувствовала ничего оскорбительного для себя в поведении генерала.

— То ж ихний новый порядок,— говорила бабушка.— А я вже стара и знаю ще от дида своего, що то дуже старый порядок, як був у нас при крепостном праве. При крепостном праве у нас тож булы немцы — помещики, таки ж надменни и таки ж каты, як цей барон, хай ему очи повылазять. Що ж мени на его обижаться? Он все равно будет такой, пока наши не прийдуть та не выдеруть ему глотку...

Но для Олега генерал с его узкими блестящими штиблетами и чисто промытым кадыком был главным виновником того невыносимого унижения, в какое повергнуты были Олег и близкие ему люди и все люди вокруг. Освободиться от этого чувства унижения, казалось, можно было, только убив немецкого генерала, но на место этого генерала появится другой и притом совершенно такой же — с чисто промытым кадыком и блестящими штиблетами.

Адъютант на длинных ногах стал уделять много вежливого холодного внимания Марине и все чаще заставлял ее прислуживать ему и генералу. В бесцветных глазах его, когда он смотрел на Марину, было презрительное и в то же время мальчишеское любопытствующее выражение, будто он смотрел на экзотическое животное, которое может доставить немало развлечения, но неизвестно, как с ним обходиться.

Теперь излюбленным занятием адъютанта было — поманить конфеткой маленького сына Марины и, дождавшись, когда мальчик протянет толстую ручонку, быстро отправить конфетку в рот к себе. Адъютант проделывал это раз, и другой, и третий, пока мальчик не начинал плакать. Тогда, присев перед мальчиком на корточки на длинных своих ногах, адъютант высовывал язык с конфеткой на красном кончике, демонстративно сосал и жевал конфетку и долго хохотал, выкатив бесцветные глаза.

Он был противен Марине весь — от длинных ног до неестественно белых ногтей. Он был для нее не только не человек, а даже не скотина. Она брезгала им, как брезгают в нашем народе лягушками, ящерицами, гритонами. И когда он заставлял ее прислуживать себе, она испытывала чувство отвращения и одновременно ужаса перед тем, что она находится во власти этого существа.

Но кто поистине делал жизнь молодых людей невыносимой, так это денщик с палевыми веснушками. У денщика было удивительно много свободного времени: он был главным среди других денщиков, поваров, солдат хозяйственной команды, обслуживавшей генерала. И все свободное время денщика уходило на то, чтобы снова и снова расспрашивать молодых людей, как они хотели уйти от немцев и как им это не удалось, и, в который уже раз, высказывать им свои соображения о том, что только глупые или дикие люди могут хотеть уйти от немцев.

Он преследовал молодых людей в дровяном сарае, где они отсиживались, и на дворе, когда они выходили подышать свежим воздухом, и в доме, когда генерал отсутствовал. И только появление бабушки освобождало их от преследований денщика.

Как это было ни странно, но громадный, с красными руками денщик, внешне державшийся с бабушкой так же развязно, как и со всеми, побаивался бабушки Веры. Немец-денщик и бабушка Вера изъяснялись друг с другом на чудовищной помеси русского и немецкого языков, подкрепляемой мимической работой лица и тела, всегда очень точной и ядовитой у бабушки и всегда очень грубой, какой-то плотской, и глупой, и злой у денщика. Но они великолепно понимали друг друга.

Теперь вся семья сходилась в дровяном сарайчике завтракать, обедать и ужинать, и все это проделывалось точно украдкой. Ели постные борщи, зелень, вареную картошку и — вместо хлеба — пшеничные пресные лепешки бабушкиного изготовления. У бабушки было припрятано еще немало всякого добра. Но после того как немцы пожрали все, что плохо лежало, бабушка стряпала только постное, стараясь показать немцам, что больше и нет ничего. Ночью, когда немцы спали, бабушка тайком приносила в сарай кусочек сала или сырое яичко, и в этом тоже было что-то унизительное — есть, прячась от дневного света.

Валько не подавал вестей о себе. И Ваня не приходил. И трудно было представить себе, как они встретятся. Во всех домах стояли немцы. Они с ревнивой наблюдательностью присматривались к каждому приходящему человеку. Даже обычная встреча, разговор на улице вызывали подозрение.

Мучительное наслаждение доставляло Олегу, вытянувшись на топчане с подложенными под голову руками, когда все спали вокруг и свежий воздух из степи вливался в раскрытую дверцу сарая и почти полная луна рассеивала далеко по небу грифельный свет свой и блистающим прямоугольником лежала на земляном полу, у самых ног,— мучительное

наслаждение доставляло Олегу думать о том, что здесь же, в городе, живет Лена Позднышева. Образ ее, смутный, разрозненный, несоединимый, реял над ним: глаза, как вишни в ночи, с золотыми точками луны,— да, он видел эти глаза весной в парке, а может быть, они приснились ему,— смех, будто издалека, весь из серебряных звучков, как будто даже искусственный, так отделялся каждый звучок от другого, будто ложечки перебирали за стеной. Олег томился от сознания ее близости и от разлуки с ней, как томятся только в юности,— без страсти, без укоров совести,— одним представлением ее, одним счастьем видения.

В те часы, когда ни генерала, ни его адъютанта не было дома, Олег и Николай Николаевич заходили в родной дом. В нос им ударял сложный парфюмерный запах, запах заграничного табака и еще тот специфический холостяцкий запах, которого не в силах заглушить ни запахи духов, ни табака и который в равной степени свойствен жилищам генералов и солдат, когда они живут вне семьи.

В один из таких тихих часов Олег вошел в дом проведать мать. Немецкий солдат-повар и бабушка Вера молча стряпали на плите — каждый свое. А в горнице, служившей столовой, развалясь на диване в ботинках и в пилотке, лежал денщик, курил и, видно, очень скучал. Он лежал на том самом диване, на котором раньше обычно спал Олег.

Едва Олег вошел в комнату, ленивые, скучающие глаза денщика остановились на нем.

— Стой! — сказал денщик.— Ты, кажется, начинаешь задирать нос,— да, да, я все больше замечаю это! — сказал он и сел, опустив на пол громадные ступни в ботинках с толстой подметкой.— Опусти руки по швам и держи вместе пятки: ты разговариваешь с человеком старше тебя! — Он пытался вызвать в себе если не гнев, то раздражение, но духота так разморила его, что у него не было силы на это.— Исполняй то, что тебе сказано! Слышишь? Ты!..— вскричал денщик.

Олег, понимавший то, что говорит денщик, и молча смотревший на его палевые веснушки, вдруг сделал испуганное лицо, быстро присел на корточки, ударил себя по коленкам и вскричал:

— Генерал идет!

В то же мгновение денщик был уже на ногах. На ходу он успел вырвать изо рта сигаретку и смять ее в кулаке. Ленивое лицо его мгновенно приняло подобострастно-тупое выражение. Он щелкнул каблуками и застыл, вытянув руки по швам.

— То-то, холуй! Развалился на диване, пока барина нет... Вот так и стой теперь,— сказал Олег, не повышая голоса,

испытывая наслаждение от того, что он может высказать это денщику без опасения, что тот поймет его, и прошел в комнату к матери.

Мать, закинув голову, стояла у двери, с бледным лицом, держа в руках шитье: она все слышала.

— Разве так можно, сынок...— начала было она.

Но в это мгновение денщик с ревом ворвался к ним.

— Назад!.. Сюда!..— ревел он вне себя.

Лицо его так побагровело, что не видно стало веснушек.

— Не об-бращай внимания, мама, на этого ид-диота,— чуть дрожащим голосом сказал Олег, не глядя на денщика, словно его тут и не было.

— Сюда!.. Свинья! — ревел денщик.

Вдруг он ринулся на Олега, схватил его обеими руками за отвороты пиджака и стал бешено трясти Олега, глядя на него совершенно белыми на багровом лице глазами.

— Не надо... не надо! Олежек, ну, уступи ему, зачем тебе...— говорила Елена Николаевна, пытаясь своими маленькими руками оторвать от груди сына громадные красные руки денщика.

Олег, тоже весь побагровев, обеими руками схватил денщика за ремень под мундиром, и сверкающие глаза его с такой силой ненависти вонзились в лицо денщика, что тот на мгновение смешался.

— П-пусти... Слышишь? — сказал Олег страшным шепотом, с силой подтянув денщика к себе и приходя в тем большую ярость, что на лице денщика появилось выражение не то чтобы страха, но сомнения в том, что он, денщик, поступает достаточно выгодно для себя.

Денщик отпустил его. Они оба стояли друг против друга, тяжело дыша.

— Уйди, сынок... Уйди...— повторяла Елена Николаевна.

— Дикарь... Худший из дикарей,— стараясь вложить презрение в свои слова, говорил денщик пониженным голосом,— всех вас нужно дрессировать хлыстом, как собак!

— Это ты худший из дикарей, потому что ты холуй у дикарей, ты только и умеешь воровать кур, рыться в чемоданах у женщин да стаскивать сапоги с прохожих людей,— с ненавистью глядя прямо в белые глаза его, говорил Олег.

Денщик говорил по-немецки, а Олег по-русски, но все, что они говорили, так ясно выражали их позы и лица, что оба отлично понимали друг друга. При последних словах Олега денщик тяжелой, набрякшей ладонью с такой силой ударил Олега по лицу, что Олег едва не упал.

Никогда, за все шестнадцать с половиной лет жизни, ничья рука — ни по запальчивости, ни ради наказания — не

касалась Олега. Самый воздух, которым он дышал с детства и в семье и в школе, был чистый воздух соревнования, где грубое физическое насилие было так же невозможно, как кража, убийство, клятвопреступление. Бешеная кровь хлынула Олегу в голову. Он кинулся на денщика. Денщик отпрянул к двери. Мать повисла на плечах у сына.

— Олег! Опомнись!.. Он убьет тебя!..— говорила она, блестя сухими глазами, все крепче прижимаясь к сыну.

На шум прибежали бабушка Вера, Николай Николаевич, повар-немец в поварской шапочке и белом халате поверх солдатского мундира. Денщик ревел, как ишак. А бабушка Вера, растопырив сухие руки, с развевающимися на них пестрыми рукавами, кричала и прыгала перед денщиком, как наседка, вытесняя его в столовую.

— Олежек, мальчик, умоляю тебя... Окошко открыто, беги, беги!..— жарко шептала Елена Николаевна на ухо сыну.

— В окошко? Не буду я лазить в окошко в своем доме! — говорил Олег, самолюбиво подрагивая ноздрями и губами. Но он уже пришел в себя.— Не бойся, мама, пусти,— я и так уйду... Я пойду к Лене,— вдруг сказал он.

Он решительными шагами вышел в столовую. Все отступили перед ним.

— И свинья же ты, свинья! — сказал Олег, обернувшись к денщику.— Бьешь, когда знаешь, что тебе нельзя ответить...— И неторопливым шагом вышел из дому.

Щека его горела. Но он чувствовал, что одержал моральную победу: он не только ни в чем не уступил немцу,— немец испугался его. Не хотелось думать о последствиях своего поступка. Все равно! Бабушка права: считаться с их «новым порядком»? К чертовой матери! Он будет поступать так, как ему нужно. Посмотрим еще, кто кого!

Он вышел через калитку на улицу, параллельную Садовой. И почти у самого дома столкнулся с Степой Сафоновым.

— Ты куда? А я к тебе,— живо сказал маленький белоголовый Степа, очень радушно, обеими руками встряхивая большую руку Олега.

Олег смутился:

— Тут в одно место...

Он хотел даже добавить: «по семейному делу», но язык у него не повернулся.

— Что у тебя такая щека красная? — удивленно спросил Степа, отпустив руку Олега. Он точно подрядился спрашивать невпопад.

— С немцем подрался,— сказал Олег и улыбнулся.

— Что ты говоришь?! Здорово!.. — Степа с уважением смотрел на красную щеку Олега. — Тем лучше. Я к тебе, собственно говоря, и шел немножко по этому делу.

— То есть по какому делу? — засмеялся Олег.

— Пойдем, я тебя провожу, а то, если будем стоять, кто-нибудь из фрицев привяжется... — Степа Сафонов взял Олега под руку.

— Луч-чше я тебя провожу, — сказал Олег заикаясь.

— Может быть, ты вообще можешь отложить на некоторое время свое дело и пойти со мной?

— Куда?

— К Вале Борц.

— К Вале?.. — Олег чувствовал угрызения совести оттого, что он до сих пор не навестил Валю. — У них немцы стоят?

— Нет. В том-то и дело, что нет. Я, собственно, и шел к тебе по поручению Вали.

Какое это было счастье — вдруг очутиться в доме, в котором не стоят немцы! Очутиться в знакомом тенистом садике все с той же, точно отделанной мехом, клумбой, похожей на шапку Мономаха, и с той же многоствольной старой акацией с ее светло-зеленой кружевной листвой, такой неподвижной, будто она нашита на синее степное небо.

Марии Андреевне все ученики ее школы еще казались маленькими. Она долго тискала, целовала Олега, шумела:

— Забыл старых друзей? Когда вернулся, а глаз не кажешь, — забыл! А где тебя больше всех любят? Кто сиживал у нас часами, наморщив лоб, пока ему играли на пианино? Чьей библиотекой ты пользовался, как своей?.. Забыл, забыл! Ах, Олежка-дролежка! А у нас... — Она схватилась за голову. — Как же — прячется! — сделав страшные глаза, сказала она шепотом, вырвавшимся из нее, подобно паровозному пару, и слышным на всю улицу. — Да, да, даже тебе не скажу — где... Так унизительно и ужасно прятаться в собственном доме! И, кажется, ему придется уйти в другой город. У него не так ярко выражена еврейская внешность, — как ты находишь? Здесь его просто выдадут, а в Сталино у нас есть верные друзья, мои родственники, русские люди... Да, придется ему уйти, — говорила Мария Андреевна, и лицо ее приняло грустное, даже скорбное выражение, но в силу исключительного здоровья Марии Андреевны скорбные чувства не находили на ее лице соответствующей формы: несмотря на предельную искренность Марии Андреевны, казалось, что она притворяется.

Олег насилу освободился из ее объятий.

— И правда, свинство с твоей стороны, — говорила Валя,

самолюбиво приподымая верхнюю полную губу, — когда вернулся, а не зашел!

— И т-ты ведь могла зайти! — сказал Олег со смущенной улыбкой.

— Если ты рассчитываешь, что девушки будут сами заходить к тебе, тебе обеспечена одинокая старость! — шумно сказала Мария Андреевна.

Олег весело взглянул на нее, и они вместе засмеялись.

— Вы знаете, он уже с фрицем подрался,—видите, какая у него щека красная! — с удовольствием сказал Степа Сафонов.

— Серьезно, подрался? — Валя с любопытством смотрела на Олега. — Мама, — вдруг обернулась она к матери, — мне кажется, тебя в доме ждут...

— Боже, какие конспираторы! — шумно сказала Мария Андреевна, воздев к небу свои плотные руки. — Уйду, уйду...

— С офицером? С солдатом? — допытывалась Валя у Олега.

Кроме Вали и Степы Сафонова, в садике присутствовал незнакомый Олегу паренек, худенький, босой, с курчавыми жесткими светлыми волосами на косой пробор и с чуть выдавшимися вперед губами. Паренек молча сидел в развилине меж стволов акаций и с момента появления Олега не спускал с него твердых по выражению, пытливых глаз. В этом его взгляде и во всей манере держать себя было что-то внушавшее уважение, и Олег тоже невольно посматривал в его сторону.

— Олег! — сказала Валя с решительным выражением в лице и в голосе, когда мать вошла в дом. — Помоги нам установить связь с подпольной организацией... Нет, ты подожди, — сказала она, заметив, как в лице Олега сразу появилось отсутствующее выражение. Впрочем, он тут же простодушно улыбнулся. — Ведь ты же, наверно, знаешь, как это делается! У вас в доме всегда бывало много партийных, и я знаю, что ты больше дружишь со взрослыми, чем с ребятами.

— Нет, к сожалению, связи мои п-потеряны, — с улыбкой отвечал Олег.

— Говори кому другому, здесь все свои... Да! Ты, может быть, его стесняешься? Это же Сережа Тюленин! — воскликнула Валя, быстро взглянув на паренька, молча сидевшего в развилине стволов.

Валя ничего больше не добавила к характеристике Сережи Тюленина, но этого было вполне достаточно.

— Я говорю правду, — сказал Олег, обращаясь уже к Сереже Тюленину и не сомневаясь в том, что он-то, Сережа Тюленин, и был главным зачинщиком этого разговора. — Я знаю, что подпольная организация существует. Во-первых, листовки выпустили. Во-вторых, я не сомневаюсь, что поджог

треста и бани — это ее рук дело, — говорил Олег, не заметив, как при этих его словах какая-то искорка-дичинка промелькнула в глазах у Вали и улыбка чуть тронула ее верхнюю полную яркую губу. — И у меня есть сведения, что в ближайшее время мы, комсомольцы, получим указания, что нам делать.

— Время идет... Руки горят! — сказал Сережка.

Они стали обсуждать ребят и девчат, которые могли бы быть в городе. Степа Сафонов — общительный парень, друживший с ребятами и девчатами всего города, — всем им давал такие отчаянные характеристики, что Валя, Олег и Сережка, позабыв о немцах и о том, ради чего они подняли этот разговор, покатывались от хохота.

— А где Ленка Позднышева? — вдруг спросила Валя.

— Она здесь! — воскликнул Степа.— Я ее на улице встретил. Идет такая расфуфыренная, голову вот так несет, — и Степа с вздернутым веснушчатым носиком будто проплыл по саду. — Я ей: «Ленка, Ленка!», а она только головой кивнула, вот так, — показал Степа.

— И вовсе не похоже! — лукаво косясь на Олега, фыркала Валя.

— Помнишь, как мы чудно пели у нее? Три недели тому назад, всего три недели, подумать только! — сказал Олег, с доброй грустной улыбкой взглянув на Валю. Он сразу заторопился уходить.

Они вышли вместе с Сережкой.

— Мне Валя много рассказывала о тебе, Олег, да я, как тебя увидел, и сам положился на тебя душою, — кинув на Олега несколько смущенный быстрый взгляд, сказал Сережка. — Говорю тебе об этом так, чтобы ты знал, и больше говорить об этом не буду. А дело вот в чем: это никакая не подпольная организация подожгла трест и баню, это я поджег...

— К-как, один? — Олег с заблестевшими глазами смотрел на Сережку.

— Сам, один...

Некоторое время они шли молча.

— П-плохо, что один... Здорово, смело, но... п-плохо, что один, — сказал Олег, на лице которого было одновременно и добродушное и озабоченное выражение.

— А подпольная организация есть, я знаю не только по листовке, — продолжал Сережка, никак не отозвавшись на замечание Олега. — Я было на след напал, да... — Сережка с досадой махнул рукой, — не зацепился...

Он рассказал Олегу о посещении Игната Фомина и о всех обстоятельствах этого посещения, не утаив, что он вынужден

был дать человеку, который скрывался у Фомина, ложный адрес.

— Ты Вале об этом тоже рассказывал? — вдруг спросил Олег.

— Нет, Вале я этого не рассказывал, — спокойно сказал Сережка.

— Х-хорошо... Очень х-хорошо! — Олег схватил Сережку за руку.—Ведь если у тебя с этим человеком был такой разговор, ты можешь к нему и еще зайти? — говорил он волнуясь.

— В том-то и дело, что нет, — сказал Сережка, и возле его словно бы подпухших губ легла жесткая складка.— Человека этого его хозяин, Игнат Фомин, немцам выдал. Он его не сразу выдал, а так на пятый, на шестой день после того, как немцы пришли. По «Шанхаю» болтают, будто он хотел через того человека всю организацию раскрыть, а тот, видать, был осторожный. Фомин подождал, подождал, да и выдал его, и сам пошел в полицию служить.

— В какую полицию? — удивленно воскликнул Олег: пока он сидел в дровяном сарайчике, вот какие дела творились в городе!

— Знаешь барак, внизу, за райисполкомом, где наша милиция была?.: Там теперь немецкая полевая жандармерия, и они при себе формируют полицию из русских. Говорят, нашли сволочь на место начальника, — какой-то Соликовский. Служил десятником на мелкой шахтенке, где-то в районе. А сейчас с его помощью набирают полицейских из разной шпаны.

— Куда они его дели? Убили? — спрашивал Олег.

— Коли дураки, так уже убили, — сказал Сережка,—а думаю, еще держат. Им надо от него все узнать, а он не из таких, что скажет. Наверно, держат в том же бараке да жилы тянут. Там и еще арестованные есть, только не могу дознаться, кто такие...

У Олега вдруг сердце сжалось от страшной мысли: пока он ждет вестей от Валько, этот могучей души человек со своими цыганскими глазами, может быть, уже сидит в этом бараке под горой в темной и тесной каморке, и из него тоже тянут жилы, как сказал Сережка.

— Спасибо... Спасибо, что все это рассказал, — глухим голосом сказал Олег.

И он, руководствуясь только соображениями целесообразности, без малейшего колебания в том, что нарушает обещание, данное Валько, передал Сережке свой разговор с Валько, а потом с Ваней Земнуховым.

Они медленно шли по Деревянной улице, — босой Сережка — вразвалку, а Олег, легко и сильно ступая по пыли

в своих, как всегда аккуратно вычищенных ботинках,—и Олег развивал перед товарищем свой план действий: осторожно, исподволь, чтобы не повредить делу, искать и искать путь к большевистскому подполью; в то же время присматриваться к молодежи, брать на примету наиболее верных, стойких, годных к работе, узнать, кто арестован в городе и в районе, где сидят, найти возможность помощи им и непрерывно разведывать среди немецких солдат о всех военных и гражданских мероприятиях командования.

Сережка, сразу оживившись, предложил организовать сбор оружия: после боев и отступления много его валялось по всей округе, даже в степи.

Они оба понимали, насколько все это дела будничные, но это были дела осуществимые, — в обоих заговорило чувство реальности.

— Всё, что мы друг другу сказали, все, что мы узнаем и сделаем, не должен знать, кроме нас, никто, как бы близко к нам люди ни стояли, с кем бы мы ни дружили! — говорил Олег, глядя перед собой ярко блестевшими, расширенными глазами. — Дружба дружбой, а... здесь к-кровью пахнет, — с силой сказал он. — Ты, Ваня, я и — все... А установим связи, там нам скажут, что делать...

Сережка промолчал: он не любил словесных клятв и заверений.

— Что в парке сейчас? — спрашивал Олег.

— Немецкий автопарк. И зенитки кругом. Изрыли всю землю, как свиньи!

— Бедный наш парк!.. А у вас немцы стоят?

— Так, проходом: им наше помещение не нравится, — усмехнулся Сережка.— Встречаться у меня нельзя,— сказал он, поняв смысл вопросов Олега, — народонаселение большое.

— Будем держать связь через Валю.

— Точно,— с удовольствием сказал Сережка.

Они дошли до переезда и здесь крепко пожали друг другу руки. Они были почти ровесники и сразу сблизились за время этого короткого разговора. Настроение у них было мужественно-приподнятое.

Семья Позднышевых жила в районе «Сеняков». Она, как и Кошевые с Коростылевыми, занимала половину стандартного дома. Олег еще издалека увидел распахнутые, в старинных тюлевых занавесках окна их квартиры, и до него донеслись звуки пианино и искусственный смех Леночки из этих раздельных серебряных звучков. Кто-то, очень энергичный, сильными пальцами брал первые аккорды романса, зна-

комого Олегу; и Леночка начинала петь, но тот, кто аккомпанировал ей, тут же сбивался, и Леночка смеялась, а потом показывала голосом, где он ошибся и как надо, и все повторялось снова.

Звук ее голоса и звуки пианино вдруг так взволновали Олега, что он некоторое время не мог заставить себя войти в дом. Они, эти звуки, снова напомнили ему счастливые вечера, здесь же, у Лены, в кругу друзей, которых, казалось, было тогда так много... Валя аккомпанировала, а Леночка пела, а Олег смотрел на ее лицо, немного взволнованное, смотрел, очарованный и счастливый ее волнением, звуком ее голоса и этими навек запечатленными в сердце звуками пианино, наполнявшими собой весь мир его юности.

Ах, если бы никогда больше не переступал он порог этого дома! Если бы навеки осталось в сердце это слитное ощущение музыки, юности, неясного волнения первой любви!

Но он уже вошел в сени, а из сеней в кухню. В этой полутемной кухне, находившейся в теневой стороне дома, очень мирно и привычно, как они, очевидно, делали это не первый раз, сидели у маленького кухонного столика сухонькая, в старомодном темном платье и в старомодной прическе буклями, мать Лены и немецкий солдат с такой же палевой головой, как тот денщик, с которым подрался Олег, но без веснушек, низенький, толстый, — по всем ухваткам тоже денщик. Они сидели на табуретках друг против друга, и немецкий денщик с улыбкой, самодовольной и вежливой, с некоторым даже кокетством во взоре, что-то вынимал из рюкзака, который он держал на коленях, и передавал это что-то в руки матери Лены. А она со своим сухоньким лицом и буклями, с дамским, старушечьим выражением понимания того, что ее задабривают, и одновременно с улыбкой льстивой и угоднической, дрожащими руками принимала что-то и клала себе в колени. Они были так заняты этим несложным, но глубоко захватившим обоих делом, что не расслышали, как Олег вошел. И он смог рассмотреть то, что лежало в коленях у матери Лены: плоская жестяная коробка сардин, плитка шоколада и узкая четырехугольная, поллитровая, с вывинчивающейся пробкой жестяная банка в яркой, желтой с синим, этикетке, — такие банки Олег видел у немцев в своем доме, — это было прованское масло.

Мать Лены заметила Олега и невольно сделала движение руками, будто хотела прикрыть то, что лежало у нее в коленях, и денщик тоже увидел Олега и с равнодушным вниманием уставился на него, придерживая свой рюкзак.

В то же время в соседней комнате оборвались звуки пианино и пение Леночки, и раздался ее смех, и смех мужчин, и

обрывки немецких фраз. И Леночка, отделяя один серебряный звучок своего голоса от другого, сказала:

— Нет, нет, я повторяю, ich wiederhole, здесь пауза, и еще раз повтор, и сразу...

И она сама пробежала тонкими пальчиками одной руки по клавишам.

— Это ты, Олежек? Разве ты не уехал? — удивленно подняв редкие брови, говорила мама Лены фальшиво-ласковым голосом. — Ты хочешь видеть Леночку?

С неожиданным проворством она спрятала то, что лежало у нее в коленях, в нижнее помещение кухонного столика, потрогала сухонькими пальцами букли, в порядке ли они, и, втянув в плечи голову и выставив носик и подбородок, прошла в комнату, откуда доносились звуки пианино и голос Леночки.

С отхлынувшей от лица кровью, опустив большие руки, сразу став неуклюжим и угловатым, Олег стоял посреди кухни, под равнодушным взглядом немецкого денщика.

В комнате послышалось восклицание Лены, выразившее удивление и смущение. Она пониженным голосом сказала что-то мужчинам в комнате, будто извинилась, и ее каблучки бегом протопали через всю комнату. Леночка показалась в двери на кухню в сером, темного рисунка, тяжеловатом на ее тонкой фигуре платье, с голой тонкой шейкой, смуглыми ключицами и голыми смуглыми руками, которыми она схватилась за дверные косяки.

— Олег?.. — сказала она, смутившись так, что ее смуглое личико залилось румянцем. — А мы тут...

Но оказалось, что у нее решительно ничего не заготовлено для объяснения того, что «они тут». И она с чисто женской непоследовательностью, неестественно улыбнувшись, подбежала к Олегу, повлекла его за руку за собой, потом отпустила, сказала: «идем, идем», и уже у порога опять обернулась с наклоненной головой, приглашая его еще раз.

Олег вошел вслед за ней в комнату, едва не столкнувшись с матерью Лены, шмыгнувшей мимо него. Двое немецких офицеров в одинаковых серых мундирах,— один офицер, сидя вполоборота на стуле перед раскрытым пианино, а другой, стоя между окном и пианино,— смотрели на Олега без любопытства, но и без досады, просто как на помеху, с которой, хочешь не хочешь, надо мириться.

— Он из нашей школы, — сказала Леночка своим серебряным голоском. — Садись, Олег... Ты ведь помнишь этот романс? Я уже час бьюсь, чтобы они его разучили. Мы все это повторим, господа! Садись, Олег...

Олег поднял на нее глаза, полуприкрытые золотистыми ресницами, и сказал внятно и тоже раздельно, так, что каждое его слово точно по лицу ее било:

— Ч-чем же они платят тебе? Кажется, постным маслом? Ты п-продешевила!..

Он повернулся на каблуках и мимо матери Лены и мимо толстого денщика с стандартно-палевой головой вышел на улицу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Итак, Филипп Петрович Лютиков исчез и появился уже в новом качестве.

Что происходило с ним за это время?

Мы помним, что он был выделен для подпольной работы еще прошлой осенью. Тогда Филипп Петрович скрыл это от жены и очень доволен был своей предусмотрительностью: угроза оккупации отодвинулась.

Но Филипп Петрович помнил об этом, помнил всегда. Да и Иван Федорович Проценко, человек предусмотрительный, поддерживал его в состоянии этой постоянной душевной готовности:

— Кто его знае, як воно там буде? А наше с тобой дело пионерское: «Будь готов!» — «Всегда готов!»...

Из людей, выделенных прошлой осенью, так же нерушимо оставалась на своем посту Полина Георгиевна Соколова, домашняя хозяйка, беспартийная, известная в городе как активистка по работе среди женщин. Лютикова, депутата городского Совета, слишком хорошо знали все жители Краснодона, — в условиях подполья он был бы скован и в передвижениях и в связях с людьми. Полина Георгиевна должна была стать его глазами, руками, ногами, — она была выделена как его связная.

С того момента, как Соколова дала согласие остаться на этой работе, она, по совету Лютикова, вовсе отошла от общественной деятельности. Среди женщин, ее подруг, это вызвало сначала недоумение, потом нарекания: почему в такое трудное для Родины время женщина, всегда такая деятельная, отошла от общественной работы? Но в конце концов ее ведь никто не назначал, не выдвигал, она работала добровольно, пока ей это нравилось. Мало ли что случается с людьми? Вот взял человек и ушел целиком в свое домашнее. А может быть, трудности жизни в дни войны толкнули его на это? И постепенно все забыли Полину Георгиевну.

Она купила корову, — купила на медные деньги, по случаю, у какой-то эвакуировавшейся на восток семьи, — и начала ходить по людям, торговать молоком. Не так уж много молока требовалось семье Филиппа Петровича, — жили они втроем: жена, Евдокия Федотовна, дочка двенадцати лет, Рая, да сам он, Филипп Петрович. Но у хозяйки, Пелагеи Ильиничны, было трое детишек, старая мать жила при ней,— и хозяйка тоже стала брать молоко у Полины Георгиевны. И все соседи привыкли к тому, что каждое утро, едва забрезжит свет, женщина с добрым русским лицом, скромно одетая, повязанная по-деревенски белым платком, неторопливо подходит к домику Пелагеи Ильиничны, сама отворяет калитку, просунув между планок длинные тонкие пальцы, чтобы повернуть вертушку, и тихо стучит в оконце у крыльца. Дверь отворяла встававшая раньше других мать Пелагеи Ильиничны. Соколова приветливо здоровалась, входила в домик, а через некоторое время выходила с пустым бидоном.

Семья Лютикова жила в этом домике уже много лет. Жена Лютикова, Евдокия Федотовна, дружила с Пелагеей Ильиничной. Девочки-однолетки, Рая и старшая дочь хозяйки Лиза, учились в одной школе, в одном классе. Муж хозяйки, с первого дня войны находившийся на фронте, был моложе Филиппа Петровича лет на пятнадцать, — столярный мастер, младший офицер запаса, артиллерист, он, считая себя воспитанником Филиппа Петровича, относился к нему, как ученик к учителю.

Еще той осенью Филипп Петрович выяснил, что Пелагея Ильинична с ее большим семейством без мужа не решится оставить хозяйство и покинуть город, если придут немцы. И именно тогда у Филиппа Петровича возникла мысль — отправить в случае необходимости свою семью на восток, а самому остаться на старой квартире.

Хозяйка его, Пелагея Ильинична, была из тех простых, честных и чистых женщин, которыми так богат наш народ. Филипп Петрович знал, что она его ни о чем не спросит, а даже нарочно сделает вид, будто и знать ничего не знает. Этак спокойнее и удобнее ее совести: никаких обязательств не давала, значит и спроса нет. А молчать она будет и спрячет его, и даже под пытками не выдаст, — из глубокой веры в человека, из сочувствия делам его и просто по доброте и жалостливости женского сердца.

И квартира ее была удобна Филиппу Петровичу. Домик Пелагеи Ильиничны был одним из тех первых деревянных домиков, что пристроились к одиноко стоявшей здесь когда-то хибарке шахтера Чурилина, — весь этот район так и назывался до сих пор «Чурилино». Позади домика начиналась

далеко уходящая в степь балка — тоже «Чурилинская». Район этот все еще считался глухим, — он и был глухим.

В тот грозный час июля, когда пришлось все-таки Филиппу Петровичу объявиться жене, Евдокия Федотовна заплакала, сказала ему:

— Ты старый, больной... Пойди в райком, поговори, — тебя ведь отпустят... Уедем в Кузбасс,— вдруг сказала она, и в глазах ее появилось то знакомое ему выражение, которое возникало, когда жена вспоминала о молодых годах, о хороших людях, о чем-нибудь близком сердцу. В Кузбасс эвакуированы были в дни войны многие донецкие шахтеры с семьями, среди них были друзья Филиппа Петровича, подруги его жены с детских лет.— Уедем в Кузбасс! — сказала она так, будто сейчас в Кузбассе им может быть так же хорошо, как было когда-то здесь, на родине, когда оба они были юны.

Бедная женщина, — будто она не знала своего Филиппа Петровича!

— Не говори мне больше об этом. Вопрос решен,—сказал он, так строго глядя в молящие глаза ее, что ясно было: не потерпит он ни ее просьб, ни слез. — А вам здесь оставаться нельзя: мешать мне будете. И душа моя изболится, глядючи на вас...— И он поцеловал жену и долго не отпускал от сердца любимицу свою, единственную дочку.

Как и многие семьи, семья его выехала слишком поздно и вернулась, даже не достигнув Донца. Но Филипп Петрович так и не разрешил жене и дочери остаться вместе с ним: он устроил их на хуторе, подальше от города.

В течение трех недель, изменивших положение на фронте в пользу немецких армий, в областном комитете партии и в Краснодонском райкоме шла деятельная работа по пополнению подпольных организаций и партизанских отрядов новыми людьми. В распоряжение Лютикова тоже поступила большая группа руководящих работников Краснодонского и других районов.

В тот памятный день, когда Филипп Петрович простился с Проценко, он вернулся домой, как обычно, — это был час, когда он возвращался из мастерских. Дети играли на улице, старуха спряталась от жары в полутемной комнате с закрытыми ставенками. Пелагея Ильинична сидела на кухне, положив одна на другую загорелые жилистые руки. Такая глубокая дума была в ее еще не старом миловидном лице, что даже приход Филиппа Петровича не сразу привел ее в чувство: некоторое время она смотрела на него и не видела его.

— Сколько лет живу у вас, а первый раз вижу, чтобы вы этак сидели, не хлопотали, — сказал Филипп Петрович. — Загрустили? Не грустите.

Она молча приподняла жилистую руку и снова положила ее на другую.

Филипп Петрович некоторое время постоял перед хозяйкой, потом тяжелой и медленной походкой прошел в горницы. Через некоторое время он вернулся уже без кепки, без галстука, в туфлях, но все в том же новом черном пиджаке поверх белой с отложным воротничком рубашки. Большой зеленой расческой он расчесывал на ходу свои густые, с неровной проседью волосы.

— Вот что я хочу спросить у вас, Пелагея Ильинична, — сказал он, быстро разобрав всей той же расческой свои короткие колючие усы на две стороны: — С того самого дня, как приняли меня в партию, — в двадцать четвертом году, по ленинскому призыву, — выписываю я нашу газету «Правду». И все номера сохранил. По работе она мне бывала очень нужна: доклады я делал, кружки политические вел... Сундук тот, что у меня в горнице, вы, может быть, думали, он у меня с барахлом? А это у меня газеты, — сказал Филипп Петрович и улыбнулся. Он улыбался не часто, и, может быть, поэтому улыбка сразу меняла лицо его, придавая лицу несвойственное выражение мягкости. — Что ж мне теперь с ними делать? Семнадцать лет собирал. Жечь жалко... — И он вопросительно посмотрел на Пелагею Ильиничну.

Некоторое время оба они молчали.

— Где же бы их спрятать? — спросила Пелагея Ильинична как бы самое себя. — Их можно закопать. Ночью можно вырыть яму на огороде и прямо так, в сундуке, и закопать, — сказала она, не глядя на Лютикова.

— А если понадобятся? Могут понадобиться,— сказал Филипп Петрович.

Как он и предполагал, Пелагея Ильинична не спросила, зачем ему могут понадобиться советские газеты при немцах, даже лицо ее не изменило постороннего выражения. Она опять помолчала, потом спросила:

— Вы, Филипп Петрович, так давно у нас живете, ко всему присмотрелись, а я у вас спрошу: если бы вы зашли к нам в дом, зашли нарочно что-нибудь найти, заметили бы вы у нас на кухне что-нибудь такое особенное?

Филипп Петрович очень серьезно и внимательно оглядел кухню: маленькая опрятная кухонька в маленьком провинциальном домике. Как человек мастеровой, Филипп Петрович обратил внимание только на то, что деревянный крашеный пол сбит не из продольных половиц, а из широких, плотных, коротких досок, положенных в ряд от одной поддерживающей балки до другой и пригнанных в стык. Человек, строивший дом, был хороший хозяин. Такой добротный пол был сделан для

прочности, — чтобы не прогибался под тяжестью русской печки, чтобы дольше сохранялся от гниения в таком помещении, где много сорят, а потому чаще моют.

— Ничего такого не вижу, Пелагея Ильинична, — сказал Лютиков.

— Здесь старый погреб под кухней... — Пелагея Ильинична привстала с табурета, нагнулась и пощупала едва заметное темное пятнышко на одной из половиц. — Вот здесь кольцо было. Там и лестничка есть...

— Можно посмотреть? — спросил Филипп Петрович.

Пелагея Ильинична закинула крючок на дверь и достала из-под печки топор. Однако Филипп Петрович отказался воспользоваться им, чтобы не сделать на полу метины. Они вооружились — Лютиков кухонным ножом, а она обыкновенным столовым — и аккуратно прочистили забитые слежавшимся сором щели по прямоугольнику влаза. Наконец они с трудом приподняли сбитые вместе три короткие тяжелые половицы.

В погреб вела лестничка в четыре ступеньки. Филипп Петрович спустился, зажег спичку: в погребе было сухо. Сейчас даже трудно было предусмотреть, насколько полезен ему будет этот удивительный погребок!

Филипп Петрович поднялся по ступенькам в кухню и бережно прикрыл влаз.

— Вы уж на меня не серчайте, у меня еще вопрос к вам, — сказал он. — Я, конечно, потом устроюсь, немцы меня не тронут. А в первые дни, как придут, боюсь, чтоб они меня сгоряча не убили. Так я в случае чего — сюда, — и он указал пальцем в пол.

— А если ко мне солдаты на постой?

— К вам не поставят: Чурилино... А я человек не гордый, посижу там... Да вы не смущайтесь, — сказал Филипп Петрович, сам немножко смущенный безразличным выражением лица Пелагеи Ильиничны.

— Я не смущаюсь, мое дело маленькое...

— Если немцы спросят, где, мол, такой Лютиков, говорите: здесь живет, ушел в деревню продукты покупать и обязательно вернется... А прятаться мне Лиза и Петька помогут. Я буду их днем на дежурство ставить, — сказал Филипп Петрович и улыбнулся.

Пелагея Ильинична покосилась на него и вдруг по-молодому качнула головой и засмеялась. Такой строгий на вид, Филипп Петрович был прирожденным воспитателем, знал и любил детей и умел их привораживать. Дети льнули к нему. Он держался с ними, как со взрослыми. Он был мастер на все руки, мог на их глазах сделать почти все — от игрушки до

предмета, полезного в хозяйстве, — и сделать из ничего. В народе таких зовут «умельцами».

Он не делал различия между хозяйскими детьми и своей дочкой ни в чем, и все ребята в доме с радостью выполняли любое его поручение, стоило ему пальцем двинуть.

— Ты их лучше себе возьми, дядя Филипп, так ты их приучил, — они тебя больше, чем родного отца, признают! — говорил, бывало, муж Пелагеи Ильиничны. — Пойдете к дяде Филиппу навсегда жить? — спрашивал он, сердито поглядывая на детей.

— Не пойдем! — хором кричали они, облепив, однако, дядю Филиппа со всех сторон и прижимаясь к нему.

В разных областях деятельности можно встретить много самых различных характеров партийного руководителя с той или иной особенно заметной, бросающейся в глаза чертой. Среди них едва ли не самым распространенным является тип партийного работника-воспитателя. Здесь речь идет не только и даже не столько о работниках, основной деятельностью которых является собственно партийное воспитание, политическое просвещение, а именно о типе партийного работника-воспитателя, в какой бы области он ни работал, — в области хозяйственной, военной, административной или культурной. Именно к такому типу работника-воспитателя принадлежал Филипп Петрович Лютиков.

Он не только любил и считал нужным воспитывать людей, это было для него естественной потребностью и необходимостью, это было его второй натурой — учить и воспитывать, передавать свои знания, свой опыт.

Правда, это придавало многим его высказываниям характер как бы поучения. Но поучения Лютикова не были назойливо-дидактическими, навязчивыми, они были плодом его труда и размышлений и именно так и воспринимались людьми.

Особенностью Лютикова, как и вообще этого типа руководителей, было неразрывное сочетание слова и дела. Умение претворять всякое слово в дело, сплотить совсем разных людей именно вокруг данного дела и вдохновить их смыслом этого дела и было той главной чертой, которая превращала Филиппа Петровича Лютикова в воспитателя совершенно нового типа. Он был хорошим воспитателем именно потому, что был человеком-организатором, человеком — хозяином жизни.

Его поучения не оставляли равнодушным, а тем более не отталкивали, они привлекали сердца, а особенно сердца людей молодых, потому что молодежь тем сильней воспламеняется мыслью, чем больше мысль подкреплена силой примера.

Иногда ему достаточно было только слово сказать или даже просто посмотреть. От природы он был немногословен,

скорее даже молчалив. На первый взгляд как будто медлительный,— иным даже казалось тяжелый на подъем,— он на самом деле находился всегда в состоянии спокойной, разумной, ясно организованной деятельности. Все свободное от производства время он так умело распределял между общественной деятельностью, физическим трудом, чтением, забавой, что всегда все успевал.

В общении с людьми Филипп Петрович был ровен, не выходил из себя, в беседе умел помолчать, послушать человека — качество, очень редкое в людях. Поэтому он слыл за хорошего собеседника, человека душевного: многие люди делились с ним такими общественными и личными делами, о каких никогда бы не решились поговорить даже с близкими.

При всем том он вовсе не был то, что называется добрым человеком, а тем более мягким человеком. Он был неподкупен, строг и, если нужно, беспощаден.

Одни люди уважали, другие любили его, а были и такие, что боялись. Вернее сказать, всем людям, общавшимся с ним, включая жену и друзей, были свойственны, в зависимости от характера человека, все эти чувства к нему, только в одних преобладало одно, в других — другое, а в третьих — третье. Если делить людей по возрасту, то можно сказать, что взрослые люди и уважали, и любили, и боялись его, молодежь любила и уважала, а дети просто любили.

Вот почему Пелагея Ильинична засмеялась, когда Филипп Петрович сказал: «Лиза и Петька помогут мне».

И правда, все первые дни после прихода немцев, пока Филипп Петрович прятался, дети дежурили по очереди на улице и охраняли его.

Ему повезло. Никто из немецких солдат не поселился у Пелагеи Ильиничны: в городе даже по соседству можно было найти дома попросторней, получше. Пугала немцев балка за домом: боялись партизан. Немецкие солдаты, правда, заходили иногда посмотреть квартиру и прихватить, что плохо лежит. Филипп Петрович всякий раз прятался под полом на кухне. Но никто не справлялся о нем.

Каждое утро, как всегда, приходила Полина Георгиевна, скромная, тихая, повязанная по-деревенски белым чистым платком, отливала молоко в два глиняных кувшина и проходила со своим бидоном к Филиппу Петровичу. Пока она находилась у него, Пелагея Ильинична и ее мать оставались на кухне. Дети еще спали. Полина Георгиевна выходила от Лютикова и некоторое время задерживалась еще на кухне поболтать с женщинами.

Так прошла неделя, а может быть, немножко больше. Однажды Полина Георгиевна, прежде чем передать Лютикову уличные новости, тихо сказала:

— На работу зовут вас, Филипп Петрович...

Он вдруг весь изменился: выражение спокойствия и равнодушия, медлительность движений, иногда почти неподвижность, — все это, напущенное на себя Филиппом Петровичем, пока он жил здесь невидимый, слетело с него в одно мгновение.

Мощным, львиным броском он подскочил к двери и выглянул в соседнюю горницу. Там, как всегда, никого не было.

— Всех зовут? — спросил он.

— Всех...

— Николай Петрович?

— Он...

— А был он?.. — пытливо вглядываясь в глаза Соколовой, спросил Филипп Петрович.

Ему не нужно было пояснять Полине Георгиевне, где был Бараков, — все это она знала, все это было уже раньше условлено между нею и Филиппом Петровичем.

— Был, — сказала она чуть слышно.

Филипп Петрович не стал суетлив, не повысил голоса, — нет, но все его большое, тяжелое тело, оплывшее книзу лицо, глаза и голос его — все это налилось энергией, будто в нем какая-то туго скрученная спираль развертывалась.

Он сунул два плотных, негнущихся и в то же время точных пальца мастерового в наружный карманчик пиджака, вынул крохотный, мелко исписанный лоскуточек бумажки и подал Полине Георгиевне.

— К завтрему, к утру... И побольше!

Полина Георгиевна мгновенно спрятала листочек у себя на груди.

— Немного обождите в столовой. Сейчас я вам хозяек пришлю...

Пелагея Ильинична и мать ее вошли в соседнюю горницу, куда перешла и Полина Георгиевна со своим бидоном. Они стоя обменивались уличными новостями. Потом Филипп Петрович окликнул Соколову из кухни, и она вышла к нему.

Он держал в руке свернутую пачку газет. На лице Полины Георгиевны выразилось удивление: это были сложенные вчетверо и свернутые в толстую трубку номера газеты «Правда».

— В бидон, — сказал Филипп Петрович.—Пусть клеят там же, на самых видных местах.

У Полины Георгиевны даже сердце забилось: как ни невероятно это было, ей показалось в первое мгновение, что Филипп Петрович получил свежую «Правду». Полина Георги-

евна не утерпела и, прежде чем засунуть сверток в бидон, взглянула на число.

— Старые, — сказала она, не в силах скрыть разочарование.

— Не старые. Большевистская правда не стареет, — сказал Лютиков.

Она быстро перебрала несколько номеров. В большинстве это были праздничные номера за разные годы, с портретами Ленина и Сталина. Замысел Лютикова стал ясен ей. Она тут же свернула газеты в трубку и сунула в бидон.

— Чтобы не забыть,— сказал Филипп Петрович.— Пусть Остапчук тоже выходит на работу. Завтра...

Полина Георгиевна молча кивнула головой. Она не знала, что Остапчук — это Матвей Шульга, и не знала, где он скрывается, — она знала только квартиру, где нужно было передать распоряжение Лютикова: на эту квартиру она тоже носила молоко.

— Спасибо. Все... — Филипп Петрович подал ей свою большую руку и вернулся в комнату.

Он тяжело опустился на стул, уперся ладонями с растопыренными пальцами в колени и посидел так некоторое время. Взглянул на часы: они показывали начало восьмого. Медленными, спокойными движениями он снял поношенную рубашку, достал белую, свежую, повязал галстук, причесал волосы, поседевшие особенно на висках и спереди, надел пиджак и вышел на кухню, где после ухода Полины Георгиевны снова хлопотали Пелагея Ильинична и ее мать.

— Что ж, Пелагея Ильинична, дайте мне того молочка, из-под бешеной коровки, и хлебца, коли есть. На работу пойду, — сказал он.

Минут через десять, аккуратно и чисто одетый, в черной кепке, он обычной дорогой, ни от кого не таясь, шагал по улицам города в направлении к Центральным мастерским треста «Краснодонуголь».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Среди многочисленных чинов немецкой армии и администрации «нового порядка», двигавшейся вслед за армией, прибыл в Краснодон лейтенант Швейде, пожилой, очень худой, седоватый немец, техник из так называемого горнорудного батальона. Никто из краснодонцев не запомнил дня его появления: как и все чины, он был одет в стандартную военную форму с непонятными знаками различия.

Он занял под свою особу большой четырехквартирный стандартный дом с четырьмя кухнями, и для всех четырех кухонь с первой же минуты появления в доме господина Швейде оказалось достаточно работы. Он привез с собой большую группу других немецких чинов, но все они поселились отдельно от него, а непосредственно с ним поселилось несколько немцев-поваров, немка-экономка и денщик. Вскоре, однако, штат его прислуги вырос за счет russischen Frauen, как безлично называл он присланных к нему биржей труда служанок, прачку, переводчицу, портниху, а в скором времени еще и коровницу, свинарку и птичницу. Коровы, свиньи завелись у господина Швейде поистине как по мановению волшебного жезла, но особенное личное пристрастие испытывал он к домашней птице.

В конце концов это не так уж выделило бы среди прочих немецких чинов лейтенанта горнорудного батальона. Однако о нем заговорили в городе. Господин Швейде и другие прибывшие с ним чиновники заняли помещение школы имени Горького в парке. И вместо школы возникло в городе новое учреждение — дирекцион № 10.

Это военизированное учреждение, как выяснилось, было самым главным административно-хозяйственным управлением, которому подчинялись теперь все шахты и связанные с ними предприятия Краснодонского района со всем их имуществом и оборудованием, какое не успели вывезти или взорвать, и со всеми рабочими, которые не успели или не смогли уйти. Это учреждение было только одним из многочисленных ответвлений большого акционерного общества, носившего длинное претенциозное название: «Восточное общество по эксплуатации угольных и металлургических предприятий». Правление общества находилось в городе Сталино, снова переименованном в Юзовск. Так называемое «Восточное общество» опиралось на «Окружные управления горных и металлургических предприятий». Дирекцион № 10 в числе прочих дирекционов подчинялся окружному управлению в городе Шахты.

Все это было так хорошо устроено и еще того лучше распланировано, что углю и металлу советского Донбасса теперь только и оставалось течь широким потоком в карманы немецкого «Восточного общества». И господин Швейде отдал распоряжение, чтобы все рабочие, служащие и инженерно-технические работники шахт и заводов бывшего треста «Краснодонуголь» немедленно приступили к работе.

Сколько тяжких сомнений терзало в ту пору душу рабочего человека, прежде чем он вынужден был принять решение о выходе на работу, когда родные шахты и заводы стали собственностью врагов отчизны, когда сыновья и братья, мужья

и отцы отдавали свои жизни на поле брани против врагов отчизны! Лица рабочих и служащих, вышедших на работу в Центральные мастерские, были одновременно угрюмыми и смущенными, люди избегали смотреть в глаза друг другу, почти не разговаривали.

Мастерские были открыты настежь со дня последней эвакуации. Никто их не запирал, не сторожил, потому что никто уже не был заинтересован в том, чтобы все, что осталось в мастерских, пребывало в целости и сохранности. Мастерские были открыты, но никто не пошел в цехи. Рабочие даже не группами, а поодиночке, редко-редко по двое, расположились среди хлама и лома во дворе, молча ожидали начальство.

И тогда появился инженер-механик Бараков, стройный, сильный и такой моложавый для своих тридцати пяти лет, с самоуверенным выражением лица, одетый не только опрятно, а с претензией. У него был черный галстук бабочкой. Шляпу он нес в руке, и его гладко выбритая голова лоснилась на солнце. Бараков подошел к этой разрозненной группе рабочих во дворе, вежливо поздоровался, на мгновение замялся и решительным шагом прошел в главный корпус. Рабочие, не ответив на его приветствие, молча проводили его глазами и видели в распахнутую настежь дверь, как он прошел через механический цех в конторку.

Немецкое начальство не торопилось. Было уже жарко, когда во двор вошли через проходную будку заместитель Швейде господин Фельднер и русская женщина-переводчица с пышной прической.

Как это часто случается в природе, господин Фельднер по своим физическим качествам и по темпераменту был прямой противоположностью своему начальнику. Лейтенант Швейде был худ, недоверчив, молчалив. Фельднер был маленький кругленький крикун и болтун. Его голос, работавший на разной степени повышенных интонациях, можно было услышать еще издалека, и всегда казалось, что это идет не один немец, а несколько спорящих между собой немцев. Господин Фельднер был в военной форме, в крагах, в серой фуражке с сильно вздернутой спереди тульей.

Фельднер в сопровождении переводчицы подошел к рабочим, — они один за другим встали, и это доставило ему некоторое удовольствие. Не делая паузы между тем, что он говорил только что переводчице, и тем, что хотел теперь сказать рабочим, он выпалил одну длинную, а может быть, несколько коротких немецких фраз. И пока женщина переводила, он продолжал кричать. Должно быть, состояние молчания было неведомо ему. Можно было предполагать, что с того момента, как он испустил первый крик, выйдя из чрева матери, он

уже не останавливался и всю остальную жизнь беспрерывно пребывал в состоянии разных форм и степеней крика.

Он интересовался, нет ли здесь кого-нибудь из старой администрации, потом велел рабочим идти в цехи и проводить его, Фельднера. Несколько рабочих сопроводили идущего впереди кричащего немца вместе с переводчицей в конторку механического цеха, где находился Бараков. Напыжившись и так высоко, как это только было доступно ему, задирая голову в фуражке с вздернутой тульей, Фельднер толкнул дверь пухлым кулачком и вошел в конторку. Женщина вошла вслед за ним и притворила дверь. Рабочие остановились возле послушать.

Сначала слышен был только крик Фельднера, будто несколько немцев ссорились. Ждали, что переводчица вот-вот скажет, о чем он все-таки кричит, но, к всеобщему удивлению, Бараков сам заговорил по-немецки. Он говорил вежливо, спокойно и, насколько могли об этом судить рабочие возле конторки, свободно обращаясь с чужим языком.

То ли потому, что Бараков говорил по-немецки, то ли смысл того, что он говорил, удовлетворял немца, но Фельднер постепенно переходил на все менее громкие интонации крика. И вдруг совершилось чудо: немец замолчал. Замолчал и Бараков. Через несколько мгновений немец вскричал уже в совершенно мирном тоне. Они вышли из конторки—впереди Фельднер, за ним Бараков, сзади переводчица. Бараков, окинув рабочих холодным невеселым взглядом, сказал, что не следует расходиться, а надо ждать его, Баракова, пока он не вернется. И они в том же порядке пошли через цех к выходу, причем красивый и сильный Бараков, забегая сзади, показывал маленькому кругленькому карикатурному немцу, где удобней пройти. Ужасно было смотреть на это!

Через некоторое время Бараков уже сидел в учительской школы имени Горького, теперь кабинете начальника дирекциона № 10 господина Швейде. Фельднер и неизвестная переводчица присутствовали при разговоре, но переводчице так и не пришлось проявить свои знания в немецком языке.

Как мы уже сказали, в отличие от болтливого и экспансивного Фельднера лейтенант Швейде был не речист. От невозможности высказаться он казался даже угрюмым, хотя на самом деле он не был угрюмым, а любил все радости и наслаждения жизни. Необыкновенно тощий, он страшно много ел. Трудно было даже понять, куда вмещается все то количество пищи, которое он поглощал, и как все это проходит через его организм. Он до самозабвения любил и Mädchen и Frauen, а в нынешнем своем положении особенно russischen Mädchen und russischen Frauen. И для того чтобы заманивать в дом

наименее стойких среди них, он каждый вечер устраивал в своем четырхквартирном особняке шумные вечеринки с подачей разнообразных жарких и сладких, не говоря уже о разных сортах вин. Он так и говорил поварам:

— Готовьте побольше! Kocht reichlich Essen! Чтобы russischen Frauen наелись и напились!..

И действительно, при исключительно нечленораздельном характере его речи это было единственное, чем он мог пленить russischen Frauen того сорта, какой только и мог попасть в его дом.

Неумение связывать слова в фразы породило в господине Швейде недоверчивое отношение ко всем людям, которые делали это легко. Не доверял он даже своему заместителю Фельднеру. Можно себе представить, как недоверчиво относился Швейде к людям других наций!

В этом смысле Бараков попал в самое невыгодное положение. Но, во-первых, Бараков поразил господина Швейде тем, что легко связывал слова в фразы не на русском, а на немецком языке. А во-вторых, Бараков купил Швейде лестью. Господину лейтенанту ничего уже не оставалось, как только принять ее.

— Я один из немногих оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России,— говорил Бараков, не сводя с господина Швейде своих немигающих глаз, — я с самого детства влюблён в германский гений, особенно в области хозяйства, собственно в области производства... Мой отец был директором одного из крупнейших предприятий известного в старой России общества «Сименс — Шуккерт». Немецкий язык был вторым родным языком в нашей семье. Я воспитан на немецкой технической литературе. И вот теперь я буду иметь счастье работать под руководством такого выдающегося специалиста, как вы, господин Швейде. Я сделаю все, что вы мне прикажете...

Бараков вдруг увидел, что переводчица смотрит на него с удивлением, которого она даже не в силах скрыть. Черт его знает, откуда немцы выкопали эту лохматую стерву! Если она здешняя, она не может не знать, что Бараков не один из оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России, а потомственный и почетный представитель целой династии донецких шахтеров Бараковых. На чисто выбритой голове его выступил пот.

Пока он говорил, господин Швейде молча проделал некоторую мыслительную работу, не отразившуюся, впрочем, на его лице, потом сказал не то утвердительно, не то вопросительно:

— Вы коммунист...

Бараков махнул рукой. Это движение его руки и одновременно выражение его лица можно было истолковать так: «Какой я коммунист!» — или так: «Сами знаете, что мы все обязаны были быть здесь коммунистами». Или даже так: «Да, коммунист, но тем лучше для вас, если я иду к вам служить».

Жест этот на некоторое время удовлетворил господина Швейде. Надо было объяснить этому русскому инженеру, насколько важно пустить Центральные мастерские, чтобы с их помощью восстановить оборудование шахт. Эту сложную мысль господин Швейде построил на отрицании.

— Ничего нет. Es ist nichts da,— сказал он и мучительно посмотрел на Фельднера.

Фельднер, испытывавший неимоверные страдания оттого, что пришлось так долго молчать в присутствии начальника, автоматически выкрикнул все «нет» в подтверждение начальнической мысли:

— Механизмов нет! Транспорта нет! Инструментов нет! Леса для крепления нет! Рабочих нет! — кричал он.

Ему даже жалко было, что он не может назвать еще что-нибудь, чего «нет».

Швейде удовлетворенно кивнул головой, подумал и с трудом повторил по-русски:

— Нитшево нет, — also, уголь нет!

Он откинулся на спинку стула и посмотрел сначала на Баракова, потом на Фельднера. Поняв этот взгляд, как сигнал к действию, Фельднер закричал о том, чего же ждет, наконец, от Баракова «Восточное общество».

Бараков с трудом выбрал в этом сплошном крике паузу-щелку, в которую ему удалось всунуть фразу о том, что он будет делать все, что он в силах сделать.

Тут господином Швейде опять овладело чувство недоверия.

— Вы коммунист, — повторил он.

Бараков криво усмехнулся и повторил свой жест.

Вернувшись в мастерские, Бараков вывесил на воротах большое объявление о том, что он, директор Центральных мастерских дирекциона № 10, предлагает всем рабочим, служащим и инженерам вернуться на свои места и принимает на работу всех желающих по таким-то и таким-то специальностям.

Даже самые отсталые из людей, допустивших сделку со своей совестью, когда решили выйти на работу, были душевно ушиблены тем, что инженер Бараков, участник финской и Отечественной войн, добровольно согласился стать директором важнейшего для немцев предприятия. Но еще не успела просохнуть краска на объявлении, как в мастерские явился

не кто иной, как Филипп Петрович Лютиков,— тот Лютиков, которого не только в мастерских, а во всей партийной организации Краснодона называли коммунистической совестью.

Он явился утром, ни от кого не таясь, чисто одетый и гладко выбритый, в белой рубашке под черным пиджаком и с праздничным галстуком. И сразу был зачислен в мастерские по старой должности — начальника механического цеха.

С началом работы в мастерских совпало появление первых листовок подпольного районного комитета партии. Листовки расклеены были на самых видных местах вместе со старыми номерами газеты «Правда». Большевики не покинули маленький Краснодон на произвол судьбы, они продолжали борьбу и призывают к борьбе все население, — вот что говорили эти листовки! И многим людям, знавшим Баракова и Лютикова в лучшую пору, не раз приходило на ум: как же посмеют они потом, когда придут наши, взглянуть в чистые глаза своим товарищам?

Правда, никакой работы в мастерских по существу не было. Бараков общался все больше с немецким начальством и мало интересовался тем, что делается в мастерских. Рабочие опаздывали на работу, без дела слонялись от станка к станку, часами занимались перекуркой, собравшись где-нибудь на травке в затененном уголке двора. Лютиков, должно быть, для того, чтобы задобрить людей, поощрял отпуска в деревню и выдавал официальные бумаги, будто люди едут в командировку по делам мастерских. Рабочие занимались мелкими поделками для населения, чтобы немножко подработать. Особенно много делали зажигалок: спички повсюду вывелись, а бензин можно было добывать у немецких солдат за продукты.

Каждый день по нескольку раз забегали в мастерские офицерские денщики с консервными банками, наполненными сливочным маслом или медом, и требовали запаять банки, чтобы отправить в Германию.

Кое-кто из рабочих пытался иногда поговорить с Лютиковым, — до Баракова и доступа не было, — как же он все-таки пошел работать на немцев и как же все-таки жить дальше? Начинали издалека и все крутились возле да около. Но Филипп Петрович, сразу вскрывая маневр, говорил строго:

— Ничего, мы на них поработаем...

Или грубил:

— А это, брат, не твоего ума дело. Ты сам-то на работу стал? Стал. Ты мне начальник или я тебе? Я тебе... Выходит, спрашивать я с тебя буду, а не ты с меня. Что я тебе прикажу, то ты и будешь делать. Понял?

Каждое утро Филипп Петрович медленной, тяжелой походкой страдающего одышкой пожилого человека шел на

работу через весь город, а вечером возвращался с работы. И никому не могло бы прийти в голову, с какой энергией и быстротой и в то же время расчетливостью развертывал Филипп Петрович ту главную свою деятельность, которая принесла впоследствии маленькому угольному городку Краснодону мировую славу.

Что пережил он, когда в самом начале своей деятельности вдруг узнал, что один из ближайших помощников его, Матвей Шульга, необъяснимо исчез?

Филиппу Петровичу, как секретарю подпольного райкома, были известны все квартиры укрытия и места явок в городе и районе. Знал он и квартиры Ивана Кондратовича и Игната Фомина, которыми предположительно должен был воспользоваться Шульга. Но Филипп Петрович не имел права послать на эти квартиры ни одного из связных райкома, тем более Полину Георгиевну. В том случае, если Шульга был выдан немцам на одной из этих квартир, хозяевам ее достаточно было бы только увидеть связную, чтобы по ее следам обнаружить и Лютикова и других членов райкома.

Если бы Шульга был в порядке, он давно справился бы на главной явочной квартире, пора ли ему выходить на работу в мастерские. Он не должен был даже заходить в эту квартиру, а только пройти мимо нее. В тот самый день, когда Полина Георгиевна передала на эту квартиру распоряжение Филиппа Петровича, тогда же был выставлен на подоконник первого от входной двери окна горшок с геранью. Но Евдоким Остапчук — он же Шульга — на работу не вышел.

Прошло довольно много времени, пока Филипп Петрович, собиравший все сведения о предателях, поступивших на службу в немецкую полицию, узнал, кто такой Игнат Фомин. Должно быть, Фомин и предал Шульгу. Но как это случилось и какова дальнейшая судьба Матвея Костиевича?

В дни эвакуации районный комитет партии по указанию Проценко закопал в парке шрифты районной типографии, и Лютикову в последний момент был передан план с точным указанием места, где они закопаны. Лютиков очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены немецкими зенитчиками и солдатами автопарка. Во что бы то ни стало шрифты надо было найти и извлечь под носом у немецких часовых. Кто мог это сделать?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В первую военную зиму, после смерти отца, Володя Осьмухин, вместо того чтобы учиться в последнем, десятом классе школы имени Ворошилова, работал слесарем в механиче-

ском цехе мастерских треста «Краснодонуголь». Он работал под руководством Лютикова, который был близок с семьей его матери, с семьей Рыбаловых, и хорошо знал Володю. Володя работал в цехе до того дня, как его свезли в больницу с приступом аппендицита.

С приходом немцев Володя, разумеется, не собирался вернуться в цех. Но после того как вышел приказ Баракова и пошел слух, что всех уклонившихся угонят в Германию, а особенно после того, как стал на работу Филипп Петрович, между Володей и лучшим его другом Толей Орловым начались раздиравшие душу разговоры — как поступить.

Как и для всех советских людей, вопрос о том, выходить или не выходить на работу при власте немцев, был для Володи и Толи одним из самых трудных вопросов совести. Стать на работу — это был самый легкий способ получить хоть что-нибудь для того, чтобы жить и одновременно избежать репрессий, которые обрушивались на советского человека, отказавшегося работать на немцев. Мало того, опыт многих людей показывал, что можно и не работать, а только делать вид, что работаешь. Но как и все советские люди, всем своим воспитанием Володя и Толя были морально подготовлены прежде всего к тому, что на врага нельзя работать ни много, ни мало, наоборот — с его приходом надо бросать работу, надо бороться с врагом всеми способами, идти в подполье, в партизаны. Но где они, эти подпольщики и партизаны? Как их найти? А пока они не найдены, как и чем жить все это время?

И Володя, уже начавший ходить после болезни, и Толя, валяясь оба где-нибудь в степи на солнышке, только и говорили об этом главном вопросе их жизни, — что же они должны теперь делать?

Однажды под вечер на квартиру Осьмухиных пришел сам Филипп Петрович Лютиков. Он пришел, когда дом был полон немецких солдат — не тех, с бравым ефрейтором во главе, который так добивался Люси, а других или уже третьих: Осьмухины жили в районе, через который катился главный поток немецких войск. Филипп Петрович взошел на крыльцо тяжелой, медленной поступью, как человек с положением, снял кепку, вежливо поздоровался с солдатом на кухне и постучал в комнату, где по-прежнему жили втроем Елизавета Алексеевна, Люся и Володя.

— Филипп Петрович! К нам?.. — Елизавета Алексеевна порывисто бросилась к нему и взяла его за обе руки своими горячими сухими руками.

Елизавета Алексеевна принадлежала к тем людям в Краснодоне, которые не осуждали Филиппа Петровича за то, что он вернулся на работу в мастерские. Она так хорошо знала

Лютикова, что даже не считала нужным дознаваться до причин этого его поступка. Если Филипп Петрович так поступил, значит иного выхода не было, а может быть, так надо было.

Филипп Петрович был первый близкий человек, который навестил Осьмухиных со дня прихода немцев, и вся радость видеть его сказалась в этом порывистом движении Елизаветы Алексеевны. Он понял это и внутренне был благодарен ей.

— Пришел вытащить сына вашего на работу, — сказал он с обычным строгим выражением лица. — Вы с Люсей посидите с нами для порядка, а потом выйдете вроде по делу, а мы с ним малость потолкуем... — И он улыбнулся всем троим, и лицо его сразу помягчело.

С того момента, как он вошел, Володя глаз с него не сводил. В разговорах с Толей Володя уже не раз высказывал догадку, что Лютиков не по вынужденной необходимости, тем более не из трусости, вернулся на работу в мастерские, — не такой это был человек. Должно быть, у него были соображения более глубокие, и, как знать, — может быть, соображения эти не так уж далеки от тех, что не раз возникали и в головах Володи и Толи. Во всяком случае это был человек, с которым можно было смело поделиться своими намерениями.

Володя заговорил первый, едва Елизавета Алексеевна и Люся вышли из комнаты:

— На работу! Вы сказали — на работу!... А мне все равно — буду ли я работать или нет: и в том и в другом случае цель моя одна. Цель моя — борьба, борьба беспощадная. Если я пойду на работу, то только для того, чтобы замаскироваться, — сказал Володя с некоторым даже вызовом.

Юношеская его смелость, наивность, горячность, едва сдерживаемая присутствием немецких солдат за дверью, вызвали в душе Филиппа Петровича не опасение за юношу, не досаду, не усмешку, нет, — улыбку. Но такой уж он был человек, что чувства его не отразились на его лице, он и бровью не повел.

— Очень хорошо, — сказал он. — Ты это каждому скажи, кто ни зайдет, вот как я. А еще лучше — выйди на улицу и каждому встречному-поперечному: «Иду, мол, на беспощадную борьбу, желаю замаскироваться, помогите!»

Володя вспыхнул.

— Вы же не встречный-поперечный, — сказал он, внезапно помрачнев.

— Я-то, может быть, и нет, но ты этого в нонешнее время знать не можешь,— сказал Лютиков.

Володя понял, что Филипп Петрович начнет сейчас учить его. И Лютиков действительно стал учить Володю.

— Доверчивость в таких делах может жизни стоить, — времена изменились. К тому же сказано: и стены имеют уши. И не думай, что они такие простаки, они хитры по-своему, — и Лютиков чуть кивнул головой в сторону двери.—Ну, на твое счастье, я человек известный, имею задание вернуть всех на работу в мастерские, за тем и пришел к тебе. Ты это и матери и сестре скажи. И этим скажи, — и он снова кивнул в сторону двери. — Мы на них поработаем... — сказал он и поднял свои строгие глаза на Володю.

Володя сразу все понял, — он даже побледнел.

— Кто из своих ребят, на кого можно положиться, остался в городе? — спросил Филипп Петрович.

Володя назвал тех, кого он знал лично: Толю Орлова, Жору Арутюнянца и Ваню Земнухова.

— И еще найдутся, — сказал он.

— Установи связь сначала с теми, на кого, считаешь, можно вполне положиться, да не со всеми вместе, а с каждым порознь. Если убедишься, что люди свои...

— Они свои, Филипп Петрович...

— Если убедишься, что люди свои,—продолжал Лютиков, словно не расслышав замечания Володи, — аккуратно намекни, что есть, мол, возможности, согласны ли...

— Они согласны, только каждый спросит: а что я должен делать?

— Отвечай: получишь задание. А тебе я и сейчас задание дам. — И Лютиков рассказал Володе о закопанном в парке шрифте и точно указал место. — Разведай, можно ли выкопать. Нельзя,— доложишь мне.

Володя задумался. Филипп Петрович не торопил его с ответом: он понимал, что Володя не колеблется, а просто обдумывает дело, как человек серьезный. Но Володя думал не о том, что предложил ему сейчас Лютиков.

— Я буду с вами совсем откровенным, — сказал Володя. — Вы сказали, что я должен поговорить с ребятами поодиночке, — это я понимаю. Но и в разговоре поодиночке я должен дать им понять, от кого говорю... Одно дело, если я буду действовать, как единоличник, другое, если я скажу, что я получил задание от человека, связанного с организацией. Имени вашего я не назову, да никто из ребят и не спросит, — разве они не понимают? — Володя сказал это, желая предупредить возражения Филиппа Петровича, но Лютиков ничего не возразил, он только слушал Володю. — Конечно, если бы я поговорил с ребятами просто как Осьмухин, они тоже поверили бы мне... Но ведь они все равно стали бы искать связей помимо

меня с подпольной организацией, — ведь я им не указ, там есть ребята постарше и...— Володя хотел сказать: «поумнее меня». — Вообще среди ребят есть такие, кто больше интересуется политикой и лучше в ней разбирается. Поэтому лучше сказать ребятам, что я не сам от себя действую, а от организации. Это — раз, — сказал Володя.—Два: чтобы выполнить ваше задание насчет типографии, нужно несколько ребят. А этим и подавно надо объяснить, что это серьезное задание и откуда оно идет. И тут у меня тоже вопрос к вам. У меня есть три друга: один старый друг — Толя Орлов, других два — новых, но эти ребята и раньше хорошо мне известные и в беде проверенные, им я тоже верю, как самому себе,— это Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц. Могу я их собрать вместе, посоветоваться?

Лютиков некоторое время помолчал, глядя на свои сапоги, потом поднял глаза на Володю и чуть улыбнулся, но лицо его снова приняло строгое выражение.

— Хорошо, собери этих ребят и прямо скажи, от кого действуешь — без фамилии, конечно.

Володя, едва сдерживая волнение, овладевшее им, только головой кивнул.

— Ты очень разумно рассудил: надо дать понять каждому своему человеку, что за всеми нашими делами партия стоит, — продолжал Филипп Петрович, рассуждая уже как бы сам с собой. Умные, строгие глаза его прямо, спокойно глядели в самую душу Володи. — А потом ты правильно понял, что при нашей партийной организации хорошо иметь свою молодежную группу. Я с этим, собственно, и шел к тебе. И, если уж мы об этом договорились, один вам совет, а если хочешь,—приказ: никаких действий, не посоветовавшись со мной, не предпринимайте, — можете и себя погубить и нас подвести. Я ведь и сам единолично не действую, а советуюсь. Советуюсь и с товарищами своими и с людьми, что поставлены над нами, — есть такие люди у нас, в Ворошиловградской области. Ты это своим трем дружкам расскажи, и вы тоже советуйтесь между собой. Теперь, выходит, все, — Лютиков улыбнулся и встал. — Завтра приходи на работу.

— Тогда уж послезавтра, — с улыбкой сказал Володя. — А Толю Орлова можно с собой привести?

— Хотел одного сагитировать на немцев работать, а получил сразу двоих, — усмехнулся Лютиков. — Веди, чего же лучше.

Филипп Петрович вышел на кухню к Елизавете Алексеевне и Люсе и к немецкому солдату и еще пошутил с ними и скоро ушел. Володя понимал, что в тайну, к которой он был теперь приобщен, нельзя посвящать родных. Но ему трудно было

скрыть возбуждение, овладевшее им, от любящих глаз матери и сестры. Володя начал притворно зевать, сказал, что ему завтра рано вставать и вообще очень спать хочется. Елизавета Алексеевна ни о чем его не спросила, и это было очень дурным предзнаменованием: Володя подозревал, что мать догадывается о том, что Филипп Петрович говорил с ним не только о работе в мастерских. А Люся прямо спросила:

— О чем вы так долго?

— О чем, о чем! — рассердился Володя. — Сама знаешь, о чем.

— И ты пойдешь?

— А что же делать?

— Работать на немцев!..

В голосе Люси было такое удивление и негодование, что Володя даже не нашелся, что ответить.

— Мы на них поработаем...— угрюмо сказал он словами Филиппа Петровича и, не глядя на Люсю, начал раздеваться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Жора Арутюнянц, вернувшись из неудачной эвакуации, сразу вступил в откровенные дружеские отношения с Володей и Толей Орловым. Только с Люсей Осьмухиной отношения у него сложились напряженно-официальные. Жора жил в маленьком домике на выселках, немцы не жаловали этих мест, и друзья большей частью встречались у Жоры Арутюнянца.

На другой день после того, как Володя получил от Лютикова задание разведать, в каком положении находятся шрифты, все трое сошлись у Жоры Арутюнянца, у которого была совсем крохотная, такая, что едва умещались кровать и письменный столик, но все же отдельная комнатка. И здесь их застал вернувшийся с хутора Нижне-Александровского Ваня Земнухов. Ваня еще больше похудел, одежда его износилась, он был весь в пыли, — он еще не заходил домой. Но он был в очень приподнятом, деятельном настроении.

— Есть у тебя возможность еще раз повидаться с этим человеком? — спросил он Володю.

— А зачем?

— А затем, что надо попросить у него разрешения сразу же привлечь в нашу группу Олега Кошевого.

— Он сказал, что в нашу группу не надо пока что никого привлекать, а надо только подобрать ребят подходящих.

— Я и говорю, что надо спросить разрешения,— сказал Ваня.— Не мог ли бы ты встретиться с этим человеком сегодня,— скажем до вечера?

— Не понимаю, зачем такая спешка? — сказал Володя, несколько обиженный.

— А вот зачем... Во-первых, Олег — настоящий парень. во-вторых. он мой лучший друг,— значит, парень надежный. В-третьих, он лучше Жоры знает ребят из школы Горького с седьмого по девятый, а ведь их-то больше всего осталось в городе...

Жора быстро вскинул на Володю свои черные огненные глаза и сказал:

— Вернувшись после неудачной эвакуации, я дал тебе полную характеристику Олега. Следует также учесть, что он живет возле самого парка и лучше всех сможет помочь в выполнении полученного нами задания...

Благодаря особенности Жоры облекать мысль в правильные фразы, она приобретала характер настолько официальный, что походила уже на директиву. Володя заколебался. Но все же он не мог уступить, помня, о чем предупреждал его Лютиков.

— Хорошо,— сказал Ваня,— я могу привести тебе еще один довод, но только с глазу на глаз. Вы не обидитесь? — Он с улыбкой, одновременно мужественной и застенчивой, обернулся к Жоре и Толе Орлову и поправил очки на носу.

— В условиях конспирации не может и не должно быть никаких личных обид, над всем должна преобладать целесообразность, — сказал Жора и вышел из комнаты вместе с Толей Орловым.

— Я докажу, что доверяю тебе больше, чем ты мне,— сказал Ваня с улыбкой, которая утратила выражение застенчивости и была теперь только мужественной улыбкой человека решительного и смелого, каким на деле и был Ваня Земнухов. — Тебе Жора Арутюнянц рассказывал, что вместе с нами вернулся Валько?

— Рассказывал.

— А ты не сказал об этом тому товарищу?

— Нет...

— Так вот, имей в виду, что Олег связан с Валько, а Валько ищет связи с большевистским подпольем... Ты расскажи это тому товарищу. И заодно нашу просьбу передай. Скажи, что мы за Олега ручаемся...

Так судьба судила Володе явиться в Центральные мастерские еще раньше, чем он обещал Лютикову.

А пока Володя отсутствовал, Ваня отрядил Толю «Гром гремит» разузнать сторонкой, живут ли у Кошевого немцы и можно ли проникнуть к нему.

Подойдя к домику Кошевых со стороны Садовой улицы, «Гром гремит» увидел, как из домика, возле которого стоял

немецкий часовой, в слезах выбежала красивая, с пушистыми черными волосами, босая женщина в поношенном платье и скрылась в дровяном сарайчике, откуда послышались ее плач и звуки мужского голоса, успокаивавшего ее. Худая загорелая старуха выскочила в сени с ведром в жилистой руке, зачерпнула воды прямо из кадки и быстро ушла обратно в горницы. В доме происходила какая-то суета, слышался молодой недовольный барственный голос немца и словно бы извиняющиеся голоса женщин. Толя не мог больше задерживаться, чтобы не обратить на себя внимания, и, обогнув возле парка весь этот квартал, подошел к домику со стороны улицы, параллельной Садовой. Но отсюда ему уже ничего не было видно и слышно. Воспользовавшись тем, что в соседнем дворе, как и во дворе Кошевых, были калитки на обе улицы, Толя прошел огородом этого соседнего двора и с минуту постоял у задней стенки сарайчика, выходящей на огород.

В сарайчике слышны были теперь три женских голоса и один мужской. Молодой женский голос плача говорил:

— Хоть убьют, не вернусь до дому!..

А мужской хмуро уговаривал:

— Ото дело! А Олега куда? А ребенок?..

«Продажная тварь!.. За пол-литра прованского! Продажная тварь!.. Ты еще обо мне услышишь, да, ты услышишь обо мне, ты пожалеешь обо мне!» — говорил в это время Олег, возвращавшийся от Лены Позднышевой, терзаясь вспышками ревности и муками самолюбия. Солнце, склонявшееся к вечеру, красное, жаркое, било ему в глаза, и в красных кругах, нанизывавшихся один на другой, наплывали снова и снова тонкое смуглое личико Лены, и это тяжелое, темного рисунка, платье на ней, и серые немцы у пианино. Он все повторял: «Продажная тварь!.. Продажная тварь!..» И задыхался от горя, почти детского.

Он застал в сарае Марину. Она сидела, закрыв лицо руками, склонив голову, окутанную облаком пушистых черных волос. Родные обступили ее.

Длинноногий адъютант в отсутствие генерала задумал освежиться холодным обтиранием и приказал Марине принести в комнату таз и ведро воды. Когда Марина с тазом и ведром воды отворила дверь в столовую, адъютант стоял перед ней совершенно голый. Он был длинный, белый — «як глиста», плача рассказывала Марина. Он стоял в дальнем углу возле дивана, и Марина не сразу заметила его. Вдруг он оказался почти рядом с ней. Он смотрел на нее с любопытством,

презрительно и нагло. И ею овладели такой испуг и отвращение, что она выронила таз и ведро с водою. Ведро опрокинулось, и вода разлилась по полу. А Марина убежала в сарай.

Все ожидали теперь последствий неосторожного поступка Марины.

— Ну что ты плачешь? — грубо сказал Олег. — Ты думаешь, он хотел что-нибудь сделать с тобой? Будь он здесь главный, он бы не пощадил тебя. Еще и денщика позвал бы на помощь. А тут он действительно просто хотел умыться. А тебя встретил голым, потому что ему даже в голову не пришло, что тебя можно стесняться. Ведь мы же для этих скотов хуже дикарей. Еще скажи спасибо, что они не мочатся и не испражняются на наших глазах, как это делают эсэсовские солдаты и офицеры на постое! Они мочатся и испражняются при наших людях и считают это в порядке вещей. У, как я раскусил эту чванливую, грязную фашистскую породу, — нет, они не скоты, они хуже, они — выродки! — с ожесточением говорил он. — И то, что ты плачешь и что все мы здесь столпились, — ах, какое событие! — это обидно и унизительно! Мы должны презирать этих выродков, если мы не можем пока их бить и уничтожать, да, да, презирать, а не унижаться до плача, до бабьих пересудов! Они еще свое получат! — говорил Олег.

Раздраженный, он вышел из сарая. И как же отвратительно показалось ему снова и снова видеть эти голые палисадники, всю улицу от парка до переезда, точно обнаженную, и немецких солдат на ней.

Елена Николаевна вышла вслед за ним.

— Я взволновалась, так долго не было тебя. Что Леночка? — спросила она, внимательно и испытующе глядя в сумрачное лицо сына.

У Олега дрогнули губы, как у большого ребенка.

— Продажная тварь! Никогда больше не говори мне о ней...

И, как это всегда бывало, он, незаметно для себя, рассказал матери все — и то, что он увидел на квартире у Лены, и как он поступил.

— А что же, в самом деле!.. — воскликнул он.

— Ты не жалей о ней, — мягко сказала мать. — Ты потому так волнуешься, что ты о ней жалеешь, а ты не жалей. Если она могла так поступить, значит она всегда была не такая, как... мы думали. — Она хотела сказать: «как ты думал», но решила сказать: «как мы думали». — Но это говорит дурно о ней, а не о нас...

Большая степная луна по-летнему низко висела на юге.

Николай Николаевич и Олег не ложились и молча сидели в сарае у распахнутой дверцы, глядя в небо.

Олег расширенными глазами смотрел на эту висевшую в синем вечернем небе полную луну, окруженную точно заревом, отсвет которого падал на немецкого часового у крыльца и на листья тыкв в огороде, — Олег смотрел на луну и точно видел ее впервые. Он привык к жизни в маленьком степном городе, где все было открыто и все было известно, что происходит на земле и на небе. И вот все уже шло мимо него: и как народился месяц молодик, и как развивался, и как взошла, наконец, эта полная луна на синее-синее небо. И кто знает, вернется ли когда-нибудь в жизни эта счастливая пора беззаветного, полного слияния со всем, что происходит в мире простого, доброго и чудесного?

Генерал барон фон Венцель и адъютант, хрустя мундирами, молча прошли в дом. Все спало вокруг. Только часовой ходил возле дома. Николай Николаевич посидел и тоже лег спать. А Олег с расширенными детскими глазами все сидел у распахнутой дверцы, весь облитый лунным сиянием.

Вдруг позади себя, за дощатой стенкой сарая, выходившей на соседний двор, он услышал шорох.

— Олег... Ты спишь? Проснись, — шептал кто-то, прижавшись к щели.

Олег в одно мгновение очутился у этой стенки.

— Кто это? — прошептал он.

— Это я... Ваня... У тебя дверца открыта?

— Я не один. И часовой ходит.

— Я тоже не один. Можещь вылезти к нам?

— Могу...

Олег выждал, когда часовой отошел к калитке на другую улицу, и, прижимаясь к стенке, снаружи обошел сарайчик. Обок соседнего огорода, в полыни, на которую падала густая тень от сарайчика, лежали веером на брюхе трое — Ваня Земнухов, Жора Арутюнянц и третий, такой же, как они, долговязый парень, в кепке, затемнявшей его лицо.

— Тьфу, черт! Такая светлая ночь, едва пробрались к тебе! — сказал Жора, сверкнув глазами и зубами. — Володя Осьмухин, из школы Ворошилова. Можешь быть абсолютно уверен в нем, как во мне, — сказал Жора, убежденный в том, что дает наивысшую аттестацию, какую только можно дать товарищу.

Олег лег между ним и Ваней.

— Признаться, совсем не ждал тебя в этот запретный час, — шепнул Олег Ване с широкой улыбкой.

— Если их правила соблюдать, с тоски сдохнешь, — сказал Ваня с усмешкой.

— А, ты же мой хлопчик гарный! — засмеялся Кошевой и большой своей рукой обнял Ваню за плечи.— Устроил их? — шепнул он Ване в самое ухо.

— Смогу я до света посидеть в твоем сарае? — спросил Ваня. — Я ведь еще дома не был, у нас, оказывается, немцы стоят...

— Я же тебе сказал, что можно у нас ночевать! — возмущенно сказал Жора.

— До вас больно далеко... Это для тебя с Володей ночь светлая, а я погибну навеки в каком-нибудь сыром шурфе!

Олег понял, что Ваня хочет поговорить с ним наедине.

— До света можно,— сказал он, пожимая Ване плечо.

— У нас новость исключительная, — чуть слышно, шепотом сказал Ваня. — Володя установил связь с одним подпольщиком и уже получил задание... Да ты сам расскажи.

Ничто так не возбудило бы деятельной натуры Олега, как это неожиданное появление ребят ночью и особенно то, что рассказал ему Володя Осьмухин. На мгновение ему показалось даже, что это не кто иной, как Валько, мог дать Осьмухину такое задание. И Олег, почти припав лицом к лицу Володи и глядя в его узкие темные глаза, стал допытываться:

— Как ты нашел его? Кто он?

— Называть его я не имею права,— немного смутившись, сказал Володя.—Тебе известно расположение немцев в парке?

— Нет...

— Мы с Жорой хотим сейчас разведку сделать, да вдвоем, конечно, трудно. Толя Орлов просился, да больно кашляет, — усмехнулся Володя.

Олег некоторое время молча смотрел мимо него.

— А я бы не советовал делать этого сегодня,— сказал он.— Всех, кто подходит к парку, видно, а что делается в парке, не видно. Проще все это проделать днем, без всяких фокусов.

Парк был огорожен сквозным забором, и по всем четырем направлениям к парку прилегали улицы. И Олег, с присущей ему практической сметкой, предложил завтра же направить по каждой улице в разное время по одному пешеходу, на обязанности которого будет только запомнить расположение крайних к улице зениток, блиндажей и автомашин.

То возбуждение деятельности, с которым ребята пришли к Олегу, несколько упало. Но нельзя было не согласиться с простыми доводами Олега.

Случалось ли тебе, читатель, плутать в глухом лесу в ночи, или одинокому попасть на чужбину, или встретить опасность один на один, или впасть в беду, такую, что даже близкие лю-

ди отвернулись от тебя, или в поисках нового, не известного людям долго жить непонятым и непризнанным всеми? Если случалась тебе одна из этих бед или трудностей жизни, ты поймешь, какая светлая мужественная радость, какое невыразимое сердечное чувство благодарности, какой прилив сил необоримых охватывают душу человека, когда он встретит друга, чье слово, чья верность, чье мужество и преданность остались неизменными! Ты уже не один на свете, с тобою рядом бьется сердце человека!.. Именно этот светлый поток чувств, их высокое стеснение в груди испытал Олег, когда, оставшись наедине с Ваней, при свете степной луны, передвинувшейся по небу, увидел спокойное, насмешливое, вдохновенное лицо друга с этими близорукими глазами, светившимися добротой и силой.

— Ваня! — Олег обхватил его большими руками, и прижал к груди, и засмеялся тихим, счастливым смехом.— Наконец-то я вижу тебя! Что ты так долго? Я изныл б-без тебя! Ах ты, ч-черт этакий! — говорил Олег, заикаясь и снова прижимая его к груди.

— Пусти, ты ребра мне поломал, — я ведь не девушка, — тихо смеялся Ваня, освобождаясь от его объятий.

— Не думал я, что она т-тебя на цепку возьмет! — лукаво говорил Олег.

— Как тебе не совестно, право, — смутился Ваня. — Разве я мог после всего, что случилось, покинуть их, не устроив, не убедившись, что им не угрожает опасность? А потом ведь это необыкновенная девушка. Какой душевной ясности, какой широты взглядов! — с увлечением говорил Ваня.

Действительно, за те несколько дней, что Ваня провел в Нижне-Александровском, он успел изложить Клаве все, что он продумал, прочувствовал и написал в стихах за девятнадцать лет своей жизни. И Клава, очень добрая девушка, влюбленная в Ваню, молча и терпеливо слушала его. И когда он что-нибудь спрашивал, она охотно кивала головой, во всем соглашаясь с ним. Не было ничего удивительного в том, что чем больше Ваня проводил времени с Клавой, тем более широкими казались ему ее взгляды.

— Вижу, вижу, т-ты пленен! — заикаясь говорил Олег, глядя на друга смеющимися глазами. — Ты не серчай, — вдруг серьезно сказал он, заметив, что этот тон его неприятен Ване, — я ведь так, озорую, а я рад твоему счастью. Да, я рад, — сказал Олег с чувством, и на лбу его собрались продольные морщины, и он несколько мгновений смотрел мимо Вани.

— Скажи откровенно, это не Валько дал задание Осьмухину? — спросил он через некоторое время.

— Нет. Этот человек просил Володю узнать через тебя, как найти Валько. Я из-за этого собственно и остался у тебя.

— В том-то и беда, что я не знаю. Я боюсь за него, — сказал Олег. — Давай, однако, пробираться в сарай...

Они прикрыли за собой дверцу и, не раздеваясь, пристроились оба на узком топчане и долго еще шептались в темноте. Казалось, нет неподалеку от них немецкого часового и нет вокруг никаких немцев. В который уже раз они говорили:

— Ну, хватит, хватит, надо трошки поспать...

И снова начинали шептаться.

Олег проснулся оттого, что дядя Коля будил его. Земнухова уже не было.

— Ты что же одетым спишь? — спросил дядя Коля с чуть заметной усмешкой в глазах и губах.

— Сон свалил богатыря... — отшучивался Олег потягиваясь.

— То-то, богатыря! Слышал я все ваше заседание в бурьяне под сараем. И что вы с Земнуховым трепали...

— Т-ты слышал? — Олег с заспанно-растерянным выражением лица сел на топчане. — Что ж ты нам сигнала не подал, что не спишь?

— Чтоб не мешать...

— Не ждал я от тебя!

— Ты еще многого от меня не ждешь,— говорил Николай Николаевич своим медлительным голосом. — Знаешь ли ты, например, что у меня есть радиоприемник, прямо под немцами, под половицей?

Олег до того растерялся, что лицо его приняло глупое выражение.

— К-как? Ты в свое время не сдал его?

— Не сдал.

— Выходит, утаил от советской власти?

— Утаил.

— Ну, Коля, д-действительно... Не знал я, что ты такой лукавец,—сказал Олег, не зная, то ли смеяться, то ли обижаться.

— Во-первых, этим приемником меня премировали за хорошую работу,— говорил дядя Коля,— во-вторых, он заграничный, семиламповый...

— Их же обещали вернуть!

— Обещали. И теперь он был бы у немцев, а он — у нас под половицей. И я, когда ночью слушал тебя, понял, что он очень нам пригодится. Выходит, я кругом прав, — без улыбки говорил дядя Коля.

— Все ж таки молодец ты, дядя Коля! Давай умоемся да сгоняем партию в шахматы до завтрака... Власть у нас немец-

кая, и работать нам все равно не на кого! — в отличном настроении сказал Олег.

И в это время оба они услышали, как девичий звонкий голос громко, на весь двор спросил:

— Послушай-ка ты, балда: Олег Кошевой не в этом доме живет?

— Was sagst du? Ich verstehe nicht[1], — отвечал часовой у крыльца.

— Видала ты, Ниночка, такого обалдуя? Ни черта по-русски не понимает. Тогда пропусти нас или позови какого-нибудь настоящего русского человека, — говорил звонкий девичий голос.

Дядя Коля и Олег, переглянувшись, высунули из сарая головы.

Перед немецким часовым, немного даже растерявшимся, у самого крыльца стояли две девушки. Та из них, что разговаривала с часовым, была такой яркой внешности, что и Олег и Николай Николаевич обратили внимание прежде всего на нее. Это впечатление яркости шло от ее необыкновенно броского, пестрого платья: по небесно-голубому крепдешину густо запущены были какие-то красные вишенки, зеленые горошки и еще блестки чего-то желтого и лилового. Утреннее солнце блестело в ее волосах, уложенных спереди золотистым валом и ниспадавших на шею и плечи тонкими и, должно быть, тщательно продуманными между двух зеркал кудрями. А яркое платье так ловко обхватывало ее талию и так легко, воздушно облегало ее стройные полные ноги в телесного цвета чулках и в кремовых изящных туфельках на высоких каблуках, что от всей девушки исходило ощущение чего-то необыкновенно естественного, подвижного, легкого, воздушного.

В тот момент, когда Олег и дядя Коля выглянули из сарайчика, девушка сделала попытку взойти на крыльцо, а часовой, стоявший сбоку крыльца с автоматом на одной руке, другой рукой преградил ей путь.

Девушка, нисколько не смутившись, небрежно хлопнула своей маленькой белой ручкой по грязной руке часового, быстро взошла на крыльцо и, обернувшись к подруге, сказала:

— Ниночка, иди, иди...

Подруга заколебалась. Часовой вскочил на крыльцо и, расставив обе руки, загородил девушке дверь. Автомат на ремне свисал с его толстой шеи. На небритом лице немца застыла улыбка самодовольно-глупая, оттого что он выполнял свой долг, и заискивающая, оттого что он понимал, что только девушка, имеющая право, может так обращаться с ним.

---

[1] Что ты говоришь? Я не понимаю.

— Я — Кошевой, идите сюда,— сказал Олег и вышел из сарайчика.

Девушка резко обернула голову в его сторону, одно мгновение смотрела на него прищуренными голубыми глазами и почти в то же мгновение, стуча своими кремовыми каблучками, сбежала с крыльца.

Олег поджидал ее, большой, с опущенными руками, глядя ей навстречу с наивно-вопросительным, добрым выражением, будто говорил: «Вот я и есть Олег Кошевой... Только объясните мне, зачем я вам нужен: если для доброго, то пожалуйста, а если для злого, то зачем же вы меня выбрали?..» Девушка подошла к нему и некоторое время смотрела на него так, будто сличала с фотографией. Другая девушка, на которую Олег все еще не обращал внимания, подошла вслед за подругой и остановилась в сторонке.

— Правильно: Олег...— точно для самой себя, с удовлетворением подтвердила первая девушка.— Нам бы поговорить наедине,— и она чуть подмигнула Олегу голубым глазом.

Олег, заволновавшись и смутившись, пропустил обеих девушек в сарай. Девушка в ярком платье внимательно посмотрела на дядю Колю прищуренными глазами и с удивленно-вопросительным выражением перевела их на Олега.

— Можете говорить при нем так же, как и при мне,— сказал Олег.

— Нет, у нас дело любовное,— правда, Ниночка? — обернувшись к подруге, с легкой усмешкой сказала она.

Олег и дядя Коля тоже посмотрели на другую девушку. Лицо у нее было крупных черт, сильно прокаленное на солнце; руки, обнаженные до локтя, смуглые до черноты, были крупные, красивые; темные волосы необыкновенной гущины, тяжелыми завитками, как бы вылитыми из бронзы, обрамляли ее лицо, спускались на круглые сильные плечи. И в широком лице ее было одновременно выражение необычайной простоты — где-то в полных губах, в мягком подбородке, в смягченных линиях носа, очень простоватого,— и выражение силы, вызова, страсти, полета,— где-то в надбровных буграх лба, в раскрылии бровей, в глазах, широких, карих, с прямым, отважным взглядом.

Глаза Олега невольно задержались на этой девушке,— в дальнейшем разговоре он все время чувствовал ее присутствие и стал заикаться.

Выждав, когда шаги дяди Коли отдалились по двору, девушка с голубыми глазами приблизила лицо свое к Олегу и сказала:

— Я — от дяди Андрея...

— Смело вы... К-как вы часового-то! — помолчав, сказал Олег с улыбкой.

— Ничего, холуй любит, когда его бьют!..—Она засмеялась.

— А к-кто вы будете?

— Любка,— сказала девушка в ярком душистом крепдешине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Любовь Шевцова принадлежала к той группе комсомолок и комсомольцев, которые еще прошлой осенью были выдвинуты в распоряжение партизанского штаба для использования в тылу врага.

Она заканчивала военно-фельдшерские курсы и собиралась уже отправиться на фронт, но ее перебросили на курсы радистов там же, в Ворошиловграде.

По указанию штаба, она скрыла это от родных и от товарищей и всем говорила и писала домой, что продолжает учиться на курсах военных фельдшеров. То, что ее жизнь была теперь окружена тайной, очень нравилось Любке. Она была «Любка-артистка, хитрая, как лиска», она всю жизнь играла.

Когда она была совсем маленькой девочкой, она была доктором. Она выбрасывала за окно все игрушки, а всюду ходила с сумкой с красным крестом, наполненной бинтами, марлей, ватой,— беленькая, толстенькая девочка с голубыми глазами и ямочками на щечках. Она перевязывала своего отца и мать, и всех знакомых, взрослых и детей, и всех собак и кошек.

Мальчик, старше ее, босой, спрыгнул с забора и распорол ступню стеклом от винной бутылки. Мальчик был из дальнего двора, незнакомый, и никого из взрослых не было в доме, чтобы помочь ему, а шестилетняя Любка промыла ему ногу и залила йодом и забинтовала. Мальчика звали Сережей, фамилия его была Левашов. Но он не проявил к Любке ни интереса, ни благодарности. Он больше никогда не появлялся в их дворе, потому что он вообще презирал девчонок.

А когда она начала учиться в школе, она училась так легко, весело, будто она не на самом деле училась, а играла в ученицу. Но ей уже не хотелось быть доктором или учителем или инженером, а хотелось быть домашней хозяйкой, и за что бы она ни бралась по дому — мыла полы или делала клецки,— все получалось у нее как-то ловчее, веселее, чем у мамы. Впрочем, она хотела быть и Чапаевым, именно Чапаевым, а не Анкой-пулеметчицей, потому что, как выяснилось, она тоже презирала девчонок. Она наводила себе чапаевские усы

жженой пробкой и дралась с мальчишками до победного конца. Но, когда она немножко выросла, она полюбила танцы: бальные — русские и заграничные, и народные — украинские и кавказские. К тому же у нее обнаружился хороший голос, и теперь уже было ясно, что она будет артисткой. Она выступала в клубах и под открытым небом в парке, а когда началась война, она с особенным удовольствием выступала перед военными. Но она совсем не была артисткой, она только играла в артистки, она просто не могла найти себя. В душе ее все время точно переливалось что-то многоцветное, играло, пело, а то вдруг бушевало, как огонь. Какой-то живчик не давал ей покоя; ее терзали жажда славы и страшная сила самопожертвования. Безумная отвага и чувство детского, озорного, пронзительного счастья — все звало и звало ее вперед, все выше, чтобы всегда было что-то новое и чтобы всегда нужно было к чему-то стремиться. Теперь она бредила подвигами на фронте: она будет летчиком или военным фельдшером на худой конец,— но выяснилось, что она будет разведчицей-радисткой в тылу врага, и это, конечно, было лучше всего.

Очень смешно и странно было, что из краснодонских комсомольцев вместе с ней попал на курсы радистов тот самый Сережа Левашов, которому она в детстве оказала медицинскую помощь и который отнесся к ней тогда так пренебрежительно. Теперь она имела возможность отплатить ему, потому что он сразу в нее влюбился, а она, конечно, нет, хотя у него были красивые губы и красивые уши и вообще он был парень дельный. Ухаживать он совсем не умел, он сидел перед ней со своими широкими плечами, молчал и смотрел на нее с покорным выражением, и она могла смеяться над ним и терзать его, как хотела.

Пока она училась на курсах, не раз бывало, что то один, то другой из курсантов больше не появлялся на занятиях. Все знали, что это значит: его выпустили досрочно и забросили в тыл к немцам.

Был душный майский вечер; городской сад поник от духоты, облитый светом месяца, цвели акации, голова кружилась от их запаха. Любка, которая любила, чтобы вокруг всегда было много людей, все тащила Сергея в кино или «прошвырнуться» по Ленинской. А он говорил:

— Посмотри, как хорошо кругом. Неужто тебе не хорошо? — И глаза его с непонятной силой светились в полутьме аллеи.

Они делали еще и еще круги по саду, и Сергей очень надоел Любке своей молчаливостью и тем, что не слушался ее.

А в это время в городской сад со смехом и визгом ворвалась компания ребят и дивчат. Среди них оказался один с курсов, ворошиловградец Борька Дубинский, который тоже был неравнодушен к Любке и всегда смешил ее своей трепотней «с точки зрения трамвайного движения».

Она закричала:

— Борька!

Он сразу узнал ее по голосу и подбежал к ней и к Сергею и сразу заговорил так, что его уже было трудно остановить.

— С кем это ты? — спросила Любка.

— Это наши дивчата и ребята с типографии. Познакомить?

— Конечно! — сказала Любка.

Они тут же познакомились, и Любка всех потащила на Ленинскую. А Сергей сказал, что он не может. Любка подумала, что он обиделся, и нарочно, чтобы он не заносился, подхватила под руку Борьку Дубинского, и они вместе, выделывая в четыре ноги невозможные вензеля, выбежали из парка, только платье ее мелькнуло среди деревьев.

Утром она не встретила Сергея за завтраком в общежитии, его не было и на занятиях, и за обедом, и за ужином, и бесполезно было бы спрашивать, куда он делся.

Конечно, она совсем не думала о том, что произошло вчера в городском саду,— «подумаешь, новости!». Но к вечеру она вдруг заскучала по дому, вспомнила отца и мать, и ей показалось, что она никогда их не увидит. Она тихо лежала на койке в комнате общежития, где вместе с ней жило еще пять подруг. Все уже спали, затемнение с окон было снято, свет месяца буйно врывался в ближнее распахнутое окно, и Любке было очень грустно.

А на другой день Сергей Левашов навсегда ушел из ее памяти, как если бы его и не было.

Шестого июля Любку вызвал начальник курсов и сказал, что дела на фронте идут неважно, курсы эвакуируются, а ее, Любку, оставляют в распоряжении областного партизанского штаба: пусть возвращается домой, в Краснодон, и ждет, пока ее не вызовут. Если придут немцы, она должна вести себя так, чтобы не возбудить подозрения. И ей дали адрес на Каменном Броде, куда она должна была зайти еще перед отъездом, чтобы познакомиться с хозяйкой.

Любка побывала на Каменном Броде и познакомилась с хозяйкой. Потом она уложила свой чемоданчик, «проголосовала» на ближайшем перекрестке, и первая же грузовая машина, рейсом через Краснодон, подобрала дерзкую белокурую девчонку.

Валько, расставшись со своими спутниками, весь день пролежал в степи и, только когда стемнело, вышел балкой на дальнюю окраину «Шанхая» и кривыми улочками и закоулками пробрался в район шахты № 1-бис. Он хорошо знал город, в котором вырос.

Он опасался немцев, которые могли стоять у Шевцовых, и, крадучись, с тыла, через заборчик проник во двор и притаился возле домашних пристроек в надежде, что кто-нибудь да выйдет во двор. Так простоял он довольно долго и начал уже терять терпение. Наконец хлопнула наружная дверь, и женщина с ведром тихо прошла мимо Валько. Он узнал жену Шевцова, Евфросинью Мироновну, и вышел ей навстречу.

— Кто такой, боже мой милостивый! — тихо сказала она.

Валько приблизил к ней черное, обросшее уже щетиной лицо, и она узнала его.

— То ж вы?.. А где ж...—начала было она. Если бы не ночная полутьма, в которой из-за серой дымки, затянувшей небо, едва сквозил рассеянный свет месяца, можно было бы видеть, как все лицо Евфросиньи Мироновны покрылось бледностью.

— Обожди трохи. И фамилию мою забудь. Зови меня дядько Андрий. У вас немцы стоят? Ни?.. Пройдем в хату,— хрипло сказал Валько, подавленный тем, что он должен был сказать ей.

Любка — не та нарядная Любка в ярком платье и в туфельках на высоких каблуках, которую Валько привык видеть на сцене клуба,— а простая, домашняя, в дешевой кофточке и короткой юбке, босая, встала ему навстречу с кровати, на которой она сидела и шила. Золотистые волосы свободно падали на шею и плечи. Прищуренные глаза ее, при свете шахтерской лампы, висевшей над столом, казавшиеся темными, без удивления уставились на Валько.

Валько не выдержал ее взгляда и рассеянно оглядел комнату, еще хранившую следы достатка хозяев. Глаза его задержались на открытке, висевшей на стене у изголовья кровати. Это была открытка с портретом Гитлера.

— Не подумайте чего плохого, товарищ Валько,— сказала мать Любки.

— Дядько Андрий,— поправил ее Валько.

— Чи-то — дядя Андрий,— без улыбки поправилась она.

Любка спокойно обернулась на открытку с Гитлером и презрительно повела плечом.

— То офицер немецкий повесил,— пояснила Евфросинья Мироновна. — У нас тут все дни два офицера немецких стояли, только вчера уехали на Новочеркасск. Как только вошли, так до нее — «русский девушка, красив, красив, блонд», смеются, все ей шоколад, печенье. Смотрю, берет, чертовка, а са-

ма нос дерет, грубит, то засмеется, а потом опять грубит,— вот какую игру затеяла! — сказала мать с добрым осуждением по адресу дочери и с полным доверием к Валько, что он все поймет как нужно.— Я ей говорю: «Не шути с огнем». А она мне: «Так нужно». Нужно ей так — вот какую игру затеяла! — повторила Евфросинья Мироновна.— И можете представить, товарищ Валько...

— Дядько Андрий,— снова поправил он.

— Дядя Андрей... Не велела мне им говорить, что я ее мать, выдала меня за свою экономку, а себя — за артистку. «А родители мои, говорит, промышленники, владели рудниками, и их советская власть в Сибирь сослала». Видали, чего придумала?

— Да, уж придумала,— спокойно сказал Валько, внимательно глядя на Любку, которая стояла против него с шитьем в руках и с неопределенной усмешкой смотрела на дядю Андрея.

— Офицер, что спал на этой кровати,— это ее кровать, а мы с ней спали вдвоем в той горнице,— стал разбираться в своем чемодане, белье ему нужно было, что ли,— продолжала Евфросинья Мироновна,— достал вот этот портретик и наколол на стенку. А она,— можете себе представить, товарищ Валько, — прямо к нему, и — раз! Портретик долой. «Это, говорит, моя кровать, а не ваша, не хочу, чтобы Гитлер над моей кроватью висел». Я думала, он тут ее убьет, а он схватил ее за руку, вывернул, портретик отнял и снова на стенку. И другой офицер тут. Хохочут, аж стекла звенят. «Ай, говорят, русский девушка шлехт!..» Смотрю, она в самом деле злая стала, красная вся, кулачки посжимала, — я со страху чуть не умерла. И правда, то ли она уж очень им нравилась, то ли они самые распоследние дураки, только они стоят, регочут. А она каблучками топочет и кричит: «Ваш Гитлер уродина, кровопийца, его только в сортире утопить!» И еще такое говорила, что я, право слово, думала — вот вытащит он револьвер да застрелит... А когда уж они уехали, она не велела Гитлера сымать: «Пускай, говорит, повисит, так нужно...»

Мать Любки была еще не так стара, но как многие простые пожилые женщины, смолоду неудачно рожавшие, она расплылась в бедрах, и в поясе, и ноги у нее опухли в щиколотках. Она тихим голосом рассказывала Валько всю эту историю и в то же время поглядывала на него вопросительным, робким, даже молящим взглядом, а он избегал встретиться с ней глазами. Она все говорила и говорила, будто старалась отсрочить момент, когда он скажет ей то, что она боялась услышать. Но теперь она рассказала все и с ожиданием, волнуясь и робея, посмотрела на Валько.

— Может осталась у вас, Евфросинья Мироновна, какая ни на есть мужняя одежда, попроще, — хрипло сказал Валько.— А то мне вроде в таком пиджаке и шароварах при тапочках не дюже удобно — сразу видать, что ответственный,— усмехнулся он.

Что-то такое было в его голосе, что Евфросинья Мироновна опять побледнела и Любка опустила руки с шитьем.

— Что же с ним? — спросила мать чуть слышно.

— Евфросинья Мироновна, и ты, Люба,— тихим, но твердым голосом сказал Валько.— Не думал я, что судьба приведет меня к вам с недоброй вестью, но обманывать я вас не хочу, а утешить вас мне нечем. Ваш муж и твой отец, Люба, и друг мой, лучше какого не было, Григорий Ильич, погиб, погиб от бомбы, что сбросили на мирных людей проклятые каты... Да будет ему вечная память и слава в сердцах наших людей!..

Мать, не вскрикнув, приложила к глазам угол платка, которым была повязана, и тихо заплакала. А у Любки лицо стало совсем белым, точно застыло. Она постояла так некоторое время и вдруг, вся изломившись, без чувств опустилась на пол.

Валько поднял ее на руки и положил на кровать.

По характеру Любки он ждал от нее взрыва горя, с плачем, слезами, и, может быть, ей было бы легче. Но Любка лежала на кровати неподвижно, молча, с лицом, застывшим и белым, и в опущенных уголках ее большого рта обозначилась горькая складка, как у матери.

А мать выражала свое горе так естественно, тихо, просто и сердечно, как свойственно бывает простым русским женщинам. Слезы сами лились из глаз ее, она утирала их уголком платка, или смахивала рукой, или обтирала ладонью, когда они затекали ей на губы, на подбородок. Но именно потому, что горе ее было так естественно, она, как обычно, выполняла все, что должна делать хозяйка, когда у нее гость. Она подала Валько умыться, засветила ему ночник и достала из сундука старую гимнастерку, пиджак и брюки мужа, какие он носил обычно дома.

Валько взял ночник, вышел в другую комнату и переоделся. Все это было немного тесновато ему, но он почувствовал себя свободнее, когда влез в эту одежду: теперь он выглядел мастеровым, одним из многих.

Он стал рассказывать подробности гибели Григория Ильича, зная, что, как ни тяжелы эти подробности, только они могут дать сейчас близким жестокое и томительное в горечи своей утешение. Как ни был он сам взволнован и озабочен, он долго и много ел и выпил графин водки. Он целый день про-

вел без пищи и очень устал, но все-таки поднял Любку с постели, чтобы поговорить о деле.

Они вышли в соседнюю горницу.

— Ты здесь оставлена нашими для работы, то сразу видно,— сказал он, сделав вид, что не заметил, как Любка отпрянула от него и изменилась в лице.— Не трудись,— подняв тяжелую руку, сказал он, когда она попыталась возражать ему,— кто тебя оставил и для какой работы, про то я тебя не спрашиваю, и ты мне того ни подтверждать, ни опровергать не обязана. Прошу помочь мне... А я тебе тоже сгожусь.

И он попросил ее, чтобы она где-нибудь укрыла его на сутки и свела с Кондратовичем — тем самым, вместе с которым они взорвали шахту № 1-бис.

Любка с удивлением смотрела в смуглое лицо Валько. Она всегда знала, что это большой и умный человек. Несмотря на то, что он дружил с ее отцом, как с равным, у нее всегда было такое ощущение, что этот человек высоко, а она, Любка, внизу. И теперь она была сражена его проницательностью.

Она устроила Валько на сеновале, на чердаке, в сарае соседей по дому: соседи держали коз, но соседи эвакуировались, а коз поели немцы,— и Валько крепко уснул.

А мать и дочь, оставшись одни, проплакали на материнской кровати почти до рассвета.

Мать плакала о том, что вся ее жизнь, жизнь женщины, с молодых лет связанной с одним Григорием Ильичом, уже была кончена. И она вспоминала всю эту жизнь с той самой поры, как она служила прислугой в Царицыне, а Григорий Ильич, молодой матрос, плавал по Волге на пароходе и они встречались на облитой солнцем пристани или в городском саду, пока пароход грузился, и как им тяжело было первое время, когда они поженились, а Григорий Ильич еще не нашел себе профессии. А потом они перебрались сюда, в Донбасс, и тоже поначалу было нелегко, а потом Григорий Ильич пошел, пошел в гору, и о нем стали писать в газетах, и дали им эту квартиру из трех комнат, и в дом пришел зажиток, и они радовались тому, что Любка их растет, как царевна.

И всему этому пришел конец. Григория Ильича больше не было, а они, две беспомощные женщины, старая и молодая, остались в руках у немцев. И слезы сами собой лились, лились из глаз Евфросиньи Мироновны.

А Любка все говорила ей таинственным, ласковым шепотом:

— Не плачь, мама, голубонька, теперь у меня есть квалификация. Немцев прогонят, война кончится, пойду работать на радиостанцию, стану знаменитой радисткой, и назначат

меня начальником станции. Я знаю, ты у меня шуму не любишь, и я тебя устрою у себя на квартирке при станции,— там всегда тихо-тихо, кругом мягким обшито, ни один звук не проникает, да и народу немного. Квартирка будет чистенькая, уютная, и будем мы жить с тобой вдвоем. На дворике возле станции я высею газон, а когда немного разбогатеем, устрою вольерчик для курочек, будешь у меня разводить леггорнок да кохинхинок,— таинственно шептала она, прижмурившись, обняв мать за шею и невидно поводя в темноте маленькой белой рукою с тонкими ноготками.

И в это время раздался тихий стук в окно пальцем. И мать и дочь одновременно услышали его и розняли руки, и, перестав плакать, обе прислушались.

— Не немцы? — шепотом, покорно спросила мать.

Но Любка знала, что не так бы стучали немцы. Босая, она подбежала к окну и чуть приподняла край одеяла, которым окно было завешено. Месяц уже зашел, но из темной комнаты она могла различить три фигуры в палисаднике: мужскую, у самого окна, и две женские, поодаль.

— Чего надо? — громко спросила она в окно.

Мужчина прильнул лицом к стеклу. И Любка узнала это лицо. И точно горячая волна хлынула ей к горлу. Надо же было, чтобы он появился именно сейчас, здесь, в такую пору, в самую тяжелую минуту жизни!..

Она не помнила, как пробежала через комнаты, ее снесло с крыльца, точно ветром, и от всего благодарного, несчастного сердца она обхватила шею юноши своими ловкими сильными руками и, заплаканная, полуголая, горячая после материнских объятий, прижалась к нему всем телом.

— Скорей... Скорей... — оторвавшись от него и взяв его за руку, сказала Любка, увлекая его на крыльцо. И вспомнила о его спутницах. — Это кто с тобой? — спросила она, всматриваясь в девушек.— Оля! Нина!.. Голубоньки вы мои!..— И она, обняв обеих своими сильными руками и притянув их головы к своей, осыпала страстными поцелуями лицо одной и другой. — Сюда, сюда... скорей...— лихорадочным шепотом говорила Любка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Они стояли у порога, не решаясь войти в комнату, такие они были грязные и запыленные, — Сергей Левашов, небритый, в одежде не то шофера, не то монтера, и девушки, Оля и Нина, обе крепкого сложения, только Нина покрупнее, обе с бронзовыми лицами и темными волосами, точно припудрен-

ными серой пылью, обе в одинаковых темных платьях и с вещевыми мешками за плечами.

Это были двоюродные сестры Иванцовы, которых по сходству фамилий путали с сестрами Иванихиными, Лилей и Тоней, — с «Первомайки». Была даже такая поговорка: «Если среди сестер Иванцовых ты видишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины» (Лиля Иванихина, та самая, что с начала войны ушла на фронт военным фельдшером и пропала без вести, была беленькая).

Оля и Нина Иванцовы жили в стандартном доме, неподалеку от Шевцовых, и их отцы работали на одной шахте с Григорием Ильичом.

— Родненькие вы мои! Откуда же вы? — спрашивала Любка, всплескивая своими беленькими руками: она предполагала, что Иванцовы возвращаются из Новочеркасска, где старшая, Оля, училась в индустриальном институте. Но странно было, как Сергей Левашов попал в Новочеркасск.

— Где были, там нас нет, — сдержанно сказала Оля, чуть искривив в усмешке запекшиеся губы, и все ее лицо, с запыленными бровями и ресницами, как-то асимметрично сдвинулось. — Не знаешь, у нас дома немцы стоят? — спросила она, по привычке, которая у нее выработалась за дни скитаний, быстро, одними глазами оглядывая комнату.

— Стояли, как и у нас, — сегодня утром уехали, — сказала Любка.

Черты лица Оли еще больше сместились в гримасе не то насмешки, не то презрения: она увидела на стене открытку с портретом Гитлера.

— Для перестраховки?

— Пускай повисит, — сказала Любка. — Вы, поди, есть хотите?

— Нет, если квартира свободна, домой пойдем.

— А если и не свободна, вам чего бояться? Сейчас многие, кого немцы завернули на Дону или на Донце, возвращаются по домам... А не то говорите прямо — гостили в Новочеркасске, вернулись домой, — быстро говорила Любка.

— Мы и не боимся. Так и скажем, — сдержанно отвечала Оля.

Пока они переговаривались, Нина, младшая, молча, с выражением вызова, переводила широкие свои глаза то на Любку, то на Олю. А Сергей, сбросивший на пол выгоревший на солнце рюкзак, стоял, прислонившись к печке, заложив руки за спину, и с чуть заметной улыбкой в глазах наблюдал за Любкой.

«Нет, они были не в Новочеркасске», — подумала Любка.

Сестры Иванцовы ушли. Любка сняла затемнение с окон

и потушила шахтерскую лампу над столом. В комнате все стало серым: и окна, и мебель, и лица.

— Умыться хочешь?

— А у наших немцы стоят, не знаешь? — спрашивал Сергей, пока она, быстро снуя из комнаты в сени и обратно, принесла ведро воды, таз, кружку, мыло.

— Не знаю. Одни уходят, другие приходят. Да ты скидай свою форму, не стесняйся.

Он был так грязен, что вода с его рук и лица стекала в таз совсем черная. Но Любке было приятно смотреть на его широкие сильные руки и на то, как он энергичными мужскими движениями намыливал их и смывал, подставляя горсть. У него была загорелая шея, уши большие и красивые, и складка губ мужественная и красивая, и брови у него были не сплошные, они гуще сбирались у переносицы, даже на самом переносье росли волосы, а крылья бровей были тоньше и менее густые и чуть приподымались дугами, и здесь, на концах крыльев, образовались сильные морщины на лбу. И Любке было приятно смотреть, как он обмывал свое лицо большими широкими руками, изредка вскидывая глаза на Любку и улыбаясь ей.

— Где же ты Иванцовых подцепил? — спрашивала она.

Он фыркал, плескал на лицо себе и ничего не говорил ей.

— Ты же пришел ко мне,— значит, поверил. Чего ж теперь мнешься? Мы с тобой с одного дерева листочки, — говорила она тихо и вкрадчиво.

— Дай полотенце, спасибо тебе, — сказал он.

Любка замолчала и больше ни о чем не спрашивала его. Голубые глаза ее приняли холодное выражение. Но она попрежнему ухаживала за Сергеем, зажгла керосинку, поставила чайник, накрыла гостю поесть и налила водки в графинчик.

— Вот этого уже несколько месяцев не пробовал, — сказал он, улыбнувшись ей.

Он выпил и принялся жадно есть.

Уже развиднело. За слабой серой дымкой на востоке все ярче розовело и уже чуть золотилось.

— Не думал застать тебя здесь. Зашел наугад, а оно — вон оно как... — медленно размышлял он вслух.

В словах его был как бы заключен вопрос, каким образом Любка, учившаяся вместе с ним на курсах радистов, оказалась у себя дома. Но Любка не ответила ему на этот вопрос. Ей было обидно, что Сергей, зная ее прежней, мог думать, что она, взбалмошная девчонка, капризничает, а она страдала, ей было больно.

— Ты ж не одна здесь? Отец, мать где? — расспрашивал он.

— Тебе разве не все равно? — холодно ответила она.

— Случилось что?

— Кушай, кушай,— сказала она.

Некоторое время он смотрел на нее, потом снова налил себе стаканчик, выпил и продолжал есть уже молча.

— Спасибо тебе, — сказал он, окончив есть и утершись рукавом. Она видела, как он огрубел за время своих скитаний, но не эта грубость оскорбляла ее, а его недоверие к ней.

— Закурить у вас, конечно, не найдется? — спросил он.

— Найдется... — Она прошла на кухню и принесла ему листья прошлогоднего табака-самосада. Отец каждый год высаживал его на гряды, снимал несколько урожаев в году, сушил и, по мере надобности, мелко крошил бритвой на трубку.

Они молча сидели за столом, Сергей, весь окутанный дымом, и Любка. В комнате, где Любка оставила мать, по-прежнему было тихо, но Любка знала, что мать не спит, плачет.

— Я вижу, у вас горе в доме. По лицу вижу. Никогда ты такой не была, — медленно сказал Сергей. Взгляд его был полон теплоты и нежности, неожиданной в его грубоватом красивом лице.

— У всех сейчас горе, — сказала Любка.

— Коли б ты знала, сколько я насмотрелся за это время крови! — сказал Сергей с великой тоскою и весь окутался клубами дыма. — Сбросили нас в Сталинской области на парашютах... Народу к тому времени столько арестовали, что мы даже удивились, как наши явки не завалены. Арестовали людей не потому, что кто-нибудь предал, а потому, что он, немец, таким частым бреднем загребал — тысячами, и правых и виноватых, — ясно, кто мало-мальски на подозрении, в тот бредень попадался... В шахтах трупами стволы забиты! — с волнением говорил Сергей. — Работали мы порознь, но связь держали, а потом уж и концов нельзя было найти. Напарнику моему перебили руки и отрезали язык, и была б и мне труба, коли б не получил я приказа уходить и когда б на улице в Сталино случайно Нинку не встретил. Ее и Ольгу, еще когда Сталинский обком был у нас в Краснодоне, взяли связными, — они это уже во второй раз в Сталино пришли. Тут как раз стало известно, что немцы уже на Дону. Им, дивчатам, ясно было, что тех, кто их послал, уже в Краснодоне нет... Передатчик я сдал, согласно приказу, в подпольный обком, ихнему радисту, и решили мы вместе уходить домой, и вот шли... Как я за тебя-то волновался! — вдруг вырвалось у него из самого сердца. — А что, думаю, если забросили тебя, вот так же, как нас, в тыл к врагу, и осталась ты одна? А не то завалилась и

где-нибудь в застенке немцы твою душу и тело терзают, — говорил он тихо, сдерживая себя, и его взгляд уже не с выражением теплоты и нежности, а со страстью так и пронзал ее.

— Сережа! — сказала она. — Сережа! — И опустила золотистую голову на руки.

Большой, с набухшими жилами рукой он осторожно провел один раз по ее голове и руке.

— Оставили меня здесь,— сам понимаешь, зачем... Велели ждать приказа, и вот скоро месяц, а никого и ничего, — тихо говорила Любка, не подымая головы.— Немецкие офицеры лезут, как мухи на мед, первый раз в жизни выдавала себя не за того, кто есть, черт знает что выгворяла, изворачивалась, противно, и сердце болит за самое себя. А вчера люди, что с эвакуации вернулись, сказали: отца убили немцы на Донце во время бомбежки, — говорила Любка, покусывая свои ярко-красные губы.

Солнце всходило над степью, и слепящие лучи его отразились в этернитовых крышах, тронутых росою. Любка вскинула голову, тряхнула кудрями.

— Надо уходить тебе. Как думаешь жить?

— Как и ты. Сама же сказала: мы с одного дерева листочки, — сказал Сергей с улыбкой.

Проводив Сергея через двор, задами, Любка быстро привела себя в порядок, одевшись, впрочем, как можно проще: ее путь был на «Голубятники», к старому Ивану Гнатенко.

Она ушла вовремя. В дверь их дома страшно застучали. Дом стоял поблизости от ворошиловградского шоссе, это стучались на постой немцы.

Весь день Валько просидел на сеновале не евши, потому что нельзя было проникнуть к нему. А ночью Любка вылезла из окна в комнате матери и провела дядю Андрея на «Сеняки», где на квартире знакомой вдовы, верного человека, назначил ему свидание Иван Кондратович.

Здесь-то Валько и узнал всю историю встречи Кондратовича с Шульгою. Валько знал Шульгу и в юности, как земляка-краснодонца, и на протяжении последних лет, по работе в области. И у Валько не было теперь сомнений, что Шульга был одним из тех людей, кто оставлен в краснодонском подполье. Но как было найти его?

— Не поверил он, значит, тебе? — с грубоватой усмешкой спрашивал Валько Кондратовича.— Ото дурний! — Он не понимал поступка Шульги. — А кого-нибудь другого из подпольщиков ты не знаешь?

— Не знаю...

— А как сын? — Валько хмуро подмигнул.

— Кто его знает, — потупился Кондратович. — Я его спросил напрямик: «Пойдешь к немцам служить? Говори мне, отцу, честно, чтобы я знал, чего я от тебя могу ждать». А он: «Что я, говорит, дурак — служить им? Я и так проживу при них не хуже!..»

— Сразу видать, человек сообразительный, не в отца, — усмехнулся Валько. — А ты это используй. Раструби по всем перекресткам, что он при советской власти судился. И ему хорошо, и тебе при нем будет спокойнее от немцев.

— Эх, дядя Андрей, не думал я, что ты меня будешь таким шуткам учить! — с досадой сказал Кондратович своим низким голосом.

— Эге, брат, а ты — старый человек, а хочешь немцев одолеть в беленькой рубашке!.. Ты на работу встал, нет?

— Какая ж работа? Шахта-то взорвана!

— Ну, як кажуть, по месту службы явился?

— Что-то я тебя не понимаю, товарищ директор...— Кондратович даже растерялся, настолько то, что говорил Валько, шло вразрез с тем, как он, Кондратович, наметил жить при немцах.

— Значит, не явился. А ты явись, — спокойно сказал Валько. — Работать ведь можно по-разному. А нам важно своих людей сохранить.

Валько так и остался у этой вдовы, но на другую ночь сменил квартиру. Новое его местопребывание знал только один Кондратович, которому Валько безгранично верил.

В течение нескольких дней Валько с помощью Кондратовича и Любки, а также Сергея Левашова и сестер Иванцовых, которых ему рекомендовала та же Любка, разнюхивал, что предпринимают в городе немцы, и завязывал связи с некоторыми оставшимися в городе членами партии и известными ему беспартийными людьми. Но так и не мог обнаружить Шульги или кого-нибудь из других людей, оставленных в подполье. Единственной ниточкой, которая, как ему казалось, могла связать его с областным подпольем, была Любка. Но по характеру Любки и ее поведению Валько догадывался, что она разведчица и до поры до времени ничего не откроет ему. Он решил действовать самостоятельно, в надежде, что все пути, ведущие в одну точку, рано или поздно сойдутся. И направил Любку к Олегу Кошевому, который мог ему теперь пригодиться.

— Я м-могу лично повидать дядю Андрея? — спрашивал Олег, стараясь не показать своего волнения.

— Нет, лично повидать его не можно, — говорила Любка с загадочной улыбкой. — У нас ведь, правда, дело любовное... Ниночка, подойди, познакомься с молодым человеком.

Олег и Нина неловко подали друг другу руки, и тот и другая смутились.

— Ничего, вы скоро привыкнете, — говорила Любка. — Я вас сейчас покину, а вы пройдитесь куда-нибудь под ручку и поговорите по душам, как жить будете... Желаю вам счастливо провести время! — сказала она и, блеснув глазами, полными лукавства, и мелькнув ярким своим платьем, выпорхнула из сарая.

Они стояли друг против друга: Олег — растерянный и смущенный, Нина — с выражением вызова на лице.

— Здесь нам оставаться нельзя,— сказала она с некоторым усилием, но спокойно,— лучше куда-нибудь пойдем... И будет, правда, лучше, если ты возьмешь меня под руку...

На невозмутимом лице дяди Коли, прогуливавшегося по двору, выразилось крайнее изумление, когда он увидел выходящего со двора племянника об руку с этой незнакомой девушкой.

Они, и Олег и Нина, были еще настолько неопытны и юны, что долго не могли избавиться от чувства взаимной неловкости. Каждое прикосновение друг к другу лишало их дара слова. Руки, продетые одна в другую, казались им раскаленным железом.

По вчерашнему уговору с ребятами, Олег должен был разведать ту сторону парка, в которую упиралась Садовая улица, и он повел Нину по этому маршруту. Почти во всех домах по Садовой и вдоль парка стояли немцы, но, едва вышли за калитку, Нина сразу заговорила о деле — тихим голосом, как если бы она говорила о чем-нибудь интимном:

— Дядю Андрея тебе видеть нельзя, ты будешь держать связь со мной... На это не обижайся, я тоже его ни разу не видела... Дядя Андрей велел узнать: нет ли у тебя таких ребят, кто мог бы разнюхать, кто из наших сидит у немцев арестованный...

— Один парень, очень боевой, за это взялся, — быстро сказал Олег.

— Дядя Андрей велел, чтобы ты рассказывал мне все, что тебе известно... И про своих и про немцев.

Олег передал ей то, что рассказал ему Тюленин о подпольщике, выданном немцам Игнатом Фоминым, и то, что сообщил ему ночью Володя Осьмухин, и то, что сказал Земнухов: что подпольщики ищут Валько. И тут же дал Нине адрес Жоры Арутюнянца.

— Дядя Андрей вполне может доверить ему свое местопребывание. Да он и знает Жору Арутюнянца! А Жора через Володю Осьмухина все передаст, куда нужно... П-пока мы с тобой разговариваем, — с улыбкой сказал Олег, — я насчи-

тал т-три зенитки, правее школы, туда, вглубь, а рядом б-блиндаж, а автомашин не видно...

— А счетверенный пулемет и двое немцев — на крыше школы? — вдруг спросила она.

— Я не заметил, — с удивлением сказал Олег.

— А оттуда с крыши весь парк просматривается,— сказала она немного даже с укоризной.

— Значит, ты тоже все высматривала? Разве тебе тоже поручили? — с заблестевшими глазами допытывался Олег.

— Нет, я сама. По привычке,— сказала она и, спохватившись, быстро с вызовом взглянула на Олега из-под могучего раскрылия своих бровей — не слишком ли она раскрыла себя.

Но он был еще достаточно наивен, чтобы заподозрить ее в чем-либо.

— Ага... вон машины, — целый ряд! Носами в землю зарылись, только края кузовов торчат, и там у них кухня походная дымит! Видишь? Только ты не смотри туда, — с увлечением говорил Олег.

— И нет никакой надобности смотреть: пока со школы не снят наблюдательный пост, шрифтов все равно не выкопать, — спокойно сказала она.

— В-верно... — Он с удовольствием посмотрел на нее и засмеялся.

Они уже привыкли друг к другу, шли не торопясь, и полная, большая, женственная рука Нины доверчиво покоилась на руке Олега. Они уже миновали парк. Справа от них вдоль улицы, возле стандартных домиков, стояли немецкие машины, то грузовые, то легковые разных марок, то походная радиостанция, то санитарный автобус, и всюду виднелись немецкие солдаты. А слева тянулся пустырь, в глубине которого, возле каменного здания казарменного типа, немецкий сержант в голубоватых погонах с белым кантом проводил учение с небольшой группой русских в гражданской одежде, вооруженных немецкими ружьями. Они то строились, то рассыпались, ползли, схватывались врукопашную. Все они были уже пожилые. На рукавах у них были повязки со свастикой.

— Жандарм фрицевский... Учит полицаев, как нашего брата ловить, — сказала Нина, сверкнув глазами.

— Откуда ты знаешь? — спросил он, вспомнив то, что рассказывал ему Тюленин.

— Я уже их видела.

— Сволочь какая! — сказал Олег с брезгливой ненавистью. — Таких давить и давить...

— Стоило б, — сказала Нина.

— Ты хотела бы быть партизаном? — неожиданно спросил он.

— Хотела бы.

— Нет, ты представляешь, что такое партизан? Работа партизана совсем не показная, но какая благородная! Он убьет одного фашиста, убьет другого, убьет сотню, а сто первый может убить его. Он выполнит одно, второе, десятое задание, а на одиннадцатом может сорваться. Это дело требует, знаешь, какой самоотверженности!.. Партизан никогда не дорожит своей личной жизнью. Он никогда не ставит свою жизнь выше счастья родины. И, если надо выполнить долг перед родиной, он никогда не пожалеет своей жизни. И он никогда не продаст и не выдаст товарища. Я хотел бы быть партизаном! — говорил Олег с такой глубокой, искренней, наивной увлеченностью, что Нина подняла на него глаза, и в них выразилось что-то очень простоватое и доверчивое...

— Слушай, неужели мы будем с тобой встречаться только по делу? — вдруг сказал Олег.

— Нет, почему же, мы можем встречаться... когда свободны, — сказала Нина, немного смутившись.

— Где ты живешь?

— Ты не занят сейчас?.. Может быть, ты проводишь меня? Я хотела бы познакомить тебя со своей старшей сестрой Олей, — сказала она, не совсем уверенная, что она хочет именно этого.

Сестры Оля и Нина жили в районе, называвшемся запросто «Восьмидомики». В одной половине стандартного дома жили родители Нины, в другом — Оли. Нина провела Олега к себе и оставила на попечение мамаши.

Олег, развитой не по летам, воспитанный к тому же в своей украинской семье в духе уважения к старшим, легко разговорил и без того словоохотливую и моложавую Варвару Дмитриевну. К тому же ему очень хотелось понравиться матери Нины.

К возвращению Нины он знал уже все о семьях Иванцовых. Отцы Оли и Нины, родные братья, шахтеры, находились теперь на фронте. Выходцы из Орловской губернии, они служили когда-то батраками у богатых крестьян, а потом подались в Донбасс и здесь женились оба на украинках. Только мать Оли была издалека, из Черниговской губернии, а Варвара Дмитриевна здешняя, донецкая, из села Рассыпного. В молодые годы Варвара Дмитриевна тоже работала на шахтах, и это по-своему отразилось на ней. Она мало походила на простую домашнюю хозяйку. Женщина смелая, самостоятельная, она хорошо разбиралась в людях. Сразу поняв, что паренек пришел не зря, прощупывая его глазами, полными умного лукавства, она незаметно для Олега вывернула его всего наизнанку.

Впрочем, они стоили друг друга. Когда Нина вернулась, она застала их обоих сидящими рядом на лавке, на кухне, очень оживленными. Олег весело болтал ногами и, закидывая голову и потирая кончики пальцев, хохотал так заразительно, что Варвара Дмитриевна не могла не смеяться вместе с ним. Нина, взглянув на них, всплеснула руками и тоже рассмеялась, — всем троим стало так хорошо и легко, точно они были дружны много лет.

Нина сказала, что Оля пока что занята, но очень просила, чтобы Олег дождался ее. Два часа, пока не было Оли, прошли для Олега незаметно в беспечной болтовне. А между тем это были поистине решающие часы, когда сомкнулись наконец все звенья краснодонского подполья. За это время Оля успела сходить к Валько, жившему далеко от «Восьмидомиков», в одном из малых «шанхайчиков», и передать ему все, что Нина узнала от Олега.

С приходом Оли веселье, царившее в квартире ее сестры, несколько упало. Правда, Оля отнеслась к Олегу с редкостным по ее характеру радушием, — широкая добрая улыбка оживила ее всегда немного замкнутое лицо с неправильными броскими чертами, — она даже села рядом с ним на лавку, заняв место Нины. Но Оле трудно было попасть в сбивчивое и бурное течение их разговора, лишенного для любого человека со стороны всякого смысла. Душа Оли, только что вернувшейся от Валько, была переполнена совсем другими чувствами. Оля была серьезней Нины — не в смысле глубины переживаний, а в смысле умения сразу претворять мысли и чувства в практическое, жизненное дело. Кроме того, будучи постарше, Оля еще с тех времен, когда обе они работали связными Сталинского обкома, больше, чем сестра, была посвящена в самое существо дела, которым они занимались.

Она села рядом с Олегом, сняла платок, открыв темные, свернутые в тяжелый узел на затылке волосы, и примолкла. Как ни старалась она быть веселой и улыбаться, глаза ее были безучастны. Похоже было, что она здесь самая старшая, старше даже матери Нины.

Но Варвара Дмитриевна оказалась женщиной чуткой и дипломатичной.

— А чего ж мы сидим здесь, на кухне? — сказала она. — Пидем у хату да сыграем у подкидного!..

Они перешли в столовую. Варвара Дмитриевна быстро прошла в соседнюю комнату, где она спала с Ниной, и вернулась с колодой карт, темных, набрякших тяжестью многих рук, державших их.

— Ниночка, конечно, на пару с Олегом? — сказала Оля как бы невзначай.

— Нет, я с мамой! — Нина вспыхнула и с вызовом повела глазами на Олю. Ей очень хотелось бы играть в паре с Олегом, но не могла же она так сразу и раскрыть себя.

Ничего не понявший Олег смекнул, однако, что мама Нины, как старая шахтерка, должна быть опытной картежницей, и закричал:

— Н-нет, я с м-мамой!

Оттого, что он заикался, он не прокричал, а промычал это низко, как теленок, и это вышло так смешно, что все прыснули, не исключая и Оли.

— Старый да малый, — бережись, дивчата! — сказала Варвара Дмитриевна.

Настроение опять поднялось.

Старая шахтерка действительно оказалась мастером в «подкидного», но Олегом, как всегда в игре, овладел такой азарт, что он начал горячиться, и они первое время проигрывали. Оля, хорошо владевшая собой, исподтишка подзуживала Олега. Варвара Дмитриевна, невзирая на проигрыш, лукаво поглядывала на него: мальчишка очень ей нравился.

Наконец они с трудом выиграли в четвертом кругу. Оля сдала карты. Олег взглянул на свои карты и увидел, что они очень плохи. Вдруг в глазах его тоже мелькнуло лукавое выражение, и он поднял их на Варвару Дмитриевну, стараясь поймать ее взгляд. И, только глаза их встретились, он мгновенно выпятил свои полные губы как бы для поцелуя и тут же придал им прежнее выражение. В окруженных морщинками и все же таких молодых глазах Варвары Дмитриевны словно искры мелькнули. Однако она и бровью не повела и тотчас же пошла с бубен: как и предполагал Олег, старая шахтерка отлично понимала эту сигнализацию.

Олегом овладело неудержимое веселье. Теперь выигрыш им был на все время обеспечен. «Старый и малый» весело сигнализировали друг другу, то подымая глаза к небу, что означало «трефи», или, по-здешнему, «кресты», то скашивая их вбок, что означало «пики», то потрагивая указательным пальцем подбородок, что означало «черви». Наивные девушки, игравшие все более старательно, бесперечь проигрывали и никак не могли примириться с тем, что выигрыш навсегда ушел от них. Нина сидела вся красная и взволнованная. Олег после каждого их проигрыша так и заливался хохотом, потирая кончики пальцев. Наконец более опытная Оля поняла, что здесь что-то неладно, и, со свойственной ей выдержкой и умением не выдать себя, начала исподволь наблюдать за противником. Вскоре ей все стало ясно, и, улучив момент, когда Олег выпятил свои полные губы, она изо всей силы

шлепнула веером карт по его губам и хлопнула картами об стол так, что они разлетелись.

— У, мошенники! — сказала она своим ровным, спокойным голосом.

Варвара Дмитриевна рассмеялась, не обиженная. Нина, негодуя, вскочила из-за стола, но Олег, поднявшись вслед за ней, взял в обе руки ее смуглую ласковую руку и уперся ей лбом в плечо, прося прощения. В конце концов они рассмеялись все четверо.

Олегу так не хотелось возвращаться домой, а уже близился вечер, а после шести часов свободное хождение по городу было запрещено. Оля сказала, что ему все-таки лучше пойти сейчас, и, чтобы не было уже никакой возможности отступления, простилась со всеми и ушла на свою половину.

Нина вышла на освещенное вечерним солнцем крылечко проводить Олега.

— К-как не хочется уходить! — откровенно сознался он.

Они постояли на крылечке.

— У вас там что — садик? — мрачно спросил Олег.

Нина молча взяла его за руку и повела вокруг дома. Они очутились в тени дома, среди кустов жасмина, так сильно разросшихся, что кусты превратились уже в деревца.

— Х-хорошо здесь у вас. А у нас все немцы вырубили.

Нина молчала.

— Нина,— сказал он детским просящим голосом,— Нина, можно мне п-поцеловать тебя?.. Н-нет, только в щеку, п-понимаешь, п-просто в щеку...

Он не сделал никакого движения к ней, он только просил, но она даже отпрянула от него и так смутилась, что слов не могла найти.

Но он не видел ее смущения и все смотрел на нее с естественным детским выражением.

— Нет, ты знаешь, ты можешь опоздать, — сказала Нина.

То, что он может опоздать именно из-за этого поцелуя в щеку, тоже не показалось странным Олегу, — нет, конечно, Нина была права во всем. Он вздохнул, улыбнулся и подал ей руку.

— Нет, ты обязательно приходи к нам, — виновато говорила Нина, задержав его большую руку в своих ласковых руках.

Счастливый своим новым знакомством и тем, как складывались дела его, очень голодный, Олег возвращался домой. Но, видно, ему не суждено было поесть сегодня. Дядя Коля шел навстречу от калитки их дома.

— Я тебя уже давно караулю: Конопатый (так они называли денщика) все время ищет тебя.

— К ч-черту! — беспечно сказал Олег.

— Все-таки лучше от него подальше. Ты знаешь, Виктор Быстринов здесь, вчера объявился. Его немцы у Дона повернули. Давай зайдем к нему, благо у его хозяйки немцев нет, — сказал дядя Коля.

Виктор Быстринов, молодой инженер, сослуживец Николая Николаевича и его приятель, встретил их необычайной новостью:

— Слыхали? Стаценко назначен бургомистром! — воскликнул он, злобно оскалившись одной стороной рта.

— Какой Стаценко? Начальник планового отдела? — Даже дядя Коля удивился.

— Он самый.

— Брось смеяться!

— Не до смеху.

— Да не может того быть! Такой тихий, исполнительный, в жизни никого не задел...

— Так вот тот самый Стаценко, тихий, никого в жизни не задел, тот, без кого нельзя было представить себе ни одной выпивки, ни одного преферанса, про кого все говорили — вот свой человек, вот душа-человек, вот милый человек, вот симпатичный человек, вот тактичный человек,— тот самый Стаценко — наш бургомистр, — говорил Виктор Быстринов, тощий, колючий, ребристый, как штык, весь клокоча и даже булькая слюной от злости.

— Честное слово, дай опомниться, — говорил Николай Николаевич, все еще не веря,— ведь не было же среди инженеров ни одной компании, в какую бы его не приглашали! Я сам с ним столько водки выпил! Я от него не то чтобы какого-нибудь нелояльного, я вообще от него ни одного громкого слова не слыхал... И было бы у него какое-нибудь прошлое,— так ведь все ж его знают как облупленного: отец его из мелких чиновников, и сам он никогда ни в чем не был замешан...

— Я сам с ним водку пил! А теперь он нас по старому знакомству первых — за галстук, и — либо служи, либо...— и Быстринов рукою с тонкими пальцами сделал петлеобразный жест под потолок.— Вот тебе и симпатичный человек!

Не обращая внимания на примолкшего Олега, они еще долго переживали, как это могло получиться, что человек, которого они знали несколько лет и который всем так нравился, мог стать бургомистром при немцах. Наиболее простое объяснение напрашивалось такое: немцы заставили Стаценко стать бургомистром под страхом смерти. Но почему же выбор врага пал именно на Стаценко? И потом внутренний голос, тот сокровенный, чистый голос совести, который опре-

деляет поступки людей в самую ответственную и страшную минуту жизни, подсказывал им, что если бы им, обыкновенным, рядовым советским инженерам, выпал этот выбор, они предпочли бы смерть такому падению.

Нет, очевидно, дело было не так просто, что Стаценко согласился стать бургомистром под страхом смерти. И, стоя перед лицом этого непонятного явления, они в который уже раз говорили:

— Стаценко! Скажи, пожалуйста!.. Нет, подумай только! Спрашивается, кому же тогда можно верить?

И пожимали плечами и разводили руками.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Стаценко, начальник планового отдела треста «Краснодонуголь», был еще не старым человеком, где-то между сорока пятью и пятьюдесятью. Он действительно был сыном мелкого чиновника, до революции служившего в акцизе, и действительно никогда ни в чем «не был замешан». По образованию он был инженер-экономист и всю жизнь работал как экономист-плановик в различных хозяйственных организациях.

Нельзя сказать, чтобы он быстро продвигался по служебной лестнице. Но он и не стоял на одном месте: можно сказать, что он восходил не с этажа на этаж, а со ступеньки на ступеньку. Но он всегда был недоволен тем местом, какое занимал в жизни.

Он был недоволен не тем, что его трудолюбие, энергия, знания, скажем, недостаточно используются и в силу этого он не имеет от жизни того, чего бы он заслуживал. Он был недоволен тем, что не получает от жизни всех ее благ без всякой затраты труда, энергии и знаний. А то, что такая жизнь возможна и что она приятна, он это наблюдал сам в старое время, когда был молодым, а теперь он любил читать об этом в книгах — о старом времени или о заграничной жизни.

Нельзя сказать, чтобы он хотел стать баснословно богатым человеком, крупным промышленником, или купцом, или банкиром, — это тоже потребовало бы от него энергии, волнений: вечная борьба, соперники, стачки, какие-то там, черт бы их побрал, кризисы! Но ведь существуют же на свете тихие доходы, какая-нибудь там рента или просто хороший оклад на спокойной и почтенной должности,— существуют везде, но только «не у нас». И все развитие жизни «у нас» показывало Стаценко, что годы его идут, а он все

больше отдаляется от идеала своей жизни. И поэтому он ненавидел общество, в котором жил.

Но, будучи недоволен общественным устройством и своей судьбой, Стаценко никогда ничего не предпринимал для изменения общества и своей судьбы, потому что он всего боялся. Он боялся даже крупно сплетничать и был самым обыкновенным, рядовым сплетником, не выходившим за пределы разговоров о том, кто сколько пьет и кто с кем живет. Он никогда не критиковал конкретных лиц, ни ближних, ни дальних, но любил поговорить вообще о бюрократизме в учреждениях, об отсутствии личной инициативы в торговых организациях, о недостатках образования молодых инженеров по сравнению «с его временем» и о некультурном обслуживании в ресторанах и в банях. Он никогда ничему не удивлялся и склонен был от всех людей ждать решительно всего. Если кто-нибудь рассказывал о крупной растрате, о загадочном убийстве или просто о семейной неприятности, Стаценко так и говорил:

— Я лично не удивляюсь. Всего можно ждать. Я, знаете ли, жил с одной дамочкой,— очень культурная, между прочим, замужняя,— и она меня обокрала...

Как и у большинства людей, все, что он носил, чем обставлял квартиру, чем мылся и чистил зубы, было отечественного производства и из отечественных материалов. И в компании инженеров, побывавших в заграничной командировке, Стаценко любил за рюмкой водки простовато и хитровато подчеркнуть это.

— Наше, советское! — говорил он, теребя полной и необыкновенно маленькой по его грузной комплекции рукою кончик рукава своего пиджака в полоску. И нельзя было понять, говорит ли он это с гордостью, или в осуждение.

Но втайне он завидовал заграничным галстукам и зубным щеткам своих товарищей до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом.

— Премиленькая вещичка! — говорил он. — Подумайте только — зажигалка, она же перочинный ножик, она же пульверизатор! Нет, все-таки у нас так не умеют, — говорил этот гражданин страны, в которой сотни и тысячи рядовых крестьянских женщин работали на тракторах и комбайнах на колхозных полях.

Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, и мог часами, по нескольку раз в день перелистывать заграничные журналы — не те журналы по экономике горного дела, которые иногда попадали в трест, эти журналы его не могли интересовать, поскольку он не знал языков и не стремился их изучить, а те, что завозили иногда сослуживцы, — журна-

лы мод и вообще такие журналы, в которых было много элегантно одетых женщин и просто женщин возможно более голых.

Но во всех этих высказываниях, вкусах, привычках и склонностях не было ничего подчеркнутого, что резко выделяло бы его среди других людей. Потому что многие, очень многие люди, у которых были совсем другие интересы, иная деятельность, иные мысли и страсти, в общении со Стаценко в том или ином случае проявляли сходные с ним вкусы или взгляды, не задумываясь над тем, что в их жизни они занимают десятое, или последнее, или просто случайное место, а в жизни Стаценко они являются выражением всей его натуры.

И так бы он и прожил, этот грузный, с малиновыми лицом и лысиной, медлительный, не вызывающе, но достойно-солидный человек-невидимка, с тихим низким грудным голосом и маленькими красными глазками застарелого любителя выпить, прожил бы до конца дней, ни с кем не дружа, принимаемый решительно всеми, среди ненавистных ему дневных и ночных служебных часов, заседаний месткома, непременным членом которого он состоял, среди выпивок и преферансов, поднимаясь, независимо от собственной воли, со ступеньки на ступеньку по медленной служебной лестнице, — так бы он и прожил, если бы...

То, что страна, в которой жил этот человек-невидимка, не может выстоять против Германии, было ясно Стаценко с самого начала: не потому, что он был осведомлен о ресурсах обеих стран и хорошо разбирался в международных отношениях,— он решительно не знал и не хотел знать ни того, ни другого, — а потому, что не могла же страна, которая не соответствовала идеалу его жизни, выстоять против страны, которая, как он полагал, вполне отвечала идеалу его жизни. И уже в тот воскресный час июня, когда он услышал по радио речь Молотова, Стаценко ощутил во всех внутренностях некоторое беспокойство, род волнения, возникающего перед необходимостью перемены обжитой квартиры.

При каждом известии об оставлении Красной Армией городов, все более отдаленных от границы, он все более понимал, что квартиру переменить необходимо. А в момент взятия Киева Стаценко уже был как бы в пути на новое местожительство с грандиозными планами его устройства и освоения.

Так к моменту вступления немцев в Краснодон Стаценко проделал духовно примерно тот же путь, что Наполеон проделал физически с момента бегства с острова Эльбы до вступления в Париж.

К генералу фон Венцелю его, Стаценко, долго и грубо не впускали сначала часовой, потом денщик. На беду его из дома вышла бабушка Вера, которой Стаценко очень боялся, и он, сам не зная, как это получилось, торопливо снял шляпу, поклонился бабушке в пояс и сделал вид, что воспользовался двором, чтобы пройти с улицы на улицу. И бабушка не нашла в этом ничего удивительного. Все-таки он дождался у калитки выхода молоденького адъютанта.

Толстый Стаценко, сняв шляпу, вприпрыжку бежал сбоку и немножко сзади немецкого офицера. Адъютант, не глядя на него и не вникая в то, что говорил Стаценко, указал ему пальцем на немецкую комендатуру.

Комендант города Штоббе, штурмфюрер службы СС, был из тех отлитых по единой модели пожилых прусских жандармов, каких Стаценко в юности своей немало насмотрелся в «Ниве» на фотографиях, изображавших встречи венценосцев. Штурмфюрер Штоббе был апоплексичен, каждый ус его с проседью был туго закручен, как хвост морского конька, одутловатое лицо его, покрытое мельчайшей сетью желто-сизых прожилок, было налито пивом, а выпученные глаза были того мутного бутылочного цвета, в котором нельзя отличить белка от роговицы.

— Вы хотите служить в полиции? — отбросив все несущественное, прохрипел штурмфюрер Штоббе.

Стаценко, застенчиво склонив набок голову и плотно приложив к ляжкам полные маленькие руки с пальчиками, похожими цветом и формой на заграничные консервированные сосиски, сказал:

— Я инженер-экономист, я бы полагал...

— К майстеру Брюкнер!—не дослушав, прохрипел Штоббе и так выпучил водяные глаза со слившимися белком и роговицей, что Стаценко, зигзагообразно отступая от коменданта, вышел в дверь задом.

Жандармерия помещалась в длинном, давно беленном и облупившемся одноэтажном бараке, прижавшемся к горушке, ниже райисполкома, и отделенном пустырем от района города, называвшегося в просторечии «Восьмидомики». Раньше там помещалась городская и районная милиция, и Стаценко запросто бывал в этом помещении как-то перед войной в связи со случившейся у него на дому покражей.

Сопровождаемый немецким солдатом с ружьем, Стаценко вошел в полутемный коридор, так знакомый ему, — и вдруг отпрянул в испуге: он чуть не столкнулся с длинным, на полтуловища выше Стаценко, человеком и, вскинув глаза, узнал в этом человеке в старомодном картузе известного в Краснодоне шахтера — Игната Фомина. Игната Фомина никто

не сопровождал. Он был в начищенных сапогах и в костюме, таком же приличном, как и у Стаценко. И оба этих прилично одетых господина, шмыгнув глазами, разошлись, будто не узнали друг друга.

В приемной того самого кабинета, где помещался когда-то начальник краснодонской милиции, Стаценко увидел перед собой Шурку Рейбанда, экспедитора хлебозавода, в хорошо знакомой Стаценко черной, с малиновым верхом, кубанке на маленькой смуглой костяной головке. Шурку Рейбанда, выходца из немецких колонистов, знал весь город, потому что он отпускал хлеб столовым всех учреждений, хлебным киоскам и магазинам горпо. Никто его и не звал иначе, как Шуркой Рейбандом.

— Василий Илларионович!..— в тихом изумлении сказал Шурка Рейбанд, но, увидев за спиной Стаценко солдата, запнулся.

Стаценко склонил лысину немного набок и вперед и сказал:

— Что вы, господин Рейбанд! Я хочу... — он сказал — не «служить», а «услужить».

Господин Рейбанд приподнялся на носках, помедлил и, не постучавшись, нырнул в кабинет начальника. И стало ясно, что Шурка Рейбанд является теперь неотъемлемой составной частью «нового порядка» — Ordnung'а.

Он пробыл там довольно долго. Потом в приемной прозвучал начальственный звонок, и немецкий солдат-писарь, одернув мышиный мундирчик, проводил Стаценко в кабинет.

Майстер Брюкнер был собственно не майстер, а вахтмайстер, то есть жандармский вахмистр. И это была собственно не жандармерия, а краснодонский жандармский пункт. Окружная жандармерия помещалась в городе Ровеньки. Впрочем, майстер Брюкнер был не просто вахтмайстер, а гауптвахтмайстер, то есть старший жандармский вахмистр.

Когда Стаценко вошел в его кабинет, майстер Брюкнер не сидел, а стоял, заложив руки за спину. Он был высокий и не очень тучный, с опущенным и сильно выдавшимся круглым животом. Под глазами у него были мягкие морщинистые темные мешки того происхождения, которое, если вникнуть в него, могло бы пояснить, почему гауптвахтмайстер Брюкнер проводил большую часть своей сознательной жизни стоя, а не сидя.

— По образованию и опыту я инженер-экономист, я полагал бы... — сказал Стаценко, застенчиво склонив голову и приложив к брюкам в полоску плотно сдвинутые пальчики-сосиски.

Майстер Брюкнер повернул голову к Рейбанду и брезгливо сказал по-немецки:

— Скажи ему, что, по полномочию фюрера, я назначаю его бургомистром.

В ту же самую секунду Стаценко представил себе, какие люди из тех, кого он знал, кто раньше проходил мимо него или относился к нему панибратски, теперь попадут в зависимость от него. И он низко склонил лысину, сразу покрывшуюся потом. Ему казалось, что он много и сердечно благодарит майстера Брюкнера, на самом деле он молча шевелил губами и кланялся.

Майстер Брюкнер отогнул полу мундира, открыв плотно обтянутый брюками опущенный живот, круглый, как кавун, вынул из кармана золотой портсигар, достал сигаретку и прямым точным движением большой, в ромбиках желтой кожи, руки вставил сигаретку между губ. Подумав, он взял из портсигара еще одну сигаретку и протянул ее Стаценко.

Стаценко не посмел отказаться.

Потом майстер Брюкнер, не глядя, нащупал на столе распечатанную узкую плитку шоколада, не глядя, отломил от нее несколько слитных квадратиков и молча протянул Стаценко.

— Это не человек, а идеал, — рассказывал впоследствии Стаценко своей жене.

Рейбанд препроводил Стаценко к заместителю старшего вахмистра господину Балдеру, который был уже просто вахмистром и всей своей комплекцией, манерами, даже тихим низким грудным голосом так походил на Стаценко, что, будь Стаценко в немецком мундире, его уже трудно было бы отличить от вахмистра. Стаценко получил от него инструкцию о сформировании городской управы и ознакомился со всей структурой власти при «новом порядке» — Ordnung'е.

Согласно этой структуре краснодонская городская управа во главе с бургомистром была просто одним из отделов канцелярии немецкого жандармского пункта.

Так Стаценко стал бургомистром.

А Виктор Быстринов и дядя Коля стояли теперь друг против друга, разводили руками и говорили:

— Кому же тогда можно верить?

В тот вечер, когда Матвей Шульга распростился с Кондратовичем, ему уже ничего не оставалось, как направить свой путь к Игнату Фомину, на «Шанхай».

По внешним признакам, — а только по внешним признакам и мог теперь Матвей Костиевич составить первое впечатление, — Фомин произвел на него благоприятное впечатление. Костиевичу понравилось, что, когда он сказал пароль, Игнат Фомин не выразил волнения и излишней торопливости, а вни-

мательно осмотрел Костиевича, кинул взгляд вокруг, потом пропустил Костиевича в горницу и только здесь сказал ему отзыв. Фомин был очень немногословен и ни о чем не расспрашивал, а только внимательно слушал и на все распоряжения отвечал: «Будет сделано». Понравилось Костиевичу и то, что Игнат Фомин у себя дома был в жилете под пиджаком и при галстуке, и с часами с цепочкой, — в этом он видел признак культурного, интеллигентного рабочего, воспитанного в советское время.

Правда, некоторые мелочи не то чтобы не понравились Костиевичу — они были так незначительны, что не могли вызвать с его стороны столь определенного отношения,—но были отмечены им как неприятные. Ему показалось, что жена Фомина, мясистая, сильная женщина с широко поставленными узкими косящими глазами и неприятной улыбкой, обнажавшей крупные редкие желтые зубы, с первого же момента их знакомства стала относиться к нему, к Шульге, как-то уж очень льстиво и угодливо. И еще невольно отметилось ему в первый же вечер, что Фомин — Игнат Семенович, так сразу же стал называть его Шульга, — немного скуповат: на откровенное заявление Костиевича о том, что он сильно проголодался, Фомин сказал, что с продовольствием им, должно быть, будет туговато. И они действительно нельзя сказать, чтобы уж так хорошо покормили его при их достатке. Но Костиевич видел, что они едят то же, что и он, и подумал, что он не может знать всех личных обстоятельств их жизни.

И эти мелочи не могли разрушить того общего благоприятного впечатления, какое Фомин произвел на Матвея Костиевича. А между тем самый худший и последний из людей, к которому Матвей Костиевич мог бы зайти без всякого выбора, по чистой случайности, был бы лучше Игната Фомина. Потому что из всех людей, населявших город Краснодон, Игнат Фомин был самым страшным человеком, страшным особенно потому, что он уже давно не был человеком.

До 1930 года у себя на родине, в Острогожском округе Воронежской области, Игнат Фомин, который вовсе не был тогда Игнатом Фоминым, слыл самым богатым и сильным человеком. Он владел непосредственно и через подставных лиц двумя мельницами, двумя конными машинами-лобогрейками, многими плугами, двумя веялками, молотилкой, имел три усадьбы, до десятка лошадей, шесть коров, несколько десятин плодового сада, пасеку до ста ульев, и, кроме постоянно работавших у него четырех батраков, он мог исподволь пользоваться трудом крестьян из нескольких волостей, потому что во всех этих волостях было много людей, материально зависевших от него.

Он был богат и до революции, но еще богаче были два его старших брата, особенно тот старший брат, который унаследовал хозяйство отца. А Игнат Фомин, как самый младший, женившийся перед войной четырнадцатого года и выделенный отцом на самостоятельное хозяйство, был обижен им. Но после революции, вернувшись с германского фронта, Игнат Фомин очень ловко использовал свою якобы бедность, прикинулся обиженным старой властью человеком и проник во все органы советской власти и общественные органы села, начиная с комитета бедноты, как человек не только неимущий и революционный, но и беспощадный к врагам революции. Используя эти органы власти и то, что братья его были, как и он, действительно богатые и ненавидевшие советскую власть люди, Игнат Фомин подвел под суд и высылку сначала самого старшего, а потом и второго брата, завладел их имуществом и пустил по миру их семьи с малыми детьми, которых ему было не жаль, особенно потому, что своих детей у него не было и он не мог их иметь. Так он стал в округе тем, кем он был. И до самого 1930 года, несмотря на эти богатства, многие представители власти считали его своеобразным явлением на советской почве — богатым, но вполне своим человеком, так называемым культурным хозяином.

Но крестьяне ряда волостей, куда простиралось его влияние, знали, что это беспощадный кулак-кровопийца и страшный человек. И, когда в тридцатом году стали создаваться колхозы и народ при поддержке власти начал раздевать богатеев, на Игната Фомина, жившего тогда под старой, собственной фамилией, обрушилась волна народной мести. Игнат Фомин лишился всего и подлежал высылке на север, но, как человека известного и, казалось, смирного, местные власти не взяли его до высылки под стражу. А Игнат Фомин с помощью жены ночью убил председателя сельского совета и секретаря сельской ячейки, — в эти дни председатель и секретарь жили не при своих семьях, а в помещении сельского совета и в ночь, когда подстерег их Фомин, вернулись из гостей сильно выпившие. Фомин убил их и бежал вместе с женой сначала в Лиски, а потом в Ростов-на-Дону, где у него были свои верные люди.

В Ростове он купил документы на имя рабочего железнодорожных мастерских Игната Семеновича Фомина, документы, по которым он выглядел заслуженным рабочим человеком, выправил соответствующие документы и на жену свою. И так он появился в Донбассе, зная, что там очень нужны рабочие руки и не будут допытываться, кто он и откуда.

Он твердо верил в то, что рано или поздно дождется своего часа, а пока что наметил для себя определенную и ясную

линию поведения. Прежде всего он знал, что должен трудиться на совесть: во-первых, потому, что так ему легче будет спрятаться, во-вторых, потому, что добросовестный труд при его сноровке и уменье даст ему возможность жить в достатке, и, в-третьих, потому, что, как он ни был богат в прошлом, труд всегда был ему в привычку. А кроме того, он решил особенно не высовываться, не лезть в общественные дела, а к начальству относиться с покорностью и, избави бог, никого не критиковать.

Так с течением времени этот человек-невидимка стал уважаем властями не только как прилежный, честный рабочий, но и как человек большой скромности и дисциплины. У него хватило выдержки ничем не изменить этой своей линии поведения, даже когда немцы подошли близко к Ворошиловграду. Он не сомневался в том, что немцы будут здесь. И только когда его спросили, не согласится ли он предоставить свою квартиру подпольной организации на случай прихода немцев, он чуть не выдал себя, такое им овладело чувство злорадства и наслаждения местью.

И даже то, что так понравилось Шульге,—что Фомин ходил у себя дома в пиджаке и в галстуке, и при часах, — объяснялось не его любовью к опрятности, — в обычное время он, как и все рабочие, одевался чисто, но в простую повседневную одежду, — а объяснялось тем, что он с часу на час ждал немцев и, желая понравиться им, вытащил из сундука все лучшее из того, что имел.

В то время, когда Стаценко находился сначала у старшего жандармского вахмистра Брюкнера, а потом у вахмистра Балдера, Матвей Костиевич лежал в том же бараке, на второй половине, в маленькой темной каморке, избитый и окровавленный.

В прошлом вся эта половина барака, состоявшая из нескольких камер и разделенная вдоль узким коридором, продолжением коридора, разделявшего служебные помещения милиции, представляла собой единственное в Краснодоне место заключения.

«Новый порядок», Ordnung, состоял в том, что теперь те несколько общих камер и несколько одиночек, которые составляли помещение дома заключения, были битком набиты мужчинами, женщинами, подростками и стариками. Здесь были люди из города и из станиц и хуторов, задержанные по подозрению в том, что они советские работники, партизаны, коммунисты, комсомольцы; люди, поступком или словом оскорбившие немецкий мундир; люди, скрывшие свое еврейское происхождение; люди, задержанные за то, что они без документов, и просто за то, что они люди.

Людей этих почти не кормили и не выпускали не только на прогулку, но и по естественным надобностям. В камерах стояло невыносимое зловоние, и старые полы барака, давно тронутые грибком, были загажены, пропитаны мочой и кровью.

Но как ни забиты были все камеры, Матвея Шульгу, или Евдокима Остапчука, под чьим именем он был арестован, поместили отдельно.

Он был избит, еще когда его брали, — он оказал сопротивление и обнаружил такую физическую силу, что с ним долго не могли справиться. Потом его били здесь, в тюрьме, гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер и арестовавшие его ротенфюрер СС Фенбонг, начальник полиции Соликовский и немецкий полицейский Игнат Фомин, надеясь сразу же, пока он не пришел в себя, сломить его волю. Но если от Матвея Костиевича нельзя было ничего выведать в обычном состоянии, тем более нельзя было ничего выведать, когда он был в ожесточении борьбы.

Он был так силен, что и теперь, избитый и окровавленный, он лежал не от изнеможения, а заставлял себя лежать, чтобы отдохнуть. Но если бы его снова взяли, он мог бы еще сражаться столько, сколько бы потребовалось. У него саднило лицо, один глаз затек кровью. У него страшно ломило руку, по которой, выше кисти, его ударил железным прутом унтер Фенбонг. Душу Матвея Костиевича терзали представления того, как немцы где-то так же мучают его жинку, его детей, мучают из-за него, из-за Шульги, и нет уже никакой надежды, чтобы он когда-нибудь мог их спасти.

Но страшнее физической боли и этой душевной муки палило Костиевича сознание того, что он попал в руки врага, не выполнив своего долга, и что он сам в этом виновен.

То, казалось бы, естественное в его положении оправдание, что не он, а другие люди, давшие ему ненадежную явку, виноваты в его провале, только в самое первое время пришло ему в голову, но он тотчас же отбросил его, как ложное утешение слабых.

По опыту своей жизни он знал, что успех всякого общественного дела не может не зависеть от многих людей, среди которых найдутся и такие, кто плохо выполнит свою часть дела или просто ошибется. Но только слабый духом и жалкий человек, будучи поставлен на чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах и не выполнив его, способен жаловаться на то, что другие люди виноваты в этом. Внутренний чистый голос совести говорил ему, что он, особенный человек, с опытом прошлого подполья, потому и был выдвинут на это чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы своей волей, опытом, организационным навыком преодолеть все и всякие

опасности, трудности, лишения, препятствия, ошибки других людей, от которых зависело это дело. Вот почему Матвей Костиевич не мог винить и не винил никого в своем провале. И сознание того, что он не только провалился сам, а не выполнил своего долга, страшнее и горше всякой иной муки терзало душу Костиевича.

Неумолкающий правдивый голос совести подсказывал ему, что где-то, в чем-то он поступил неправильно. И он снова и снова мучительно перебирал в памяти своей мельчайшие подробности своих поступков и слов с того момента, как расстался с Иваном Федоровичем Проценко и Лютиковым, и не мог найти, где, в чем и когда он поступил неправильно.

Матвей Костиевич раньше совсем не знал Лютикова, а сейчас он бесконечно волновался за него, — в особенности потому, что теперь только от Лютикова зависело, будет ли выполнено дело, порученное им обоим. Но еще чаще, в страшных мучениях, в тоске невыносимой, душа его обращалась к Проценко, их общему руководителю и личному его другу, и вопрошала:

«Где ж ты, Иван Федорович? Як ты? Чи жив ты? Бьешь ли ты проклятых ворогов, пересилил ли ты их, перехитрил ли ты их? А вдруг, так же как и меня, терзают душу твою? И вороны уже клюют серед степу твои веселые очи?..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Простившись с Лютиковым и Шульгой, Иван Федорович и жена его выехали к отряду, базировавшемуся в Митякинских лесах по ту сторону Северного Донца. Пришлось сделать изрядный крюк, чтобы обогнуть территорию, уже занятую немцами. Все-таки Иван Федорович успел переправить свой «газик» через Донец и ночью проскочить на базу, когда немецкие танки уже входили в станицу, по имени которой и леса получили свое название.

Леса, леса... Разве это были леса? Разве можно было эти кустарниковые заросли, разбросанные по небольшой территории, сравнить с лесами белорусскими или брянскими — родиной партизанской славы! В районе Митякинских лесов не то что открывать военные действия, даже спрятаться негде было большому отряду.

К счастью, когда Иван Федорович и жена его прибыли на базу, партизаны уже покинули ее и вели бои с немцами на дорогах западного направления.

Как жалел потом Иван Федорович, что в этот первый же день своего приезда не сделал, не сумел сделать всех выводов

из такой простой и ясной мысли, пришедшей ему в голову: отряд, едва ли не самый крупный в области, не имеет базы укрытия!

Ворошиловградская область разделялась на несколько территориальных округов, во главе которых поставлены были секретари подпольного обкома партии. Иван Федорович был одним из этих секретарей. Ведению Ивана Федоровича подлежало несколько райкомов с множеством подчиненных им подпольных групп. В районах были еще особые диверсионные группы, из которых одни подчинялись местному подпольному райкому, другие — непосредственно обкому, третьи — Украинскому или даже Центральному штабу.

Эта разветвленная подпольная сеть обслуживалась еще более сложной по характеру конспирации системой явочных квартир, мест укрытия, баз продовольствия и вооружения, средств связи — технических и через специальных связных. Кроме обычных явочных квартир в районах, в распоряжении Ивана Федоровича, как и других руководителей областного подполья, были квартиры, известные только им: одни — для связи с Украинским штабом, другие — для связи руководителей области между собой, третьи — для связи с руководителями районов или командирами отрядов.

На территории каждого округа действовало несколько мелких партизанских отрядов. А кроме того, в каждом округе был создан один более или менее крупный отряд, где, по первоначальному замыслу, и должен был находиться секретарь обкома — руководитель подполья в округе: предполагали, что пребывание в крупном партизанском отряде обеспечит секретарю обкома относительную безопасность, а значит, и бо́льшую свободу действий.

Главной явочной квартирой для связи руководителей ворошиловградского подполья был медицинский пункт в большом селе Орехово Успенского района. Хозяйкой квартиры Иван Федорович назначил местного врача Валентину Кротову, сестру Ксении Кротовой, связной Ивана Федоровича. В то время, когда Иван Федорович еще находился в Краснодоне, Ксения Кротова уже жила у своей сестры — врача, и от нее, от Ксении Кротовой, Иван Федорович должен был получить первые сведения о том, как обстоят дела в других округах после оккупации их немцами.

Возложив на своего помощника обязанности главного хранителя партизанского продовольствия и оружия в Митякинских лесах и одновременно — начальника всей связи с округами, Иван Федорович выехал к своему отряду. Собственно, он не выехал, а пошел. Вся местность вокруг кишела немецкими войсками. Как ни тешил себя Иван Федорович мыслью,

что будет всюду разъезжать на своем газике,— он даже бензина припас по крайней мере на год, — пришлось загнать многострадальный газик в пещерку в одном из глиняных карьеров в лесу и завалить вход. Екатерина Павловна, исполнявшая при Иване Федоровиче должность связной и разведчицы, посмеялась над мужем. и они вместе пошли в отряд пешком.

Всего лишь несколько суток прошло с того времени, как в помещении Краснодонского райкома партии Иван Федорович уговаривался с генералом, командиром дивизии, о связи, а как все изменилось вокруг! Конечно, ни о каком взаимодействии с дивизией уже не могло быть и речи. Дивизия эта выстояла на Донце под Каменском ровно столько, сколько ей было приказано, потеряла более чем три четверти своего уже далеко не полного состава, а потом снялась и ушла. Она потеряла так много, что казалось, уже и нет никакой дивизии, но никто не говорил о ней в народе — «разгромлена», никто не говорил о ней — «попала в окружение» или «отступила», все говорили о ней — «ушла». И она действительно ушла,— ушла, когда на огромных пространствах между Северным Донцом и Доном уже действовали крупные немецкие соединения.

Дивизия шла по территории, занятой врагом, она шла через реки и степи, шла с боями, используя для обороны крутые берега степных речек, она то исчезала, то вновь возникала в другом месте. В первые дни, когда она была еще не так далеко, народная молва о боевых делах дивизии еще докатывалась до здешних мест. Но дивизия все уходила и уходила на восток, стремясь к какому-то дальнему, назначенному ей пределу, и, должно быть, так далек он был, этот предел, что уже и следа молвы не оставалось от дивизии, жила только память в сердце народа — слава, легенда.

Партизанский отряд Ивана Федоровича действовал сам по себе, действовал неплохо. В первые же дни отряд разгромил в открытом бою несколько мелких подразделений войск противника. Партизаны истребляли оставшихся солдат и офицеров, жгли цистерны с бензином, захватывали обозы, ловили в селах немецких администраторов и казнили их. Сведений о действиях других отрядов все еще не поступало, но Иван Федорович догадывался, что и другие отряды начали неплохо— по изустной молве. Народная молва преувеличивала подвиги партизан, но это означало только, что их борьба пользуется поддержкой народа.

Когда противник бросил против отряда крупные силы, Иван Федорович отверг предложение командования вернуться на базу и ночью тайно переправил отряд на правый берег Донца. Здесь никто не ждал партизан, и они произвели неслыханный переполох в немецких тылах.

Но с каждым днем все труднее было крутиться в нешироком пространстве степи, так густо населенном, что рудники, хутора, станицы почти примыкали одни к другим. Отряд находился в беспрерывном движении. Только хитрость Ивана Федоровича, да отличное знание местности, да хорошее вооружение давали возможность отряду уходить пока что без больших потерь. Но доколе же возможно было это безостановочное верчение на месте, когда враг висел на хвосте?

Большие партизанские отряды, созданные в подражание отрядам лесных местностей или таких, где были широкие незаселенные степные пространства,— отряды этого типа были непригодны в густонаселенном промышленном Донбассе. Иван Федорович пришел к этому выводу, когда беда уже стучалась в дверь.

Известия, поступившие от Ксении Кротовой, поразили его в самое сердце. Крупный отряд, действовавший в непосредственной близости от Ворошиловграда, окруженный противником, распался на части, а секретарь обкома Яковенко, находившийся в этом отряде, был убит. Из Кадиевского отряда, созданного по такому же типу, что и отряд Яковенко и отряд Ивана Федоровича, спаслось всего девять бойцов во главе с командиром отряда. Противник, разбивший отряд, понес жертвы втройне, но какие же потери врага можно было считать расплатой за павшую в бою шахтерскую гвардию знаменитой Кадиевки! Командир отряда извещал Ивана Федоровича, что набирает новых бойцов, но будет действовать теперь только мелкими группами. Боково-Антрацитовский отряд сумел вырваться из окружения без больших потерь и тут же разделился на несколько мелких отрядов, действующих под общим командованием. Небольшие отряды — Рубежанского, Кременского, Ивановского и других районов — действовали успешно и почти без потерь. Отряд Попаснянского района, один из самых крупных в области, с самого начала действовал небольшими группами под общим командованием, и сам народ оценил успех его борьбы, дав отряду прозвище «Грозный». А новые отряды, которые рождались в районах, как грибы, — из местного населения, из отставших бойцов и офицеров Красной Армии,— все они возникали уже только в виде небольших партизанских групп.

Это было веление самой жизни.

Иван Федорович получил эти сведения, и ему нужно было всего лишь несколько часов, чтобы разделить и свой отряд на несколько небольших групп, но этих часов судьба уже не отпустила Ивану Федоровичу.

Немцы окружили их на рассвете, а теперь уже солнце склонялось к вечеру.

Когда-то здесь был ручей, впадавший в Северный Донец. Ручей так давно пересох, что жители ближнего хутора Макаров Яр уже не помнили, когда здесь была вода. На месте ручья осталась лесистая балка. Узкая в вершине и все более широкая к устью, она имела форму треугольника,— лес широкой полосой выходил на самый берег реки.

Иван Федорович с отросшей мягкой темно-русой мужицкой бородой лежал в низкорослых кустах, на самом трудном участке обороны, в вершине балки. Немецкая пуля скубанула его повыше правой залысины, сняв кусочек кожи с волосами, кровь натекла на висок и запеклась, но Иван Федорович не чувствовал этого. Он лежал в кустах и стрелял из автомата, а рядом остывал другой автомат.

Екатерина Павловна лежала неподалеку от мужа с лицом строгим и бледным и тоже стреляла. Все движения ее были экономные, точные, полные скрытой энергии и не замечаемого ею самой природного изящества,— со стороны казалось, она управляет своим автоматом одними пальцами. Правее ее лежал старик Нарежный, колхозник из Макарова Яра, пулеметчик «старого германского бою», как определил он себя.

Тринадцатилетний мальчик, внук Нарежного, обложенный ящиками с патронами, заряжал диски. А позади ящиков, в ложбинке, не отпуская нагретой трубки телефона, адъютант командира, находившегося не вместе с Иваном Федоровичем, а на берегу реки, все время бубнил на своем условном языке:

— Мама слушает... мама слушает... Кто? Здорово, тетя!.. Мало слив? Возьми у племянника... Мама слушает, мама слушает... У нас все в порядке. А у вас?.. Дайте им жару!.. Сестричка! Сестричка! Сестричка! Ты что, заснула? Братец просит подсобить огоньком налево...

Нет, не мысль о возможности собственной гибели и гибели жены, даже не чувство ответственности за жизни людей, а сознание того, что все это можно было предусмотреть и тогда не было бы того тяжкого положения, в котором они очутились, терзало душу Ивана Федоровича.

Он все-таки разбил отряд на несколько групп и в каждую назначил командира и заместителя по политической части и каждому назначил свое место, где можно будет потом базироваться. Одним из этих новых мелких отрядов должен был командовать прежний командир вместе со своим заместителем и начальником штаба. Они должны были представлять общее командование для всех отрядов и, так как их будет теперь немного, по-прежнему базироваться в Митякинских лесах.

Иван Федорович подготовил командиров и бойцов к тому, чтобы они продержались здесь, в балке, до наступления ночи,

а потом во главе с ним, с Иваном Федоровичем, прорвались через кольцо противника в степь. А чтобы людям легче было уйти после прорыва, Иван Федорович произвел внутри отрядов разбивку на еще более мелкие группки в три—пять человек, которые должны были уже спасаться каждая своим путем. Его самого с женой обещал на время укрыть в надежном месте старик Нарежный.

Иван Федорович знал, что часть людей погибнет во время прорыва, что часть будет переловлена, что найдутся и такие, кто не погибнет, но смалодушествует и уже не придет в назначенное место, на базу. И все это тяжким моральным грузом ложилось Ивану Федоровичу на́ душу. Но он не только не делился ни с кем своими переживаниями, а его лицо, и жесты, и все его поведение были обратны тому, что он переживал. Лежа в кустах, маленький, складный, румяный, обросший темной мужицкой бородой, Иван Федорович исправно бил по противнику и перекидывался шутками со стариком Нарежным.

В лице у Нарежного было что-то молдаванское, даже турковатое: борода с курчавинкой, черная, смолистая, глаза черные, быстрые, с огоньком. Весь он, подсушенный, как стебель на солнце, с широкими сильными сухими плечами и руками, при кажущейся медлительности движений, был полон скрытого огня.

Как ни тяжело было их положение, оба они казались довольными и взаимным соседством и, нельзя сказать, чтобы уж очень сложным, разговором, который вели между собой.

Примерно через каждые полчаса Иван Федорович с посверкивающей в глазах его лукавой искрой говорил:

— Ну як, Корний Тихонович, трошки жарко?

На что Корней Тихонович не оставался в долгу и отвечал:

— Та не можу сказать, щоб прохладно, но ще и не жарко, Иван Федорович.

А если немец особенно наседал, Иван Федорович говорил:

— Коли б вин мав минометы да пидкинув бы нам огурков, вот тоди б нам дюже жарко було! А, Корний Тихонович?

На что Корней Тихонович опять-таки не оставался в долгу и спокойно отвечал:

— Щоб такий лис закидать, треба богато огурков, Иван Федорович...

И вдруг оба они сквозь вихрь автоматного огня услышали нарастающий издали, со стороны Макарова Яра, стрекот моторов. На секунду они даже перестали стрелять.

— Чуешь, Корний Тихонович?

— Чую.

Иван Федорович предостерегающе повел глазами в сторону жены и вытянул губы в знак молчания.

По дороге, не видной отсюда, двигался на подмогу немцам отряд мотоциклистов. Должно быть, его услышали в разных местах балки. Телефон лихорадочно заработал.

Солнце уже закатилось, но луна еще не взошла, и сумерки не надвинулись, и тени ушли. В небе еще тлели множественные тихие светлые краски, переходящие одна в другую, и на земле, на кустах и деревьях, на лицах людей, на ружьях и разбросанных по траве стреляных гильзах — на всем лежал этот странный меркнущий свет, готовый вот-вот быть поглощенным тьмою. Всего несколько мгновений постояла эта неопределенность — ни день, ни вечер,— и вдруг точно какая-то сумеречная изморось или роса начала рассеиваться в воздухе, оседать на кустах и на земле и густеть.

Стрекот мотоциклов, нарастающий со стороны Макарова Яра, распространился по всей местности. Перестрелка развивалась то там, то здесь, все сильнее разгораясь у самой реки.

Иван Федорович взглянул на часы.

— Треба тикать... Терехин! В двадцать один ноль-ноль...— не оборачиваясь, сказал он адъютанту у телефона.

У Ивана Федоровича было условлено с командирами групп партизан, рассеянных по роще, что по его сигналу все группы сходятся в ложбине, выходящей в степь, у старого граба. Отсюда они должны были пойти на прорыв. Этот момент уже наспевал.

Чтобы обмануть бдительность немцев, две группы партизан, оборонявшие рощу у самого Донца, должны были задержаться долее других и демонстрировать как бы последнюю отчаянную попытку переправиться через реку. Иван Федорович быстро огляделся, ища, кого бы к ним послать.

Среди партизан, оборонявших вершину балки, находился один краснодонский парень — комсомолец Евгений Стахович. До прихода немцев он учился в Ворошиловграде на курсах командиров ПВХО. Он выделялся среди партизан своим развитием, сдержанными манерами и очень рано сказывающимися навыками общественного работника. Иван Федорович испытывал Стаховича на разных делах, предполагая использовать его для связи с краснодонским подпольем. И вот слева от себя Иван Федорович увидел его бледное лицо и мокрые, растрепавшиеся светлые волосы, которые в другое время небрежными пышными волнами покоились на его горделиво вскинутой голове. Парень сильно нервничал, но из самолюбия не отползал в глубь балки. И это понравилось Ивану Федоровичу. Он послал Стаховича.

Евгений Стахович, насильственно улыбнувшись, пригибаясь худым телом к земле, побежал к берегу реки.

— Гляди ж, Корний Тихонович, не задержись и ты! — сказал Проценко отважному старику, оставшемуся с группой партизан прикрыть отход.

С того момента, как партизаны, спрятавшиеся у самой реки, начали демонстрировать переправу через Донец, здесь, на берегу Донца, сосредоточились главные силы немцев, и весь неприятельский огонь был направлен на эту часть леса и на реку. Визг пуль и их щелканье в кустах сливались в один сплошной режущий звук. Казалось, пули дробятся в воздухе и люди дышат раскаленной свинцовой пылью.

Получив через Стаховича приказ Проценко, командир отряда отправил бо́льшую часть партизан на сборный пункт, в ложбину, а сам во главе двенадцати человек остался прикрывать отход. Стаховичу было страшно здесь и очень хотелось уйти вместе с другими, но уйти неловко было, и он, пользуясь тем, что никто не следит за ним, залег в кусты, уткнувшись лицом в землю и подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши.

В какие-то мгновения не столь оглушающего сосредоточения огня можно было слышать резкие выкрики немецкой команды. Отдельные группы немцев уже вклинились в лес где-то со стороны Макарова Яра.

— Пора, хлопцы,— вдруг сказал командир отряда.— Айда бегом!..

Партизаны разом прекратили огонь и бросились за командиром. Несмотря на то, что неприятель не только не убавил огня, а все усиливал его, партизанам, бежавшим по лесу, казалось, что наступила абсолютная тишина. Они бежали что было силы и слышали дыхание друг друга. Но вот в ложбине они увидели скрытно залегшие одна возле другой темные фигуры своих товарищей. И, пав на землю, уже ползком примкнули к ним.

— А, дай вам боже! — одобрительно сказал Иван Федорович, стоявший у старого граба.— Стахович тут?

— Тут,— не подумав, ответил командир.

Партизаны переглянулись и не обнаружили Стаховича.

— Стахович! — тихо позвал командир, вглядываясь в лица партизан в ложбине. Но Стаховича не было.

— Та вы, хлопцы, може, до того очумели, що не бачили, як его вбило! А може, кинули его десь раненого! — сердился Проценко.

— Что я, мальчик, что ли, Иван Федорович! — обиделся командир.— Как мы с позиции уходили, он был с нами, целехонек. А бежали мы по самой гущине и не теряли друг друга...

В это время Иван Федорович увидел скрытно подползавшую к нему сквозь кусты гибкую, несмотря на преклонный возраст, фигуру Нарежного, за ним тринадцатилетнего внука его и еще нескольких бойцов.

— Ах ты, сердяга! Друг! — обрадованно воскликнул Иван Федорович, не в силах скрыть своих чувств.

Вдруг он обернулся и тоненько, слышно для всех протянул:

— Гото-овсь!..

В позах партизан, припавших к земле, появилось что-то рысье.

— Катя! — тихо сказал Иван Федорович.— Ты ж не отставай от меня... Если я когда... Если было что...— Он махнул рукой.— Прости меня.

— Прости и ты...— Она чуть наклонила голову.— Если останешься жив, а со мной...

Он не дал ей договорить и сам сказал:

— Так и со мной... Детям расскажешь.

Это было все, что они успели сказать друг другу. Проценко тоненько крикнул:

— Огонь! Вперед!

И первый выбежал из ложбины.

Они не могли дать себе отчета в том, сколько их осталось и сколько времени они бежали. Казалось, не было уже ни дыхания, ни сердца; бежали молча, иные еще стреляя на бегу. Иван Федорович, оглядываясь, видел Катю, Нарежного, его внука, и это придавало ему силы.

Вдруг где-то позади и справа по степи раздался рев мотоциклов, он далеко разнесся в ночном воздухе. Звуки моторов возникли уж и где-то впереди; казалось, они обступали бегущих со всех сторон.

Иван Федорович дал сигнал, и люди рассыпались, ушли в землю, поползли неслышно, как змеи, пользуясь зыбким светом луны и изрезанным рельефом местности. В одно мгновение люди исчезли из глаз — один за другим.

Не прошло и нескольких минут, как Иван Федорович, Катя, Нарежный и внук его остались одни в степи, залитой светом луны. Они оказались среди колхозных бахчей, простиравшихся на несколько гектаров вперед и вверх и, должно быть, по ту сторону длинного холма, вырисовывавшегося своим гребнем на фоне неба.

— Обожди трохи, Корний Тихонович, бо вже нечем дыхать! — И Иван Федорович бросился на землю.

— Соберитесь с силами, Иван Федорович,— стремительно склонившись к нему и жарко дыша ему в лицо, заговорил Нарежный.— Не можно нам отдыхать! За той горкой село то самое, спрячут нас...

И они поползли бахчами за Нарежным, который изредка оборачивал на Ивана Федоровича и на Катю кремневое лицо свое с пронзительными глазами и черной курчавой бородой.

Они выползли на гребень холма и увидели перед собой село с белыми хатами и черными окнами,— оно начиналось метрах в двухстах от них. Бахчи тянулись до самой дороги, пролегавшей вдоль плетней ближнего ряда хат. И почти в тот самый момент, как они выползли на гребень холма, по этой дороге промчалось несколько немцев-мотоциклистов, свернувших в глубь села.

Огонь автоматов по-прежнему вспыхивал то там, то тут; иногда казалось, что кто-то стрелял в ответ, и эти раскатистые звуки в ночи отзывались в сердце Ивана Федоровича болью и мраком. Внук Нарежного, совсем не похожий на деда, белесый, иногда робко и вопросительно подымал на Ивана Федоровича детские глаза,— и трудно было смотреть в эти глаза.

На селе слышны были резкие удары прикладов о двери, немецкая ругань. То наступала тишина, и вдруг доносился детский вскрик или женский вопль, переходивший в плач и снова вздымавшийся до вопля-мольбы в ночи. Иногда и в самом селе, и мимо него, и совсем в стороне взревывали мотоциклы — один, несколько, а то казалось,— целый отряд движется. Луна вовсю сияла на небе. Иван Федорович, Катя, у которой саднила нога, натертая сапогом, и Нарежный с внуком — все лежали на земле, мокрые и съежившиеся от холода.

Так дождались они, когда все стихло и на селе и в степи.

— Ну, пора, бо развидняе,— шепнул Нарежный.— Будем ползти по одному, друг за дружкой.

По селу слышны были шаги немецких патрулей. Изредка то там, то здесь вспыхивал огонек спички или зажигалки. Иван Федорович и Катя остались лежать в бурьяне позади хаты, где-то в центре села, а Нарежный с внуком перелезли через плетень. Некоторое время их не слышно было.

Запели первые петухи. Иван Федорович вдруг усмехнулся.

— Ты что? — шепотом спросила Катя.

— Немцы всех петухов порезали, два-три на все село поют!

Они впервые внимательно, осмысленно посмотрели друг другу в лицо и улыбнулись одними глазами. И в это время послышался шепот из-за плетня:

— Где вы? Идите до хаты...

Высокая худая женщина, сильной кости, повязанная белой хусткой, высматривала их через плетень. Черные глаза ее сверкали при свете луны.

— Вставайте, не бойтесь, нема никого,— сказала она.

Она помогла Кате перелезть через плетень.

— Как вас зовут? — тихо спросила Катя.

— Марфа,— сказала женщина.

— Ну, як новый порядок? — с угрюмой усмешкой спрашивал ее Иван Федорович, когда и он, и Катя, и старик Нарежный с внуком уже сидели в хате за столом при свете коптилки.

— А новый порядок ось який: приихав до нас нимець з комендатуры и наложив шесть литров молока з коровы у день, та девьять штук яець з курицы в мисяць,— застенчиво и в то же время с какой-то диковатой женственностью покашиваясь на Ивана Федоровича своими черными глазами, сказала Марфа.

Ей было уже лет под пятьдесят, но во всех движениях ее, с какими она подавала на стол еду и убирала посуду, было что-то молодое, ловкое. Чисто прибранная беленая хата, украшенная вышитыми рушниками, была полна ребят — мал мала меньше. Сын, четырнадцати лет, и дочь, двенадцати, поднятые с постелей, дежурили теперь на улице.

— Як два тыждня, так и нове завдання сдавать худобу. Ось дивитесь, у нашому сели не бильш, як сто дворов, а вже в другий раз получили завдання на двадцять голов худобы,— ото вам и новий порядок,— говорила она.

— Ты ж не журись, тетка Марфа! Мы знаемо их ще по осьмнадцатому року. Воны як прийшли быстро, так и уйдуть!..— сказал Нарежный и вдруг захохотал, показав крепкие зубы. Его турковатые глаза на кремневом загорелом лице мужественно и лукаво сверкнули.

Трудно было даже представить себе, что это говорит человек, только что лицом к лицу видевший смерть.

Иван Федорович искоса взглянул на Катю, строгие черты лица которой распустились в доброй улыбке. После многих суток боев и этого страшного бегства такою молодой свежестью повеяло на Ивана Федоровича и на Катю от двух этих уже не молодых людей.

— А що ж я бачу, тетка Марфа, як воны вас не ободрали, а у вас ще е трошки,— подмигнув Нарежному, сказал Иван Федорович, указав кивком головы на стол, на который Марфа «от щирого сердца» выставила и творог, и сметану, и масло, и яичницу на сале.

— Хиба ж вы не знаете, що у доброй украинской хати, як бы ни шуровав, всего не съисты, ни скрасты, пока жинку не убьешь! — отшутилась Марфа с таким девическим смущением, до краски в лице, и с такой грубоватой откровенностью, что и Иван Федорович и Нарежный прыснули в ладони, а Катя улыбнулась.— Я ж усе заховала! — засмеялась и Марфа.

— Ах ты ж, умнесенька жинка! — сказал Проценко и покрутил головой.— Кто ж ты теперь — колхозница, чи единоличница?

— Колгоспница, вроде як в отпуску, пока немцы не уйдуть, — сказала Марфа.— А немцы считають нас ни за кого. Всю нашу колгоспну землю воны считають за германьским... як воно там — райхом? Чи як воно там, Корний Тихонович?

— Та райхом, нехай ему! — с усмешкой сказал старик.

— На сходи зачитывали якуюсь-то там бумагу, — як его там, Розенберга, чи як его там, злодия, Корнiї Тихонович!

— Та Розенберга ж, хай ему! — отвечал Нарежный.

— Цей Розенберг каже, що колысь получим землю у единоличне пользование, та не уси, а хто буде добро робити для германьского райха и хто буде маты свою худобу та свий инвентарь. А який же там, бачите, инвентарь, коли воны гонють нас колгоспну пшеницу жаты серпами, а хлиб забирають для своего райха. Мы, бабы, вже отвыкли серпами жаты. Выйдем на поле, ляжем пид пшеницу от сонця та спим...

— А староста? — спросил Иван Федорович.

— А староста у нас свий, — отвечала Марфа.

— Ах ты умнесенька жинка! — снова сказал Проценко и снова покрутил головой. — А де ж чоловик твий?

— Де ж вин! На фронти. Мий Гордий Корниенко на фронти, — серьезно сказала она.

— А скажи прямо: вон у тебя сколько детей, а ты нас прячешь, — неужто не боишься за себя и за них? — вдруг по-русски спросил Иван Федорович.

— Не боюсь! — тоже по-русски отвечала она, прямо взглянув на него своими черными молодыми глазами.— Пусть рублять голову. Не боюсь. Знать буду, за что пойду на смерть. А вы мне тоже скажите: вы с нашими, с теми, что на фронте, связь отселе имеете?

— Имеем, — отвечал Иван Федорович.

— Так скажите ж нашим, пусть воны бьются до конца. Пусть наши мужья себя не жалиють, — говорила она с убежденностью простой честной женщины.— Я так скажу: може, наш батько, — она сказала «наш батько» как бы от лица детей своих, имея в виду мужа, — може, наш батько и не вернется, може, вин сложит свою голову в бою, мы будем знать за що! А коли наша власть вернется, вона будет отцом моим детям!..

— Умнесенька жинка! — в третий раз нежно сказал Иван Федорович и наклонил голову и некоторое время не подымал ее.

Марфа оставила Нарежного с внуком ночевать в хате: оружие их она спрятала и не боялась за них. А Ивана Федоровича и Катю она проводила в заброшенный, поросший сверху бурьяном, а внутри холодный, как склеп, погреб.

— Трошки буде сыро, да я вам прихватила два кожушка, — застенчиво говорила она. — Ось сюда, тут солома...

Они остались одни и некоторое время молча сидели на соломе в полной темноте.

Вдруг Катя теплыми руками обхватила голову Ивана Федоровича и прижала ее к своей груди.

И что-то мягко распустилось в его душе.

— Катя! — сказал он. — Это все партизанство мы поведем по-другому. Все, все по-другому, — в сильном волнении говорил он, высвобождаясь из ее объятий. — О, як болит душа моя!.. Болит за тех, кто погиб, — погиб по нашему неумению. Да не все ж погибли? Я ж думаю, большинство вырвалось? — спрашивал он, словно бы ища поддержки.— Ничего, Катя, ничего! Мы в народе найдем еще тысячи таких людей, як Нарижный, як Марфа, тысячи тысяч!.. Не-ет! Пускай этот Гитлер оглупил целую немецкую нацию, а не думаю я, щоб вин передурив Ивана Проценка, — ни, не може того буты! — яростно говорил Иван Федорович, не замечая, что он перешел на украинский язык, хотя жена его, Екатерина Павловна, была русская.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Как незаметно для человеческого глаза под корнями деревьев и трав, по трещинам и капиллярным сосудам земли, под почвой, бесшумно, беспрерывно сочатся в разных направлениях грунтовые воды, так под властью немцев степными, лесными, горными тропами, балками, под крутыми берегами рек, по улицам и закоулкам городов и сел, по людным базарам и черным ночным яругам двигались с места на место миллионы мужчин, женщин, детей, стариков всех национальностей, населяющих нашу землю.

Согнанные с родных мест, вновь возвращающиеся на родные места, ищущие таких мест, где их не знают, пробирающиеся через рубежи фронта на свободную советскую землю, выбирающиеся из окружения, бежавшие из немецкого плена или из концентрационных лагерей, просто брошенные нуждою на поиски одежды и пищи, поднявшие оружие для борьбы с угнетателем — партизаны, подпольщики, диверсанты, агитаторы, разведчики в тылу врага, разведчики отступившей великой армии великого народа, — они идут, идут неисчислимые, как песок...

По степной дороге от Донца идет под солнцем маленький румяный человек. Он в простой крестьянской одежде, у него темно-русая мягкая мужицкая борода, за плечами у него грубый полотняный мешок. Так же, как он, идут тысячи, тысячи... Как узнать, кто он? У него синие глаза, но разве можно всем

заглянуть в глаза и разве все можно узнать по глазам? Может быть, в них поскакивают чертовские искры, а к господину вахтмайстеру или даже гауптвахтмайстеру они обернутся глазами самого обыкновенного человека.

Маленький человек в одежде крестьянина и с темно-русой бородой входит в город Ворошиловград и теряется в уличной толпе. Зачем он пришел в город? Может быть, он несет в мешке на базар масло, или творог, или утку, чтобы обменять это на гвозди, на бязь или на соль? А может быть, это сам Проценко, страшный человек, способный подорвать власть даже самого советника седьмого отдела фельдкомендатуры доктора Шульца!..

В деревянном домике на окраине маленького шахтерского городка, у вершины узкой темной балки, уходящей в степь, в горенке с одним окном, завешанным одеялом, сидят двое при свете коптилки: сильно пожилой мужчина с тяжелым, оплывшим книзу лицом и юноша, полный сил, с широко открытыми глазами в темно-золотистых ресницах.

Есть что-то общее в них — и в молодом и в старом, — даже в том, что в такой поздний час ночи, в эти злосчастные дни немецкой оккупации, оба они сидят одетые подчеркнуто чисто и аккуратно, при галстуках.

— Воспитывайте в себе гордость за наш родной Донбасс. Помнишь, как боролись наши старшие товарищи — Артем, Клим Ворошилов, Пархоменко? — говорит старик, и кажется, что это не тусклый свет коптилки, а отсвет тех давно прошедших битв отражается в строгих глазах его. — Помнишь? Сумеешь рассказать ребятам?

Юноша сидит, наивно склонив голову к левому плечу, которое немного выше правого.

— П-помню... Сумею, — отвечает он, чуть заикаясь.

— В чем слава нашего Донбасса? — продолжает старик. — Как бы трудно нам ни было — и в годы гражданской, и после, и в первую пятилетку, и вторую, и теперь, в дни войны, — всегда мы выполняли наш долг с честью. Ты это внуши ребятам...

Старик делает паузу. Юноша смотрит на него почтительно и молчит. Старик продолжает:

— И помните: бдительность — мать подполья... Картину «Чапаев» видел? — спрашивает он без улыбки.

— Видел.

— Почему погиб Василий Иванович Чапаев? Он погиб потому, что его дозоры уснули и близко подпустили неприятеля. Будьте начеку — и ночью и днем, будьте аккуратны... Соколову Полину Георгиевну знаешь?

— Знаю.

— Откуда ты ее знаешь?

— Работала вместе с мамой среди женщин. Они и сейчас д-дружат.

— Верно... Все, что полагается знать только тебе и мне, будешь передавать Полине Георгиевне. А обычная связь — через Осьмухина, как сегодня. Нам встречаться больше нельзя... — И, как бы желая предупредить выражение обиды или огорчения, а то и протеста на лице юноши, Лютиков вдруг весело улыбается ему.

Но лицо Олега не выражает ни одного из этих чувств. Доверие, оказанное ему, — настолько, что Филипп Петрович даже позволил прийти на дом к себе, да еще в такой час, когда ходить по городу нельзя, — наполняет сердце Олега чувством гордости и преданности беспредельной. Широкая детская улыбка озаряет его лицо, и он говорит тоже очень весело:

— Спасибо!

Никому не известный юноша, съежившись, спит в низинке в степи, солнце пригревает его, и от одежды его подымается пар. Солнце подсушило мокрый след на траве, который юноша оставил за собой после того, как вылез из реки. Как же он устал, плывя по реке, если он заснул в степи ночью в мокрой одежде.

Но когда солнце начинает калить, юноша просыпается и идет. Светлые волосы его высохли и сами собой небрежными живописными волнами распались на его голове. Вторую ночь он ночует в шахтерском поселке в случайной квартире, где ему дают приют, потому что он почти земляк: он из Краснодона, он учился в Ворошиловграде, а теперь возвращается домой. И он свободно, среди бела дня входит в Краснодон. Он не знает, что с его родителями, не стоят ли у них на квартире немцы, и поэтому он идет сначала к своему товарищу по школе, Володе Осьмухину.

У Володи раньше стояли немцы, но сейчас их нет.

— Женя!.. Откуда ты?

Но товарищ Володи в обычной своей несколько горделивой и официальной манере говорит:

— Ты мне скажи сначала, чем ты дышишь?..

Это старый товарищ Володи, комсомолец Евгений Стахович, перед ним нечего таиться, — конечно, не в делах организации, а там, где речь идет о личных взглядах и настроениях, — и Володя рассказывает Стаховичу все, что касается лично Володи.

— Так... — говорит Стахович. — Это хорошо. Я другого от тебя и не ждал...

Он говорит это с оттенком покровительства. Но, должно быть, он имеет на это право. Он не только жаждет приобщиться к подпольной борьбе, как Володя, — соблюдая тайну, Володя сказал, что он только еще жаждет приобщиться, — Стахович уже сражался в партизанском отряде, и, по его словам, он послан официально штабом, чтобы организовать это дело и в Краснодоне.

— Здо́рово!.. — с уважением говорит Володя.— Мы немедленно должны пойти к Олегу...

— А кто такой этот Олег? — самолюбиво спрашивает Стахович, потому что Володя произносит имя Олега с большим уважением.

— Это, брат, такой парень!.. — неопределенно говорит Володя.

Нет, Стахович не знает Олега. Но если это ценный парень, почему бы к нему и не пойти.

Человек с военной выправкой, одетый в штатское, очень серьезный, тихо стучит в дверь квартиры Борц.

Дома только одна маленькая Люся. Мама ушла на рынок обменять кое-что из вещей на продукты, а Валя... Нет, дома находится еще папа, но это и есть самое страшное. Папа в своих темных очках мгновенно прячется в гардероб. А Люся с замиранием сердца, приняв взрослое выражение, подходит к двери и спрашивает как можно независимее:

— Кто там?

— Валя дома? — приятным застенчивым тенорком спрашивает из-за двери мужской голос.

— Ее нет... — Люся притихла в ожидании.

— А вы откройте, не бойтесь,— говорит тот же голос.— Кто это говорит со мной?

— Люся.

— Люся? Валина сестренка? Вы откройте, не бойтесь...

Люся открывает. На крыльце стоит незнакомый ей высокий, стройный и скромный молодой человек. Люся воспринимает его как взрослого мужчину. У него добрые глаза и мужественная складка очень серьезного лица. Он, улыбаясь одними глазами, смотрит на Люсю и делает ей под козырек.

— Скоро она вернется? — вежливо спрашивает он.

Люся принимает этот знак уважения благосклонно.

— Не знаю, — говорит она, снизу вверх глядя в глаза этому мужчине.

В лице у него разочарование. Некоторое время он стоит молча, потом снова берет под козырек. Но едва он по-солдатски поворачивается уходить, Люся быстро спрашивает:

— А что передать?

В глазах у него мгновенно возникает насмешливое выражение, и он говорит:

— Передайте, что жених приходил...

И сбегает с крыльца.

— И вы сразу уходите? А как же она вас найдет? — в волнении торопливо говорит Люся вслед ему.

Но она говорит это слишком робко и слишком поздно. Он уже удаляется по Деревянной улице в сторону к переезду.

У Вали жених... Люся взволнована. Конечно, она не может рассказать об этом папе. Об этом невозможно рассказать и маме. «Никто же его у нас в доме не знает!.. Но, может быть, они еще не женятся?» — успокаивает себя Люся.

Молодые люди — двое юношей, почти мальчиков, и две девушки гуляют в степи. Почему в такое страшное время, когда решительно никто не гуляет, двое юношей и две девушки гуляют в степи? Они гуляют очень далеко от города в будний день, в рабочее время. Но, с другой стороны, гулять никем не запрещено.

Они гуляют попарно, юноша с жесткими, чуть курчавыми волосами, босой, ловкий и быстрый в движениях, и загорелая девушка с голыми, покрытыми пушком ногами и руками и светло-русыми золотистыми косами; другой юноша, белоголовый, маленький, веснушчатый, и с ним девушка, тихая, не броско одетая, с умненькими глазками, — ее зовут Тося Мащенко. Пары то расходятся далеко-далеко, то опять сходятся в одно место. Они гуляют неутомимо с утра до вечера, страдая от жажды, под слепящим солнцем, от которого у белоголового юноши становится втрое больше веснушек. И всякий раз приносят что-нибудь в руках и в карманах: патроны, гранаты, иногда немецкое ружье, револьвер, русскую винтовку. В этом нет ничего удивительного: они гуляют в районе последних боев отступившей Красной Армии, возле станции Верхнедуванной. Вместо того чтобы снести это оружие немецкому коменданту, они сносят его в одно скрытое место у рощи и зарывают. Но их никто не видит.

Однажды паренек, быстрый в движениях, который всеми коноводит, находит заряженную мину и на глазах девушки со светло-русыми косами, с необыкновенной точностью орудуя шустрыми пальцами, разряжает эту мину.

Несомненно, в этом районе должно быть много мин. Он научит всех, как их разряжать. Мины тоже пригодятся.

Девушка с золотистыми косами возвращается домой вечером, сильно загоревшая, усталая, возбужденная, — и это уже не в первый вечер. Люсе удается на минуту увлечь ее в

садик. Поблескивая в темноте белками глаз, Люся страшным шепотом сообщает ей о женихе.

— Какой жених? Что ты мелешь? — сердито говорит Валя, немного растерявшись.

Мысль о том, что, может быть, это шпион, подосланный немцами, и противоположная мысль, что это представитель подпольной большевистской организации, узнавший о деятельности Вали, разыскивает ее, — оба эти предположения быстро отпадают. Хотя Валя начинена литературой приключений, как мина взрывчатым веществом, она человек реального, практического склада, как все ее поколение. Она перебирает в памяти всех своих знакомых. И вдруг ее точно озаряет. Весна прошлого года... прощальный спектакль драмкружка в клубе имени Ленина,— проводы Вани Туркенича в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. Он в роли жениха, Валя — невесты... «Жених»! Ну да, конечно!

Ваня Туркенич! Обычно он всегда играл роли комических стариков. Конечно, здесь не Московский художественный театр. «Моя установка такая,— говорил Ваня, — зритель от первого ряда до последнего должен сидеть мокрый от хохота». И это ему вполне удавалось. В чем бы он ни выступал, в «Бесталанной» или «На перши гули», он неизменно гримировался под садовника Данилыча. Но ведь он же на фронте, как же он мог очутиться в Краснодоне? Он же лейтенант Красной Армии. Прошлой зимой он заезжал в город по дороге в Сталинград, куда его послали переучиваться стрелять из зенитных пушек по танкам.

— Вечно ты, мама, — ну какое тебе дело? Я не хочу ужинать! — И Валя мчится к Олегу.

Туркенич в Краснодоне!

Маленькая беленькая девушка идет через всю большую землю. Она прошла уже всю Польшу и всю Украину, — песчинка в неисчислимом людском песке, заблудившееся семечко... Так доходит она до «Первомайки» и стучится в окно маленького домика.

«Если среди сестер Иванцовых ты видишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины...»

Лиля Иванихина, пропавшая без вести на фронте, вернулась под родной кров.

Уля узнала об этом от Майи Пегливановой и Саши Бондаревой. Вернулась Лиля, добрая веселая Лиля, душа их компании, первая из них оторвавшаяся от семьи и подруг, первая окунувшаяся в этот страшный мир борьбы, пропавшая без вести, уже похороненная и вновь воскресшая!

И все три подруги — тоненькая, с мальчишескими ухватками, Саша Бондарева, смуглая, как цыганка, Майя, с самолюбиво вывернутой полной нижней губкой, всегда деятельная и даже при немецком господстве нисколько не утратившая привычки всех поправлять и всех воспитывать, и Уля со своими волнистыми черными косами, выпущенными на грудь, поверх темно-синего, в белую крапинку, простого платья, почти единственного, оставшегося после пребывания в их доме немецких солдат, — все три подруги побежали к Иванихиным, жившим в центре поселка, недалеко от школы.

Было даже странно бежать по поселку, в котором не было уже ни одного немца. Девушками овладело чувство свободы, они сами не заметили, как оживились. В черных глазах Ули заблестела веселая и такая неожиданная на ее лице озорная улыбка, и эта улыбка вдруг словно отразилась на лицах подруг и на всем, что их окружало.

Едва они поравнялись со зданием школы, в глаза им бросился наклеенный на одной створке большой школьной двери яркий плакат. Точно по уговору, девушки разом взбежали на крыльцо.

На плакате изображена немецкая семья. Улыбающийся пожилой немец в шляпе, в рабочем переднике и в полосатой сорочке с галстуком бабочкой, с сигарой в руке. Белокурая, тоже улыбающаяся, моложавая полная женщина, в чепчике и розовом платье, окруженная детьми всех возрастов, начиная от толстого годовалого, с надутыми щеками мальчика и кончая белокурой девушкой с голубыми глазами. Они стоят у двери сельского домика с высокой черепичной крышей, по которой гуляют зобатые голуби. И этот мужчина, и женщина, и все дети, из которых младший даже протягивает ручонки, улыбаются навстречу идущей к ним девушке с белым эмалированным ведром в руке. Девушка в ярком сарафане, в белом кружевном переднике, в таком же чепчике, как хозяйка, и в изящных красных туфельках, полная, с сильно вздернутым носом, неестественно румяная. Она тоже улыбается так, что все ее крупные белые зубы наружу. На дальнем плане картины — рига и хлев под высокой черепичной крышей с прогуливающимися голубями, кусок голубого неба, кусок поля с колосящейся пшеницей и большие пятнистые коровы у хлева.

Внизу плаката написано по-русски: «Я нашла здесь дом и семью». А ниже, справа: «Катья».

Уля, Майя и Саша особенно сблизились между собой за то время, что в городе стояли немецкие солдаты. Они даже ночевали одна у другой, когда у кого-нибудь из них останавливались немцы на постой, а квартира какой-либо из подруг была свободна. Но за все это время они, точно по молчали-

вому соглашению, как бы чувствуя, что еще не созрели для этого, не говорили друг с другом по самому большому и главному вопросу их жизни — о том, как жить при немцах. Так и теперь они только переглянулись и молча сошли с крыльца и так же молча, не глядя друг на друга, пошли к Иванихиным.

Сиявшая от счастья младшая из сестер, Тоня, со своими длинными ногами еще не девушки и уже не девочки, со своим крупным носом и толстыми прядями темно-каштановых волос, выбежала из домика навстречу им.

— Девочки! Слыхали? Боже, я так рада! — заговорила она, сразу увлажняясь слезами.

В доме полно было девушек. Среди них Уле бросились в глаза недавно вернувшиеся в город сестры Иванцовы, Оля и Нина, которых она не видела уже много месяцев.

Но что сталось с Лилей! Со своими светлыми волосами и добрыми-добрыми веселыми глазами она всегда была такая беленькая, чистая, мягкая, круглая, как сдобная. Теперь она стояла перед Улей, опустив вдоль высохшего тела беспомощные руки, ссутулившись. Бледное личико ее подернулось нездоровым загаром, один крупный похудевший носик выделялся на лице ее, да глаза смотрели с прежним, добрым выражением... Нет, не прежним!

Уля молча, порывисто обняла Лилю и долго не отпускала ее, прижав ее личико к своей груди. А когда Лиля отняла лицо свое от груди Ули, в нем не было выражения размягченности или растроганности. Добрые глаза Лили глядели с каким-то нездешним, отчужденным выражением, как будто то, что Лиля пережила, так отдалило ее от подруг детства, что она не могла уже разделять с ними их обычных, повседневных чувств, как бы сердечно и бурно они ни выражались.

Саша Бондарева перехватила Лилю и завертела ее по комнате.

— Лилька! Ты ли это?.. Лилечка, дружочек, золотко мое! Как же ты исхудала! Но ничего, ничего, ничего, мы тебя откормим. Счастье, что ты нашлась, Лилечка, счастье наше! — говорила Саша со своей непосредственной стремительной манерой выражения чувств и кружила Лилю по комнате.

— Да отпусти ты ее! — смеялась Майя, самолюбиво вывернув нижнюю полную своевольную губку. И она тоже обняла Лилю и расцеловала ее. — Рассказывай, рассказывай! — тотчас же сказала Майя.

И Лиля, усевшись на стул в центре кружка дивчат, сдвинувшихся к ней, продолжала рассказывать спокойным, тихим голосом:

— Правда, нам трудно было среди мужчин, но я была рада, не то что рада, а просто счастлива, что меня не разлу-

чили с нашими ребятами из батальона. Ведь мы же все отступление прошли вместе, столько людей потеряли... Знаете, девочки, всегда жалко, когда гибнут свои люди. Но когда в ротах по семь-восемь человек в строю и всех знаешь по именам, тогда каждого, как родного, отрываешь от сердца... Помню, в прошлом году меня привезли в Харьков, раненую, положили в хороший госпиталь, а я все думаю: «Ну, как же они там, в батальоне, без меня?» Каждый день письма писала, и мне все писали, и отдельные и коллективные, а я все думала: «Когда же, когда же?» Потом мне отпуск дали, а после отпуска я попала бы в другую часть, а я упросила коменданта, и он меня устроил в эшелон к нашим... Я по Харькову все пешком ходила, потому что один раз села в трамвай и так расстроилась. Увидела, что есть у нас такие люди, что друг дружку толкают, оскорбляют; и я не за себя, а за них расстроилась, — даже неудобно: военная, а у меня слезы текут, а мне вдруг так обидно и жалко стало за этих людей. «Ах, если бы вы знали, — думала я, — как у нас на фронте каждый день гибнут люди, тихо, без лишних слов, как они друг друга берегут, а не самих себя, а ведь это же ваши мужья, отцы, сыновья... Если бы вы только вдумались в это, вы бы вместо того, чтобы грубить, оскорблять друг друга, вы бы должны были уступать друг дружке дорогу, говорить самые ласковые слова, а если кого-нибудь невзначай обидели, утешить и погладить его по головке...»

Она рассказывала все это ровным, тихим голосом, глядя не на подруг, а куда-то сквозь них, а они, притихшие, подавшись к ней, слушали, не отводя от нее просветленных глаз.

— Жили мы в лагере прямо под небом. Дождь идет, так под дождем трусимся; кормили нас одной баландой на отрубях, а то на картофельной шелухе, а работа все ж таки тяжелая, дороги копать, ребята наши таяли, как свечки. День за днем, день за днем, а многих уж нет. Мы, женщины, — Лиля так и сказала: «мы, женщины», а не девушки, — мы, женщины, все ж таки выдерживали дольше, чем мужчины. Там был один наш парень из батальона, сержант Федя, я с ним дружила, очень дружила, — тихо сказала Лиля, — он все шутил про нас, про женщин: «У вашей сестры внутренний запас». А сам он, когда нас уже стали перегонять в другой лагерь, сам-то уж он не выдержал и его конвойный пристрелил. Но он не сразу умер, а еще жил и все смотрел на меня, как я ухожу, а я уже не могла его ни обнять, ни поцеловать, а то б и меня убили...

Лиля рассказала, как их перегнали в другой лагерь, и там, в женском отделении лагеря, была надсмотрщица немка, Гертруда Геббех, и эта волчица терзала девушек до смерти. И Лиля рассказала, как они, женщины, сговорились или

погибнуть самим, или уничтожить Гертруду Геббех. Им удалось, возвращаясь ночью с работы в лесу, обмануть охрану, подкараулить Гертруду Геббех и накрыть ее шинелью и задушить. И они, несколько женщин и девушек, бежали. Но они не могли вместе идти через всю Польшу и Украину и разошлись. Лиля одна добиралась эти сотни и сотни километров, и ее прятали и кормили поляки, а потом наши украинцы.

Все это рассказывала Лиля, когда-то такая же обыкновенная краснодоночка, беленькая, толстая, добрая девочка, — она была такая же, как они все. И трудно было представить себе, что это она душила Гертруду Геббех и потом прошла вот этими маленькими ногами с вздувшимися жилками через всю Польшу и Украину, занятую немцами. И каждая из девушек думала о себе: «А если бы все это выпало на мою долю, смогла ли бы я вынести все это и как бы я себя вела?»

Она была прежняя Лиля, но она была другая. Нельзя сказать, чтобы она ожесточилась сердцем после всего, что перенесла, она не выказывалась и не заносилась перед подругами, нет, она стала многое понимать в жизни. В каком-то смысле она стала даже добрее к людям, точно она узнала им цену. И при всем том, что она и физически и душевно стала как бы суше, этот великий человеческий свет добра озарял ее исхудавшее лицо.

Все девушки снова стали целовать Лилю, каждой хотелось погладить ее или хотя бы дотронуться до нее. И только Шура Дубровина, девушка постарше, студентка, была сдержаннее других, потому что она уже ревновала Майю Пегливанову к Лиле.

— И что это, дивчата, у всех глаза на мокром месте в самом деле! — воскликнула Саша Бондарева. — Давайте заспиваем!

И она было затянула «Спят курганы темные», но тут девушки зашикали на нее: разные люди жили в поселке, и мог забрести кто-нибудь из «полицаев». Стали подбирать какую-нибудь старинную украинскую, а Тоня предложила «Землянку».

— Она и наша, и вроде не придерешься, — робко сказала Тоня.

Но все нашли, что и так невесело на душе, а с этой «Землянкой» еще расплачешься. И Саша, которая среди всех первомайских девушек была главная певунья, затянула:

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего...

И все подхватили. В этой песне не было ничего, что могло бы насторожить полицейское ухо. Но это была песня, много раз слышанная девушками по радио в исполнении любимого хора имени Пятницкого, и именно потому, что они не раз слышали песню по радио из Москвы, теперь они точно проделывали с этой песней обратный путь отсюда, из «Первомайки», в Москву.

Вся та жизнь, в которой девушки росли, которая была для них такой же естественной жизнью, какой живут в поле жаворонки, вошла в комнату вместе с этой песней.

Уля подсела к сестрам Иванцовым, но старшая, Оля, увлеченная пением, только ласково и сильно пожала Уле руку повыше локтя, — в глазах у нее точно синий пламень горел, отчего ее лицо с неправильными чертами стало даже красивым. А Нина, с вызовом смотревшая вокруг себя из-под могучего раскрылия бровей, вдруг склонилась к Уле и жарко шепнула ей в ухо:

— Тебе привет от Кашука.

— Какого Кашука? — так же шепотом спросила Уля.

— От Олега. Для нас, — подчеркнуто сказала Нина, — он теперь всегда будет Кашук.

Уля смотрела перед собой, не понимая.

Поющие девушки оживились, раскраснелись. Как им хотелось забыть, хотя бы на это мгновение, все, что окружало их, забыть немцев, «полицаев», забыть, что надо регистрироваться на немецкой бирже труда, забыть муки, перенесенные Лилей, забыть, что дома уже волнуются их матери, почему так долго нет дочерей! Как им хотелось, чтобы все было, как прежде! Они кончали одну песню и начинали другую.

— Девочки, девочки! — вдруг сказала Лиля своим тихим, проникновенным голосом. — Сколько раз, когда я сидела в лагере, когда шла через Польшу, ночью, босая, голодная, сколько раз я вспоминала нашу Первомайку, нашу школу и всех вас, девочки, как мы собирались и как в степь ходили и пели... и кому же это, и зачем же это надо было все это разломать, растоптать? Чего же это не хватает людям на свете?.. Улечка! — вдруг сказала она. — Прочти какие-нибудь хорошие стихи, помнишь, как раньше...

— Какие же? — спросила Уля.

Девушки наперебой стали выкликать любимые стихи Ули, которые они не раз слышали в ее исполнении.

— Улечка, прочти «Демона», — сказала Лиля.

— А что из «Демона»?

— На твой выбор.

— Пусть всего читает!

Уля встала, тихо опустила руки вдоль тела и, не чинясь и не смущаясь, с той природной, естественной манерой чтения, которая свойственна людям, не пишущим стихов и не исполняющим их со сцены, начала спокойным, свободным, грудным голосом:

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой...
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!..

И странное дело, — как и все, что пели девушки, то, что Уля читала, тоже мгновенно приобрело живое, жизненное значение. Словно та жизнь, на которую девушки были теперь обречены, вступала в непримиримое противоречие со всем прекрасным, созданным в мире, независимо от характера и времени создания. И то, что в поэме говорило как бы и за Демона и как бы против него, — все это в равной степени подходило к тому, что испытывали девушки, и в равной мере трогало их.

Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений? —

читала Уля. И девушкам казалось, что действительно никто так не страдает на свете, как они.

Вот уже ангел на своих золотых крыльях нес грешную душу Тамары, и адский дух взвился к ним из бездны.

Исчезни, мрачный дух сомненья! —

читала Уля с тихо опущенными вдоль тела руками.

...Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех...
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!

Лиля уронила свою белую головку на руки и громко, по-детски заплакала. Девушки, растроганные, кинулись ее утешать. И тот ужасный мир, в котором они жили, снова вошел в комнату и словно отравил душу каждой из них.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

С того самого дня, как Анатолий Попов, Уля и Виктор с отцом вернулись в Краснодон после неудачной эвакуации, Анатолий не жил дома, а скрывался у Петровых, на хуторе Погорелом. Немецкая администрация еще не проникла на хутор, и Петровы жили открыто.

Анатолий вернулся в «Первомайку», когда ушли немецкие солдаты.

Нина Иванцова передала ему и Уле, чтобы они — лучше Уля, которую меньше знали в городе, — немедленно установили личную связь с Кошевым и наметили группу ребят и дивчат, первомайцев, которые хотят бороться против немцев и на которых можно положиться. Нина намекнула, что Олег действует не только от себя, и передала некоторые его советы: говорить с каждым поодиночке, не называть других, не называть, конечно, и Олега, но дать понять, что они действуют не от себя лично.

Потом Нина ушла. А Анатолий и Уля прошли к спуску в балочку, разделявшую усадьбы Поповых и Громовых, и сели под яблоней.

Вечер опустился на степь, на сады.

Немцы изрядно повредили садик Поповых, особенно вишневые деревья, на многих из которых обломаны были ветви с вишнями, но все же он сохранился внешне такой же уютный, опрятный, как и в те времена, когда им занимались вместе отец и сын.

Преподаватель естествознания, влюбленный в свой предмет, подарил Анатолию при переходе из восьмого класса в девятый книгу о насекомых: «Питомцы грушевого дерева». Книга была так стара, что в ней не было первых страниц и нельзя было узнать, кто ее автор.

У входа в садик Поповых стояла старая-старая груша, еще более старая, чем книга, и Анатолий очень любил эту грушу и эту книгу.

Осенью, когда поспевали яблоки, — яблоневые деревья были гордостью семейства Поповых, — Анатолий обычно спал на топчане в саду, чтобы мальчишки не покрали яблок. А если была дождливая погода и приходилось спать в комнате, он

проводил сигнализацию: опутывал ветви яблонь тонким шпагатом, который соединялся с веревкой, протянутой из сада в окно. Стоило коснуться хотя бы одной из яблонь, как у изголовья кровати Анатолия с грохотом обрушивалась связка пустых консервных банок, и он в одних трусах мчался в сад.

И вот они сидели в этом саду, Уля и он, серьезные, сосредоточенные, полные ощущения того, что с момента разговора с Ниной они вступили на новый путь жизни.

— Нам не приводилось говорить с тобой по душам, Уля, — говорил Анатолий, немножко смущаясь ее близостью, — но я давно уважаю тебя. И я думаю, пришла пора поговорить нам откровенно, до конца откровенно... Я думаю, это не будет преувеличением нашей роли, зазнайством, что ли, дать отчет в том, что именно ты и я можем взять на себя все это — организовать наших ребят и дивчат на Первомайке. И мы должны договориться прежде всего, как мы сами-то будем жить... Например, сейчас идет регистрация на бирже. Я лично не пойду на биржу. Я не хочу и не буду работать на немцев. Клянусь перед тобой, я не сойду с этого пути! — говорил он сдержанным, полным силы голосом. — Если придется, я буду скрываться, прятаться, перейду на подпольное положение, погибну, но не сойду с этого пути!

— Толя, ты помнишь руки того немца, ефрейтора, который копался в наших чемоданах? Они были такие черные от грязи, заскорузлые, цепкие, я теперь их всегда вижу, — тихо говорила Уля. — В первый же день, когда я приехала, я опять их увидела, как они рылись в наших постелях, в сундуке, они резали платья материнские, мои и сестрины на свои шарфы-косынки, они не брезгали даже искать в грязном белье, но они хотят добраться и до наших душ... Толя! Я провела не одну ночь без сна у нас на кухоньке, — ты знаешь, она у нас совсем отдельная, — я сидела в полной темноте, слушала, как немцы горланят в доме и заставляют прислуживать больную мать, я сидела так не одну ночь, я проверяла себя. Я все думала: хватит ли силы у меня, имею ли я право вступить на этот путь? И я поняла, что иного пути у меня нет. Да, я могу жить только так, или я не могу жить вовсе. Клянусь матерью своей, что до последнего дыхания я не сверну с этого пути! — говорила Уля, глядя на Анатолия своими черными глазами.

Волнение охватило их. Некоторое время они молчали.

— Давай наметим, с кем поговорить в первую очередь, — хрипло сказал Анатолий, овладев собой. — Может быть, начнем с девчат?

— Конечно, Майя Пегливанова и Саша Бондарева. И, конечно, Лиля Иванихина. А за Лилей пойдет и Тоня. Думаю,

еще — Лина Самошина, Нина Герасимова, — перечисляла Уля.

— А эта наша активистка, ну, как ее, — пионервожатая?

— Вырикова? — Лицо Ули приняло холодное выражение. — Знаешь, я тебе что скажу. Бывало, мы все в тяжелые дни резко высказывались о том, о другом. Но должно же быть у человека в душе святое, то, над чем, как над матерью родной, нельзя смеяться, говорить неуважительно, с издевкой. А Вырикова... Кто ее знает?.. Я бы ей не доверилась...

— Отставить, присмотримся, — сказал Анатолий.

— Скорей уж Нина Минаева, — сказала Уля.

— Светленькая, робкая такая?

— Ты не думай, она не робкая, она застенчивая, а она очень твердых убеждений.

— А Шура Дубровина?

— О ней мы у Майи спросим, — улыбнулась Уля.

— Слушай, а почему ты не назвала лучшей своей подруги, Вали Филатовой? — вдруг с удивлением спросил Анатолий.

Уля некоторое время сидела молча, и Анатолий не мог видеть, какие чувства отражались на лице ее.

— Да, она была лучшей моей подругой, я по-прежнему люблю ее, и я, как никто, знаю ее доброе сердце, но она не может вступить на этот путь, она бессильная, — мне кажется, она может быть только жертвой, — сказала Уля, и что-то дрогнуло у нее в губах и в ноздрях. — А из ребят кого? — спросила она, точно желая отвести разговор.

— Среди ребят, конечно, Виктор, я уже с ним говорил. И если ты назвала Сашу Бондареву, и назвала, конечно, правильно, то надо и Васю, брата ее. И, конечно, Женька Шепелев и Володька Рагозин... Кроме того, я думаю, Боря Главан, — знаешь, молдаванин, что эвакуировался из Бессарабии...

Так они перебирали своих подруг и товарищей. Месяц, уже пошедший на убыль, но все еще большой, красным заревом стоял за деревьями, густые резкие тени легли вдоль сада, тревожная таинственность была разлита во всей природе.

— Какое счастье, что и ваша и наша квартиры свободны от немцев! Мне невыносимо было бы видеть их, особенно сейчас, — сказала Уля.

Со времени возвращения Уля жила одна в крохотном помещении кухоньки, примыкавшей к ряду домашних пристроек. Уля засветила ночник, стоявший на печке, и некоторое время сидела на постели, глядя перед собой. Она была

наедине с собой и своей жизнью, в том состоянии предельной открытости перед собой, какое бывает в минуты больших душевных свершений.

Она опустилась возле постели, вытащила чемоданчик и из глубины его, из-под белья, вынула сильно потрепанную клеенчатую тетрадку. С момента отъезда из дома Уля не брала ее в руки.

Полустершаяся запись карандашом на первой же странице, как бы эпиграф ко всему, сама говорила о том, почему Уля завела эту тетрадку и когда это было:

«В жизни человека бывает период времени, от которого зависит моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот перелом наступает только в юности. Это неправда: для многих он наступает в самом розовом детстве (Помяловский)».

С чувством одновременно и грустно-приятным, и удивления перед тем, что она, будучи почти ребенком, записывала то, что так отвечало ее теперешнему душевному состоянию, она читала на выборку то одно, то другое:

«В сражении нужно уметь пользоваться минутой и обладать способностью быстрого соображения».

«Что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу, хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, жить; одним словом, воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, творческая власть, которая из ничего делает чудеса!.. (Лермонтов)».

«Я не могу найти себе место от стыда. Стыдно, стыдно, — нет, больше, позорно смеяться над тем, кто плохо одет! Я даже не могу вспомнить, когда я взяла это себе в привычку. А сегодня этот случай с Ниной М., — нет, я даже не могу писать... Все, что я ни вспомню, заставляет меня краснеть, я вся горю. Я сблизилась даже с Лизкой У., потому что мы вместе высмеивали, кто плохо одет, а ведь ее родители... об этом не нужно писать, в общем она дрянная девчонка. А сегодня я так надменно, именно надменно насмеялась над Ниной и даже потянула за кофточку так, что кофточка вылезла из юбки, а Нина сказала... Нет, я не могу повторить ее слова. Но ведь я никогда не думала так дурно. Это началось у меня от желания, чтобы все, все было красиво в жизни, а вышло по-другому. Я просто не подумала, что многие еще могут жить в нужде, а тем более Нина М., она такая беззащитная... Клянусь, Ниночка, я больше никогда, никогда не буду!»

Дальше шла приписка карандашом, сделанная, очевидно, на другой день: «И ты попросишь у нее прощения, да, да, да!..».

Через две странички было записано:

«Самое дорогое у человека — жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое (Н. Островский)».

«Все-таки комичный этот М. Н.! Конечно, я не скрою, мне приятно провести с ним время (иногда). И он хорошо танцует. Но он очень любит подчеркнуть свое звание и прихвастнуть своими орденами, а мне это как раз совсем неважно. Вчера он заговорил о том, что я уже давно ждала, но чего совсем не хотела... Я посмеялась и не жалею. А то, что он сказал, — покончу с собой, — это и неправда и свинство с его стороны. Он такой толстый, ему бы надо быть на фронте, с ружьем походить. Никогда, никогда, никогда!..»

«Храбрейший среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых — таким я помню товарища Котовского. Вечная ему память и слава! (Сталин)».

Уля сидела, склонившись над своей ученической тетрадкой, пока не услышала, как тихо хлопнула калитка и чьи-то легкие маленькие ноги пробежали через дворик к двери в кухоньку.

Дверца без стука отворилась, и Валя Филатова, ничего не видя перед собой, подбежала к Уле, упала на колени на земляной пол и уткнулась лицом в колени Ули.

Некоторое время они молчали. Уля чувствовала вздымающуюся грудь Вали и биение ее сердца.

— Что с тобой, Валечка? — тихо спросила Уля.

Валя подняла лицо с полуоткрытым влажным ртом.

— Уля! — сказала она. — Меня угоняют в Германию!

При всем своем глубоком отвращении к немцам и ко всему, что они делали в городе, Валя Филатова до дурноты боялась немцев. С первого дня их прихода она все время ждала, что вот-вот должно случиться что-то ужасное с ней или с матерью.

После того как вышел приказ о регистрации на бирже, а Валя все еще не выполнила этого приказа, она жила в ожидании ареста, чувствуя себя преступницей, ставшей на путь борьбы с немецкой властью.

Этим утром, идя на рынок, она встретила несколько первомайцев, уже сходивших на регистрацию: они шли на работу по восстановлению одной из мелких шахтенок, каких немало было в районе «Первомайки».

И тогда Валя, стыдясь признаться Уле в своей слабости, тайно от нее пошла на регистрацию.

Биржа труда помещалась в одноэтажном белом доме, на холме, неподалеку от районного исполкома. Небольшая оче-

редь в несколько десятков человек, молодых и пожилых, главным образом женщин и девушек, стояла у входа в здание. Валя издали узнала в очереди одноклассницу по первомайской школе Зинаиду Вырикову. Валя узнала ее по маленькому росточку и по гладким, точно приклеенным волосам и торчащим вперед коротким острым косичкам и подошла к ней, чтобы попасть в очередь поближе.

Нет, это была не одна из тех очередей, в которых немало пришлось постоять людям в дни войны — и в хлебной, и в продовольственной, и за получением продкарточек, и даже при мобилизации на трудовой фронт. Тогда каждый старался попасть поближе, и люди ссорились, если кто-нибудь проходил без очереди, используя знакомство или служебное положение. Это была очередь на немецкую биржу труда, никто не стремился попасть туда раньше других. Вырикова молча взглянула на Валю недобрыми, близко сведенными глазами и уступила ей место перед собой.

Очередь продвигалась довольно быстро, — входили по двое. Валя, державшая у груди в потной руке паспорт, завернутый в платочек, вошла вместе с Выриковой.

В комнате, где регистрировали, прямо против входа стоял длинный стол, за которым сидели толстый немецкий ефрейтор и русская женщина с очень нежной розовой кожей лица и неестественно развитым длинным подбородком. И Валя и Вырикова знали ее: она преподавала в краснодонских школах, в том числе и в первомайской, немецкий язык. Как это ни странно, но фамилия ее тоже была Немчинова.

Девушки поздоровались с ней.

— А... мои воспитанницы! — сказала Немчинова и неестественно улыбнулась, опустив длинные темные ресницы.

В комнате стучали машинки. К дверям направо и налево протянулись две небольшие очереди.

Немчинова спрашивала у Вали сведения о возрасте, родителях, адрес и записывала в длинную ведомость. Одновременно она переводила все эти данные немецкому ефрейтору, и он заносил все это в другую ведомость по-немецки.

Пока Немчинова спрашивала ее, кто-то вышел из комнаты направо, а кто-то вошел. Вдруг Валя увидела молодую женщину со сбившейся прической, неестественно красным лицом, со слезами на глазах. Она быстро прошла через комнату, одной рукой застегивая кофточку на груди.

В это время Немчинова еще что-то спросила Валю.

— Что? — спросила Валя, провожая глазами эту молодую женщину со сбившейся прической.

— Здорова? Ни на что не жалуешься? — спрашивала Немчинова.

— Нет, я здорова, — сказала Валя.

Вырикова вдруг дернула ее сзади за кофточку. Валя обернулась, но Вырикова смотрела мимо нее близко сведенными безразличными глазами.

— К директору! — сказала Немчинова.

Валя машинально перешла в очередь направо и оглянулась на Вырикову. Вырикова механически отвечала на те же вопросы, какие задавали и ее подруге.

В комнате у директора было тихо, только изредка доносились отрывистые негромкие восклицания по-немецки. Пока опрашивали Вырикову, из комнаты директора вышел паренек лет семнадцати. Он был растерян, бледен и тоже застегивал на ходу гимнастерку.

В это время Валя услышала, как маленькая Вырикова резким своим голосом сказала:

— Вы же сами знаете, Ольга Константиновна, что у меня тебеце, — вот, слышите? — И Вырикова стала демонстративно дышать на Немчинову и на толстого немецкого ефрейтора, который, отпрянув на стуле, с изумлением смотрел на Вырикову круглыми петушиными глазами. В груди у Выриковой действительно что-то захрипело. — Я нуждаюсь в домашнем уходе, — продолжала она, бесстыдно глядя то на Немчинову, то на ефрейтора, — но если бы здесь, в городе, я бы с удовольствием, просто с удовольствием! Только я очень прошу вас, Ольга Константиновна, по какой-нибудь интеллигентной, культурной профессии. А я с удовольствием пойду работать при новом порядке, просто с удовольствием!

«Боже мой, что она городит такое?» — подумала Валя, с бьющимся сердцем входя в комнату директора.

Перед ней стоял немец в военном мундире, упитанный, с гладко прилизанными на прямой пробор серо-рыжими волосами. Несмотря на то, что он был в мундире, он был в желтых кожаных трусиках и в коричневых чулках, с голыми коленками, обросшими волосами, как шерстью. Он бегло и равнодушно взглянул на Валю и закричал:

— Раздевайт! Раздевайт!

Валя беспомощно повела глазами. В комнате, за столом, сидел еще только немецкий писарь, возле него стопками лежали старые паспорта.

— Раздягайся, чуешь? — сказал немецкий писарь по-украински.

— Как?.. — Валя вся так и залилась краской.

— Как! Как! — передразнил писарь. — Скидай одежду!

— Schneller! Schneller! — отрывисто сказал офицер с голыми, обросшими волосами коленями. И вдруг, протянув к Вале руки, он чисто промытыми узловатыми пальцами, тоже

поросшими рыжими волосами, раздвинув Вале зубы, заглянул в рот и начал расстегивать ей платье.

Валя, заплакав от страха и унижения, быстро начала раздеваться, путаясь в белье.

Офицер помогал ей. Она осталась в одних туфлях. Немец, бегло оглядев ее, брезгливо ощупал ее плечи, бедра, колени и, обернувшись к солдату, сказал отрывисто и так, точно он говорил о солдате:

— Tauglich! [1]

— Пачпорт! — не глядя на Валю, крикнул писарь, протянув руку.

Валя, прикрываясь одеждой, всхлипывая, подала ему паспорт.

— Адрес!

Валя сказала.

— Одягайся, — мрачно и тихо сказал писарь, бросив ее паспорт на другие. — Будет извещенье, когда являться на сборный пункт.

Валя пришла в себя уже на улице. Жаркое дневное солнце лежало на домах, на пыльной дороге, на выжженной траве. Уже больше месяца как не было дождя. Все вокруг было пережжено и высушено. Воздух дрожал, раскаленный.

Валя стояла посреди дороги в густой пыли по щиколотку. И вдруг, застонав, опустилась прямо в пыль. Платье ее надулось вокруг пузырем и опало. Валя уткнула лицо в ладони.

Вырикова привела ее в себя. Они спустились с холма, где стояло здание райисполкома, и мимо здания милиции, через «Восьмидомики», пошли к себе на «Первомайку». Валю то знобило,то бросало в жаркий пот.

— Дура ты, дура! — говорила Вырикова. — Так вам и надо таким!.. Это же немцы, — с уважением и даже подобострастием сказала Вырикова, — к ним надо уметь приспособиться!

Валя, не слыша, шла рядом с ней.

— У ты, дура такая! — со злобой говорила Вырикова. — Я же дала тебе знак. Надо было дать понять, что ты хочешь им помогать здесь, они это ценят. И надо было сказать: нездорова... Там, на комиссии, врачом Наталья Алексеевна с городской больницы, она всем дает освобождение или неполную годность, а немец там просто фельдшер и ни черта не понимает. Дура, дура и есть! А меня определили на службу в бывшую контору «Заготскот», еще и паек дадут...

Первым движением Ули было движение жалости. Она обняла Валину голову и стала молча целовать ей волосы, глаза. Потом у нее зародились планы спасения Вали.

---

[1] Годен!

— Тебе надо бежать, — сказала Уля, — да, да, бежать!

— Куда же, куда, боже мой? — беспомощно и в то же время раздраженно говорила Валя. — У меня же нет теперь никаких документов!

— Валечка, милая,—заговорила Уля ласковым шепотом,— я понимаю, кругом немцы, но ведь это же наша страна, она большая, ведь кругом все те же люди, среди которых мы жили, ведь можно же найти выход из положения! Я сама помогу тебе, все ребята и дивчата помогут.

— А мама? Что ты, Улечка! Они же замучают ее! — Валя заплакала.

— Да не плачь же ты, в самом деле! — в сердцах сказала Уля. — А если тебя в Германию угонят, ты думаешь, ей будет легче? Разве она это переживет?

— Улечка... Улечка... За что ты еще больше мучаешь меня?

— Это отвратительно, что ты говоришь, это... это позорно, гадко... Я презираю тебя! — со страшным, жестоким чувством сказала Уля. — Да, да, презираю твою немощность, твои слезы... Кругом столько горя, столько людей, здоровых, сильных, прекрасных людей гибнет на фронте, в фашистских концлагерях, застенках, — подумай, что испытывают их жены, матери, но все работают, борются! А ты, девчонка, тебе все дороги открыты, тебе предлагают помощь, а ты хнычешь, да еще хочешь, чтобы тебя жалели. А мне тебя не жалко, да, да, не жалко! — говорила Уля.

Она резко встала, отошла к двери и, прислонившись к ней заложенными за спину руками, стояла, глядя перед собой гневными черными глазами. Валя, уткнувшись лицом в постель Ули, молча стояла на коленях.

— Валя! Валечка!.. Вспомни, как мы жили с тобой. Сердечко мое! — вдруг сказала Уля. — Сердечко мое!

Валя зарыдала в голос.

— Вспомни, когда же я посоветовала тебе что-нибудь дурное? Помнишь, тогда, с этими сливами, или когда ты кричала, что не переплывешь, а я сказала, что я тебя сама утоплю? Валечка! Я тебя умоляю...

— Нет, нет, ты покинула меня! Да, ты покинула меня сердцем, еще когда ты уезжала, и потом уже ничего не было между нами. Ты думаешь, я этого не чувствовала? — вне себя говорила Валя, рыдая. — А сейчас?.. Я совсем, совсем одна на свете...

Уля ничего не отвечала ей.

Валя встала и, не глядя на Улю, утерла лицо платком.

— Валя, я говорю тебе в последний раз, — тихо и холодно сказала Уля.—Или ты послушаешь меня, тогда мы сейчас же

разбудим Анатолия и он проводит тебя к Виктору на Погорелый, или... не терзай мне сердца.

— Прощай, Улечка!.. Прощай навсегда...— Валя, сдерживая слезы, выбежала из кухоньки на двор, залитый светом месяца.

Уля едва сдержалась, чтобы не догнать ее и не покрыть поцелуями все ее несчастное, мокрое лицо.

Она потушила ночник, отворила оконце и, не раздеваясь, легла на постель. Сон бежал от нее. Она прислушивалась к неясным ночным звукам, доносившимся из степи и из поселка. Ей все казалось, что пока она лежит здесь, к Вале уже пришли немцы и забирают ее, и нет никого, кто мог бы сказать бедной Вале доброе и мужественное слово на прощание.

Вдруг ей почудились шаги по мягкой земле и шорох листьев где-то на огороде. Шаги приближались, шел не один человек. Надо было бы закрыть дверь на крючок и захлопнуть окно, но шаги зашуршали уже под самым окном, и в окне возникла белая голова в узбекской шапочке.

— Уля, ты спишь? — шепотом спрашивал Анатолий.

Уля уже была у окна.

— Ужасное несчастье,— сказал Анатолий: — у Виктора отца взяли.

Уля увидела приблизившееся к окну освещенное месяцем бледное мужественное лицо Виктора с затененными глазами.

— Когда взяли?

— Сегодня вечером. Пришел немец, эсэсовец, в черном, толстый такой, с золотыми зубами, вонючий,— с ненавистью сказал Виктор,— с ним еще солдат и русский полицай... Били его. Потом отвели к конторе лесхоза, там стоял грузовик, полный арестованных, всех повезли сюда... Я бежал за ними все двадцать километров... Если бы ты не ушел позавчера, они б и тебя взяли,— сказал Виктор Анатолию.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Немало дней и ночей прошло с того дня, как Матвей Шульга был брошен в тюрьму, и он потерял счет времени. В камере его почти все время было темно,— свет пробивался через затянутую снаружи колючей проволокой и полуприкрытую навесом узкую щель под потолком.

Матвей Костиевич чувствовал себя одиноким и забытым всеми.

Иногда той или иной женщине, матери или жене, удавалось умолить немецкого солдата из жандармерии или кого-

нибудь из русских «полицаев» передать арестованному сыну или мужу что-нибудь из еды, белья. Но у Костиевича не было в Краснодоне родных. Никто из близких ему людей, кроме Лютикова и старика Кондратовича, не знал, что Костиевич оставлен в Краснодоне на подпольной работе, что сидящий в этой темной камере безвестный Евдоким Остапчук — это Костиевич. Он понимал, что Лютиков может и не знать, что с ним случилось, а узнав, не найти к нему доступа. И Матвей Костиевич не ждал помощи от Лютикова.

Единственные люди, с которыми он имел дело, были люди, которые мучили его, и это были немецкие жандармы. Среди них только двое говорили по-русски: немец-переводчик в кубанке на черной костяной головке и начальник полиции Соликовский в старинных, с желтыми лампасами, необъятных казачьих шароварах и с кулаками, как конские копыта, про которого можно было бы сказать, что он еще хуже немецких жандармов, если бы возможно было быть хуже, чем они.

Костиевич с первого момента ареста не скрывал, что он человек партийный, коммунист, потому что скрывать это было бесполезно и потому что эта прямота и правда укрепляли его силы в борьбе с людьми, которые мучили его. Он только выдавал себя за человека обыкновенного, рядового. Но как ни глупы были люди, мучившие его, они по облику его и поведению видели, что это неправда. Они хотели, чтобы он назвал еще людей, своих сообщников. Поэтому они не могли и не хотели сразу убить его. И его ежедневно по два раза допрашивали старший жандармский вахмистр Брюкнер или его заместитель вахмистр Балдер, надеявшиеся раскрыть через него организацию большевиков в Краснодоне и выслужиться перед главным фельдкомендантом области генерал-майором Клером.

Они допрашивали Костиевича и били его, когда он выводил их из себя. Но чаще его бил и пытал по их поручению ротенфюрер команды СС Фенбонг, полный лысоватый унтер с золотыми зубами и бабьим голосом, в очках со светлой роговой оправой. От унтера исходил такой дурной запах, что даже вахтмайстер Балдер и гауптвахтмайстер Брюкнер поводили носами и бросали ему сквозь зубы презрительные реплики, когда унтер оказывался слишком близко от них. Унтер Фенбонг бил и пытал связанного Костиевича, которого к тому же держали солдаты, методично, со знанием дела и совершенно равнодушно. Это была его профессия, его работа. А в те часы, когда Костиевич был не на допросе, а у себя в камере, унтер Фенбонг уже не трогал его, потому что боялся Костиевича, когда тот не был связан и солдаты не держали его, и потому что это были у Фенбонга не рабочие часы, а часы отдыха,

которые он проводил в специально отведенной для него и его солдат дворницкой во дворе тюрьмы.

Но как ни терзали Костиевича и как ни долго это тянулось, Матвей Костиевич ничего не изменил в своем поведении. Он был так же независим, строптив и буен, и все очень утомлялись с ним, и вообще он причинял только одни неприятности.

В то время, когда так непоправимо безнадежно и мучительно однообразно протекала внешняя жизнь Костиевича, с тем большей силой напряжения и глубиной развертывалась его жизнь духовная. Как все большие и чистые люди перед лицом смерти, он видел теперь и себя и всю свою жизнь с предельной, прозрачной ясностью, с необыкновенной силой правды.

Усилием воли он отводил от себя мысли о жене и детях, чтобы не размягчить себя. Но с тем большей теплотой и любовью он думал о находившихся здесь, в городе, неподалеку от него, друзьях его молодости — Лизе Рыбаловой, Кондратовиче, и горевал, что даже смерть его останется им неизвестной, смерть, которая оправдала бы его в их глазах. Да, он знал, что привело его в эту темную камеру, и мучился сознанием того, что он ничего уже не сможет поправить, даже объяснить людям, в чем он виноват, чтобы облегчить свою душу и чтобы люди не повторяли его ошибки.

Однажды днем, когда Костиевич отдыхал после утреннего допроса, у камеры его послышались развязные голоса, дверь распахнулась с каким-то жалобным звоном, и в камеру вошел человек с повязкой «полицая» и со свисавшей на ремне тяжелой кобурой с желтым шнурком. В дверях стоял дежурный по коридору, усатый немецкий солдат из жандармерии.

Костиевич, привыкший к темноте, мгновенно рассмотрел полицейского, вошедшего к нему. Совсем еще юный, почти мальчик, черненький и одетый во все черное, он, не в силах разглядеть Костиевича, смущаясь и стараясь держаться развязно, растерянно поводил вокруг зверушечьими глазами и весь вихлялся, как на шарнирах.

— Вот ты и в клетке зверя! Сейчас мы закроем дверь и посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Хоп-ля! — по-немецки сказал усатый солдат из жандармерии, громко захохотал и захлопнул дверь за спиной юного «полицая».

Полицейский быстро нагнулся к приподнявшемуся на темном полу Костиевичу и, обжигая Костиевича пронзительным и испуганным взглядом черных своих глаз, прошептал:

— Ваши друзья не дремлют. Ждите ночью, на той неделе, я вас предупрежу...

В то же мгновение полицейский выпрямился и, приняв нахальное выражение, сказал неверным голосом:

— Не испугаешь... небось... Не на таковского... Немчура проклятая!

Немецкий солдат с хохотом отворил дверь и крикнул что-то веселое.

— Ха, достукался? — говорил юный «полицай», вихляясь перед Шульгой худым своим телом.— Счастье твое, что я человек честный и тебя не знаю... У, ты! — неожиданно воскликнул он и, замахнувшись тонкой рукой, легонько толкнул Костиевича в плечо и на мгновение стиснул пальцы на плече, и в этом хрупком пожатии Костиевичу снова почудилось что-то дружеское.

«Полицай» вышел из камеры, и дверь захлопнулась, и ключ завизжал в замке.

Конечно, это могла быть провокация. Но зачем это нужно им, когда он в их руках и они всегда могут убить его? Это мог быть первый пробный шар на доверие, с тем чтобы в подходящих условиях Костиевич раскрыл себя перед этим «полицаем», как перед своим человеком. Но неужели они могут думать, что он так наивен?

И надежда ударила в сердце Костиевича и волнами погнала кровь по его истерзанному богатырскому телу.

Значит, Филипп Петрович жив и действует? Значит, они там помнят о нем? Да как же он мог думать иначе...

Чувство благодарности к друзьям с их заботой о нем, надежда на спасение семьи, вновь воспрянувшая, радость возможного избавления от мук, от непосильных дум — все это слилось в душе его в один могучий зов борьбы, жизни. И он, пожилой, грешный, большой человек, почувствовал, что в груди его закипают счастливые слезы, когда представил себе, что он будет жить и еще сможет выполнить свой долг.

Сквозь дощатые двери и стену ему день и ночь слышна была вся жизнь тюрьмы: как людей приводили и уводили, как мучили и как расстреливали за стеной, во дворе. Однажды ночью он был разбужен шумом, говором и топотом людей в камерах и коридорах, выкриками жандармов и полицейских на немецком и русском языках, бряцанием оружия, плачем детей и женщин. Было такое впечатление, что людей выводили из тюрьмы. Доносился рев моторов нескольких грузовых машин, одна за другой съезжавших со двора.

И действительно, когда Костиевича вели по коридору на дневной допрос, он почувствовал, что тюрьма пуста.

Ночью его впервые не потревожили. Он слышал, как к тюрьме подошла грузовая машина и жандармы и полицейские с приглушенными ругательствами, торопливо, точно они

стыдились друг перед другом, разводили по камерам арестованных, молча и тяжело волочивших ноги по коридору. Арестованных подвозили всю ночь.

Было еще далеко до утра, когда Костиевича подняли на допрос и повели, не связав рук. Он понял, что его не будут пытать. И действительно, его привели не в камеру, специально оборудованную для пыток, находившуюся в той же половине, что и камеры для заключенных, а в кабинет майстера Брюкнера, где Костиевич увидел самого Брюкнера в подтяжках (офицерский мундир его висел на кресле: в кабинете было невыносимо душно), вахмистра Балдера в полной форме, переводчика Шурку Рейбанда и трех немецких солдат в мышиных мундирчиках.

За дверью послышался грузный топот, и в кабинет, нагнув голову, чтобы не задеть притолоки, вошел начальник полиции Соликовский в старинной казачьей фуражке, а за ним Костиевич увидел своего мучителя, унтера Фенбонга, с солдатами СС, державшими полураздетого рослого пожилого человека, с мясистым сильным лицом, со связанными за спиной руками, босого. Матвей Костиевич признал в нем своего земляка, участника партизанской борьбы в 1918 году — Петрова, с которым он не виделся лет пятнадцать. Петров, видно, давно не ходил босой, поранился, ему больно было ступать даже по полу. Мясистое лицо его было в синяках и кровоподтеках; с той поры, как Костиевич видел его, он мало постарел, только раздался в плечах и в поясе. Держался он угрюмо, но с достоинством.

— Узнаешь его? — спросил майстер Брюкнер.

Шурка Рейбанд перевел вопрос Костиевичу.

И Петров и Костиевич сделали вид, что впервые видят друг друга. И уже придерживались этого во все время допроса.

Майстер Брюкнер кричал на молча стоявшего перед ним с угрюмым лицом и с босыми ногами Петрова:

— О, ти льгун, льгун, старый крис! — И топал начищенным штиблетом так, что низко опущенный живот майстера Брюкнера подпрыгивал.

Потом Соликовский громадными своими кулаками стал избивать Петрова, пока не свалил его на пол. Шульга хотел уже кинуться на Соликовского, но внутренний голос подсказал ему, что он сможет этим только навредить Петрову. Он чувствовал, кроме того, что наступило время, когда ему лучше будет так и остаться с развязанными руками. И, сдерживая себя, раздувая ноздри, он молча смотрел, как избивают Петрова.

Потом их обоих увели.

Несмотря на то, что Костиевича на этот раз не били, он был так потрясен тем, что происходило на его глазах, что к концу этого, второго за одни сутки, допроса могучий организм его сдал. Костиевич не помнил, как его отвели в камеру, впал в тяжелое забытье, из которого его снова вывел визг ключа в двери. Он слышал возню в дверях, но не мог проснуться. Потом ему почудилось, что дверь отворилась и кого-то втолкнули в камеру к нему. Костиевич сделал усилие и открыл глаза. Над ним, наклонившись, стоял человек с черными сросшимися бровями и черной цыганской бородой и пытался рассмотреть Костиевича.

Человек этот попал со света в темную камеру и то ли без привычки не мог разглядеть лица Костиевича, то ли Костиевич был уже не похож на самого себя. Но Костиевич сразу узнал его,— это был земляк, тоже участник той войны, директор шахты № 1-бис, Валько.

— Андрий...— тихо сказал Костиевич.

— Матвий?.. Судьба! Судьба!..

Валько резким, порывистым движением обнял приподнявшегося Костиевича за плечи.

— Все делали, шоб вызволить тебя, а судьба сулила самому попасть до тебе... Дай же, дай подивиться на тебя,— через некоторое время заговорил Валько резким, хриплым голосом.— Что ж они сделали с тобой! — Валько отпустил Костиевича и заходил по камере.

В нем точно проснулась его природная цыганская горячность, а камера была так мала, что он действительно походил на тигра в клетке.

— Видать, и тебе досталось,— спокойно сказал Костиевич и сел, обхватив колени.

Одежда Валько была вся в пыли, рукав пиджака полуоторван, одна штанина лопнула на колене, другая распоролась по шву, поперек лба — ссадина. Все же Валько был в сапогах.

— Дрался, видать?.. То — по-моему,— с удовольствием сказал Костиевич, представив себе, как все это было. — Ладно, не порть себе нервы. Сидай, расскажи, як воно там...

Валько сел на пол против Костиевича, поджав под себя ноги, потрогал рукой склизкий пол, поморщился.

— Дуже ответственный, еще не привык,— сказал он о себе и усмехнулся.— Що ж тоби казаты? Дела идут нормально, наши дела. Ну, а я...

Вдруг все лицо этого грубого человека задергалось такой мукой, что у Костиевича озноб пошел по спине. Валько махнул рукой и уткнул свое черное лицо в ладони.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

С того самого дня, как Валько удалось установить связь с Филиппом Петровичем, ему, как человеку, хорошо знавшему шахты треста «Краснодонуголь», были переданы в руки все тайные нити саботажа и диверсий в районе.

Близость инженера Баракова к дирекциону, к самому Швейде, а особенно к его заместителю Фельднеру, который в отличие от своего молчаливого начальника был болтлив, обеспечивала Баракову, а через него и Валько возможность всегда быть в курсе хозяйственных начинаний администрации.

Постороннему, даже очень наблюдательному человеку трудно было бы установить связь, которая существовала между очередной встречей Баракова с Фельднером и тем, что несколько часов спустя на улицах Краснодона вдруг появлялась скромная, тихая девушка с неправильными чертами бронзового от загара лица — Оля Иванцова. В один домик скромная девушка занесет помидоры на продажу, в другой просто зайдет в гости к хозяевам, а через некоторое время странным образом рушатся все благие начинания немецкой администрации.

Оля Иванцова работала теперь как связная Валько.

Но не только о хозяйственных мероприятиях узнавал Бараков от Фельднера. В доме лейтенанта Швейде пьянствовали днями и ночами чины местной жандармерии. Все, о чем они небрежно болтали между собой, господин Фельднер так же небрежно выбалтывал Баракову.

Не одну бессонную ночь провел Филипп Петрович, обдумывая, каким путем спасти Матвея Костиевича и других заключенных в краснодонской тюрьме. Но долгое время не удавалось ему установить даже связи с тюрьмой.

Связь помог установить Иван Туркенич.

Туркенич происходил из почтенной краснодонской семьи, хорошо известной Лютикову. Глава ее, Василий Игнатьевич, старый шахтер, уже вышедший на инвалидность, и жена его, Феона Ивановна, родом из обрусевших украинцев Воронежской губернии, перекочевали в Донбасс в неурожайном двадцать первом году. Ваня тогда еще был грудным. Феона Ивановна всю дорогу несла его на руках, а старшая сестренка шла пешком, держась за материнский подол.

Они так бедствовали в пути, что приютившие их на ночь в Миллерове бездетные пожилые кооператор с женой стали упрашивать Феону Ивановну отдать младенца на воспитание. И родители было заколебались, а потом взбунтовались, поссорились, прослезились и не отдали сыночка, кровиночку.

Так они добрались до рудника Сорокина и здесь осели. Когда Ваня подрос, уже кончал школу и выступал в драматическом кружке, Василий Игнатьевич и Феона Ивановна любили рассказывать гостям, как кооператор в Миллерове хотел взять их сына и как они не отдали его.

В дни прорыва немцами Южного фронта лейтенант Туркенич, командир батареи противотанковых орудий, имея приказ стоять насмерть, отбивал атаки немецких танков в районе Калача-на-Дону до тех пор, пока все орудийные расчеты не выбыли из строя и сам он не свалился раненный. С остатками разрозненных рот и батарей он был взят в плен и, как раненый, не могущий передвигаться, был пристрелен немецким лейтенантом. Но недострелен. Вдова-казачка в две недели выходила Туркенича. И он появился дома, перебинтованный крест-накрест под сорочкой.

Иван Туркенич установил связь с тюрьмой с помощью старинных своих приятелей по школе имени Горького — Анатолия Ковалева и Васи Пирожка.

Трудно было бы найти друзей более разных и по физическому облику и по характеру.

Ковалев был парень чудовищной силы, приземистый, как степной дуб, медлительный и добрый до наивности. С отроческих лет он решил стать знаменитым гиревиком, хотя девушка, за которой он ухаживал, и издевалась над этим: она говорила, что в спортивном мире на высшей ступени лестницы стоят шахматисты, а гиревики на самой низшей — ниже гиревиков идут уже просто амебы. Он вел размеренный образ жизни, не пил, не курил, ходил и зимой без пальто и шапки, по утрам купался в проруби и ежедневно упражнялся в подымании тяжестей.

А Вася Пирожок был худощавый, подвижной, вспыльчивый, с черными, зверушечьими глазами, любимец и любитель девушек, драчун, и если что и интересовало его в спорте, так только бокс. Вообще он был склонен к авантюрам.

Туркенич подослал к Пирожку младшую замужнюю сестру за пластинками для патефона, и она завлекла Васю вместе с пластинками, а Вася по дружбе притащил с собой Ковалева.

К великому негодованию всех жителей Краснодона, особенно молодых людей, лично знавших Ковалева и Пирожка, их обоих вскоре увидели со свастикой на рукаве, среди «полицаев», упражнявшихся в новой своей специальности на пустыре возле парка под руководством немца — сержанта с голубоватыми погонами.

Они специализировались по охране городского порядка. На их долю выпадали дежурства в городской управе, дирекционе, районной сельскохозяйственной комендатуре, на бирже

труда, на рынке, ночные обходы по участкам. Повязка «полицая» была признаком благонадежности в их общении с немецкими солдатами из жандармерии. И Васе Пирожку удалось не только узнать, где сидит Шульга, но даже проникнуть к нему в камеру и дать понять, что друзья заботятся о том, чтобы освободить его.

Освободить! Хитрость и подкуп были здесь бессильны. Освободить Матвея Костиевича и других можно было, только напав на тюрьму.

Такая операция была теперь под силу районной подпольной организации.

К этому времени организация пополнилась офицерами Красной Армии из числа раненых, лежавших в краснодонском госпитале, спасенных стараниями Сережки Тюленина, его сестры Нади и няни Луши.

С появлением Туркенича группа молодежи, созданная Филиппом Петровичем при подпольном райкоме, получила боевого руководителя — боевого в прямом значении этого слова, то есть руководителя военного.

Подобно тому как подпольный райком в случае боевых операций превращался в штаб, а руководители райкома Бараков и Лютиков становились соответственно командиром и комиссаром отряда, подобно этому они хотели построить и организацию молодежи.

Все эти дни августа Бараков и Лютиков готовили боевую дружину к нападению на тюрьму. И по их поручению Иван Туркенич и Олег подбирали группу молодежи для участия в этой операции. В помощь себе Ваня и Олег привлекли Земнухова, Сережку Тюленина, Любу Шевцову и Евгения Стаховича, как человека, уже нюхнувшего пороху.

Как ни увлечена была Уля своей новой ролью и как ни понимала все значение скорейшей встречи с Олегом, она еще настолько не привыкла обманывать отца и мать и так погружена была в дела по дому, что выбралась к Олегу только на другой день после разговора с Виктором и Анатолием, уже под вечер, и не застала Олега дома.

Генерал барон фон Венцель и штаб его выехали на восток. Дядя Коля, открывший Уле дверь, сразу узнал ее, но, как ей показалось, не проявил не только радости, но даже приветливости, после того как они столько испытали вместе и так много дней не виделись...

Бабушки Веры и Елены Николаевны не было дома. На стульях друг против друга сидели Марина и Оля Иванцова и мотали шерсть.

Увидев Улю, Марина выронила моток и с криком кинулась ей на шею.

— Улечка! Де ж ты пропала? Будь они прокляты, злыдни! — радостно говорила она с выступившими на глаза слезами.— Ось дивись, распустила жакет сыночку на костюмчик. Думаю, жакет все одно отберут, а у малого, може, не тронут!..

И она такой же скороговоркой стала перебирать в памяти их совместный путь, гибель детей на переправе, и как разорвало заведующую детским домом, и как немцы отобрали у них шелковые вещи.

Оля, держа перед собой шерсть на растопыренных смуглых до черноты, сильных руках, с таинственным и, как показалось Уле, тревожным выражением молча смотрела перед собой немигающими глазами.

Уля не сочла возможным объяснить, зачем она пришла,— сказала только об аресте отца Виктора. Оля, не меняя положения рук, быстро взглянула на дядю Колю, а дядя Коля на нее. И Уля вдруг поняла, что дядя Коля был не неприветлив, а встревожен чем-то, чего Уля не могла знать. И смутное чувство тревоги охватило и Улю.

Оля все с тем же таинственным выражением, усмехнувшись как-то вбок, сказала, что она договорилась встретиться с сестрой Ниной у парка и они сейчас придут сюда вместе. Оно сказала это, ни к кому не обращаясь, и тотчас же вышла.

Марина все говорила, не подозревая того, что происходит вокруг нее.

Через некоторое время Оля вернулась с Ниной.

— Как раз о тебе вспоминали в одной компании. Хочешь, зайдем, сейчас же познакомлю? — сказала Нина без улыбки.

Она молча повела Улю через улицы и дворы, куда-то в самый центр города. Она шла, не глядя на Улю; выражение ее широко открытых карих глаз было рассеянное и свирепое.

— Нина, что случилось? — тихо спросила Уля.

— Наверное, тебе скажут сейчас. А я ничего не могу сказать.

— Ты знаешь, у Вити Петрова отца арестовали,— снова сказала Уля.

— Да? Этого надо было ждать.— Нина махнула рукой.

Они вошли в стандартный дом того же типа, что и все дома вокруг. Уля никогда не бывала здесь.

Крупный старик полулежал на широкой деревянной кровати, одетый, голова его покоилась среди взбитых подушек, видны были только линия большого лба и мясистого носа и

светлые густые ресницы. Пожилая худая женщина широкой кости, желтая от загара, сидела возле кровати на стуле и шила. Две молодые красивые женщины, с крупными босыми ногами, без дела сидели на лавке у окна; они с любопытством взглянули на Улю.

Уля поздоровалась. Нина быстро провела ее в другую горницу.

В большой комнате, за столом, уставленным закусками, кружками, бутылками с водкой, сидело несколько молодых людей и одна девушка. Уля узнала Олега, Ваню Земнухова и Евгения Стаховича, который как-то, перед войной, выступал у первомайцев с докладом. Двое ребят были неизвестны ей. А девушка была Люба, «Любка-артистка», которую Уля видела у калитки ее дома в тот памятный день. Обстоятельства их встречи так ярко встали перед Улей, что она поразилась, увидев Любу здесь. Но в то же мгновение она все поняла, и поведение Любы в тот день вдруг предстало перед ней в истинном свете.

Нина ввела Улю и тотчас же вышла.

Олег встал Уле навстречу, немного смутился, поискал глазами, куда бы посадить ее, и широко улыбнулся ей. И так вдруг согрела ее эта улыбка перед тем непонятным и тревожным, что предстояло ей узнать...

Этой ночью, когда взяли отца Виктора, в городе и в районе были арестованы почти все не успевшие эвакуироваться члены партии, советские работники, люди, ведшие ту или иную общественную деятельность, многие учителя и инженеры, знатные шахтеры и кое-кто из военных, скрывавшихся в Краснодоне.

Страшная весть эта с утра распространилась по городу. Но только Филипп Петрович и Бараков знали, какой урон эта, не вызванная чьим-либо провалом, а предупредительная операция немецкой жандармерии нанесла подпольной организации. В свой «частый бредень» полиция захватила многих из тех, кто должен был участвовать в нападении на тюремную охрану.

К Олегу прибежали Оля и Нина Иванцовы. Бледность, проступившая на их бронзовых от загара, осунувшихся лицах, мгновенно передалась и ему. Со слов Ивана Кондратовича они сообщили, что ночью арестован дядя Андрей.

Та никому, кроме Кондратовича, не известная квартира, где скрывался Валько, внезапно подверглась обыску. Как потом выяснилось, искали не Валько, а мужа хозяйки, который был в эвакуации. Дело происходило на одном из малых «шанхайчиков», обыск производил Игнат Фомин и сразу опознал Валько.

По словам хозяйки, Валько при аресте держался спокойно, но когда Фомин ударил его по лицу, Валько вспылил и сбил полицейского с ног. Тогда на Валько набросились солдаты из жандармерии.

Оставив Олю с родными, Олег и Нина побежали к Туркеничу. Во что бы то ни стало нужно было повидать Васю Пирожка или Ковалева. Но то, что узнала младшая сестра Туркенича, сбегавшая на квартиру Пирожка и Ковалева, было уже вовсе непонятно и тревожно. По словам их родителей, оба они ушли вчера из дому рано вечером. А немного попозже на квартиры к ним забегал служивший вместе с ними полицейский Фомин, который расспрашивал, где они могут быть, и очень грубил оттого, что их не застал. Потом он забегал еще раз ночью и все говорил: «Вот ужо будет им!..» Ковалев и Вася вернулись по домам перед утром, совершенно пьяные, что было тем более поразительно, что Ковалев никогда не пил. Они сказали родным, что гуляли у шинкарки, и, не обращая внимания на переданные им угрозы Фомина, завалились спать. А утром пришли полицейские и арестовали их.

Олег через Нину поставил в известность обо всем Полину Георгиевну Соколову, чтобы она при первой возможности рассказала все это Филиппу Петровичу. Они вызвали на совещание Сережку Тюленина, Любку, Ваню Земнухова и Стаховича. Совещание происходило на квартире Туркенича.

В тот момент, когда вошла Уля, между Стаховичем и Ваней шел спор, сразу захвативший и Улю.

— Не понимаю, где же тут логика? — говорил Стахович.— Мы готовились освободить Остапчука, торопились, собрали оружие, мобилизовали ребят, а когда арестовали дядю Андрея и других, то есть назрела еще большая срочность и необходимость, нам предлагают ждать еще и еще...

Должно быть, авторитет Стаховича среди ребят был велик. Ваня смущенно спросил своим глуховатым баском:

— Что же ты предлагаешь?

— Я предлагаю не дальше как в ночь на послезавтра напасть на тюрьму. Если бы мы вместо того, чтобы разговаривать, начали действовать с утра, нападение можно было бы произвести этой же ночью,— сказал Стахович.

Он развил свою мысль. Уля отметила, что он сильно изменился с той поры, как она слышала его доклад на комсомольском собрании «Первомайки» перед войной. Правда, он и тогда свободно обращался с такими книжными словами, как «логика», «объективно», «проанализируем», но тогда он не держался так самоуверенно. Теперь он говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову с свободно закинутыми светлы-

ми волосами, положив на стол сжатые в кулаки длинные худые руки.

Предложение его, видно, поразило всех, никто не решился сразу ответить ему.

— Ты на чувства бьешь, вот что...— сказал наконец Ваня застенчиво, но очень твердым голосом.— И нечего в прятки играть. Хотя мы ни разу не говорили об этом, но я думаю, ты, как и все, достаточно хорошо понимаешь, что мы готовили ребят к такому серьезному делу не по своему личному почину. И пока не будет новых указаний, мы не имеем права даже пальцем шевельнуть. Эдак можно не только людей не спасти, а еще и новых завалить... Не мальчики же мы в самом деле! — вдруг сказал он сердито.

— Не знаю, может быть, мне не доверяют и не говорят всего,— Стахович самолюбиво поджал губы.— Во всяком случае, я до сих пор не получал ни одной четкой, боевой директивы. Все ждем, ждем. Дождемся того, что людей действительно убьют... Если уже не убили,— жестко сказал он.

— Нам всем одинаково больно за людей,— сказал Ваня с обидой в голосе.— Но неужели ты действительно думаешь, что у нас у самих хватило бы сил?..

— У первомайцев найдутся смелые, преданные ребята? — вдруг спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей в глаза с покровительственным выражением.

— Да, конечно,— сказала Уля.

Стахович безмолвно посмотрел на Ваню.

Олег сидел, вобрав голову в плечи, и то внимательно-серьезно переводил свои большие глаза со Стаховича на Ваню, то, задумавшись, глядел прямо перед собой, и глаза его точно пеленой подергивались.

Сережка, потупившись, молчал. Туркенич, не вмешиваясь в спор, неотрывно смотрел на Стаховича, словно изучая его.

В это время Любка подсела к Уле.

— Узнала меня? — шепотом спросила Любка.— Помнишь отца моего?

— Это при мне было...— Уля шепотом передала подробности гибели Григория Ильича.

— Ах, что только приходится переживать! — сказала Любка.— Ты знаешь, у меня к этим фашистам да «полицаям» такая ненависть, я бы их резала своими руками! — сказала она с наивным и жестоким выражением в глазах.

— Да... да...— тихо сказала Уля.— Иногда я чувствую в душе такое мстительное чувство, что даже боюсь за себя. Боюсь, что сделаю что-нибудь опрометчивое.

— Тебе Стахович нравится? — на ухо спросила ее Любка.

Уля пожала плечами.

— Знаешь, уж очень себя показывает. Но он прав. Ребят, конечно, можно найти,— сказала Любка, думая о Сергее Левашове.

— Дело ведь не только в ребятах, а кто будет нами руководить,— шепотом отвечала Уля.

И — точно она сговорилась с ним — Олег в это время сказал:

— За ребятами дело не станет, смелые ребята всегда найдутся, а все дело в организации...— Он сказал это звучным юношеским голосом, заикаясь больше, чем обычно, и все посмотрели на него.— Ведь мы же не организация... Вот соб-брались и разговариваем! — сказал он с наивным выражением в глазах.— А ведь есть же партия. Как же мы можем действовать без нее, помимо нее?

— С этого и надо было начинать, а то получается, что я против партии,— сказал Стахович, и на лице его появилось одновременное выражение смущения и досады.— До сих пор мы имели дело с тобой и с Ваней Туркеничем, а не с партией. По крайней мере скажите толково, зачем вы нас созвали?

— А вот зачем,— сказал Туркенич таким тихим, спокойным голосом, что все повернулись к нему,— чтобы быть готовыми. Откуда ты знаешь, что нас действительно не призовут в эту ночь? — спросил он, в упор глядя на Стаховича.

Стахович молчал.

— Это первое. Второе, — продолжал Туркенич: — мы не знаем, что сталось с Ковалевым и Пирожком. А разве можно действовать вслепую? Я никогда не позволю себе сказать о ребятах плохое, но если они провалились? Разве можно предпринимать хоть что-нибудь, не связавшись с арестованными?

— Я в-возьму это на себя,— быстро сказал Олег.— Родня, наверно, понесет передачи, можно будет кому-нибудь записку передать — в хлебе, в посуде. Я организую это ч-через маму...

— Через маму! — фыркнул Стахович.

Олег густо покраснел.

— Немцев ты, видно, не знаешь,— презрительно сказал Стахович.

— К немцам не надо применяться, надо заставить их применяться к нам.— Олег едва сдерживал себя и избегал смотреть на Стаховича.— К-как твое мнение, Сережа?

— Лучше бы напасть,— сказал Сережка, смутившись.

— То-то и есть... Силы найдутся, не беспокойся!

Стахович сразу оживился, почувствовав поддержку.

— Я и говорю, что у нас нет ни организации, ни дисциплины,— сказал Олег, весь красный, и встал.

В это время Нина открыла дверь, и в комнату вошел Вася Пирожок. Все лицо его было в ссохшихся ссадинах, в кровоподтеках, и одна рука — на перевязи.

Вид его был так тяжел и странен, что все привстали в невольном движении к нему.

— Где тебя так? — после некоторого молчания спросил Туркенич.

— В полиции.— Пирожок стоял у двери со своими черными зверушечьими глазами, полными детской горечи и смущения.

— А Ковалев где? Наших там не видел? — спрашивали все у Пирожка.

— И никого мы не видели: нас в кабинете начальника полиции били,— сказал Пирожок.

— Ты из себя деточку не строй, а расскажи толково,— не повышая голоса, сердито сказал Туркенич.— Где Ковалев?

— Дома... Отлеживается. А чего рассказывать? — сказал Пирожок с внезапным раздражением. — Днем, в аккурат перед этими арестами, нас вызвал Соликовский, приказал, чтобы к вечеру были у него с оружием — пошлет нас с арестом, а к кому — не сказал. Это в первый раз он нас наметил, а что не нас одних и что аресты будут большие, мы, понятно, не знали. Мы пошли домой, да и думаем: «Как же это мы пойдем какого-нибудь своего человека брать? Век себе не простим!» Я и сказал Тольке: «Пойдем к Синюхе, шинкарке, напьемся и не придем,— потом так и скажем: запили». Ну, мы подумали, подумали,— что, в самом деле, с нами сделают? Мы не на подозрении. В крайнем случае морду набьют да выгонят. Так оно и получилось: продержали несколько часов, допросили, морду набили и выгнали,— сказал Пирожок в крайнем смущении.

При всей серьезности положения вид Пирожка был так жалок и смешон и все вместе было так по-мальчишески глупо, что на лицах ребят появились смущенные улыбки.

— А н-некоторые т-товарищи думают, что они способны ат-таковать немецкую жандармерию! — сильно заикаясь, сказал Олег, и в глазах его появилось беспощадное, злое выражение.

Ему было стыдно перед Лютиковым, что в первом же серьезном деле, порученном молодежи, было проявлено столько ребяческого легкомыслия, неорганизованности, недисциплинированности. Ему было стыдно перед товарищами оттого, что все они чувствовали это так же, как он. Он негодовал на Стаховича за мелкое самолюбие и тщеславие, и в то же время ему казалось, что Стахович со своим боевым опытом имел право быть недовольным тем, как Олег организовал все

дело. Олегу казалось, что дело провалилось из-за его слабости, по его вине, и он был полон такого морального осуждения себя, что презирал себя еще больше, чем Стаховича.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В то время, когда на квартире Туркенича шло совещание ребят, Андрей Валько и Матвей Шульга стояли перед майстером Брюкнером и его заместителем Балдером в том самом кабинете, где несколько дней назад делали очные ставки Шульге.

Оба немолодые, невысокие, широкие в плечах, они стояли рядом, как два брата-дубка среди поляны. Валько был чуть посуше, черный, угрюмый, белки его глаз недобро сверкали из-под сросшихся бровей, а в крупном лице Костиевича, испещренном крапинами, несмотря на резкие мужественные очертания, было что-то светлое, покойное.

Арестованных было так много, что в течение всех этих дней их допрашивали одновременно и в кабинете майстера Брюкнера, и вахтмайстера Балдера, и начальника полиции Соликовского. Но Валько и Костиевича еще не потревожили ни разу. Их даже кормили лучше, чем кормили до этого одного Шульгу. И все эти дни Валько и Матвей Костиевич слышали за стенами своей камеры стоны и ругательства, топот ног, возню и бряцанье оружия, и звон тазов и ведер, и плескание воды, когда подмывали кровь на полу. Иногда из какой-то дальней камеры едва доносился детский плач.

Их повели на допрос, не связав им рук, и отсюда они оба заключили, что их попробуют подкупить и обмануть мягкостью и хитростью. Но чтобы они не нарушили порядка, Ordnung'а, в кабинете майстера Брюкнера находилось, кроме переводчика, еще четыре вооруженных солдата, а унтер Фенбонг, приведший арестованных, стоял за их спиной с револьвером в руке.

Допрос начался с установления личности Валько, и Валько назвал себя. Он был человек известный в городе, его знал даже Шурка Рейбанд, и когда переводили ему вопросы майстера Брюкнера, Валько видел в черных глазах Шурки Рейбанда выражение испуга и острого, почти личного любопытства.

Потом майстер Брюкнер спросил Валько, давно ли он знает человека, стоящего рядом, и кто этот человек. Валько чуть усмехнулся.

— Познакомились в камере, — сказал он.

— Кто он?

— Скажи своему хозяину, чтоб он ваньку не валял,— хмуро сказал Валько Рейбанду. — Он же понимает, что я знаю только то, что мне этот гражданин сам сказал.

Майстер Брюкнер помолчал, округлив глаза, как филин, и по этому выражению его глаз стало ясно, что он не знает, о чем еще спросить, и не умеет спрашивать, если человек не связан и человека не бьют, и что от этого майстеру Брюкнеру очень тяжело и скучно. Потом он сказал:

— Если он хочет рассчитывать на обращение, соответствующее его положению, пусть назовет людей, которые оставлены вместе с ним для подрывной работы.

Рейбанд перевел.

— Этих людей не знаю. И не мыслю, чтобы их успели оставить. Я вернулся из-под Донца, не успел эвакуироваться. Каждый человек может это подтвердить, — сказал Валько, прямо глядя сначала на Рейбанда, потом на майстера Брюкнера цыганскими черными глазами.

В нижней части лица майстера Брюкнера, там, где оно переходило в шею, собрались толстые надменные складки. Так он постоял некоторое время, потом взял из портсигара на столе сигару без этикетки и, держа ее посредине двумя пальцами, протянул к Валько с вопросом:

— Вы инженер?

Валько был старый хозяйственник, выдвинутый из рабочих-шахтеров еще по окончании гражданской войны и уже в тридцатых годах окончивший Промышленную академию. Но бессмысленно было бы рассказывать все это немцу, и Валько, сделав вид, что не замечает протянутой ему сигары, ответил на вопрос майстера Брюкнера утвердительно.

— Человек вашего образования и опыта мог бы занять более высокое и материально обеспеченное положение при новом порядке, если бы он этого захотел, — сказал майстер Брюкнер и грустно свесил голову набок, по-прежнему держа перед Валько сигару.

Валько молчал.

— Возьмите, возьмите сигару... — с испугом в глазах сказал Шурка Рейбанд свистящим шепотом.

Валько, как бы не слыша его, продолжал молча смотреть на майстера Брюкнера с веселым выражением в черных цыганских глазах.

Большая желтая морщинистая рука майстера Брюкнера, державшая сигару, начала дрожать.

— Весь Донецкий угольный район со всеми шахтами и заводами перешел в ведение Восточного общества по эксплуатации угольных и металлургических предприятий,—сказал май-

стер Брюкнер и вздохнул так, точно ему трудно было произнести это. Потом он еще ниже свесил голову набок и, решительным жестом протянув Валько сигару, сказал: — По поручению общества я предлагаю вам место главного инженера при местном дирекционе.

При этих его словах Шурка Рейбанд так и обмер, втянул голову в плечи и перевел слова майстера Брюкнера так, будто у него в горле першило.

Валько некоторое время молча смотрел на майстера Брюкнера. Черные глаза Валько сузились.

— Я согласился бы на это предложение...— сказал Валько. — Если мне создадут хорошие условия для работы...

Он даже нашел в себе силы придать голосу выражение вкрадчивости. Больше всего он боялся, что Шульга не поймет, какие перспективы открывает это неожиданное предложение майстера Брюкнера. Но Шульга не сделал никакого движения в сторону Валько и не взглянул на него, — должно быть, понял все, как нужно.

— Условия? — На лице майстера Брюкнера возникла усмешка, придавшая лицу зверское выражение. — Условия обыкновенные: вы раскроете мне вашу организацию — всю, всю!.. Вы сделаете это! Вы сделаете это сию минуту! — Майстер Брюкнер взглянул на часы. — А через пятнадцать минут вы будете на свободе и через час — сидеть в вашем кабинете в дирекционе.

Валько сразу все понял.

— Я не знаю никакой организации, я попал сюда случайно, — сказал Валько обычным своим голосом.

— А-а, ти подлец! — злорадно вскричал майстер Брюкнер, как бы торопясь подтвердить, насколько Валько правильно его понял. — Ти глявний! Ми все знайт!.. — И не в силах сдержать себя, он ткнул сигарой в лицо дяди Андрея. Сигара сломалась, и сжатые щепотью пальцы жандарма, пахнущие отвратительными духами, ткнулись дяде Андрею в губы.

В то же мгновение Валько, широко и резко замахнувшись смуглой сильной рукой, ударил майстера Брюкнера между глаз.

Майстер Брюкнер обиженно хрюкнул, сломанная сигара выпала из его руки, и он прямо, массивно опрокинулся на пол.

Прошло несколько мгновений всеобщего оцепенения, в течение которых майстер Брюкнер недвижимо лежал на полу с выпукло обозначившимся над всей его массивной фигурой круглым тугим животом. Потом все невообразимо перемешалось в кабинете майстера Брюкнера.

Вахтмайстер Балдер, невысокий, очень тучный, спокойный, во все время допроса молча стоял у стола, медленно и сонно

поводя набрякшими влагой многоопытными голубыми глазами, мерно сопел, и при каждом вдохе и выдохе его тучное покойное тело, облаченное в серый мундир, то всходило, то опадало, как опара. Когда прошло оцепенение, вахмайстер Балдер вдруг весь налился кровью, затрясся на месте и закричал:

— Возьмите его!

Унтер Фенбонг, за ним солдаты кинулись на Валько. Но хотя унтер Фенбонг стоял ближе всех, ему так и не удалось схватить Валько, потому что в это мгновение Матвей Костиевич с ужасным хриплым непонятным возгласом: «Ах ты, Сибир нашого царя!» — одним ударом отправил унтера Фенбонга вперед головой в дальний угол кабинета и, склонив широкое темя, как разъяренный вол, ринулся на солдат.

— Ах, то дуже добре, Матвий! — с восторгом сказал Валько, порываясь из рук немецких солдат к тучному, багровому вахтмайстеру Балдеру, который, выставив перед собой маленькие плотные сизые ладошки, кричал солдатам:

— Не стрелять!.. Держите, держите их, будь они прокляты!

Матвей Костиевич, с необычайной силой и яростью работая кулаками, ногами и головой, раскидал солдат, и освобожденный Валько все-таки ринулся на вахтмайстера Балдера, который с неожиданной в его тучном теле подвижностью и энергией побежал от него вокруг стола.

Унтер Фенбонг снова попытался прийти на помощь к шефу, но Валько с оскаленными зубами, словно огрызнувшись, ударил его сапогом между ног, и унтер Фенбонг упал.

— Ах, то дуже добре, Андрий! — с удовольствием сказал Матвей Костиевич, ворочаясь справа налево, как вол, и при каждом повороте отбрасывая от себя солдат. — Прыгай у викно, чуешь!

— Да там проволока... А ты ж пробивайся до мене!

— Ух, Сибир нашого царя! — взревел Костиевич и, могучим рывком вырвавшись из рук солдат, очутился возле Валько и, схватив кресло майстера Брюкнера, занес его над головой.

Солдаты, кинувшиеся было за ним, отпрянули. Валько, с оскаленными зубами и восторженно-свирепым выражением в черных глазах, срывал со стола все, что стояло на нем,— чернильный прибор, пресс-папье, металлический подстаканник, — и во весь замах руки швырял все это в противника с такой разгульной яростью, с таким грохотом и звоном, что вахтмайстер Балдер упал на пол, прикрыв полными руками лысоватую голову, а Шурка Рейбанд, дотоле жавшийся у стенки, тихо взвизгнув, полез под диван.

Вначале, когда Валько и Костиевич кинулись в битву, ими владело то последнее чувство освобождения, какое возникает

у смелых и сильных людей, знающих, что они обречены на смерть. И этот последний отчаянный всплеск жизни удесятерил их силы. Но в ходе битвы они вдруг поняли, что враг не может, не имеет права, не получил распоряжения от начальства убить их, и это наполнило их души таким торжеством, чувством такой полной свободы и безнаказанности, что они были уже непобедимы.

Окровавленные, разгульные, страшные, они стояли плечо к плечу, упершись спинами в стену, и никто не решался к ним подступиться.

Потом майстер Брюкнер, пришедший в чувство, опять натравил на них солдат. Воспользовавшись свалкой, Шурка Рейбанд выскользнул из-под дивана за дверь. Через несколько минут в кабинет ворвалось еще несколько солдат, и все жандармы и полицейские, какие были в комнате, скопом обрушились на Валько и Костиевича. Они свалили рыцарей на пол и, дав выход ярости своей, стали мять, давить и бить их кулаками, ступнями, коленями и долго еще терзали их и после того, как свет померк в очах Валько и Костиевича.

Был тот темный тихий предрассветный час, когда молодой месяц уже сошел с неба, а утренняя чистая звезда, которую в народе зовут зорянкой, еще не взошла на небо, когда сама природа, как бы притомившись, уже крепко спит с закрытыми глазами и самый сладкий сон сковывает очи людей, и даже в тюрьмах спят уставшие палачи и жертвы.

В этот темный тихий предрассветный час первым очнулся от сна, глубокого, безмятежного, такого далекого от той страшной жизни-судьбы, что предстояла ему, Матвей Шульга, — очнулся, заворочался на темном полу и сел. И почти в то же мгновение с беззвучным стоном,—это был даже не стон, а вздох, такой он был тихий, — проснулся и Андрей Валько. Оба они присели на темном полу и приблизили друг к другу лица, распухшие, запекшиеся в крови.

Ни проблеска света не брезжило в темной и тесной камере, но им казалось, что они видят друг друга. Они видели друг друга сильными и прекрасными.

— А ты дюжий козак, Матвей, дай тоби господи силы! — хрипло сказал Валько. И вдруг, откинувшись всем корпусом на руки, захохотал так, точно оба они были на воле.

И Шульга завторил ему хриплым добродушным смехом:

— И ты добрый сичевик, Андрий, ох, добрый!

В ночной тишине и темноте их страшный богатырский хохот сотрясал стены тюремного барака.

Утром им не принесли поесть и днем не повели на допрос. И никого не допрашивали в этот день. В тюрьме было тихо; какой-то смутный говор, как журчание ручья под листвою,

доносился из-за стен камеры. В полдень к тюрьме подошла легковая машина с приглушенным звуком мотора и через некоторое время отбыла. Костиевич, привыкший различать все звуки за стенами своей камеры, знал, что эта машина подходит и уходит, когда майстер Брюкнер или его заместитель, или они оба выезжают из тюрьмы.

— До начальства поихалы,—тихо, серьезно сказал Шульга.

Валько и Костиевич переглянулись и не сказали ни слова, но взгляды их сказали друг другу, что оба они, Валько и Костиевич, знают, что конец их близок и они готовы к нему. И, должно быть, это знали все люди в тюрьме — такое тихое, торжественное молчание воцарилось вокруг.

Так просидели они молча несколько часов, наедине со своей совестью. Уже сумерки близились.

— Андрий, — тихо сказал Шульга, — я еще не говорил тебе, как я сюда попал. Послухай меня...

Все это он уже не раз обдумал наедине. Но теперь, когда он рассказывал все это вслух человеку, с которым его соединяли узы, более чистые и неразрывные, чем какие-либо другие узы на свете, Матвей Шульга едва не застонал от мучительного сожаления, когда снова увидел перед собой прямодушное лицо друга своей молодости Лизы Рыбаловой, с запечатленными на нем морщинами труда и этим резким и матерински-добрым выражением, с каким она встретила и проводила его.

И, не щадя себя, он рассказал Валько о том, что говорила ему Лиза Рыбалова и что Шульга отвечал ей в своей самонадеянности, и как ей не хотелось, чтобы он уходил, и она смотрела на него, как мать, а он ушел, поверив больше неверным явкам, чем простому и естественному голосу своего сердца.

По мере того как он говорил, лицо Валько делалось все сумрачней.

— Бумага! — воскликнул Валько. — Помнишь, що казав нам Иван Федорович?.. Поверил бумаге больше, чем человеку,— сказал он с мужественной печалью в голосе.— Да, так бывает у нас частенько... Мы ж сами ее пишем, а потом не бачим, як вона берет верх над нами...

— То ж не все, Андрий,— грустно сказал Шульга,— я маю ще рассказать тебе о Кондратовиче...

И он рассказал Валько, как усомнился в Кондратовиче, которого знал с молодых лет, усомнился, узнав историю с сыном Кондратовича и то, что Кондратович скрыл ее, когда давал согласие предоставить свою квартиру подпольной организации.

Матвей Костиевич снова вспомнил все это и ужаснулся тому, как могло получиться, что простая жизненная история,

каких немало бывает в жизни простых людей, могла очернить в его глазах Кондратовича. А в то же время ему мог понравиться Игнат Фомин, которого он совсем не знал и в котором было столько неприятного.

И Валько, который знал все это из уст Кондратовича, стал еще мрачнее.

— Форма! — хрипло сказал Валько. — Привычка до формы... Многие из нас так привыкли, что народ живет лучше, чем жили наши батьки при старом времени, что каждого человека любят видеть по форме — чистеньким да гладеньким. Кондратович, божья душа, из формы выпал и показался тебе черненьким. А тот Фомин, будь он проклят, в аккурат пришелся по форме, чистенький да гладенький, а он-то и был чернее ночи... Мы когда-то проглядели его черноту, сами набелили его, выдвинули, прославили, подогнали под форму, а потом она же застила нам глаза... А теперь за то ты расплачиваешься жизнью.

— То правда, то святая правда, Андрий, — сказал Матвей Костиевич, и, как ни тяжело было то, о чем они говорили, глаза его вдруг брызнули ясным светом. — Сколько дней и ночей я тут сижу, а не было часа, чтобы я не думал об этом... Андрий! Андрий! Я же низовой человек, и не мне говорить, сколько труда пало в жизни на мои плечи. А как оглянусь я сейчас на свою жизнь, вижу, в чем моя ошибка, и вижу, что не сегодня я ее сделал. Мне вот уже сорок шестой пошел, а я все кручусь, кручусь на одном месте, як кажуть, в уездном масштабе — лет двадцать! И все в чьих-нибудь заместителях... Ей-богу! Про нас раньше так и казали — укомщики, а теперь кажуть — райкомщики, — с усмешкой сказал Шульга. — Вокруг меня столько новых работников поднялось, столько товарищей моих, таких же райкомщиков, пошло в гору, а я все тащу, тащу тот же воз. И привык! Сам не знаю — як, колысь воно началось, а привык. А привык — значит отстал...

Голос Шульги вдруг пресекся, и он в волнении схватился за голову большими своими руками.

Валько понимал, что Матвей Костиевич очищает душу свою перед смертью и нельзя теперь его уже ни укорять, ни оправдывать, и молча слушал его.

— Что может быть у нас самого дорогого на свете,—снова заговорил Шульга,— ради чего стоит жить, трудиться, умирать? То ж наши люди, человек! Да есть ли на свете что-нибудь красивше нашего человека? Сколько труда, невзгоды принял он на свои плечи за наше государство, за народное дело! В гражданскую войну осьмушку хлеба ел — не роптал, в реконструкцию стоял в очередях, драную одёжу носил, а не променял своего советского первородства на галантерею. И в

эту Отечественную войну со счастьем, с гордостью в сердце понес он свою голову на смерть, принял любую невзгоду, труд,—даже ребенок принял это на себя, не говоря уже о женшине, — а это ж все наши люди, такие же, як мы с тобой. Мы вышли из них, все лучшие, самые умные, талантливые, знатные наши люди, — все вышли из них, из простых людей!.. Не тебе говорить, что всю мою жизнь трудился я ради них... Да ведь знаешь, как у нас бывает: вертишься, вертишься ты в этих делах, а дела все самые важные, самые срочные, и вот уже не замечаешь, что дела идут сами по себе, а человек живет сам по себе... Ах, Андрий! Як уходил я от Лизы Рыбаловой, видал я там трех парубков и дивчину, сына ее и дочь, та двух их товарищей, як я понимаю... Андрий!.. Какие были у них глаза! Як воны подивились на меня! Как-то ночью проснулся я здесь, у камере, меня аж в дрожь кинуло. Комсомольцы! То ж наверняка комсомольцы! Як же я прошел мимо них? Как то могло случиться? Почему? А я знаю, почему. Сколько раз ко мне обращались комсомольцы района: «Дядько Матвий, сделай доклад ребятам об уборке, о севе, о плане развития нашего района, об областном съезде советов, да мало ли о чем». А я им: «Да некогда мне, да ну вас, комсомолия, — сами управляйтесь!» А иной раз не отбрыкаешься, согласишься, а потом так трудно этот доклад сделать! Тут, понимаешь, сводка в облземотдел, там очередная комиссия по согласованию и размежеванию, а тут еще надо успеть к директору рудоуправления хоть на часок, — ему, видишь ли, пятьдесят лет стукнуло, а мальчишке его исполнился год, и он так этим гордится, что справляет вроде именины и крестины; не придешь — обидится... Вот ты промежду этих дел, не подготовившись, и бежишь к комсомольцам на доклад. Говоришь по памяти, «в общем и целом», вытягиваешь из себя слова такие, що у самого скулы воротит, а у молодых людей и подавно. Ай, стыд! — вдруг сказал Матвей Костиевич, и его большое лицо побагровело, и он спрятал его в ладони. — Они ждут от тебя доброго слова, як им жить, а ты — «в общем и целом»... Кто есть первый воспитатель молодежи нашей? Учитель. Учитель! Слово-то какое!.. Мы с тобой кончали церковно-приходскую школу, ты ее кончил лет на пять раньше, чем я, а и ты, наверно, помнишь учителя Николая Петровича. Он у нас на руднике учил ребят лет пятнадцать, пока от чахотки не помер. Я и сейчас помню, как он рассказывал нам, как устроен мир — солнце, земля и звезды, он, может, первый человек, который пошатнул в нас веру в бога и открыл глаза на мир... Учитель! Легко сказать! В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель — это первый человек. Будущее наших детей, нашего народа — в руках учителя, в его золотом сердце. Надо бы,

завидев его на улице, за пятьдесят метров шапку сымать из уважения к нему. А я?.. Стыдно вспомнить, как каждый год, когда вставал у нас вопрос о ремонте школ, об отоплении, директора ловили меня в дверях кабинетов и клянчили лес, кирпич, известку, уголь. А я все отшучивался: не мое дело, мол, пускай районо занимается. И ведь не считал это для себя позором. Думал очень просто: план по углю выполнен, по хлебу перевыполнен, зябь поднята, мясо сдали, шерсть сдали, приветствие секретарю обкома послали,— меня теперь не тронь. Разве не правда?.. Поздненько, поздненько понял я все это, а все ж таки душе моей легче — оттого, что понял. Ведь сам-то я кто такой? — с улыбкой застенчивой, доброй и виноватой сказал Матвей Костиевич. — Я из самой плоти народа, из самого его низу, сын его и слуга. Я еще тогда, в семнадцатом году, как услышал Леонида Рыбалова, понял, что нет выше счастья, как служить народу, и с этого пошла моя судьба коммуниста-работника. Помнишь то наше подполье, партизанство? Где мы, дети неграмотных отцов и матерей, нашли такую силу души и отвагу, чтобы выдержать и пересилить немцев-оккупантов, белых? Тогда казалось, вот оно, самое трудное, — пересилим, там будет легче. А самое трудно оказалось впереди. Помнишь, комитеты незаможних селян, продразверстка, кулацкие банды, махновщина и вдруг — бац! Нэп! Учись торговать. А? И что ж, стали торговать. И научились!

— А помнишь, як восстанавливали шахты? — вдруг с необычайным оживлением сказал Валько. — Меня ж тогда, я как раз демобилизовался, — выдвинули директором той самой наклонной старухи, что теперь выработалась. Ото было дело. Ай-я-яй!.. Хозяйственного опыта никакого, спецы саботируют, механизмы стоят, электричества нет, банк не кредитует, рабочим платить нечем, и Ленин шлет телеграммы — давайте уголь, спасайте Москву и Питер! Для меня те телеграммы были, як святое заклятие. Я Ленина бачив, ось як тебе, еще на Втором съезде Советов, в Октябрьский переворот — тогда я був ще солдатом-фронтовиком. Я, помню, подошел до него и пощупал его рукой, бо не мог поверить, що то живой человек, як я сам... И что ж? Дал уголь!

— Да, правда... — радостно сказал Шульга. — А сколько же за эти годы вытянул на своих плечах наш брат укомщик та райкомщик! Сколько шишек свалилось на нашу голову! Кого так ругали за годы советской власти, как нашего брата райкомщика! Наверно, сколько было и есть работников у советской власти, никому не выпадало столько выговоров, як нам!— с счастливым выражением лица говорил Матвей Костиевич.

— Ну, в этом вопросе, я думаю, наш брат хозяйственник вам не уступит, — с усмешкой сказал Валько.

— Нет, правда,— сказал Шульга проникновенным голосом, — как я себя ни ругал, а все-таки нашему брату райкомщику надо памятник поставить в веках. Я вот все говорил — план, план... А попробуй-ка ты из года в год, из года в год, день за днем, как часы, миллионы гектаров земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить, сдать государству, распределить по трудодням. А мельничный помол, а свекла, а подсолнух, а шерсть, а мясопоставки, а развитие поголовья скота, а ремонт тракторов и всей нашей техники, какой и во всем мире нет, и даже не снилась она им!.. Ведь каждый наш человек хочет хорошо одеться, поесть да еще чайку с сахарком попить. Вот и вертится сердечный наш райкомщик, как белка в колесе, чтобы удовлетворить эту потребность человека. Наш райкомщик, можно сказать, всю Отечественную войну вытягивает на своих плечах по хлебу да по сырью...

— А хозяйственник?! — сказал Валько одновременно и возмущенно и восторженно.— Вот уж кому, правда, памятник поставить, так это ему! Вот уж кто вытащил на себе пятилетки, и первую и вторую, и тащит на себе всю Отечественную войну, так это он! Хиба ж не правда? Разве на селе — то план? В промышленности — вот то план! Разве на селе — то темп? В промышленности — вот то темп! Какие мы научились заводы строить — чистые, элегантные, як часы! А наши шахты? Разве есть у капиталистов хоть одна шахта, як наша один-бис? Конфетка! И они ведь, капиталисты, привыкли на всем готовом. А мы с нашим темпом, с нашим размахом всегда в напряжении: рабочих людей недостача, строительного материала недостает, транспорт отстает, тысяча и одна больших и малых трудностей, а мы все идем и идем вперед. Нет, наш хозяйственник — это гигант!

— То-то вот и оно! — с веселым, счастливым лицом говорил Шульга. — Я помню, на колхозном совещании в Москве вызвали нас на комиссию по резолюции, и там зашел разговор в нашем брате райкомщике. Один такой, в очках, молоденький, из красных профессоров, як их тогда звали, стал о нашем брате, райкомщике, говорить свысока: и отсталые-де мы, и Гегеля не читали, и вроде того, что не каждый день умываемся. Ну, там ему сказали: «Вот вас бы на выучку к райкомщикам, тогда бы вы поумнели...» Ха-ха-ха!—развеселился Шульга. — Я ж тогда считался знатоком деревни, не как-нибудь — меня кидали из села в село, на помощь мужикам по раскулачиванию и по коллективизации... Нет, то великое время было, разве его забудешь. Весь народ пришел в движение. Не знали, когда и спали... Многие мужики тогда колебались. А уже вот перед войной даже самый отсталый почувствовал великие

плоды тех лет... И правда, ведь лучше стали жить перед войной!

— А помнишь, что у нас тогда на шахтах творилось? — сказал Валько, поблескивая своими цыганскими глазами. — Я несколько месяцев и на квартире у себя не был, на шахте ночевал. Ей-богу, сейчас, как оглядываешься — и не веришь: да неужто же это мы все сами сделали? Иной раз, честное слово, кажется, что не я сам это все проделывал, а какой-то мой ближний родственник. Сейчас вот закрою глаза и вижу весь наш Донбасс, всю страну в стройке и все наши штурмовые ночи...

— Да, никакому человеку в истории не выпадало столько, сколько выпало нам на плечи, а видишь, не согнулись. Вот я и спрашиваю: что ж мы за люди? — с наивным, детским выражением сказал Шульга.

— А враги, дурни, думают, що мы смерти боимся!—усмехнулся Валько. — Да, мы, большевики, привыкли к смерти. Нас, большевиков, какой только враг не убивал! Убивали нас царские палачи и жандармы, убивали юнкера в Октябре, убивали беляки, интервенты всех стран света, махновцы и антоновцы, кулаки по нас стреляли из обрезов, а мы все живы, любовью народной. Нехай убьют и нас с тобой немцы-фашисты, а все ж таки им, а не нам лежать в зёмле. Правда, Матвий?

— То великая, то святая правда, Андрий!.. На веки вечные буду я горд тем, що судьба судила мне, простому рабочему человеку, пройти свой путь жизни в нашей партии, що открыла дорогу людям до счастливой жизни...

— Святая правда, Матвий, то наше великое счастье! — с чувством, неожиданным в этом суровом человеке, сказал Валько. — И еще выпала мне счастливая доля: в мой смертный час иметь такого товарища, як ты, Матвий...

— Великое, доброе спасибо тебе за честь... Я сразу понял, какая у тебя красивая душа, Андрий...

— Дай же бог счастья нашим людям, что останутся после нас на земли! — тихо, торжественно сказал Валько.

Так в свой предсмертный час исповедовались друг перед другом и перед своей совестью Андрей Валько и Матвей Шульга.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер отбыли в окружную жандармерию в город Ровеньки, километрах в тридцати от Краснодона, после полудня. Петер Фенбонг, ротенфюрер команды СС, прикомандированной к краснодонскому жан-

дармскому пункту, знал, что майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер повезли в окружную жандармерию материалы допроса и должны получить приказ, как поступить с арестованными. Но Петер Фенбонг уже знал по опыту, каков будет приказ, как знали это и его шефы, потому что перед своим отъездом они отдали приказание Фенбонгу оцепить солдатами СС территорию парка и никого не пропускать в парк, а отделение солдат жандармерии под командой сержанта Эдуарда Больмана было направлено в парк рыть большую яму, в которой могли бы уместиться, стоя вплотную один к другому, шестьдесят восемь человек.

Петер Фенбонг знал, что шефы вернутся не раньше как поздним вечером. Поэтому он отправил своих солдат к парку под командованием младшего ротенфюрера, а сам остался в дворницкой при тюрьме.

В последние месяцы у него было очень много работы, и он был всегда поставлен в такое положение, что ни минуты не оставался один и ему не удавалось не только вымыться с ног до головы, но даже сменить белье, потому что он боялся, что кто-нибудь увидит, что он носит на теле под бельем.

Когда уехал майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер и ушли в парк солдаты СС и солдаты жандармерии и все стихло в тюрьме, унтер Фенбонг прошел к повару на тюремную кухню и попросил у него кастрюлю горячей воды и таз, чтобы умыться, — холодная вода всегда стояла в бочке, в сенях дворницкой.

Впервые после многих жарких дней подул холодный ветер и погнал по небу низкие, набухшие дождем облака; день был серый, похожий на осенний, и вся природа этих угольных районов, — не говоря уже об открытом всем ветрам городке с его стандартными домами и угольной пылью, — обернулась своими самыми неприглядными сторонами. В дворницкой было достаточно светло, чтобы умыться, но Петер Фенбонг хотел, чтобы его не только не захватили здесь врасплох, но и не могли бы увидеть его через окно, поэтому он опустил черную бумагу на окна и включил свет.

Как ни привык он с начала войны жить так, как он жил, как ни притерпелся к собственному дурному запаху, все-таки он испытывал невыразимое наслаждение, когда наконец-то смог снять все с себя и побыть некоторое время голым, без этой тяжести на теле. Он был полным от природы, а с годами стал просто грузнеть и сильно потел под своим черным мундиром. Белье, не сменявшееся несколько месяцев, стало склизким и вонючим от пропитавшего его и прокисшего пота и изжелта-черным от линявшего с изнанки мундира.

Петер Фенбонг снял белье и остался совсем голым, с телом давно не мытым, но белым от природы, поросшим по груди и по ногам и даже немного по спине светлым курчавым волосом. И когда он снял белье, обнаружилось, что он носит на теле своеобразные вериги. Это были даже не вериги, это походило скорее на длинную ленту для патронов, какую носили в старину китайские солдаты. Это была разделенная на маленькие карманчики, каждый из которых был застегнут на пуговичку, длинная лента из прорезиненной материи, обвивавшая тело Петера Фенбонга крест-накрест через оба плеча и охватывавшая его повыше пояса. Сбоку она была стянута замызганными белыми тесемками, завязанными бантиком. Большая часть этих маленьких, размером в обойму, карманчиков была туго набита, а меньшая часть была еще пуста.

Петер Фенбонг распустил тесемки у пояса и снял с себя эту ленту. Она так давно облегала его тело, что на этом белом полном теле, крест-накрест по спине и груди и ободом повыше пояса, образовался темный след того нездорового цвета, какой бывает от пролежней. Петер Фенбонг снял ленту и аккуратно и бережно, — она была действительно очень длинная и тяжелая, — положил ее на стол и сразу стал яростно чесаться. Он ожесточенно, яростно расчесывал все свое тело короткими тупыми пальцами, расчесывал себе грудь, и живот, и ноги, и все старался добраться до спины, то через одно плечо, то через другое, то заламывал правую руку снизу, под лопатку, и чесал себя большим пальцем, кряхтя и постанывая от наслаждения.

Когда он немного удовлетворил свой зуд, он бережно отстегнул пуговицу внутреннего кармана мундира и вынул маленький, похожий на кисет кожаный мешочек, из которого он высыпал на стол штук тридцать золотых зубов. Он хотел было распределить их в два-три еще не заполненных карманчика ленты. Но раз уж ему повезло остаться одному, он не удержался, чтобы не полюбоваться содержимым других наполненных карманчиков, — он так давно не видел всего этого. И он, аккуратно расстегивая пуговичку за пуговичкой, стал раскладывать по столу содержимое карманчиков отдельными кучками и стопками и вскоре обложил ими весь стол. Да, было на что посмотреть!

Здесь была валюта многих стран света — американские доллары и английские шиллинги, франки французские и бельгийские, кроны австрийские, чешские, норвежские, румынские леи, итальянские лиры. Они были подобраны по странам, золотые монеты к золотым, серебряные к серебряным, бумажки к бумажкам, среди которых была даже аккуратная стопка советских «синеньких», то есть сотенных, от которых он, правда,

не ожидал никакой материальной выгоды, но которые все же оставил у себя, потому что жадность его уже переросла в маниакальную страсть коллекционирования. Здесь были кучки мелких золотых предметов — колец, перстней, булавок, брошек — с драгоценными камнями и без них и отдельно кучки драгоценных камней и золотых зубов.

Тусклый свет электрической лампочки под потолком, засиженной мухами, освещал эти деньги и драгоценности на столе, а он сидел перед ними на табурете, голый, лысый, волосатый, в светлых роговых очках, расставив ноги и все еще изредка почесываясь, возбужденный и очень расположенный к самому себе.

Несмотря на обилие этих мелких предметов и денег, он мог бы, разбирая каждую денежку и каждую безделушку, рассказать, где, когда, при каких условиях и у кого он ее отобрал или с кого снял, и у кого были вырваны зубы, потому что с того самого момента, как он пришел к выводу, что он должен делать это, чтобы не остаться в дураках, он лишь этим и жил, — все остальное было уже только видимостью жизни.

Зубы он вырывал не только у мертвых, а и у живых, но все же он предпочитал мертвых, у которых можно было рвать их без особых хлопот. И когда в партии арестованных он видел людей с золотыми зубами, он ловил себя на том, что ему хотелось, чтобы скорей кончалась вся эта процедура допросов и чтобы этих людей скорей можно было умертвить.

Их было так много, умерщвленных, истерзанных, ограбленных, мужчин, женщин, детей, стоящих за этими денежками, зубами и безделушками, что, когда он смотрел на все это, к чувству сладостного возбуждения и расположения к самому себе всегда примешивалось и некоторое беспокойство. Оно исходило, однако, не от него самого, Петера Фенбонга, а от некоего воображаемого, очень прилично одетого господина, вполне джентльмена, с перстнем на полном мизинце, в мягкой дорогой светлой шляпе, с лицом гладко выбритым, корректным и преисполненным осуждения по отношению к Петеру Фенбонгу.

Это был очень богатый человек, богаче Петера Фенбонга со всеми его драгоценностями. Но все же этот человек считал себя вправе осуждать Петера Фенбонга за его способ обогащения, считая этот способ как бы грязным. И с этим джентльменом Петер Фенбонг вел нескончаемый спор, очень, впрочем, добродушный, так как говорил только один Петер Фенбонг, стоящий в этом споре на гораздо более высоких и твердых позициях современного делового человека, знающего жизнь.

«Хе-хе, — говорил Петер Фенбонг, — в конце концов я вовсе не настаиваю, что я буду заниматься этим всю жизнь. В конце концов я стану обыкновенным промышленником или

торговцем, или просто лавочником, если хотите, но я должен с чего-нибудь начать! Да, я прекрасно знаю, что вы думаете о себе и обо мне. Вы думаете: «Я—джентльмен, все мои предприятия на виду, каждый видит источник моего благосостояния; у меня семья, дети; я чисто вымыт, опрятно одет и учтив с людьми, я могу прямо смотреть им в глаза; если женщина, с которой я говорю, стоит, я тоже стою; я читаю газеты, книги, состою в двух благотворительных обществах и пожертвовал солидные средства на оборудование лазаретов в дни войны; я люблю музыку, цветы и лунный свет на море. А Петер Фенбонг убивает людей ради их денег и драгоценностей, которые он присваивает. Он даже не гнушается вырывать у людей золотые зубы и прятать все это на теле, чтобы никто не видел. Он вынужден месяцами не мыться и дурно пахнет, и поэтому я имею право осуждать его»... Хе-хе, позвольте, мой милейший и почтеннейший друг! Не забудьте, что мне сорок пять лет, я был моряком, я изъездил все страны мира, и я видел решительно все, что происходит на свете!.. Не знакома ли вам картина, которую я, как моряк, побывавший в далеких странах, не раз имел возможность наблюдать: как ежегодно где-нибудь в Южной Африке, в Индии или в Индо-Китае миллионы людей умирают голодной смертью, так сказать, на глазах почтеннейшей публики? Впрочем, зачем же ходить так далеко! Даже в благословенные годы довоенного процветания вы могли бы видеть почти во всех столицах мира целые кварталы, населенные людьми, не имеющими работы, умирающими на глазах почтеннейшей публики, иногда даже на папертях старинных соборов. Очень трудно согласиться с мыслью, что они умирают, так сказать, по собственной прихоти! А кто же не знает, что некоторые почтеннейшие люди, вполне джентльмены, когда им это выгодно, не стесняются выбрасывать на улицу из своих предприятий миллионы здоровых мужчин и женщин. И за то, что эти мужчины и женщины плохо мирятся со своим положением, их ежегодно в громадных количествах морят в тюрьмах или просто убивают на улицах и площадях, убивают вполне законно, с помощью полиции и солдат!.. Я привел вам несколько разнообразных способов, — я мог бы их умножить, — способов, которыми на земном шаре ежегодно умерщвляют миллионы людей, и не только здоровых мужчин, а и детей, женщин и стариков, — умерщвляют, собственно говоря, в интересах вашего обогащения. Я уже не говорю о войнах, когда в кратчайшие сроки производится особенно большое умерщвление людей в интересах вашего обогащения. Милейший и почтеннейший друг! Зачем же нам играть в прятки? Скажем друг другу чистосердечно: если мы хотим, чтобы на нас работали другие, мы должны ежегодно, тем или иным спо-

собом, некоторое число их убивать! Во мне вас пугает только то, что я нахожусь, так сказать, у подножия мясорубки, я чернорабочий этого дела и по роду своих занятий вынужден не мыться и дурно пахнуть. Но согласитесь, что вы никогда не могли обходиться без таких, как я, а чем дальше идет время, тем вы все больше и больше нуждаетесь во мне. Я плоть от вашей плоти, я ваш двойник, я — это вы, если вас вывернуть наизнанку и показать людям, каковы вы на самом деле. Придет время, я тоже вымоюсь и буду вполне опрятным человеком, просто лавочником, если хотите, и вы сможете покупать у меня для своего стола вполне доброкачественные сосиски...»

Такой принципиальный спор вел Петер Фенбонг с воображаемым джентльменом с гладко выбритым, корректным лицом и в хорошо проглаженных брюках. И на этот раз, как всегда, одержав победу над джентльменом, Петер Фенбонг пришел в окончательно добродушное настроение. Он запрятал кучки денег и ценностей в соответствующие кармашки и аккуратно застегнул кармашки на пуговички, после чего стал мыться, пофыркивая и повизгивая от наслаждения и разливая по полу мыльную воду, что, впрочем, его совершенно не беспокоило: придут солдаты и подотрут.

Он вымылся не так уж начисто, но все же облегчил себя, снова обвил и перепоясал себя лентой, надел чистое белье, спрятал грязное и облачился в свой черный мундир. Потом он чуть отогнул черную бумагу и выглянул в окно, и ничего не увидел, так было темно во дворе тюрьмы. Опыт, уже превратившийся в инстинкт, подсказал ему, что шефы вот-вот должны прибыть. Он вышел во двор и некоторое время постоял у дворницкой, чтобы привыкнуть к темноте, но к ней нельзя было привыкнуть. Холодный ветер нес над городом, над всей донецкой степью тяжелые темные тучи, их тоже не видно было, но казалось, что они шуршат, обгоняя и задевая одна другую влажными и шерстистыми боками.

И в это время Петер Фенбонг услышал приближающийся приглушенный звук мотора и увидел две огненные точки полуприкрытых фар машины, спускавшейся с горы мимо здания — раньше районного исполкома, а теперь районной сельскохозяйственной комендатуры,— которое при свете фар чуть выступило из тьмы одним своим крылом. Шефы возвращались из окружной жандармерии. Петер Фенбонг прошел через двор и черным ходом, охранявшимся солдатом жандармерии, узнавшим ротенфюрера и отдавшим ему честь ружьем, вошел в зданьице тюрьмы.

Заключенные в камере тоже слышали, как машина с приглушенным мотором подошла к тюрьме. И та необыкновенная тишина, которая стояла в тюрьме весь день, — эта тишина

была сразу нарушена шагами по коридору, щелканьем ключа в замке, хлопаньем дверей и поднявшейся в камерах возней и этим знакомым, ранящим в самое сердце плачем ребенка в дальней камере. Он вдруг поднялся до пронзительного надрывного крика, этот плач,— ребенок кричал с предельным напряжением, из последних сил, он уже хрипел.

Матвей Костиевич и Валько слышали эту приближающуюся к ним возню в камерах и плач ребенка. Иногда им казалось, что они слышат голос женщины, которая что-то горячо говорила, кричала и умоляла и тоже, кажется, заплакала. Потом щелкнул ключ в замке, жандармы вышли из камеры, где сидела женщина с ребенком, и зашли в соседнюю, где сразу поднялась возня. Но и тогда сквозь эту возню, казалось, доносился необыкновенно печальный и нежный голос женщины, уговаривающей ребенка, и затихающий, словно убаюкивающий самого себя голос ребенка:

— А... а... а... А... а... а...

Жандармы вошли в камеру, соседнюю с той, где сидели Валько и Матвей Костиевич, и оба они поняли смысл той возни, что возникала в камерах с приходом жандармов: жандармы связывали заключенным руки.

Их последний час наступил.

В соседней камере было много народу, и жандармы пробыли там довольно долго. Наконец они вышли, замкнули камеру, но не сразу вошли к Валько и Костиевичу. Они стояли в коридоре, обмениваясь торопливыми замечаниями, потом по коридору кто-то побежал к выходу. Некоторое время стояла тишина, в которой слышны были только бубнящие голоса жандармов. Потом по коридору зазвучали шаги нескольких человек, приближавшихся к камере, раздался удовлетворенный возглас по-немецки, и в камеру, осветив ее электрическими фонариками, вошло несколько жандармов во главе с унтером Фенбонгом; они держали револьверы на изготовку; в дверях виднелось еще человек пять солдат. Видно, жандармы боялись, что эти двое, как всегда, окажут им физическое сопротивление. Но Матвей Костиевич и Валько даже не посмеялись над ними; их души были уже далеко от этой суеты сует. Они спокойно дали связать руки за спиной, а когда Фенбонг знаками показал, что они должны сесть и им свяжут ноги, они дали связать ноги, и им наложили на ноги путы, чтобы можно было только ступать мелким шагом и нельзя было убежать.

После того их снова оставили одних, и они молча просидели в камере еще некоторое время, пока немцы не перевязали всех заключенных.

И вот зазвучал в коридоре мерный и быстрый топот шагов: он все нарастал, пока не заполнил всего коридора, — сол-

даты отбивали шаг на месте и по команде стали и повернулись, грохнув ботинками и взяв ружья к ноге. Загрохотали двери камер, и заключенных начали выводить в коридор.

Как ни тускло светили в коридоре лампочки под потолком, Матвей Костиевич и Валько невольно зажмурились, так долго они пробыли в темноте. Потом они стали оглядывать своих соседей и тех, кто стоял дальше в шеренге — в том и в другом конце коридора.

Через одного человека от них стоял, также со спутанными ногами, как и они, рослый пожилой босой мужчина в окровавленном нижнем белье. И Валько и Матвей Костиевич невольно отшатнулись, признав в этом человеке Петрова. Все тело его было так истерзано, что белье влипло в него, как в сплошную рану, и присохло, — должно быть, каждое движение доставляло этому сильному человеку невыносимые мучения. Одна щека его была развалена до кости ударом ножа или штыка и гноилась. Петров узнал их и склонил перед ними голову.

Но что заставило Валько и Матвея Костиевича содрогнуться от жалости и гнева, — это то, что они увидели в дальнем конце коридора, у выхода из тюрьмы, куда с выражением страдания, ужаса и изумления смотрели почти все заключенные. Там стояла молодая, с измученным, но сильным по выражению лицом женщина, в бордовом платье, с ребенком на руках, и руки ее, обнимавшие ребенка, и самое тело ребенка были так скручены веревками, что ребенок был наглухо и навечно прикреплен к телу матери. Ребенку еще не было и года, его нежная головенка с редкими светлыми волосиками, чуть завивавшимися на затылке, лежала на плече у матери, глаза были закрыты, но он не был мертв, — ребенок спал.

Матвей Костиевич вдруг представил свою жену и детей, и слезы брызнули у него из глаз. Он боялся, что жандармы, да и свои люди увидят эти слезы и неправильно подумают о Шульге. И он был рад, когда унтер Фенбонг наконец пересчитал заключенных и их вывели во двор между двумя шеренгами солдат.

Ночь была так черна, что люди, стоявшие рядом, не могли видеть друг друга. Их построили в колонну по четыре, оцепили, вывели за ворота и, освещая путь и самую колонну электрическими фонариками, вспыхивавшими то спереди, то сзади, то с боков, повели по улице в гору. Холодный ветер, однообразно, с ровным напряжением несшийся над городом, обвил их своими сырыми струями, и слышен стал влажный шорох туч, мчавшихся так низко над головой, что, казалось, до них можно было бы достать рукою. Люди жадно хватали ртом воздух. Колонна шла медленно, в полном безмолвии. Изредка унтер Фенбонг, шагавший впереди, оборачивался и направ-

лял свет большого, висевшего на руке фонаря на колонну, и тогда снова выступала из тьмы женщина с привязанным к ней ребенком, шагавшая крайней в первой шеренге — ветер заносил вбок подол ее бордового платья.

Матвей Костиевич и Валько шли рядом, касаясь друг друга плечом. Слез уже не было на глазах Матвея Костиевича. Чем дальше они шли, Валько и Матвей Костиевич, тем все дальше и дальше отходило от них все то личное, даже самое важное и дорогое, что подспудно так трогало и волновало их до самой последней минуты и не хотело отпустить из жизни. Величие осенило их своим крылом. Невыразимый ясный покой опустился на их души. И они, подставляя лица ветру, молча и тихо шли навстречу своей гибели под этими низко шуршавшими над головой тучами.

У входа в парк колонна остановилась. Некоторое время унтер Фенбонг, сержант жандармерии Эдуард Больман и младший ротенфюрер, командовавший солдатами СС, охранявшими парк, при свете электрического фонаря рассматривали бумагу, которую унтер Фенбонг достал из внутреннего кармана мундира.

После этого сержант пересчитал людей в колонне, освещая их короткими вспышками фонаря.

Ворота медленно, со скрипом распахнулись. Колонну перестроили по двое и повели главной аллеей, между зданиями клуба имени Ленина и школой имени Горького, где помещался теперь дирекцион объединенных предприятий, входивших ранее в трест «Краснодонуголь». Но почти сразу за школой унтер Фенбонг и сержант Больман свернули в боковую аллею. Колонна свернула за ними.

Ветер сгибал деревья и заносил листву в одном направлении, и шум трепещущей, бьющейся листвы, неумолчный, многоголосо-однообразный, наполнял собой все пространство тьмы вокруг.

Их привели на тот запущенный, мало посещаемый даже в хорошие времена край парка, что примыкал к пустырю с одиноким каменным зданием немецкой полицейской школы. Здесь посреди продолговатой поляны, окруженной деревьями, была выкопана длинная яма. Еще не видя ее, люди почувствовали запах вывороченной сырой земли.

Колонну раздвоили и развели по разные стороны ямы, разлучив Валько и Костиевича. Люди стали натыкаться на бугры вывороченной земли и падать, но их тут же подымали ударами прикладов.

И вдруг десятки фонариков осветили эту длинную темную яму, и валы вывороченной земли по бокам ее, и измученные лица людей, и отливавшие сталью штыки немецких солдат,

оцеплявших поляну сплошной стеной. И все, кто стоял у ямы, увидели у ее окончания, под деревьями, майстера Брюкнера и вахтмайстера Балдера в накинутых на плечи черных прорезиненных плащах. Позади, немного сбоку от них, грузный, серый, багровый, с выпученными глазами, стоял бургомистр Василий Стаценко.

Майстер Брюкнер сделал знак рукой. Унтер Фенбонг высоко поднял над головой фонарь, висевший на его руке, и тихо скомандовал своим сиплым бабьим голосом. Солдаты шагнули вперед и штыками стали подталкивать людей к яме. Люди, спотыкаясь, увязая ногами и падая, молча взбирались на валы земли. Слышно было только сопение солдат и шум бьющейся на ветру листвы.

Матвей Шульга, тяжело ступая, насколько позволяли ему спутанные ноги, поднялся на вал. Он увидел при вспышке фонариков, как людей сбрасывали в яму; они спрыгивали или падали, иные молча, иные с протестующими или жалобными возгласами.

Майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер недвижимо стояли под деревьями, а Стаценко истово, в пояс, кланялся людям, которых сбрасывали в яму, — он был пьян.

И снова Шульга увидел женщину в бордовом платье, с привязанным к ней ребенком, который, ничего не видя и не слыша, а только чувствуя тепло матери, по-прежнему спал, положив голову ей на плечо. Чтобы не разбудить его, — не имея возможности двигать руками, она села на валу, и, помогая себе ногами, сама сползла в яму. Больше Матвей Шульга никогда ее не видел.

— Товарищи!—сказал Шульга хриплым сильным голосом, покрывшим собой все остальные шумы и звуки.—Прекрасные мои товарищи! Да будет вам вечная память и слава! Да здравствует...

Штык вонзился ему в спину меж ребер. Шульга, напрягши всю свою могучую силу, не упал, а спрыгнул в яму, и голос его загремел из ямы:

— Да здравствует великая коммунистическая партия, що указала людям путь к справедливости!

— Смерть ворогам! — грозно сказал Андрей Валько рядом с Шульгой: судьба судила им вновь соединиться — в могиле.

Яма была так забита людьми, что нельзя было повернуться. Наступило мгновение последнего душевного напряжения: каждый готовился принять в себя свинец. Но не такая смерть была уготована им. Целые лавины земли посыпались им на головы, на плечи, за вороты рубах, в рот и глаза, и люди поняли, что их закапывают живыми.

Шульга, возвысив голос, запел:

> Вставай, проклятьем заклейменный,
> Весь мир голодных и рабов...

Валько низко подхватил. Все новые голоса, сначала близкие, потом все более дальние, присоединялись к ним, и медленные волны «Интернационала» неслись из-под земли к темному, тучами несущемуся над миром небу.

В этот темный страшный час в маленьком домике на Деревянной улице тихо отворилась дверь, и Мария Андреевна Борц и Валя, и еще кто-то небольшого роста, тепло одетый, с котомкой за плечами и палкой в руке, сошли с крыльца.

Мария Андреевна и Валя взяли человека за обе руки и повели по улице в степь. Ветер подхватывал их платья.

Через несколько шагов этот человек остановился.

— Темно, лучше тебе вернуться, — сказал он почти шепотом.

Мария Андреевна обняла его, и так они постояли некоторое время.

— Прощай, Маша, — сказал он и беспомощно махнул рукой.

И Мария Андреевна осталась, а они пошли, отец и дочь, не отпускавшая его руки. Валя должна была сопровождать отца до того, как начнет светать. А потом, как ни был он плох глазами, ему предстояло самому добираться до города Сталино, где он предполагал укрыться у родственников жены.

Некоторое время Мария Андреевна еще слышала их шаги, потом и шагов не стало слышно. Беспросветная холодная чернота двигалась вокруг, но еще чернее было у Марии Андреевны на душе. Вся жизнь — работа, семья, мечты, любовь, дети — все это распалось, рушилось, впереди ничего не было.

Она стояла, не в силах стронуться с места, и ветер, свистя, обносил платье вокруг нее, и слышно было, как низко-низко тихо шуршат тучи над головой.

И вдруг ей показалось — она сходит с ума... Она прислушалась... Нет, ей не почудилось, она снова услышала это... Поют! Поют «Интернационал»... Нельзя было определить источник этого пения. Оно вплеталось в вой ветра и шорох туч и вместе с этими звуками разносилось по всему темному миру.

У Марии Андреевны, казалось, остановилось сердце, и все тело ее забилось дрожью.

Словно из-под земли, доносилось до нее:

> Весь мир насилья мы разрушим
> До основанья, а затем
> Мы наш, мы новый мир построим,
> Кто был ничем, тот станет всем...



Часть вторая

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ



— Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любые задания организации; хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в Молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!

— Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я. Иван Туркенич, вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь ..

— Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь...

— Я, Любовь Шевцова. торжественно клянусь...

. . . .

Должно быть, он совсем не понял ее, этот Сергей Левашов, когда пришел тогда к ней в первый раз и постучал в окно и она выбежала к нему, а потом они разговаривали весь остаток ночи, — кто его знает, что он такое себе вообразил!

Во всяком случае, первая трудность в этой поездке у нее возникла еще здесь, с Сергеем Левашовым. Конечно, они были старые товарищи, и Любка не могла уехать, не предупредив его. Сергей Левашов, еще когда дядя Андрей был на воле, по его совету поступил в гараж дирекциона шофером грузовых машин. Любка послала за ним мальчишку с улицы,— они все дружили с Любкой за то, что она была характером похожа на них.

Сергей пришел прямо с работы, поздно, в той самой спецовке, в какой он вернулся из Сталино, — спецовок при немцах не полагалось даже шахтерам. Он был очень грязный, усталый, угрюмый.

Допытываться, куда и зачем она едет, это было не в его обычае, но, видно, только это и занимало его весь вечер, и он совершенно извел Любку тяжелым своим молчанием. В конце концов она не выдержала и накричала на него. Что она ему — жена, любовь? Она не может думать ни о какой любви, когда еще так много всего ожидает ее в жизни, — что он такое вообразил, в самом деле, чтобы мучить ее? Они просто товарищи, и она не обязана давать ему отчет: едет, куда ей надо, по семейному делу.

Она все-таки видела, что он не вполне верит в ее занятия и просто ревнует ее, и это доставляло ей некоторое удовольствие.

Ей надо было хорошенько выспаться, а он все сидел и не уходил. Характер у него был такой настойчивый, что он мог всю ночь не уйти, и в конце концов Любка его прогнала. Все-таки ей было бы жалко, если бы он все это время без нее находился в таком мрачном состоянии,—она проводила его в палисадник и у самой калитки взяла под руку, и на мгновение прижалась к нему, и убежала в дом, и сразу разделась и легла в постель к матери.

Конечно, очень трудно было и с мамой. Любка знала, как тяжело будет маме остаться одной, такой беспомощной перед жизненными невзгодами, но маму было очень легко обмануть, и Любка приласкалась к ней и напела ей всякое такое, чему мама поверила, а потом так и уснула у мамы в кровати.

Любка проснулась чуть свет и, напевая, стала собираться в дорогу. Она решила одеться попроще, чтобы не затрепать

лучшего своего платья, но все-таки как можно поярче, чтобы бросаться в глаза, а самое свое шикарное платье чистого голубого крепдешина, голубые туфли и кружевное белье и шелковые чулки она уложила в чемоданчик. Она завивалась меж двух маленьких простых зеркал, в которых едва можно было видеть всю голову, часа два, в нижней рубашке и в трусиках, повертывая голову туда и сюда и напевая и от напряжения упираясь в пол то одной, то другой, поставленной накось крепкой босой сливочной ногой с маленькими и тоже крепкими пальцами. Потом она надела поясок с резинками, обтерла ладошками розовые ступни и надела фильдеперсовые чулки телесного цвета и кремовые туфли и обрушила на себя прохладное шуршащее платье в горошках, вишнях и еще черт его знает в чем ярко-пестром. В это же время она уже что-то жевала на ходу, не переставая мурлыкать.

Она испытывала легкое волнение, которое не только не расслабляло ее, а бодрило. В конце концов она была просто счастлива, что вот и для нее наступила пора действовать и ей уже не придется растрачивать свои силы попусту.

Дня два тому назад, утром, небольшая зеленая машина с продолговатым кузовом, из тех, что доставляли из Ворошиловграда продукты чинам немецкой администрации, застопорила возле домика Шевцовых. Шофер — солдат жандармерии — сказал что-то сидящему рядом с ним солдату, вооруженному автоматом, соскочил с машины и вошел в дом. Любка вышла к нему, когда он уже был в столовой и оглядывался. Он быстро взглянул на Любку, и прежде чем он успел что-нибудь сказать, она по каким-то неуловимым чертам его лица и повадке поняла, что он — русский. И действительно, он сказал на чистом русском языке:

— Не найдется ли у вас воды, залить в машину?

Русский, да еще в форме немецкой жандармерии, — плохо же он разбирался, в чей дом он попал!

— Иди ты в болото! Понял? — сказала Любка, спокойно глядя на него в упор широко открытыми голубыми глазами.

Она, совершенно не подумав, сразу нашла что сказать этому русскому в военной форме. Если бы он попробовал сделать с ней что-нибудь плохое, она бы с визгом выбежала на улицу и подняла на ноги весь квартал, крича, что она предложила солдату взять воду в балке, а он за это начал ее бить. Но этот странный шофер-солдат не сделал ни одного движения, он только усмехнулся и сказал:

— Грубо работаете. Это может вам повредить... — Он быстро оглянулся, не стоит ли кто-нибудь за ним, и сказал скороговоркой: — Варвара Наумовна просила передать, что очень соскучилась по вас...

Любка побледнела и сделала невольное движение к нему. Но он предупредил ее вопрос, приложив к губам тонкие черные пальцы.

Он вышел вслед за Любкой в сенцы. Она уже держала перед собой обеими руками полное ведро с водой, искательно заглядывая шоферу в глаза. Но он не посмотрел на нее, принял ведро и пошел к машине.

Любка нарочно не пошла за ним, а стала наблюдать в щелку непритворенной двери: она надеялась выведать от него кое-что, когда он принесет ведро. Но шофер, вылив воду в радиатор, отшвырнул ведро к палисаднику, быстро сел в машину, хлопнул дверцей, и машина тронулась.

Итак, Любка должна была ехать в Ворошиловград. Конечно, она была связана теперь дисциплиной «Молодой гвардии» и не могла уехать, не предупредив Олега. Правда, она еще раньше сочла возможным намекнуть ему, что у нее есть в Ворошиловграде такие знакомства, которые могут быть полезны. Теперь она сказала ему, что подвернулся подходящий случай съездить. Однако Олег не сразу дал ей разрешение, а попросил немного обождать.

Каково же было ее изумление, когда спустя всего лишь час или два после их разговора на квартиру к Любке пришла Нина Иванцова и сказала, что разрешение дано. Мало того, Нина сказала:

— Расскажи там, где ты будешь, о гибели наших людей, их фамилии и как их зарыли в парке. А потом скажи, что, несмотря на все это, дела идут в гору, — так просили передать старшие. О Молодой гвардии тоже расскажи.

Любка не утерпела и спросила:

— Откуда же Кашук может знать, что там можно обо всем говорить?

Нина с ее осторожностью, обретенной еще во время подпольной работы в Сталино, только плечами пожала, но потом подумала, что Любка и вправду может не решиться рассказать то, что ей поручили. И Нина сказала равнодушным голосом:

— Наверно, старшие знают, к кому ты идешь.

Любка даже удивилась, как такая простая мысль не пришла ей в голову.

Любка Шевцова, как и другие участники «Молодой гвардии», кроме Володи Осьмухина, не знала, да и не пыталась узнать, с кем из взрослых подпольщиков в Краснодоне связан Олег Кошевой. Но Филипп Петрович отлично знал, для какой цели Любка оставлена в Краснодоне и с кем она связана в Ворошиловграде.

День был холодный, тучи низко бежали над степью. Любка, не чувствуя холода, румяная от ветра, заносившего яркий подол ее платья, стояла на открытом ворошиловградском шоссе, с чемоданчиком в одной руке и легким летним пальто на другой.

Немецкие солдаты и ефрейторы с грузовых машин, с воем мчавшихся мимо нее по шоссе, зазывали ее, хохоча и иной раз подавая ей циничные знаки, но она, презрительно сощурившись, не обращала на них внимания. Потом она увидела приближавшуюся к ней вытянутую, низкой посадки светлую легковую машину и немецкого офицера рядом с шофером и небрежно подняла руку.

Офицер быстро обернулся внутри кабины, показав выцветший на спине мундир, — должно быть, кто-то постарше ехал на заднем сиденье. Машина, завизжав на тормозах, остановилась.

— Setzen Sie sich! Schneller! [1] — сказал офицер, приоткрыв дверцу и улыбнувшись Любке одним ртом. Он захлопнул дверцу и, занеся руку, открыл дверцу заднего сиденья.

Любка, нагнув голову, держа перед собой чемоданчик и пальто, впорхнула в машину, и дверца за ней захлопнулась.

Машина рванула, запела на ветру.

Рядом с Любкой сидел поджарый, сухой полковник с несвежей кожей гладко выбритого лица, со свисающими брылями, в высокой выгоревшей от солнца фуражке. Немецкий полковник и Любка с двумя прямо противоположными формами дерзости,— полковник оттого, что он имел власть, Любка оттого, что она все-таки сильно сдрейфила, — смотрели друг другу в глаза. Молодой офицер впереди, обернувшись, тоже смотрел на Любку.

— Wohin befehlen Sie zu fahren? [2] — спросил этот гладко выбритый полковник с улыбкой бушмена.

— Ни-и черта не понимаю! — пропела Любка. — Говорите по-русски или уж лучше молчите.

— Куда, куда... — по-русски сказал полковник, неопределенно махнув рукой вдаль.

— Закудахтал, слава тебе господи, — сказала Любка. — Ворошиловград, чи то Луганск... Ферштеге? Ну, то-то!

Как только она заговорила, испуг ее прошел, и она сразу обрела ту естественность и легкость обращения, которая любого человека, в том числе и немецкого полковника, заставляла воспринимать все, что бы Любка ни говорила и ни делала, как нечто само собой разумеющееся.

---

[1] Садитесь! Живее!

[2] Куда прикажете довезти?

— Скажите, который час?.. Часы, часы, — вот балда! — сказала Любка и пальчиком постукала себе повыше кисти.

Полковник прямо вытянул длинную руку, чтобы оттянуть рукав на себя, механически согнул ее в локте и поднес к лицу Любки квадратные часы на костистой, поросшей редким пепельным волосом руке.

В конце концов не обязательно знать языки, при желании всегда можно понять друг друга.

Кто она такая? Она — артистка. Нет, она не играет в театрах, она танцует и поет. Конечно, у нее в Ворошиловграде очень много квартир, где она может остановиться, ее знают многие приличные люди: ведь она дочь известного промышленника, владельца шахт в Горловке. К сожалению, советская власть лишила его всего, и несчастный умер в Сибири, оставив жену и четырех детей, — все девушки, и все очень хороши собой. Да, она младшая. Нет, его гостеприимством она не может воспользоваться, ведь это может бросить тень на нее, а она совсем не такая. Свой адрес? Его она безусловно даст, но она еще не уверена, где именно она остановится. Если полковник разрешит, она договорится с его лейтенантом, как они смогут найти друг друга.

— Кажется, вы имеете бо́льшие шансы, чем я, Рудольф!

— Если это так, я буду стараться для вас, Herr Oberst!

Далеко ли до фронта? Дела на фронте таковы, что такая хорошенькая девушка может уже не интересоваться ими. Во всяком случае, она может спать совершенно спокойно. На днях мы возьмем Сталинград. Мы уже ворвались на Кавказ, — это ее удовлетворит?.. Кто ей сказал, что на Верхнем Дону фронт не так уж далеко?.. О, эти немецкие офицеры! Оказывается, он не один среди них такой болтливый... Говорят, что все хорошенькие русские девушки — шпионки. Правда ли это?.. Хорошо: это случилось потому, что на этом участке фронта — венгерцы. Конечно, они лучше, чем эти вонючие румыны и макаронники, но на них на всех нельзя положиться... Фронт невыносимо растянут, огромное число людей съедает Сталинград. Попробуйте снабдить все это! Я вам покажу это по линиям руки, — дайте вашу маленькую ладонь... Вот эта большая линия — это на Сталинград, а эта, прерывистая, это — на Моздок, у вас очень непостоянный характер!.. Теперь увеличьте это в миллион раз, и вы поймете, что интендант германской армии должен иметь железные нервы. Нет, она не должна думать, что он имеет дело только с солдатскими штанами, у него нашлось бы кое-что и для хорошенькой девушки, прекрасные вещички, вот сюда, на ноги, и сюда, — она понимает, о чем он говорит? Может быть, она не откажется от шоколада? Не помешал бы и глоток вина, чертов-

ская пыль!.. Это вполне естественно, если девушка не пьет, но — французское! Рудольф, остановите машину...

Они остановились метрах в двухстах не доезжая большой станицы, вытянувшейся по обеим сторонам шоссе, и вылезли из машины. Здесь был пыльный съезд на проселок по краю балки, поросшей вербою внизу и обильной травою, уже высохшей, по склону, защищенному от ветра. Лейтенант указал шоферу съехать на проселок к балке. Ветер подхватил платье Любки, и она, придерживая его руками, побежала вслед за машиной впереди офицеров, увязая туфлями в растолченной сухой земле, сразу набившейся в туфли.

Лейтенант, лица которого Любка почти не видела, а все время видела только его выцветшую спину, и шофер-солдат вынесли из машины мягкий кожаный чемодан и бело-желтую, мелкого плетения тяжелую корзину.

Они расположились с подветренной стороны на склоне балки на высохшей густой траве. Любка не стала пить вина, как ее ни уговаривали. Но здесь, на скатерти, было столько вкусных вещей, что было бы глупо от них отказываться, тем более, что она была артистка и дочь промышленника, и она ела, сколько хотела.

Ей очень надоела земля в туфлях, и она разрешила внутреннее сомнение, поступила ли бы так дочь промышленника, или нет, тем, что сняла кремовые туфли, вытряхнула землю, обтерла ладошками маленькие ступни в фильдеперсовых чулках и уже осталась так, в чулках, чтобы ноги подышали, пока она сидит. Должно быть, это было вполне правильно, во всяком случае немецкие офицеры приняли это как должное.

Ей все-таки очень хотелось знать, много ли дивизий находится на том участке фронта, который был наиболее близок к Краснодону и пролегал по северной части Ростовской области, — Любка знала уже от немецких офицеров, бывших у них на постое, что часть Ростовской области по-прежнему находится в наших руках. И к большому неудовольствию полковника, который был настроен более лирично, чем деловито, она все время выражала опасения, что фронт будет в этом месте прорван и она снова попадет в большевистское рабство.

В конце концов полковника обидело такое недоверие к немецкому оружию, и он — verdammt noch mal! — удовлетворил ее любопытство.

Пока они тут закусывали, со стороны станицы послышался все нараставший нестройный топот ног по шоссе. Вначале они не обращали на него внимания, но он, возникая издалека, все нарастал, заполняя собой все пространство вокруг, будто шла длинная, нескончаемая колонна людей. И даже отсюда, со склона балки, видны стали массы пыли, несомые ветром в

сторону и ввысь от шоссе. Доносились отдельные голоса и выкрики, мужские — грубые, и женские — жалобные, будто причитали по покойнику.

Немецкий полковник, и лейтенант, и Любка встали, высунувшись из балки. Вдоль по шоссе, все вытягиваясь и вытягиваясь из станицы, двигалась большая колонна советских военнопленных, конвоируемая румынскими солдатами и офицерами. Вдоль колонны, иногда прорываясь к ней сквозь румынских солдат, бежали старые и молодые казачки, крича и причитая и бросая то в те, то в другие вздымавшиеся к ним из колонны черные сухие руки куски хлеба, помидоры, яйца, иногда целую буханку или даже узелок.

Военнопленные шли полураздетые, в изорванных, почерневших и пропылившихся сверху остатках военных брюк и гимнастерок, в большинстве босые или в страшном подобии обуви, в разбитых лаптях. Они шли, обросшие бородами, такие худые, что, казалось, одежда у них наброшена прямо на скелеты. И страшно было видеть на этих лицах просветленные улыбки, обращенные к бегущим вдоль колонны кричащим женщинам, которых солдаты отгоняли ударами кулаков и прикладов.

Прошло одно мгновение, как Любка высунулась из балки, но уже в следующее мгновение, не помня, когда и как, она схватила со скатерти белые булки и еще какую-то еду, она уже бежала, как была — в фильдеперсовых чулках, по этому съезду с размешанной сухой землей, взбежала на шоссе и ворвалась в колонну. Она совала булки, куски в одни, в другие, в третьи протягивавшиеся к ней черные руки. Румын-фельдфебель пытался ее схватить, а она увертывалась; на нее сыпались удары его кулаков, а она, нагнув голову и загораживаясь то одним, то другим локтем, кричала:

— Бей, бей, сучья лапа! Да только не по голове!

Сильные руки извлекли ее из колонны. Она очутилась на обочине шоссе и увидела, как немецкий лейтенант бил наотмашь по лицу румынского фельдфебеля, а перед взбешенным полковником, похожим на поджарого оскаленного пса, стоял навытяжку офицер румынской оккупационной армии в салатной форме и что-то бессвязно лепетал на языке древних римлян.

Но окончательно она пришла в себя, когда кремовые туфли снова были у нее на ногах и машина с немецкими офицерами мчала ее к Ворошиловграду. Самое удивительное было то, что и этот поступок Любки немцы приняли как само собой разумеющееся.

Они беспрепятственно миновали немецкий контрольный пункт и въехали в город.

Лейтенант, обернувшись, спросил Любку, куда ее доставить. Любка, уже вполне владевшая собой, махнула рукой прямо по улице. Возле дома, который показался ей подходящим для дочери шахтовладельца, она попросила остановить машину.

В сопровождении лейтенанта, несшего чемодан, Любка с перекинутым через руку пальто вошла в подъезд незнакомого ей дома. Здесь она на мгновение заколебалась: постараться ли ей уже здесь отделаться от лейтенанта, или постучаться при нем в первую попавшуюся квартиру? Она нерешительно взглянула на лейтенанта, и он, совершенно неправильно поняв ее взгляд, свободной рукой привлек ее к себе. В то же мгновение она без особого даже гнева довольно сильно ударила его по розовой щеке и побежала вверх по лестнице. Лейтенант, приняв и это как должное, с той самой улыбкой, которая в старинных романах называлась кривой улыбкой, покорно понес за Любкой ее чемодан.

Поднявшись на второй этаж, она постучала в первую же дверь кулачком так решительно, будто она после долгого отсутствия вернулась домой. Дверь открыла высокая худая дама с обиженным и гордым выражением лица, хранившего еще следы былой если не красоты, то неукоснительной заботы о красоте,— нет, Любке положительно везло!

— Данке шен, герр лейтенант![1] — сказала Любка очень смело и с ужасным произношением, выложив весь свой запас немецких слов, и протянула руку за чемоданом.

Дама, открывшая дверь, смотрела на немецкого лейтенанта и на эту немку в ярко-пестром платье с выражением ужаса, которого она не могла скрыть.

— Moment![2] — Лейтенант поставил чемодан, быстрым движением вынул из планшета, висевшего у него через плечо, блокнот, вписал что-то толстым некрашеным карандашом и подал Любке листок.

Это был адрес. Любка не успела ни прочесть его, ни обдумать, как поступила бы на ее месте дочь шахтовладельца. Она быстро сунула адрес под бюстгальтер и, небрежно кивнув лейтенанту, взявшему под козырек, вошла в переднюю. Любка слышала, как дама запирала за ней дверь на множество замков, засовов и цепочек.

— Мама! Кто это был? — спросила девочка из глубины комнаты.

— Тише! Сейчас! — сказала дама.

Любка вошла в комнату с чемоданом в одной руке и пальто на другой.

---

[1] Большое спасибо, господин лейтенант!

[2] Одну секунду!

— Меня к вам на квартиру поставили... Не стесню? — сказала она, дружелюбно взглянув на девочку, окидывая взглядом квартиру, большую, хорошо меблированную, но запущенную: в ней мог жить врач, или инженер, или профессор, но чувствовалось, что того человека, для которого она в свое время была так хорошо меблирована, теперь здесь нет.

— Интересно, кто же вас поставил? — спросила девочка с спокойным удивлением. — Немцы или кто?

Девочка, как видно, только что пришла домой, — она была в коричневом берете, румяная от ветра, толстая девочка лет четырнадцати, с полной шеей, щекастая, крепкая, похожая на гриб-боровик, в который кто-то воткнул живые карие глазки.

— Тамочка! — строго сказала дама. — Это нас совершенно не касается.

— Как же не касается, мама, если она поставлена к нам на квартиру? Мне просто интересно.

— Простите, вы — немка? — спросила дама в замешательстве.

— Нет, я русская... Я — артистка, — сказала Любка не вполне уверенно.

Произошла небольшая пауза, в течение которой девочка пришла в полную ясность в отношении Любки.

— Русские артистки эвакуировались!

И гриб-боровик, зардевшись от возмущения, выплыл из комнаты.

Итак, Любке предстояло испить до дна всю горечь, что отравляет победителю радости жизни в оккупированной местности. Все же она понимала, что ей выгодно зацепиться за эту квартиру и именно в том качестве, в каком ее, Любку, принимают.

— Я ненадолго, я подыщу себе постоянную,—сказала она. Все-таки ей очень хотелось, чтобы к ней относились в этом доме подобрее, и она добавила: — Ей-богу, я скоро подыщу!.. Где можно переодеться?

Через полчаса русская артистка в голубом крепдешиновом платье и в голубых туфлях, перекинув через руку пальто, спустилась к железнодорожному переезду в низину, разделявшую город на две части, и немощеной каменной улицей поднялась в гору, на Каменный Брод. Она приехала в город на гастроли и искала для себя постоянную квартиру.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Как человек осторожный, Иван Федорович предпочитал по возможности не пользоваться явками, оставленными ему, в том числе и по Ворошиловграду. Но после гибели Яковенко,

первого из территориальных секретарей, побывать Ивану Федоровичу в Ворошиловграде было совершенно необходимо. Как человек смелый, он рискнул воспользоваться старинным знакомством — пойти к подруге жены, одинокой тихой женщине с неудавшейся личной жизнью. Звали ее Маша Шубина. Она работала чертежницей на паровозостроительном заводе и не эвакуировалась из Ворошиловграда ни в первую, ни во вторую эвакуацию завода только из любви к родному городу: вопреки всем и всему, она была уверена, что город никогда не будет сдан и что она сможет быть полезна.

Иван Федорович решил направиться к Маше Шубиной по совету жены, решил это той же ночью, когда сидел с женой в погребе Марфы Корниенко.

Взять с собой жену Иван Федорович не мог: они много лет работали в Ворошиловграде и вдвоем были бы слишком заметны. Да и по соображениям дела Екатерине Павловне выгодней было остаться здесь — для связи с партизанскими группами и подпольными организациями в округе. И они решили тогда же, в погребе, что лучше Екатерине Павловне остаться у Марфы под видом родственницы, обжиться и, если будет возможность, — устроиться учительницей в одном из ближайших сел.

А когда они так решили, невольно им пришло в голову, что за всю совместную жизнь они расстаются впервые и расстаются в такое время, когда — может случиться — они больше никогда не увидятся.

Они замолчали и долго сидели обнявшись. И вдруг почувствовали, что им хорошо и счастливо сидеть вот так, обнявшись, в этом темном и сыром погребе.

Как и во многих семьях, сложившихся давно и сложившихся прочно благодаря общности взглядов, благодаря трудовой жизни не только мужа, а и жены, и благодаря детям, — их союз уже не нуждался в постоянном внешнем выявлении чувства. Чувство жило в них, скрытое, как жар в золе. Оно вдруг вспыхивало в дни жизненных испытаний, общественных потрясений, горя, радости. О, с какой силой вставали тогда в памяти первые их встречи в луганском саду, и этот всевластный запах акаций над городом, и ночное небо в звездах, раскинувшееся над их молодостью, и необузданные юношеские мечты, и радость первого физического узнавания, и счастье рождения первого ребенка, и первые терпкие плоды несходства в характерах! Какие это были все же чудесные плоды! Вкусив их, только слабые души распадаются, сильные срастаются навеки.

Для любви равно необходимы и суровые испытания жизни, и живые воспоминания того, как она, любовь, начиналась.

Первые связывают людей, вторые не дают стареть. Велика связующая сила совместного пути, если вас всегда волнует чувство, могущее быть выраженным всего лишь двумя словами: «А помнишь?..» Это даже не воспоминание. Это вечный свет молодости, зов в дальнейший путь, в будущее. Счастлив тот, кто сохранил это в сердце своем...

Вот это счастливое чувство испытывали Иван Федорович и Катя, сидя в темном погребе Марфы Корниенко.

Они сидели и молчали, а в сердце их звучало: «А помнишь? Ты помнишь?..»

Особенно памятен был им день их последнего объяснения. Они встречались уже много месяцев, и, в сущности, она уже все знала — знала по его отчаянным словам и поступкам. Но она никак не позволяла ему высказаться до конца и сама ничего не обещала.

Накануне он уговорил ее зайти за ним на другой день во двор общежития, где он жил,— он учился на областных партийных курсах. И то, что она согласилась, было большой его победой: значит, она уже не стыдилась товарищей его, — ведь в эти часы после занятий двор всегда бывал полон курсантов.

И она вошла во двор общежития, полный народа. Посреди двора курсанты играли в городки. Он тоже играл, он был в украинской рубашке без шнурка, с расстегнутым воротом, веселый и разгоряченный. Он подбежал к ней, поздоровался и сказал: «Обожди, сейчас доиграем...» Все курсанты во дворе смотрели в это время на них, потом раздвинулись, уступая ей место, и она стала смотреть на игру, но смотрела она только на него.

Ее всегда немножко смущало то, что он невысок ростом, а теперь она точно впервые увидела его всего, какой он сильный, ловкий и озорной. Самые сложные, замысловатые фигуры он выносил с одной палки из города, — она чувствовала, что все это он делает из-за нее. И все время он издевался над противником.

Тогда только что впервые залили асфальтом Ленинскую улицу, день был жаркий, они шли по плавившемуся асфальту, счастливые. Он шел рядом с ней в этой украинской рубашке, но уже перехваченной шнурком, русые волосы волнами распадались на голове его, и он все говорил и говорил. Он купил мимоходом с лотка сушеных фиников и нес их перед собой в кулечке из газеты. Финики были горячие, сладкие, и только она одна их ела, потому что он все время говорил. Больше всего ей запомнилось, что на такой чудесной асфальтированной улице не было урн для мусора, некуда даже было выпле-

вывать косточки, она оставляла их во рту, в надежде освободиться от них, когда удастся свернуть на улицу похуже.

Вдруг он перестал говорить и посмотрел на нее такими глазами, что она смутилась. И он сказал:

— Вот возьму и поцелую тебя сейчас при всех на улице!

Тогда в ней заговорило строптивое чувство, она искоса поглядела на него из-под ресниц и сказала:

— Только попробуй, я на тебя все финиковые косточки выплюну!

— А много? — спросил он совершенно серьезно.

— Штук двенадцать!

— Побежим в сад? Бегом!.. — воскрикнул он, не давая ей опомниться, и схватил ее за руку. И они, смеясь и не обращая внимания на людей, побежали в сад.

«Ты помнишь?.. Помнишь, какая это была ночь в саду?..»

Теперь, в темном погребе, как тогда, в луганском саду под звездами, Катя доверчиво спрятала свое горячее лицо где-то у мужа между его уютным сильным плечом и шеей и обросшей мягким волосом щекой. Так и просидели они до рассвета, даже не задремав. Потом Иван Федорович на мгновение еще крепче прижал к себе жену и чуть отнял лицо свое и ослабил руки.

— Пора, ой пора, ласточка моя, голубонька! — сказал он.

Но она все не отнимала от него лица. И они сидели так до тех пор, пока на воле стало совсем светло.

Корнея Тихоновича с внуком Иван Федорович направил на Митякинскую базу — узнать, что сталось с отрядом. Иван Федорович долго учил старика, как нужно действовать небольшими группами и как создавать новые партизанские группы из крестьян, казаков и бывших военных, осевших в селах.

Пока Марфа кормила их, какой-то дед, дальний родственник Марфы, прорвался все-таки через кордон ребят и угодил в аккурат к обеду. Любознательный Иван Федорович так и вцепился в деда, желая знать, как обыкновенный селянский дед расценивает создавшееся положение. Дед этот был тот тертый, бывалый дед, который когда-то вез Кошевого и его родню, у которого прохожие немецкие интенданты все-таки отобрали его буланого конька, из-за чего он и вернулся на село к родне. Дед сразу понял, что он имеет дело не с простым человеком, начал петлять.

— Ось, бачишь, як воно дило... Три с лишним тыждня шло ихнее войско. Велика сила пройшла! Красные теперь не вернуться, ни... Та що балакать, як вже бои идут за Волгою, пид Куйбышевом, Москва окружена, Ленинград взят! Гитлер казав, що Москву визме измором.

— Так я и поверю, что ты уверовал в эти враки! — с чертовской искрой в глазах сказал Иван Федорович. — Вот что,

друг запечный, мы с тобой вроде одного роста, дай мени якую-небудь одежу-обужу, а я тебе оставлю свою.

— Вон оно как, гляди-ка! — по-русски сказал дед, все сразу сообразив.— Одежку я тебе мигом принесу.

В одежке этого деда, с котомкой за плечами, маленький Иван Федорович, сам хотя и не дед, но изрядно обросший бородою, ввалился в комнатку Маши Шубиной на Каменном Броде.

Странное чувство испытал он, идя под чужой личиной по улицам родного города.

Иван Федорович родился в нем и проработал в нем много лет. Многие здания предприятий, учреждений, клубов, жилые были построены при нем, в значительной части его усилиями. Он помнил, например, как на заседании президиума городского совета был запланирован вот этот сквер, и Иван Федорович лично наблюдал за его разбивкой и посадкой кустов. Сколько усилий он сам лично положил на благоустройство родного города, и все-таки в горкоме всегда ругались, что дворы и улицы содержатся недостаточно чисто, и это была правда.

Теперь часть зданий была разрушена бомбежкой,— в пылу обороны не так бросалось в глаза, насколько это обезобразило город. Но даже не в этом было дело: город за несколько недель пришел в такое запустение, что, казалось, новые хозяева и сами не верят в то, что поселились в нем навечно. Улицы не поливались, не подметались, цветы на скверах увяли, бурьян забивал газоны, бумажки, окурки вихрем завивались в густой рыжей пыли.

Это была одна из столиц угля. В прежние времена сюда привозилось больше товаров, чем во многие другие районы страны,— толпа на улицах была цветистой, нарядной. Чувствовалось, что это южный город: всегда было много фруктов, цветов, голубей. Теперь толпа поредела и стала неприметной, серой, люди одеты были с небрежным однообразием, будто нарочно опустились, было такое впечатление, что они даже не моются. А внешний колорит улице придавали мундиры, погоны и бляшки вражеских солдат и офицеров — больше всего немцев и итальянцев, но также и румын и венгерцев,— только их говор был слышен, только их машины, выпевая клаксонами, мчались по улицам, завивая пыльные смерчи. Еще никогда в жизни не испытывал Иван Федорович такой кровной личной жалости и любви к городу и к его людям.

Было такое чувство, что вот у него был дом и его изгнали из этого дома, и он тайком прокрался в родной дом и видит, что новые хозяева расхищают его имущество, захватали грязными руками все, что ему дорого, унижают его родных, а он

может только видеть это и бессилен что-либо сделать против этого.

И на подруге жены лежала эта же общая печать подавленности и запущенности: она была в заношенном темном платье; русые волосы небрежно закручены узлом; на ногах, давно не мытых, шлепанцы, и видно было, что она так и спит, с немытыми ногами.

— Маша, да разве можно так опускаться! — не выдержал Иван Федорович.

Она безучастно оглядела себя, сказала:

— В самом деле? Я и не замечаю. Все так живут, да так и выгодней: не пристают... Впрочем, в городе и воды-то нет...

Она замолчала, и Иван Федорович впервые обратил внимание на то, как она похудела и как пусто, неприютно у нее в комнате. Он подумал, что она, должно быть, голодает и давно распродала все, что имела.

— Ну, вот что, давай поснидаем... Мени тут одна жинка добре наготовила всего, така умнесенька жинка! — смущенно заговорил он, засуетившись возле своей котомки.

— Боже мой, да разве в этом дело? — Она закрыла лицо руками. — Возьмите меня с собой! — вдруг сказала она со страстью. — Возьмите меня к Кате, я готова служить вам всем, чем могу!.. Я готова быть вашей прислугой, лишь бы не это каждодневное подлое унижение, не это медленное умирание без работы, без всякой цели в жизни!

Она, как всегда, говорила ему «вы», хотя знала его с дней замужества Кати, с которой дружила с детства. Он и раньше догадывался, что она потому не может обращаться к нему на «ты», что не может отрешиться от чувства расстояния, отделявшего ее, простую чертежницу, от него, видного работника.

Тяжелая поперечная складка легла на открытом лбу Ивана Федоровича, и его живые синие глаза приняли суровое, озабоченное выражение.

— Я буду говорить с тобой прямо, может быть, грубо, — сказал он, не глядя на нее. — Маша! Коли б дело шло о тебе, обо мне, я б мог забрать тебя до Кати и сховать вас обеих и сам сховаться,— сказал он с недоброй, горькой усмешкой.— Да я слуга государства, и я хочу, щоб и ты наикраще послужила нашему государству: я не только не заберу тебя отсюда, я хочу здесь бросить тебя у самое пекло. Скажи мне прямо: согласна? Маешь на то силу?

— Я согласна на все, лишь бы не жить той жизнью, какой я живу! — сказала она.

— Ни, то не ответ! — сурово сказал Иван Федорович.— Я

предлагаю тебе выход не для спасения твоей души, — я спрашиваю: согласна ты служить народу и государству?

— Я согласна, — тихо сказала она.

Он быстро склонился к ней через угол стола и взял ее за руку.

— Мне нужно установить связь со своими людьми здесь, в городе, но тут провалы были, и я не уверен, на какую явку можно положиться... Ты должна найти в себе мужество и хитрость, як у самого дьявола, — проверить явки, что я дам тебе. Пойдешь на это?

— Пойду, — сказала она.

— Завалишься — будут пытать на медленном огне. Не выдашь?

Она помолчала, словно сверялась со своей душой.

— Не выдам, — сказала она.

— Так слухай же...

И он при тусклом-тусклом свете коптилки, еще ближе склонившись к ней, так, что она увидела свежий рубец на залысине на виске, дал ей явку здесь же, на Каменном Броде, которая, казалось ему, была надежней, чем другие. Эта явка была ему особенно нужна, потому что через нее он мог связаться с Украинским партизанским штабом и узнать, что творится не в одной области, а и на советской стороне и повсюду.

Маша изъявила готовность сейчас же пойти туда, и это соединение наивной жертвенности и неопытности так и пронзило сердце Ивана Федоровича. Лукавая искорка на одной ножке запрыгала из одного его глаза в другой.

— Хиба ж так можно! — сказал он с веселой и доброй укоризной.— То же требует изящной работы, як в модном магазине. Пройдешь свободно, среди бела дня, я тебя научу, как и что... Мени ж треба ще и с тылу себя обеспечить! У кого ты живешь?

Маша снимала комнату в домишке, принадлежавшем старому рабочему паровозостроительного завода. Домишко был сложен из камня и разделен сквозным коридором с двумя выходами — на улицу и во двор, огороженный низкой каменной оградой, — разделен на две половины: в одной половине были комната и кухня, в другой — две маленькие комнатки, одну из которых снимала Маша. У старика было много детей, но все они уже давно отделились: сыновья были кто в армии, кто в эвакуации, дочери — замужем в других городах. По словам Маши, хозяин квартиры был человек обстоятельный, немного, правда, нелюдимый, книжник, но честный.

— Я выдам вас за дядю из села, брата матери,— мать моя тоже была украинка. Скажу, что я сама написала вам, чтоб приехали, а то, мол, трудно жить.

— Ты сведи своего дядю до хозяина: побачим, який вин там нелюдим! — с усмешкой сказал Иван Федорович.

— А какая уж там работа, на чем работать-то? — мрачно бубнил «нелюдим», изредка вскидывая крупные, навыкате глаза на бороду Ивана Федоровича и на рубец на правой его залысине. — Два раза мы сами оборудование с завода вывозили, да немцы бомбили нас несколько раз... Строили паровозы, строили танки и пушки, а нонче чиним примуса и зажигалки... Кой-какие коробки от цехов, правда, остались, и, если пошарить, много еще оборудования есть по заводу то там, то здесь, да ведь это, как сказать, требует настоящего хозяина. А нонешние...— Он махнул заскорузлым кулаком на маленькой сухой руке. — Несерьезный народ!.. Плавают мелко и — воры. Поверишь ли, приехало на один завод сразу три хозяина: Крупп,— раньше завод был гартмановский, так его акции Крупп скупил,— управление железных дорог и электрическая компания — той досталась наша ТЭЦ, ее, правда, наши перед уходом взорвали... Ходили они, ходили по заводу и давай делить его на три части. И смех и грех: разрушенный завод, а они его столбят, как мужики при царе свои полоски, даже поперек дорог, что связывают завод, ямы порыли, как свиньи. Поделили, застолбили, и каждый остатки оборудования повез к себе в Германию. А тем, что помельче да похуже, тем они торгуют направо и налево, как спекулянты на толкучке. Наши рабочие смеются: «Ну, дал бог хозяев!» Наш брат за эти годы привык, сам знаешь, к какому размаху, а на этих ему не то что работать, а и смотреть-то муторно. Ну, а в общем смех-то получается сквозь слезы...

Они сидели при свете коптилки, Иван Федорович, с длинной своей бородой, притихшая Маша, скрюченная старуха и «нелюдим», — страшные тени их сходились, расходились, расплывались на стенах и по потолку; все они, сидящие, походили на пещерных жителей. «Нелюдиму» было лет под семьдесят, он был маленького роста, тощий, а голова крупная, ему трудно было держать ее, говорил он мрачно, однотонно, все сливалось в одно «бу-бу-бу-бу». Но Ивану Федоровичу приятно было слушать его не только потому, что старик говорил умно и говорил правду, а и потому, что ему нравилось, что рабочий человек так обстоятельно, подробно знакомит с промышленными делами при немцах случайно забредшего мужика.

Иван Федорович все-таки не выдержал и высказал свои соображения:

— Мы на селе у себя вот как думаем: ему у нас на Украине промышленность развивать нет никакого расчета, промышленность у него вся в Германии, а от нас ему нужен хлеб и

уголь. Украина ему вроде как колония, а мы ему — негры... — Ивану Федоровичу показалось, что «нелюдим» смотрит на него с удивлением, он усмехнулся и сказал: — В том, что наши мужики так рассуждают, ничего удивительного нет, народ сильно вырос.

— Так-то оно так... — сказал «нелюдим», нисколько не удивившись на рассуждения Ивана Федоровича. — Ну, хорошо — колония. Выходит, они хозяйство на селе двинули вперед, что ли?

Иван Федорович тихо засмеялся:

— Озимые сеем по пропашным да по стерне озимого и ярового, а землю обрабатываем тяпками. Сам понимаешь, сколько насеем!

— То-то и оно! — сказал «нелюдим», не удивившись и этому. — Не умеют они хозяйничать. Привыкли сорвать с чужих, как жулики, с того и живут, и думают с такой, прости господи, культурой покорить весь свет,— глупые звери,— беззлобно сказал он.

«Эге, диду, да ты такому хлеборобу, як я, сто очков вперед дашь!» — с удовольствием подумал Иван Федорович.

— Вы когда к своей племяннице проходили, вас не видел кто-нибудь? — не меняя тона, спросил «нелюдим».

— Видать — не видали, да чего мне бояться? Я при всем документе.

— Это я понимаю, — уклончиво сказал «нелюдим», — да ведь здесь порядок, что я должен заявить о вас в полицию, а ежели вы ненадолго, так лучше так обойтись. Потому я скажу вам прямо, Иван Федорович, что я вас сразу узнал, ведь вы у нас сколько на заводе бывали, не ровен час узнает вас и недобрый человек...

Нет, жинка правильно говорила Ивану Федоровичу всегда, что он родился в сорочке.

Рано утром другого дня Маша, сходившая по явке, привела к Ивану Федоровичу незнакомого человека, который, к великому изумлению Ивана Федоровича и Маши, приветствовал «нелюдима» так, как будто они только вчера расстались. От этого человека Иван Федорович узнал, что «нелюдим» был из своих людей, оставленных в подполье.

От этого же человека Иван Федорович впервые узнал, как далеко залез немец в глубь страны: это были дни, когда завязывалась великая Сталинградская битва.

Все ближайшие дни Иван Федорович был занят проверкой, а частично и восстановлением связей — по городу и по всей области.

И в разгар этой деятельности тот самый человек, через которого Иван Федорович проник в городскую организацию, привел к нему Любку-артистку.

Выслушав все, что могла сказать Любка об обстоятельствах гибели заключенных краснодонской тюрьмы, Иван Федорович некоторое время сидел мрачный, не в силах говорить. Жалко, мучительно жалко было ему Матвея Костиевича и Валько. «Такие добрые казаки были!» — думал он. Внезапно ему пришла в голову мысль о жене: «Как-то она там, одна?..»

— Да... — сказал он. — Тяжкое подполье! Такого тяжкого ще не було на свити...— И он зашагал по комнате и заговорил с Любкой так, как если бы говорил сам с собой. — Сравнивают наше подполье с подпольем при тої интервенции, при белых, а какое может быть сравнение? Сила террора у этих катов такая, что беляки — дети перед ними, — эти губят людей миллионами... Но есть у нас преимущество, какого тогда не было: наши подпольщики, партизаны опираются на всю мощь нашей партии, государства, на силу нашей Красной Армии... У наших партизан и сознательность выше, и организация выше, и техника выше — вооружение, связь. Это надо народу объяснить... У наших врагов есть слабое место такое, как ни у кого: они тупые, все делают по указке, по расписанию, живут и действуют среди народа нашего в полной темноте, ничего не понимают... Вот что надо использовать! — сказал он, остановившись против Любки, и снова зашагал из угла в угол.— Это все, все надо объяснить народу, чтобы он не боялся их и научился их обманывать. Народ надо организовать,— он сам даст из себя силы: повсюду создавать небольшие подпольные группы, которые могли бы действовать в шахтах, в селах. Люди должны не в лес прятаться,— мы, черт побери, живем в Донбассе! Надо идти на шахты, на села, даже в немецкие учреждения — на биржу, в управу, в дирекционы, сельские комендатуры, в полицию, даже в гестапо. Разложить все и вся диверсией, саботажем, беспощадным террором изнутри!.. Маленькие группки из местных жителей — рабочих, селян, молодежи, человек по пять, но повсюду, во всех порах... Неправда! Заляскает у нас ворог зубами от страха! — сказал он с таким мстительным чувством, что оно передалось и Любке, и ей стало трудно дышать. Тут Иван Федорович вспомнил о том, что Любка передала ему «по поручению старших».— У вас, значит, дела в гору идут? Так они и в других местах идут. А без жертв в таком деле не бывает... Тебя как звать? — спросил он, снова остановившись против нее.— Вот оно как,— то ж не дило: така гарна дивчина не может быть Любка, а Люба! — И веселая искорка скакнула у него в глазу. — Ну, еще кажи, що тоби треба?

С мгновенной яркостью Любка представила себе, как они стояли, семеро, в комнате, построившись в шеренгу. Низкие темные тучи бежали за окном. Каждый, кто выходил перед строем, бледнел, и голос, произносивший клятву, подымался до высокой, звенящей ноты, скрывая благоговейное дрожание. И текст клятвы, написанный Олегом и Ваней Земнуховым и утвержденный ими всеми, в этот момент вдруг отделился от них и встал над ними, более суровый и непоколебимый, чем закон. Любка вспомнила это, и от волнения, вновь ее охватившего, ее лицо стало белым, и на нем с необыкновенной силой выразительности выступили голубые детские глаза с жестоким стальным отливом.

— Нам нужны совет и помощь, — сказала она.

— Кому вам?

— Молодой гвардии... У нас командиром Иван Туркенич, он лейтенант Красной Армии, попал в окружение из-за ранения. Комиссар — Олег Кошевой, из учеников школы имени Горького. Сейчас нас человек тридцать, принявших клятву на верность. Организованы по пятеркам, как раз, как вы говорили, — Олег так предложил...

— Наверно, так ему старшие товарищи посоветовали, — сказал сразу все понявший Иван Федорович, — но все равно, молодец ваш Олег!..

Иван Федорович с необычайным оживлением присел к столу, посадил Любку против себя и попросил, чтобы она назвала всех членов штаба и охарактеризовала каждого из них.

Когда Любка дошла до Стаховича, Иван Федорович опустил уголки бровей.

— Обожди, — сказал он и тронул ее за руку. — Як его зовут?

— Евгений.

— Он был с вами все время или пришел откуда?

Любка рассказала, как Стахович появился в Краснодоне и что он говорит о себе.

— Вы к этому парубку относитесь с осторожностью, проверьте его. — И Иван Федорович рассказал Любке о странных обстоятельствах исчезновения Стаховича из отряда.— Когда б он в немецких руках не побывал, — сказал он раздумывая.

На лице Любки отразилось беспокойство, тем более сильное, что она недолюбливала Стаховича. Некоторое время она молча смотрела на Ивана Федоровича, потом черты ее лица разгладились, глаза посветлели, и она спокойно сказала:

— Нет, этого не может быть. Наверно, он просто струсил и ушел.

— Почему ты так думаешь?

— Ребята его давно знают как комсомольца, он парень с фанаберией, а на такое не пойдет. У него семья очень хорошая, отец старый шахтер, братья-коммунисты в армии.. Нет, не может того быть!

Необыкновенная чистота ее мышления поразила Ивана Федоровича.

— Умнесенька дивчина! — сказал он с непонятной ей грустью в глазах. — Было время когда-то, и мы так думали. Да, видишь ли, дело какое,—сказал он ей так просто, как можно было бы сказать ребенку,— на свете еще немало людей растленных, для коих идея, как одежка, на время, а то и маска,—фашисты воспитывают таких людей миллионами по всему свету, — а есть люди просто слабые, коих можно сломать...

— Нет, не может быть, — сказала Любка, имея в виду Стаховича.

— Дай бог! А если струсил, может струсить и еще раз.

— Я скажу Олегу,— коротко сказала Любка.

— Ты все поняла, что я говорил?

Любка кивнула головой.

— Вот так и действуйте... Ты здесь, в городе, связана с тем человеком, что привел тебя? Его и держись.

— Спасибо, — сказала Любка, глядя на него повеселевшими глазами.

Они оба встали.

— Передавай наш боевой большевистский привет товарищам молодогвардейцам. — Он своими небольшими, точными в движениях руками осторожно взял ее за голову и поцеловал в один глаз и в другой и слегка оттолкнул от себя. — Иди, — сказал он.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Эти несколько дней в Ворошиловграде она находилась в подчинении того человека, который свел ее с Иваном Федоровичем. И для этого человека было очень важно, что у Любки завязались такие отношения с немецким интендантским полковником и его адъютантом и что она попала на квартиру, где ее принимают не за ту, кто она есть.

Ей не пришлось изучать шифр, потому что он остался таким, каким она его узнала перед отъездом с курсов, но теперь она должна была взять радиопередатчик с собой, потому что из Ворошиловграда на нем очень трудно было работать.

Этот человек учил ее, как менять места, чтобы ее не запеленговали. И сама она не должна была все время сидеть в Краснодоне, а наезжать в Ворошиловград и в другие пункты

и не только поддерживать связи, какие у нее образовались, а завязывать новые среди офицеров — немцев, румын, итальянцев и венгерцев.

Ей даже удалось договориться с хозяевами квартиры, где она жила, что она, приезжая в Ворошиловград, будет останавливаться у них, поскольку ей не понравились те квартиры, какие ей предлагали. Девочка, похожая на гриб-боровик, попрежнему относилась к Любке с величайшим презрением, но мать этой девочки понимала, что Любка все-таки безобиднее, чем немецкие чины.

У Любки не было другого способа, как только опять воспользоваться попутной немецкой машиной. Но теперь она уже не поднимала руку перед легковыми машинами, наоборот — она была больше заинтересована в грузовике с солдатами. Солдаты были и подобрее и менее догадливы, а в чемодане среди ее барахла находилась теперь эта вещичка.

В конце концов она попала в санитарный фургон. Правда, в фургоне, кроме пяти-шести солдат-санитаров, оказались старший офицер медицинской службы и несколько младших. Но все они были немножко пьяны, а Любка давно убедилась, что пьяных офицеров легче обманывать, чем трезвых.

Выяснилось, что они везут спирт во фронтовой госпиталь, много спирта в больших плоских банках. И Любка вдруг подумала, как хорошо было бы добыть у них побольше спирта, потому что спирт открывает любые замки и двери и на него можно приобрести все.

Кончилось это тем, что она уговорила старшего офицера медицинской службы не гнать этот громадный тяжелый фургон среди ночи, а переночевать у хорошей знакомой в Краснодоне, куда она, Любка, едет на гастроли. Она очень напугала мать, втащив в квартиру столько пьяных немецких офицеров и солдат.

Немцы пили всю ночь, и Любке пришлось даже танцевать перед ними, поскольку она выдала себя за артистку. Она танцевала точно на острие бритвы, — и все-таки опять перехитрила их: она заигрывала одновременно и с офицерами и с нижними чинами, и нижние чины из ревности мешали офицерам ухаживать за Любкой, так что старший офицер медицинской службы даже ударил одного санитара сапогом в живот.

В то время когда они так развлекались, Любка услышала вдруг донесшийся с улицы продолжительный полицейский свисток. «Полицай» свистел где-то возле клуба имени Горького, свистел изо всех сил, не выпуская свистка изо рта.

Любка не сразу догадалась, что это сигнал тревоги, но свист все нарастал, приближаясь к дому. За окнами стремительно возник и так же внезапно исчез громкий топот ног, —

человек пробежал вниз по улице к малым «шанхайчикам», что лепились вдоль балки. А через некоторое время прогрохали за окном тяжелые сапоги «полицая», свистевшего изо всех сил.

Любка и те из немцев, кто еще мог двигаться, выбежали на крыльцо. Ночь была тихая, темная, теплая. Удаляющийся пронзительный свист и пляшущий конус света от электрического фонаря обозначали трассу бегущего вниз по улице полицейского. И, словно в ответ ему, доносились свистки постовых с рынка и из-за пустыря за балкой — от жандармерии — и даже от второго железнодорожного переезда, который был далеко отсюда.

Немецкие военные медики, покачиваясь оттого, что хмель растворил в них тот наиважнейший стержень, что поддерживает человека в вертикальном положении, некоторое время постояли на крыльце в глубоком молчании. Потом старший из офицеров послал санитара за электрическим фонарем и поводил струею света по палисаднику с заброшенными клумбами, остатками забора и переломанными кустами сирени. Потом он осветил фургон во дворе, и все вернулись в горницу.

Как раз в это время Олег, намного опередивший своего преследователя, увидел на пустыре за балкой вспышки фонарей полицейских, бежавших от жандармерии наперерез ему. Он тут же понял, что не скрыться ему в малых «шанхайчиках»: собаки, единственно только и сохранившиеся в этих местах из-за того, что никто из немцев не хотел жить в глиняных мазанках, — собаки выдадут Олега своим лаем. В то же мгновение, как он это сообразил, Олег свернул вправо в «Восьмидомики» и прижался к стенке ближайшего стандартного дома. Через минуту или две «полицай» прогрохотал своими чеботами мимо. Он пробежал так близко, что у Олега даже уши заложило от свиста.

Олег выждал немного, потом, стараясь ничем не обнаружить себя, пошел задами той же улицы, по которой только что бежал, к холмам, откуда начал свой путь.

Состояние возбуждения, поднявшегося до какого-то необузданного веселья, когда он обнаружил «полицая» на крыльце клуба, а потом бежал от него по улице, сменилось чувством тревоги. Олег слышал свистки в районе рынка и жандармерии и второго переезда и понимал теперь, что его оплошность поставила в трудное и опасное положение не только его самого, но и Сережку с Валей и Степу Сафонова с Тосей Мащенко.

Это был первый их выход в свет с листовками, написанными Олегом и Ваней Земнуховым, первое мероприятие, по которому население должно было узнать о существовании «Молодой гвардии».

Сколько усилий пришлось потратить на то, чтобы отвести предложение Стаховича, который считал, что можно в одну ночь оклеить листовками весь город и сразу произвести впечатление. Олег, поближе узнавший Стаховича, уже не сомневался в искренности его побуждений, но как же он, Стахович, не понимал, что чем больше людей вовлечено в дело, тем легче провалиться! И обидно было, что Сережка Тюленин, как всегда, тоже склонялся к мерам самым крайним.

Но Туркенич и Ваня Земнухов поддержали предложение Олега — расклеить листовки только в одном районе, а спустя несколько суток — в другом, а потом — в третьем, чтобы всякий раз направлять внимание полиции по ложному следу.

Олег предложил, чтобы ребята ходили обязательно парами, — один достает листовку, другой мажет, и пока один наклеивает, другой прячет склянку, — и чтобы ходили обязательно юноша с девушкой: если захватит «полицай», можно объяснить прогулку в такой неурочный час мотивами любовными.

Вместо мучного клейстера они решили употреблять жидкий мед. Клейстер надо было бы где-нибудь варить, и это само по себе могло дать наводящий след полиции, не говоря уже о том, что клейстер оставлял следы на одежде. Для клейстера, кроме того, нужны были кисти, посуда, которую неудобно носить, а мед можно было носить в маленьком пузырьке с затычкой и плескать помалу прямо из горлышка на обратную сторону листовки.

Кроме расклеивания листовок по ночам, Олег разработал очень несложный план распространения листовок среди бела дня в местах большого скопления народа — в кино, на базаре, возле биржи труда.

Для первой ночной операции они избрали район шахты № 1-бис с прилегающими к нему «Восьмидомиками» и рынком. Рынок достался Сереже и Вале, «Восьмидомики» — Степе Сафонову и Тосе. Район шахты № 1-бис Олег взял на себя.

Ему, конечно, очень хотелось пойти с Ниной, но он сказал, что пойдет с Мариной — своей хорошенькой тетушкой.

Туркенича решено было оставить дома, чтобы на этот первый случай, когда у ребят еще не было никакого опыта, каждая пара по окончании работы могла бы сразу доложить командиру, как все прошло.

Однако, когда все разошлись, Олег невольно задумался: какое право имел он вовлекать в такое опасное дело мать трехлетнего ребенка, даже не посоветовавшись с дядей Колей, отцом этого ребенка?

Конечно, нехорошо было нарушать порядок, им же установленный, но Олегом владел уже такой мальчишеский азарт, что он решил пойти один.

Под вечер, когда движение по городу еще было свободным, Олег, сунув несколько листовок во внутренний карман пиджака, а пузырек с медом в карман брюк, вышел из дому. Пройдя улицей, на которой жили Осьмухин и Земнухов, он достиг балки в том месте, где ее пересекала дорога к шахте № 5. Это была та самая балка, которая в дальнейшем своем протяжении вправо отделяла «Восьмидомики» от пустыря с жандармерией. Здесь балка была совершенно не заселена. Олег свернул направо по балке и, не дойдя до малых «шанхайчиков», одной из низинок, как бы вливавшихся в балку, выбрался в холмы. Они тянулись длинной перемежающейся грядой, по которой пролегало ворошиловградское шоссе, и господствовали над всей этой частью города.

Прячась среди холмов, Олег дошел почти до места пересечения ворошиловградского шоссе с дорогой из центральной части города в «Первомайку». Здесь он залег, дожидаясь темноты. Вглядываясь сквозь выгоревшие балки бурьяна, он хорошо видел и перекресток, и окраину «Первомайки» по ту сторону шоссе, и взорванную шахту № 1-бис с громадным терриконом, и клуб имени Горького ниже по улице, где жила Люба Шевцова, и «Восьмидомики», и пустырь со школой имени Ворошилова и жандармерией.

Непосредственно угрожавший Олегу полицейский пост находился на перекрестке дорог, — пост обслуживали два «полицая». Один из них не покидал перекрестка и если разрешал себе прогуляться от скуки, то только вдоль шоссе. Другой же патрулировал по дороге от перекрестка к шахте № 1-бис и дальше, к клубу имени Горького, вдоль по улице, на которой жила Люба Шевцова, до малых «шанхайчиков».

Соседний пост находился в районе рынка и тоже обслуживался двумя полицейскими, из которых один постоянно находился на территории базара, а другой патрулировал от базара до того пункта, где малые «шанхайчики» вливались в большой «Шанхай».

Ночь спустилась черная, но такая тихая, что слышен был каждый шорох. Теперь Олег мог доверять только своему слуху.

Ему предстояло наклеить несколько листовок у входа в шахту № 1-бис и на клубе имени Горького. (Они решили не клеить листовки на жилые дома, чтобы не подводить жильцов). Крадучись, Олег спустился с холмов к крайнему из стандартных домов. Здесь начиналась улица, где жила Люба Шевцова. Входная будка шахты № 1-бис была как раз напротив Олега через площадь.

Он слышал, как разговаривают патрульный и постовой. На мгновение он даже увидел их лица, склонившиеся к огоньку зажигалки. Надо было выждать, пока патрульный пойдет вниз по улице, иначе он мог застигнуть Олега на открытой площади. Но полицейские долго еще стояли, разговаривая вполголоса.

Наконец патрульный пошел, время от времени освещая себе путь электрическим фонарем. Олег стоял за домом и слышал шаги полицейского. Едва шаги отдалились, Олег вышел на улицу. Тяжелые шаги были все еще слышны. Патрульный по-прежнему освещал путь карманным фонарем, и Олег мог видеть, как он миновал клуб имени Горького. Наконец полицейского не стало видно: за домом Шевцовых начинался крутой спуск к балке. Только вспышки рассеянного отраженного света вдали говорили о том, что «полицай» по-прежнему время от времени освещает себе путь фонариком.

Как и все большие шахты, взорванные во время отступления, шахта № 1-бис не работала. Но по приказу лейтенанта Швейде на шахте была создана администрация из чинов немецкого горнорудного батальона. И часть рабочих, из числа не успевших или не смогших эвакуироваться, каждое утро приходила на работу «по восстановлению»,— так называлась в официальных документах очистка захламленного двора: несколько десятков человек вяло слонялось по двору, перевозя с места на место в ручных деревянных тачках лом и мусор.

Теперь здесь было тихо и мрачно.

Олег наклеил листовку на каменной стене, огораживавшей двор шахты, потом на входной будке и на доске объявлений поверх всяких извещений и приказов. Ему нельзя было долго оставаться здесь — не потому, что его мог заметить сторож,— дед ночью крепко спал, — а потому, что патрульный на обратном пути мог пройти рядом с шахтой и осветить будку. Но шагов патрульного не было слышно и свет фонарика не вспыхивал вдали: патрульный мог задержаться у малых «шанхайчиков».

Олег перешел площадь и спустился к зданию клуба. Это самое вместительное и самое неуютное и холодное здание в городе было совсем непригодно под жилье и теперь пустовало. Оно выходило фасадом на улицу, по которой с самого раннего утра люди шли на базар из «Восьмидомиков», «Первомайки» и ближайших хуторов и по которой шло главное движение из города в сторону Ворошиловграда и в сторону Каменска.

Олег стал лепить листовки по фасаду и вдруг услышал шаги полицейского снизу, от балки. Олег обошел здание и спрятался с той стороны его. Шаги полицейского становились все слышнее. Но как только полицейский, идя вверх по улице,

поравнялся с зданием, шагов его не стало слышно. Олег застыл, ожидая, когда «полицай» минует клуб, стоял минуту, две, пять, но шагов все не было слышно.

А вдруг полицейский, проходя, осветил фасад клуба, заметил листовки и теперь остановился и читает? Конечно, он тут же начнет их соскабливать и обнаружит, что они только что наклеены. Тогда можно ожидать, что он обойдет со своим фонариком вокруг здания: ведь человеку, только что наклеившему листовки, некуда спрятаться, как только за этим зданием!..

Олег прислушивался, сдерживая дыхание, но слышал только толчки своего сердца. Его сильно подмывало отделиться от стены и бежать, но он понимал, что это может только повредить ему. Нет, единственный выход — проверить, куда же на самом деле девался полицейский!

Олег высунулся из-за угла,— никаких подозрительных звуков. Придерживаясь стены, высоко подымая ступни ног и осторожно опуская их на землю, Олег тихо продвигался к улице. Несколько раз он останавливался и прислушивался, но все было тихо вокруг. Так дошел он до следующего угла здания и, придерживаясь одной рукой стены, а другой взявшись за угол, выглянул. Под рукой его внезапно обломился кусок старой, источенной дождями штукатурки и упал на землю, как показалось Олегу, со страшным грохотом. В это же самое мгновение Олег увидел над нижними ступеньками подъезда огонек сигаретки и понял, что полицейский просто присел отдохнуть и покурить. Огонек сигаретки тут же взметнулся вверх, на ступеньках произошел некий шум, а Олег, с силой оттолкнувшись от угла, побежал вниз по улице, к балке. Раздался резкий свисток, и на какие-то доли секунды Олег попал в конус света, но тотчас же вырвался из него несколькими рывками.

Справедливость требует сказать, что с момента возникновения этой непосредственной опасности Олег не совершил уже ни одного опрометчивого поступка. Он мог бы в одну минуту запутать полицейского в «Восьмидомиках» и спрятаться у Любки или у Иванцовых, но Олег не имел права подводить их. Он мог бы сделать вид, что бежит к рынку, а на самом деле очутиться в «Шанхае», где бы его уже сам черт не достал. Но так можно было подвести Сережку и Валю. И Олег побежал к малым «шанхайчикам».

И вот теперь, когда обстоятельства заставили его все-таки свернуть в «Восьмидомики», он не стал углубляться в этот район, чтобы не подводить Степу Сафонова и Тосю. Он шел обратно в холмы, к перекрестку, где его мог перехватить постовой.

Его снедала тревога за друзей и за возможную неудачу всей операции. И все-таки чувство мальчишеского озорства вновь овладело им, когда он услышал неистовый собачий лай в малых «шанхайчиках». Он представил себе, как сошлись вместе преследовавший его патрульный и «полицаи» из жандармерии и как они обсуждают исчезновение неизвестного и обшаривают вокруг местность своими фонариками.

На рынке уже не свистели. С вершины холма, где снова очутился Олег, он видел по вспышкам фонарей, что полицейские, бежавшие ему наперерез, возвращаются обратно через пустырь в жандармерию, а патрульный, его преследователь, стоит в дальнем конце улицы и освещает какой-то дом.

Заметил ли «полицай» листовки, наклеенные на здании клуба?.. Нет, конечно не заметил! Иначе он не сидел и не курил бы так на ступеньке подъезда. Сейчас бы они перевернули все «Восьмидомики», ища его, Олега!

На душе у него стало легко.

Еще не светало, когда Олег тихо-тихо стукнул три раза в ставню, в окно Туркеничу, как было условлено. Туркенич чуть слышно приоткрыл входную дверь. Они на цыпочках прошли через кухню и горницу со спящими людьми в комнатку, где Ваня жил один. Коптилка стояла высоко на шкафчике. Видно было, что Ваня еще не ложился. Он не выразил никакой радости при виде Олега, лицо его было сурово и бледно.

— П-попался кто-нибудь? — сильно заикаясь и тоже бледнея, спросил Олег.

— Нет, теперь все целы,— сказал Туркенич, избегая встречаться с ним глазами. — Садись...— Он указал Олегу на табуретку, а сам сел на сбитую постель: как видно, он всю ночь то ходил по комнатке, то садился на эту постель.

— И как? Удачно? — спросил Олег.

— Удачно, — не глядя на него, говорил Туркенич.— Они у меня все здесь сошлись — и Сережа, и Валя, и Степа, и Тося... Ты, значит, один ходил? — Туркенич поднял на Олега глаза и опять опустил.

— К-как ты узнал? — спросил Олег с мальчишеским виноватым выражением.

— Беспокоились о тебе,— уклончиво сказал Ваня,— потом я уж не вытерпел, пошел к Николаю Николаевичу, смотрю — Марина дома... Все ребята хотели тебя здесь дожидаться, да я отговорил. Если, говорю, он попался, хуже будет, если и нас застукают здесь среди ночи всей компанией. А завтра сам знаешь, какой тяжелый день для ребят, — опять базар, биржа...

Олег с растущим в нем чувством вины, причину которой он не вполне сознавал, бегло рассказал, как он поторопился перейти от шахты к клубу и что произошло у клуба. Все-таки он оживился, вспоминая все обстоятельства дела.

— Ну, потом, когда уже все обошлось, я, извини, немножко созорничал, да на обратном пути еще две листовки пришлепал на школе имени Ворошилова...

Он глядел на Туркенича с широкой улыбкой.

Туркенич, молча слушавший его, встал, сунул руки в карманы и некоторое время сверху вниз смотрел на сидевшего на табуретке Олега.

— Вот что я скажу тебе, только ты не серчай... — сказал Туркенич своим тихим голосом. — Это в первый и в последний раз ты ходил на такое дело. Понятно?..

— Не п-понятно, — сказал Олег. — Дело удалось, а без шероховатостей дела не бывает. Это не п-прогулка, это борьба, где есть и п-противник!..

— Дело не в противнике, — сказал Туркенич,— а нельзя быть мальчишкой, ни тебе, ни мне нельзя. Да, да, я хоть постарше, а я и к себе это отношу. Я тебя уважаю, ты это знаешь, потому я с тобой так и говорю. Ты парень хороший, крепкий, и знаний у тебя, наверно, больше, чем у меня, а ты — мальчишка... Ведь я едва ребят уговорил, чтобы они не пошли на помощь к тебе. Уговаривал, а чуть сам не пошел,— сказал Туркенич с усмешкой.— Может быть, ты думаешь, это мы только из-за тебя все пятеро здесь переживали? Нет, мы за все дело переживали. Пора, брат, привыкнуть, что ты уже не ты, а я уже не я... Я себя всю ночь корил, что отпустил тебя. Разве мы можем теперь рисковать собой без нужды, по пустякам? Нет, брат, не имеем права! И ты уж меня извини, я это решением штаба проведу. То есть запрещение и тебе и мне участвовать в операциях без специального на то указания.

Олег с детским выражением молча, серьезно смотрел на него. Туркенич смягчился.

— Я, брат, не оговорился, что у тебя, может быть, знаний больше, чем у меня, — сказал он с некоторой виноватостью в голосе. — Это от воспитания зависит. Я свое детство все на улице пробегал босиком, как Сережка, и хоть учился, а настоящие знания стали приходить ко мне уже взрослому. У тебя, знаешь, все-таки мать учительница, и отчим у тебя человек был политически воспитанный, а мои старики, сам знаешь, — и Туркенич с добрым выражением указал лицом на дверь в горницу. — Вот эти твои знания самое время пришло в настоящее дело пустить, — понимаешь? А полицаев дразнить, это, брат, мелко плавать. Не этого от тебя и ре-

бята ждут. А уж если говорить всерьез...— Туркенич многозначительно указал большим пальцем куда-то высоко за спину, — так эти люди, знаешь, как на тебя надеются!..

— Ох, и х-хорош же ты парень, Ваня! — с удивлением сказал Олег, весело глядя на него. — И ты прав, ох, как ты п-прав! — сказал он и покрутил головой.— Что ж, проводи через штаб, коли так...

Они засмеялись.

— Все ж таки надо поздравить тебя с удачей, я и забыл... — Туркенич протянул ему руку.

Олег попал домой уже с рассветом. И как раз в это время Любка, собиравшаяся к нему в гости, выпроваживала своих немцев. Она не спала всю ночь и все-таки не могла не рассмеяться, глядя, как фургон, полный пьяных немцев и руководимый пьяным шофером, выделывал по улице замысловатые загогулины.

Мать все корила Любку на чем свет стоит, но дочь показала ей четыре большие банки спирта, которые она успела ночью стащить с машины. И мать, хоть и была простая женщина, поняла, что Любка поступила с каким-то своим расчетом.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Земляки! Краснодонцы! Шахтеры! Колхозники!

Все брешут немцы! Москва была, есть и будет наша! Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается. Красная Армия еще вернется в Донбасс.

Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов, мужей, сыновей, дочерей.

Не ездите в Германию, если хотите в скором времени на своей родной земле, у себя дома обнять мужа, сына, брата!

Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запугать нас, поставить на колени.

Бейте проклятых оккупантов! Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе!

Родина в опасности. Но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. «Молодая гвардия» будет рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы она горькой ни была для России. Правда победит!

Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок.

Смерть немецким захватчикам!

«Молодая гвардия».

Откуда возник он, этот маленький листок, вырванный из школьной тетради, на краю кишащей людьми базарной площади, на щите, где в былые времена вывешивалась с обеих сторон районная газета «Социалистическая родина», а теперь висят немецкие плакаты в две краски, желтую и черную?

Люди из сел и станиц еще с рассвета сходились на базар к воскресному дню — с кошелками, кулями; иная женщина принесла, может быть, только одного куренка, завернутого в тряпку, а у кого богато уродило овощей или осталась мука с прошлого урожая, тот привез свое добро на тачке. Волов уже не стало и в помине — всех забрал немец, а что уж говорить о лошадях!

А эти тачки, — памятны они будут народу на многие годы! Это тачки не того фасона, чтобы возить глину, на одном колесе, а тачки для разной клади, на двух высоких колесах, — их толкают перед собой, взявшись руками за поперечину. Тысячи, тысячи людей прошли с ними сквозь весь Донбасс, из конца в конец, и в зной и пыль, и в дождь и грязь, и в мороз и снег, да чаще чем с добром на базар — искать себе кров или могилу.

Еще с рассвета люди из ближних сел несли на базар овощи, хлеб, птицу, фрукты, мед. А городской люд вынес спозаранку — кто шапку, кто хустку, кто спидницу, кто чеботы, а не то гвозди или топор, или соль, или завалящего ситчику, а может быть, даже мадаполаму или старинного покроя платье с кружевами из бабушкиного заповедного сундука.

Редкостного смельчака или глупца, или просто подлого человека ведет в такое время на рынок нажива, — в такое время гонят человека на рынок беда да нужда. Немецкие марки ходят теперь по украинской земле, да кто их знает, настоящие ли они, и удержатся ли те марки, да и, откровенно сказать, кто же их имеет? Нет уж, лучше старинный дедовский способ, — сколько раз выручал он в лихую годину: я — тебе, а ты — мне... И с самого раннего утра кишат люди на базаре, тысячи раз оборачиваясь один вокруг другого.

И все люди видели: стоял себе щит на краю базара, стоял, как много лет подряд. И, как все последние недели, висели на нем немецкие плакаты. И вдруг на одном из них, как раз на том самом, где веером расположились фотографии, изображавшие парад немецких войск в Москве, немецких офицеров, купающихся в Неве — у Петропавловской крепости, немецких офицеров под руку с нашими дивчатами на набережной Сталинграда, — как раз на этом плакате возник белый листок, аккуратно исписанный чернилами, разведенными на химическом карандаше.

Полюбопытствовал сначала один человек, потом подошли еще двое, и еще, и еще, и вот уже кучка народу, больше женщин, стариков, подростков, собралась у щита, и все просовывают головы, чтобы прочесть листок. А кто же пройдет мимо кучки народа, устремившего взоры на исписанный листок белой бумаги, да еще на базаре!

Громадная толпа клубилась возле щита с листком. Передние стояли молча, но не отходили, неодолимая сила понуждала их снова и снова перечитывать этот листок. А задние, пытаясь протолкнуться к листку, шумели, сердились, спрашивали, что там написано. И хотя никто не отвечал и пробиться нельзя было, громадная и все растущая толпа уже знала, о чем говорит этот маленький листок, вырванный из школьной тетради: «Неправда, что немецкие войска идут парадом по Красной площади! Неправда, что немецкие офицеры купаются у Петропавловской крепости! Неправда, что они гуляют с нашими девушками по сталинградским улицам! Неправда, что нет больше на свете Красной Армии, а фронт держат монголы, нанятые англичанами!» Все это — неправда. Правда в том, что в городе остались свои люди, знающие правду, и они бесстрашно говорят эту единственную правду народу.

Человек с повязкой «полицая», неимоверно длинный, в клетчатых штанах, заправленных в яловичные сапоги, и в таком же клетчатом пиджаке, из-под которого свисала тяжелая кобура с желтым шнуром, вошел в толпу, возвышаясь над ней узкой головой в старомодном картузе. Люди, оглядываясь, узнавали Игната Фомина и расступались перед ним с мгновенным выражением испуга или заискивания.

Сережка Тюленин, насунув кепку на брови и прячась за людей, чтобы Фомин не узнал его, поискал глазами в толпе Васю Пирожка. Найдя его, он подмигнул в сторону Фомина. Но Пирожок хорошо знал, что от него требуется, — он уже проталкивался за Фоминым к щиту.

Несмотря на то, что Пирожка и Ковалева выгнали из полиции, у них сохранились добрые отношения со всеми полицейскими, вовсе не считавшими поступок Пирожка и Ковалева таким уж предосудительным. Фомин оглянулся, узнал Пирожка и ничего не сказал ему. Они вместе добрались к этому листку. Фомин попытался соскоблить его ногтем, но листок прочно прилип к немецкому плакату и не отставал. Фомин проковырял дырку в плакате и выдрал листок вместе с куском плаката и, скомкав, сунул в карман пиджака.

— Чего собрались? Чего не видели? Марш отсюда! — зашипел он, обернув на толпу желтое лицо скопца, и маленькие серенькие глазки его вылезли из окружавших их многочисленных складок кожи.

Пирожок, скользя и виясь вокруг Фомина, как черный змий, выкрикивал мальчишеским голосом:

— Слыхали?.. Расходись, господа, лучше будет!

Фомин, расставив длинные руки, навис над толпой. Пирожок на мгновение точно прилип к нему. Толпа раздалась и начала разбегаться. Пирожок выбежал вперед.

Фомин мрачно шел по базару в тяжелых яловичных сапогах. Народ, забросив свои торговые дела, глядел ему в спину с выражением — кто испуга, кто удивления, а кто злорадства: на спине Фомина к его клетчатому пиджаку был прикреплен листок, на котором большими печатными буквами было выведено:

«Ты продаешь наших людей немцам за кусок колбасы, за глоток водки и за пачку махорки. А заплатишь своей подлой жизнью. Берегись!»

Никто не остановил Фомина, и он с этим зловещим предупреждением на спине проследовал через весь базар в полицию.

Светлая курчавая голова Сережки и черная головка Пирожка то возникали, то исчезали в базарной толпе там, здесь, двигаясь среди вращающихся тел, как кометы по своим непонятным орбитам. Они не одни: вдруг вынырнет на каком-нибудь извороте русая головка Тоси Мащенко, тихой, скромно одетой девушки с умненькими глазками. А если здесь головка Тоси Мащенко, значит ищи поблизости ее спутника, белую голову Степы Сафонова. Светлые пронзительные глаза Сережки скрещиваются в толпе с темными бархатными глазами Витьки Лукьянченко,— скрестятся и разойдутся. И долго кружит вокруг ларьков и столиков Валя Борц со своими светло-русыми золотистыми косами; в руках у нее корзинка, прикрытая суровым рушником, а что она продает и что покупает, этого не видит никто.

И люди находят листовки у себя в кошелке, в пустом мешке, а то и прямо на прилавке под сахарным кочаном капусты или под арбузом, серо-желтым, темно-зеленым или словно расписанным иероглифами,— иногда это даже не листовка, а просто узкая полоска бумаги, на которой выведено печатными буквами что-нибудь такое:

«Долой гитлеровских двести грамм, да здравствует советский килограмм!»

И дрогнет сердце у человека.

Сережка в который уже раз обогнул ряды столиков и вынырнул на толкучке, где продавали с рук, и вдруг лицом к лицу столкнулся с врачом городской больницы Натальей Алексеевной. Она стояла, в запылившихся спортивных тапочках, в ряду других женщин, держа в пухлых детских руках

маленькие дамские туфли, изрядно поношенные. Она смутилась, узнав Сережку.

— Здравствуйте! — сказал он, тоже растерявшись, и стянул с головы кепку.

В глазах Натальи Алексеевны мгновенно появилось то самое, знакомое ему, прямое, беспощадное, практическое выражение, — она ловким движением своих пухлых ручек завернула туфли и сказала:

— Очень хорошо. Ты мне очень нужен.

Сережка и Валя должны были вместе перейти с базара в район биржи труда, откуда сегодня выступала на Верхнедуванную первая партия молодежи, угоняемой в Германию. И вдруг Валя увидела, как Сережка и какая-то кругленькая — издали казалось — девочка с женской прической вышли из базарной толпы к мазанкам Ли Фан-чи и скрылись за мазанками. Гордость не позволила Вале пойти следом. Полная верхняя губа ее чуть дрогнула, в глазах появилось холодное выражение. И Валя со своей корзинкой, где осталось еще под картофелем несколько листовок, необходимых на новом месте, горделивой походкой пошла к бирже труда.

Площадка на холме перед белым одноэтажным зданием биржи была оцеплена немецкими солдатами. Молодые люди, которые должны были сегодня покинуть родной город, матери, отцы, родственники с узлами и чемоданами и просто любопытные толпились перед оцеплением по склонам холма. Все последнее время стояли пасмурные, серые дни. Поднявшийся с утра ветер, со свирепым однообразием гнавший по небу темные тучи, не давал пролиться дождю. Ветер трепал разноцветные платья женщин и девушек на склонах холма и катил по дороге мимо зданий районного исполкома и «бешеного барина» тяжелые валы пыли.

Мрачное впечатление производила эта толпа женщин, девушек, подростков, неподвижная, молчаливая, окаменевшая в своем горе. Если и заговорят в каком-нибудь месте, то вполголоса или шепотом, даже плакать громко боятся: иная мать только смахнет слезы рукой, а дочка вдруг уткнет глаза в платочек.

Валя остановилась с края толпы, на склоне холма, откуда ей видны были район шахты № 1-бис и часть железнодорожной ветки.

Все новые люди подходили с разных концов города. Ребята, разбрасывавшие листовки по базару, тоже почти все перекочевали сюда. Вдруг Валя увидела Сережку — он шел по железнодорожной насыпи, нагнув голову, чтобы ветром не сдуло кепку. Некоторое время его не было видно, потом он возник из-за округлости холма,— он шел без дороги, оки-

дывая взглядом толпу, и еще издалека увидел Валю. Верхняя полная яркая губа ее самолюбиво дрогнула.

Валя не смотрела на него и ни о чем не спрашивала.

— Наталья Алексеевна...— тихо сказал он, поняв, что Валя сердится.

Он склонился к ее уху и прошептал:

— Целая группа ребят в поселке Краснодон... Просто сами собой... Скажи Олегу...

Валя была связной от штаба. Она кивнула головой. В это время они увидели идущую по дороге со стороны «Восьмидомиков» Ульяну Громову и с ней незнакомую девушку в берете и в пальто. Уля и эта девушка, преодолевая сопротивление ветра и отворачивая лица от пыли, несли вдвоем чемодан.

— Если придется туда пойти, ты согласна? — снова шепнул Сережка.

Валя кивнула головой.

Обер-лейтенант Шприк, директор биржи, понял наконец, что молодые люди так и будут стоять за оцеплением со своими родными, если их не поторопить. Он вышел на крыльцо, гладко выбритый и уже не в кожаных трусах, как он ходил в жаркие дни у себя на бирже и по улицам, а в полной форме, вышел в сопровождении писаря и крикнул, чтобы отъезжающие получали документы. Писарь повторил это по-украински.

Немецкие солдаты не пускали родных и провожающих за оцепление. Началось прощание. Матери и дочери, уже не сдерживая себя, заплакали в голос. Ребята крепились, но страшно было смотреть на их лица, когда матери, бабки, сестры бились у них на груди и престарелые отцы, десятки лет проведшие под землей и не раз видевшие смерть лицом к лицу, потупившись, смахивали слезы с усов.

— Пора́...— сурово сказал Сережка, стараясь не показать Вале своего волнения.

Она, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, не слыша его, машинально двинулась сквозь толпу к бирже. Так же машинально она доставала из-под картофеля сложенный вчетверо листок и совала его кому-нибудь в карман пальто или тужурки или просто под ручку чемодана или веревку корзинки.

У самого оцепления внезапный поток людей, в панике хлынувших от биржи, оттеснил Валю. Среди провожающих немало было подростков, девушек, молодых женщин, и кто-то из них, провожая сестру или брата, случайно попал за оцепление и уже не мог выйти оттуда. Это так развеселило немецких солдат, что они стали хватать за руки первых попав-

шихся ребят и девушек и втаскивать их за оцепление. Поднялись крики, мольбы, плач. Какая-то женщина забилась в истерике. Молодежь в ужасе хлынула от оцепления.

Сережка, вынырнувший неизвестно откуда, с выражением страдания и гнева на лице за руку вытащил Валю из толпы прямо на Нину Иванцову.

— Слава богу... А то эти ироды...— Нина схватила обоих за руки своими крупными женственными смуглыми руками.— Сегодня в пять у Кашука... Предупреди Земнухова и Стаховича,— шепнула она Вале.— Ульяну не видели? — И побежала разыскивать Улю: Нина, как и Валя, была связной от штаба.

А Валя и Сережка еще постояли некоторое время друг возле друга,— им очень не хотелось расставаться. У Сережки было такое лицо, точно он вот-вот скажет что-то очень важное, но он так ничего и не сказал.

— Я побегу,— мягко сказала Валя.

Все-таки она постояла еще некоторое время, потом улыбнулась Сережке, оглянулась, застыдилась и побежала с холма со своей корзинкой, мелькая крепкими загорелыми ногами.

Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова выйдет из здания биржи. Немецкий солдат, пропустивший Валю с чемоданом, схватил было и Улю за руку, но она спокойно и холодно взглянула на него. На мгновение глаза их встретились, и в глазах солдата мелькнуло подобие человеческого выражения. Он отпустил Улю, отвернулся и вдруг злобно закричал на белокурую молодую женщину с непокрытой головой, не отпускавшую от себя сына, подростка лет шестнадцати. Наконец женщина оторвалась от сына, и выяснилось, что угоняют не его, а ее: подросток, плача, как ребенок, смотрел, как она с узелком в руке вошла в здание биржи, в последний раз улыбнувшись сыну с порога.

Всю ночь Уля и Валя просидели, обнявшись, в маленькой, украшенной осенними цветами горенке на квартире Филатовых. Старенькая Валина мама то подходила и гладила по головке и целовала их обеих, то перебирала вещички в Валином чемодане, то тихо-тихо сидела в углу на креслице: с уходом Вали она оставалась совсем одна.

Валя, обессилевшая от слез и тоже притихшая, изредка чуть вздрагивала в объятиях Ули. А Уля с ужасным сознанием неизбежности того, что должно было произойти, размягченная и повзрослевшая, с чувством одновременно детским и материнским, молча все гладила и гладила русую Валину головку.

При свете коптилки в темной горенке только и видны были их лица и руки — двух девушек и старенькой матери.

Если бы никогда этого не видеть! Этого прощания Вали и ее мамы, этого бесконечного пути с чемоданом под свистящим ветром, этого последнего объятия перед цепью немецких солдат!

Но все это было, было... Все это еще длится... С лицом, полным мрачной силы, Уля стояла у самой цепи немецких солдат, не отводя глаз от двери биржи.

Юноши, девушки, молодые женщины, проходившие за оцепление, по приказу толстого ефрейтора оставляли на площадке возле стены свои узлы и чемоданы,— говорили, что вещи будут доставлены машиной,— и входили в помещение. Немчинова под наблюдением обер-лейтенанта выдавала им на руки карточку, единственный документ, который на всем пути следования удостоверял их личность для любого представителя немецкой власти. На карточке не было ни имени, ни фамилии ее владельца, а только номер и название города. С этой карточкой они выходили из помещения, и ефрейтор ставил их на свое место в шеренгах вдоль площади.

Вот вышла и Валя Филатова, поискала глазами подругу и сделала несколько шагов к ней, но ефрейтор на ходу перехватил ее рукой и подтолкнул к строящимся шеренгам. Валя попала в третью или четвертую шеренгу, в дальний конец, и подруги больше не могли видеть друг друга.

Горе этой немыслимой разлуки дало людям право на проявление любви. Женщины в толпе пытались прорваться сквозь кордон, выкрикивали последние слова прощания или совета детям. А молодые люди в шеренгах, в большинстве девушки, уже словно принадлежали к другому миру: они отвечали вполголоса или просто взмахом платочка, или молча, с бегущими по лицу слезами, смотрели и смотрели на дорогие лица.

Но вот обер-лейтенант Шприк вышел из помещения с большим желтым пакетом в руке. Толпа притихла. Все взоры обратились на него.

— Still gestanden! [1] — скомандовал обер-лейтенант.

— Still gestanden! — повторил толстый ефрейтор ужасным голосом.

В колонне все замерло. Обер-лейтенант Шприк шел перед первой шеренгой и, тыкая плотным пальцем в каждого переднего из стоящей друг другу в затылок четверки, пересчитал всех. В колонне было свыше двухсот человек.

Обер-лейтенант передал пакет толстому ефрейтору и махнул рукой. Группа солдат кинулась расчищать дорогу, запруженную толпой. Колонна по команде ефрейтора повернулась,

---

[1] Смирно!

заколыхалась и медленно, словно нехотя, тронулась по дороге в сопровождении конвойных, с толстым ефрейтором впереди.

Толпа, оттесняемая солдатами, хлынула по обеим сторонам колонны, и вслед за нею плач, вопли и крики слились в один протяжный стон, разносимый ветром.

Уля, на ходу приподымаясь на цыпочках, все пыталась разыскать Валю в колонне и наконец увидела ее.

Валя, с широко открытыми глазами, озиралась по сторонам колонны, ища подругу, и в глазах Вали было выражение муки оттого, что в последнюю минуту она не могла увидеть Улю.

— Я здесь, Валечка, я здесь, я с тобой!.. — кричала Уля, оттесняемая толпой.

Но Валя не видела и не слышала ее и все оглядывалась с этим мучительным выражением.

Уля, все более оттесняемая от колонны, несколько раз еще увидела Валино лицо, потом колонна за зданием «бешеного барина» спустилась ко второму переезду, и Вали не стало видно.

— Ульяна! — сказала Нина Иванцова, внезапно возникшая перед Улей. — Я тебя ищу. Сегодня в пять у Кашука... Любка приехала...

Уля, не слыша, молча смотрела на Нину черными страшными глазами.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Олег, чуть побледнев, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и, сосредоточенно листая ее, присел к столу, на котором стояли бутылка с водкой, кружки и тарелки без всякой закуски, и все, смолкнув, с серьезными лицами тоже присели: кто к столу, кто на диван. Все молча смотрели на Олега.

Еще вчера они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные, и вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно разорвали прежнюю безответственную дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь — дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы на крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли.

Большая комната в квартире Кошевых, такая же, как во всех стандартных домах, с некрашеными подоконниками, обложенными дозревающими помидорами, с ореховым диваном,

на котором стелили Олегу, с кроватью Елены Николаевны со множеством взбитых подушек, покрытых кружевной накидкой, — эта комната еще напоминала им беспечную жизнь под родительским кровом и в то же время была уже конспиративной квартирой.

И Олег был уже не Олег, а Кашук: эта была фамилия отчима, в молодости довольно известного на Украине партизана, а в последний год перед смертью — заведующего земельным отделом в Каневе. Олег взял себе как кличку его фамилию; с ней у него связаны были первые героические представления о партизанской борьбе и все то мужественное воспитание — с работой на поле, охотой, лошадьми, челнами на Днепре,— которое дал ему отчим.

Он открыл страничку, где условными обозначениями было у него все записано, и предоставил слово Любе Шевцовой.

Любка поднялась с дивана и прищурилась. Ей представился весь ее путь, полный таких невероятных трудностей, опасностей, встреч, приключений,— их нельзя было бы пересказать и за две ночи.

Еще вчера днем она стояла на перекрестке дорог с этим чемоданом, который стал тяжел для ее руки, а теперь она снова была среди своих друзей.

Как она заранее договорилась с Олегом, Любка прежде всего передала членам штаба все, что Иван Федорович рассказал ей о Стаховиче. Разумеется, она не назвала имени Ивана Федоровича, хотя она сразу узнала его,— она сказала, что встретила случайно человека, бывшего со Стаховичем в отряде.

Любка была девушка прямая и бесстрашная и даже по-своему жестокая в тех случаях, если она кого-нибудь не любила. И она не скрыла предположения этого человека, что Стахович мог побывать в руках у немцев.

Пока она рассказывала все это, члены штаба боялись даже взглянуть на Стаховича. А он сидел, внешне спокойный, выложив на стол худые руки, и прямо глядел перед собой,— в лице у него было выражение силы. Но при последних словах Любки он сразу изменился.

Напряжение, в котором он держал себя, спало, губы и руки его разжались, и он вдруг обиженно и удивленно и в то же время открыто обвел всех глазами и сразу стал похож на мальчика.

— Он... он так сказал?.. Он мог так подумать? — несколько раз повторял он, глядя Любке в глаза с этим обиженным детским выражением.

Все молчали, и он опустил лицо в ладони и посидел так некоторое время. Потом он отнял от лица руки и тихо сказал:

— На меня упало такое подозрение, что я... Почему же он тебе не сказал, что нас уже неделю гоняли и нам говорили, что надо расходиться по группам? — сказал он, вскинув глаза на Любку, и снова открыто оглядел всех.— Я, когда лежал в кустах, я подумал: они идут на прорыв, чтобы спастись, и бо́льшая часть, если не все, погибнет, и я, может, погибну вместе с ними, а я могу спастись и быть еще полезен. Это я тогда так подумал... Я теперь, конечно, понимаю, что это была лазейка. Огонь был такой... очень страшно было,— наивно сказал Стахович.— Но все-таки я не считаю. что совершил такое уж большое преступление... Ведь они тоже спасали себя... Уже стемнело, я и подумал: плаваю я хорошо, одного меня немцы могут и не заметить. Когда все убежали, я еще полежал немного, огонь здесь прекратился, потом начался в другом месте, очень сильный. Я подумал: пора,— и поплыл на спине, один нос наружу,— плаваю я хорошо,— сначала до середины, а потом по течению. Вот как я спасся!.. А такое подозрение... Разве это можно? Ведь сам-то этот человек в конце концов тоже спасся?.. Я подумал: раз я плаваю хорошо, я это использую. И поплыл себе на спине. Вот как я спасся!..

Стахович сидел растрепанный и походил на мальчика.

— Положим, так,— ну, ты спасся,— сказал Ваня Земнухов,— а почему ты нам сказал, что ты послан от штаба отряда?

— Потому, что меня правда хотели послать... Я подумал: раз я остался жив, ничто же не отменяется!.. В конце концов я же не просто шкуру спасал, я же хотел и хочу бороться с захватчиками. У меня есть опыт, я же участвовал в организации отряда и был в боях — вот почему я так сказал!

У всех было так тяжело на душе, что после объяснений Стаховича все испытали некоторое облегчение. И все-таки это была очень неприятная история. И нужно же было ей случиться!

Всем было ясно, что Стахович говорит правду. Но все чувствовали, что он поступил дурно и дурно рассказывает о своем поступке, и было обидно и непонятно это и неизвестно, как поступить с ним.

Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он не был и карьеристом или человеком, ищущим личной выгоды. А он был из породы молодых людей, с детских лет приближенных к большим людям и испорченных постоянным заимствованием некоторых внешних проявлений их власти в такое время его жизни, когда он еще не мог понимать истинного содержания и назначения народной власти и того, что пра-

во на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера.

Способный мальчик, которому все давалось легко, он был еще на школьной скамье замечен большими людьми в городе, замечен потому, что его братья, коммунисты, тоже были большие люди. С детства вращаясь среди этих людей, привыкнув в среде своих сверстников говорить об этих людях, как о равных себе, поверхностно начитанный, умеющий легко выражать устно и письменно не свои мысли, которых он еще не сумел выработать, а чужие, которые он часто слышал, он, еще ничего не сделав в жизни, считался среди работников районного комитета комсомола активистом. А рядовые комсомольцы, лично не знавшие его, но видевшие его на всех собраниях только в президиуме или на ораторской трибуне, привыкли считать его не то районным, не то областным работником. Не понимая истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался, он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и создал себе ложное представление об искусстве власти, будто оно состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей.

Он перенимал у этих людей их манеру насмешливо-покровительственного обращения друг с другом, их грубоватую прямоту и независимость суждений, не понимая, какая большая и трудная жизнь стоит за этой манерой. И вместо живого, непосредственного выражения чувств, так свойственного юности, он сам был всегда нарочито сдержан, говорил искусственным тихим голосом, особенно если приходилось говорить по телефону с незнакомым человеком, и вообще умел в отношениях с товарищами подчеркнуть свое превосходство.

Так с детских лет он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития.

Почему, в самом деле, он должен был погибнуть, а не спастись, как другие, как этот партизан, которого встретила Любка? И какое право имел этот человек возвести на него такое подозрение, когда не он, Стахович, а другие, более ответственные люди, виноваты в том, что отряд попал в такое положение?

Пока ребята в нерешительности молчали, Стахович даже несколько подбодрился такими рассуждениями. Но вдруг Сережка резко сказал:

— Начался огонь в другом месте, а он лег себе на спинку и поплыл! А огонь начался оттого, что отряд на прорыв по-

шел, где каждый человек на счету. Выходит, все пошли, чтобы его спасти?

Ваня Туркенич, командир, сидел, ни на кого не глядя, со своей военной выправкой, с лицом необыкновенной чистоты и мужественности. И он сказал:

— Солдат должен выполнять приказ. А ты сбежал во время боя. Короче говоря — дезертировал в бою. У нас на фронте за это расстреливали или сдавали в штрафной батальон. Люди кровью искупали свою вину...

— Я крови не боюсь...— сказал Стахович и побледнел.

— Ты просто зазнайка, вот и все! — сказала Любка.

Все посмотрели на Олега: что же он об этом думает? И Олег сказал очень спокойно:

— Ваня Туркенич уже все сказал, лучше не скажешь. А по тому, как Стахович держится, он, видно, вовсе не признает дисциплины... Может ли такой человек быть в штабе нашего отряда?

И когда Олег так сказал, прорвалось то, что было у всех на душе. Ребята со страстью обрушились на Стаховича. Ведь они вместе давали клятву,— как же мог Стахович давать ее, когда на совести его был такой поступок, как же он мог не сознаться в нем? Хорош товарищ, который способен был осквернить такой святой день! Конечно, нельзя ни минуты держать такого товарища в штабе. А девушки, Люба и Уля, даже ничего не говорили, настолько они презирали Стаховича, и это было ему всего обидней.

Он совсем растерялся и смотрел униженно, стараясь всем заглянуть в глаза, и все повторял:

— Неужели вы мне не верите? Дайте мне любое испытание...

И тут Олег действительно показал, что он уже не Олег, а Кашук.

— Но ты понимаешь сам, что тебя нельзя оставить в штабе? — спросил он.

И Стахович вынужден был признать, что, конечно, его нельзя оставить в штабе.

— Важно, чтобы ты сам понимал это,— сказал Олег.— А задание мы тебе дадим, и не одно. Мы тебя проверим. За тобой останется твоя пятерка, и у тебя будет немало возможностей восстановить свое доброе имя.

А Любка сказала:

— У него семья такая хорошая,— даже обидно!

Они проголосовали за вывод Евгения Стаховича из штаба «Молодой гвардии». Он сидел, опустив голову, потом встал и, превозмогая себя, сказал:

— Мне это очень тяжело, вы сами понимаете. Но я знаю—

вы не могли поступить иначе. И я не обижаюсь на вас. Я клянусь...— У него задрожали губы, и он выбежал из комнаты.

Некоторое время все тяжело молчали. Трудно давалось им это первое серьезное разочарование в товарище. И очень трудно было резать по живому.

Но Олег широко улыбнулся и сказал, чуть заикаясь:

— Д-да, он еще п-поправится, ребята, ей-богу!

И Ваня Туркенич поддержал его своим тихим голосом:

— А вы думаете, на фронте таких случаев не бывает? Молодой боец поначалу струсит, а потом такой еще из него солдат, любо-дорого!

Любка поняла, что пришло время подробно рассказать о встрече с Иваном Федоровичем. Она умолчала, правда, о том, как она попала к нему,—вообще она не имела права рассказывать о той, другой стороне ее деятельности,— но она даже показала, пройдясь по комнате, как он принял ее и что говорил. И все оживились, когда Любка сказала, что представитель партизанского штаба одобрил их и похвалил Олега и на прощание поцеловал Любку. Должно быть, он на самом деле был доволен ими.

Взволнованные, счастливые, с некоторым даже удивлением, настолько по-новому они видели себя, они стали пожимать руки и поздравлять друг друга.

— Нет, Ваня, подумай только, только подумай! — с наивным и счастливым выражением говорил Олег Земнухову.— Молодая гвардия существует, она признана даже областным руководством!

А Любка обняла Улю, с которой она подружилась с того совещания у Туркенича, но с которой еще не успела поздороваться, и поцеловала ее, как сестру.

Потом Олег снова заглянул в свою книжку, и Ваня Земнухов, который на прошлом заседании был выделен организатором пятерок, предложил наметить еще руководителей пятерок, — ведь организация будет расти.

— Может быть, начнем с Первомайки? — сказал он, весело взглянув на Улю сквозь профессорские очки.

Уля встала с опущенными вдоль тела руками, и вдруг на всех лицах неосознаваемо отразилось то прекрасное, счастливое, бескорыстное чувство, какое в чистых душах не может не вызывать девичья красота. Но Уля не замечала этого любования ею.

— Мы, то есть Толя Попов и я, предлагаем Витю Петрова и Майю Пегливанову, — сказала она. Вдруг она увидела, что Любка с волнением смотрит на нее. — А на Восьмидомиках пусть Люба подберет: будем соседями,— сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом.

— Ну, что ты, право! — Любка покраснела и замахала своими беленькими ручками: какой же она, в самом деле, организатор!

Но все поддержали Улю, и Любка сразу присмирела: в одно мгновение она представила себя организатором на «Восьмидомиках», и ей это очень понравилось.

Ваня Туркенич нашел, что пришло время внести предложение, о котором они условились ночью с Олегом. Он рассказал все, что случилось с Олегом и чем это могло угрожать не только ему, а всей организации, и предложил вынести решение, которое навсегда запрещало бы Олегу участвовать в операциях без разрешения штаба.

— Я думаю, этого даже объяснять не надо,— сказал он.— Конечно, это решение должно распространяться и на меня.

— Он п-прав, — сказал Олег.

И они единодушно приняли это решение. Потом встал Сережка и очень смутился.

— У меня даже два сообщения, — хмуро сказал он, выпятив подпухшие губы.

Всем вдруг стало так смешно, что некоторое время ему даже не давали говорить.

— Нет, я хочу сначала сказать об этом Игнате Фомине. Неужто ж мы будем терпеть эту сволочь? — вдруг сказал Сережка, багровея от гнева. — Этот Иуда выдал Остапчука, Валько, и мы еще не знаем, сколько наших шахтеров лежит на его черной совести!.. Я что предлагаю?.. Я предлагаю его убить, — сказал Сережка. — Поручите это мне, потому что я его все равно убью,— сказал он, и всем вдруг стало ясно, что Сережка действительно убьет Игната Фомина.

Лицо Олега стало очень серьезным, крупные продольные складки легли на его лбу. Все члены штаба смолкли.

— А что? Он правильно говорит, — спокойным, тихим голосом сказал Ваня Туркенич. — Игнат Фомин — злостный предатель наших людей. И его надо повесить. Повесить в таком месте, где бы его могли видеть наши люди. И оставить на груди плакат, за что повешен. Чтобы другим неповадно было. А что, в самом деле? — сказал он с неожиданной для него жестокостью в голосе. — Они, небось, нас не помилуют!.. Поручите это мне и Тюленину...

После того как Туркенич поддержал Тюленина, у всех на душе словно отпустило. Как ни велика была в их сердцах ненависть к предателям, в первый момент им было трудно переступить через *это.* Но Туркенич сказал свое веское слово, это был их старший товарищ, командир Красной Армии,— значит, так и должно быть.

— Конечно, мы должны получить разрешение на это от старших товарищей, — сказал Олег, — но для этого надо иметь наше общее мнение... Я поставлю сначала на голосование предложение Тюленина о Фомине, а потом — кому поручить,— пояснил он.

— Вопрос довольно ясен, — сказал Ваня Земнухов.

— Да, вопрос ясен, а все-таки я поставлю отдельно вопрос о Фомине, — сказал Олег с какой-то мрачной настойчивостью.

И все поняли, почему Олег так настаивает на этом. Они дали клятву. Каждый должен был снова решить это в своей душе. В суровом молчании они проголосовали за казнь Фомина и поручили казнить его Туркеничу и Тюленину.

— Правильно решили! Так с ними и надо, со сволочами!— со страстным блеском в глазах говорил Сережка.—Перехожу ко второму сообщению...

Врач больницы, Наталья Алексеевна, та самая женщина с маленькими пухлыми ручками и глазами беспощадного, практического выражения, рассказала Сережке, что в поселке, в восемнадцати километрах от города, носящем также название Краснодон, организовалась группа молодежи для борьбы с немецкими оккупантами. Сама Наталья Алексеевна не состояла в этой группе, а узнала о ее существовании от своей сожительницы по квартире в поселке, где постоянно жила мать Натальи Алексеевны, — от учительницы Антонины Елисеенко, и обещала ей помочь установить связь с городом.

По предложению Сережки штаб поручил связаться с этой группой Вале Борц, поручил заочно, потому что связные, Нина и Оля Иванцовы и Валя, не присутствовали на заседании штаба, а вместе с Мариной сидели в сарае на дворе и охраняли штаб.

Штаб «Молодой гвардии» воспользовался тем, что Елена Николаевна и дядя Коля уехали на несколько дней в район, где жила родня Марины, — обменять кое-какие вещи на хлеб. Бабушка Вера Васильевна, притворившись, будто она верит, что ребята собрались на вечеринку, увела тетю Марину с маленьким сыном в сарай.

Пока они заседали, уже стемнело, и бабушка Вера неожиданно вошла в комнату. Поверх очков, у которых одна из держалок, заправленная за ухо, была отломана и прикручена черной ниткой, бабушка Вера взглянула на стол и увидела, что бутылка с водкой не тронута и кружки пустые.

— Вы бы хоч чай пили, я вам як раз подогрела! — сказала она к великому смущению подпольщиков. — А Марину я уговорила лечь спать с сыном в сарае, бо там воздух чище.

Бабушка привела Валю, Нину и Олю и принесла чайник и с какого-то дальнего донышка дальнего ящика — даже не буфета, а комода, — достала несколько конфет, потом закрыла ставни, зажгла коптилку и ушла.

Теперь, когда молодые люди остались одни при этой чадящей коптилке, маленькое колеблющееся пламя которой выделяло из полумрака только случайные детали лиц, одежды, предметов, они действительно стали походить на заговорщиков. Голоса их звучали глуше, таинственней.

— Хотите послушать Москву? — тихо спросил Олег.

Все поняли это как шутку. Только Любка вздрогнула слегка и спросила:

— Как Москву?

— Только одно условие: ни о чем не спрашивать.

Олег вышел во двор и почти тотчас же вернулся.

— Потерпите немножечко, — сказал он.

Он скрылся в темной комнате дяди Коли.

Ребята сидели молча, не зная, верить ли этому. Но разве можно было шутить этим здесь, в такое время!

— Ниночка, помоги мне, — позвал Олег.

Нина Иванцова пошла к нему.

И вдруг из комнаты дяди Коли донеслось негромкое, такое знакомое, но всеми уже почти забытое шипение, легкий треск, звуки музыки: где-то танцевали. Все время врывались немецкие марши. Спокойный голос пожилого человека по-английски перечислял цифры убитых на земном шаре, и кто-то все говорил и говорил по-немецки, быстро, исступленно, будто боялся, что ему не дадут договорить.

И вдруг сквозь легкое потрескивание в воздухе, который словно входил в комнату волнами из большого-большого пространства, очень ясно, на бархатных, едва весомых низах, торжественно, обыденно, свободно заговорил знакомый голос диктора Левитана:

«...От Советского Информбюро... Оперативная сводка за седьмое сентября... вечернее сообщение...»

— Записывайте, записывайте! — вдруг зашипел Ваня Земнухов и сам схватился за карандаш. — Мы завтра же выпустим ее!

А этот свободный голос с свободной земли говорил через тысячеверстное пространство:

«...В течение седьмого сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок... На других фронтах существенных изменений не произошло...»

Отзвуки великого боя точно вошли в комнату.

Юноши и девушки, подавшись вперед, с телами, вытянутыми, как струны, с иконописными лицами и глазами, темными и большими при свете коптилки, безмолвные, слушали этот голос свободной земли.

У порога, прислонившись к двери, не замечаемая никем, стояла бабушка Вера с худым, иссеченным морщинами бронзовым лицом Данте Алигьери.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Электрический свет подавался только в немецкие учреждения. Дядя Коля воспользовался тем, что линия к дирекциону и комендатуре проходила не улицей, а по границе с соседним двором, — один из столбов стоял у самого дома Коростылевых. Радиоприемник хранился в его комнате, под половицами, под комодом, а провод во время пользования приемником выводился в форточку и сцеплялся с проводом, обвивавшим длинный шест с крюком, а шест подвешивался на главный провод, возле столба.

Сводка Информбюро... Во что бы то ни стало им нужна была типография!

Володя Осьмухин, Жора Арутюнянц и Толя «Гром гремит» выкопали в парке только остатки шрифта. Возможно, люди, закапывавшие его, не имели тары под рукой, в спешке высыпали шрифт в яму и прикрыли землей. А немецкие солдаты, рывшие ложементы для машин и зенитных установок, вначале не разобрались в том, что это такое. Они разбросали часть шрифта вместе с землей, а потом, спохватившись, доложили по начальству. Наверно, шрифт куда-нибудь был сдан, но какая-то мелочь еще осталась на дне ямы. В течение нескольких дней, терпеливо копаясь в земле, ребята находили остатки шрифта по радиусу в несколько метров от места, где он был обозначен по плану, и выбрали все, что там было. Для надобностей Лютикова этот шрифт был непригоден. И Филипп Петрович разрешил Володе использовать шрифт для «Молодой гвардии».

Старший брат Земнухова, Александр, находившийся теперь в армии, был по профессии типографский рабочий. Он работал долгое время в местной типографии газеты «Социалистическая родина», куда Ваня частенько заходил за ним. И вот под наблюдением Вани Володя сконструировал маленький печатный станок. Металлические части Володя украдкой выточил в механическом цехе, а Жора взялся сделать деревянный ящик, в котором все это должно было быть собрано, и кассы для набора.

Отец Жоры был столяр. Правда, вопреки ожиданиям Жоры, ни отец его, ни даже мать, с ее характером, после прихода немцев не взялись за оружие. Но все же Жора не сомневался, что постепенно он приучит их к своим занятиям. После зрелого обдумывания он нашел, что мать его слишком уж энергичная женщина и ее надо приучать в последнюю очередь, а надо начать с отца. И отец Жоры, человек пожилой, тихий, ростом под подбородок сыну, — сын целиком удался в мать, с ее характером, с ее ростом и цветом волос, как вороново крыло,— отец Жоры, сильно недовольный тем, что подпольщики передали такой щепетильный заказ через несовершеннолетнего сына, тайно от жены сделал и ящик и кассы. Конечно, он не мог знать того, что Жора и Володя были теперь сами крупными людьми — руководителями пятерок.

Дружба ребят перешла уже в такие отношения, когда они и дня не могли прожить, не видя друг друга. Только с Люсей Осьмухиной у Жоры по-прежнему сохранялись напряженно-официальные отношения.

Несомненно, это был тот случай, когда люди не могут сойтись характерами. Они оба были очень начитанные, но Жора любил книги научно-политического содержания, а Люсю волновали в книгах главным образом страсти, — надо сказать, она была старше его годами. Правда, когда Жора пытался проникнуть взором в туманное будущее, ему льстило, что Люся будет вполне свободно владеть тремя иностранными языками, но все же он считал такое образование недостаточно основательным и был, может быть, не так уж тактичен, пытаясь сделать из Люси инженера-строителя.

В общем с первой же секунды, как они встречались, светлый вспыхивающий взор Люси и черный решительный взор Жоры скрещивались, как стальные клинки. И на всем протяжении, пока они были вместе, большей частью не одни, они атаковали друг друга короткими репликами, надменными и язвительными у Люси и подчеркнуто сдержанными и дидактическими у Жоры.

Наконец наступил день, когда ребята, вчетвером, собрались в комнате у Жоры — он сам, Володя Осьмухин, Толя «Гром гремит» и Ваня Земнухов, их старший товарищ и руководитель, который не столько как поэт, сколько как автор большинства листовок и лозунгов «Молодой гвардии», был, конечно, больше всех заинтересован в типографии. И вот станок был собран. И Толя Орлов несколько раз, сопя и кашляя, как в бочку, прошелся с ним по комнате, чтобы показать, что станок в крайнем случае может быть перенесен одним человеком.

У них уже были и плоская кисточка и валик для прокатки. А вместо типографской краски отец Жоры, который за всю свою жизнь имел дело только с окраской и лакировкой дерева, приготовил, как он сказал, «оригинальную смесь». Они тут же стали сортировать буквы по кассам. А близорукий Ваня Земнухов, которому все буквы казались одной буквой «о», сидел на Жориной кровати и говорил, что он не понимает, как из одной этой буквы можно сделать все буквы русского алфавита.

Как раз в это время кто-то постучал в занавешенное окно, но они не растерялись: немцы и «полицаи» еще ни разу не заходили в этот дальний конец выселков. И действительно, это пришли Олег и Туркенич. Они никак не могли усидеть дома, им тоже хотелось поскорей оттиснуть что-нибудь в своей типографии.

Но потом оказалось, что они вовсе не такие уж простаки! Туркенич потихоньку отозвал Жору, и они вместе вышли в огород, а Олег как ни в чем не бывало остался помогать Володе и Толе.

Туркенич и Жора прилегли возле межи под солнышком, часто закрывавшимся тучами и гревшим уже по-осеннему, — земля и трава были еще влажные после дождя. Туркенич склонился к Жоре и зашептал ему на ухо. Как он и ожидал, Жора сразу ответил ему со всей решительностью:

— Правильно! Это и справедливо и поучительно для других подлецов!.. Конечно, я согласен.

После того как Олег и Ваня Туркенич получили разрешение от подпольного райкома, предстояло самое тонкое дело — найти среди ребят таких, кто не только пойдет на это из чувства справедливости и чувства дисциплины, а у кого высокое моральное чувство долга настолько претворилось в волю, что рука его не дрогнет.

Туркенич и Сережа Тюленин наметили первым Сергея Левашова: это был цельный парень и сам уже многое испытал. Потом они остановились на Ковалеве: он был смел, добр и физически очень силен, — такой человек им был нужен. Сережка предложил было и Пирожка, но Туркенич отвел его за то, что Пирожок слишком был склонен к авантюрам. Лучшего друга своего, Витьку Лукьянченко, Сережка мысленно сам отвел из жалости к нему. Наконец они остановились на Жоре. И они не ошиблись.

— А вы не утвердили состав трибунала? — спросил Жора. — Не нужно, чтобы он занимался долгим разбирательством, важно, чтобы обвиняемый сам видел, что его казнят по суду.

— Мы сами утвердим трибунал, — сказал Туркенич.

— Мы будем его судить от имени народа. Здесь сейчас мы законные представители народа. — И черные мужественные глаза Жоры сверкнули.

«Ах, орел парень!» — подумал Туркенич.

— Нужен бы и еще кто-нибудь, — сказал он.

Жора задумался. Володя пришел ему на ум, но Володя был слишком тонкой душевной организации для такого дела.

— У меня в пятерке есть Радик Юркин. Знаешь? Из нашей школы. Думаю, он подойдет.

— Он же мальчишка. Еще переживать будет.

— Что ты! Мальчишки ни черта не переживают. Это мы, взрослые люди, всегда что-нибудь переживаем, — сказал Жора, — а мальчишки, знаешь, ни черта не переживают. Он такой спокойный, такой отчаянный!

В то время когда отец Жоры столярничал у себя под навесом, мать была захвачена Жорой у замочной скважины, и он вынужден был сказать ей, что он человек вполне самостоятельный и товарищи его взрослые люди: пусть она не удивляется, если все они завтра женятся.

Жора и Ваня Туркенич вернулись как раз вовремя: шрифт был разобран, и Володя уже набрал несколько строк в столбик. Жора мгновенно обмакнул кисть в «оригинальную смесь», а Володя пришлепнул листы и прокатал валиком. Печатный текст оказался в траурной рамке от металлических пластинок, которые Володя по неопытности недостаточно сточил у себя в механическом цехе. Кроме того, буквы оказались разного размера, но с этим уже приходилось мириться. Но самое важное было то, что они имели перед собой настоящий печатный текст и все смогли прочесть то, что набрал Володя Осьмухин:

«Не уединяйся с Ваней не нервируй все равно мы знаем тайну твоего сердца Айяяй».

Володя пояснил, что эти строчки он посвящает Жоре Арутюнянцу и что он старался подбирать слова с буквой «й», и даже «Айяяй» набрал ради нее, потому что буквы «й» в их типографии оказалось больше всего. Знаки препинания он не набрал только потому, что забыл, что их нужно набирать, как буквы.

Олег весь так и загорелся.

— А вы знаете, что на Первомайке две девушки просят принять их в комсомол? — спросил он, глядя на всех большими глазами.

— У меня в пятерке тоже есть парень, который хочет вступить в комсомол, — сказал Жора. Этот парень был все тот же Радик Юркин, потому что пятерка Жоры Арутюнянца пока что состояла из одного Радика Юркина.

— Мы сможем в типографии Молодой гвардии печатать временные комсомольские билеты! — воскликнул Олег. — Ведь мы имеем право принимать в комсомол: наша организация утверждена официально!

Куда бы ни передвигалось, какое бы движение руками или ногами ни совершало длинное тело человека с узкой головой, в старомодном картузе, с глазами, как у питона, запрятанными среди многочисленных складок кожи, человек этот уже был мертв.

Месть шла за ним по пятам, днем и ночью, по дежурствам и облавам, она наблюдала за ним через окно, когда он рассматривал с женой вещи и тряпки, отобранные в семье у только что убитого человека; месть знала каждое его преступление и вела им счет. Месть преследовала его в образе юноши, почти мальчика, быстрого, как кошка, с глазами, которые видели даже во тьме. Но если бы Фомин знал, как она беспощадна, эта месть с босыми ногами, он уже сейчас прекратил бы всякие движения, создающие видимость жизни.

Фомин был мертв потому, что во всех его деяниях и поступках им руководили теперь даже не жажда наживы, не чувство мести, а скрытое под маской чинности и благообразия чувство беспредельной и всеобъемлющей злобы на свою жизнь, на всех людей, даже на немцев.

Эта злоба исподволь опустошала душу Фомина, но никогда она не была столь страшной и безнадежной, как теперь, потому что рухнула последняя, хотя и подлая, но все же духовная опора его существования. Как ни велики были преступления, какие он совершил, он надеялся на то, что придет к положению власти, когда все люди будут его бояться, а из боязни будут уважать его и преклоняться перед ним. И окруженный уважением людей, как это бывало в старину в жизни людей богатых, он придет к пристанищу довольства и самостоятельности.

А оказалось, что он не только не обрел, но и не имел никакой надежды обрести признанную имущественную опору в жизни. Он крал вещи людей, которых арестовывал и убивал, и немцы, смотревшие на это сквозь пальцы, презирали его как наемного, зависимого, темного негодяя и вора. Он знал, что нужен немцам только до тех пор, пока он будет делать это для них, для утверждения их господства, когда это господство будет утверждено, придет законный порядок — Ordnung, они прогонят или попросту уничтожат его.

Многие люди, правда, боялись его, но и эти люди и все другие презирали и сторонились его. А без утверждения себя в жизни, без уважения людей даже вещи и тряпки, которые

доставались жене, не приносили ему никакого удовлетворения. Они жили с женой хуже зверей: звери все же имеют свои радости от солнца и пищи и продолжают в жизни самих себя.

Кроме арестов и облав, в которых он участвовал, Игнат Фомин, как и все полицейские, нес караульную службу — дозорным по улицам или на посту при учреждениях.

В эту ночь он был дежурным при дирекционе, занимавшем помещение школы имени Горького в парке.

Ветер порывами шумел листвою и постанывал в тонких стволах деревьев и мел влажный лист по аллеям. Шел дождь, — не дождь, какая-то мелкая морось, — небо нависло темное, мутное, и все-таки чудились за этой мутью не то месяц, не то звезды, купы деревьев проступали темными и тоже мутными пятнами, влажные края которых сливались с небом, точно растворялись в нем.

Кирпичное здание школы и высокое глухое деревянное здание летнего театра, как темные глыбы, громоздились друг против друга, через аллею.

Фомин в длинном, черном, застегнутом наглухо осеннем пальто с поднятым воротником ходил взад-вперед по аллее между зданиями, не углубляясь в парк, точно он был на цепи. Иногда он останавливался под деревянной аркой ворот, прислонившись к одному из столбов. Так он стоял и смотрел в темноту вдоль по Садовой, где жили люди, когда рука, со страшной силой обнявшая его сзади под подбородок, сдавила ему горло — он не смог даже захрипеть — и согнула его назад через спину так, что в позвоночнике его что-то хрустнуло, и он упал на землю. В то же мгновение он почувствовал несколько пар рук на своем теле. Одна рука по-прежнему держала его за горло, а другая железными тисками сдавила нос, и кто-то загнал кляп в судорожно раскрывшийся рот и туго захлестнул всю нижнюю часть лица чем-то вроде сурового полотенца.

Когда он очнулся, он лежал со связанными руками и ногами на спине под деревянной аркой ворот, и над ним, точно разрезанное темной дугой, свисало мутное небо с этим рассеянным, растворившимся не светом, а туманом.

Несколько темных фигур людей, лиц которых он не мог видеть, неподвижно стояли по обе стороны от него.

Один из людей, стройный силуэт которого вырисовывался в ночи, взглянул на арку ворот и тихо сказал:

— Здесь будет в самый раз.

Маленький худенький мальчик, ловко снуя острыми локтями и коленками, взобрался на арку, некоторое время повозился на самой ее середине, и вдруг Фомин увидел высоко над собой толстую веревочную петлю, раскачивавшуюся в рассеянном мутном свете неба.

— Закрепи двойным морским,—сурово сказал снизу мальчик постарше, с торчащим в небо черным козырьком кепки.

Фомин услышал его голос и вдруг представил свою горницу на «Шанхае», обставленную кадками с фикусами, и плотную фигуру сидящего за столом человека с крапинами на лице, и этого мальчика. И Игнат Фомин стал страшно извиваться на мокрой холодной земле длинным, как у червя, телом. Извиваясь, он сполз с места, на которое его положили, но человек в большой куртке, похожей на матросский бушлат, приземистый, с могучими руками и неимоверно широкими плечами, ногой пододвинул Фомина на прежнее место.

В этом человеке Фомин признал Ковалева, вместе с ним служившего в полиции и выгнанного. Кроме Ковалева, Фомин узнал еще одного из шоферов дирекциона, тоже сильного, широкоплечего парня, которого он еще сегодня видел в гараже, куда забегал мимоходом, перед дежурством, прикурить. Как ни странно это было в его положении, но Фомин мгновенно подумал о том, что, должно быть, этот шофер является главным виновником непонятных и многочисленных аварий машин дирекциона, на что жаловалась немецкая администрация, и что об этом следует донести. Но в это мгновение он услышал над собой голос, который тихо и торжественно заговорил с легким армянским акцентом:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Фомин мгновенно притих и поднял глаза к небу и снова увидел над собой толстую веревочную петлю в рассеянном свете неба и худенького мальчика, который тихо сидел на арке ворот, обняв ее ногами, и смотрел вниз. Но вот голос с армянским акцентом перестал звучать. Фоминым овладел такой ужас, что он снова начал дико извиваться на земле. Несколько человек схватили его сильными руками и подняли в стоячем положении, а худенький мальчик на перекладине сорвал полотенце, стягивавшее ему челюсти, и надел ему на шею петлю.

Фомин попытался вытолкнуть кляп изо рта, сделал в воздухе несколько судорожных движений и повис, едва не доставая ногами земли, в черном длинном пальто, застегнутом на все пуговицы. Ваня Туркенич повернул его лицом к Садовой улице и английской булавкой прикрепил на груди бумажку, объяснявшую, за какое преступление казнен Игнат Фомин.

Потом они разошлись, каждый своим путем, только маленький Радик Юркин отправился ночевать к Жоре на выселки.

— Как ты себя чувствуешь? — блестя во тьме черными глазами, страшным шепотом спрашивал Жора Радика, которого била дрожь.

— Спать охота, просто спасу нет... Ведь я привык очень рано ложиться, — сказал Радик и посмотрел на Жору тихими, кроткими глазами.

Сережка Тюленин в раздумье стоял под деревьями парка. Вот наконец свершилось то, в чем он поклялся себе еще в тот день, когда узнал, что большой и добрый человек, которого он видел у Фомина, выдан своим хозяином немецким властям. Сережка не только настоял на свершении приговора, он отдал этому все свои физические и душевные силы, и вот это свершилось. В душе его менялись чувство удовлетворения, и азарт удачи, и последние запоздалые вспышки мести, и страшная усталость, и желание начисто вымыться горячей водой, и необыкновенная жажда чудесного дружеского разговора о чем-то совсем-совсем далеком, очень наивном, светлом, как шепот листвы, журчание ручья или свет солнца на закрытых утомленных веках...

Самое счастливое было бы сейчас очутиться вместе с Валей. Но он никогда бы не решился зайти к ней ночью да еще в присутствии матери и маленькой сестренки. Да Вали и не было в городе: она ушла в поселок Краснодон.

Вот как получилось, что этой необыкновенной, мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось, Сережка Тюленин, продрогший, в одной насквозь влажной рубашке, с залубеневшими от грязи и стужи босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову.

С опущенным на окно затемнением, при свете коптилки, они сидели вдвоем на кухне. Огонек потрескивал, на плите грелся большой семейный чайник, — Ваня решил-таки вымыть друга горячей водой,— и Сережка, поджав босые ноги, жался к плите. Ветер порывами ударял в окно и осыпал окно мириадами росинок, и их множественный шелест и напор ветра, даже здесь, на кухне, чуть колебавший пламя коптилки, говорили друзьям, как плохо сейчас одинокому путнику в степи и как хорошо вдвоем в теплой кухоньке.

Ваня, в очках, босой, говорил своим глуховатым баском:

— Я так вот и вижу его в этой маленькой избушке, кругом воет метель, а с ним только няня Арина Родионовна... Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь. Я его очень чувствую, я сам из деревни, и мама моя, ты знаешь, тоже совсем неграмотная женщина, из деревни, как и твоя... Я, как сейчас, помню нашу избушку; я лежу на печке, лет шести, а брат Саша пришел из школы, стихи учит... А то, помню, гонят овец из стада, а я барашка оседлал и давай его лаптями понукать, а он меня сбросил,

Ваня вдруг засмущался, помолчал, потом заговорил снова:

— Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей... Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал... Он услышал колокольчик. «Что, думает, такое? Уж не жандармы ли за ним?» А это Пущин, его друг... А то сидят они себе с няней; где-то далеко заметенная снегом деревня, без огней, ведь тогда лучину жгли... Помнишь «Буря мглою небо кроет...»? Ты, наверно, помнишь. Меня всегда волнует это место...

И Ваня, почему-то встав перед Сережкой, глуховато прочел:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

Сережка тихо сидел, прижимаясь к плите, выпятив свои подпухшие губы; в глазах его, обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение. На чайнике на плите запрыгала крышка, и вода весело забулькала, зашипела.

— Довольно стихов! — Ваня точно очнулся. — Раздягайся! Я, брат, тебя вымою по первому разряду,— весело сказал он. — Нет, брат, совсем, совсем, чего стесняться! Я и мочалку припас.

Пока Сережка раздевался, Ваня снял чайник, достал таз из-под русской печи, поставил его на табуретку и положил на угол обмыленный кусок простого, что употребляют для стирки, дурно пахнущего мыла.

— У нас на селе в Тамбовской области был один старик. Он, понимаешь, служил всю жизнь банщиком в Москве, у купца Сандунова,— говорил Ваня, сидя верхом на табурете, расставив длинные босые ступни. — Ты знаешь, что это значит — банщиком? Вот, скажем, пришел ты в баню. Скажем, ты барин или просто ленишься мыться, нанимаешь банщика, он тебя и трет, этакий усатый черт, — понимаешь? Он, этот старик, говорил, что вымыл за свою жизнь не менее полутора миллиона человек. А что ты думаешь? Он этим гордился,— столько людей сделать чистыми! Да ведь, знаешь, человеческая натура, — через неделю снова грязный!

Сережка, усмехаясь, скинул последнюю одежду, развел в тазу воду погорячей и с наслаждением сунул в таз жесткую курчавую голову.

— Гардероб у тебя на зависть,— сказал Ваня, развешивая его влажную одежду над плитой,—похлеще еще, чем у меня... А ты, я вижу, порядок понимаешь. Вот слей сюда в поганое ведро, и еще разок, да не бойся брызгать, подотру.

Вдруг в лице его появилась грубоватая и в то же время покорная усмешка; он еще больше ссутулился и странно свесил узкие кисти рук так, что они вдруг стали казаться тяжелыми, набрякшими, и сказал, еще больше сгустив свой басок:

— Повернитесь, ваше степенство, по спинке пройдусь...

Сережка молча намылил мочалку, искоса взглянул на приятеля и фыркнул. Он подал мочалку Ване и уперся руками в табуретку, подставив Ване сильно загорелую, худенькую и все же мускулистую спину с выступающими позвонками.

Ваня, плохо видя, неумело стал тереть ему спину, а Сережка сказал ворчливо, с неожиданными барскими интонациями:

— Ты что ж это, братец ты мой? Ослаб? Или ленишься? Я недоволен тобой, братец ты мой...

— А харч каков? Сами посудите, ваше степенство! — очень серьезно, виновато и басисто отозвался Ваня.

В это время дверь на кухню отворилась, и Ваня, в роговых очках и с засученными рукавами, и Сережка, голый, с намыленной спиной, обернувшись, увидели стоящего в дверях отца Вани в нижней рубашке и в сподниках. Он стоял, высокий, худой, опустив тяжелые руки, такие самые, какие Ваня только что пытался придать себе, и смотрел на ребят сильно белесыми, до мучительности, глазами. Так он постоял некоторое время, ничего не сказал, повернулся и вышел, притворив за собой дверь. Слышно было, как он прошаркал ступнями по передней в горницу.

— Гроза миновала, — спокойно сказал Ваня. Однако он тер спину Сережке уже без прежнего энтузиазма.— На чаишко бы с вас, ваше степенство!

— Бог подаст, — ответил Сережка, не вполне уверенный, говорят ли это банщикам, и вздохнул.

— Да... Не знаю, как у тебя, а будут у нас трудности с нашими батьками да матерями,— серьезно сказал Ваня, когда Сережка, чистенький, порозовевший, причесанный, снова сидел за столиком у плиты.

Но Сережка не боялся трудностей с родителями... Он рассеянно взглянул на Ваню.

— Не можешь дать мне клочок бумажки и карандаш? Я сейчас уйду. Мне надо кое-что записать, — сказал он.

И вот что он написал, пока близорукий Ваня делал вид, будто ему что-то еще нужно прибрать на кухне:

«Валя, я никогда не думал, что буду так переживать, что ты ушла одна. Думаю все время: что, что с тобой? Давай не

разлучаться никогда, все делать вместе. Валя, если я погибну, прошу об одном: приди на мою могилу и помяни меня незлым, тихим словом».

Своими босыми ногами он снова проделает весь окружный путь «шанхайчиками», по балкам и выбоинам, под этими стонущими порывами ветра и леденящей моросью—снова в парк, на Деревянную улицу, чтобы успеть на самом рассвете вручить эту записку Валиной сестренке Люсе.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Мысль о том: «А как же мама?» — отравляла Вале всю прелесть похода в то раннее пасмурное утро, когда она шла по степи вместе с Натальей Алексеевной, прытко и деловито перебиравшей своими пухленькими ножками в спортивных тапочках по влажной глянцевитой дороге.

Первое самостоятельное задание, сопряженное с личной опасностью, но — мама, мама!.. Как она посмотрела на дочь, когда Валя с независимым выражением сказала, что простонапросто она уходит на несколько дней в гости к Наталье Алексеевне! Каким, должно быть, жестоким холодом отозвался в сердце матери этот эгоизм дочери — теперь, когда нет отца, когда мать так одинока!.. А если мама уже что-нибудь подозревает?..

— Тося Елисеенко, с которой я вас сведу, учительница, она соседка моей матери, точнее — Тося и ее мама живут вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Она — девушка характера независимого и сильного и много старше вас, и, я откровенно скажу, она будет смущена тем, что я приведу к ней вместо бородатого подпольщика хорошенькую девочку, — говорила Наталья Алексеевна, как всегда, заботясь о точном смысле своих слов и совершенно не заботясь о том, какое впечатление они производят на собеседника.—Я хорошо знаю Сережу, как вполне серьезного мальчика, я верю ему в известном смысле больше, чем себе. Если Сережа мне сказал, что вы от районной организации, это так и есть. И я хочу вам помочь. Если Тося будет с вами недостаточно откровенна, вы обратитесь к Коле Сумскому,— я лично убеждена, что он у них самый главный, по тому, как Тося относится к нему. Они, правда, дают понять Тосиной и моей маме, будто у них отношения любовные, но я, хотя и не сумела еще сама, из-за перегруженности, организовать свою личную жизнь, я прекрасно разбираюсь в делах молодежи. И я знаю, что Коля Сумской влюблен в Лиду Андросову, очень кокетливую девушку, — неодобрительно

сказала Наталья Алексеевна,—но тоже несомненного члена их организации,— добавила она уже из чистого чувства справедливости.—Если вам потребуется, чтобы Коля Сумской лично связался с районной организацией, я воспользуюсь своим правом врача районной биржи, дам ему двухдневный невыход на работу по болезни, он работает на какой-то там шахтенке, — говоря точно, крутит вороток...

— И немцы верят вашим бумажкам? — спросила Валя.

— Немцы! — воскликнула Наталья Алексеевна.— Они не только верят, они подчиняются любой бумажке, если она исходит от официального лица... Администрация на этой шахтенке своя, русская. Правда, при директоре, как и везде, есть один сержант из технической команды, какой-то ефрейтор, барбос барбосом... Мы, русские, для них настолько на одно лицо, что они никогда не знают, кто вышел на работу, а кто нет.

И все случилось так, как предсказала Наталья Алексеевна. Вале суждено было провести в этом поселке, таком разбросанном, бесприютном с его казарменного типа большими зданиями, огромными черными терриконами и застывшими копрами, совершенно лишенном зелени,—провести в нем двое суток среди людей, которым трудно было внушить, что за длинными темными ресницами и золотистыми косами стоит могучий авторитет «Молодой гвардии».

Мама Натальи Алексеевны жила в старинной, более обжитой части поселка, образовавшейся из слившихся вместе хуторов. Там были даже садочки при домиках. Но кусты в садочках уже пожухли. От прошедших дождей образовалась сметанообразная, по пояс, грязь на улицах, которой уж, видно, суждено было покоиться до самой зимы.

В течение этих дней через поселок беспрерывно шла какая-то румынская часть направлением на Сталинград. Ее пушки и фуры с бьющимися в постромках худыми конями стояли часами в этой грязи, и ездовые с голосами степных волынок по-русски ругались на весь поселок.

Тося Елисеенко, девушка лет двадцати трех, тяжелой украинской стати, полная, красивая, с черными глазами, страстными до непримиримости, сказала Вале напрямик, что она обвиняет районный подпольный центр в недооценке такого шахтерского поселка, как поселок Краснодон. Почему до сих пор ни один из руководителей не посетил поселка Краснодон? Почему на их просьбу не прислали ответственного человека, который научил бы их работать?

Валя сочла себя вправе сказать, что она представляет только молодежную организацию «Молодая гвардия», работающую под руководством подпольного райкома партии.

— А почему не пришел кто-нибудь из членов штаба Молодой гвардии? — говорила Тося, сверкая своими недобрыми глазами.—У нас тоже молодежная организация,—самолюбиво добавила она.

— Я доверенное лицо от штаба, — самолюбиво, приподымая верхнюю яркую губу, говорила Валя,— а посылать члена штаба в организацию, которая еще ничем не проявила себя в своей деятельности, было бы опрометчиво и неконспиративно... если вы хоть что-нибудь в этом понимаете, — добавила Валя.

— Ничем не проявили своей деятельности?! — гневно воскликнула Тося. — Хорош штаб, который не знает деятельности своих организаций! А я не дура рассказывать о нашей деятельности человеку, которого мы не знаем.

Возможно, они так бы и не договорились, эти миловидные самолюбивые девушки, если бы Коля Сумской не пришел на помощь.

Правда, когда Валя упомянула его фамилию, Тося прикинулась, что и не знает такого. Но тут Валя прямо и холодно сказала, что «Молодая гвардия» знает руководящее положение Сумского в организации и, если Тося не сведет ее с ним, Валя разыщет его сама.

— Интересно мне, как вы его разыщете,—с некоторой тревогой сказала Тося.

— Хотя бы через Лиду Андросову.

— У Лиды Андросовой нет никаких оснований отнестись к вам иначе, чем я.

— Тем хуже... Я буду искать его сама и по незнанию адреса могу его случайно провалить.

И Тося Елисеенко сдалась.

Все повернулось иначе, когда они очутились у Коли Сумского. Он жил на самом краю поселка в просторном деревенском доме, — за домом шла уже степь. Отец его раньше был возчиком на шахте, весь быт их был наполовину деревенский.

Носатый, смуглый, с умным лицом, полным старинной, дедовской запорожской отваги и хитрости и одновременно прямоты, что и составляло его обаяние, Сумской, прищурившись, выслушал надменные пояснения Вали и страстные Тоси и молча пригласил девушек из хаты. Приставной лесенкой они вслед за ним влезли на чердак. Оттуда с шумом взвились в небо голуби, а иные обсели плечи и голову Сумского и норовили сесть на руки, и он наконец подставил руку точно вырезанному по лекалу турману, такому ослепительному, уж подлинно чистому, как голубь.

Сидевший на чердаке юноша, сложением истый геркулес, ужасно смутился, увидев чужую девушку, и быстро прикрыл что-то возле себя сеном, но Сумской дал ему знак: все в

порядке. Геркулес, улыбнувшись, откинул сено, и Валя увидела радиоприемник.

— Володя Жданов... Валя Неизвестная, что ли,—без улыбки сказал Сумской.—Вот мы трое — Тося, Володя и аз, грешник у пекли, — мы и есть руководящая тройка нашей организации,—говорил он, обсаженный воркующими, ласкающимися к нему и вдруг точно вспыхивающими крыльями голубями.

Пока они договаривались, сможет ли Сумской пойти с Валей в город, Валя чувствовала на себе взгляд геркулеса, и взгляд этот смущал ее. Валя знала среди «молодогвардейцев» такого богатыря, как Ковалев, которого за силу его и доброту звали на окраине «царьком». Но этот был необычайно благородных пропорций и в лице и во всем теле, шея у него была, как изваянная из бронзы, от него исходило ощущение силы, спокойной и красивой. И, неизвестно почему, Валя вспомнила вдруг Сережку, худенького, босого, и такая счастливая нежная боль пронзила ей сердце, что она замолчала.

Они все четверо подошли к краю чердака, и вдруг Коля Сумской схватил турмана, сидевшего у него на руке, и, свободно размахнувшись им снизу, изо всех сил запустил его в пасмурное моросящее небо. Голуби снялись с его плеч. Все следили в косое отверстие окна в крыше за турманом. А он, завившись столбом, исчез в небе, как божий дух.

Тося Елисеенко, всплеснув руками, присела и завизжала. Она завизжала с таким выражением счастья, что все оглянулись на нее и засмеялись. Это выражение счастья и в голосе ее и в глазах как бы говорило всем: «Вы думаете, что я не добрая, а вы лучше глядите, яка я гарна дивчина!»

Утро застало Валю и Колю Сумского в степи по дороге к городу. Всю хмарь точно смыло за ночь, солнце так припалило с рассветом, что кругом уже было сухо. Степь раскинулась вокруг в одних увядших былинках и все же прекрасная в свете ранней осени, свете расплавленной меди. Тонкие длинные паутинки все тянулись, тянулись в воздухе. Немецкие транспортные самолеты наполняли степь своим рокотом — они летели все в том же направлении, на Сталинград, — и снова становилось тихо.

Пройдя с полпути, Валя и Сумской прилегли отдохнуть на солнышке на склоне холма. Сумской закурил.

И вдруг до слуха их донеслась песня, свободно разносившаяся по степи, песня, такая знакомая, что мотив ее сразу зазвучал в душе у Вали и Сумского. «Спят курганы темные...» Для них, жителей донецкой степи, это была родная песня, но как же очутилась она, родимая, здесь в это утро?.. Валя и Коля, приподнявшись на локте, мысленно повторяли слова песни, которая все приближалась к ним. Пели ее два голоса; муж-

ской и женский, очень юные, пели до отчаянности громко, с вызовом всему миру:

Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
И туманы белые
Ходят чередой...
Через рощи шумные
И поля зеленые
Вышел в степь донецкую
Парень молодой...

Валя быстро скользнула на вершину холма, глянула украдкой, потом высунулась до пояса и засмеялась.

По дороге, по направлению к ним, шли, взявшись за руки, Володя Осьмухин и его сестра Людмила и пели эту песню, — они просто орали.

Валя сорвалась с холма и во всю прыть, как в детстве, помчалась им навстречу. Сумской, не очень удивившись, медленно пошел вслед.

— Вы куда?

— На деревню к дедушке, хлебца разживиться. Кто это кульгает за тобой?

— Это свой парень, Коля Сумской с поселка.

— Могу рекомендовать тебе еще одну сочувствующую, мою родную сестру Людмилу, — сейчас в степи произошло объяснение, — сказал Володя.

— Валя, судите сами: разве это не свинство? Ведь все же меня знают, а родной брат все от меня скрывает. А ведь я все вижу! Вплоть до того, что наткнулась у него на шрифт из типографии и какой-то вонючий раствор, которым он его промывал, и часть уже промыл, а часть еще нет, когда вдруг сегодня... Валя! Знаете ли вы, что случилось сегодня? — вдруг воскликнула Люся, быстро взглянув на подошедшего Сумского.

— Обожди, — серьезно сказал Володя, — наши мехцеховские лично видели, они же мне все и рассказали... В общем, они идут мимо парка, смотрят: в воротах кто-то висит в черном пальто, и записка на груди. Сначала они думали: немцы кого-нибудь из наших повесили. Подходят, смотрят — Фомин. Ну, знаешь, эта сволочь, полицай? А на записке: «Так будем поступать со всеми предателями наших людей». И все... Понимаешь? — снизив голос до шепота, сказал Володя.—Вот это работка! — воскликнул он. — Два часа при дневном свете висел! Ведь это был его пост, никого поблизости из полицаев не было. Масса народу видела, сегодня в городе только об этом и говорят.

Ни Володя, ни Валя не только не знали о решении штаба казнить Фомина, но не могли даже предполагать о возможно-

сти такого решения. Володя был уверен, что это сделала подпольная большевистская организация. Но Валя вдруг так побледнела, что бледность выступила даже сквозь ее золотистый загар: она знала одного человека, способного на это.

— А не знаешь, с нашей стороны все прошло благополучно, жертв не было? — спрашивала она, едва владея своими губами.

— Блестяще! — воскликнул Володя. — Никто ни черта не знает, и все в порядке. Но у меня дома компот... Мама убеждена, что это я повесил этого сукиного сына, и стала предсказывать, что меня тоже повесят. Я уже стал подталкивать Люську, говорю: «Ты видишь, мама глуховата и у нее температура, и вообще пора к дедушке!»

— Коля, пойдемте, — вдруг сказала Валя Сумскому.

Весь остальной путь до города Валя едва не загнала своего спутника, и он ничем не мог объяснить происшедшей в ней перемены. Вот каблуки ее застучали по родному крыльцу. Сумской вслед за нею, смущенный, вошел в столовую.

В столовой молча и напряженно, как на именинах, сидели друг против друга Мария Андреевна в темном платье, плотно облегавшем ее полное тело, и маленькая бледная Люся с светлыми золотистыми волосами до плеч.

Мария Андреевна, увидев старшую дочь, быстро встала, хотела что-то сказать и задохнулась, бросилась к дочери, одно мгновение подозрительно глядела то на нее, то на Сумского и, не выдержав, стала исступленно целовать дочь. И только теперь Валя поняла, что ее мать переживала то же самое, что и мать Володи: она подозревала, что ее родная дочь, Валя Борц, принимала участие в казни Фомина и именно поэтому отсутствовала эти дни.

Забыв о Сумском, который смущенно стоял у дверей, Валя смотрела на мать с выражением: «Что я могу сказать тебе, мама, ну, что?»

В это время маленькая Люся молча подошла к Вале и протянула записку. Валя машинально развернула записку, даже не успела прочесть, а узнала только почерк. Детская счастливая улыбка осветила ее загорелое, запылившееся с дороги лицо. Она быстро оглянулась на Сумского, и краска залила ей даже шею и уши. Валя схватила мать за руку и потащила за собой в другую комнату.

— Мама! — сказала она. — Мама! То, что ты думаешь, — это все глупости. Но неужели ты не видишь, не понимаешь, чем мы, я, все мои товарищи живем? Неужели ты не понимаешь, что мы не можем жить иначе? Мама! — счастливая, красная, говорила Валя, прямо глядя в лицо матери.

Пышущее здоровьем лицо Марии Андреевны покрылось бледностью, оно стало даже вдохновенным.

— Дочь моя! Да благословит тебя бог! — сказала Мария Андреевна, всю жизнь, и в школе и вне школы, занимавшаяся антирелигиозным просвещением. — Да благословит тебя бог! — сказала она и заплакала.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Тяжело родителям, которые, не зная душевного мира детей своих, видят, что дети вовлечены в скрытую, таинственную и опасную деятельность, а родители не в силах проникнуть в мир их деятельности и не в силах запретить ее.

Уже за утренним чаем по угрюмому лицу отца, не смотревшего на сына, Ваня почувствовал приближение грозы. И гроза разразилась, когда сестра Нина, сходив по воду к колодцу, принесла слух о казни Фомина и то, что говорят об этом.

Отец изменился в лице, и на худых щеках его надулись желваки.

— Мы, наверно, у себя дома лучше можем узнать, — сказал он ядовито, не глядя на сына,— информацию...— Он любил иногда вставить эдакое слово. — Чего молчишь? Рассказывай. Ты же там, как сказать, поближе, — тихо говорил отец.

— К кому поближе? К полиции, что ли? — побледнев, сказал Ваня.

— Чего Тюленин вчера приходил? В запрещенное время?

— Кто его соблюдает, время-то! Будто Нинка в это время на свидание не ходит! Приходил поболтать, не в первый раз.

— Не врать! — взвизгнул отец и ударил ребром ладони по столу. — За это — тюрьма! Если ему своей головы не жалко, мы, твои родители, за что будем в ответе?

— Не о том ты, батя, говоришь, — тихо сказал Ваня и встал, не обращая внимания на то, что отец бил ладонью по столу и кричал: «Нет, о том!» — Ты хочешь знать, состою ли я в подпольной организации? Вот что ты хочешь знать. Нет, не состою. И о Фомине я тоже услыхал только что от Нины. А скажу только: так ему и надо, подлецу! Как видишь с ее слов, и люди так говорят. И ты тоже так думаешь. Но я не скрою: я оказываю посильную помощь нашим людям. Все мы должны помогать им, а я — комсомолец. А не говорил об этом тебе и маме, чтоб зря не беспокоить.

— Слыхала, Настасья Ивановна? — И отец почти безумно посмотрел на жену своими белесыми глазами. — Вот он,

печальник о нас! . Стыда в тебе нет! Я всю жизнь работал на вас... Забыл, как жили в семейном доме двенадцать семейств, на полу валялись, одних детей двадцать восемь штук? Ради вас, детей, мы с вашей матерью убили все свои силы. Посмотри на нее. Александра учили — недоучили, Нинку недоучили, положили все на тебя, а ты сам суешь свою голову в петлю. На мать посмотри! Она все глаза по тебе проплакала, только ты ничего не видишь.

— А что, по-твоему, я должен делать?

— Иди работать! Нинка работает, иди и ты. Она, счетовод, работает чернорабочим, а ты что?

— На кого работать? На немца? Чтобы он наших больше убивал? Вот когда придут наши, я первый пойду работать... Твой сын, мой брат, в Красной Армии, а ты велишь мне идти немцам помогать, чтобы его скорей убили! — гневно говорил Ваня.

Они уже стояли друг против друга.

— А жрать что? — кричал отец. — А лучше будет, когда первый из тех, за кого ты радеешь, продаст твою голову? Немцам продаст! Ты знаешь хоть бы людей на нашей улице? Кто чем дышит? А я знаю! У них своя забота, своя корысть. Только ты один радетель за всех!

— Неправда!.. Была у тебя корысть, когда ты отправлял государственное имущество в тыл?

— Обо мне речи нет.

— Нет, о тебе речь! Почему ты думаешь, что ты лучше других людей? — говорил Ваня, опершись пальцами одной руки о стол и упрямо склонив голову в роговых очках. — Корысть! Каждый за себя!.. А я тебя спрашиваю: какая была в тебе корысть в те дни, когда ты уже выходное получил, знал, что остаешься здесь, что это дело может повредить тебе, больной грузил не свое имущество, не спал ночей? Неужто ты один такой на земле? Даже по науке это не выходит!

Сестра Нина, из-за воскресного дня бывшая в этот час дома, сидела на своей кровати, насупившись, не глядя на спорящих, и, как всегда, нельзя было понять, что она думает. А мать, рано и сильно постаревшая, добрая, слабосильная женщина, весь круг жизни которой ограничивался работой на поле да возней у печки, больше всего боялась, чтобы Александр Федорович в сердцах не выгнал и не проклял Ванюшу. И когда говорил отец, она заискивающе кивала ему, чтобы умилостивить его, а когда говорил сын, она опять-таки смотрела на мужа с фальшивой улыбкой, мигая, словно предлагая ему все-таки прислушаться к сыну и извинить его, хотя оба они, старики, понимают, насколько неразумно он говорит.

Отец, в длинном пиджаке поверх застиранной косоворотки, стоял посреди комнаты, в туфлях на полусогнутых по-стариковски ногах, в оттопырившихся и залатанных на коленях, вытертых штанах и, то судорожно прижимая к груди кулаки, то беспомощно опуская руки, кричал:

— Я не по науке доказую, а по жизни!

— А наука не из жизни?.. Не один ты, а и другие люди ищут справедливости! — говорил Ваня с неожиданной в нем запальчивостью. — А ты стыдишься в себе признать хорошее!

— Мне стыдиться нечего!

— Тогда докажи, что я не прав! Криком меня убедить нельзя. Могу смириться, замолчать — это так. А поступать все равно буду по совести.

Отец вдруг сразу сломался, и белесые глаза его потускнели.

— Вот, Настасья Ивановна, — визгливо сказал он, — выучили сынка... Выучили — и больше не нужны. Адью!.. — Он развел руками, повернулся и вышел.

Анастасия Ивановна, мелко перебирая ногами, вышла за ним. Нина, не подымая головы, сидела на кровати и молчала.

Ваня бесцельно потыкался из угла в угол и сел, не утишив угрызений совести. Попробовал даже, как в былые дни, излить душу в стихотворном послании к брату:

Мой преданный и славный друг,
Мой брат прекрасный Саша...

Нет:

Мой лучший друг, мой брат родной...

Нет, стихотворное послание не ладилось. Да и нельзя было послать его брату.

И тогда Ваня понял, что нужно ему сделать: нужно пойти к Клаве в Нижне-Александровский.

Елена Николаевна Кошевая страдала вдвойне оттого, что она сама не могла решить, должна ли она воспрепятствовать деятельности сына, или помочь ему. Ее, как и всех матерей, неустанно, изо дня в день, лишая способности деятельности, сна, изнуряя душевно и физически, отлагая на лице морщины, мучила тоска — боязнь за сына. Иногда боязнь эта принимала просто животный характер: ей хотелось ворваться, накричать, силой оттащить сына от страшной судьбы, которую он готовил себе.

Но в ней самой были черты ее мужа, отчима Олега, единственной глубокой и страстной любви ее жизни, — в ней самой

клокотало такое пламя битвы, что она не могла не сочувствовать сыну.

Часто она испытывала обиду на него: как может он скрытничать перед ней, перед его мамой, ведь он был всегда так откровенен, любовно-вежлив, послушен! Особенно обижало то, что ее мать, бабушка Вера, была, по-видимому, вовлечена в заговор внука и тоже таилась от дочери; брат Коля, судя по всему, был тоже участником заговора. И даже совсем посторонняя женщина, Полина Георгиевна Соколова, или тетя Поля, как звали ее в семье Кошевых, стала теперь, казалось, ближе Олегу, чем родная мать. Как, когда, с чего это началось?

В былые времена Елена Николаевна и тетя Поля были так неразлучны, что люди, заговаривая об одной, не могли не вспомнить о другой. Они дружили, как могут дружить связанные общей работой и общими мыслями зрелые, уже немало испытавшие женщины. А с началом войны тетя Поля вдруг замкнулась в себе и перестала заходить к Кошевым, и если Елена Николаевна по старой памяти навещала ее, тетя Поля точно смущалась и своей коровы, и того, что торгует молоком, и того, что Елена Николаевна может осудить ее за уход в свое, личное, от деятельности на благо родины. И Елена Николаевна даже не находила в душе своей возможности заговорить с Полей об этом. Так их дружба распалась сама собой.

А появилась вновь Полина Георгиевна в доме Кошевых, когда в городе уже хозяйничали немцы. Она пришла с сердцем открытым и кровоточащим, и Елена Николаевна узнала ее прежней. Они теперь часто встречались, чтобы отвести душу, но, как всегда, говорила больше Елена Николаевна, а тихая и скромная тетя Поля смотрела на нее своими умными усталыми глазами. И все же, какая бы она ни была тихая, тетя Поля, Елена Николаевна не могла не заметить, что она, ее старая подруга, точно приворожила к себе Олега. Всегда он возникал возле, стоило только появиться Полине Георгиевне, и часто Елена Николаевна ловила внезапно мелькнувший между ними молниеносный взгляд — взгляд людей, которым есть что сказать друг другу. И действительно, если Елене Николаевне приходилось отлучиться, а потом вновь войти в горницу, чувствовалось, что они прервали с ее приходом свой, особый разговор. А когда Елена Николаевна выходила в сени проводить подругу, та говорила застенчиво и торопливо: «Нет, нет, не беспокойся, Леночка, я уже сама». И никогда она не говорила так, если ее шел провожать Олег.

Как же это все могло получиться? Каково было переносить это материнскому сердцу? Кто же из всех людей на земле

сможет лучше понять сына, разделить его дела и думы, защитить его силою любви в злой час жизни? А правдивый голос подсказывал ей, что сын скрывается перед ней впервые именно потому, что не уверен в ней.

Как все молодые матери, она больше видела хорошие стороны единственного дитяти, но она действительно знала своего сына.

С того момента, как в городе начали появляться листовки за таинственной подписью «Молодая гвардия», Елена Николаевна не сомневалась, что сын ее не только причастен к этой организации, но играет в ней руководящую роль. Она волновалась, гордилась, страдала, но не считала возможным искусственно вызывать сына на откровенность.

Только однажды она словно бы невзначай спросила:

— С кем ты больше дружишь сейчас?

Он с неожиданной в нем хитростью перевел разговор как бы на продолжение прежнего разговора о Лене Позднышевой, сказал, немного смутившись:

— Д-дружу с Ниной Иванцовой...

И мать почему-то поддалась на эту хитрость и сказала неискренне:

— А Лена?

Он молча достал дневник и подал ей, и мать прочла в дневнике все, что ее сын думал теперь о Лене Позднышевой и о прежнем увлечении Леной.

Но в это утро, когда она услышала от соседей о казни Фомина, у нее едва не вырвался звериный крик. Она сдержала его и легла на постель. И бабушка Вера, несгибающаяся и таинственная, как мумия, положила ей на лоб холодное полотенце.

Елена Николаевна, как и все родители, ни на мгновение не подозревала о причастности сына к самой казни. Но вот каков был тот мир, где вращался сын, вот как жестока была борьба! Какое же возмездие ждет его?.. В душе ее все еще не было ответа сыну, но нужно было наконец разрушить эту страшную таинственность, — так жить нельзя!..

А в это время сын ее, как всегда, аккуратно одетый, чисто вымытый, загорелый, вобрав голову в плечи, одно из которых было чуть выше другого, сидел в сарае на койке, а против него, подмостив полешки, сидел носатый, смуглый и ловкий в движениях Коля Сумской, и они резались в шахматы.

Все внимание их было поглощено игрой, лишь время от времени они как бы вскользь обменивались репликами такого содержания, что человек неискушенный мог бы подумать, что он имеет дело с закоренелыми злодеями.

Сумской. Там на станции ссыпной пункт... Как только свезли зерно первого обмолота, Коля Миронов и Палагута запустили клеща...

Молчание.

Кошевой. Хлеб убрали?

— Заставляют весь убрать... Но больше стоит в скирдах и суслонах: нечем обмолотить и вывезти.

Молчание.

Кошевой. Скирды надо жечь... У тебя ладья под угрозой!

Молчание.

Кошевой. Это хорошо, что у вас свои ребята в совхозе. Мы в штабе обсуждали и решили: обязательно свои ячейки на хуторах. Оружие у вас есть?

— Мало.

— Надо собирать.

— Где ж его соберешь?

— На степи. И у них воруйте, — они живут беспечно.

Сумской. Извиняюсь, шах...

Кошевой. Он, брат, тебе отрыгнется, как агрессору.

— Агрессор-то не я.

— А задираешься, как какой-нибудь сателлит!

— У меня скорей положение французское, — с усмешкой сказал Сумской.

Молчание.

Сумской. Извини, коли не так спрошу: этого подвесили не без вашего участия?

Кошевой. Кто его знает.

— Хорошо-о, — сказал Коля с явным удовольствием. — Я думаю, их вообще стоит больше убивать, хотя бы просто из-за угла. И не столько холуев, сколько хозяев.

— Абсолютно стоит. Они живут беспечно.

— Ты знаешь, я сдамся, пожалуй, — сказал Сумской. — Положение безвыходное, а мне домой пора.

Олег аккуратно сложил шахматы, потом подошел к двери, выглянул и вернулся.

— Прими клятву...

Не было никакого перехода от той минуты, как они сидели и играли в шахматы, а вот уже и Кошевой и Сумской, оба в рост, только Олег пошире в плечах, стояли друг против друга, опустив руки по швам, и смотрели с естественным и простым выражением.

Сумской из карманчика гимнастерки достал маленький клочок бумажки и побледнел.

— Я, Николай Сумской, — приглушенным голосом заговорил он, — вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед ли-

цом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь... — Им овладело такое волнение, что в голосе пробился металл, но, боясь, что его услышат во дворе, Сумской смирил свой голос. — ...Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!

— Поздравляю тебя... Отныне твоя жизнь принадлежит не тебе, а партии, всему народу, — с чувством сказал Олег и пожал ему руку. — Примешь клятву от всей краснодонской группы...

Самое главное — это попасть в дом, когда мама уже спит или притворяется, что спит, тихо раздеться и лечь. И тогда не нужно отводить глаз от ясных и измученных глаз мамы и не нужно притворяться, будто ничего не изменилось в жизни.

Ступая на цыпочках и сам чувствуя, какой он большой, он входит на кухню, тихонько приоткрывает дверь и входит в комнату. Окна, как всегда, наглухо закрыты ставнями и затемнены. Сегодня топили плиту,—в доме нестерпимая духота. Коптилка, поставленная, чтобы не марать скатерти и чтобы была повыше, на старую опрокинутую жестяную банку, выделяет из мрака выпуклости и грани знакомых предметов.

Мать, всегда такая аккуратная, почему-то сидит на разобранной ко сну постели в платье и прическе, сцепив положенные меж колен маленькие, смуглые, с утолщенными суставами руки, и смотрит на огонек коптилки.

Как тихо в доме! Дядя Коля, теперь почти все дни пропадающий у своего приятеля инженера Быстринова, вернулся и спит, и Марина спит, а маленький племянник, наверно, давно уже спит, выпятив губы. Бабушка спит и даже не похрапывает. Даже тиканья часов не слышно. Не спит одна мама. Прекрасная моя!..

Но главное — не поддаваться чувству... Вот так вот, молча, пройти мимо на цыпочках и лечь, а там сразу можно притвориться спящим...

Большой, тяжелый, он на цыпочках подходит к матери, падает перед ней на колени и прячет в ее коленях свое лицо. Он чувствует ее руки на своих щеках, чувствует ее неподменимое тепло и едва уловимый, точно наносимый издалека девичий запах жасмина и другой, чуть горьковатый, то ли полыни, то ли листочков баклажана, — не все ли равно!..

— Прекрасная моя! Прекрасная моя! — шепчет он, обдавая ее снизу светом своих глаз. — Ты же все, всё понимаешь... прекрасная моя!

— Я все понимаю, — шепчет она, склонившись к нему головой и не глядя на него.

Он ищет ее глаза, а она все прячет глаза в его шелковистых волосах и шепчет, шепчет:

— Всегда... везде... Не бойся... будь сильный... орлик мой... до последнего дыхания...

— Будет, ну, будет... Спать пора... — шепчет он. — Хочешь, я выпущу их на волю?

И он, как в детстве, нащупывает руками одну и другую скрепочки в ее волосах и начинает выбирать шпильки. Пряча лицо, она все клонит голову ему на руки, но он вынимает шпильки все до одной и выпускает ее косы, и они, развернувшись, падают с таким звуком, как падают яблоки в саду, и покрывают всю маму.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Чтобы отлучиться на несколько дней в Нижне-Александровский, Ваня Земнухов должен был получить разрешение штаба.

— Дело, понимаешь, не только в том, чтобы навестить дивчину, — говорил он Олегу. — Я уже давно планирую поручить ей всю организацию молодежи на казачьих хуторах, — говорил Ваня с некоторым смущением.

Но Олег, казалось, пропустил мимо ушей выдвинутые Ваней столь непреложные мотивы.

— Денек, два обожди, — сказал он. — Возможно, тебе другое задание будет... Нет, нет, т-там же, — вдруг с широкой улыбкой сказал Олег, заметив, что лицо Вани приняло замкнутое выражение. Оно всегда принимало замкнутое выражение, когда Ваня не хотел, чтобы догадались об истинных его чувствах.

В последние дни Полина Георгиевна настойчиво требовала от Олега выдвинуть толкового парня в распоряжение Лютикова. Парень нужен был как связной по специальному маршруту Краснодон — Нижне-Александровский. И мысль Олега пала на Земнухова.

Тетя Поля, передавая желание Филиппа Петровича, несколько раз подчеркивала:

— Только нужен очень толковый, очень проверенный. Самый толковый и самый проверенный...

И не далее как на другой день после разговора Земнухова с Олегом близорукий Ваня в тапочках на босу ногу и в повязанном на голове носовом платке с четырьмя торчащими

ушками уже шагал по проселочной степной дороге, среди редких неубранных хлебов под нежарким солнцем.

Весь охваченный сознанием важности своей миссии, сосредоточенный на мыслях, порожденных этой новой его ролью, — а сосредоточение на собственных мыслях было наиболее характерным состоянием близорукого Вани во время путешествия, — он шел по степи, шел через многие населенные пункты, почти не замечая того, что попадалось ему на пути.

Человек со стороны, — если бы мог быть такой человек, — попав в сельские районы немецкой оккупации, был бы поражен необыкновенными мрачными и неожиданными по контрасту картинами, открывающимися его взгляду. Он встретил бы десятки и сотни пепелищ, где на месте сел, станиц, хуторов остались только остовы печей, да головни, да одинокая кошка на пригретом солнцем полуобгоревшем и прорастающем бурьяном крылечке. И встретил бы хутора, где даже не ступала немецкая нога, если не считать случайно забредших раз-другой мародеров-солдат.

А были и такие села, где немецкая власть утвердилась так, как она считала наиболее выгодным и удобным для себя, где прямого военного грабежа, то есть грабежа, совершаемого проходящими частями армии, и всякого рода насилий и зверств было не больше и не меньше, чем это отпущено было историей для немецкого военно-оккупационного господства в России, где хозяйствование немцев было представлено, так сказать, в наиболее чистом виде.

Именно к такого рода хуторам принадлежал хутор Нижне-Александровский, где у родни по материнской линии нашли приют Клава Ковалева и ее мать.

Казак, у которого они жили, родной брат матери, до прихода немцев был рядовым колхозником. Он не был ни бригадиром, ни конюхом, а был тем обыкновенным колхозником, который работает со своей семьей в бригадах артели на общественном поле и живет с того, что вырабатывает на трудодни и получает со своей усадьбы.

И Иван Никанорович, дядя Клавы, и вся его семья с момента прихода немцев испытали не больше и не меньше того, что отпустила история на рядовой обыкновенный крестьянский двор во время немецкого господства. Они были ограблены во время прохождения наступающей немецкой армии, ограблены в той мере, в какой их скот, птица и продовольственные запасы были на виду, то есть ограблены очень сильно, но не дочиста, так как нет ни одного крестьянина на свете, который обладал бы таким многовековым опытом в запрятывании своего добра в лихое время, как русский крестьянин.

После того как прошла армия и начал устанавливаться «новый порядок» — Ordnung, Ивану Никаноровичу, как и другим, было объявлено, что земля, закрепленная за Нижне-Александровской артелью на вечное пользование, теперь, как и вся земля, будет собственностью немецкого государства. Но, — говорил устами рейхскомиссара из Киева «новый порядок» — Ordnung,—но эта земля, которую с такими трудами и испытаниями удалось соединить в одну большую артельную землю, теперь будет снова разделена на мелкие участки, которые перейдут в единоличное пользование каждого казака. Но! Это мероприятие будет проведено только тогда, когда все казаки и крестьяне будут иметь собственные сельскохозяйственные орудия и тягловую силу. А так как сейчас они не могут их иметь, земля останется в прежнем состоянии, но уже как собственность немецкого государства. Для обработки земли над хутором будет поставлен староста, русский, но от немцев, — и он был поставлен, — а крестьяне будут разбиты на десятидворки. Над каждой десятидворкой будет поставлен старший, русский, но от немцев, — и старшие были поставлены, — и за свою работу на этой земле крестьяне будут получать хлеб по определенной норме. А чтобы крестьяне работали хорошо, они должны знать, что только те из них, кто будет сейчас работать хорошо, получит потом участок земли в единоличное пользование.

Для того чтобы хорошо работать на этой большой земле, немецкое государство пока что не может дать машин и горючего для машин и не может дать лошадей. Работники должны обходиться косами, серпами, тяпками, а в качестве тягловой силы использовать собственных коров. А кто будет жалеть своих коров, тот вряд ли может рассчитывать на получение земли в единоличное пользование в будущем. При всем том, что такой вид труда требовал особенно много рабочей силы, немецкая власть не только не стремилась сохранить эту силу на месте, а прилагала все меры к тому, чтобы наиболее здоровую и трудоспособную часть населения угнать в Германию.

Ввиду того, что немецкое государство не могло сейчас учесть своих потребностей в мясе, молоке, яйцах, оно взяло на первый случай с хутора Нижне-Александровского по одной корове с каждых пяти дворов, и по одной свинье с каждого двора, и еще пятьдесят килограммов картофеля, двадцать штук яиц и триста литров молока с каждого двора. Но! Так как может понадобиться и еще, — и эта надобность действительно постоянно возникала, — то казаки и крестьяне не могут резать свой скот и птицу для себя. А если уж в крайнем случае очень захочется зарезать свинью, то четыре двора,

соединившись, могут зарезать ее, только они обязаны при этом сдать трех свиней немецкому государству.

Для того чтобы взять все это из двора Ивана Никаноровича и его односельчан, кроме старших над десятидворками и старосты над хутором, был учрежден аппарат районной сельскохозяйственной комендатуры во главе с зондерфюрером Сандерсом. И зондерфюрер, учитывая жаркий климат, подобно обер-лейтенанту Шприку, разъезжал по селам и хуторам в мундире и трусиках, и казачки при виде его крестились и плевались, как если бы они видели сатану. Эта районная сельскохозяйственная комендатура подчинялась еще более многолюдной окружной сельскохозяйственной комендатуре во главе с зондерфюрером Глюккером, который ходил, правда, в штанах, но уже сидел так высоко, что оттуда не спускался. А эта комендатура, в свою очередь, подчинялась ландвиртшафтсгруппе, или, сокращенно, группе «ля», во главе с майором Штандером. Эта группа была уже так предельно высоко, что ее просто никто не видел. Но и эта группа была только отделом виртшафтскоммандо 9, или, сокращенно, «викдо 9», во главе с доктором Люде. А уже виртшафтскоммандо 9 подчинялась, с одной стороны, фельдкомендатуре в городе Ворошиловграде, то есть, попросту говоря, жандармскому управлению, а с другой стороны — главному управлению государственных имений при самом рейхскомиссаре в городе Киеве.

Чувствуя над собой всю эту лестницу все более обремененных чинами бездельников и воров, разговаривавших на непонятном языке, которых тем не менее надо было кормить, повседневно испытывая на себе плоды их деятельности, Иван Никанорович и его односельчане поняли, что немецкая фашистская власть не только зверская власть, — это уж было видно сразу, — а власть несерьезная, воровская, и, можно сказать, глупая власть.

И тогда Иван Никанорович и его односельчане, так же как и жители ближайших станиц и хуторов — Гундоровской, Давыдова, Макарова Яра и других, начали так поступать с немецкой властью, как только может и должен поступать уважающий себя казак с глупой властью, — они начали обманывать ее.

Обман немецкой власти сводился главным образом к видимости работы вместо настоящей работы на земле и в развеивании по ветру, а если была возможность — в расхищении по собственным дворам того, что удалось выработать, и в утаивании скота, и птицы, и продовольствия. А чтобы сподручней было обманывать, казаки и крестьяне стремились к тому, чтобы старшие над десятидворками и старосты над

хуторами и селами были своими людьми. Как всякая зверская власть, немецко-фашистская власть находила достаточно зверей, чтобы сажать их на место старост, но, как говорится, человек не вечен. Был староста, а вот его уже и нет, канул человек, как в воду.

Клаве Ковалевой было восемнадцать лет, и она была далека от всех этих дел. Она только страдала оттого, что очень несвободно стало жить, и нельзя учиться, и нет подруг, и неизвестно, что с отцом. Она скрашивала свое время тем, что мечтала о Ване, мечтала в очень ясной, жизненной форме, — как вся эта неразбериха когда-нибудь кончится и они женятся, и у них будут дети, и они очень хорошо будут жить вместе с детьми.

Еще она скрашивала свое время тем, что читала книжки, но очень трудно было доставать книжки в Нижне-Александровском. И когда она услышала, что на хутор прибыла новая, уже от новой районной власти, учительница взамен старой, успевшей эвакуироваться, Клава решила, что не зазорно будет попросить у этой учительницы книжек.

Учительница жила при школе, в комнатке, где жила раньше старая учительница, — пользовалась даже ее мебелью и вещами, как болтали соседки. Клава постучалась и, не дождавшись ответа, отворила дверь своей полной сильной рукой и, уже войдя в комнату, выходившую на теневую сторону и занавешенную, искоса стала разглядывать, кто же тут есть. Учительница, нагнувшись вполоборота к Клаве, обметала крылом птицы подоконник, обернула голову, и вдруг одна из ее выгнутых густых бровей приподнялась, и женщина отпрянула, прижалась к подоконнику, потом выпрямилась и снова внимательно посмотрела на Клаву.

— Вы...

Она не договорила, виноватая улыбка появилась на лице ее, и она пошла навстречу Клаве.

Это была стройная белокурая женщина, одетая в простое платье, с прямым, даже строгим взглядом серых глаз, губами, резко очерченными, но тем милее была простая, ясная улыбка, время от времени возникавшая на ее лице.

— Шкаф, где была школьная библиотечка, разбит, — в школе стояли немцы. Страницы книжек можно видеть в совсем неподходящем месте, но кое-что осталось, мы с вами посмотрим, — говорила она, так правильно и чисто выговаривая фразу, как может выговаривать только хорошая русская учительница. — Вы здешняя?

— Можно сказать, здешняя, — нерешительно сказала Клава.

— Почему вы оговорились?

Клава смутилась.

Учительница прямо смотрела на нее.

— Давайте присядем.

Клава стояла.

— Я видела вас в Краснодоне,— сказала учительница.

Клава молча искоса глядела на нее.

— Я думала, вы уехали,— сказала учительница со своей ясной улыбкой.

— Я никуда не уезжала.

— Значит, провожали кого-нибудь.

— Откуда вы знаете? — Клава смотрела на нее сбоку с испугом и любопытством.

— Знаю... Но вы не смущайтесь... Вы, наверно, думаете: приехала от немецкой власти и...

— Ничего я не думаю...

— Думаете.— Учительница засмеялась, даже лицо у нее порозовело.— Кого же вы проводили?

— Отца.

— Нет, не отца.

— Нет, отца.

— Ну хорошо, а отец ваш кто?

— Служащий треста,— сказала Клава, вся багровея.

— Садитесь, не стесняйтесь меня.

Учительница ласково чуть дотронулась до руки Клавы. Клава села.

— Ваш друг уехал?

— Какой друг? — У Клавы даже сердце забилось.

— Не скрывайте, я все знаю.— Из глаз учительницы совсем ушло строгое выражение, они искрились от смеха, доброго и задористого.

«Не скажу, хоть зарежь!» — подумала Клава, вдруг свирепея.

— Не знаю, про что вы говорите... Нехорошо так! — сказала она и встала.

Учительница, уже не в силах сдерживать себя, громко смеялась, от удовольствия складывая и разнимая загорелые руки и клоня белокурую голову то на один бок, то на другой.

— Милая вы моя... простите... у вас сердце наружу,— сказала она, быстро встала, сильным движением притянула Клаву за плечи и чуть прижалась к ней.— Я все шучу, вы меня не бойтесь. Я просто русская учительница — жить-то ведь надо, а не обязательно учить злому, даже при немцах.

В дверь сильно постучали.

Учительница, отпустив Клаву, быстро подошла к двери и чуть приоткрыла ее.

— Марфа...— сказала она негромко и радостно.

Высокая, сильной кости женщина в ослепительно белой хустке и с черными от загара, запылившимися босыми ногами, с дорожным узелком под мышкой вошла в комнату.

— Здравствуйте, — сказала она, вопросительно взглянув на Клаву.— Живем вроде близко, и вон аж когда собралась проведать! — громко, с улыбкой, обнажившей крепкие зубы, сказала она учительнице.

— Как вас зовут?.. Клава! Я проведу вас в класс, и вы присмотрите себе книжку. Только не уходите, я быстро освобожусь.

— Что? Ну, что? — с волнением спрашивала Екатерина Павловна, вернувшись.

Марфа сидела, закрыв глаза большой натруженной загорелой рукой, горькая складка обозначилась в углах ее все еще молодых губ.

— Не знаю, чи радость, чи горе,— сказала она, отняв руку.— Прийшов до мене хлопец с хутора Погорилого, каже — жив мой Гордий Корниенко, в плену. Катерина, дай мени совет! — сказала она, подняв голову, и заговорила по-русски:— На Погорелом, в лесхозе, пленные работают, под охраной, человек шестьдесят, рублять лес для армии, и мой Гордий там. Живут в бараке, отлучиться не можно... С голоду опух. Як мени быть? Чи пойти мени туда?

— Как он дал знать тебе?

— Там и вольные работают. Случилось так, что удалось ему шепнуть одному с хутора. А немцы не знають, що вин здешний.

Екатерина Павловна некоторое время молча смотрела на нее. Это был один из тех случаев жизни, когда нельзя было дать совет. Марфа могла недели прожить на этом хуторе Погорелом и извести себя — и так и не увидеть мужа. В лучшем случае они могли увидеть друг друга издалека, но это прибавило бы к физическим страданиям ее мужа невыносимые нравственные мучения. И даже еды подбросить ему нельзя: можно себе представить, что это за барак для военнопленных!

— Поступай по совести.

— А ты б пошла? — спросила Марфа.

— Я бы пошла,— со вздохом сказала Екатерина Павловна.— И ты пойдешь, а только напрасно...

— Вот и я кажу — напрасно... Не пойду,— сказала Марфа и закрыла глаза рукою.

— Корней Тихонович знает?

— Каже, коли б разрешили ему с отрядом, могли б освободить...

Лицо Екатерины Павловны приняло озабоченное и грустное выражение. Она знала, что партизанскую группу, которой командовал Корней Тихонович, нельзя использовать для этой побочной цели.

Через Ворошиловградскую область проходили теперь важнейшие коммуникации немецкой армии. Все, решительно все, что находилось в распоряжении Ивана Федоровича, все, что вновь создавалось им, было направлено теперь на то, чтобы там, за сотни и сотни километров от Донбасса, была выиграна великая битва за Сталинград.

Все партизанские отряды области, разбитые на множество мелких групп, действовали теперь по шоссейным, грунтовым и по трем железным дорогам, идущим на восток и на юг. И все-таки сил еще было мало. И Иван Федорович, местопребывание которого было известно теперь только Екатерине Павловне, Марфе Корниенко и связной Кротовой, переключал деятельность всех подпольных райкомов области на диверсии на дорогах.

Екатерина Павловна хорошо знала это, потому что все бесчисленные нити связей пучком сходились в ее маленьких точных руках и уже только в виде одной нити шли от нее к Ивану Федоровичу. Вот почему она ничего не ответила на переданное Марфой косвенное предложение Корнея Тихоновича, хотя и понимала, что Марфа только и пришла к ней с этой тайной надеждой.

Связь Екатерины Павловны с мужем была не непосредственной, а через Марфу, точнее — через квартиру Марфы.

Екатерина Павловна, однако, не спросила об Иване Федоровиче: она знала, что, если Марфа ничего не сказала о нем, значит, вестей нет.

Клава стояла у шкафа с книгами — это были книги, читанные в детстве, и грустно ей было от встречи с друзьями детства. Грустно было смотреть на черные пустые парты. Вечернее солнце косо падало в окна, и в его тихом и густом свете была какая-то грустная и зрелая улыбка прощания. Клаву даже не мучило больше любопытство, откуда знает ее учительница,— так грустно было Клаве жить на свете.

— Выбрали кое-что? — Учительница прямо смотрела на Клаву, резко очерченные губы ее были плотно сжаты, но в серых глазах где-то очень далеко стояло печальное выражение.— Вот видите, жизнь-разлучница оборачивается иногда жестоко,— говорила она.— А в молодости мы живем суетно, не зная, что то́, что нам дано, дано на всю жизнь... Если бы я могла снова стать такой, как вы, я бы уже это знала. Но я не могу даже вам передать это... Если ваш друг придет, обязательно познакомьте меня с ним.

Екатерина Павловна не могла предполагать, что в это время Ваня Земнухов уже входил в Нижне-Александровский и входил с прямым поручением к ней, Екатерине Павловне.

Ваня передал ей шифровку — отчет о деятельности Краснодонского подпольного райкома. А Екатерина Павловна на словах передала ему требование Ивана Федоровича о развертывании подпольной организации Краснодона в боевой партизанский отряд и об усилении диверсий на дорогах.

— Передайте, что дела на фронте совсем не плохи. Может быть, очень скоро нам всем придется выступить с оружием в руках,— сказала Екатерина Павловна, пытливо вглядываясь в сидящего перед ней нескладного юношу, словно желая узнать, что же там кроется у него за очками.

Ваня сидел, молчаливый, ссутулившись, и беспрерывно поправлял рукой свои распадающиеся волосы. Но если бы знала эта женщина, каким огнем пылала душа его!

Все-таки они разговорились.

— Страшно оборачиваются судьбы людей! — говорила Екатерина Павловна, только что выслушавшая от Вани мрачную повесть гибели Матвея Костиевича и Валько.— У Остапчука, как вы его называете, осталась семья у немцев и тоже, может быть, замучена, а не то бродит бедная женщина с детьми по чужим людям и все-таки надеется, придет же он когда-нибудь спасти ее и детей, а его уже и в живых нет... Или вот была у меня женщина...— Екатерина Павловна рассказала о Марфе и о ее муже.— Рядом, а даже повидаться невозможно. А потом погонят его куда-нибудь поглубже, и сгинет он... Какая же казнь справедлива за это им, этим!..— сказала она, стиснув в кулак сильную маленькую руку.

— Погорелый — это возле нас, там один наш парень живет,— сказал Ваня, вспомнив о Вите Петрове. Смутная мысль забродила в нем, но он даже себе еще не отдавал в ней отчета.— Пленных много? Охрана большая? — спрашивал он.

— Попробуйте вспомнить, кто из наших людей, способных организовать других, остался еще в живых в Краснодоне? — вдруг спросила она в какой-то своей внутренней связи.

Ваня назвал.

— А из военных, осевших после окружения или по другим причинам?

— Таких много.— Ваня вспомнил военных из числа раненых, спрятанных по квартирам: он знал от Сережки, что Наталья Алексеевна продолжает тайно оказывать им медицинскую помощь.

— Вы скажите тем, кто вас послал, чтобы установили связи с ними и привлекли их... Они скоро, очень скоро понадобятся и вам. Понадобятся, чтобы командовать вами, моло-

дыми. Народ вы хороший, но они старше вас,— сказала Екатерина Павловна.

Ваня изложил свой план сделать у Клавы явочный пункт для связи «Молодой гвардии» с молодежью села и попросил помочь Клаве в этом.

— Пусть лучше она не знает, кто я, — с улыбкой сказала Екатерина Павловна, — мы будем с ней просто дружить.

— Но откуда вы все-таки знаете нас? — не вытерпел Ваня.

— Этого я вам никогда не скажу, а то вы будете очень смущены,— сказала она, и лицо ее вдруг приняло лукавое выражение.

— Что у вас за секреты? — ревниво спрашивала Клава у Вани, когда уже в полной темноте они сидели в горнице в доме Ивана Никаноровича и мама Клавы, давно, а особенно после событий на переправе, относившаяся к Ване, как к своему человеку в доме, спокойно спала на пышно взбитой, воздушной и жаркой до дурмана казачьей перине.

— Ты умеешь держать тайну? — на ухо спросил Ваня.

— Спрашиваешь...

— Поклянись!

— Клянусь.

— Она сказала, что один наш краснодонец прячется поблизости, и просила передать родным, а потом разговорились по пустякам... Клава! — тихо и торжественно сказал он, взяв ее за руку.— Мы создали организацию молодежи для борьбы с захватчиками, вступишь в нее?

— А ты в ней состоишь?

— Конечно.

— Конечно, вступлю! — Она приложила свои теплые-теплые губы к его уху.— Ведь я же твоя, понимаешь?

— Я приму от тебя клятву. Мы писали ее с Олегом, и я знаю ее наизусть, и тебе придется ее выучить.

— Я ее выучу, ведь я же совсем твоя...

— Тебе придется организовать молодежь здесь и по ближайшим хуторам.

— Я тебе все организую.

— Ты не относись к этому так легкомысленно. В случае провала это грозит гибелью.

— А тебе?

— И мне.

— Я готова погибнуть с тобой.

— Но я думаю, нам лучше обоим остаться живыми.

— Конечно, гораздо лучше.

— Ты знаешь, мне постелили там, у ребят, надо идти, а то неудобно.

— Ну, зачем тебе туда идти? Ведь я же твоя, ну, понимаешь, совершенно твоя,— шептала ему на ухо Клава своими теплыми губами.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

К концу сентября организация «Молодая гвардия» на Первомайском руднике, вместе с «Восьмидомиками» и районом шахты № 1-бис, была уже одной из наиболее крупных подпольных групп молодежи. Все, что было наиболее деятельного среди молодежи, учившейся в старших классах Первомайской школы, было вовлечено в организацию.

Первомайцы установили свой радиоприемник и выпускали сводки Информбюро и листовки, которые писали тушью на страничках школьных тетрадей.

Сколько переживаний было с этим радиоприемником! В совершенно различных домах были обнаружены давно заброшенные, поломанные дешевые радиоприемники — и радиоприемники выкрали. Борис Главан, молдаванин, бежавший с родителями из Бессарабии и осевший в Краснодоне,— в группе звали его «Алеко»,— взялся сконструировать из них один хороший радиоприемник. Но по дороге домой он был с отдельными частями аппаратов и лампочками схвачен на улице «полицаем».

Главан разговаривал в полиции только на румынском языке, кричал, что полиция лишает всю его семью средств к существованию, поскольку весь этот материал нужен ему, чтобы делать зажигалки, и клялся, что он будет жаловаться командованию румынской армии: в Краснодоне всегда бывало на постое некоторое число румынских офицеров из проходящих частей. На квартире Главана было обнаружено несколько готовых зажигалок и несколько находящихся в производстве — он действительно подрабатывал на жизнь тем, что делал зажигалки. И полиция отпустила этого представителя союзной державы, хотя и отобрала у него части радиоприемников. Но он все-таки сделал радиоприемник из тех частей, что еще оставались.

Первомайцы имели самостоятельные связи с ближними хуторами через Лилю Иванихину, которая, оправившись после плена, пошла работать учительницей на хутор Суходол. Они были главными поставщиками оружия, которое собирали по степи, совершая иногда очень дальние походы в районы боев на Донце, и крали его у останавливавшихся на постой немецких и румынских солдат и офицеров. Оружие это, после

того как все юноши-первомайцы, члены организации, были вооружены, сдавалось Сережке Тюленину и шло на склад, местонахождение которого было известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц.

Подобно тому как душою всей организации «Молодая гвардия» были Олег Кошевой и Иван Туркенич, а душою организации в поселке Краснодон — Коля Сумской и Тося Елисеенко, так душою организации на «Первомайке» были Уля Громова и Анатолий Попов.

Толя Попов был назначен штабом командиром первомайской группы, и с его организационными навыками, обретенными в комсомоле, и с присущей ему серьезностью он привнес во все, что бы ни делала молодежь «Первомайки», дух ответственной дисциплины и решительной смелости, опирающейся на исключительно слаженную работу всех ребят.

А Уля Громова была автором всех начинаний и автором большинства воззваний и листовок первомайцев. Только теперь стало видно, какой огромный моральный авторитет среди подруг и товарищей был накоплен этой девушкой еще с той поры, когда, равная среди равных, она училась со всеми и ходила в степь, и пела, и танцевала, как все, и читала стихи, и водила пионеров,— высокая, стройная девушка с тяжелыми черными косами, с глазами, то брызжущими ясным сильным светом, то полными таинственной силы, скорее молчаливая, чем озорная, скорее ровная, чем страстная, но и та и другая вместе.

Молодости свойственно судить о показном и подлинном, о живом и скучном, ложном и значительном не на основе изучения и опыта, а с первого взгляда, слова, движения. Уля не имела теперь подруг, приближенных к ней, она была равно внимательна, и добра, и требовательна ко всем. Но достаточно было девушкам видеть ее, обменяться с ней двумя-тремя словами, чтобы почувствовать, что это в Уле не от скудости душевной, а за этим стоит огромный мир чувств и размышлений, разных оценок людей, разных отношений к ним, и этот мир может проявить себя с неожиданной силой, особенно если заслужишь его моральное осуждение. Со стороны таких натур даже ровное отношение воспринимается как награда,— что же сказать, если они хоть на мгновение приоткроют свое сердце?

И так же ровна она была со всеми юношами. Никто из них не только не мог сказать, что она более дружна с ним, чем с другими, ни один из них внутренне не смел даже допустить этой возможности для себя. По одним ее взглядам, движениям каждый юноша понимал, что он имеет дело не с самолюбивым преувеличением своей личности и тем более не с бедностью

чувств, а с тем цельным скрытым миром подлинных страстей, которые еще не нашли того, на кого они изольются полной великой чистой мерой, и которые не могут расходовать себя по капле. И Уля была окружена тем неосознанным бережным и бескорыстным обожанием ребят, которое выпадает на долю исключительно сильных и чистых девушек.

Именно поэтому, а не только потому, что она была начитана и умна, она естественно, свободно, даже незаметно для самой себя владела душами подруг и товарищей первомайцев.

Девушки собрались у сестер Иванихиных, где они теперь большей частью собирались: они делали индивидуальные пакеты с перевязочным материалом для раненых.

Перевязочный материал был похищен Любкой еще у тех офицеров и солдат медицинской службы, которые гуляли у нее,— она похитила его так, мимоходом, не придавая ему значения. Но Уля, узнав об этом, сразу пустила его в дело.

— Каждый из наших мальчишек должен иметь при себе индивидуальный пакет, они ведь не то, что мы, им придется сражаться,— говорила она.

И, должно быть, она кое-что знала, когда говорила:

— Очень скоро придет время, когда мы выступим все. Тогда нам нужно будет много-много перевязочного материала...

На самом деле Уля только передала своими словами то, что сказал Ваня Земнухов на заседании штаба. А откуда ему это было известно, она не знала.

Так они сидели и делали пакеты, и даже Шура Дубровина, студентка, которую в былые времена считали необщественной, какой-то просто индивидуалисткой, принимала участие в этой работе, потому что она из любви к Майе Пегливановой тоже вступила в «Молодую гвардию». А тоненькая Саша Бондарева говорила:

— Знаете, девушки, на кого мы все сейчас похожи? На старушек, которые когда-то работали на шахтах, а потом вышли на пенсию или на иждивение своих детей,— я их сколько насмотрелась у своей бабушки. Они вот так же, одна за другой, соберутся, бывало, у моей бабушки и сидят: одна вяжет, другая шьет, третья пасьянс кладет, четвертая помогает бабушке картошку чистить,— и молчат... Молчат, молчат, потом одна встанет, потянется и говорит: «А что, бабоньки, встряхнемси?» Бабки улыбнутся себе под нос, а другая скажет: «Да оно не грех бы встряхнуться». И тут у них уже идет складчина, по пятиалтынному с носа,— глядишь, и косушка на столе, много ли им нужно, бабкам-то? Выпьют по наперстку, подопрут щеки вот этак рукой и запоют: «Ой ты, колечко мое опозлащенное...»

— Ох, уж эта Сашка, и всегда она что-нибудь выкопает такое! — смеялись девушки.— Да уж не заспивать ли и нам что-нибудь такое, как те старушки?

Но в это время пришла Нина Иванцова,— теперь она уже редко приходила просто так, посидеть с девушками, теперь она всегда приходила как связная от штаба, а где он был, этот штаб, и из кого он состоял, девушки не знали. Со словом «штаб» связано было у них представление о каких-то взрослых людях, которые сидят где-то в подполье, возможно в блиндаже под землей, и стены вокруг увешаны картами, и сами эти люди вооружены, и они могут тут же по радио связаться с фронтом, а может быть, даже и с Москвой. И вот пришла Нина Иванцова и вызвала Улю на улицу, и девушки уже понимали, что, значит, Нина пришла с новым заданием. И действительно, через некоторое время Уля вернулась и сказала, что она должна отлучиться. Потом она отозвала Майю Пегливанову и сказала ей, чтобы индивидуальные пакеты дивчата разобрали по домам, а штук семь-восемь она отнесла бы к Уле, потому что они могут скоро понадобиться.

Не прошло и четверти часа, как Уля, подобрав юбку и перекинув через плетень сначала одну, потом другую длинные стройные ноги, перелезла из своего садика в садик Поповых, где на высохшей травке в тени старой вишни лежали друг против друга на животе Анатолий Попов в узбекской шапочке на овсяного цвета волосах и Витя Петров с непокрытой темной головой и рассматривали карту района.

Они издали заметили Улю, и, когда она подошла к ним, они, тихо переговариваясь, продолжали смотреть в карту. Уля небрежным движением выгнутой кисти руки закинула за спину косы, павшие ей на грудь, и, обрав по ногам юбку, опустилась возле на корточки, стиснув колени, и тоже стала смотреть в карту.

Дело, которое было уже известно Анатолию и Виктору и ради которого была вызвана Уля, было первым серьезным испытанием для первомайцев: штаб «Молодой гвардии» поручил им освободить военнопленных, работавших в лесхозе на хуторе Погорелом.

— Охрана далеко живет? — спрашивал Анатолий.

— Охрана живет по правую сторону дороги, уже в самом хуторе. А барак на отлете слева, возле той рощи, помнишь? Там раньше склад был. Они только нары сделали да обнесли вокруг проволокой. И всего один часовой... Я думаю, охрану выгоднее не трогать, а снять часового... А жаль: следовало бы их всех передавить,— сказал Виктор с злым выражением.

Виктор Петров сильно изменился с той поры, как погиб его отец. Он лежал в темной бархатной курточке и, мрачно-

вато поглядывал на Анатолия своими смелыми глазами, покусывая сухую травинку, говорил как бы нехотя:

— Ночью пленные на замке, но можно взять Главана с инструментом, он все сделает бесшумно.

Анатолий поднял глаза на Улю.

— Как твое мнение? — спросил он.

Хотя Уля не слышала начала их разговора, она с тем мгновенным пониманием с полуслова, пониманием, которое с самого начала их деятельности установилось у них само собой, сразу схватила сущность того, чем был недоволен Виктор.

— Я Витю очень хорошо понимаю: правда, хотелось бы уничтожить охрану. Но мы еще не созрели для таких операций,— сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом.

— И я тоже так думаю,— сказал Анатолий.— Надо делать то, что проще и ближе всего ведет к цели.

К вечеру другого дня они сошлись поодиночке в лесу под хутором Погорелым, на берегу Донца, пятеро — Анатолий и Виктор, их товарищи по школе Володя Рагозин, Женя Шепелев, самый младший из них, и Борис Главан. Все они были вооружены револьверами. У Виктора была еще старинная отцовская «финка», которую он теперь всегда носил на поясе под бархатной курточкой. Борис Главан взял с собой щипцы-кусачки, «фомку» и отвертку.

Стояла свежая безлунная звездная ночь ранней южной осени. Ребята лежали под правым крутым берегом реки. Кустарник, подступивший здесь к самому берегу, шевелился над ними, река чуть светлела и катилась почти бесшумно, только где-то пониже у обвалившегося берега тихие струи ее, то ли просачиваясь сквозь поры обвалившейся земли, то ли затягивая и вновь отпуская какую-то лозинку, издавали посасывающий и причмокивающий звук, будто теленок матку сосал. Противоположный низкий степной берег терялся в мутной, чуть серебристой мгле.

Они дожидались полуночи, когда произойдет смена караула.

Так была таинственна и прекрасна эта ночь ранней осени, с этой чуть серебристой туманной дымкой за рекой и с этим посасывающим и причмокивающим, каким-то детским звуком, что каждый из ребят не мог отделаться от странного чувства: неужели они должны будут расстаться и с рекой и с этим звуком и вступить в борьбу с немецким часовым, с какими-то проволочными заграждениями, запорами? Ведь и река и этот звук — все это было так близко и знакомо им, а то, что предстояло им сделать, они должны были делать впервые,—

никто из них даже не представлял себе, как это будет. Но они скрывали друг от друга это чувство и шепотом говорили о том, что им было близко.

— Витя, ты помнишь это место? Ведь это то самое, правда? — спрашивал Анатолий.

— Нет, то чуть пониже, вон, где обвалилось и сосет. Ведь мне пришлось с того берега плыть, а я все боялся, что тебя стащит пониже, прямо в вир.

— Задним числом сказать, я все-таки здорово перетрусил,— с детской улыбкой сказал Анатолий,— ведь я почти уже захлебнулся.

— Мы с Женькой Мошковым выходим из лесу и — ах, черт тебя дери! И я, главное, еще плавать не умел,— сказал очень худой, долговязый парень Володя Рагозин в насунутой на глаза кепке с таким длинным козырьком, что совсем не видно было его лица.— Нет, если бы Женька Мошков не кинулся с обрыва прямо в одежде, тебе его бы не вытянуть,— сказал он Виктору.

— Конечно, не вытянуть,— сознался Виктор.— А что было еще слышно о Мошкове?

— Ничего,— сказал Рагозин.— Да что, младший лейтенант, да еще в пехоте! Это же самый низовой командир, они, брат, гибнут, как семечки...

— Нет, у вас Донец — тихий, вот у нас Днестр — это да, речка! — приподнявшись на локте, сказал Боря Главан, блеснув во тьме белыми зубами.— Быстрый! Красавец! У нас если утонешь, так не спасешься. И потом, слушай, что это у вас за лес? Мы тоже в степи живем, но у нас такой лес по Днестру! Осокори, тисы — не обхватишь, вершины — под самое небо...

— Вот ты бы там и жил,— сказал Женя Шепелев.— Это все-таки возмутительно, что людям не удается жить там, где им нравится... Все эти войны и вообще... А то бы жили каждый, где кому нравится. Нравится в Бразилии — пожалуйста. Я бы себе жил спокойно в Донбассе. Мне лично тут очень нравится.

— Нет, слушай: если уж хочешь жить действительно спокойно, приезжай в мирное время к нам в Сороку, уездный наш город, а еще лучше в мое село, у него, брат, и название громкое, историческое — Царь-град, — сказал Главан, тихо смеясь.— Только приезжай, знаешь, не на хлопотную должность. Не дай бог, скажем, на должность уполномоченного Заготскота! Приезжай председателем местного общества Красного Креста. Будешь содержать одни парикмахерские, делать совершенно нечего, знай винцо попивай. Нет, ей-богу, должность на зависть! — весело говорил Главан.

— Тише ты, развеселился! — добродушно сказал Анатолий.

И снова они услышали этот посасывающий и причмокивающий звук на реке.

— Пора...— сказал Анатолий.

И то простое, естественное чувство природы и счастья жизни, которое только что владело ими, сразу их покинуло.

Краем просеки, огибая открытые делянки, гуськом, во главе с Виктором, знавшим здесь каждый куст, они вошли в рощу, за которой стоял не видный отсюда барак. Здесь они полежали немного, прислушались. Удивительная тишина стояла вокруг. Виктор сделал знак рукой, и они поползли.

И вот они лежали уже на самой опушке рощи. Барак, высокий, с односкатной крышей, чернел перед ними, обыкновенный барак, но в нем содержались люди, и он казался угрюмым, ужасным. Местность вокруг барака была уже совершенно голая. Слева от барака темнела фигура часового. Еще левее шла дорога, а за нею начинались домики хутора, но их не видно было отсюда.

Еще около получаса оставалось до смены караула, и все это время они лежали, не отводя взора от темной неподвижной фигуры часового.

Наконец они услышали нараставший откуда-то спереди слева звук шагов и, еще не видя идущих, услышали, как два человека, отбивая шаг, вышли на дорогу и приближаются к ним. Это были разводящий и сменный. Их темные фигуры приблизились к часовому, который, заслышав их, застыл в позе «смирно».

Послышались приглушенная немецкая команда, бряцанье оружия, стук каблуков о землю. Две фигуры отделились, и снова послышался звук шагов по укатанной дороге, он все удалялся, стал глуше, исчез в ночи.

Анатолий чуть повернул голову к Жене Шепелеву, но тот уже отползал в глубь рощи. Женя должен был пройти окраиной хутора и занять сторожевую позицию возле домика, где жила охрана.

Часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, взад и вперед, как волк у решетки. Он ходил быстрыми шагами, закинув за плечо винтовку на ремне, и слышно было, как он потирает ладони: наверно, ему было холодно со сна.

Анатолий нащупал руку Виктора, неожиданно горячую, и тихо пожал ее.

— А может, вдвоем? — прошептал он, вдруг приблизив губы к его уху.

Это была уже дружеская слабость. Виктор отрицательно помотал головой и пополз вперед.

Анатолий, Борис Главан и Володя Рагозин, затаив дыхание, следили за ним и за часовым. При каждом шорохе, который производил Виктор, им казалось, что он обнаружил себя. Но Виктор все дальше уползал от них, вот его бархатная курточка слилась с местностью, его уже не видно и не слышно было. Казалось, вот-вот должно произойти это, и они все следили за темной фигурой часового, но часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, и ничего не происходило, и казалось, что прошло уже очень много времени и скоро начнет светать...

Как в детской полузабытой игре, еще в пионерские времена, когда так хотелось перехитрить стоявшего на посту товарища, Виктор полз, припав к земле, но не волоча брюхо, а по очереди передвигая ставшие необыкновенно гибкими руку, потом ногу и опять руку и ногу. Когда часовой шел в направлении к нему, Виктор замирал; когда часовой уходил, Виктор снова полз, сдерживая себя, чтобы не ползти быстро.

Сердце его сильно билось, но страха не было в душе его. До того момента, как он начал ползти, он все заставлял себя думать об отце, чтобы снова и снова вызвать мстительное чувство. Но теперь он совершенно забыл об этом: все его душевные силы ушли на то, чтобы незаметно подкрасться к часовому.

Так он дополз до угла проволочного заграждения, прямоугольником оцеплявшего барак, и замер. Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно. Виктор достал «финку», взял ее в зубы и пополз навстречу часовому. Глаза его так привыкли к темноте, что он видел даже проволоку, и ему казалось, что, наверно, часовой тоже привык к темноте и, когда подойдет вплотную к нему, увидит его на земле. Но часовой дошел до прохода в проволочном заграждении и остановился. Виктор знал, что это не обычный проход, а с каким-то приспособлением, похожим на оплетенные колючей проволокой козлы. Виктор напряженно ждал, но часовой, не снимая винтовки из-за плеча, сунул руки в карманы штанов и так застыл — спиной к бараку, чуть склонив голову.

И вдруг Виктору показалось то самое, что казалось и его друзьям, с замиранием сердца ждавшим его действий,— ему показалось, что прошло много времени и скоро начнет светать. И, не думая уже о том, что часовому теперь легче его увидеть и особенно услышать, потому что звуки собственных шагов уже не заглушали часовому других звуков, Виктор пополз прямо на него. Не более двух метров разделяло их, а часовой все стоял так, засунув руки в карманы, с винтовкой за плечом, склонив голову в пилотке, чуть покачиваясь. Виктор не помнил, сделал ли он еще несколько ползучих движе-

ний или сразу вскочил, но он был уже на ногах сбоку от часового и занес «финку». Часовой открыл глаза и быстро повернул голову, — это был сильно пожилой, худой немец, обросший щетиной. Глаза его приняли безумное выражение, и он, не успев вытащить рук из карманов, издал странный тихий звук:

— Ых...

Виктор изо всей силы ударил его «финкой» в шею, левее подбородка. «Финка» по самую рукоять вошла во что-то мягкое за ключицей. Немец упал, и Виктор упал на него и хотел ударить еще раз, но немец уже задергался и кровь пошла у него изо рта. Виктор отошел в сторону и бросил окровавленную «финку». И вдруг его начало рвать с такой силой, что он зажал себе рот рукавом левой руки, чтобы не было слышно, как его рвет.

В это время он увидел перед собой Анатолия, который совал ему «финку» и шептал:

— Возьми, останется примета...

Виктор спрятал «финку», а Рагозин схватил его под руку и сказал:

— На дорогу!..

Виктор вынул револьвер и вместе с Рагозиным выбежал на дорогу, и они залегли здесь.

Боря Главан, боясь в темноте запутаться в этих козлах с колючей проволокой, с профессиональной быстротой работая щипцами-кусачками, сделал проход между двумя столбами в заграждении. Вместе с Анатолием они кинулись к дверям барака. Главан ощупал запор — это был обычный железный засов на замке. Главан сунул «фомку» в петлю замка и сломал его. Они отодвинули засов и в страшном волнении открыли дверь. Их обдало донельзя спертым, смрадно-теплым воздухом. Люди проснулись, кто-то шевелился справа и слева и впереди от них, кто-то испуганно спрашивал спросонок.

— Товарищи...— сказал Анатолий и от волнения не мог больше ничего сказать.

Раздалось несколько приглушенных радостных возгласов, на них зашикали.

— Уходите лесом к реке и дальше вверх и вниз по реке,— сказал Анатолий, овладев собой.— Есть здесь Гордей Корниенко?

— Есть! — ответил кто-то из груды копошившихся тел.

— Идите домой, к жене...— Анатолий вышел из барака и стал у дверей.

— Голубь... Спасибо... Избавители...— доносилось до Анатолия.

Передние побежали было к козлам, опутанным проволокой,

но Главан перехватил их и направил в проход в заграждении. Пленные устремились в проход. Вдруг кто-то сбоку схватил Анатолия обеими руками за плечо и зашептал исступленно-радостно:

— Толя?.. Толя?..

Анатолий, вздрогнув, приблизил лицо к самому лицу человека, державшего его.

— Мошков Женя...— сказал Анатолий, почему-то даже не удивившись.

— Узнал тебя по голосу,— сказал Мошков.

— Обожди... Уйдем вместе...

Было еще далеко до рассвета, когда отделившиеся от других ребят Анатолий, Виктор и Женя Мошков, босой, в каких-то вонючих лохмотьях, с колтуном на голове, присели на дне узкой, поросшей кустарником балки отдохнуть.

Теперь казалось просто чудом, что они освободили из плена Мошкова, о котором только что перед этим говорили на берегу Донца. Несмотря на усталость, Анатолий был радостно возбужден. Он все вспоминал то один, то другой момент операции, завершившейся так удачно, хвалил Виктора и Главана и других ребят, то опять возвращался к тому, как это они освободили Женю Мошкова. Виктор отвечал мрачно, односложно, а Мошков все время молчал. В конце концов Анатолий тоже смолк. В балке было очень темно и тихо.

И вдруг где-то ниже по Донцу занялось зарево. Оно занялось сразу, охватив большую часть неба, которое над местом пожара все более провисало, как красный полог; даже в балке стало светло.

— Где это? — тихо спросил Виктор.

— Возле Гундоровской,— сказал Анатолий после некоторого молчания.— Это Сережка,— сказал он, понизив голос.— Скирды жгут. Он теперь их каждую ночь жжет...

— Учились в школе, видели перед собой такой широкий, ясный путь жизни, и вот чем вынуждены заниматься! — вдруг с силой сказал Виктор.— И выхода другого нет...

— Ребята! Неужто ж я свободен? Ребята! — хрипло сказал Женя Мошков и, закрыв лицо руками, пал на пересохшую траву.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Наступило время, когда даже бездомные люди со своими тачками опасались передвигаться по шоссейным и грунтовым дорогам, а брели проселками или прямо по степи,— так часто стали подрываться на минах грузовые и легковые машины и цистерны с бензином.

Не успевала схлынуть молва о крупной аварии где-нибудь на шоссе между Матвеевым Курганом и Новошахтинском на юге, как уже накатывалась новая — о гибели целого транспорта с бензином между Старобельском и Беловодском на севере.

Вдруг взлетел на воздух железобетонный мост через реку Крепенку на главном шоссе сталинградского направления, и даже нельзя было понять, как это могло получиться: мост находился в крупном населенном пункте Боково-Платово и хорошо охранялся немцами. А через несколько дней обрушился в реку громадный железнодорожный мост возле Каменска на магистрали Воронеж — Ростов. Взрыв этого моста, на охране которого был занят взвод немецких автоматчиков с четырьмя станковыми пулеметами, был так силен, что гул взрыва докатился ночью до Краснодона.

Олег догадывался, что взрыв этот произведен, должно быть, совместными усилиями подпольных партийных организаций Краснодона и Каменска. Он догадывался об этом потому, что недели за две до того, как произошел взрыв, Полина Георгиевна вновь потребовала от имени Лютикова связного для направления в Каменск.

Олег выделил Олю Иванцову.

В течение двух недель Оля ни разу не появлялась в орбите деятельности «Молодой гвардии», хотя Олег знал от Нины, что Оля несколько раз возвращалась домой в Краснодон и опять уходила. Она вновь возникла на квартире Олега через два дня после того, как произошел этот знаменитый взрыв, и скромно приступила к исполнению своих повседневных обязанностей связной штаба «Молодой гвардии». Олег понимал, что ее ни о чем нельзя расспрашивать, но иногда ловил себя на том, что с любопытством и интересом вглядывается в ее лицо. Но она словно не замечала этого, была все так же ровна, спокойна, мало разговорчива. Неподвижное лицо ее с неправильными сильными чертами, очень редко освещавшееся улыбкой, было точно нарочно создано для хранения тайн...

К этому времени на дорогах района и далеко за его пределами действовали уже три постоянные боевые группы «Молодой гвардии».

Одна группа — на дороге между Краснодоном и Каменском; она нападала преимущественно на легковые машины с немецкими офицерами. Руководил этой группой Виктор Петров.

Вторая группа — на дорогах Ворошиловград — Лихая; она нападала на машины-цистерны: уничтожала водителей и охрану, а бензин выпускала в землю. Руководил этой группой

освобожденный из плена Женя Мошков, лейтенант Красной Армии.

И третья группа — группа Тюленина, которая действовала повсюду. Она задерживала немецкие грузовые машины с оружием, продовольствием, обмундированием и охотилась за отбившимися и отставшими немецкими солдатами,— охотилась даже в самом городе.

Бойцы групп сходились на задание и расходились после него поодиночке; каждый держал свое оружие в определенном месте в степи, закопанным.

С освобождением из плена Мошкова «Молодая гвардия» получила еще одного опытного руководителя.

Оправившийся после лишений, перенесенных им, плотный, крепенький, как дубок, Мошков ходил неторопливо, развалистой походкой, с обмотанным вокруг шеи вязаным шарфом, очень толстившим его, обутый в сапоги и калоши, снятые им с подходящего по росту «полицая», убитого во время разгрома полицейского участка на хуторе Шевыревка. Сердитый на вид, он был добряк в душе. Пребывание в армии, особенно после того, как он был принят на фронте в партию, приучило его к выдержке и самодисциплине.

Он поступил по своей специальности слесаря все в тот же механический цех мастерских при дирекционе № 10 и по предложению Лютикова был введен в штаб «Молодой гвардии».

Несмотря на то, что «Молодая гвардия» имела уже за своими плечами несколько громких боевых дел, ничто не говорило о том, что немцы озабочены существованием этой организации.

Подобно тому как ручьи и реки образуются в результате незаметного для глаза мельчайшего движения подземных вод, так и действия «Молодой гвардии» незаметно вливались в глубоко скрытое широкое движение миллионов людей, стремившихся вернуться к своему естественному состоянию, в каком они находились до прихода немцев. И в этом изобилии направленных против немцев больших и малых поступков и дел долгое время немцы не видели особого следа «Молодой гвардии».

Фронт отодвинулся теперь так далеко, что немцам, стоявшим в Краснодоне, этот город представлялся чуть ли не глухой заштатной провинцией германского райха. Если бы не действия партизан на дорогах, казалось бы, что здесь навеки утвердился «новый порядок».

Все притихло на фронтах войны — на западе и востоке, на севере и на юге, точно прислушиваясь к раскатам великой Ста-

линградской битвы. И в ежедневных кратких сообщениях на протяжении сентября, потом октября о боях в районе Сталинграда и в районе Моздока было уже что-то настолько привычное и постоянное, что казалось — так уже всегда и будет.

Совсем прекратился поток пленных, которых гнали через Краснодон с востока на запад. Но с запада на восток все продолжали двигаться немецкие и румынские воинские части, обозы, пушки и танки; они уходили и уже не возвращались, а все шли новые, и в Краснодоне постоянно дневали и ночевали немецкие, румынские солдаты и офицеры, и тоже казалось, что уже всегда так и будет.

В доме Коростылевых и Кошевых несколько дней стояли одновременно немецкий офицер, летчик-«ас», возвращавшийся на фронт из отпуска после ранения, и румынский офицер с денщиком — веселым малым, который говорил по-русски и крал что ни попадя, вплоть до головок чеснока и рамок от семейных фотографий.

Офицер-румын в форме салатного цвета, при галстуке и с золотыми витыми погончиками был маленький, с черными усиками и глазками навыкате, очень подвижной, даже кончик его носа находился в постоянном движении. Обосновавшись в комнатке дяди Коли, он все дни проводил вне дома, ходил по городу в штатской одежде, обследуя шахты, учреждения, воинские части.

— Что это твой хозяин в штатском ходит? — спросил дядя Коля денщика, с которым у него установились почти приятельские отношения.

Веселый денщик надул щеки, хлопнул по ним ладошками, выстрелив воздухом, как в цирке, и очень добродушно сказал:

— Шпион!..

После этого разговора дядя Коля уже никогда не мог найти своей трубки.

Немецкий «ас» расположился в большой комнате, вытеснив Елену Николаевну к бабушке, а Олега в сарай. Это был крупный белый мужчина с красными глазами, весь в орденах за бои над Францией и за Харьков. Он был феерически пьян, когда его привели сюда из комендатуры, и он провел здесь несколько дней только потому, что продолжал пить и днем и ночью и никак не мог протрезвиться. Он стремился вовлечь в свое пьянство все население дома, кроме румын, существования которых он просто не замечал, он буквально секунды не мог просуществовать без собеседников. На невыносимом немецко-русском языке он пояснял, как он побьет сначала большевиков, потом англичан, потом американцев и как тогда уже все будет хорошо. Но под конец пребывания он впал в предельную мрачность.

— Сталинград!.. Ха!.. — говорил он, подымая багровый указательный палец. — Большевик стреляйт... пу! Мне капут!.. — И мрачные слезы выступали на его красных веках...

Перед отъездом он протрезвился ровно настолько, чтобы настрелять себе из маузера кур по дворам. Ему некуда было их спрятать, он связал их за ноги, и они лежали у крыльца, пока он собирал свои вещи.

Румын-денщик подозвал Олега, надул щеки, выстрелил воздухом, как в цирке, и указал на кур.

— Цивилизация! — сказал он добродушно.

И Олег уже никогда не видел больше своего перочинного ножика.

При «новом порядке» в Краснодоне образовались такие же «сливки общества», как в каком-нибудь Гейдельберге или Баден-Бадене, — целая лестница чинов, положений. На вершине этой лестницы стояли гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер и глава дирекциона лейтенант Швейде. Привыкший работать в раз навсегда определенной и со всех сторон предусмотренной чистенькой обстановке немецких предприятий, он сам не заметил, как превратил в своеобразную программу хозяйствования высказанное им когда-то Баракову недоумение по поводу положения дел в подведомственных ему предприятиях. В самом деле, если рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, крепежного леса нет, да и шахтто, собственно говоря, нет, то в таком случае и угля нет. И он аккуратно справлял свою должность только в том смысле, что регулярно по утрам проверял, дают ли русские конюхи овес немецким лошадям дирекциона, и подписывал бумаги. Остальное время он с еще большей энергией посвящал собственному птичнику, свинарнику и коровнику и устройству вечеринок для чинов немецкой администрации.

Немного пониже на ступеньках этой лестницы стояли Фельднер, заместитель Швейде, обер-лейтенант Шприк и зондерфюрер Сандерс в своих трусиках. Еще ниже — начальник полиции Соликовский и бургомистр Стаценко, очень солидный, пьяный с утра, в определенный час аккуратно шагавший с зонтиком по грязи в городскую управу и так же аккуратно возвращавшийся из нее, будто он действительно чем-то управлял. А на самом низу лестницы находился унтер Фенбонг со своими солдатами, и они-то все и делали.

Как бесприютен и несчастен был любимый шахтерский городок, когда хлынули октябрьские дожди! Весь в грязи, без топлива, без света, лишенный заборов, с вырубленными палисадниками, с выбитыми окнами в пустых домах, из которых вещи были выкрадены проходящими солдатами, а мебель —

чинами немецкой администрации, обставлявшими свои квартиры. Люди не узнавали друг друга, встречаясь,— так все исхудали, обносились, прожились. И бывало, даже самый простой человек внезапно останавливался посреди улицы или просыпался ночью в постели от мысли: «Да неужели все это правда? Не сон ли это? Не наваждение? Уж не сошел ли я с ума?»

И только вдруг неизвестно откуда возникшая на стенке дома или на телеграфном столбе маленькая, мокрая от дождя листовка, обжигавшая душу огненным словом «Сталинград», да грохот очередного взрыва на дороге вновь и вновь говорили людям: «Нет, это не сон и не наваждение, это правда. И борьба идет!»

В один из таких дней, когда крупный осенний дождь с ветром лил уже несколько суток, Любка была доставлена из Ворошиловграда немецкой серой машиной низкой посадки, и молодой лейтенант, немец, выскочив первым, подержал ей дверцу и откозырял, когда она, не оглядываясь, с чемоданчиком в руке взбежала на крыльцо родного дома.

На этот раз Евфросинья Мироновна, мать ее, не выдержала и, когда они ложились спать, сказала:

— Ты бы поостереглась, Любушка... Простые люди, знаешь, что говорят? «Больно она к немцам близка»...

— Люди так говорят? Это хорошо, это, мамочка, мне даже очень удобно, — сказала Любка, засмеялась и уснула, свернувшись калачиком.

На другое утро Ваня Земнухов, узнавший об ее приезде, почти бегом пронесся на длинных ногах громадным пустырем, отделявшим его улицу от «Восьмидомиков», и в грязи по колено, окоченевший от дождя, вскочил в большую горницу к Шевцовым, даже не постучавшись.

Любка одна-одинешенька, держа перед собой в одной руке маленькое зеркальце, а другой то поправляя свои нерасчесанные, развившиеся локоны, то оглаживая у талии простое зеленое домашнее платьице, ходила по диагонали по комнате босиком и говорила примерно следующее:

— Ах ты, Любка-Любушка! И за что так любят тебя мальчишки, я просто не понимаю... И чем же ты хороша собой? Фу! Рот у тебя большой, глазки маленькие, лицо неправильное, фигурка... Ну, фигурка, правда, ничего... Нет, фигурка определенно ничего... А так, если разобраться... И хотя бы ты гналась за ними, а то ведь совершенно нет. Фу! Гнаться за мальчишками! Нет, я просто не понимаю...

И, склоняя перед зеркальцем голову то на один бок, то на другой, потряхивая кудрями, она, звонко отбивая босыми ногами, пошла чечеткой по диагонали комнаты, напевая:

Любка, Любушка,
Любушка-голубушка...

Ваня, с невозмутимым спокойствием наблюдавший за ней, посчитал, что пришло время кашлянуть.

Любка, не только не растерявшись, а приняв скорее выражение вызывающее, медленно опустила зеркало, повернулась, узнала Ваню, сощурила голубые глаза и звонко рассмеялась.

— Судьба Сережки Левашова мне совершенно ясна,— сказал Ваня глуховатым баском, — ему придется добывать тебе черевички у самой царицы...

— Ты знаешь, Ваня, это просто удивительно, я даже тебя больше люблю, чем этого Сережку! — говорила Любка с некоторым все же смущением.

— А я так плохо вижу, что, откровенно говоря, мне все девушки кажутся на одно лицо. Я различаю их по голосу, и мне нравятся девушки с голосами низкими, как у дьякона, а у тебя, понимаешь, он как-то колокольчиком! — невозмутимо говорил Ваня. — У тебя дома кто есть?

— Никого. Мама у Иванцовых.

— Присядем. И отложи зеркало, чтобы меня не нервировать. Любовь Григорьевна! За своими повседневными делами задумывалась ли ты над тем, что близится двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской революции?

— Конечно! — сказала Любка, хотя, по совести сказать, она об этом просто забыла.

Ваня склонился к ней и что-то шепнул ей на ухо.

— Ах, здорово! Вот молодцы-то! Придумали чего! — И она от всего сердца поцеловала Ваню прямо в губы, и он чуть не уронил очки от смущения.

... — Мамочка! Тебе приходилось в жизни красить какие-нибудь носильные вещи?

Мать смотрела на Любку не понимая.

— Скажем, была у тебя белая кофточка, а ты хочешь, чтобы она стала... синяя.

— Как же, приходилось, доню.

— А чтоб была красная, тоже приходилось?

— Да это и все равно, какая краска...

— Научи меня, мамочка, может быть, я себе что-нибудь покрашу.

...— Тетя Маруся, тебе не приходилось перекрашивать одежду из одного цвета в другой? — спрашивал Володя Осьмухин у своей тетки Литвиновой, жившей с детьми в домике неподалеку от Осьмухиных.

— Конечно, Вова, приходилось.

— Ты не могла бы мне покрасить в красный цвет две-три наволочки?

— Они же, бывает, очень красятся, Вовочка, у тебя будут щеки красные и уши.

— Нет, я не буду на них спать, я их буду днем надевать, просто для красоты...

...— Папа, я уже убедился, что ты прекрасно делаешь краски не только для дерева, а даже для металла. Не можешь ли ты покрасить в красный цвет одну простыню? Понимаешь, опять просят меня эти подпольщики: «Дай нам одну красную простыню». Ну, что ты им скажешь! — так говорил Жора Арутюнянц отцу.

— Покрасить можно. Но... все-таки простыня! А мама? — с опаской отвечал отец.

— В конце концов уточните между собой вопрос, кто из вас главный в доме — ты или мама? В конце концов!.. Вопрос ясен: нужна абсолютно красная простыня...

После того как Валя Борц получила записку от Сережки, Валя никогда не заговаривала с ним об этой записке, и он никогда не спрашивал ее. Но с того дня они были уже неразлучны. Они стремились друг к другу, едва только занимался день. Чаще всего Сережка первый появлялся на Деревянной улице, где не только привыкли к худенькому пареньку с жесткой курчавой головой, ходившему босиком даже в эти холодные дождливые дни октября, а полюбили его — и Мария Андреевна и особенно маленькая Люся, хотя он большей частью молчал в их присутствии.

Маленькая Люся даже спросила однажды:

— Почему вы так не любите ходить в ботинках?

— Босому танцевать легче, — с усмешкой сказал Сережка.

Но после того он уже приходил в ботинках, — он просто не мог найти времени, чтобы их починить.

В один из дней, когда среди «молодогвардейцев» внезапно пробудился интерес к окраске материй, Сережка и Валя должны были, уже в четвертый раз, разбросать листовки во время киносеанса в летнем театре.

Летний театр, в прошлом клуб имени Ленина, помещался в дощатом высоком длинном здании с неуютной, всегда открытой сценой, перед которой в дни сеансов опускалось полотно. Люди сидели на некрашеных длинных скамьях, врытых в землю,— уровень их повышался к задним рядам. После занятия Краснодона немцами здесь демонстрировались немецкие фильмы, большей частью военно-хроникальные; иногда выступали бродячие эстрадные труппы с цирковыми номерами. Места в театре были не нумерованы, входная плата одинакова для

всех; какое место занять, зависело от энергии и предприимчивости зрителя.

Валя, как всегда, пробралась на ту сторону зала, ближе к задним рядам, а Сережка остался по эту сторону от входа, ближе к передним. И в тот момент, как потух свет и в зале еще шла борьба за места, они веером пустили листовки в публику.

Раздались крики, взвизгивания. Листовки расхватали. Сережка и Валя сошлись в обычном условном месте, возле четвертого от сцены столба, подпиравшего здание. Народу, как всегда, было больше, чем мест. Сережка и Валя остались среди зрителей в проходе. В тот момент, как из будки на экран пал синий с искрами, пыльный конус света, Сережка чуть тронул локтем локоть Вали и указал глазами левее экрана. Закрывая всю эту часть сцены, с верхней рампы свисало большое темно-красное, с белым кругом и черной свастикой посредине, немецко-фашистское знамя; оно чуть колыхалось от движения воздуха по залу.

— Я — на сцену, а ты выйдешь с народом, заговоришь с билетершей... Если пойдут зал убирать, задержи хоть минут на пять,— шепнул Сережка Вале на ухо.

Она молча кивнула головой.

На экране, поверх немецкого названия фильма, возникла, белыми буквами, надпись по-русски: «Ее первое переживание».

— Потом к тебе?—спросил Сережка с некоторой робостью.

Валя кивнула головой.

Едва потух свет перед последней частью, Сережка отделился от Вали и исчез. Он исчез бесследно, как мог исчезать только один Сережка. Нигде в проходах, где стояли люди, не заметно было никакого движения. Все-таки ей любопытно было, как он сделает это. Валя стала продвигаться ближе к выходу, не спуская глаз с маленькой дверцы справа от экрана, через которую Сережка только и мог незаметно проникнуть на сцену. Сеанс кончился. Публика с шумом повалила к выходу, зажегся свет, а Валя так ничего и не увидела.

Она вышла из театра с толпой и остановилась против выхода, под деревьями. В парке было темно, холодно, мокро, листья еще не все опали и от влаги перемещались с таким звуком, будто вздыхали. Вот уже последние зрители выходили из театра. Валя подбежала к билетерше, нагнулась, будто ища что-то на земле в прямоугольнике слабого света, падающего из зрительного зала через распахнутую дверь.

— Вы не находили здесь кошелька, маленького, кожаного?

— Что ты, девушка, где мне искать, только народ вышел! — сказала пожилая билетерша.

Валя, нагибаясь, щупала пальцами то там, то здесь растоптанную ногами грязь.

— Он непременно где-нибудь здесь... Я, как вышла, достала платок, немного отошла, смотрю — кошелька нет.

Билетерша тоже стала смотреть вокруг.

В это самое время Сережка, забравшийся на сцену не через дверцу, а прямо через перильца оркестра, оттуда, со сцены, изо всей силы дергал знамя, пытаясь сорвать его с верхней рампы, но что-то держало. Сережка вцепился повыше и, подпрыгнув, повис на согнутых руках. Знамя оборвалось, и Сережка едва не упал вместе с ним в оркестр.

Он стоял на сцене один перед полуосвещенным пустым залом с широко распахнутой дверью в парк и аккуратно, не торопясь, свертывал огромное фашистское знамя — сначала вдвое, потом вчетверо, потом в восемь раз, чтобы его можно было поместить за пазухой.

Сторож, закрывавший снаружи вход в будку механика, вышел из темноты на свет, падавший из зала, к билетерше и Вале, искавшим кошелек.

— Свет! Будто не знаешь, что за это бывает! — сердито сказал сторож. — Туши, будем запирать...

Валя кинулась к нему и схватила его за борта пиджака.

— Родненький, одну секундочку! — сказала она умоляюще. — Кошелек уронила, ничего не видно будет, одну секундочку! — повторила она, не выпуская его пиджака.

— Где ж его тут найдешь! — сказал сторож, смягчившись, невольно шаря глазами вокруг.

В это мгновение мальчишка в глубоко насунутой на глаза кепке, невообразимо пузатый, на тоненьких, особенно тоненьких по сравнению с его пузом ногах, выскочил из пустого театра, взвился в воздух, дрыгнул этими тоненькими ногами, издал жалобный звук:

— Ме-е-е-е...

И растворился во мраке.

Валя успела еще лицемерно сказать:

— Ах, какая жалость!..

Но смех так распирал ее, что она закрыла лицо руками и, давясь, почти побежала от театра.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

После объяснения Олега с матерью ничто уже не противостояло его деятельности: весь дом был вовлечен в нее, родные были его помощниками, и мать была первой среди них.

Никто не мог бы сказать, в каком тигле сердца сплавилось у этого шестнадцатилетнего юноши что-то из самого ценного

опыта старших поколений, незаметно почерпнутое из книг, из рассказов отчима, а особенно внушаемое ему теперь его непосредственным руководителем, Филиппом Петровичем Лютиковым,—как сплавилось это в его сердце с испытанным им и его товарищами собственным опытом первых поражений и первых осуществленных замыслов. Но по мере развертывания деятельности «Молодой гвардии» Олег обретал все большее влияние на своих товарищей и сам все больше сознавал это.

Он был настолько общителен, жизнелюбив, непосредствен, что не только мысль о господстве над товарищами, но даже простое невнимание к ним, к их мнению и опыту были противны его душе. Но он все более сознавал, что успех или неуспех их деятельности во многом зависит от того, насколько он, Олег, среди всех своих друзей сможет все предусмотреть или ошибется.

Он был всегда возбужденно-деятелен, всегда весел и в то же время аккуратен, расчетлив, требователен. Там, где дело касалось его одного, в нем еще сказывался мальчишка,— ему хотелось самому расклеивать листовки, жечь скирды, красть оружие и бить немцев из-за угла. Но он уже понимал выпавшую на его долю ответственность за все и за всех и смирял себя.

Он был связан дружбой с девушкой старше его, девушкой необыкновенной простоты, бесстрашной, молчаливой и романтичной, с этими тяжелыми темными завитками волос, спускавшимися на ее круглые сильные плечи, с красивыми, смуглыми до черноты руками и с этим выражением вызова, страсти, полета в раскрылии бровей над карими широкими глазами. Нина Иванцова угадывала каждый его взгляд, движение и— беспрекословно, бесстрашно, точно — выполняла любое его поручение.

Всегда занятые то листовками, то временными комсомольскими билетами, то планом какой-нибудь местности, они могли часами молчать друг возле друга не скучая. А если уж они говорили, они летели высоко над землей: все созданное величием человеческого духа и доступное детскому взору проносилось перед их воображением. А иногда им было так беспричинно весело вдвоем, что они только смеялись — Олег безудержно, по-мальчишески, потирая кончики пальцев, просто до слез, а она с девической, тихой, доверчивой веселостью, а то вдруг женственно, немного даже загадочно, будто таила что-то от него.

Однажды, сильно смущенный, он попросил у Нины разрешения прочесть ей стихи.

— Чьи, твои? — спросила она удивленно.

— Нет. Ты послушай...

Он начал, еще больше заикаясь, но после первых строк вдруг овладел собой:

Пой, подруга, песню боевую,
Не унывай и не грусти.
Скоро наши дорогие
Краснокрылые орлы
Прилетят, раскроют двери
Всех подвалов и темниц.
Слезы высохнут на солнце
На концах твоих ресниц.
Снова станешь ты свободна,
Весела, как Первый май.
Мстить пойдем, моя подруга,
За любимый, милый край...

— Здесь я еще не все доделал, — сказал Олег, снова засмущавшись. — Здесь должно быть, как мы пойдем в армию вместе... Ты хотела бы?

— Это ты мне посвятил? Мне, да?.. — сказала она, обдавая его светом своих сияющих глаз. — Я сразу поняла, что это твои. Почему ты раньше не говорил, что пишешь?

— Я стеснялся,—сказал он с широкой улыбкой, довольный тем, что стихи ей понравились.—Я давно пишу. Но я никому не показываю. Я больше всего Вани стесняюсь. Ведь он, знаешь, как пишет! А я что... У меня, я чувствую, размер не выдержан, да и рифму я с трудом подбираю,—говорил он, счастливый признанием его стихов Ниной.

Да, так случилось, что в этот самый тяжелый период жизни Олег вошел в самую счастливую пору расцвета всех своих юношеских сил.

Шестого ноября, в канун Октябрьского праздника, днем, штаб «Молодой гвардии» собрался в полном составе на квартире Кошевого с участием связных — Вали Борц, Нины и Оли Иванцовых. Олег решил ознаменовать этот день торжественным принятием в комсомол Радика Юркина.

Радик Юркин уже не был тем мальчиком с тихими, кроткими глазами, который сказал Жоре Арутюнянцу: «Ведь я привык рано ложиться». После своего участия в казни Фомина Радик Юркин был включен в боевую группу Тюленина и участвовал в ночных нападениях на немецкие грузовые машины. Он довольно уверенно сидел на стуле у двери и прямо, не мигая, смотрел в окно напротив, через комнату, пока Олег произносил вступительную речь, а потом Тюленин давал характеристику ему, Радику. Иногда в нем пробуждалось любопытство, что же это за люди вершат его судьбу. И он переводил свой спокойный взгляд из-под длинных серых ресниц на членов штаба, сидевших вокруг большого обеденного стола, на-

крытого, как на званом обеде. Но две девушки — одна светлая, другая черная — сейчас же начинали так ласково улыбаться ему, и обе они были так хороши собой, что Радик вдруг чувствовал прилив необыкновенного смущения и отводил взгляд.

— Б-будут вопросы к товарищу Радику Юркину? — спросил Олег.

Все молчали.

— Пусть биографию расскажет, — сказал Ваня Туркенич.

— Расскажи б-биографию.

Радик Юркин встал и, глядя в окно, звонким голосом, каким он отвечал урок в классе, сказал:

— Я родился в городе Краснодоне в тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Учился в школе имени Горького...— На этом и кончалась биография Радика Юркина, но он сам чувствовал, что этого мало, и менее уверенно добавил: — А как немцы пришли, теперь уже не учусь...

Все опять молчали.

— Общественных обязанностей не нес? — спросил Ваня Земнухов.

— Не нес,— с глубоким мальчишеским вздохом сказал Радик Юркин.

— Задачи комсомола знаешь? — снова спросил Ваня, уставившись в стол сквозь свои роговые очки.

— Задача комсомола — бить немецко-фашистских захватчиков, пока не останется ни одного, — очень четко сказал Радик Юркин.

— Что ж, я считаю, парень вполне политически грамотный,— сказал Туркенич.

— Конечно, принять! — сказала Любка, всем сердцем болевшая за то, чтобы все вышло хорошо у Радика Юркина.

— Принять, принять!.. — сказали и другие члены штаба.

— Кто за то, чтобы принять в члены комсомола товарища Радика Юркина? — с широкой улыбкой спросил Олег и сам поднял руку.

Все подняли руки.

— Ед-диногласно,— сказал Олег и встал.— Подойди сюда.

Радик слегка побледнел и подошел к столу меж раздвинувшимися, чтобы дать ему место, серьезно смотревшими на него Туркеничем и Улей Громовой.

— Радик! — торжественно сказал Олег.— По поручению штаба вручаю тебе временный комсомольский билет. Храни его, как собственную честь. Членские взносы будешь уплачивать в своей пятерке. А когда вернется Красная Армия, рай-

ком комсомола обменяет тебе этот временный билет на постоянный...

Радик протянул тонкую загорелую руку и взял билет. Билет был того же размера, что и взаправдашный, сделан из плотной бумаги, на какой чертят планы и карты, сложен вдвое. На лицевой стороне вверху маленькими скачущими типографскими буквами было напечатано: «Смерть немецким оккупантам!» Немного ниже: «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи». Еще ниже, немного покрупнее: «Временный комсомольский билет». На развороте билета слева написаны были фамилия, имя и отчество Радика, год его рождения; ниже — время вступления в комсомол: «6 ноября 1942 года», еще ниже — «Выдан комсомольской организацией «Молодая гвардия» в г. Краснодоне. Секретарь: Кашук». На правой стороне билета были расчерчены графы для уплаты членских взносов.

— Я зашью его в курточку и буду всегда носить с собой, — сказал Радик чуть слышно и спрятал билет во внутренний карман курточки.

— Можешь идти, — сказал Олег.

Все поздравили Радика Юркина и пожали ему руку.

Радик вышел на Садовую. Дождя не было, но было очень ветрено и холодно. Близились сумерки. Этой ночью Радик должен был возглавить группу из трех ребят для проведения большого праздничного задания. Чувствуя у себя на груди билет, Радик с суровым и счастливым выражением лица пошел по улице домой. На спуске ко второму переезду, у здания районного исполкома, где помещалась теперь сельскохозяйственная комендатура, Радик, чуть подобрав нижнюю челюсть, раздвинул губы и издал пронзительный свист—просто так, чтобы немцы знали, что он существует на свете.

Этой ночью не только Радик Юркин, а почти вся организация участвовала в большом праздничном задании.

— Не забудьте: кто освободится, прямо ко мне!—говорил Олег. — Кроме первомайцев!

Первомайцы устраивали на квартире сестер Иванихиных октябрьскую вечеринку.

В комнате остались Олег, Туркенич, Ваня Земнухов и связные — Нина и Оля. Лицо Олега вдруг выразило волнение.

— Д-девушки, м-милые, п-пора,—сказал он, сильно заикаясь. Он подошел к двери в комнату Николая Николаевича и постучал. — Тетя Марина! П-пора...

Марина в пальто, повязывая на ходу платок, вышла из комнаты, за ней дядя Коля. Бабушка Вера и Елена Николаевна тоже вышли из своей комнаты.

Марина, Оля и Нина, одевшись, вышли из дома — они должны были обеспечить охрану ближайших улиц.

Опасная это была дерзость: пойти на это в такой час, когда в домах не спали и люди еще ходили по улицам, но разве можно было упустить это?!

Сумерки сгустились. Бабушка Вера опустила затемнение и зажгла коптилку. Олег вышел во двор к Марине. Она отделилась от стены дома.

— Нема нікого.

Дядя Коля высунулся из форточки и, оглядевшись, протянул Олегу конец провода. Олег прицепил его к шесту и повесил шест на провод возле самого столба так, что и шест и столб слились в темноте.

Олег, Туркенич и Ваня Земнухов сидели в комнате дяди Коли, у письменного стола, держа наготове карандаши. Бабушка Вера, прямая, с непроницаемым выражением, и Елена Николаевна, подавшись вперед, с наивным и немного испуганным выражением лица, сидели поодаль на кровати, обратив глаза к аппарату.

Только дядя Коля с его спокойными, точными руками мог так сразу, бесшумно включиться в нужную волну. Они включились прямо в овации. Разряды в воздухе не давали расслышать голос, который говорил:

— Товарищи! Сегодня мы празднуем двадцатипятилетие победы Советской революции в нашей стране. Прошло двадцать пять лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, двадцать шестого года существования Советского строя...

Туркенич с лицом спокойным и серьезным и Ваня, приблизив очки почти к самой тетрадке, быстро записывали. Записывать не трудно было: Сталин говорил не торопясь. Иногда он смолкал на некоторое время, и слышно было, как он наливает в стакан воду, ставит стакан на место. Все же первое время все их душевные силы уходили на то, чтобы ничего не упустить. Потом они приспособились к ритму речи, и тогда сознание необыкновенности, почти невозможности того, в чем они участвуют, овладело каждым из них.

Тот, кто не сидел при свете коптилки в нетопленной комнатке или в блиндаже, когда не только бушует на дворе осенняя стужа,— когда человек унижен, растоптан, нищ,— кто не ловил окоченевшей рукой у потайного радио свободную волну своей родины, тот никогда не поймет, с каким чувством слушали они эту речь из самой Москвы.

— ...людоед Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, ясно, хотя и глуповато.

Смех в большом зале, донесшийся сюда, мгновенно вызвал улыбки на их лицах, бабушка Вера даже прикрыла рот рукою.

— У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство — можно и должно... Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей.

Буря аплодисментов вызвала потребность выразить и себя в шумном движении, но они не могли этого сделать и только переглядывались.

Все, что неосознанно жило в патриотическом чувстве этих людей, от шестнадцатилетнего мальчика до старой женщины, — все это возвращалось к ним теперь, облеченное в простую, прямую правду фактов и цифр.

Это они, простые люди, на долю которых выпали такие немыслимые страдания и мучения, говорили сейчас всему миру:

— Гитлеровские мерзавцы... насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер... Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных, безоружных людей... Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов...

— Это говорила их надежда и месть...

Дыхание огромного мира, окружающего их маленький городок, затоптанный в грязи сапогами вражеских солдат, мощное содрогание родной земли, биение ночной Москвы врывались в комнату и наполняли их сердца счастьем сознания своей принадлежности к этому миру...

Шум оваций покрывал каждую здравицу речи.

— Нашим партизанам и партизанкам — слава!

— Вы слышали!.. — воскликнул Олег, глядя на всех блестящими, счастливыми глазами.

Дядя Коля выключил радио, и вдруг наступила страшная тишина. Только что это было, и вот уже нет ничего... Позванивает форточка. Осенний ветер свистит за окном. Они сидят одни в полутемной комнатке, и сотни километров горя отделяют их от мира, который только что прошумел...

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Ночь была так черна, что, вплотную соткнувшись лицами, нельзя было видеть друг друга. Сырой, холодный ветер мчался по улицам, завихряясь на перекрестках; он погромыхивал крышами, стонал по трубам, свистел в проводах, дудел в столбах. Нужно было знать город так, как они, чтобы по невылазной грязи, во тьме, выйти точно к проходной будке.

Обычно на этом отрезке дороги — от ворошиловградского шоссе до клуба имени Горького — ходил ночью дежурный «полицаї». Но, видно, грязь и стужа загнали его куда-нибудь под крышу.

Проходная будка была сложена из камня,— это была не будка, а целая башня с зубцами наверху, как в замке, внизу была конторка и проход на территорию шахты. Направо и налево от башни шла высокая каменная стена.

Они были точно созданы для того, чтобы проделать это вдвоем,— широкоплечий Сергей Левашов и Любка со своими сильными ногами и легкая, как огонь. Сергей выставил колено и протянул Любке руки. Она, не видя их, сразу попала в них своими маленькими ручками и тихо засмеялась. Она поставила ногу в ботике на колено к нему и в то же мгновение была уже у него на плечах и положила руки на каменную ограду. Он крепко держал ее за ноги повыше ботиков, чтобы она не упала. Платье ее билось над его головой, как флаг. Она легла животом на ограду, держась с той стороны за стену поджатыми под грудь руками: руки у нее были недостаточно сильные, чтобы подтянуть Сергея, но в такой позе она смогла удержаться, когда он, крепко взявшись за ее талию и упираясь ногами в стену, сам подтянулся на руках и быстрым сильным движением перенес одну, потом другую руку на стену. Теперь Любке осталось только освободить ему место, — он был уже рядом с ней.

Поверхность толстой стены была ребром и мокрая,— очень легко было соскользнуть. Но Сергей стоял крепко, прислонившись лбом к стене башни и распластав по ней руки. Теперь Любка уже сама влезла ему на плечи по спине, — все-таки он был очень силен. Зубцы башни оказались на уровне ее груди, и она легко влезла на башню. Ветер так рвал ее платье и жакет, что казалось — вот-вот сбросит ее. Но теперь самое трудное было позади...

Она вынула из-за пазухи сверточек, нащупала шпагат, продетый сквозь оборку с узкого края, и, не давая развернуться на ветру, прикрепила к флагштоку. И только она отпустила, ветер подхватил это с такой яростной силой, что у Любки за-

билось сердце от волнения. Она достала второй, меньший, сверточек и надвязала у самого подножия флагштока так, что это было уже внутри, за зубцами. Таким же образом, по спине Сергея, она спустилась на стену, но не решилась спрыгнуть в грязь и села, свесив ноги. Сергей спрыгнул и снизу тихо позвал ее, подставив руки. Она не видела его, а только чувствовала его по голосу. У нее вдруг замерло сердце, — она протянула вперед руки, зажмурила глаза и прыгнула. Она упала ему прямо в руки и обняла его за шею, и он подержал ее так некоторое время. Но она высвободилась, спрыгнула на землю и, дыша ему в лицо, возбужденно зашептала:

— Сережка! Захватим гитару, а?

— Идет! И я переоденусь, ты меня всего вывозила своими ботиками, — сказал он, счастливый.

— Ни-ни! Примут нас, какие есть! — Она весело засмеялась.

Вале и Сережке Тюленину достался центр города — самый опасный район: немецкие часовые стояли у здания райисполкома, у здания биржи, «полицай» дежурил у дирекциона, под горой была жандармерия. Но тьма и ветер благоприятствовали им. Сережка облюбовал пустующий дом «бешеного барина», и пока Валя дежурила с той стороны дома, что была обращена к райисполкому, Сережка взобрался по гнилой лестнице, приставленной к чердаку, должно быть, еще в те времена, когда жив был «бешеный барин», — и все обстряпал в пятнадцать минут.

Вале было очень холодно, и она рада была, что все так быстро кончилось. Но Сережка, склонившись к самому ее лицу и смеясь, тихо сказал:

— А у меня еще один в запасе. Давай — на дирекцион!

— А полицай?

— А пожарная лестница?

В самом деле, пожарная лестница была со стороны, противоположной главному подъезду.

— Пошли, — сказала она.

В чернильной тьме они спустились на железнодорожную ветку и долго шли по шпалам. Вале казалось, что они идут уже к Верхнедуванной, но это было не так: Сережка видел в темноте, как кошка.

— Вот здесь,—сказал он.—Только иди за мной, а то слева косогор и вылезешь прямо на школу полицаев...

Ветер бушевал среди деревьев парка, стучал голыми ветками и кропил Валю и Сережку холодными каплями с веток. Сережка уверенно и быстро вел ее из аллеи в аллею, и Валя догадалась, что они подошли к школе,—так сильно грохотала крыша.

Вот уже не слышно стало дрожания железной лестницы, по которой поднимался Сережка. Его все не было и не было. Валя стояла одна в темноте у подножия лестницы. Как бесприютна и ужасна была эта ночь с этим стуком голых веток. И какие слабые, беспомощные в этом темном, ужасном мире были ее мама и она, Валя, и маленькая Люся... А отец? Что, если он бредет сейчас где-нибудь без крова, полуслепой?.. Валя представила себе все огромное пространство донецкой степи, взорванные шахты, мокрые городки и поселки без света, с этими жандармериями... Вдруг ей показалось, что Сережка никогда не спустится с этой грохочущей крыши, и мужество покинуло ее. Но в это мгновение она почувствовала дрожание лестницы, и лицо ее приняло холодное и независимое выражение.

— Ты здесь?.. — Он улыбался в темноте.

Она почувствовала, что он протянул к ней руку, и подала свою. Рука его была холодна, как ледышка. Что только он не переносил, — худенький, в дырявых ботинках, в которых он уже столько часов ходил по грязи, — наверно, они были полны воды, — в старенькой, прохудившейся курточке нараспашку?.. Обеими руками она взяла его за щеки, они тоже были холодные, как ледышки.

— Ты же совсем окоченел, — сказала она, не отнимая рук от его лица.

Он мгновенно притих, и так они постояли некоторое время. Только голые ветки стучали. Потом он прошептал:

— Больше не будем кружить... Отойдем немного да через забор...

Она отняла руки.

Они подошли к домику Олега с той стороны, где жили соседи. Вдруг Сережка схватил Валю за руку, и они оба прижались к стенке. Валя, ничего не понимавшая, подставила ему ухо к самым губам.

— Шли двое навстречу. Услышали нас и тоже остановились... — прошептал он.

— Показалось!

— Нет, стоят...

— Давай отсюда во двор!

Но едва они обогнули дом со стороны соседей, как Сережка опять остановил Валю: те двое проделали то же с противоположной стороны дома.

— Тебе почудилось, наверно...

— Нет, стоят.

Открылась дверь в квартире Кошевых, кто-то вышел и наткнулся на людей, от которых прятались Сережка и Валя.

— Любка? Чего вы не заходите? — раздался тихий голос Елены Николаевны.

— Тсс...

— Свои! — сказал Сережка, и схватив Валю за руку, повлек за собой.

В темноте послышался тихий смех Любки. И она с Сергеем Левашовым с гитарой и Сережка и Валя, давясь от смеха и хватая друг друга за руки, вбежали на кухню к Кошевым. Они были такие мокрые, грязные и такие счастливые, что бабушка Вера подняла длинные костлявые руки в цветастых рукавах и сказала:

— Рятуйте, люди добрые!

За всю их жизнь не было у них такой вечеринки, как эта, при свете коптилок, в нетопленной комнате, в городе, где уже более трех месяцев господствовали немцы.

Было удивительно, как все молодые люди, двенадцать человек, уместились на одном диване. Тесно прижавшись один к другому и склонившись головами, они по очереди читали вслух доклад, и лица их невольно выражали то, что одни испытали сегодня, сидя у радио, а другие — в этом ночном походе по грязи. Лица их выражали одновременно то любовное чувство, которое связывало некоторых из них и словно током передавалось другим, и то необыкновенно счастливое чувство общности, которое возникает в юных сердцах при соприкосновении с большой человеческой мыслью, а особенно той мыслью, которая выражает самое важное в их жизни сейчас. На их лицах было такое счастливое выражение дружбы, и светлой молодости, и того, что все будет хорошо... Даже Елена Николаевна чувствовала себя молодой и счастливой среди них. И только бабушка Вера, оперев худое лицо на смуглую ладонь, с какой-то боязнью и неожиданным чувством жалости неподвижно смотрела на молодых людей с высоты своей старости.

Молодые люди прочли доклад и задумались. На лице бабушки появилось лукавое выражение.

— Ой, гляжу я на вас, хлопцы та дивчата, — сказала она, — та хиба ж так можно? Такой великий праздник! Дивиться на стол! Та не вжеж та горилка только для красы! Треба ж ее выпить!

— Ой, бабуня, ты ж у меня краще всех!.. К столу, к столу!.. — закричал Олег.

Главное было — не сильно орать, и всем было очень смешно хором шикать на того, кто повышал голос. Решили все-таки по очереди дежурить возле дома, и очень смешно было выгонять на дежурство того, кто любезничал с соседом или соседкой или просто очень развеселился.

Белоголовый Степа Сафонов в обычном состоянии мог говорить о чем угодно, но если ему приходилось выпить немного вина, он мог говорить только о любимом предмете. Веснушчатый носик Степы Сафонова покрылся бисеринками пота, и он стал рассказывать своей соседке Нине Ивановой о птице фламинго. Все на него зашикали, и его немедленно выгнали на дежурство. Он вернулся как раз в тот момент, когда сдвинули в сторону стол и Сергей Левашов взял гитару.

Сергей Левашов играл в той русской небрежной манере, особенно распространенной среди русских мастеровых, при которой вся поза и особенно лицо исполнителя выражают полную безучастность к тому, что происходит: он не смотрит на танцующих, не смотрит на зрителей и уж, конечно, не смотрит на инструмент, он не смотрит ни на что в особенности, а руки его сами собой выделывают такое, что так и хочется пуститься в пляс.

Сергей Левашов взял гитару и заиграл какой-то модный перед войной заграничный бостон. Степа Сафонов кинулся к Нине, и они закружились.

В этом заграничном танце Любка-артистка была, конечно, лучше всех. Но из мужчин на первом месте был Ваня Туркенич, высокий, стройный, галантный — настоящий офицер. И Любка танцевала сначала с ним, а потом с Олегом, который считался одним из лучших танцоров в школе.

А Степа Сафонов все не отпускал притихшую, словно одеревеневшую Нину, и танцевал с ней все танцы, и очень подробно объяснял Нине, насколько разнится оперение у самца фламинго и у самки фламинго и сколько самка фламинго кладет яиц.

Вдруг лицо у Нины стало красное и некрасивое, и она сказала:

— Мне с тобой, Степа, совершенно неудобно танцевать, потому что ты маленький и мне на ноги наступаешь и все время треплешься.

И она вырвалась от него и убежала.

Степа Сафонов устремился было к Вале, но она уже пошла с Туркеничем. Тогда он подхватил Олю Иванцову. Она была спокойная, серьезная девушка и еще более молчаливая, чем ее сестра, и Степа уже мог совершенно безнаказанно рассказывать ей о необыкновенной птице.

Все же он не забыл обиды и в один из удобных моментов поискал Нину глазами. Она танцевала с Олегом. Олег уверенно и спокойно кружил ее крупное, сильное тело, и улыбка сама собой выступила на губах у Нины, глаза у нее стали счастливые, и она была необыкновенно хороша собой.

Бабушка Вера не выдержала и закричала:

— Ото ж мени танцы! И що воны такое придумали у той заграницi! Сережа, давай гопака!..

Сергей Левашов, даже не поведя бровью, перешел на гопака. Олег, в два прыжка проскочив всю комнату, подхватил бабушку за талию, и она, нисколько не сконфузившись, с неожиданной в ней легкостью так и понеслась вместе с ним, выстукивая башмаками. Только по тому, как плавно кружился над полом темный подол ее юбки, видно было, что бабушка танцует умеючи — бережно и лихость у нее не столько в ногах, сколько в руках, а особенно в выражении лица.

Ни в чем так свободно не проявляется народный характер, как в песне и в пляске. Олег с выражением лукавства, которое у него было не в губах и даже не в глазах, а где-то в подрагивающих кончиках бровей, с расстегнутым воротом рубахи, с выступившими на лбу под волосами капельками пота, свободно и почти недвижимо держа крупную голову и плечи, шел вприсядку с такой — оторви голову! — удалостью, что в нем, как в его бабушке, сразу стал виден природный украинец.

Белозубая, черноокая красавица Марина, ради праздника надевшая на себя все свои монисты, не утерпела, топнула каблуком, развела руки, будто выпустила что-то дорогое, и вихрем пошла вокруг Олега. Но дядя Коля настиг ее, а Олег снова подхватил бабушку за талию, и они понеслись в две пары, стуча каблуками.

— Ой, помрешь, стара! — вдруг крикнула вся раскрасневшаяся бабушка и упала на диван, обвеваясь платочком.

Все зашумели, задвигались, захлопали, танец прервался, но Сергей Левашов, безучастный ко всему, еще играл гопака, будто все это его вовсе не касалось, и вдруг оборвал на половине лада, положив руки на струны.

— Украина забила! — вскричала Любка.— Сережка! Давай нашу поулошную!

И не успел Сергей Левашов тронуть струны, как она уже пошла «русскую», сразу выдав такого дробота своими каблучками, что уже ни на что нельзя было смотреть, как только на ее ноги. Так она прошла, плавно неся голову и плечи, и вышла перед Сережкой Тюлениным, топнула ногой и отошла назад, предоставив ему место.

Сережка с тем безучастным выражением лица, с которым не только играют, а и пляшут русские мастеровые люди, небрежно пошел на Любку, тихо постукивая рваными и много раз чиненными башмаками. Так он прошелся в меру и снова вышел на Любку, топнул и отступил. Она, выхватив платочек,

пошла на него, топнула и поплыла по кругу, с незаметным искусством неся неподвижную голову и только вдруг одаряя зрителя каким-то едва заметным, небрежным чутошным поворотом, в котором, казалось, участвует только один носик. Сережка ринулся за ней и давай чесать нога за ногу все с тем же безучастным выражением, с опущенными руками, но с такой беззаветной преданностью делу, какую его ноги выражали с небрежной и немного комичной старательностью.

Любка, круто сломав ритм вслед за зачастившей гитарой, вдруг повернулась на Сережку, но он все наступал на нее, с такой отчаянностью, с такой безнадежной любовной яростью оттопывая башмаками, что от башмаков стали отлетать кусочки засохшей грязи.

Особенностью его танца было предельное чувство меры,— это была удаль, но удаль, глубоко запрятанная. А Любка черт знает что выделывала своими полными, сильными ногами, лицо ее порозовело, золотистые кудри дрожали, сотрясенные, как если бы они были из чистого золота, и на всех лицах, обращенных на нее, было выражение: «Вот так Любка-артистка!» И только влюбленный в Любку Сергей Левашов не смотрел на нее, лицо его было канонически безучастно ко всему, лишь сильные нервные пальцы его быстро бегали по струнам.

Сережка, сделав полный отчаяния жест, будто он ударил шапкой оземь, решительно пошел на Любку, в такт музыке ударяя себя ладошками по коленкам и подметкам, и так он загнал Любку в окружившее их кольцо зрителей, и оба они остановились, топнув каблуками. Кругом засмеялись, захлопали, а Любка вдруг грустно сказала:

— Вот она, наша поулошная...

И потом она уже больше не танцевала, а сидела рядом с Сергеем Левашовым, положив ему на плечо свою маленькую белую руку.

В этот день штаб «Молодой гвардии», с разрешения подпольного райкома, выдал денежное вспомоществование некоторым находящимся в наиболее бедственном положении семьям фронтовиков.

Средства «Молодой гвардии» составлялись не столько из членских взносов, сколько от продажи из-под полы папирос, спичек, белья, разных продуктов, особенно спирта, которые ребята похищали с немецких грузовых машин.

Днем Володя Осьмухин зашел к своей тетке Литвиновой и подал ей пакет с советскими деньгами: они ходили наряду с марками, только по очень низкому курсу.

— Тетя Маруся, это тебе и Калерии Александровне от наших подпольщиков,— сказал Володя.— Купи что-нибудь детям ради великого праздника...

Калерия Александровна была соседка Литвиновой, тоже жена командира. У обеих были дети, обе сильно бедствовали: немцы не только отобрали у них все вещи, но и вывезли на грузовике большую часть мебели.

Калерия Александровна и тетя Маруся решили отметить праздник званым ужином, купили немного самогонки, испекли пшеничный пирог с начинкой из капусты и картофеля.

К восьми часам на квартире Калерии Александровны, где она жила с матерью и детьми, собрались. Елизавета Алексеевна — мать Володи, его сестра Людмила и тетя Маруся с двумя девочками. Ребята, сославшись на то, что должны побывать у товарищей, обещали прийти позже. Взрослые выпили немного, посетовали, что такой праздник приходится праздновать украдкой. Дети вполголоса спели несколько советских песенок. Родители прослезились. Люся очень скучала. Потом детей отправили спать.

Было уже довольно поздно, когда пришел Жора Арутюнянц. Он ужасно смутился, попав на свет,— оттого, что был весь в грязи, оттого, что не было ребят, и оттого, что ему пришлось сесть рядом с Люсей. От смущения он выпил полстакана самогона, который Люся преподнесла ему, и опьянел. Когда пришли Володя и Толя Орлов, Жора был так мрачен, что даже приход товарищей не вывел его из этого состояния разочарованности.

Ребята тоже выпили. Взрослые были заняты своими разговорами. По отдельным обрывкам фраз, которыми обменивались ребята, Люся поняла, что они были не в гостях.

— Где? — шепотом спросил Володя, перегнувшись к Жоре через Толю «Гром гремит».

— Больница,— мрачно ответил Жора.— А вы?

— Наша школа...— Володя, узкие темные глаза которого загорелись удалью и хитрецой, еще больше перегнулся к Жоре и возбужденно зашептал ему на ухо.

— Как? Не маскировка? — спросил Жора, выйдя на мгновение из своего состояния.

— Нет, всамделишную! — сказал Володя.— Школу жалко, да ни черта, построим новую!

Люся, обидевшись, что они секретничают без нее, сказала:

— Если ты назначаешь свидания, сиди дома. Весь день бегали ребята и какие-то девочки: «Володя дома? Володя дома?»

— Я — как Васька Буслай: «Все на Васькин двор!» — засмеялся Володя.

Толя «Гром гремит» со своими серыми вихрами и мосластыми конечностями вдруг встал и не совсем твердо сказал:

— Поздравляю всех с двадцатипятилетием Великой Октябрьской революции!

Он осмелел оттого, что был пьян. Он стал очень румян, глаза у него стали хитрые, и он стал дразнить Володю какой-то Фимочкой.

А Жора, ни к кому не обращаясь, мрачно глядя перед собой в стол черными армянскими глазами, говорил:

— Конечно, это не современно, но я понимаю Печорина... Конечно, это, может быть, не отвечает духу нашего общества... Но в иных случаях они заслуживают именно такого отношения... — Он помолчал и мрачно добавил: — Женщины...

Люся демонстративно встала со своего места, подошла к Толе «Гром гремит» и стала нежно целовать его в ухо, приговаривая:

— Толечка, ты же у нас совершенно пьяненький.

В общем, начался такой разнобой, что Елизавета Алексеевна со свойственной ей резкостью и житейской практичностью сказала, что пора расходиться.

По привычке заботиться о доме и детях тетя Маруся проснулась едва рассвело; сунула ноги в шлепанцы, накинула домашнее платье, быстро растопила плиту и поставила чайник и, задумавшись, подошла к окну, выходящему на пустырь. С левой стороны его виднелись здания детской больницы и школы имени Ворошилова, а с правой, на холме, — здания райисполкома и «бешеного барина». И вдруг она издала легкий крик... Под сильно пасмурным, с мчащимися по нему низкими рваными тучами небом на здании школы Ворошилова развевался на ветру красный флаг. Ветер то натягивал его с такой силой, что он весь вытягивался в трепещущий прямоугольник, то чуть отпускал его, и тогда он ниспадал складками, и края его завивались и развивались.

Красный флаг еще бо́льших размеров развевался на здании «бешеного барина». Большая группа немецких солдат и несколько человек в штатском стояли у дома, у приставной деревянной лестницы, и смотрели на флаг. Двое солдат стояли на самой лестнице, один в том месте, где она опиралась на крышу, другой чуть пониже, и то поглядывали на флаг, то переговаривались со стоявшими внизу. Но почему-то никто из них не лез выше и не убирал флага. На этой самой высокой точке флаг величественно развевался, видный всему городу.

Тетя Маруся, не помня себя, сбросила шлепанцы, сунула ноги в туфли и, даже не накинув платка, нечесаная, побежала к соседке.

Калерия Александровна в нижней рубашке, с опухшими ногами, на коленях стояла на подоконнике, взявшись руками за наличники, и глядела на флаги с выражением экстаза на лице. Слезы ручьями бежали по ее худым темным щекам.

— Маруся! — сказала она. — Маруся! Это сделано для нас, советских людей. О нас помнят, мы нашими не забыты. Я... я поздравляю тебя...

И они кинулись друг другу в объятия.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Красные флаги развевались не только над зданиями «бешеного барина» и школы имени Ворошилова. Красные флаги развевались над дирекционом и над бывшим райпотребсоюзом, над шахтами № 12, № 7—10, № 2-бис, № 1-бис, над шахтами «Первомайки» и поселка Краснодон.

Народ со всех концов города стекался смотреть на флаги... У зданий и пропускных будок собирались целые толпы. Жандармы и полицейские сбились с ног, разгоняя народ, но никто из них не решался снять флаги: у подножья каждого флага прикреплен был кусок белой материи с черной надписью: «Заминировано».

Унтер Фенбонг, поднявшийся на здание школы имени Ворошилова, обнаружил провод, идущий от флага в чердачное окно. И на чердаке действительно лежала мина под стрехой, — она даже не была замаскирована.

Ни в жандармерии, ни в команде СС не было никого, кто умел бы обращаться с минами. Гауптвахтмайстер Брюкнер послал свою машину в окружную жандармерию в Ровеньки за минерами. Но минеров не оказалось и в Ровеньках, и машина помчалась в Ворошиловград.

Во втором часу дня прибывшие из Ворошиловграда минеры разрядили мину на чердаке школы, а во всех остальных местах мин обнаружено не было.

Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в честь Великой Октябрьской революции, прошла по всем городам и поселкам Донецкого бассейна. Позор немецкой жандармерии уже не мог быть скрыт от фельдкоменданта области в Юзовке генерал-майора Клера. И майстер Брюкнер получил приказ во что бы то ни стало раскрыть и выловить подпольную организацию, в противном случае ему

предлагалось снять с погон серебряные молнии и пойти в солдаты.

Не имея никакого представления об организации, которую ему предстояло выловить, майстер Брюкнер поступил так, как поступали на его месте все жандармерии и гестапо: он снова запустил свой «частый бредень», как назвал это когда-то Сергей Левашов: в городе и в районе были арестованы десятки невинных людей. Но как ни част был бредень, он не захватил никого из районной партийной организации, по указанию которой вывешены были флаги, и никого из членов «Молодой гвардии». Немцы никак не могли предположить, что организация, на деле осуществившая это, состоит из мальчиков и девочек.

И правда, трудно было предположить такое, если в ночь самых страшных арестов виднейший подпольщик Степа Сафонов, склонив набок белую голову и намусливая карандаш слюнями, записывал в своем дневнике:

«Часов в пять ко мне зашел Сенька, позвал в гости на Голубятники, сказал: будут хорошие дивчата. Мы пошли, посидели немного. Двое-трое дивчат было ничего, а остальные дрянь...»

Во второй половине ноября от своих людей с хуторов «Молодой гвардии» стало известно, что немцы гонят в тыл из Ростовской области большое стадо скота, полторы тысячи голов. Стадо уже прошло через Донец возле Каменска на правый берег и движется между рекой и большой грунтовой дорогой Каменск — Гундоровская. При стаде, кроме чабанов-украинцев с Дона, шла вооруженная винтовками охрана, двенадцать-тринадцать пожилых немецких солдат из хозяйственной команды.

В ту же ночь, как стало это известно, группы Тюленина, Петрова и Мошкова, вооруженные винтовками и автоматами, сосредоточились в лесистой балке на берегу речонки, впадавшей в Северный Донец, возле деревянного моста, где грунтовая дорога пересекала речонку. Разведка донесла, что стадо ночует километрах в пяти от них среди скирд, развороченных чабанами и солдатами на корм скоту.

Шел крупный холодный дождь со снегом, снег таял, под ногами образовалась грязная мокрая кашица. Ребята, приволочившие на ногах со степи пуды грязи, жались в кучи, согреваясь теплом друг от друга, шутили:

— Ничего себе, попали на курорт!

Рассвет забрезжил такой темный, мутный, сонный и так долго не приходил в себя, будто раздумывал: «Стоит ли вставать в такую отвратительную погоду, уж не вернуться ли обратно да и залечь себе спать?..» Но чувство долга пере-

борало в нем эти ленивые утренние размышления, и рассвет пришел на донецкую землю. В мешанине дождя, снега и тумана можно было видеть шагов на триста.

По приказу Туркенича, возглавлявшего все три группы, ребята, держа на изготовку винтовки окоченевшими, неразгибающимися пальцами, залегли по правому берегу речонки — с той стороны, откуда немцы должны были выйти на мост.

Олег, который тоже принимал участие в операции, и Стахович, взятый ими, чтобы проверить его в боевом деле, лежали на том же берегу, пониже, там, где речонка делала излучину.

За то время, что прошло со дня вывода Стаховича из штаба, Стахович участвовал во многих делах «Молодой гвардии» и почти восстановил свое доброе имя. Это было ему тем легче сделать, что для большинства членов «Молодой гвардии» он никогда не терял его.

По доброму свойству человеческой натуры, присущему иногда и принципиальным людям, люди очень неохотно меняют, считают даже как-то неловким менять привычно сложившееся, перешедшее уже в быт отношение к человеку, хотя неопровержимые факты показали, что человек этот совсем не таков, каким казался. «Выправится!.. Мы все не без слабостей»,— говорят в таких случаях люди.

Не только рядовые члены «Молодой гвардии», ничего не знавшие о Стаховиче, а и большинство из тех, кто был близок к штабу, по привычке относились к Стаховичу так, как если бы с ним ничего не случилось.

Олег и Стахович молча лежали в кустарнике на опавших листьях и осматривали голую, мокрую, мелкохолмистую местность, силясь как можно дальше пробиться взором сквозь струящуюся в тумане сетку дождя и снега. А к ним, все нарастая, уже доносилось разноголосое мычание сотен голов, слившееся в какую-то какофоническую музыку, будто дьявол играл на своей волынке.

— Пить хотят,— тихо сказал Олег.— Они будут их в речонке поить. Это нам на руку...

— Гляди! Гляди! — возбужденно сказал Стахович.

Впереди, левее от них, возникли в тумане красные головы — одна, другая, третья, десять, двадцать, множество голов с странными тонкими рогами, растущими почти прямо вверх и загибающимися острыми концами вовнутрь. Головы были как бы и коровьи, но у коров, даже комолых, без рог, явно обозначаются между ушей выпуклости, наросты, из каких развиваются рога. А у этих существ, туловища которых нельзя было видеть из-за сгустившегося у самой земли ту-

мана, рога росли прямо из гладкого темени. Они, эти существа, возникли из тумана, как химеры.

Они шли, должно быть, не первыми в стаде, а крайними от его левого крыла; там, в глубине за ними, раздавался могучий рев и чувствовалось мощное движение трущихся друг о друга тел и топот тысяч копыт, сотрясавший землю.

И в это время до слуха Олега и Стаховича донеслась оживленная немецкая речь, приближавшаяся спереди, правее по дороге. Чувствовалось по голосам, что немцы отдохнули и хорошо настроены. Они бодро чавкали по грязи своими башмаками.

Олег и Стахович, пригибаясь, почти бегом перешли на то место, где лежали ребята.

Туркенич стоял у глинистого обрывчика берега, не более чем в десяти метрах от моста, с автоматом, который он держал на весу на левой руке. Чуть высунув голову среди кустиков поблекшей, мокрой травы, он смотрел вдаль по дороге. У самых его ног сидел очень сердитый светло-рыжий Женя Мошков, с вязаным шарфом вокруг шеи, тоже с автоматом, навешенным на левую руку, и смотрел на мост. Ребята лежали уступами один за другим, по диагонали вдоль берега. Передним в этой линии был Сережка, а замыкал ее Виктор — оба они тоже были вооружены автоматами.

Олег и Стахович легли между Мошковым и Тюлениным.

Беспечный, неторопливый говор немолодых немецких солдат звучал уже, казалось, над самой головой. Туркенич опустился на одно колено и взял автомат на изготовку; Мошков лег, поправил подвернувшийся мокрый ватник и тоже выставил свой автомат.

Олег с наивным, детским выражением смотрел на мост. И вдруг по мосту застучали ботинки, и группа немецких солдат в заляпанных грязью шинелях, кто небрежно неся винтовку на ремне, а кто закинув ее за спину, вышла на мост.

Длинный ефрейтор с пышными светлыми ландскнехтскими усами, идя среди передних солдат, рассказывал что-то, оглядываясь, чтобы слышали и задние. Он оглядывался, поворачивая лицо на лежавших по берегу ребят, и солдаты с бессознательным любопытством прохожего человека к новому месту тоже смотрели на речку вправо и влево от моста. Но так как они не ожидали видеть здесь партизан, они их и не видели.

И в это мгновение с резким, оглушающим, сливающимся в одну линию звуком заработал автомат Туркенича, за ним Мошкова, и еще, и еще посыпались беспорядочные винтовочные выстрелы.

Все вышло так неожиданно и непохоже на то, как Олег себе представлял это, что он не успел выстрелить: в первое мгновение он смотрел на все это с детским удивлением, потом почувствовал внутренний толчок, что ведь ему тоже нужно стрелять, но в это мгновение уже все кончилось. Ни одного солдата уже не видно было на мосту; большинство солдат упало, а двое, только что вступившие на мост, побежали назад по дороге. Сережка, за ним Мошков, за ними Стахович вскочили на верхний берег и застрелили их.

Туркенич и с ним еще несколько ребят взбежали на мост. Там еще корчился один, и они добили его. Потом они стащили всех солдат за ноги в кусты, чтобы не видно было с дороги, а оружие взяли с собой. Стадо, растянувшись на несколько километров вдоль по речонке, пило воду — прямо с берега или вступив передними, а то и всеми четырьмя ногами в воду, или перебредя на ту сторону,— пило, раздувая влажные ноздри, с таким слитным мощным всасывающим звуком, точно тут работало несколько насосов.

В гигантском этом стаде смешаны были обыкновенные рабочие волы, красные, сивые, рябые, очень медлительные, и толсторогие грудастые бугаи, как вылитые на своих сдвоенных стальных ратицах; коровы разных пород, грациозные нетели и матки в самой поре, с раздувшимися боками, недоенные, с набухшими выменами и красными распухшими сосками; эти странные, державшиеся особняком, не броско светло-красные коровы с рогами, растущими прямо из плоского темени; крупные черно-пестрые и красно-пестрые голландки, такие почтенные, в своих белых разводах, что казалось, будто они в чепцах и передниках.

Чабаны-погонщики, престарелые деды, за жизнь свою словно перенявшие медлительную повадку своих пасомых, а может быть, просто привыкшие за войну к превратностям судьбы, не обращая внимания на стрельбу, которая случилась по соседству, уселись в кружок на мокрую землю, позади стада, и залюлячили. Однако они сразу повставали, увидев вооруженных людей.

Ребята почтительно снимали шапки, здоровались.

— Здравствуйте, господа товарищи! — сказал грибообразный дед с вывернутыми ступнями, одетый поверх полотняной рубахи в недубленую баранью душегрейку без рукавов.

Судя по тому, что в руках у него был плетеный арапник, а не длинный пастуший бич, батиг, как у других, он был старший среди них. Видно, желая успокоить своих дедов, он обернулся к ним и сказал:

— То ж партизаны!..

— Извините, добрые люди,— снова приподняв и надев шапку, сказал Олег,— немецкую охрану мы скончили, просим допомоги скот разогнать по степи, чтоб немцам не достался...

— Хм... Разогнать!..— после некоторого молчания сказал другой дед, маленький, шустрый. — То ж наш скот, с Дону, чего нам его в чужой краине разженять?..

— Что же, вы его обратно погоните? — сказал Олег с широкой улыбкой.

— Оно так, обратно не погонишь,— тотчас же грустно согласился маленький дед.

— А разгоним, может, свои разберут...

— Ай-я-яй, такая ж сила! — вдруг сказал маленький дед с отчаянием и восторгом и схватился за голову.

И так стало понятно, что переживают эти деды, принево́ленные гнать всю эту огромную силу скота с родной земли в чужую, германскую землю. Ребятам стало жалко и скота и дедов. Но медлить нельзя было.

— Диду, дай мени свий батиг! — сказал Олег и, взяв из руки маленького деда пастуший бич, пошел к стаду.

Стадо, по мере того как волы и коровы утоляли жажду, постепенно переходило на ту сторону речки, и часть разбредалась, ища остатков сухой травы, дыша в мокрую голую землю. Часть уныло стояла, подставив спины дождю, или оглядывалась: где, мол, вы, чабаны, что нам делать дальше.

С необычайной уверенностью и спокойствием, точно он попал в свою стихию, Олег, где отпихнув рукой, где хлопнув по животу или по шее, где с треском подхлестнув бичом, расчищал себе дорогу среди скота. Он перешел реку и врезался в самую гущу стада. Дед в бараньей душегрейке пришел к нему на помощь со своим арапником. За ним пошли и остальные деды и все ребята.

Крича и хлопая бичами, они с трудом расчленили стадо надвое, потра́тив на это немало времени.

— Ни, це не дило,—сказал дед в душегрейке.— Вдарьте с автоматов, все одно пропадать...

— А-я-яй!.. — Олег сморщился, как от боли, и почти в то же мгновение лицо его невольно приняло зверское выражение. Он сорвал из-за плеча́ автомат и пустил очередь по стаду.

Несколько волов и коров упало, другие, подраненные, ревя и стеная, ринулись в степь. И вся эта половина стада, почуя запах пороха и крови, веером хлынула по степи,— земля загудела. Сережка и Женя Мо́шков пустили по очереди из автоматов во вторую половину стада, и она тоже снялась.

Ребята бежали вслед, и там, где грудилось по нескольку десятков голов, стреляли по скоту. Вся степь наполнилась выстрелами, мычанием и ревом скота, топотом копыт, хлопаньем бичей и страшными и жалобными криками людей. Иной бугай, подстреленный на бегу, вдруг останавливался, медленно подгибая передние ноги, и грузно падал вперед, на ноздри. Подстреленные коровы мыча подымали свои прекрасные головы и снова бессильно опускали их. Вся местность вокруг покрылась тушами, красневшими в тумане на черной земле...

Когда ребята поодиночке расходились, каждый своей дорогой, долго еще попадались им то там, то здесь разбредшиеся по степи волы и коровы.

Через некоторое время над степью закурился дымок. Это Сережка Тюленин по поручению Туркенича подпалил деревянный мост, чудом уцелевший до сих пор.

Олег и Туркенич уходили вместе.

— Ты обратил внимание на этих коров с рогами, которые растут будто прямо из темени, а наверху загибаются вовнутрь, почти сходятся? — возбужденно спрашивал Олег.— Это из восточной части Сальской степи, а может быть, даже из самой Астраханской. Это индийский скот... Он остался еще со времен Золотой орды...

— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Туркенич.

— В детстве отчим, когда ездил по этим делам, всегда брал меня с собой, он в этом деле был человек знающий.

— А Стахович показал себя сегодня молодцом! — сказал Туркенич.

— Д-да... — неуверенно сказал Олег. — Ездили мы тогда с отчимом. Знаешь, Днепр, солнце, стада огромные в степи... И кто бы мог тогда подумать, что я... что мы...— Олег опять сморщился, как от боли, махнул рукой и молчал уже до самого дома.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

После того как немцы обманом угнали в Германию первую партию жителей города, люди научились понимать, чем это им грозит, и уклоняться от регистрации на бирже.

Людей вылавливали в их домах и на улицах, как в рабовладельческие времена вылавливали негров в зарослях.

Газетка «Нове життя», издававшаяся в Ворошиловграде седьмым отделом фельдкомендатуры, из номера в номер печатала письма к родным от их угнанных детей о якобы

привольной, сытой жизни в Германии и о хороших заработках.

В Краснодоне тоже изредка получали письма от молодых людей, работавших частью в Восточной Пруссии на самых низких работах — батраками, домашней прислугой. Письма приходили без помарок цензуры, в них многое можно было прочесть между строк, но они скупо говорили только о внешних обстоятельствах жизни. А большинство родителей вовсе не получало писем.

Женщина, работавшая на почте, объяснила Уле, что письма, приходившие из Германии, просматривает специально посаженный на почте немец от жандармерии, знающий русский язык. Письма он задерживает и бросает в ящик стола, где они хранятся под ключом, пока их много не накопится,— тогда он их сжигает.

Уля Громова по поручению штаба «Молодой гвардии» ведала всей работой против вербовки и угона молодежи: Уля писала и выпускала листовки, устраивала в городе на работу тех, кому грозил угон, или добивалась с помощью Натальи Алексеевны освобождения под видом болезни, иногда даже прятала по хуторам зарегистрированных и сбежавших.

Уля занималась этим не только потому, что это было ей поручено, а и по какому-то внутреннему обязательству: должно быть, она чувствовала некоторую свою вину в том, что не смогла уберечь Валю от страшной судьбы. Это чувство вины все более преследовало Улю оттого, что ни она, ни Валина мама не имели от Вали никаких вестей.

В первых числах декабря с помощью женщины на почте ребята-первомайцы ночью похитили из стола цензора недоставленные письма. И вот они лежали перед Улей в мешке.

С наступлением холодов Уля снова жила в домике вместе со всей семьей. Как и большинство «молодогвардейцев», Уля скрывала от родных свою принадлежность к организации.

Она пережила тяжелые минуты, когда родители, боясь за нее, попытались устроить ее на работу. Мать, лежа в постели, то исступленно смотрела на нее своими черными глазами большой дикой птицы, то принималась плакать, а старый Матвей Максимович впервые за много лет накричал на дочь. Лицо его побагровело вплоть до лысеющего темени, но было что-то жалкое, несмотря на громадный костистый остов отца и на страшные кулаки, что-то жалкое было в остатках его кудрей на лысеющей голове и в его беспомощности повлиять на дочь.

Уля сказала, что если отец и мать еще хоть раз попрекнут ее куском, она уйдет из дому.

Матвей Максимович и Матрена Савельевна были смущены: она была их любимица. И впервые стало ясно, что старый Матвей Максимович уже утерял свою власть над дочерью, а мать слишком больна, чтобы настоять на своем.

Скрывая свою деятельность, Уля особенно старательно выполняла обязанности по дому, а если уходила надолго, ссылалась на то, что вся жизнь так принижена и бедна, что только и можно отвести душу с подругами. И все чаще она чувствовала на себе долгий скорбный взгляд матери,—мать точно смотрела ей в душу. А отец как-то даже стеснялся Ули и в ее присутствии больше молчал.

Иное положение было у Анатолия: с уходом отца на фронт Анатолий был главным в доме; мать, Таисья Прокофьевна, и младшая сестренка боготворили его и подчинялись ему во всем. И вот Уля сидела перед этим мешком с письмами не у себя дома, а у Анатолия,— он ушел в этот день к Лиле Иванихиной на Суходол,— и, запуская длинные пальцы в конверты, обрезанные цензурой, вынимала письма, бегло просматривала первые строки и бросала письма на стол.

Имена и фамилии, обращения к родителям, сестрам, с традиционными поклонами, трогательные в своей наивности, мелькали перед взором Ули. Их было так много, этих писем, что только одно их проглядывание заняло у нее немало времени. Но среди них не было письма от Вали...

Уля сидела, ссутулившись, опустив руки на колени, и смотрела перед собой с бессильным выражением... Тихо было в домике. Таисья Прокофьевна и сестренка Анатолия уже спали. Маленький огонек коптилки с чуть струившейся с кончика его дымкой копоти то спадал, то вспрядывал, колеблемый дыханием Ули. Ходики над ее головой отсчитывали секунды со своим ржавым звуком: «трик-трак... трик-трак...» Домик Попова, так же как и домик Ули, стоял отдельно среди хуторов, и это ощущение отъединенности их жизни от жизни людей присуще было Уле с детства, особенно в осенние и зимние ночи. Домик Попова был добротный, тонкое звенение ветра, уже немного зимнее, едва доносилось из-за ставен.

Уля чувствовала себя совсем-совсем одинокой в этом мире, полном таинственных недобрых звуков и с этим то спадавшим, то вспрядывавшим огоньком коптилки...

Почему так устроен мир, что люди никогда не могут до конца отдать свое сердце другому?.. Почему, когда так слиты были с самого раннего детства их души, Ули и Вали, почему она, Уля, не бросила своего дома с его повседневными заботами, не отказалась от всех привычек жизни, от родных и товарищей, и не посвятила всех сил тому, чтобы спасти Валю? Вдруг оказаться там, рядом с ней, осушить ее слезы, открыть

ей путь к свободе?..· «Потому, что это невозможно... Потому, что ты отдала свое сердце больше чем одной Вале,— ты отдала его освобождению родной земли»,— отвечал ей внутренний голос. «Нет, нет,— говорила она себе,— не ищи оправданий, ты не сделала этого даже тогда, когда еще было не поздно, потому что ты не нашла чувства в своем сердце, ты оказалась такой же, как и все».

«Но неужели этого нельзя сделать сейчас?..»—думала Уля. И она предалась детским мечтам: она находит мужественных людей, готовых повиноваться ее зову, они преодолевают все препятствия, обманывают немецких комендантов, и там, в этой ужасной стране, Уля находит Валю и говорит ей: «Я сделала все, я не пощадила себя, чтобы спасти тебя, и вот ты свободна...» Ах, если бы это было возможно!.. Но это невозможно. Таких людей нет, и она, Уля, просто слаба для этого... Нет, это мог бы сделать друг — юноша, если бы он был у Вали.

Но разве у нее самой, у Ули, есть такой друг? Кто сделал бы это ради нее, если бы Уля попала в такое положение? Нет у нее такого друга. И, наверно, таких друзей нет на свете...

Но ведь есть же где-нибудь на свете человек, которого она полюбит? Какой он? Она не видела его, но он жил в ее душе — большой, правдивый, сильный, с мужественным, добрым взглядом. Невыразимая жажда любви стеснилась в ее сердце. Закрыть глаза, все забыть, отдать всю себя... И в черных глазах ее, отражавших дымно-золотой огонек коптилки, то исчезали, то вспыхивали счастливые и грозные отсветы этого чувства...

Вдруг тихий-тихий стон, похожий на зов, донесся до Ули. Она вся содрогнулась, и тонко вырезанные ноздри ее затрепетали... Нет, это простонала во сне сестренка Анатолия. Груда писем лежала перед Улей на столе. Тонкие струйки копоти стекали с язычка огня. Чуть доносилось из-за ставенки тихое звенение ветра, и ходики все отсчитывали и отсчитывали свое: «Трик-трак... трик-трак...»

На щеках Ули выступил румянец. Даже себе самой она не могла бы дать отчета, чего она застыдилась: того ли, что из-за мечтаний своих бросила работу, то ли в мечтаниях ее было что-то недосказанное, чего она застыдилась. И она, сердясь на себя, стала внимательно просматривать письма, ища такие, какие можно было бы использовать.

Уля стояла перед Олегом и Туркеничем и говорила:

— Нет, если бы вы их прочли! Это ужасно!.. Наталья Алексеевна говорит, что за все время немцы угнали из города около

восьмисот человек. И уже изготовлен тайный список еще на полторы тысячи с адресами и всем прочим... Нет, нужно сделать что-то страшное, может быть, напасть, когда они поведут партию, может быть, убить этого Шприка!..

— Убить его всегда не мешает, д-да нового пришлют,— сказал Олег.

— Уничтожить списки... И я знаю как: надо сжечь биржу! — вдруг сказала она с мстительным выражением.

Это одно из самых фантастических дел «Молодой гвардии» осуществили вместе Сережка Тюленин и Любка Шевцова с помощью Вити Лукьянченко.

В эти дни уже обозначился перелом на зиму, к ночи довольно сильно примораживало, и смерзшиеся, твердые глыбы и борозды развороченной машинами грязи держались на улицах до той поры, как к полдню солнце начинало пригревать и все немного оттаивало.

Сборный пункт был на огороде Вити Лукьянченко. Они прошли железнодорожной веткой, потом прямо по холму, без дороги. Сережка и Витька несли бак с бензином и несколько бутылок с зажигательной смесью. Они были вооружены. А у Любки все вооружение состояло из бутылки с медом и газеты «Нове життя».

Ночь была такая тихая, что слышен был малейший звук. Неудачный шаг, неосторожное движение баком с его металлическим звуком могло выдать их. И было так темно, что при их отличном знании местности они иногда не могли определить, где находятся. Они делали шаг и слушали, потом делали другой и опять слушали...

Так бесконечно долго тянулось время; казалось, ему конца не будет. И как это было ни странно, когда они услышали шаги часового у биржи, они стали меньше бояться. Шаги часового то явственно звучали в ночи, то смолкали, когда он, может быть, останавливался и прислушивался, а может быть, просто отдыхал у крыльца.

Здание биржи длинным своим фасадом с крыльцом обращено было к сельскохозяйственной комендатуре. Они все еще не видели его, но по звукам шагов часового знали, что вышли сбоку здания, и они обошли его слева, чтобы зайти с задней длинной стены.

Здесь, метрах в двадцати от здания, Витька Лукьянченко остался, чтобы было меньше шума, а Сережка и Люба подкрались к окну.

Любка облила медом нижнее продолговатое стекло в окне и оклеила его газетным листом. Сережка выдавил стекло, треснувшее, но не распавшееся, и вынул его. Работа эта тре-

бовала терпения. Так же они поступили и со стеклом второй рамы.

После этого они отдохнули. Часовой топтался на крыльце, видно, ему было холодно, и им пришлось долго ждать, пока он опять пойдет: они боялись, что на крыльце ему слышны будут шаги Любки внутри здания. Часовой пошел, и Сережка, чуть присев, подставил Любке сцепленные руки. Любка, держась за раму окна, ступила одной ногой Сережке на руки, а другую перенесла через подоконник и, перехватившись рукой за стену изнутри, села верхом на подоконник, чувствуя, как нижние планки оконных рам врезались ей в ноги. Но она уже не могла обращать внимание на такие мелочи. Она все глубже сползала той ногой, чтобы достать пол. И вот Любка была уже там, внутри.

Сережка подал ей бак.

Она пробыла там довольно долго. Сережка очень волновался, чтобы она не наткнулась в темноте на стол или стул.

Когда Любка снова появилась у окна, от нее сильно пахло бензином. Она улыбнулась Сережке, перекинула ногу через подоконник, потом высунула руку и голову. Сережка подхватил ее под мышки и помог ей вылезти.

Сережка один стоял у окна, из которого пахло бензином, стоял до тех пор, пока, по его расчетам, Люба и Витька не отошли достаточно далеко.

Тогда он вынул из-за пазухи бутылку с зажигательной смесью и с силой пустил ее в зияющее окно. Вспышка была так сильна, что на мгновение ослепила его. Он не стал бросать других бутылок и помчался по холму к ветке.

Часовой кричал и стрелял позади него, и какая-то из пуль пропела над Сережкой очень высоко. Местность вокруг то освещалась каким-то мертвенным светом, то опять уходила во тьму. И вдруг взнялся вверх столб пламени, и стало светло, как днем.

В эту ночь Уля легла не раздеваясь. Тихо, чтобы никого не разбудить, она подходила иногда к окну и чуть отгибала затемнение. Но все было темно вокруг. Уля волновалась за Любку и Сережку, и иной раз ей казалось, что она напрасно все это придумала. Ночь тянулась медленно-медленно. Уля вся извелась и задремала.

Вдруг она очнулась и бросилась к выходу, с грохотом опрокинув стул. Мать проснулась и испуганно что-то спросила спросонок, но Уля не ответила ей и выскочила в одном платье во двор.

Зарево стояло за холмами над городом, слышались отдаленные выстрелы и, как Уле показалось, крики. Отсветы пла-

мени даже в этом дальнем районе города выделяли из тьмы крыши домов и пристройку во дворе.

Но вид зарева не вызвал в Уле того чувства, с каким она ожидала его. Зарево и отсветы его на пристройке, крики и выстрелы и испуганный голос матери — все это слилось в Улиной душе в смутное тревожное чувство. Это была тревога и за Любу с Сережкой, и особенно острая за то, как это отразится на всей их организации, когда их так ищут. И это была тревога за то, чтобы во всей этой страшной вынужденной деятельности разрушения не потерять что-то самое большое и доброе, что жило в мире и что она чувствовала в собственной душе. Такое чувство тревоги Уля испытывала впервые.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

22 ноября 1942 года десятки тайных радиоприемников во всех районах Ворошиловградской области приняли сообщение Советского Информбюро «В последний час» о том, что советскими войсками отрезаны две железные дороги, питающие немецкий фронт под Сталинградом, и взято громадное число пленных. И вся та невидная подземная работа, которую исподволь, день за днем, подготовлял и направлял Иван Федорович Проценко, вдруг вышла на поверхность и начала принимать размах всенародного движения против «нового порядка».

Каждый день приносил вести о том, что советские войска развивают свой успех под Сталинградом. И все, что неясно брезжило в душе каждого советского человека, как ожидание, как надежда, вдруг кипящей кровью ударило в сердце: «Идут!»

Ранним утром 30 ноября Полина Георгиевна, как всегда, принесла Лютикову молоко в бидоне. Филипп Петрович ни в чем не изменил распорядка жизни, заведенного им с того дня, как он приступил к работе в мастерских. Было утро понедельника. Полина Георгиевна застала Филиппа Петровича одетым в старый, лоснившийся от постоянного соприкосновения с металлом и машинным маслом костюм, — Филипп Петрович собирался на работу. Это был все тот же костюм, который Филипп Петрович надевал и раньше, до оккупации, в рабочее время. Придя к себе в конторку, он надевал еще поверх костюма синий рабочий халат. Разница состояла в том, что раньше халат этот так и хранился в шкафу, в конторке, а теперь Филипп Петрович носил его с собой свернутым под мышкой. Халат уже лежал в кухне на табурете, дожидаясь, пока Филипп Петрович поест.

По лицу Полины Георгиевны Филипп Петрович понял, что она опять принесла новости, и новости благоприятные. Пошутив для приличия с Пелагеей Ильиничной, хотя в этом не было никакой нужды,— за все эти месяцы совместной жизни Пелагея Ильинична, верная себе, ни разу не показала, что она хоть что-нибудь видит,— Лютиков и Полина Георгиевна прошли к нему в комнатку.

— Вот, переписала специально для вас... Принято вчера вечером,— с волнением сказала Полина Георгиевна, доставая из-под кофточки на груди мелко исписанный клочок бумажки.

Вчера утром она передала ему сообщение Совинформбюро «В последний час» о крупном наступлении советских войск на Центральном фронте, в районе Великих Лук и Ржева. Теперь это было сообщение о выходе наших войск на восточный берег Дона.

Некоторое время Филипп Петрович неподвижно смотрел на бумажку, потом поднял на Полину Георгиевну строгие глаза и сказал:

— Капут... Гитлер капут...

Он сказал теми словами, какими, по рассказам очевидцев, говорили немецкие солдаты, сдаваясь в плен. Но он сказал это очень серьезно и обнял Полину Георгиевну. Счастливые слезы выступили у нее на глазах.

— Размножить? — спросила она.

В последнее время они почти не выпускали своих листовок, а распространяли печатные сообщения Совинформбюро, которые сбрасывали в условных местах советские самолеты. Но вчерашнее сообщение было настолько важным, что Филипп Петрович велел выпустить листовку.

— Пусть соединят в одну. Этой ночью вывесим,— сказал он.

Он вынул из кармана зажигалку, поджег клочок бумажки над пепельницей, растер пепел и, толкнув форточку, выдул пепел в огород.

В лицо Филиппу Петровичу пахнул морозный воздух, и Филипп Петрович вдруг задержал взгляд на инее, покрывавшем обожженные морозом листья подсолнухов и тыкв в огороде.

— Сильный мороз был? — спросил он с некоторой озабоченностью.

— Как и вчера. Лужи до дна промерзли, еще и не тают.

На лбу Филиппа Петровича собрались морщины, и некоторое время он стоял, думая о чем-то своем. Полина Георгиевна ждала от него еще каких-нибудь распоряжений, но он точно забыл о ней.

— Я пойду,— тихо сказала она.

— Да, да,— отозвался он, словно бы очнувшись, и так глубоко, тяжело вздохнул, что Полина Георгиевна подумала: «Уж здоров ли он?»

Филипп Петрович не был здоров: его мучили подагра, одышка, но он уже давно был так нездоров, и не этим было вызвано его глубокое раздумье.

Филипп Петрович знал, что в их положении беда всегда приходит с того конца, откуда не ждешь.

Положение Лютикова, как руководителя организации, было выгодным. Выгода его положения состояла в том, что он не имел непосредственных сношений с немецкой администрацией и мог действовать наперекор ей, не неся перед ней ответственности. Ответственность перед немецкой администрацией нес Бараков. Но именно поэтому там, где дело касалось производства, Бараков, по указанию Лютикова, делал все, чтобы выглядеть и перед администрацией и перед рабочими, как директор, старающийся для немцев. Все, кроме одного: Бараков не должен был видеть того, что Лютиков делает против немцев.

Внешне это выглядело так: энергичный, деятельный, распорядительный Бараков отдает все свои силы на то, чтобы созидать,— и это видят все; незаметный, скромный Лютиков все разрушает,— и этого не видит никто. Дело не идет? Нет, в общем оно даже идет, но идет медленнее, чем хотелось бы. Причины? Причины все те же: «Рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, а на нет и суда нет».

По существующему между Бараковым и Лютиковым распределению труда, Бараков, почтительно приняв от начальства ворох распоряжений и указаний, предупреждал о них Лютикова и развивал бешеную деятельность, чтобы осуществить эти указания и распоряжения. А Лютиков все разрушал.

Бешеная деятельность Баракова по восстановлению производства была совершенно бесплодна. Но она отлично прикрывала другую, приносящую наглядные плоды, деятельность Баракова как руководителя и организатора партизанских налетов и диверсий на дорогах, проходящих через Краснодонский и близлежащие районы.

Лютиков после гибели Валько принял на себя организацию саботажа на всех угольных и прочих предприятиях города и района, и прежде всего — в Центральных электромеханических мастерских: от них главным образом и зависело восстановление оборудования в шахтах и на других предприятиях.

Предприятий в районе было много, контроль над ними немецкая администрация не могла осуществить за отсутствием

нужного числа верных ей людей. И везде происходило то, что народ со стародавних времен окрестил словом «волынка»: люди не работали, а «волынили».

Находились люди, добровольно, по собственному почину бравшие на себя роль главных «волынщиков».

Например, Виктор Быстринов, приятель Николая Николаевича, работал в дирекционе на должности, схожей с должностью делопроизводителя или писаря. Инженер по образованию и по призванию, он не только сам ничего не делал в дирекционе, но группировал вокруг себя всех ничего не делающих на шахтах и учил их, что надо делать, чтобы и все остальные люди на шахтах ничего не делали.

С некоторых пор к нему повадился ходить старик Кондратович, оставшийся после гибели своих товарищей — Шевцова, Валько и Костиевича — один, как старый высохший дуб на юру. Старик не сомневался, что немцы не тронули его из-за сына, который, занимаясь шинкарством, вел дружбу с полицией и низшими чинами жандармерии.

Впрочем, в минуты редких душевных откровений сын утверждал, что немецкая власть для него менее выгодна, чем советская.

— Больно люди обедняли, ни у кого денег нет! — признавался он с некоторой даже скорбью.

— Обожди, братья с фронта вернутся, будешь ты на небеси, иде же несть бо ни печаль, ни воздыхание,— спокойно говорил старик своим низким хриплым голосом.

Кондратович по-прежнему нигде не работал и целыми днями слонялся по мелким шахтенкам да по шахтерским квартирам и незаметно для себя превратился в копилку всех подлостей, глупостей и промахов немецкой администрации на шахтах. Как старый рабочий великого опыта и мастерства, он презирал немецких администраторов; его презрение к ним росло с тем большей силой, чем больше он убеждался в их хозяйственной бездарности.

— Судите сами, товарищи молодые инженеры,— говорил он Быстринову и дяде Коле,— все у них в руках, а по всему району — две тонны в сутки! Ну, я понимаю,— капитализм, а мы, так сказать,— на себя. Но ведь у них полтора века позади, а нам двадцать пять лет,— учили же их чему-нибудь! И к тому ж — хваленые на весь свет хозяева, прославленные финансисты, всесветный грабеж организовали. Тьфу, прости господи! — хрипел старик на чудовищных своих низах.

— Выскочки! У них и с грабежом в двадцатом веке не выходит: в четырнадцатом году их побили и сейчас побьют. Хапнуть любят, а творческого воображения нет. Люмпены да ме-

щане на верхушке жизни... Полный хозяйственный провал на глазах всего человечества! — злобно оскаливаясь, говорил Быстринов.

И два молодых инженера да престарелый рабочий без особых усилий разрабатывали планы на каждый день, как разрушить те немногие усилия, какие Швейде затрачивал на добычу угля.

Так деятельность многих десятков людей подпирала деятельность подпольного райкома партии.

Труднее и опаснее было проделывать все это Филиппу Петровичу в мастерских, где он сам работал. Он придерживался такого правила: безотказно выполнять все мелкие заказы, которые сами по себе не имеют решающего значения в производстве, и тянуть, тянуть до бесконечности выполнение заказов крупных. В мастерских с самых первых дней их работы при немцах ремонтировалось несколько прессов, насосное оборудование нескольких крупных шахт, но до сих пор ничто не было ни отремонтировано, ни восстановлено.

Нельзя было, однако, настолько подводить директора Баракова, чтобы ни одна из мер, принимаемых им, не давала результатов. Поэтому некоторые работы доводились до конца или почти до конца, но неожиданная авария приостанавливала все дело. Беспрестанно выводился из строя мотор, — в него просто подсыпали песочку. Пока ремонтировался мотор, ставили двигатель, но вдруг и двигатель выходил из строя: перегревали цилиндр и пускали холодную водичку. Для этих мелких и мельчайших диверсий у Филиппа Петровича во всех цехах были свои люди, которые формально подчинялись начальникам своих цехов, но на деле выполняли только указания Лютикова.

В последнее время Бараков нанял много новых рабочих — из числа бывших военных. В кузнечном цехе работали молотобойцами двое коммунистов — офицеров Красной Армии. Это были командиры партизанских групп, совершавших ночами крупные диверсии на дорогах. Чтобы оправдать отлучки своих людей с производства, широко практиковались фиктивные командировки на предприятия, расположенные в других районах, за инструментом или для пополнения оборудования. А чтобы не возбуждать подозрений у рабочих, не вовлеченных в подпольную организацию, им тоже давались такие командировки. Рабочие убеждались, что действительно невозможно добыть ни оборудования, ни инструментов, а начальство видело, что директор и руководители цехов стараются. Дело не двигалось на законных основаниях.

Мастерские превратились в главный центр подпольной организации Краснодона: не известные никому силы были сосре-

доточены в одном месте, всегда под рукой,— сноситься с ними было легко и просто. Но в этом же была и своя опасность.

Бараков работал смело, выдержанно и организованно. Военный человек и инженер, он был внимателен к мелочам.

— У меня, знаешь, так дело поставлено, что комар носу не подточит,— говорил он Филиппу Петровичу в хорошую минуту. — Почему мы должны исходить из того, что мы их глупее? — говорил он. — А если мы их умнее, обязаны перехитрить. И перехитрим!

Филипп Петрович опускал себе на грудь массивный подбородок, так что лицо еще больше оплывало книзу, — это всегда было признаком недовольства у Филиппа Петровича,— и говорил:

— Больно легко ты судишь. Это же немцы—фашисты. Они ни умней, ни хитрей тебя, верно. Да зачем им знать, прав ты или нет? Увидят, дело не идет, и свернут тебе голову, даже не поморщатся. А на твое место поставят подлеца. И всем нам или крышка, или — бежать. А бежать мы не имеем права. Нет, брат, мы ходим на острие ножа, и если уж ты осторожен, будь осторожней втрое.

Вот о чем все чаще думал Филипп Петрович, грузно ворочаясь на постели в темной своей комнатке, и сон бежал от него. И еще он думал о том, что время идет, идет...

Чем дольше затягивалось выполнение заказов, чем больше неполадок, срывов, аварий накапливалось на счету Баракова, тем двусмысленней становилось его положение перед немецкой администрацией. Но еще опаснее было то, что с течением времени все более широкий круг людей, работавших в мастерских,— а среди них было немало опытных мастеровых,— все больше приходил и не мог не прийти к пониманию того, что кто-то на этом предприятии сознательно вредит делу.

Бараков, который вращался среди немцев и говорил по-немецки и был требователен на производстве, считался в рабочей среде человеком немецким. Его сторонились, и здесь, в мастерских, на него едва ли могло выпасть подозрение. Подозрение могло выпасть только на Филиппа Петровича. Все-таки очень мало нашлось людей в Краснодоне, которые поверили в то, что Лютиков искренне работает на немцев. Он принадлежал к тому типу рабочих России, которых называли в старину совестью рабочего класса. Все его знали, доверяли ему,— народ не ошибается.

В цехе в непосредственном подчинении Филиппу Петровичу работало несколько десятков человек. И как бы Филипп Петрович ни отмалчивался, как бы скромно он ни держался, люди-производственники не могли не видеть, что указания Филиппа

Петровича, высказываемые походя, как бы в некоторой неуверенности или растерянности перед трудностями, идут во вред производству.

Деятельность его слагалась из мелочей, каждая из них в отдельности не была заметна. Но время шло, мелочи наслаивались одна на другую, превращались в нечто большее, и Филипп Петрович тоже становился все заметнее. Люди, окружавшие Филиппа Петровича, были в подавляющем большинстве свои люди. Он догадывался, что среди подчиненных ему немало людей, подобных его хозяйке Пелагее Ильиничне. Они все видят, сочувствуют ему, но не подают об этом виду ни ему, ни другим, ни даже себе. Но для того чтобы быть раскрытым, не нужно много подлецов — при случае достаточно и одного труса.

Самой ответственной работой, возложенной на мастерские, была работа по восстановлению крупнейшей краснодонской водокачки, обслуживавшей группу шахт, снабжавшей водой центральную часть города и самые мастерские. Работа по ее восстановлению была возложена на Баракова около двух месяцев тому назад, а он перепоручил ее Филиппу Петровичу.

Несложная эта работа, как и все остальные, производилась вопреки здравому смыслу. В водокачке была, однако, большая нужда. Господин Фельднер несколько раз лично проверял работу и очень сердился на то, что работа идет медленно. Даже когда водокачка была готова, Филипп Петрович все не сдавал ее в эксплуатацию под предлогом, что водокачка должна пройти испытания. По утрам все крепче ударяли морозы, ранние в этом году, а вся система стояла наполненная водой.

К концу рабочего дня в субботу Филипп Петрович пришел принимать водокачку. Он все придирался к тому, что бак и трубы дают течь, и с особой тщательностью подвинчивал гайки и краны. Старший по работам ходил за ним следом, видел, что все в исправности, молчал. Рабочие поджидали на улице.

Наконец Филипп Петрович вместе со старшим вышли к рабочим. Филипп Петрович вынул из кармана пиджака кисет и сложенную по размерам закрутки газетку «Нове життя», стал молча угощать рабочих рубленым самосадом с кореньем. Оживившись, они потянулись к табаку. Даже самосад был теперь редкостью. Курили гнилую смесь с сеном пополам,— табак этот повсеместно называли «матрац моей бабушки».

Они молча стояли возле водокачки, курили. Рабочие изредка вопросительно поглядывали то на старшего, то на Лютикова. Филипп Петрович бросил недокурок на землю и придавил его сапогом.

— Ну теперь, кажется, все, шабаш,— сказал он.— Сегодня, видно, сдавать работу уже некому: поздно. Обождем до понедельника...

Он почувствовал, как все посмотрели на него в некоторой растерянности: даже с вечера уже сильно морозило.

— Воду бы спустить,— неуверенно сказал старший.

— Зима, что ли? — строго сказал Филипп Петрович.

Ему очень не хотелось встречаться со старшим глазами, но невзначай это получилось. И Филипп Петрович понял, что старший тоже все понял. Должно быть, поняли и все остальные, такая вдруг образовалась неловкость. Филипп Петрович, владевший собой, сказал небрежно:

— Пошли...

И они в глубоком молчании пошли от водокачки.

Об этом и вспомнил Филипп Петрович, когда открыл форточку и увидел густой иней на почерневших от мороза листьях подсолнухов и тыкв.

Как и предполагал Филипп Петрович, вся бригада поджидала его у водокачки. Можно было и не говорить ему, что трубы раздулись, полопались, вся система пришла в негодность, все нужно было начинать сначала.

— Жаль... Да кто ж бы мог подумать! Такие морозы! — сказал Филипп Петрович.— Что ж, не будем падать духом. Трубы надо сменить. Нет их, правда, нигде, да постараемся найти...

Все смотрели на него с робостью. Он понял, что все уважают его за смелость и все страшатся того, что он сделал, и, еще больше того, страшатся его спокойствия.

Да, люди, с которыми работал Филипп Петрович, были свои люди. Но доколе же можно испытывать судьбу?

По установленному между ними неписаному порядку взаимоотношений Бараков и Лютиков никогда не встречались вне работы, чтобы ни у кого мысли не могло возникнуть не только о их дружбе, а даже о возможности их общения на почве внеслужебных отношений. Если нужно было срочно поговорить, Бараков вызывал Филиппа Петровича в кабинет, а перед Филиппом Петровичем и после него обязательно вызывал и других начальников цехов.

На этот раз была настоятельная потребность в том, чтобы поговорить.

Филипп Петрович прошел в свою конторку при цехе, бросил на стул свернутый халат, который он все время носил под мышкой, снял кепку, пальто, пригладил седые волосы, поправил расческой свои коротко подстриженные жесткие усы и пошел к Баракову.

Контора мастерских помещалась в небольшом кирпичном доме во дворе.

В отличие от большинства учреждений и частных жилищ в Краснодоне, в которых с наступлением холодов стало холоднее, чем на улице, в конторе мастерских было так же тепло, как во всех учреждениях и домах, где работали и жили немцы. Бараков сидел в своем теплом кабинете в суконной просторной блузе с отложным широким воротом, из-под которого выглядывал хорошо отглаженный голубой воротничок, подвязанный ярким галстуком. Бараков сильно похудел и загорел, и это еще больше молодило его. Он отрастил волосы и взбил себе спереди волнистый кок. Этим взбитым коком волос и ямочкой на подбородке и в то же время таким ясным, прямым и смелым взглядом больших глаз и плотно сжатыми полными губами приметно сильной складки он действительно производил на людей, в нынешней обстановке, двойственное впечатление.

Бараков сидел в своем кабинете и решительно ничего не делал. Он очень обрадовался Лютикову.

— Знаешь уже? — спросил Филипп Петрович, садясь против него, отдышиваясь.

— Туда ей и дорога! — Улыбка чуть тронула полные губы Баракова.

— Нет, я про сводку.

— Тоже знаю...— У Баракова был свой радиоприемник.

— Ну, и як же це воно буде у нас на Украини? — с усмешкой спросил Лютиков. Русский человек, выросший в Донбассе, он иногда позволял себе этакую вольность.

— А ось як,— в тон ему ответил Бараков.— Будем готовить всеобщее...— Бараков обеими руками сделал широкое круглое движение, так что Филиппу Петровичу стало совершенно ясно, какое такое «всеобщее» будет готовить Бараков.— Как только наши подойдут...— Бараков неопределенно повертел над столом кистью руки и подвигал пальцами.

— Точно...— Филипп Петрович был доволен своим напарником.

— К завтрему я тебе весь план принесу... Задержка у нас не в детках, а в палочках-стукалочках да в конфетках...— Бараков случайно сказал в рифму и засмеялся. Речь шла о том, что людей найдется достаточно, но мало винтовок и патронов.

— Скажу ребятам, чтобы приналегли,— они достанут. Дело не в водокачке,— сказал Филипп Петрович, внезапно переходя к тому, что на самом деле больше всего волновало его.— Дело не в ней. А дело в том... Ты и сам понимаешь, в чем.

На переносье у Баракова обозначилась резкая морщина.

— Знаешь, что я тебе предложу? Давай я тебя уволю,— твердо сказал он.— Придерусь к тому, что ты водокачку разморозил, и уволю.

Филипп Петрович задумался: действительно, мог быть и такой выход.

— Нет,— сказал он через некоторое время.— Спрятаться мне некуда. А если бы и было куда,— нельзя. Сразу все поймут, и тебе — каюк, а с тобой и другим. Потерять такое положение, как наше теперь,— нет, это не подойдет,— решительно сказал он.— Нет, будем смотреть, как там у наших на фронте. Если наши быстро пойдут, начнем работать на немцев с таким пылом и жаром, что, ежели кто в чем нас и подозревал, сразу увидит, что ошибся: немцам худо, а мы стараемся! Все равно все нашим достанется!

Необыкновенная простота этого хода в первое мгновение поразила Баракова.

— Но ведь если фронт подойдет, поставят нас на ремонт вооружения,— сказал он.

— Если фронт подойдет, мы бросим все к чертовой матери и — в партизаны!

«Силен старый!» — с удовольствием подумал Бараков.

— Надо второй центр руководства создать,— сказал Филипп Петрович,— вне мастерских, без нас с тобой, вроде про запас.— Он хотел было сказать какое-нибудь утешительное, полушутливое замечание, вроде: «Он, конечно, и не понадобится, этот центр, да береженого...» и так далее, но почувствовал, что не нужно этого ни ему, ни Баракову, и сказал: — Люди у нас сейчас с опытом, в случае чего отлично справятся и без нас с тобой. Верно?

— Верно.

— Придется райком созвать. Ведь мы ж с тобой созывали его еще до того, как немцы пришли. Где ж внутрипартийная демократия? — Филипп Петрович строго взглянул на Баракова и подмигнул.

Бараков засмеялся. Райком они действительно не созывали, потому что его почти невозможно было созвать в условиях Краснодона. Но все самое важное они решали, только посоветовавшись с другими руководящими людьми в районе.

Возвращаясь через цех к себе в конторку, Филипп Петрович увидел Мошкова, Володю Осьмухина и Толю Орлова,— они работали у соседних тисков.

Делая вид, что проверяет работу, Филипп Петрович пошел вдоль длинного, в половину протяжения цеха, стола у стены, за которым работали слесари. Ребята, только что беспечно курившие и болтавшие, для приличия взялись за напильники.

Когда Филипп Петрович подошёл ближе, Мошков поднял на него глаза и сказал вполголоса, со злой усмешкой:

— Что, гонял?

Филипп Петрович понял, что Мошков уже знает о водокачке и спрашивает о Баракове. Мошков, как и другие ребята, не знал правды о Баракове и считал его немецким человеком.

— Не говори...— Филипп Петрович покачал головой, как если бы он на самом деле только что получил разнос.— Как дела? — спросил он, склоняясь к тискам Осьмухина, будто рассматривая деталь, и тихо сказал сквозь колючие усы: — Олега ко мне сегодня ночью, как тогда...

Это был еще один уязвимый пункт в подпольной организации Краснодона «Молодая гвардия».

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Чем явственнее обозначались успехи Красной Армии уже не только в районе Сталинграда и на Дону, а и на Северном Кавказе и в районе Великих Лук, тем шире размахивалась и становилась все отчаянней деятельность «Молодой гвардии».

«Молодая гвардия» была уже большой, разветвленной по всему району и все растущей организацией, насчитывавшей более ста членов. И еще больше того было у нее помощников.

Организация росла и не могла не расти, потому что она развивала свою деятельность. В конце концов она к этому была призвана. Правда, ребята чувствовали, что стали както заметней, по сравнению с тем временем, когда начинали свою деятельность. Но что же делать,— в известном смысле это было неизбежно.

Но чем шире развертывалась деятельность «Молодой гвардии», тем все уже сходились вокруг нее крылья «частого бредня», заброшенного гестапо и полицией.

На одном из заседаний штаба Уля вдруг сказала:

— А кто из нас знает азбуку Морзе?

Никто не спросил, зачем это надо, и никто не пошутил над Улей. Может быть, впервые за все время их деятельности члены штаба подумали о том, что они ведь могут быть арестованы. Но это было мимолетное раздумье. Ведь им пока ничто не угрожало.

И именно в этот период Олег был вызван для личной беседы с Лютиковым.

Они так и не виделись с той первой встречи и нашли друг в друге большие перемены.

Филипп Петрович еще больше поседел и как-то еще пошире́л, раздался. Чувствовалось, что это не от здоровья. Во время их разговора он часто вставал и делал несколько шагов по комнатке взад-вперед. Олег слышал его дыхание,— должно быть, Лютикову тяжело было носить свое большое тело. Только глаза Филиппа Петровича смотрели все с тем же строгим выражением, никакой усталости не чувствовалось в них.

А Лютиков заметил, что Олег вырос, вырос даже физически. Это был совсем взрослый парень, в лучшей своей поре. Черты скуластого лица его точно глубже легли, определились, и только в больших глазах его и где-то в складке полных губ нет-нет и возникало прежнее мальчишеское выражение, особенно когда Олег улыбался. Но в эту встречу он находился больше в состоянии задумчивости, сидел ссутулившись, вобрав голову в плечи, и на лбу его обозначались широкие продольные складки.

Филипп Петрович подробно, пытливо, по нескольку раз возвращаясь все к тому же, расспрашивал его и о старых и о вновь создаваемых группах «Молодой гвардии», требовал фамилии, характеристики. Чувствовалось, что его интересует не столько внешняя сторона дела, о которой он хорошо знал через Полину Георгиевну, сколько внутреннее положение в организации, а особенно, как Олег видит свою организацию и как понимает положение дел в ней.

Филиппа Петровича интересовало, насколько широкий круг членов организации знает друг друга, как осуществляется связь штаба с группами, связь и взаимодействие между группами. Он вспомнил операцию по разгону скота и долго расспрашивал, как технически штаб извещал группы о предстоящей операции, как внутри группы ее руководитель извещал ребят и как они все сходились. Его интересовали и более обыденные мероприятия,— например, расклейка листовок,— и тоже главным образом со стороны связи и руководства.

Повторим, что особенность разговора Филиппа Петровича с любым человеком состояла в том, что он всегда давал возможность высказаться и не торопился с выражением собственного мнения. Он никогда не подделывался под собеседника, а у него само собой получалось так, что он со старым и малым говорил, как с равным.

Олег чувствовал это. Филипп Петрович разговаривал с ним, как с политическим руководителем, прислушивался к его мнению. В другое время такое отношение к нему счастливой гордостью наполнило бы сердце Олега. Но теперь он чувствовал, что Филипп Петрович не совсем доволен «Молодой гвардией». Филипп Петрович расспрашивал его и вдруг вставал и начинал ходить, что было так ему несвойственно.

Потом он уже и не спрашивал, а только ходил. И Олег тоже замолчал. Наконец Филипп Петрович тяжело опустился на стул против Олега и поднял на него свои строгие глаза.

— Выросли вы: организация выросла, и сами выросли,— сказал Филипп Петрович,— это хорошо. Пользу приносите большую. Народ вас почувствовал, придет время, он вам скажет доброе слово. А я скажу, что у вас неладно... Ни одного человека не принимайте больше в организацию без моего разрешения, — хватит! Сейчас время такое, когда даже самый робкий и ленивый будет нам помогать, не обязательно ему быть в организации. Понятно?

— Понятно,— тихо сказал Олег.

— Связь...— Филипп Петрович помолчал.— Кустарно у вас дело поставлено. Уж больно много беготни друг к другу, из квартиры в квартиру. А больше всего вокруг твоей квартиры и Туркенича. Это опасно. Если бы я, скажем, был простой житель на твоей улице, и то бы заметил: с чего это изо дня в день, а то и в ночь, когда и ходить-то не полагается, бегают и бегают к вам ребята и дивчата? Чего это они так бегают? Вот так бы я подумал, простой житель. Ну, а ведь те вас ищут, они и подавно обратят на это внимание. Вы народ молодой, иногда, поди, собираетесь и не для политики, а просто так, погулять? — с добродушной и немножко хитрой улыбкой спросил Филипп Петрович.

Олег смутился, улыбнулся и кивнул головой.

— Не годится. Придется малость поскучать. Наши придут,— отвеселимся,— сказал Филипп Петрович очень серьезно.— Штаб, и тот собирать пореже. Время пришло военное. Есть у вас командир, комиссар, — работайте, как на фронте в боевой обстановке. А связь придется поставить на уровне вашей организации. Хорошо бы вам придумать такое место, куда бы каждый мог приходить свободно и никто бы этому не удивлялся. Что теперь в клубе имени Горького?

— Пустой стоит,— сказал Олег. Он вспомнил, как клеил листовки на стенке клуба и чуть не попался «полицаю». «И давно ж это было!» — показалось ему.— Он ни под учреждение, ни под жилье не годится, вот и стоит пустой,— пояснил Олег.

— А вы обратитесь к начальству и сделайте из него заправский клуб.

Олег некоторое время помолчал, и на лбу у него собрались складки.

— Не понимаю,— сказал он.

— И понимать нечего: клуб для молодежи, для населения. Организуйте ребят, дивчат, далеких от политики, кто думает только о развлечениях, скучает, создайте инициативную груп-

пу с вашим участием и обратитесь к господину бургомистру, чтобы разрешил занять здание под клуб. Скажите, хотим, дескать, культурно обслуживать население в духе нового порядка. И просто пусть, мол, ребята танцуют, а то они зря болтаются и только мысли вредные в голову приходят! Сам-то этот подлец, конечно, ничего не решит, да он у начальства спросит. Могут разрешить. Они же сами от скуки подыхают,— сказал Лютиков.

С присущей ему не по возрасту — не мелко-житейской, а большой практической — сметкой Олег сразу сообразил, что в клубе можно устроить своих ребят из штаба и через них держать связь с руководителями пятерок. Но возможность быть вовлеченным помимо своей воли в мир, который был античеловечен, возможность какого бы то ни было соучастия в омерзительных делах этого чуждого мира смутила совесть Олега. Самим утверждать в людях подлейшие нравы или хотя бы даже косвенно способствовать этому... Нет, все что угодно, только не это! Он молча склонил голову, не в силах взглянуть на Филиппа Петровича.

— Так я и думал,— спокойно сказал Лютиков.— Не понял! А если бы понял, большой подарок сделал бы ты и мне и всей организации.— Филипп Петрович встал и сделал несколько тяжелых шагов по комнате.— Мальчишка, а боишься... запачкаться. Кто чист, тот не запачкается! И какие у них там к черту агитаторы? Лишний громкоговоритель поставят в клубе, так он и без того кричит. Надо так сделать, чтобы клуб этот был в наших руках. Наша агитация будет негромкая, а сильнее их агитации. Скажу откровенно, что и мы к вашему делу маленько примажемся. Правда, так, что вы и не заметите, за это извините. А программу вы будете делать нейтральную. Если ты напустишь на это дело таких ребят, как Мошков, Земнухов или Осьмухин, а еще лучше Любу Шевцову,— они тебе все это дело организуют.

И долго еще старый Лютиков убеждал своего юного товарища, даже и после того как Олег согласился с ним. Олег уже и не рад был, что поддался ложному чувству.

— Я к тому говорю, что товарищи твои скажут тебе то же самое, что ты мне сказал. Так чтобы ты знал, что отвечать,— говорил Лютиков. И все учил и учил Олега.

Заручившись поддержкой администрации шахты № 1-бис, Ваня Земнухов, Мошков и две девушки, не имевшие отношения к «Молодой гвардии», пошли к бургомистру Стаценко. Они действительно представляли группу молодежи, которую удалось сколотить на этот случай.

Стаценко принял их в нетопленном и грязном помещении городской управы. Он, как всегда, был пьян. Выложив на

зеленое сукно свои маленькие руки с набухшими пальцами, Стаценко неподвижно смотрел на Ваню Земнухова, который был скромен, учтив, витиеват и сквозь роговые очки смотрел не на бургомистра, а в зеленое сукно.

— В город просачиваются ложные слухи, будто немецкая армия терпит поражение под Сталинградом. В связи с этим в умах молодежи наблюдается... — Ваня неопределенно полепил воздух тонкими пальцами, — ...некоторая шаткость. Поддерживаемые господином Паулем, — он назвал фамилию уполномоченного горнорудного батальона по шахте № 1-бис,— и господином... — он назвал фамилию заведующего отделом просвещения городской управы,— о чем вы, господин бургомистр, должно быть, уже поставлены в известность, наконец просто от лица молодежи, преданной новому порядку, мы просим вас лично, Василий Илларионович, зная ваше отзывчивое сердце...

— С моей стороны, господа... Ребята! — вдруг ласково воскликнул Стаценко. — Городская управа... — Слезы выступили у него на глазах.

И Стаценко, и господа, и ребята знали, что городская управа сама ничего решить не может, а все решит старший жандармский вахмистр. Но Стаценко был «за»: он — как правильно догадался Филипп Петрович — «сам подыхал от скуки».

Так 19 декабря 1942 года в клубе имени Горького состоялся с разрешения гауптвахтмайстера первый эстрадный вечер.

Зрители сидели и стояли в пальто, в шинелях, в шубах. Клуб был нетоплен, но зрителей собралось вдвое больше, чем клуб мог вместить, и вскоре с отпотевшего потолка начало капать.

В первых рядах сидели гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер, лейтенант Швейде, его заместитель Фельднер, зондерфюрер Сандерс со всем составом сельскохозяйственной комендатуры, обер-лейтенант Шприк с Немчиновой, бургомистр Стаценко, начальник полиции Соликовский с женой и недавно присланный ему на помощь следователь Кулешов. Это был учтивый, тихий человек с круглым веснушчатым лицом, с голубыми глазами и редкими рыжими бровками, одетый в длинное черное пальто, в кубанке с красным дном, перекрещенным золотом. Присутствовали также господа Пауль, Юнер, Беккер, Бошке, Шварц и другие ефрейторы горнорудного батальона. Присутствовали переводчик Шурка Рейбанд, повар гауптвахтмайстера и главный повар лейтенанта Швейде.

В рядах подальше, выделяясь своим обмундированием среди заполнивших зал местных жителей в сумрачных одеж-

дах, поношенных платках и шапках, сидели солдаты проходящих немецких и румынских частей, солдаты жандармерии и полицейские. Не было унтера Фенбонга, который был перегружен по должности и вообще не любил развлечений.

«Знатные гости» сидели перед старым плотным занавесом, украшенным по всему полю гербами СССР с серпом и молотом. Но когда занавес отдернулся, на заднем плане сцены зрители увидели громадный, в красках портрет фюрера, написанный местными силами с некоторым несоблюдением пропорций лица, но все же очень близко к оригиналу.

Вечер начался со старинного водевиля, где роль старика, отца невесты, играл Ваня Туркенич. Верный традиции и своим художественным принципам, он был загримирован под садовника Данилыча. Краснодонская публика встречала и провожала своего любимца аплодисментами. Немцы не смеялись, потому что не смеялся гауптвахтмайстер Брюкнер. Однако, когда водевиль кончился, майстер Брюкнер несколько раз приложил одну ладонь к другой. Тогда захлопали и немцы.

Струнный оркестр, украшением которого были два лучших в городе гитариста — Витя Петров и Сергей Левашов, сыграл вальс «Осенний сон» и «Выйду ль я на реченьку».

Стахович, администратор и конферансье, в темном костюме и начищенных до блеска ботинках, худой, выдержанный, вышел на сцену.

— Артистка областной луганской эстрады... Любовь Шевцова!

Публика захлопала.

Любка вышла в голубом крепдешиновом платье и в голубых туфельках и под аккомпанемент Вали Борц на сильно расстроенном рояле спела несколько грустных и несколько веселых песенок. Она имела успех, ее долго вызывали. Она вихрем вынеслась на сцену уже в своем ярко-пестром платье и в кремовых туфлях, и с губной гармоникой, и начала черт знает что выделывать своими полными ногами. Немцы взревели и проводили ее овациями.

Снова вышел Стахович в темном костюме.

— Пародии на цыганские романсы... Владимир Осьмухин! Аккомпанемент на гитаре Сергей Левашов!..

Володя, заламывая руки и неестественно вытягивая шею, а то вдруг без всякого перехода пускаясь в бурный пляс, спел: «Ой, матушка, скушно мне». Мрачный Сергей Левашов с гитарой ходил за ним по пятам, как Мефистофель.

Публика смеялась, и немцы тоже.

Володя бисировал. С этой своей манерой неестественного вращения головой он спел, обращаясь главным образом к портрету фюрера:

Эх, расскажи, расскажи, бродяга,
Чей ты родом, откуда ты?
Ой, да и получишь скоро по заслугам,
Как только солнышко пригреет,
Эх, да ты уснешь глубоким сном...

Люди повставали со своих мест и орали от восторга. Володю вызывали несчетное число раз.

Вечер закончился цирковыми номерами бригады под руководством Ковалева.

Пока в клубе шел концерт, Олег и Нина приняли сообщение «В последний час» о большом наступлении советских войск в районе Среднего Дона, о занятии ими Новой Калитвы, Кантемировки и Богучара, то есть тех самых пунктов, взятие которых немцами предшествовало их прорыву на юге в июле этого года.

Олег и Нина переписывали это сообщение до рассвета. И вдруг услышали над головами рокот моторов, особенный звук которых их поразил. Они выскочили во двор. Видные простым глазом в ясном морозном воздухе, шли над городом советские бомбардировщики. Они шли не торопясь, наполнив все пространство звенящим звуком своих моторов, и сбросили бомбы где-то перед Ворошиловградом. Гулкие бомбовые удары слышны были и в Краснодоне. Вражеские истребители не потревожили советских бомбардировщиков, и только с некоторым запозданием начала бить зенитная артиллерия, но бомбардировщики так же неторопливо прошли над Краснодоном в обратном направлении.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

В эти исторические месяцы — ноябрь, декабрь 1942 года — советские люди, а особенно находившиеся в глубоком тылу у немцев, не могли видеть истинных масштабов события, вошедшего в историческую память народов одним словом-символом: Сталинград.

Сталинград — это не только не имевшая себе равных в истории обороны узкого, прижавшегося к Волге клочка земли в разрушенном до основания городе против врага, сосредоточившего такие количественно огромные силы, в таком универсальном сочетании родов оружия и при таком богатстве совершенной техники, каких не знало ни одно из самых больших сражений за все время существования человечества.

Сталинград — это великое проявление полководческого гения военачальников, воспитанных новым, советским строем.

За предельно малый срок, менее чем в полтора месяца, по единому цельному замыслу, осуществленному в три этапа на невиданно обширном пространстве приволжских и донских степей, советскими войсками было окружено двадцать две дивизии и разгромлено тридцать шесть дивизий противника. И потребовался всего лишь один месяц, чтобы окруженный противник был истреблен и пленен.

Сталинград — это лучшее свидетельство организаторского гения людей, порожденных новым, советским строем. Чтобы понять это, достаточно представить себе, какие массы людей и военной техники были приведены в движение согласно единому плану, единой воле, какие были сбережены и созданы для осуществления этого плана людские и материальные резервы, каких организаторских усилий и материальных ресурсов потребовало передвижение этих масс к фронту, снабжение их продовольствием, обмундированием, боеприпасами, горючим и, наконец, какая всемирно-исторического значения учебная и воспитательная работа была проведена, чтобы сотни тысяч опытных в военном отношении и политически воспитанных командиров и военачальников, от сержантов до маршалов, возглавили это движение и превратили его в сознательное движение миллионов вооруженных людей.

Сталинград — это высший показатель преимущества хозяйства нового общества с его единым планом над старым обществом с его анархией. Ни одно государство старого типа не смогло бы спустя полтора года после вторжения в глубь страны многомиллионной вражеской армии, вооружаемой и снабжаемой промышленностью и сельским хозяйством большинства стран Европы, после нанесенных ему немыслимых материальных разрушений и опустошений, — ни одно государство старого типа не смогло бы в хозяйственном отношении решить задачу подобного наступления.

Сталинград — это выражение духовной мощи и исторического разума народа, освобожденного от цепей капитала. И этим он вошел в историю.

Как и все советские люди, Иван Федорович Проценко не мог знать подлинных масштабов события, свидетелем и участником которого он был. Но, будучи связан по радио и через живых людей с Украинским партизанским штабом и Военным советом Юго-Западного фронта, которому предстояло первому продвинуться на территорию Украины, Иван Федорович больше других советских людей, боровшихся с врагом на территории Ворошиловградской области, знал о характере и размерах наступательных операций советских войск.

Иван Федорович пробыл в Ворошиловграде ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы развернуть деятель-

ность всех четырех подпольных райкомов города. Но к тому времени, когда было получено сообщение о прорыве советскими войсками немецкого фронта на Среднем Дону, Иван Федорович успел уже несколько раз переменить свое местопребывание. С конца ноября он держался главным образом в северных районах области.

Никто не подсказывал Ивану Федоровичу, что он должен теперь находиться именно в этих северных районах. Но простым здравым смыслом или чутьем он понял, что ему теперь важнее находиться там, где фронт советских войск наиболее близок и где раньше всего партизанским отрядам удастся войти в боевое взаимодействие с регулярной советской армией.

Приближалось время, которого Иван Федорович так долго ждал, время, когда снова можно было сводить мелкие партизанские группы в отряды, способные на большие операции.

Иван Федорович обосновался теперь в одном из сел Беловодского района у родственников Марфы Корниенко, где скрывался также освобожденный из плена гвардии сержант Гордей Корниенко, муж Марфы. Корниенко создал в селе партизанскую группу, которая, помимо своих прямых обязанностей, охраняла Ивана Федоровича от всяких случайностей. Всеми партизанскими группами Беловодского района командовал директор того самого совхоза, где работали летом учащиеся краснодонской школы имени Горького, директор, который предоставил Марии Андреевне Борц последний грузовик для эвакуации ребят. Вот этому самому директору Иван Федорович отдал приказ свести все группы Беловодского района и сформировать отряд человек в двести.

Еще мир не был оповещен о новом мощном наступлении советских войск в районе Среднего Дона, когда радист Ивана Федоровича принял шифрованное сообщение о глубоком прорыве немецкого фронта с северо-востока, на участке Новая Калитва — Монастырщина и с востока — в районе Боковское на реке Чир. Одновременно Ивану Федоровичу был передан приказ: бросить все имеющиеся в его распоряжении партизанские силы на коммуникации врага на север — к Кантемировке и Марковке и на восток — к Миллерову, Глубокой, Каменску, Лихой. Это был приказ Военного совета фронта.

— Пришел наш час! — торжественно сказал Иван Федорович и обнял радиста.

Они поцеловались, как братья. Вдруг Иван Федорович легонько оттолкнул радиста и, как был раздетый, выбежал из хаты.

Стояла ясная морозная ночь — вся в звездах. Последние дни все подваливал снег, — крыши хат, дальние холмы тихо

дремали под снежной пеленой. Иван Федорович стоял, не чувствуя мороза, грудь ему распирало, он жадно вдыхал морозный воздух и не удерживал слез, катившихся из глаз его и замерзавших на щеках.

Ивану Федоровичу понадобилось около часа, чтобы добраться до своей квартиры. Радиста вместе с аппаратом он взял с собой. Могучий гвардеец Гордей Корниенко, только что вернувшийся с операции по уничтожению полицейских постов по хуторам, крепко спал. Однако сон мгновенно слетел с него, как только Иван Федорович тряхнул его за плечо и передал свои новости.

— Возле Монастырщины! — воскликнул Корниенко, и глаза его загорелись. — Я ж сам с того фронта, я там и в плен попал... Через несколько дней наши здесь будут, попомнишь мое слово!

Старый солдат крякнул от волнения и быстро стал одеваться.

Гордею Корниенко отдавались в подчинение все северные партизанские группы, и он должен был немедленно выступать в район Марковки — Кантемировки. Сам же Иван Федорович в сопровождении радиста с аппаратом и двух партизан должен был выйти в село Городищи, где базировался директор совхоза со своим отрядом: Иван Федорович понимал, что именно теперь наступило время, когда лучше быть при отряде.

В эти дни скитаний ему бессменно служила связной подруга его жены Маша Шубина, которую он взял с собой из Ворошиловграда. Как он и предполагал, она оказалась из тех стойких, преданных натур, которые бывают в жизни так предельно скромны, что нужен острый глаз организатора, чтобы суметь выбрать их из массы людей. Но когда выбор падет на них, они, эти натуры, обнаруживают такую нечеловеческую работоспособность и при этом такое полное забвение самих себя, что на их плечи ложится все практическое выполнение заданий их начальников и руководителей. Без помощи таких людей даже самые большие задания так бы и оставались заданиями, не претворившись в дело.

Маша Шубина разучилась отличать ночь от дня, так она была занята. Если бы люди, которые работали рядом с ней, попробовали бы представить себе, что же было наиболее характерным в ее жизни и работе, они поразились бы тому, что никто не помнит ее спящей. Если она и спала, то спала так мало, а главное, так незаметно, что казалось, будто она и не спит вовсе.

Душа этой женщины горела не видимым никому величественным пафосом работы. Единственная личная радость,

которая согревала ее душу, была радость сознания, что она не одинока. Правда, ей невозможно было общаться с Катей, ее подругой, — с Катей она была связана только через Марфу Корниенко. Но Маша знала, что лучшая и единственная ее подруга где-то близко и что они трудятся на общее дело. А Ивану Федоровичу Маша была бескорыстно предана всей душой — за то, что он заметил ее среди многих и доверился ей. Вот за это доверие она могла бы отдать жизнь за него.

Иван Федорович, весь захваченный огромностью событий, развитию которых он в меру своих сил способствовал, отдавал Маше последние распоряжения:

— У Марфы ты лично встретишься с командиром Митякинского отряда. Район его действий — дороги на Глубокую, на Каменск. Пусть выступает немедленно, действует днем и ночью, не дает врагу передышки. А Кате пусть Марфа скажет, чтобы немедленно бросала свое учительство и — сюда...

— На эту квартиру? — переспросила Маша.

— На эту... А ты, не теряя ни часа, — к Ксении Кротовой. Дорогу найдешь?

— Найду.

Когда Иван Федорович вводил Машу в круг ее обязанностей, он дал ей этот адрес: село Успенка, медпункт, врач Валентина Кротова. Ксения, сестра Валентины, работала теперь по связи между Екатериной Павловной, женой Проценко, и всеми райкомами, расположенными к югу от Донца.

— Ксении скажешь: район действий — по дорогам на Лихую, Шахты, Новочеркасск, Ростов, Таганрог,— продолжал Иван Федорович.— Действовать днем и ночью, не давать врагу передышки. Всюду, где фронт подойдет близко, захватывать населенные пункты, отвлекать врага на себя... Катина главная квартира, выходит, ликвидируется. Главная квартира будет теперь у Марфы. Пароль сменяю...— Он наклонился на ухо к Маше и сказал ей пароль. — Не забудешь?

— Нет.

Он подумал немного и сказал:

— Все.

— Все? — Она подняла на него глаза. Вопрос ее в сущности был таков: «А я?» Но глаза ее ничего не выражали.

Как человек памятливый, Иван Федорович проверил в уме своем, не упустил ли чего-нибудь. И вспомнил, что не распорядился, как Маше быть дальше.

— Да... Как попадешь до Ксении, перейдешь в ее распоряжение. Будете работать по связи с Марфой. Скажи от меня, чтоб больше тебя никуда не посылали.

Маша опустила глаза. Она представила себе, как пойдет сейчас одна, все дальше и дальше от этих мест, куда не сего-

дня-завтра придут наши. Да, через несколько дней там, где стоит сейчас она с Иваном Федоровичем, уже не останется ни одного врага и вступит в свои права тот ясный мир, которого все они так долго ждали, ради которого не щадили своей жизни.

— Что ж, Маша,— сказал Иван Федорович, — нема часа ни мени, ни тоби... Спасибо тебе за все...

Он крепко обнял ее и поцеловал прямо в губы. Она на мгновение притихла в руках его и не смогла ответить ему.

Одетая, как одевались самые бедные женщины в немецком тылу, она вздела торбу и вышла из хаты. Иван Федорович не вышел провожать ее. И она пошла в свой дальний одинокий путь в этот ранний предрассветный час, поскрипывая по снежку, с лицом немолодым и в тоже время таким еще девическим, незаметная женщина с железной душою.

А спустя некоторое время выступил и Иван Федорович со своей небольшой группой. Утро занималось морозное, тихое. Ранняя суровая зимняя заря проступала сквозь мертвенную дымку. Ни малейшего движения — ни на земле, ни на небе, — ни звука, ни даже шелеста ветра не чувствовалось в обширной, куда хватал глаз, белой пустыне с серевшими кое-где по низинам балок и скатам холмов пятнами кустарников. Все спало вокруг, прикрытое снегом. Все было такое неуютное, бедное, холодное, безлюдное и, казалось, останется таким навечно. А Иван Федорович шел по этой бескрайней пустыне, и громы победы перекатывались в его распахнувшейся душе.

Немногим менее пяти суток прошло между этим тихим утром, когда Иван Федорович выступил к отряду, и тем поздним вечером, когда партизан в подбитом эрзацмехом немецком капюшоне привел к Ивану Федоровичу в заброшенную хату под Городищами его жену Катю. Чудовищно сотрясавшие воздух и землю громы как бы распавшейся на части гигантской битвы перекатывались по необъятным просторам этой земли. И сам Иван Федорович сидел и смотрел в прекрасное лицо жены своей, весь черный от пороха.

Все смешалось, заклокотало, заблистало вокруг. Ночами зарницы светящихся ракет и даже вспышки орудий можно было видеть за десятки километров. Грохотало на земле и на небе. Развертывались гигантские танковые и воздушные бои. Люди из отряда Ивана Федоровича, знавшие уже, что навстречу им рвется танковый корпус, только что получивший звание гвардейского, не могли избавиться от иллюзии: казалось, они физически слышат скрежет брони сшибавшихся танковых масс. Свои и вражеские самолеты прочерчивали в небе

белые спирали, которые часами неподвижно стояли в морозном воздухе.

Смешавшиеся тылы немецких частей ползли по грейдерным дорогам на запад и юго-запад, а бесчисленные проселки все были во власти Ивана Федоровича. Как это бывает во время сильного поражения, в условиях, когда победитель стремительно наступает, все силы немецкого оружия, еще способные к сопротивлению, были поглощены отражением этой главной грозной опасности, — не до партизан им было!

В крупных и мелких населенных пунктах, а особенно по берегам рек Камышная, Деркул, Евсуг, впадающих в Северный Донец, где заранее были созданы долговременные укрепления, а теперь спешно возводились новые, сидели немецкие гарнизоны. Вокруг каждого из таких укрепленных пунктов, даже тогда, когда он оказывался обойденным и оставался в расположении наступающих советских войск, развертывались жестокие, затяжные бои. Немецкие гарнизоны сражались до последнего солдата: был получен приказ Гитлера — не отступать, не сдаваться. А бегущие по проселкам разрозненные группы немецких солдат и офицеров — остатки ранее разбитых или плененных частей — становились добычей партизан.

Насколько быстро развертывалось наступление советских войск, можно было судить по тому, что за эти пять дней тыловые немецкие аэродромы, в течение нескольких месяцев почти пустовавшие, превратились в действующие аэродромы и на них обрушивалась вся мощь советской авиации. Немецкая бомбардировочная авиация дальнего действия спешно перебазировалась в глубокий тыл.

Они сидели одни в заброшенной избе — Катя, только что сбросившая деревенский полушубок, еще румяная от мороза, и Иван Федорович, черный от бессонницы. Бесовские искры поскакивали из одного его глаза в другой, и Иван Федорович говорил:

— Усе робим, як указують нам с политотделу гвардейского танкового корпуса, и добре робим! — И он засмеялся. — Катя, вызвал я тебя, бо билыш никому не могу я доверить этого дела. Догадываешься, какого?

Еще она чувствовала его первое порывистое объятие и поцелуи на глазах своих, и глаза ее еще были влажны и сияли оттого, что смотрели на него. А он уже не мог говорить ни о чем, кроме самого важного, что занимало его теперь. И она сразу догадалась, зачем он вызвал ее. Нет, ей даже не надо было догадываться, она сразу узнала это, как только увидела его. Не пройдет и нескольких часов, как ей придется опять покинуть его и идти,— она знала куда. Почему она знала это, она не могла бы объяснить. Просто она любила его. И Ека-

терина Павловна в ответ на его вопрос только кивнула головой и снова подняла на него свои влажные, сияющие глаза, которые были так прекрасны на ее резко очерченном, обветренном, немного даже суровом лице.

Он быстро вскочил, проверил, заперта ли дверь, и вынул из полевой сумки несколько листочков папиросной бумаги размером в четвертушку листа.

— Смотри...— Он бережно разложил листочки на столе.— Текст, как видишь, я весь зашифровал. Ну, а карту не зашифруешь.

Действительно, листочки были исписаны с обеих сторон остро отточенным карандашом и так мелко, что трудно было представить, как смогла сделать это человеческая рука. А на одном из листочков была тонко вычерчена карта Ворошиловградской области, испещренная квадратиками, кружочками и треугольничками. О том, какого труда стоила вся эта скрупулезная работа, можно было судить по тому, что самые крупные из этих знаков были величиной с тлю, а самые мелкие — величиной с булавочную головку. Это были тщательно собираемые в течение пяти месяцев, проверенные и дополненные по самым последним данным сведения о расположении главных линий обороны, укрепленных пунктов, огневых позиций и расположении аэродромов, зенитных батарей, автопарков, ремонтных мастерских, о численности войск, гарнизонов, их вооружении и о многом другом.

— Скажи, что в Ворошиловграде и по Донцу многое изменится по сравнению с моими данными, изменится в пользу противника. А все, что перед Донцом, так и будет, как есть. Еще скажи, что сильно укрепляют Миус. Выводы сделают сами, мне их не учить. А тебе скажу: коли воны укрепляють Миус, значит нема у Гитлера веры, що воны смогут удержать Ростов. Поняла?

Иван Федорович засмеялся звонко, весело, — так он смеялся обычно в кругу семьи, особенно с детьми, в те редкие минуты, когда бывал совсем, совсем свободен. На мгновение они забыли, что предстоит им обоим. Иван Федорович обеими руками взял ее за голову и чуть отстранил и, глазами, полными нежности, оглядывая лицо ее, все повторял:

— Ах, ты ж ласточка моя, ласточка моя... Да! — воскликнул он.— Я ж самого главного тебе не сказал: наши вступили на украинскую землю. Дивись...

Он вынул из полевой сумки большую склеенную военную карту и расстелил ее на столе. И первое, что бросилось Кате в глаза, — это были жирно очерченные синим и красным карандашом населенные пункты по северо-восточной окраине Ворошиловградской области, уже занятые советскими вой-

скамн. Горячая волна так и обдала сердце Кати: некоторые из этих пунктов были совсем близко от Городищ.

Встреча Ивана Федоровича и Кати произошла в те дни, когда еще не завершились второй и третий этапы великой Сталинградской операции и вторая линия окружения еще не замкнула навсегда сталинградскую группировку немцев. Но в эту ночь уже было известно, что немецкие войска, рвавшиеся на помощь сталинградской группировке в районе Котельниково, разгромлены и уже были получены первые сведения о наступлении наших войск на Северном Кавказе.

— Железную дорогу Лихая — Сталинград наши перерезали в двух местах, вот здесь, на Чернышевской и Тацинской, — весело говорил Иван Федорович, — а Морозовский еще держат немцы. Тут вот, по реке Калитве, почти все населенные пункты заняты нашими. Железная дорога Миллерово — Воронеж форсирована от Миллерова вот до этого пункта севернее Кантемировки. А Миллерово еще у немцев. Они его здорово укрепили. Да похоже, наши его обошли,— видишь, куда танки вырвались...— Иван Федорович провел пальцем по реке Камышной где-то западнее Миллерова и посмотрел на Катю.

Катя напряженно всматривалась в карту, как раз в те места, где наши были наиболее близко к Городищам, и в выражении глаз ее появилось что-то ястребиное. Иван Федорович понял, почему она так смотрит, и замолчал. Катя отвела глаза от карты и некоторое время смотрела прямо перед собой. Это был уже ее обычный, умный, задумчивый, немного грустный взгляд. Иван Федорович вздохнул и переложил листочек папиросной бумаги с нарисованной на ней картой поверх большой карты.

— Смотри сюда, все это ты должна запомнить, в пути смотреть на эту картинку тебе уже не придется,— сказал он.— Листки заховай так, чтобы в случае чего... Одним словом, проглотишь. И хорошо продумай: кто ты? Сдается мне, ты беженка. Беженка, учителька, — ну, скажем, с Чира. Уходишь от красных. Так ты будешь немцам и полицаям говорить. А местным жителям... Местным жителям скажешь: иду с Чира к родным в Старобельск, — тяжело жить одной. Хороший человек пожалеет и пригреет, а дурному тоже придраться не к чему, — говорил Иван Федорович тихим, глуховатым голосом, не глядя на жену. — Запомни: фронта — так, как его здесь понимают, — нет. Наступают наши танки — там, здесь... Немецкие укрепленные пункты обходи так, чтобы не видели тебя. Но везде могут быть немцы случайные, проходные, этих бойся пуще всего. А как дойдешь вот до этого рубежа, дальше уже не двигайся, жди наших. Видишь, здесь у меня и на карту ничего не нанесено, здесь мы ничего не знаем, а рас-

спрашивать тебе нельзя, — опасно. Найди якую-нéбудь одинокую старушку або жинку и оставайся у нее. Завяжется бой, залезайте у погреб и сидите...

Все это он мог бы и не говорить Кате, но ему так хотелось помочь ей хотя бы советом. С какой радостью пошел бы он сам вместо нее!

— Как только выйдешь, я сразу передам туда, что вышла. Если не встретят, объявляйся первому нашему толковому человеку и проси сопроводить в политотдел танкового корпуса...— Вдруг резвая искорка скакнула в его глазу, и он сказал: — А как попадешь в политотдел, не забудь от радости, что у тебя все ж таки муж есть, и попроси, чтоб мне передали: «Пришла, мол, — все благополучно...»

— Еще и не так скажу. Скажу: или наступайте швидче, выручайте моего чоловика, или пустыть мене до его обратно, — сказала Катя и засмеялась.

Иван Федорович вдруг смутился.

— Хотел я обойти этот вопрос, да, видно, его не обойти, — сказал он, и лицо его стало серьезным. — Як бы швидко ни наступали наши, да я ведь их ждать не буду. Наше дело отступать вместе с немцами. Наши — сюда, а мы с немцами — туда. Нас теперь с немцами водой не разлить. Пока последний немецкий солдат не уйдет с нашей ворошиловградской территории, буду я их бить по сю сторону. Иначе что ж бы обо мне подумали наши старобельские, ворошиловградские, краснодонские, рубежанские, краснолучские партизаны да подпольщики?.. А вертаться тебе до меня безрассудно: не будет уже в этом никакой нужды. Послухай меня...— Он склонился к ней и положил свою плотную ладонь на тонкие пальцы ее руки и сжал их. — Ты при корпусе не оставайся, делать тебе там нечего, просись в распоряжение Военного совета фронта. Увидишь Никиту Сергеевича, просись на побывку к детям. Зазорного в том ничего нет, заслужила. А дети? Ведь мы даже не знаем, где они теперь, — в Саратове ли, где ли? Живы ли, здоровы ли?

Катя смотрела на него и ничего не отвечала. Грохот далекого ночного боя сотрясал эту отбитую от хутора маленькую хатенку.

Душа Ивана Федоровича была переполнена любовью и жалостью к ней, его подруге, любимой женщине. Ведь только он один знал, как она на самом деле ласкова, добра, какой нечеловеческой силой характера преодолевала она, его Катя, все опасности и лишения, унижение, смерть и гибель близких людей. Ивану Федоровичу хотелось поскорей унести свою Катю туда, где были свободные люди, где был свет, тепло, где были дети. Но не об этом думала его Катя.

Она все смотрела, смотрела на Ивана Федоровича, потом высвободила свою руку и ласково провела по его русым зачесанным волосам, которые за эти месяцы еще дальше отступили от висков, отчего высокий лоб его казался еще выше. Она провела своей ласковой рукой по этим мягким русым волосам и сказала:

— Не говори, не говори мне ничего... Не говори, я все сама знаю. Пусть используют меня, как надо, а проситься я никуда не буду. Пока ты будешь здесь, я всегда буду так близко от тебя, как только мне позволят...

Он хотел еще возразить ей, но вдруг все лицо его распустилось. Он схватил обе ее руки и уткнул свое лицо ей в ладони и задержался так некоторое время. Потом он поднял на нее синие глаза свои и сказал очень тихо:

— Катя...

— Да, пора, — сказала она и встала.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Сопровождал ее огромного роста медвежеватый старик из местных, — все называли его «старик Фома». В начале похода, когда Екатерина Павловна и старик Фома еще имели возможность перемолвиться двумя-тремя словами, Кате удалось выяснить, что фамилия его Корниенко, что он один из многочисленных Корниенков, первых украинских старожилов в здешней степи, и, как все Корниенки, состоит в дальнем родстве с Гордеем Корниенко.

Потом им разговаривать уже нельзя было.

Шли они всю ночь — то проселками, то просто по степи. Снег еще только покрыл поля, идти было нетрудно. Иногда то по северному, то по южному горизонтам ложился свет фар и мгновенно исчезал. Там, севернее и южнее, пролегали большие грейдерные дороги. И, несмотря на дальность расстояния, слышно было движение машин по ним. Южнее отходили немецкие части, разбитые в районе Миллерово, а севернее отходили части из-под Баранниковки — первого населенного пункта Ворошиловградской области, взятого нашими войсками.

Екатерина Павловна и старик Фома шли на восток, но часто меняли направление, чтобы обойти деревни и укрепленные пункты в степи. Путь казался Кате необыкновенно долгим, и все-таки они все ближе и ближе подходили к району боев: все слышнее становились тяжелые вздохи орудий и явственней обозначались их вспышки то там, то здесь по гори-

зонту. К утру начал сеяться мелкий сухой снежок, приглушил все звуки, и ничего не стало видно.

Катя шла в стоптанных беженских валенках, с холщовой торбой за спиной, окутанная снегом. И все вокруг — и огромный старик Фома в шапке с поднятыми, но не завязанными, распадавшимися на две стороны меховыми ушами, и шорох шагов, и этот снег, мельтешивший перед глазами, — все казалось призрачным. Душа Кати погрузилась в полудрему, в полусон. Вдруг она почувствовала под ногами твердый грунт. Старик Фома остановился. Катя приблизила к нему лицо свое, и что-то сразу толкнуло ей в сердце: здесь они должны были расстаться.

Старик Фома с выражением ласковым и озабоченным вглядывался в ее лицо, а темная рука его указывала вдоль по проселку, на который они вышли. Катя посмотрела по направлению его руки. Уже светало. Старик большими руками взял ее за плечи, притянул к себе и жарко прошептал, щекоча ей ухо и щеку усами и бородой:

— Не больше, як сажен двести. Вы чуете меня?

— Прощайте, — шепнула она в ответ.

Пройдя немного по проселку, она оглянулась: Фома Корниенко все еще стоял на дороге. Катя поняла, что старик будет стоять до тех пор, пока она не скроется из глаз его. И правда, отойдя метров пятьдесят, она еще смогла различить его силуэт, — большой старик стоял, окутанный снегом, похожий на деда-мороза. А когда она оглянулась в третий раз, старика Фомы уже не было видно. Это была последняя деревня, где Катя могла рассчитывать на помощь своих людей, — дальше нужно было пробираться, надеясь только на себя. Деревушка была расположена позади выдвинутых на восток высотных укреплений, представлявших только часть наскоро созданной здесь немцами оборонительной линии. Наиболее удобные дома, как сказал Кате Иван Федорович, были заняты офицерами и штабами небольших подразделений, занимавших укрепленные пункты.

Иван Федорович предупреждал жену, что положение ее может усложниться, если к ее приходу деревня окажется забитой частями, вышибленными с немецкого оборонительного рубежа по речке Камышной. Речка эта, впадавшая в реку Деркул, приток Донца, текла с севера на юг, вблизи от границы Ростовской области, почти параллельно железной дороге Кантемировка — Миллерово. В одну из деревень, расположенных у речки Камышной, и должна была выйти Екатерина Павловна и там ждать наших.

Сквозь снежную паутину Катя завидела силуэт ближней хаты, свернула с проселка и пошла полем в обход деревни,

не теряя из виду крыш. Ей сказали, что ее хата третья по счету. Становилось все светлее. Катя подошла к малюсенькой хатке и прильнула к закрытому ставней окну. В хатке было тихо. Катя не постучала, а поскребла, как ее научили.

Долго никто не отвечал ей. Сердце ее сильно билось. Через некоторое время из хатки тихо отозвался голос — голос подростка. Катя поскребла еще раз. Маленькие ножки прошлепали по земляному полу, дверь приоткрылась, и Катя вошла. В хате было совершенно темно.

— Звидкиля вы? — тихо спросил детский голос.

Катя произнесла условную фразу.

— Мамо, чуете? — сказал мальчик.

— Тихо, — шепотом отозвался женский голос.— Хиба ж ты не разумиешь по-русски? То ж русская женщина, разве ты не слышишь? Идить сюда, сидайте на кровать. Покажи, Сашко...

Мальчик захолодевшей рукой взял теплую, разогревшуюся в рукавице руку Екатерины Павловны и повлек Катю за собой.

— Обожди, я полушубок скину, — сказала она.

Но женская рука, протянутая навстречу, переняла Катину руку из руки подростка и потянула на себя.

— Сидайте так. У нас холодно. Вы немецких патрулив не бачили?

— Нет.

Екатерина Павловна сбросила торбу, сняла платок, встряхнула, потом расстегнула полушубок и, придерживая за полы, отрясла его на себе и только тогда села на кровать рядом с женщиной. Мальчик чуть слышно уселся с другого бока и — Катя не услышала, а почувствовала это материнским чутьем, — прижался к матери, к ее теплому телу.

— Немцев много в деревне? — спрашивала Катя.

— Да не так чтобы много. Они теперь и не ночуют туточки, а больше там, у погребах.

— Погребах... — усмехнулся мальчик. — В блиндажах!

— А все одно. Теперь, кажуть, должно прийти подкрепление до них, будут здесь фронт держать.

— Скажите, вас Галиной Алексеевной зовут? — спросила Катя.

— Зовите Галей, я ще не стара, Галя Корниенкова.

Так и говорили Кате, что она попадет еще к одним Корниенкам.

— Вы к нашим идете? — тихо спросил мальчик.

— К нашим. Пройти туда можно?

Мальчик помолчал, потом сказал с загадочным выражением:

— Люди проходили...

— Давно?

Мальчик не ответил.

— А як мени звать вас? — спросила женщина.

— По документу — Вера.

— Вера так Вера, — люди здесь свои, поверят. А кто не поверит, ничего не скажет. Может, и есть такой дурной, кто выдал бы вас, да кто ж теперь насмелится? — со спокойной усмешкой сказала женщина. — Все знают, скоро наши придут... Разбирайтесь, ложитесь на кровать, а я вас накрою, чтоб было тепло. Мы с сыном у двоих спим, так нам тепло...

— Я вас согнала?!. Нет, нет,— с живостью сказала Катя,— мне хоть на лавке, хоть на полу, все равно я спать не буду.

— Заснете. А нам все одно вставать.

В хате действительно было очень холодно, — чувствовалось, что она не топлена с начала зимы. Катя уже привыкла к тому, что хаты при немцах стоят нетопленные, а пищу — нехитрую похлебку, или кашу, или картошку — жители готовят на скорую руку — на щепочках, на соломке.

Катя сняла полушубок, валенки и легла. Хозяйка накрыла ее стеганым одеялом, а сверху полушубком. И Катя не заметила, как заснула.

Разбудил ее страшный гулкий удар, который она во сне не столько услышала, сколько ощутила всем телом. Еще ничего не понимая, она приподнялась на кровати, и в это мгновенье еще и еще несколько ударов-взрывов наполнили своими мощными звуками и сотрясением воздуха весь окружающий мир. Катя услышала густой рев моторов, — самолеты пронеслись низко над деревней один за другим и сразу набрали высоту по немыслимой кривой. Катя не то что поняла, она просто расслышала по звуку, что это наши «илы».

— Наши! — воскликнула она.

— Да, то наши, — сдержанно сказал мальчик, сидевший на лавке у окна.

— Сашко, одягайся, одягайтесь и вы, Вера, чи як вас! Наши-то наши, а як дадут — не встанешь! — говорила Галя, стоявшая посреди хаты с полынным веником в руке.

Несмотря на холод в хате, Галя стояла на земляном полу босая, с обнаженными руками, и мальчик тоже сидел раздетый.

— Ничего они не дадут, — сказал мальчик с сознанием своего превосходства над женщинами, — они по укреплениям бьют.

Он сидел, поджав под лавкой босые скрещенные ножки, щуплый мальчик с серьезными глазами взрослого человека.

— Наши «илы» — в такую погоду!— взволнованно говорила Катя.

— Ни, то с ночи залепило, — сказал мальчик, уловив ее взгляд, брошенный на заиндевевшие окна. — Погода хорошая: солнца нема, а снег уже не идет...

Привыкнув за свою жизнь учительницы иметь дело с подростками его возраста, Катя чувствовала, что мальчик интересуется ею и что ему очень хочется, чтобы она обратила на него внимание. В то же время мальчику настолько было присуще чувство собственного достоинства, что ни в жестах, ни в интонациях голоса он не допускал ничего такого, что могло бы быть воспринято как нескромность с его стороны.

Катя слышала яростную трель зенитных пулеметов где-то перед деревней. Как ни была она взволнована, она не могла не отметить, что немцы еще не располагают здесь зенитной артиллерией. Это значило, что эта линия укреплений только теперь внезапно приобрела значение важной линии обороны.

— Скорей бы уж наши приходили! — говорила Галя. — У нас и погреба нема. Когда наши отступали, мы от немецких самолетив к соседям в погреб бегали, а не то прямо в поле, — ляжем в бурьян или в межу, уши затискнем и ждем...

Новые бомбовые удары — один, другой, третий — потрясли хатенку, и снова наши самолеты с ревом пронеслись над деревней и взмылись ввысь.

— Ой, родненькие ж вы мои! — воскликнула Галя и, присев на корточки, закрыла уши ладонями.

Эта женщина, присевшая на корточки при звуке самолетов, была хозяйкой главной квартиры партизан этого района. Через квартиру Гали Корниенко шел главный поток бежавших из плена или выходивших из окружения солдат Красной Армии. Катя знала, что муж Гали погиб в самом начале войны и что двое малых ребят ее умерли от дизентерии во время оккупации. Было что-то очень наивное и очень человеческое в этом невольном движении Гали — стать пониже, укрыться от опасности, хотя бы заткнув уши, чтобы не слышать. Катя кинулась к Гале и обняла ее.

— Не бойтесь, не бойтесь!.. — воскликнула Катя с чувством.

— А я и не боюсь, да вроде бабе так полагается... — Галя подняла к ней спокойное лицо в темных родинках и засмеялась.

В этой хатенке Екатерина Павловна провела весь день. Понадобилась вся ее выдержка, чтобы дотянуть до темноты,— так хотелось поскорее выйти навстречу нашим. Весь день наши «илы», сопровождаемые истребителями, обрабатывали

укрепления перед деревней. «Илов» было немного,— судя по всему, две тройки. Они делали по два-три захода, а отбомбившись, уходили на зарядку, заправку и возвращались снова. Так они работали с того самого утреннего часа, как разбудили Катю, до наступления темноты.

Весь день над деревней развертывались воздушные бои между нашими истребителями и «мессерами». Иногда слышно было, как проходили с гудением, очень высоко, советские бомбардировщики — на какие-то дальние рубежи обороны немцев. Должно быть, они бомбили укрепления по реке Деркул, впадавшей в Донец возле базы Митякинского отряда, где в глиняной пещере, заваленный, стоял «газик» Ивана Федоровича.

Несколько раз в течение дня проносились немецкие штурмовики и сбрасывали бомбы где-то недалеко, возможно за речкой Камышной. Оттуда все время доносился гул тяжелой артиллерии.

Однажды беспорядочная артиллерийская стрельба возникла в ближней полосе за немецкими укреплениями, куда лежал теперь путь Екатерины Павловны. Стрельба возникла будто издалека, а потом приблизилась и где-то уже совсем близко, достигнув своего апогея, внезапно стихла. К вечеру она вновь разгорелась, эта стрельба, — снаряды рвались перед самой деревней. В течение нескольких минут немецкие пушки били в ответ, били так часто, что в хате невозможно было разговаривать.

Екатерина Павловна и Галя многозначительно переглядывались. И только маленький Сашко все смотрел перед собой с загадочным выражением.

Эти бои в воздухе и артиллерийская стрельба заставили жителей попрятаться по хатам и погребам и избавили Екатерину Павловну от посетителей. А немецкие солдаты были, видно, поглощены своим прямым делом. Казалось, что деревня пуста и только в одной этой хатенке живут они трое — две женщины и мальчик.

Чем меньше оставалось времени до той решающей, а может быть, и роковой минуты, когда Катя должна была выступить, тем трудней ей было владеть собой. Она выспрашивала у Гали подробности предстоящего ей пути и сможет ли кто-нибудь показать ей дорогу, а Галя только говорила:

— Не тревожьте себя, отдыхайте. Успеете еще потревожиться.

Должно быть, Галя сама ничего не знала и просто жалела ее, и это только усиливало волнение Кати. Но если бы кто-нибудь посторонний зашел сейчас в хату и заговорил с Катей, он никогда бы не догадался о ее переживаниях.

Сумерки сгустились, и «илы» закончили последний свой хоровод, и смолкли зенитные пулеметы. Все стихло вокруг, и только в дальнем огромном пространстве все еще продолжалась своя непонятная трудовая, боевая жизнь-страда. Маленький Сашко спустил свои скрещенные под лавкой ноги в валенках, которые он все-таки обул днем, подошел к двери и молча стал напяливать на себя залатанный кожушок — когда-то белой, а теперь грязной кожи.

— Пора вам, Верочка, — сказала Галя, — в самый теперь раз. Они, черти, лягут теперь трошки отдыхать. А из своих может зайти теперь кто-нибудь до нас, лучше будет, чтобы они вас не видели.

В сумерках трудно было различить выражение ее лица, голос ее звучал глухо.

— Куда мальчик собирается? — спросила Катя с возникшим в ней смутным, тревожным чувством.

— Ничего, ничего, — торопливо сказала Галя. Она порывисто забегала по хате, помогая одеться Кате и сыну.

На мгновение взгляд Кати с материнским выражением остановился на бледном личике Сашко. Так вот кто был тот знаменитый проводник, который на протяжении пяти месяцев оккупации проводил через всю глубину вражеских укреплений, — проводил и одиночками, и группами, и целыми отрядами, — сотни, а может, и тысячи наших людей! А мальчик уже не глядел в сторону Кати. Он напяливал свой кожушок и всеми своими движениями как бы говорил: «Много было у тебя времени поглядеть на меня, да ты не догадалась, а теперь ты лучше мне не мешай».

— Вы трохи обождите, а я выйду покараулю и вам скажу.— Галя помогла Екатерине Павловне просунуть негнущиеся в рукавах полушубка руки за лямки и оправила торбу на ее спине.— Давайте ж простимся, бо не буде часа. Дай бог вам всего наисчастливого.

Они поцеловались, и Галя вышла из хаты. Катя уже не удивлялась, что мать не приласкала сына, даже не простилась с ним, — теперь Катя уже ничему не удивлялась. Она понимала, что слова «они привыкли» здесь неприменимы. Сама она, Катя, не удержалась и зацеловала, затискала бы своего мальчика, если бы судьба судила провожать его на такое смертельно опасное дело. Но Катя не могла не согласиться с тем, что Галя поступает более правильно. И, должно быть, если бы Галя поступила иначе, маленький Сашко уклонился бы от ее ласки, даже принял бы враждебно ее ласку, потому что материнская ласка могла теперь только размягчить его.

Кате было неловко наедине с Сашко. Она чувствовала, что все, что она скажет, прозвучит фальшиво. Но все-таки она не выдержала и сказала очень деловым тоном:

— Ты не ходи далеко, а только покажи мне, где пройти между этими укреплениями. Дальше я дорогу знаю.

Сашко молчал и не глядел на нее. В это время Галя приоткрыла дверь и сказала шепотом:

— Идить, нема нико̀го...

Стояла пасмурная, тихая, не очень холодная и не темная ночь, — должно быть, месяц стоял за пленкой зимнего тумана, да и снег светлил.

Сашко — не в шапке, а в очень поношенном и великоватом ему мятом картузе, без рукавиц, в валенках — пошел, не оглядываясь, прямо в поле. Должно быть, он хорошо знал, что мать не подведет: сказала «нема нико̀го»— значит, никого и нема.

Перемежающаяся линия холмов, через которую они должны были пройти, тянувшаяся с севера на юг, была водоразделом между рекой Деркулом и ее притоком Камышной. Деревня лежала в низинке между двух чуть возвышавшихся отрожков, уходивших в степь в сторону Деркула, постепенно понижавшихся и сливавшихся со степью. Сашко шел прямо по полю в сторону от деревни, чтобы пересечь один из этих отрожков. Катя поняла, почему Сашко взял это направление: как ни мало возвышался над степью отрожек, — когда они перевалили его, их уже нельзя было видеть из деревни. Перейдя на другую сторону отрожка, Сашко свернул вдоль него на восток. Теперь они шли перпендикулярно к линии холмов с немецкими укреплениями.

С того момента, как они вышли, Сашко ни разу не оглянулся, идет ли за ним его спутница. Она покорно шла за ним. Они шли теперь по выступавшей из неглубокого снега редкой стерне — низинкой, такой же, как и та, где расположена была деревня. Как и в прошлую ночь, явственно доносилась возня отступавших немецких войск по грейдерным дорогам, где-то севернее и южнее. Говор орудий стал реже и громче и больше на юго-востоке, под Миллеровом. Где-то очень далеко, должно быть над речкой Камышной, подвисали лампы немецких осветительных бомб. Это было так далеко, что мертвенный свет их был только виден отсюда, но не рассеивал полутьмы. Если бы такую лампу подвесили бы над одной из высоток впереди, Сашко и Катя стали бы видны здесь как на ладони.

Мягкий снег бесшумно сдавал под ногами, слышно было только, как шуршат по стерне валенки. Потом стерня кончилась. Сашко оглянулся, сделал рукой знак подойти. Когда Катя приблизилась к нему, он присел на корточки и показал,

что она должна сделать то же. Она просто села на снег в своем полушубке. Сашко быстро указал пальцем на нее и на себя и провел по снегу черту направлением на восток. Кисти рук его были скрыты рукавами кожушка, он выпростал их и быстро нагреб острую грядку из снега поперек только что проведенной им линии. Катя поняла, что он начертил линию их пути и препятствие, которое им предстояло преодолеть. Потом он убрал жменьку снега из грядки в одном месте и жменьку в другом, сделав как бы два прохода в грядке, отметил костяшками пальцев пункты укреплений по обеим сторонам проходов и провел линию сначала через один проход, потом через другой. Катя поняла, что он показывает две возможности их пути.

Катя усмехнулась, вспомнив суворовское изречение: каждый солдат должен понимать свой маневр. В глазах этого десятилетнего Суворова она, Катя, была его единственным солдатом. Она кивнула головой, что поняла «свой маневр», и они пошли.

Они совершали теперь обходное движение в северо-восточном направлении. Так дошли они до густой повители колючей проволоки. Сашко сделал знак, чтобы Катя легла, а сам пошел вдоль проволоки. Вскоре его не стало видно.

Перед Катей тянулась линия проволочных заграждений примерно рядов в двенадцать. Линия была старая, проволока уже заржавела,—Катя даже пощупала ее. Здесь не было никаких следов работы «илов». Должно быть, эту линию заграждения немцы вывели против партизан: она защищала холм с тыла и расположена была далеко от главных укреплений.

Давно уже не испытывала Катя такой муки ожидания. Время шло, а Сашко все не было. Прошел час, другой, а мальчик все не возвращался. Но почему-то Катя не волновалась за него: это был мальчик-воин, на которого можно было положиться.

Она так долго лежала без движения, что ее начал пробирать озноб. Она ворочалась с боку на бок, наконец не выдержала и села. Нет, пусть маленький Суворов осудит ее, но если уж он оставил ее так надолго, она попробует хотя бы разобраться в местности. Если мальчик пошел, а не пополз, то она тоже может немножко походить согнувшись.

Едва она отошла шагов пятьдесят, как вдруг увидела нечто такое, от чего ее в дрожь бросило — от радостной неожиданности. Перед ней была неровная воронка от свежеразорвавшегося снаряда. Снаряд разорвался совсем недавно, вывернув черную землю и разбрызгав ее по снегу. Это была воронка именно от снаряда, а не от бомбы, сброшенной с самолета. Это сразу можно было понять по тому, как легла

вывороченная земля — больше на одну сторону, как раз на ту сторону, откуда пришли Сашко и Катя. И, видно, Сашко тоже обратил внимание на это, он обошел воронку, прежде чем идти дальше, — так показывали следы.

Катя блуждала взором по снегу, ища других воронок, их не было — во всяком случае в непосредственной близости от Кати. Непередаваемое, совсем особого рода волнение овладело ею: это могла быть воронка только от нашего снаряда. Но это не была воронка от снаряда дальнобойной тяжелой артиллерии, это был выброс земли, произведенный снарядом орудия среднего калибра, — наши стреляли не с такого уж дальнего расстояния. Должно быть, это был след — один из следов той ожесточенной артиллерийской стрельбы, что слышали они втроем в Галиной хатенке перед вечером.

Наши близко! Они — рядом! Какими словами передать чувства этой женщины, пять месяцев проведшей вдали от детей своих, в борьбе непрестанной, страшной, с непокидающей мечтою о той минуте, когда окропленный кровью Человек в шинели вступит на поруганную врагом родную землю и раскроет свои братские объятия? С какой силой рванулась измученная душа ее к нему, к Человеку, который был ей в эту минуту ближе, чем муж или брат!

Она услышала мягкий звук валенок по снегу, и Сашко подошел к ней. В первое мгновение она даже не обратила внимания на то, что его кожушок спереди, и колени, и валенки не в снегу, а в земле, — мальчик шел, сунув руки в рукава, должно быть, ему пришлось долго ползти и он замерз. С жадностью вперила она взор свой в его лицо — что же несет он ей? Но лицо мальчика под этим большим, опустившимся на уши картузом было бестрепетно. Он только выпростал из рукавов кисти рук и сделал жест отрицания: «Здесь пройти нельзя».

Жест этот сразил ее. Мальчик посмотрел на воронку, а потом на Екатерину Павловну, — глаза их встретились, и мальчик вдруг улыбнулся. Должно быть, вид этой воронки раньше произвел на него такое же впечатление, как теперь на нее. Он понял все, что происходит с Екатериной Павловной, и улыбка его сказала: «Ничего, что здесь пройти нельзя, мы пройдем в другом месте».

Их отношения вступили в новую фазу, — они поняли друг друга. Они по-прежнему не говорили ни слова, но они подружились.

Она представляла себе, как он там ползал, упираясь в мерзлую землю голыми тонкими руками. Но мальчик не дал себе отдохнуть ни единой минуты. Он поманил Катю за собой и пошел в обратном направлении по их старому следу.

Трудно было бы определить чувство, какое Катя испытывала к этому мальчику. Это было чувство товарищества, чувство доверия, подчинения, уважения. В то же время это было чувство материнства. Это были все эти чувства, слитые вместе.

Она не стала расспрашивать, что помешало им пройти здесь. Она ни на мгновение не усомнилась в том, что он повернул не домой, а ведет ее обходным путем ко второму проходу через укрепления. Она не предложила ему своих рукавиц согреть руки, потому что знала — он не возьмет.

Через некоторое время они опять свернули на север, потом на северо-восток и опять вышли к проволочным заграждениям, опоясывавшим основание уже другого холма. Сашко ушел, а Катя опять ждала и ждала его. Наконец он появился, еще больше вымазавшийся в земле, с этим напущенным на уши картузом и засунутыми в рукава кистями рук. Катя поджидала его, сидя на снегу. Он приблизил свое лицо к ее лицу, подмигнул ей одним глазом и улыбнулся.

Она все-таки предложила ему свои рукавицы, но он отказался.

То, что ей представлялось наиболее трудным, оказалось на деле, как это часто бывает в жизни, даже не легким, а незаметным. Да, она просто не заметила, как они прошли между двумя укрепленными пунктами. Это было самое простое из всего, что ей пришлось пережить за этот поход. И только потом она поняла, почему это было так просто. Она даже не могла вспомнить, долго ли они шли, а потом ползли. Она помнила только, что вся эта местность была вывернута наизнанку в результате дневной работы «плов», и помнила она это потому, что ее полушубок, валенки и рукавицы, когда Сашко и Катя вышли в поле, были тоже запачканы землей, как у Сашко.

Потом они еще довольно долго шли по этому обширному мелкохолмистому полю, по чистому снегу. Наконец Сашко остановился и обернулся, поджидая Катю.

— Дорога ось де буде. Бачишь, чи ни? — шепотом сказал он и вытянул руку.

Он показывал ей, как выйти на проселок, связывавший деревню, из которой они вышли, с хутором, через который лежал ее дальнейший путь. Теперь она попала в ту полосу, где, по карте Ивана Федоровича, было мало немецких укрепленных пунктов, но где в связи со стремительным отступлением немцев должна была царить, по выражению Ивана Федоровича, страшная мешанина. Отступающие разрозненные части могли возводить в этой полосе временные укрепления и вести арьергардные бои. В любом месте можно было наткнуть-

ся на отступающие немецкие подразделения или на случайно отбившихся солдат. И любой из населенных пунктов мог неожиданно оказаться на переднем крае немецкой обороны. Этот участок пути Иван Федорович считал наиболее опасным.

Однако, если не считать все той же возни отступающих частей по грейдерным дорогам и продолжающейся канонады на юго-востоке, под Миллеровом, ничто здесь не указывало на обстановку, обрисованную Иваном Федоровичем.

— Счастливо вам, — сказал Сашко, опустив руку.

Вот тут материнское чувство к нему возобладало над всеми остальными. Ей захотелось подхватить его на руки, прижать к сердцу и держать так долго-долгó, укрыв от всего света. Но, конечно, это могло вконец испортить их отношения.

— Прощай. Спасибо тебе. — Она сняла рукавицу и подала ему руку.

— Счастливо, — снова повторил он.

— Да, забыла, — сказала Катя с легкой улыбкой. — Почему тем проходом нельзя пройти?

Сашко сурово потупился.

— Фрицы хоронили своих. Большу-у-ую яму выкопали!..

И жестокая, недетская улыбка появилась на лице его.

Некоторое время Катя шла, оглядываясь, чтобы подольше не выпускать мальчика из виду. Но Сашко ни разу не оглянулся и скоро исчез во тьме.

И тут случилось самое сильное потрясение, которое на всю жизнь осталось в ее памяти. Катя прошла не более двухсот метров, и по ее ощущениям она должна была уже вот-вот выйти на дорогу. Как вдруг, поднявшись на бугор, она прямо перед собой увидела стоящий за бугром громадный танк с устремленным наискось ее пути длинным стволом орудия. Странное, темное, увенчанное чем-то шарообразным сооружение на башне танка, прежде всего бросившееся ей в глаза, вдруг зашевелилось и оказалось стоящим в открытом люке танкистом в ребристом шлеме.

Танкист так быстро направил на Катю автомат, что казалось, будто он уже поджидал ее с наведенным автоматом, и сказал очень спокойно:

— Стоять!

Он сказал это тихо и одновременно громко, сказал повелительно и в то же время вежливо, поскольку имел дело с женщиной. Но главное — он сказал это на чистом русском языке.

Катя уже ничего не была в силах ответить, и слезы хлынули у нее из глаз.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Танки, к которым вышла Екатерина Павловна,— их было два, но второго, стоявшего по ту сторону дороги, тоже за бугром, она в первое мгновение не заметила,— представляли собой головной дозор передового танкового отряда. А танкист, остановивший ее, был командир танка и командир головного дозора, о чем, впрочем, нельзя было догадаться, так как офицер был в обычном комбинезоне. Все это Катя узнала позднее.

Командир приказал ей спуститься, выпрыгнул из танка, а за ним выпрыгнул танкист. Пока командир выяснял ее личность, она рассматривала его лицо. Командир был совсем еще молод. Он был смертельно утомлен и, видно, так давно не спал, что веки сами собой опускались на глаза его, он подымал эти набухшие веки с видимым трудом.

Катя объяснила ему, кто она и зачем идет. Выражение лица у офицера было такое, что все, о чем она говорит, может быть и правдой, а может быть и неправдой. Но Катя не замечала этого выражения, а только видела перед собой его молодое, смертельно усталое лицо с набухшими веками, и слезы снова и снова навертывались ей на глаза.

Из темноты по дороге вынырнул мотоциклист, застопорил у танка и спросил обыкновенным голосом:

— Что случилось?

По характеру вопроса Катя поняла, что мотоциклист вызван из-за нее. За пять месяцев работы в тылу врага у нее выработалась привычка подмечать такие мелочи, которым в обычное время люди не придают значения. Даже если бы из танка радировали на тот пункт, где находился мотоциклист, он не мог бы прибыть так скоро. Каким же способом он был вызван?

В это время подошел командир другого танка, бегло взглянув на Катю, и двое командиров и мотоциклист, отойдя в сторону, некоторое время поговорили между собой. Мотоциклист умчался во тьму.

Командиры подошли к Кате, и старший с некоторым смущением спросил, есть ли у нее документы. Катя сказала, что документы она вправе предъявить только высшему командованию.

Некоторое время они постояли молча, потом второй командир, еще более молодой, чем первый, спросил баском:

— В каком месте вы прошли? Укреплены они здорово?

Катя передала все, что знала об укреплениях, и объяснила, как прошла сквозь них с мальчиком десяти лет. Она рассказала и о том, как немцы хоронили своих и как она видела воронку от нашего снаряда.

— Ага! Вон где один приложился! Видал? — воскликнул второй командир, взглянув на старшего с детской улыбкой.

Только теперь Катя поняла, что артиллерийская стрельба, то приближавшаяся, то стихавшая, которую она слышала днем, а потом перед наступлением темноты в хате у Гали, это была стрельба наших головных танков, атаковавших укрепления противника.

С этой минуты отношения с командирами у Кати установились более дружеские. Она даже осмелилась спросить у командира головного дозора, каким способом он вызвал мотоциклиста, и командир объяснил ей, что мотоциклист был вызван световым сигналом, включением лампочки в кормовой части танка.

Пока они так беседовали, примчался мотоциклист с коляской. Мотоциклист даже откозырял Кате, — чувствовалось, что он относится к ней уже не только как к своему человеку, а и как к человеку важному.

С того момента, как она села в коляску, Катей овладело совершенно новое чувство, которое она продолжала испытывать и еще несколько дней после того, как попала к своим. Она догадывалась, что попала всего лишь в танковое подразделение, вырвавшееся вперед на территорию, где еще господствует противник. Но она уже не придавала силам противника никакого значения. И противник, и вся та жизнь, какой она, Катя, жила эти пять месяцев, и трудности ее пути — все это не только осталось позади, все это вдруг далеко-далеко отодвинулось в ее сознании.

Великий моральный рубеж отделил ее от всего того, что только что ее окружало. Мир людей с такими же, как у нее, чувствами, переживаниями, характером мышления и взглядом на жизнь обнимал ее. И он был так огромен, этот мир, что по сравнению с тем миром, где она жила до сих пор, он казался просто бесконечным. Она могла ехать на этом мотоцикле еще день и еще год, и всюду был бы он, этот свой мир, где не нужно таиться, лгать, делать неестественные моральные и физические усилия. Катя снова стала сама собой и — навсегда.

Морозный ветер обжигал ей лицо, а в душе у нее было такое чувство, что она могла бы запеть.

Мотоциклист мчал ее не день, даже не час, — он мчал ее не более двух минут. Он чуть притормозил, въезжая на мосток через припорошенную снегом и, должно быть, высохшую за лето речушку. И в низкой, с пологими краями балке, образованной этой речушкой, Катя увидела сразу около десятка танков и несколько грузовых машин, вытянувшихся дальше по дороге. В машинах и возле них сидели и стояли наши авто-

матчики из так называемой мотопехоты — самые обыкновенные автоматчики, в зимних шапках и ватниках.

Здесь Катю уже ждали. Едва мотоцикл съехал с мостика, как к ней подошли два танкиста в комбинезонах и, подхватив под руки, помогли вылезть из коляски.

— Извините, товарищ... — Танкист, человек уже пожилой, взяв под козырек, назвал Катю по фамилии той учительницы из Чира, на которую был выписан фальшивый документ,— извините, я должен выполнить эту формальность...

Он сверху вниз осветил ее паспорт карманным фонариком и тут же вернул.

— Все в порядке, товарищ капитан! — Он обернулся к другому танкисту с лицом, рассеченным наискось через лоб, переносицу и левую щеку, — шрам был свежий, только что зарубцевавшийся.

— Замерзли? — спросил капитан, и по интонациям его голоса, ласкового, вежливого, с бархатными перекатами, и по всей повадке его, скромной и в то же время повелительно-смелой, Катя догадалась, что имеет дело с командиром танкового отряда. — И отогреть вас некогда, — выступаем. Впрочем... Если не побрезгуете...— Он неловким движением тяжелой своей руки передвинул из-за поясницы наперед висевшую через плечо флягу и вынул пробку.

Катя молча взяла флягу обеими руками и сделала глубокий глоток:

— Спасибо.

— Еще!

— Нет, спасибо...

— Есть распоряжение немедленно доставить вас в штаб корпуса, доставить в танке, — сказал капитан с усмешкой. — Противника на пути мы, правда, подавили, да зона такая,— черт его знает!

— Откуда вы узнали мою фамилию? — спросила Катя, чувствуя, как огнем прожигает ее этот глоток разведенного спирта.

— Вас ждут.

Значит, все это подготовил Иван Федорович, ее Ваня. Ей стало жарко.

Пришлось снова рассказать все, что она знала об укреплениях впереди деревни. Катя догадывалась, что танки пойдут сейчас брать эти высотки. И действительно, пока ей помогали подняться на башню и спуститься в холодный танк, громадность которого она ощутила, только оказавшись в непосредственной близости от него, — танки вокруг заревели со страшной выразительностью, а автоматчики бросились по машинам.

Экипаж танка, в котором ей предстояло совершить свой путь, состоял из четырех человек. У каждого из них было свое место, — Екатерину Павловну они посадили прямо на днище боевого отделения. В танке было тесно, она сидела у ног командира. Из всей команды только один водитель не был ранен.

Командир танка был ранен в голову. Обмотанная бинтом поверх толстого слоя ваты голова его не могла принять на себя шлем, — командир был в обыкновенной солдатской шапке. Он был ранен еще и в руку: она покоилась на перевязи, и он, сам того не замечая, очень оберегал ее, чтобы не задеть за что-нибудь, и иногда морщился от толчков.

Ему и его экипажу очень не хотелось уезжать от товарищей, и вначале они холодно отнеслись к Кате, как к виновнице того, что их отправляют в тыл. Как выяснилось, только командир и водитель танка были из основного экипажа, двое других были высажены — при невероятном их сопротивлении — из других танков и заменены здоровыми ребятами из этого экипажа. В момент, когда Катю подвели к танку, между командиром танка и капитаном произошла небольшая перепалка — в тонах, правда, вполне корректных, но у обоих было ужасное выражение на лицах. Однако капитан, с этим не вполне зажившим шрамом через все лицо, настоял на своем. Он использовал отъезд Кати, чтобы освободить отряд от раненых.

Однако, когда танк тронулся и танкисты рассмотрели, что с ними едет молодая женщина, они изменили отношение к ней. Выяснилось к тому же, что Катя только что прошла сквозь те укрепления, которые предстояло взять танковому отряду. Танкисты оживились. Все это были молодые ребята, лет на пять, на семь моложе Кати.

Командир танка тут же велел открыть «второй фронт» — так называлась американская консервированная тушенка. Стрелок-радист в одно мгновение открыл «второй фронт» и нарезал хлеба богатырскими ломтями, и командир левой рукой предложил Кате свою флягу. От фляги она отказалась, но с аппетитом отведала и тушенки и хлеба. Танкисты по очереди приложились к фляге командира, и в танке установились вполне дружеские отношения.

Они двигались так быстро, как только могли. Катю мотало из стороны в сторону. Вдруг стоявший в открытом люке башенный стрелок присел и, почти прижавшись губами к уху командира, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, не слышите?

— Началось? — хрипло спросил командир танка и тронул ногой плечо водителя.

Водитель затормозил. И в наступившей тишине все услышали частую артиллерийскую стрельбу. Звуки эти, наполнившие ночь, доносились с той стороны, откуда Катя пришла.

— Эге, нету у фрицев осветительных ракет! — удовлетворенно сказал башенный стрелок, снова высунувший голову из танка. — Наши здорово идут, я вспышки вижу...

— Дай посмотреть!

Старший лейтенант поменялся местом с башнером и бережно высунул свою забинтованную голову. Пока он смотрел, танкисты, забыв о присутствии Кати, строили разные предположения о ходе дела и снова выражали досаду на то, что они не в своих танках.

Командир бережно втащил свою забинтованную голову обратно в танк, — выражение лица у него было просто болезненное. Однако он не мог забыть о присутствии Кати и немедленно прекратил весь этот разговор. Все же Катя видела по его лицу, как горько ему, что он не может принять участие в бою. Он даже вынужден был позволить всем по очереди посмотреть, что там происходит, прежде чем они тронулись дальше.

В общем все они немножко пали духом. Но Екатерина Павловна была женщина находчивая и сразу стала расспрашивать танкистов о боевых делах. Из-за скрежета машины очень трудно было разговаривать — они все время кричали. Воспоминания снова разогрели их. По сбивчивым их рассказам Екатерина Павловна составила себе первую приблизительную картину о боевых действиях в той полосе, куда она попала.

Советские танковые части форсировали железную дорогу Воронеж — Ростов на большом участке между Россошью и Миллеровом и выбили немцев с их оборонительного рубежа на речке Камышной, а севернее, в районе деревни Ново-Марковки, вышли даже на верховья реки Деркул. Отступавшие немецкие части спешно превращали водораздел между Камышной и Деркулом, в частности те высотки, мимо которых удалось пройти Кате, в передний край обороны. Новый рубеж шел через Лимаревку, Беловодск, Городищи — места, где оперировали сейчас отряды под руководством Ивана Федоровича, и до самого Донца, где находилась база Митякинского отряда. Катя, хорошо знавшая эти места, только теперь могла оценить всю мощь удара советских войск. В то же время она видела и все трудности, стоявшие на пути наших войск. Им предстояло преодолеть укрепленные берега рек Деркул, Евсуг, Айдар, Боровая, железную дорогу Старобельск — Станично-Луганская, наконец, самый Донец.

Передовой танковый отряд, в который вышла Катя, уже двое суток был оторван от своей части, следовавшей за ним километрах в пятнадцати. Двигаясь в западном направлении,

отряд подавил все встречавшиеся на пути пункты сопротивления противника, занял несколько хуторов и деревень, в том числе и ту самую деревню, куда, по указанию Ивана Федоровича, должна была выйти Катя.

Танк, в котором следовала Катя, днем был в головном дозоре и участвовал в атаке на известные ей высотки. Головной дозор, внезапно наткнувшись на вражеское укрепление, открыл орудийный и пулеметный огонь и вызвал на себя весь огонь противника. В этой атаке танк был поврежден, а командир был ранен в голову и в руку.

Они так отдалились от места боя, и это уже было так явно непоправимо, что постепенно на всех, кроме Кати и водителя танка, напала усталость и жажда сна, какая нападает на бойцов, вырвавшихся на отдых после боевой страды. Катя испытывала к ним нежность и жалость.

Так миновали они несколько населенных пунктов. Вдруг водитель обернулся к Кате и крикнул:

— Наши идут!

Они ехали все время по дороге, а теперь свернули на поле, и водитель остановил машину.

Стояла глубокая ночь, тишину которой прерывали только звуки дальних и ближних боев — такие привычные для слуха военного человека. И в этой тишине, все нарастая и приближаясь, слышались гудение и скрежет движущихся навстречу металлических масс. Водитель посигналил приглушенными огнями фар. Командир танка и башенный стрелок вылезли из машины, а Катя выпрямилась в башне.

Мотоциклисты промчались мимо, показались надвигавшиеся по дороге и по степи танки и бронемашины. Они наполнили ночь своим грохотом. Катя закрыла рукавицами уши поверх платка. Танки, скрежеща, с резкими выхлопными звуками ползли мимо, массивные и грузные, с темными хоботами пушек,— они производили впечатление могучее и страшное, еще усиливающееся тьмою.

Маленькая бронемашина остановилась возле их одинокого танка, из нее выбралось двое военных в шинелях. Некоторое время они переговаривались с командиром танка, крича в уши друг другу, изредка поглядывая на Катю, стоявшую в танковой башне. Потом военные в шинелях снова влезли в бронемашину, и она помчалась по степи, обгоняя танковый поток.

Движение танков чередовалось с движением грузовых машин с мотопехотой. Машины плавно катились по дороге. Автоматчики смотрели в сторону одинокого танка в степи, из которого на них глядела женщина, прикрывшая уши рукавицами.

Катю ошеломило это движение тяжелых масс металла и

масс людей во тьме, точно слившихся с металлом. И, должно быть, именно с этой минуты к тому чувству внутреннего освобождения, которое Катя испытывала, примешалось еще новое чувство, от которого она долго не могла освободиться. Ей казалось, что все это видит, переживает не она, Катя, а кто-то другой. Она видела себя со стороны и видела так, как видят себя во сне. Она впервые почувствовала, что отвыкла от этого мира, ворвавшегося в ее душу с такой неимоверной силой. И в охватившем ее калейдоскопе лиц, событий, разговоров, наконец, человеческих понятий, среди которых были и совсем новые и такие, которых она давно не употребляла, — она долго не могла найти самое себя.

С тем большей силой хотелось ей видеть Ивана Федоровича, чувствовать его близость. Ее беспокойство о нем граничило со страданием. Чувство любви, тоски ранило ее сердце и было тем более безысходно, что она давно уже забыла, что такое слезы.

Красная Армия, с которой встретилась Екатерина Павловна, — это была армия, уже знавшая о том, что она армия-победительница.

Спустя полтора года войны армия-победительница не только не оскудела в своем оснащении,— она предстала перед Екатериной Павловной в такой мощи вооружения, которая превосходила мощь врага даже в те навеки запомнившиеся дни унижения, когда враг, вооруженный всем, что могли ему дать лучшие заводы порабощенной Европы, сметая все, катился неумолимый по раскаленной донецкой степи. Но еще более того потрясали Катю люди, с которыми свела ее теперь судьба. Да, люди, с которыми в калейдоскопической смене сталкивалась, соприкасалась Екатерина Павловна, это были уже люди новой складки. Они не только овладели мощностью новой техники, они по духовному облику своему как бы перешли в новый, высший класс истории человечества.

Кате мучительно казалось порой, что они, эти люди, настолько опередили ее, что ей уже никогда их не догнать.

Танк с этим чудесным «сводным» экипажем под командованием старшего лейтенанта, раненного в голову и в руку, доставил Катю в штаб танковой бригады, встреченной ими на походе. Собственно, это был не штаб, — здесь были только командир бригады с оперативной группой. Они помещались на хуторе, сильно разбитом в бою с противником не далее как вчера утром.

Молодой огненноглазый полковник с лицом таким же черным от бессонницы, как и у штабных, следовавших вместе с ним, принял ее в единственном непострадавшем домике. Он извинился, что не может принять ее лучше: он сам заскочил

сюда на минутку и должен сейчас выступать. Все-таки он предложил Кате задержаться здесь и поспать.

— Скоро сюда прибудет наш второй эшелон, найдется кому присмотреть и поухаживать за вами, — говорил он.

В домике было жарко натоплено. Офицеры заставили Катю снять полушубок и обогреться.

Как ни разбит был хутор, в нем оказалось еще много жителей — большей частью женщин, детей и стариков. Советские военные люди, да еще танкисты, были им и в радость и в новинку. Жители набивались всюду, где появлялись военные, особенно — командиры. Связисты уже вели и в этот домик и в соседние полуразбитые домики телефонный провод, подготовляя все для штаба и его учреждений.

Катя выпила чаю, — это был настоящий чай. А через полчаса закрытый вездеход командира мчал ее в штаб корпуса. Сопровождал ее теперь только один сержант-автоматчик. И лица старшего лейтенанта-танкиста с забинтованной головой, и черного полковника с огненными глазами, и еще десятки других лиц исчезли из памяти Кати.

Занялось морозное утро, туман окутывал всю местность. Но где-то там, за туманом, вставало солнце, — Катя двигалась прямо на солнце.

Ехали они по большой грейдерной дороге, навстречу шли войска. Если бы не вездеход, беспрестанно съезжавший в степь, покрытую неглубоким снегом, Кате не скоро удалось бы добраться до штаба корпуса. Вскоре машина переправилась вброд через мелкую здесь и сильно замутненную речку Камышную, волочившую крошево снега, льда и песка, истолченных беспрерывно переходившими через речку, и должно быть во многих местах, танками и пушками.

Туман немного поредел, солнце, на которое можно было смотреть, висело низко над горизонтом. По всему протяжению реки, в обоих берегах ее Катя видела немецкие укрепления, занятые теперь нашими войсками. Местность вокруг была сильно покорежена снарядами и передвижением танков и тягачей, выводивших на новые позиции тяжелые орудия.

За рекой движение по дороге стало еще более затрудненным из-за обилия войск, двигавшихся на юго-запад, и обратного движения пленных солдат оккупационных армий. Их вели и малыми группами и большими партиями. В прожженных шинелях, небритые, грязные, они ползли по размешанной дороге или прямо по степи, придавленные позором поражения и плена. Местность, по которой их вели, несла на себе страшные следы причиненных ими разрушений. Плодородная степь, столетиями рождавшая хлеб, лежала истерзанная, деревни были сожжены и разбиты. Там и здесь чернели осто-

вы обгоревших танков, исковерканных грузовиков, торчал хобот подбитого орудия или вывернутое косо крыло самолета с черной свастикой. Скрюченные морозом трупы вражеских солдат валялись по степи и прямо на дороге, их некому и некогда было убирать, и танки и тяжелые орудия ползли через них, расплющивая их в страшные оладьи.

Люди, шагавшие в наступающих колоннах, сидевшие в танках, в грузовиках, люди, утомленные и в то же время вдохновленные героическими и тяжкими перипетиями сражения, длившегося около десяти суток, сражения, в котором они были победителями, — люди уже не обращали внимания на трупы врагов. И только Катя изредка покашивалась на них с брезгливым равнодушием.

А сражение, одно из крупнейших в истории, являвшееся одним из звеньев великого разгрома гитлеровских войск под Сталинградом, все шире и мощнее развертывалось в своем движении на юго-запад. В рассеивающемся тумане то там, то здесь вспыхивали воздушные бои, тяжелые орудия погромыхивали по всему простору степи, и всюду, куда хватал глаз, видны были картины гигантских передвижений войск и техники, продовольствия и снарядов, передвижений, сопровождающих большие военные операции.

К середине дня, который был бы уже совсем ясным, если бы не растворявшиеся в туманных испарениях дымы пожаров, Катя прибыла в штаб гвардейского танкового корпуса. Это опять-таки был не штаб, а временный командный пункт командира корпуса, разместившийся в случайно уцелевшем каменном железнодорожном здании одной из станций севернее Миллерова. Станционный поселок был разнесен в щепки. Но, как и во всех только что освобожденных пунктах, здесь прежде всего бросалось в глаза поразительное сочетание продолжающейся боевой страды с уже налаживающейся советской гражданской жизнью.

Первым, кого увидела Катя среди военных на командном пункте, был человек, сразу вызвавший в ее памяти мирную жизнь, и Ивана Федоровича, и всю их семью, и ее, Катин, труд учительницы, а потом скромной деятельницы народного образования.

— Андрей Ефимович! Милый вы мой!.. — С этим невольным криком она кинулась к этому человеку и обняла его.

Это был один из руководителей украинского штаба партизан, который более пяти месяцев тому назад инструктировал Ивана Федоровича перед его уходом в подполье.

— Обнимайте тогда всех! — сказал худой моложавый генерал, глядя на нее твердыми серыми умными глазами в длинных ресницах.

Катя увидела загорелое жесткое лицо генерала, аккуратно подбритые, чуть начавшие седеть виски и вдруг смутилась, закрыла лицо руками и склонила голову в теплом темном крестьянском платке. Так она и стояла в полушубке и валенках среди этих подтянутых военных, закрыв лицо руками.

— Ну вот, смутили женщину! Обращения не знаете! — с улыбкой сказал Андрей Ефимович.

Офицеры засмеялись.

— Простите... — генерал чуть дотронулся своей тонкой рукой до ее плеча.

Она отняла руки от лица, глаза ее сияли.

— Ничего, ничего, — говорила она.

Генерал уже помогал ей снять полушубок.

Как и большинство современных командиров, командир корпуса был еще молод для своей должности, для своего звания. Несмотря на обстановку, в которой он сейчас находился, он был как-то не подчеркнуто, а естественно спокоен, точен в движениях и аккуратен, деловит, полон сдержанного грубоватого юмора и в то же время вежлив. И на всех военных людях, окружавших его, лежала печать такого же спокойствия, деловитости, вежливости и какой-то общей опрятности.

Пока расшифровывали донесение Ивана Федоровича, генерал аккуратно выложил поверх лежащей на столе большой военной карты листок папиросной бумаги с мелко вычерченной картой Ворошиловградской области, как это делал на глазах Кати Иван Федорович. (Трудно было представить себе, что это было всего лишь позапрошлой ночью!) Генерал разгладил листок тонкими пальцами и сказал с видимым удовольствием:

— Вот это работа, я понимаю!.. Черт возьми! — вдруг воскликнул он. — Они опять укрепляют Миус. Обратите внимание, Андрей Ефимович...

Андрей Ефимович склонился к карте, и на сильном лице его явственней обозначились мелкие морщинки, старившие Андрея Ефимовича. Другие военные тоже приблизили свои лица к маленькому листочку папиросной бумаги поверх военной карты.

— Нам-то уж не придется иметь с ними дело на Миусе. Но вы знаете, что это значит? — сказал генерал, вскинув на Андрея Ефимовича веселый взгляд из-под длинных своих ресниц. — Они не так уж глупы: им теперь действительно придется уходить с Северного Кавказа и с Кубани!

Генерал засмеялся, а Катя покраснела, — настолько слова генерала совпадали с предположениями Ивана Федоровича.

— А теперь посмотрим, что здесь нового для нас. — Генерал взял лежавшую поверх военной карты большую лупу и

стал рассматривать значки и кружочки, расставленные точной рукой Ивана Федоровича на листке папиросной бумаги. — Это известно, это известно... так... так... — Он разбирал смысл значков Ивана Федоровича без объяснительной записки, которая еще не была расшифрована. — Что ж, значит, ваш Василий Прохорович не так уж плох, а ты все — «разведка плоха, разведка плоха!» — с тонко скрытой иронией сказал генерал стоявшему рядом с ним массивному полковнику с черными усами, начальнику штаба корпуса.

Очень низенького роста, полный лысый военный, с лицом, лишенным бровей, с непередаваемой хитрецой в светлых живых глазах, предупредил ответ полковника:

— Эти сведения, товарищ командир корпуса, у нас из того же источника, — сказал он без смущения.

Это и был Василий Прохорович, начальник разведки штаба корпуса.

— О-о, а я думал, вы это сами узнали! — разочарованно сказал генерал.

Офицеры засмеялись. Но Василий Прохорович не придал значения ни насмешливому замечанию командира корпуса, ни смеху своих товарищей-сослуживцев,— как видно, он привык к этому.

— Нет, вы обратите внимание, товарищ генерал, вот на эти данные, вот здесь, перед Деркулом. А ведь они отстают! Мы уже знаем здесь побольше, — спокойно сказал он.

Катя почувствовала, что реплика Василия Прохоровича как бы снижает значение сведений, собранных Иваном Федоровичем, сведений, ради которых она, Катя, проделала весь этот путь.

— Товарищ, который передал мне эти сведения, — сказала она резким голосом, — товарищ этот просил предупредить: все новые данные, связанные с отступлением противника, он будет передавать, и, я думаю, он их уже передает. А эта карта вместе с пояснениями к ней дает общую картину положения в области,

— Верно, — сказал генерал. — Она больше нужна товарищу Ватутину и товарищу Хрущеву. Мы им ее и перешлем. А сами воспользуемся тем, что нас касается.

Только поздней ночью Екатерина Павловна дождалась возможности поговорить по душам с Андреем Ефимовичем.

Они не сидели, а стояли в пустой, но натопленной комнате при свете трофейных немецких плошек, и Катя спрашивала:

— Как же вы попали сюда, Андрей Ефимович, милый?

— А чему вы удивляетесь? Ведь мы вступили на территорию Украины. Хоть она еще мала, да наша! Правительство

возвращается на родную землю и наводит советские порядки. — Андрей Ефимович усмехнулся, и его мужественное лицо в мелких морщинках сразу помолодело.— Войска наши, как вам известно, вступили во взаимодействие с украинскими партизанами. Как же без нас тут обойтись? — Он сверху вниз глядел на Катю, глаза его лучились. Но вдруг лицо его снова стало серьезным. — Хотел дать вам отдохнуть, а уж завтра поговорить о деле. Да ведь вы человек мужественный! — Он немного смутился, но глаза его прямо глядели в глаза Кати.— Ведь мы хотим вас направить обратно — прямо в Ворошиловград. Нам нужно узнать многое такое, что только вы сможете узнать... — Он помолчал, потом сказал тихо и вопросительно: — Конечно, если вы очень измотались...

Но Катя не дала ему договорить. Сердце ее преисполнено было чувства гордости и благодарности.

— Спасибо, — едва выговорила она. — Андрей Ефимович, спасибо!.. И больше ничего мне не говорите. Вы не могли бы сказать ничего, что сделало бы меня такой счастливой,— взволнованно говорила она, и ее загорелое, резких очертаний лицо, оттененное белокурыми волосами, стало прекрасным.— И единственная просьба к вам: пошлите меня завтра же, не отсылайте меня в политуправление фронта, я не нуждаюсь в отдыхе!

Андрей Ефимович подумал, покачал головой, потом улыбнулся.

— Да ведь нам не к спеху, — сказал он. — Немножко будем выравниваться, закрепляться на занятых рубежах. Деркул, тем более — Донец с ходу не возьмешь. И Миллерово и Каменск держат нас. А вам есть что порассказать в политуправлении. Значит, нам пока не к спеху. Выступите дня через два-три...

— Ах, почему не завтра! — воскликнула Катя, и сердце ее облилось кровью от тоски и любви.

На третий день к вечеру Екатерина Павловна снова была в знакомой деревне, в хате у Гали. Екатерина Павловна была все в том же полушубке и в темном платке и с тем же документом учительницы с Чира.

Теперь в этой деревушке стояли наши. Но высотки в направлениях на север и на юг все еще были заняты противником. Линия немецких укреплений проходила по водоразделу между Камышной и Деркулом и в глубину на запад и по самому Деркулу.

Маленький Сашко, такой же аккуратный и безмолвный, ночью провел Катю тем самым путем, каким когда-то вел Катю старик Фома, и она попала в хатенку, где несколько дней назад напутствовал ее Иван Федорович.

Здесь один из многочисленных Корниенок передал ей, что Иван Федорович знает о ее выходе, сам жив-здоров, но повидать ее не имеет возможности.

Идя днем и ночью уже без всяких сопровождающих, давая себе отдыха не больше двух-трех часов в сутки, Катя добралась до Марфы Корниенко. И была сражена известием о гибели Маши Шубиной.

Была разоблачена явочная квартира на медпункте в селе Успенском. Сестры Кротовы, предупрежденные своим человеком в полиции, успели уйти и предупредить подпольные организации, связанные с ними, о провале квартиры. Но весть о провале пришла к Марфе Корниенко, когда Маша была уже в пути на Успенку.

Попытка перехватить Машу по дороге не привела ни к чему. Маша попала в руки жандармерии и была замучена там же, в Успенке. От того же своего человека удалось узнать, что Маша Шубина до конца отрицала какую бы то ни было связь с подпольем и никого не выдала.

Ужасная это была новость! Но Катя даже не имела права терзать себе душу: ей нужны были силы.

Через два дня она уже была в Ворошиловграде.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Даже самый отсталый человек в тылу у немцев, человек, ничего не смысливший в делах войны, понял: гитлеровцам пришел конец.

В таких отдаленных от фронта местах, как Краснодон, это прежде всего поняли по бегству младших компаньонов гитлеровцев, компаньонов по грабежу, — венгерских и итальянских наемников и остатков армии Антонеску.

Румынские офицеры и солдаты бежали по всем дорогам, без автотранспорта и артиллерии. День и ночь тянулись они в своих будках на заморенных конях и шли пешком, засунув руки в рукава шинелей с обожженными полами, в высоких шапках из козьего меха или в пилотках, с отмороженными щеками, подвязанными полотенцами или женскими шерстяными трусиками.

Одна из будок остановилась у двора Кошевых, из нее выскочил знакомый офицер и побежал в дом. Денщик, изогнув шею, чтобы спрятать отмороженное ухо, внес его большой чемодан и свой маленький.

Офицер был с флюсом и без золотых погончиков. Он вбежал на кухню и сразу стал греть руки у плиты.

— Ну, как дела? — спросил его дядя Коля.

Офицер не то чтобы задвигал кончиком носа, — он не мог двигать обмороженным носом, — он показал на лице то выражение, с каким он двигал носом, и вдруг изобразил лицом Гитлера, что ему хорошо удалось благодаря его усикам и безумному выражению глаз. Он изобразил Гитлера и, приподнявшись на цыпочках, сделал вид, что убегает. Он даже не улыбнулся, настолько он не шутил.

— Идем домой до хазайка! — добродушно сказал денщик, опасливо покосился на офицера и подмигнул дяде Коле.

Они отогрелись, закусили и едва вышли со своими чемоданами, как бабушка по какому-то наитию свыше приподняла одеяло на постели Елены Николаевны и не обнаружила обеих простынь.

Разгневавшись до того, что даже помолодела, бабушка кинулась за гостями и стала так кричать у калитки, что офицер понял, что он вот-вот станет центром бабьего скандала. Он приказал денщику открыть маленький чемодан. В чемоданчике денщика действительно оказалась одна простыня. Бабушка, схватив ее, закричала:

— А де ж друга?

Денщик свирепо вращал глазами в сторону хозяина, но тот, сам подхватив свой чемодан, уже влезал в будку. Так он и увез простыню к себе в Румынию, если только ею не воспользовался какой-нибудь партизан, украинец или молдаванин, отправивший на тот свет потомка древних римлян вместе с его денщиком.

Самые рискованные операции удаются подчас лучше самых тщательно подготовленных в силу неожиданности. Но чаще самые крупные дела проваливаются из-за одного неверного шага.

Вечером 30 декабря Сережка и Валя с группой товарищей по дороге в клуб увидели стоявшую у одного из домов немецкую грузовую машину, заваленную мешками, без всякой охраны и без водителя.

Сережка и Валя влезли на машину и ощупали мешки: судя по всему, в них были новогодние подарки. Накануне выпал небольшой снежок, подморозило, от снега было светло вокруг; люди еще ходили по улицам; все же ребята рискнули сбросить с машины несколько мешков и рассовали их по прилегающим дворам и сарайчикам.

Женя Мошков — директор клуба — и Ваня Земнухов — художественный руководитель — предложили ребятам, как только молодежь разойдется, перенести подарки в клуб: там было много всяких укромных подвальных помещений,

Немецкие солдаты, столпившиеся возле машины, а особенно один ефрейтор в шубе с собачьим воротником и в эрзацваленках, ругались пьяными голосами, а хозяйка дома, неодетая, говорила, что она не виновата. И немцы видели, что она не виновата. В конце концов немцы полезли в машину, хозяйка убежала в дом, а немцы, свернув на съезд в балку, поехали в жандармерию.

Ребята перетаскали мешки в клуб и спрятали в подвал.

Утром Ваня Земнухов и Мошков, сойдясь в клубе, решили, что часть этих подарков, особенно сигареты, следовало бы сегодня, под Новый год, пустить на рынок: организация нуждалась в деньгах. Случайно в клубе оказался и Стахович, который поддержал это мероприятие.

Торговля немецким мелким товаром из-под полы не была необычным явлением на рынке: этим занимались прежде всего немецкие солдаты, менявшие сигареты, табак, свечи, бензин на водку, теплые вещи, продовольствие. Немецкое добро перепродавалось из рук в руки: полиция смотрела на это сквозь пальцы. И у Мошкова был уже целый штат уличных мальчишек, охотно занимавшихся продажей сигарет за проценты.

Но в этот день полиция, произведшая с утра обыск в ближайших к месту пропажи домах и не обнаружившая подарков, специально следила, не будет ли кто-нибудь торговать на рынке. И один из мальчишек был пойман с сигаретами самим начальником полиции Соликовским.

На допросе мальчишка сказал, что он выменял эти сигареты у дяденьки на хлеб. Мальчишку выпороли кнутом. Но это был из тех уличных мальчишек, которые не раз в своей жизни были пороты; кроме того, он был воспитан в том духе, что товарищей нельзя выдавать, и избитого и наплакавшегося мальчишку вбросили в камеру до вечера.

Майстер Брюкнер, которому начальник полиции в ряду других дел доложил о поимке мальчишки с немецкими папиросами, поставил это в связь с другими хищениями с грузовых машин и пожелал допросить мальчишку лично.

Поздним вечером мальчишка, уснувший в камере, был разбужен и приведен в комнату майстера Брюкнера, где он предстал сразу перед двумя жандармскими чинами, начальником полиции и переводчиком.

Мальчишка гнусил свое.

Майстер, вспылив, схватил мальчишку за ухо и собственноручно потащил его по коридору.

Мальчишка очутился в камере, где стояли два окровавленных топчана, свисали веревки с потолка и на длинном некрашеном столе на козлах лежали шомпола, шилья, плети, скрученные из электрического провода, топор. Топилась желез-

ная печка. В углу стояли ведра с водой. В камере под стенками было два стока, как в бане.

У козел на табуретке сидел полный лысоватый немецкий жандарм в очках со светлой роговой оправой, в черном мундире, с большими красными руками, поросшими светлым волосом, и курил.

Мальчишка взглянул на него, затрясся и сказал, что он получил эти сигареты в клубе от Мошкова, Земнухова и Стаховича.

В этот же день девушка с «Первомайки», Вырикова, встретила на рынке свою подругу Лядскую, с которой она сидела когда-то на одной парте, а с началом войны разлучилась: отец Лядской был переведен на работу в поселок Краснодон.

Они не то чтобы дружили,— но были одинаково воспитаны в понимании своей выгоды, а такое воспитание не располагает к дружбе, — они просто понимали друг друга с полуслова, имели одинаковые интересы и извлекали обоюдную пользу из общения друг с другом. С детских лет они перенимали у своих родителей и у того круга людей, с которым общались их родители, то представление о мире, по которому все люди стремятся только к личной выгоде и целью и назначением человека в жизни является борьба за то, чтобы тебя не затерли, а наоборот, — ты преуспел бы за счет других.

Вырикова и Лядская выполняли различные общественные обязанности в школе и привычно и свободно обращались со словами, обозначавшими все современные общественные и нравственные понятия. Но они были уверены в том, что и эти обязанности, и все эти слова, и даже знания, получаемые ими в школе, придуманы людьми для того, чтобы прикрыть их стремления к личной выгоде и использованию других людей в своих интересах.

Не проявив особенного оживления, они были все же очень довольны, увидев друг друга. Они дружелюбно сунули друг другу негнущиеся ладошки — маленькая Вырикова в ушастой шапке с торчащими вперед поверх драпового воротника косичками и Лядская, большая, рыжая, скуластая, с крашеными ногтями. Они отошли в сторонку от кишащей базарной толпы и разговорились.

— Ну их, этих немцев, тоже мне избавители! — говорила Лядская. — Культура, культура, — а они больше смотрят пожрать да бесплатно побаловаться за счет Пушкина... Нет, я все ж таки большего от них ожидала... Ты где работаешь?

— В конторе бывшей Заготскота... — Лицо у Выриковой приняло обиженное и злое выражение: наконец она могла поговорить с человеком, который мог осуждать немцев с правильной точки зрения.— Только хлеб, двести, и все... Они ду-

раки! Совершенно не ценят, кто сам пошел к ним служить. Я очень разочарована,— сказала Вырикова.

— А я сразу увидела: невыгодно. И не пошла,— сказала Лядская.— И жила сначала, правда, неплохо. Там у нас была такая теплая компания, я от них все ездила по станицам, меняла... Потом одна из-за личных счетов выдала меня, что я не на бирже. Да я ей — фигу с маслом! Там у нас был уполномоченный с биржи, пожилой, такой смешной, он даже не немец, а с какой-то Ларингии, что ли, я с ним пошла, погуляла, потом он мне даже сам доставал спирт и сигареты. А потом он заболел и вместо него посадили такого барбоса, он меня сразу — на шахту. Тоже, знаешь, не мед — вороток крутить! Я с того и приехала сюда,— может, схлопочу что получше здесь на бирже... У тебя заручки там нет?

Вырикова капризно выпятила губы.

— Очень я ими нуждаюсь!.. Я тебе так скажу: лучше иметь дело с военными: во-первых, он временно, значит, рано или поздно уйдет, ты перед ним ничем не обязана. И не такие скупые,— он знает, что его могут завтра убить, и не так жалеет, чтобы ему погулять... Ты б зашла как-нибудь?

— Куда ж заходить,— восемнадцать километров, да еще сколько до вашей Первомайки!

— Давно ли она перестала быть вашей?.. Все ж таки заходи, расскажи, как устроишься. Я тебе кой-что покажу, а может, и дам кой-чего, понимаешь? Заходи! — И Вырикова небрежно ткнула ей свою маленькую негнущуюся ладошку.

Вечером соседка, бывшая в этот день на бирже, передала Вырикой записку. Лядская писала, что «у вас на бирже барбосы еще почище, чем в поселке», и что у нее ничего не вышло и она уходит домой «вся разбитая».

В ночь под Новый год в «Первомайке», как и в других районах города, проводился выборочный обыск, и у Выриковой была обнаружена эта записка, небрежно засунутая ею меж старых школьных тетрадей. Следователю Кулешову, производившему обыск, не пришлось проявить усилий, чтобы Вырикова назвала фамилию подруги и с невероятными прибавлениями от страха рассказала об ее «антинемецких» настроениях.

Кулешов велел Выриковой явиться после праздника в полицию и забрал записку с собой.

Первым об аресте Мошкова, Земнухова и Стаховича узнал Сережка. Предупредив сестер, Надю и Дашу, и друга своего Витьку Лукьянченко, он побежал к Олегу. Он застал здесь Валю и сестер Иванцовых: они каждое утро собирались у Олега, который давал им задания на день.

Олег и дядя Коля поймали и записали этой ночью сообщение Совинформбюро об итогах шестинедельного наступления Красной Армии в районе Сталинграда, об окружении всей гигантской группировки немцев под Сталинградом двойным кольцом.

Смеясь и хватая Сережку за руки, девушки обрушились на него с этим сообщением. И как ни крепок был Сережка, губы его задрожали, когда он выговорил свою страшную новость.

Олег некоторое время сидел бледный, сцепив длинные пальцы больших рук, на лбу его легли продольные морщины. Потом он встал, и на лице его появилось выражение деятельности.

— Дивчата,— тихо сказал он,— найдите Туркенича и Улю. Обойдите ребят, тех, кто близко связан с штабом, скажите, чтобы все запрятали; что нельзя спрятать,— уничтожили. Скажите, часа через два дадим знать, как быть дальше. Предупредите своих родных... Да не забудьте маму Любы,— сказал он (Любка была в Ворошиловграде).— А мне придется на некоторое время отлучиться.

Сережка тоже надел ватную курточку и кепку, в которой он ходил, несмотря на морозы.

— Ты куда? — спросил Олег.

Валя вдруг покраснела: ей показалось, что Сережка одевается ее сопровождать.

— Подежурю на улице, пока соберутся,— сказал Сережка.

И впервые дошло до всех, что то, что случилось с Ваней, Мошковым и Стаховичем, это может случиться и с ними в любое время, вот даже сейчас.

Девушки, распределив между собой, кто к кому зайдет, вышли. Сережка остановил Валю во дворе:

— Ты же смотри, аккуратней. Если нас уже здесь не будет, иди к Наталье Алексеевне в больницу, там я найду тебя; я без тебя никуда не уйду...

Валя молча кивнула головой и побежала к Туркеничу.

Олег, стараясь идти обычной своей походкой, пошел к Полине Георгиевне. Она жила на одной из улиц недалеко от биржи труда.

В тот момент, когда Олег зашел к ней, Полина Георгиевна занималась совершенно мирным делом — чистила картофель и бросала его в чугунок, дымившийся на плите. Эта спокойная, выдержанная женщина вдруг вся побелела, когда Олег сказал ей об аресте товарищей. Нож выпал из ее руки, несколько мгновений она не могла выговорить ни слова. Потом она справилась с собой.

День был нерабочий, первый день Нового года. Нехорошо было идти на дом к Филиппу Петровичу среди бела дня, пос-

ле того как утром она отнесла к нему молоко. Но и отложить нельзя было: многое могло решиться в течение не только часов, но и минут.

Полина Георгиевна, хотя она и была в курсе всех дел «Молодой гвардии», расспросила Олега, знает ли кто-нибудь из арестованных о связях Олега и Туркенича с районным комитетом. Конечно, все арестованные знали, что связь существует, но никто не знал, с кем персонально. Мошков был сам связан с районным комитетом, но на него во всех отношениях можно было положиться. Земнухов был связан с комитетом только через Полину Георгиевну. Она так хорошо знала Ваню, что мысль об опасности, угрожавшей лично ей, Полине Георгиевне, не заронилась ей в голову.

Плохо было то, что Стахович слишком много знал о «Молодой гвардии». Олег охарактеризовал его, как человека честного, но слабого характером.

Полина Георгиевна оставила Олега у себя дома и научила его, как отвечать, если зайдет кто-нибудь посторонний.

Можно было представить себе, как долго тянулся для Олега этот час! К счастью, никто так и не зашел в дом. Слышно было только, как соседи возятся за стеной.

Наконец-то она вернулась... Мороз освежил ее лицо. И, видно, Филипп Петрович нашел такие слова, которые влили надежду в ее сердце.

— Слушай меня, — она сняла платок и в расстегнутом пальто опустилась на табуретку против Олега.— Велел сказать, чтобы духом не падали. И велел вам уходить из города, уходить немедленно: всем членам штаба, всем, кто близок к штабу или близок к арестованным. Оставьте для руководства организацией двух-трех надежных ребят, старшего свяжите со мной и уходите... Если у кого-нибудь есть возможность спрятаться в деревне или в других городах подальше, пусть прячется. А членам штаба и тем, кто близок к штабу, он советует уйти в северные районы, за Донец, — там можно или через фронт перейти, или дождаться, пока наши придут... Обожди, это еще не все...— сказала она, предупредив вопрос Олега.— Он велел мне дать тебе один адрес. Слушай меня внимательно,— лицо Полины Георгиевны вдруг приняло каменное выражение.— Этот адрес ты имеешь право сообщить еще только Туркеничу. И только вы двое имеете право воспользоваться им. Его нельзя давать больше никому, решительно никому, как бы дороги вам ни были другие ребята... или дивчата. Понял? — тихо сказала Полина Георгиевна и внимательно посмотрела на Олега. Он понял, о ком она думает.

Некоторое время он сидел, вобрав голову в плечи, и лоб его избороздили продольные морщины, как у взрослого.

— Мы об-бязательно должны идти по этому адресу — я и Туркенич? — тихо спросил он.

— Нет, конечно, нет... Но это самый надежный адрес: там вас не только спрячут, а и дадут вам дело...

Она видела по лицу Олега, какая мучительная борьба происходит в душе его. Но он задал совсем не тот вопрос, которого ждала Полина Георгиевна:

— А ребята в тюрьме? Как же мы уйдем и даже попытки не сделаем выручить их?

— Теперь вы им все равно не помощники, — с неожиданной строгостью сказала Полина Георгиевна.— Райком сделает все, что сможет. И ваших ребят, которые здесь останутся, мы тоже привлечем. Кого оставите старшим?

— Останется Попов Анатолий,— сказал Олег после некоторого раздумья.— Если с ним что-нибудь случится, тогда Коля Сумской. Знаете?

Они помолчали немного. Ему уже надо было идти.

— Куда же ты все-таки думаешь? — тихо спросила Полина Георгиевна. Она спросила его теперь просто как любящая его и всю его семью близкая женщина. Он чувствовал, как она волнуется.

Лицо Олега стало таким угрюмым и печальным, что она даже пожалела о своем вопросе.

— Полина Георгиевна, — выговорил он с мучительным трудом, — вы знаете, почему я не могу воспользоваться этим адресом...

Да, она знала: Нина! Он не мог оставить Нину.

— Мы вместе попробуем перейти через фронт, — сказал Олег. — Прощайте.

Они обнялись.

Пока Олег отсутствовал, к нему на квартиру пришел Ваня Туркенич, а через некоторое время без всякого вызова пришли Степа Сафонов и Сергей Левашов, а немного погодя и Жора Арутюнянц. Он пришел без Осьмухина. Сегодня утром, первого января, Володе исполнилось восемнадцать лет, сестра, Людмила, подарила ему связанную ею к этому дню пару теплых шерстяных носков, и они вместе ушли в гости к дедушке на село.

Туркенич выслал ребят дежурить по всем направлениям от дома.

Не дожидаясь Ули, которая жила далеко, они начали совещаться вдвоем: Туркенич и Сережка.

Как они должны теперь поступить? Это был единственный вопрос, на который они должны были дать ответ, и дать его

немедленно. Они понимали, что дело идет не только о судьбе арестованных товарищей, а о судьбе всей организации. Ждать, как все это повернется? Их могли арестовать в любую минуту. Спрятаться? Им некуда было прятаться: их все знали.

Вернулась Валя, потом пришли Уля с Олей Иванцовой и Нина, встретившаяся с ними по дороге. Нина рассказала, что у клуба дежурят немецкие жандармы и «полицаи» и никого туда не пускают, и уже все вокруг знают об аресте руководителей клуба и о том, что в подвале клуба найдены немецкие новогодние подарки.

Туркенич и Нина высказали предположение, что это единственная причина ареста ребят. Как ни тяжело это само по себе, но это еще не провал организации.

— Ребята не выдадут,— говорил Туркенич со свойственной ему уверенностью.

Тут вошел Олег и, ничего не говоря, сел у стола с выражением тяжелой задумчивости. Потом он отозвал Туркенича в комнату бабушки. Олег передал ему адрес, данный Полиной Георгиевной. Они посовещались немного и вышли к девушкам и к Сережке, ожидавшим их в тяжелом молчании. Все вопросительно смотрели на Олега, смотрели со страданием и надеждой.

Лицо Олега стало даже жестоким, когда он заговорил.

— Мы д-должны отказаться от каких бы то ни было возможностей б-благополучного исхода для нас,— сказал он и посмотрел на всех открытым, мужественным взглядом.— К-как нам ни больно, к-как ни трудно, мы должны отказаться от мысли, что мы можем остаться здесь до прихода Красной Армии, оказать ей помощь с тыла, от всего, что мы хотели сделать даже завтра... Иначе мы п-погибнем сами и п-погубим всех наших людей,— говорил он, едва сдерживая себя. Все слушали его, бледные, неподвижные.— Немцы разыскивают нас несколько месяцев. Они знают, что мы существуем. Они попали в самый центр организации. Если они даже ничего, кроме этих подарков, не знают и не узнают,— подчеркнул он, — они схватят нас всех, кто группировался вокруг клуба, и еще десятки невинных... Ч-что же делать? — Он помолчал. — Уходить... Уйти из города... Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребят из поселка Краснодон вряд ли затронет этот провал. Первомайцев — тоже. Они смогут работать.— Он вдруг очень серьезно посмотрел на Улю. — За исключением Ули: она, как член штаба, может быть в любой момент раскрыта... Мы честно боролись,— сказал он,— и мы имеем право разойтись с сознанием выполненного долга... Мы потеряли трех товарищей, среди них лучшего из лучших —

Ваню Земнухова. Но мы должны разойтись без чувства упадка и уныния. Мы сделали все, что смогли...

Он замолчал. И никто не хотел и не мог больше говорить.

Пять месяцев шли они рядом друг с другом. Пять месяцев под властью немцев, где каждый день по тяжести физических и нравственных мучений и вложенных усилий был больше, чем просто день в неделе... Пять месяцев, — как пронеслись они! И как же все изменились за это время!.. Сколько познали высокого и ужасного, доброго и черного, сколько вложили светлых, прекрасных сил своей души в общее дело и друг в друга!.. Только теперь им стало видно, что это была за организация «Молодая гвардия», сколько обязаны они ей. И вот они должны были покинуть ее.

Девушки — Валя, Нина, Оля — тихо плакали... Уля сидела внешне спокойная, и страшный, сильный свет бил из ее глаз. Сережка, склонив лицо к столу, выпятив свои подпухшие губы, выводил ногтем узоры по скатерти. Туркенич молчал, глядя перед собой светлыми глазами; в тонком рисунке его губ явственней обозначилась суровая, волевая складка.

— Есть д-другие мнения? — спросил Олег.

Других мнений не было. Но Уля сказала:

— Я не вижу необходимости уходить мне сейчас. Мы, первомайцы, мало были связаны с клубом. Я подожду, может быть, я смогу работать дальше. Я буду осторожна...

— Тебе надо уйти, — сказал Олег и снова очень серьезно посмотрел на нее.

Сережка, все время молчавший, вдруг сказал:

— Ей обязательно надо уходить!

— Я буду осторожна, — снова сказала Уля.

С тяжелым чувством, не глядя друг на друга, они приняли решение оставить тройку из штаба в составе Анатолия Попова, Сумского и Ули, если она не уйдет. Если вернется Люба и выяснится, что она может остаться, она будет четвертой. Вынесли решение: уходить всем так скоро, как только будет возможно. Олег сказал, что он и девушки-связные не уйдут до тех пор, пока всех не предупредят и не установят связи с Поповым и Сумским. Но никто из членов штаба и близких к штабу сегодня уже не должен был ночевать дома.

Они вызвали Жору, Сергея Левашова и Степу Сафонова и сообщили им решение штаба.

Потом стали прощаться. Уля подошла к Олегу. Они обнялись.

— Сп-пасибо, — сказал Олег. — Спасибо, что ты была и есть...

Она нежно провела рукой по его волосам.

Но когда девушки стали прощаться с Улей, Олег не вы-

держал и вышел во двор. Сережка вышел за ним. Они стояли неодетые, на морозе, под слепящим солнцем 1943 года.

— Ты все понял? — глухо спросил Олег.

Сережка кивнул головой:

— Все... Стахович может не выдержать... Так?

— Да... И нехорошо было бы сказать об этом: нехорошо не доверять, когда не знаешь. Его уже, наверно, мучают, а мы на свободе.

Они помолчали.

— Куда думаешь идти? — спросил Сережка.

— Попробую перейти фронт.

— И я... Пойдем вместе?

— Конечно. Только со мной Нина и Оля.

— Я думаю, Валя тоже пойдет с нами, — сказал Сережка.

Сергей Левашов с угрюмым и неловким выражением подошел прощаться к Туркеничу.

— Обожди, ты что? — сказал Туркенич, внимательно глядя на него.

— Я останусь пока, — угрюмо сказал Левашов.

— Неразумно, — тихо сказал Туркенич.— Ты ей не помощь и не защита. Ты еще не дождешься ее, как тебя возьмут. А она девушка ловкая: или убежит, или обманет...

— Не пойду, — сказал Левашов.

— Пойдешь к нашим через фронт! — резко сказал Туркенич. — Я еще пока не сменен и приказываю тебе!

Левашов смолчал.

— Ну, товарищ комиссар, значит, пойдешь через фронт? Это окончательно? — спросил Туркенич, увидев вошедшего Олега. Он был недоволен тем, что Олег отказался воспользоваться адресом, который был дан им обоим, но не считал возможным убеждать Олега в противном. Узнав, что образовалась уже группа в пять человек, он покрутил головой:— Многовато... Значит, до встречи здесь же — все будем в рядах Красной Армии!..

Они взялись за руки, потянулись поцеловаться. Туркенич вдруг вырвался, махнул обеими руками и выбежал. Сергей Левашов поцеловал Олега и вышел за Туркеничем.

У Степы Сафонова была родня в Каменске: он решил ждать там прихода Красной Армии. А у Жоры в душе шла борьба, о которой он никому не мог сказать. Но он понимал, что ему нельзя оставаться. Должно быть, ему придется все-таки пойти в Новочеркасск к дяде, до которого они не дошли тогда с Ваней Земнуховым... Жора вспомнил вдруг весь их поход с Ваней, слезы брызнули у него из глаз, и он вышел на улицу.

Несколько минут они пробыли впятером: Олег, Сережка и девушки-связные. Было решено, что Сережке уже не стоит возвращаться домой, а Оля предупредит его родных через Витю Лукьянченко.

Потом Валя, Нина и Оля ушли оповестить кого надо было о принятом решении, а Сережка оделся и пошел караулить: он понимал, что Олегу надо побыть одному с семьей.

В то время, когда в столовой и в комнате бабушки происходили эти совещания, родные Олега уже знали об аресте Земнухова и других и знали, что дети совещаются об этом.

В доме хранилось оружие, красная материя для флагов, листовки,— все это Елена Николаевна и дядя Коля частью перепрятали, частью сожгли. Радиоприемник дядя Коля зарыл в подвале под кухней, обкатал землю и поставил на это место бочку с квашеной капустой.

Но вот все это было сделано, и родные, сойдясь в комнате дяди Коли и привычно и невпопад откликаясь на болтовню и шалости трехлетнего сынишки Марины, как приговоренные, ждали, чем кончится совещание.

Дверь захлопнулась за последним из товарищей, и Олег вошел в комнату. Все повернулись к нему. Следы душевной борьбы и деятельности сошли с лица его, но сошло и так часто возникавшее детское выражение. Лицо его выражало скорбь.

— Мама...— сказал он. — И ты, бабуся... И ты, Коля, и Марина...— Он положил свою большую руку на голову мальчика, с веселым криком обнявшего его за ногу. — Мне придется с вами проститься. Помогите мне собраться... А потом посидим напоследок вместе, как сиживали когда-то... Давно...— И отзвук улыбки, далекой, нежной, тронул его глаза и губы.

Все встали и окружили его.

...Снуют, снуют материнские руки! Снуют, как птицы, над нежнейшими из нежнейших одежек, когда еще и одевать-то некого, когда он еще только острыми, нежными до замирания сердца толчками стучится в материнском животе. Снуют, укутывая в первую прогулку, снуют, обряжая в школу. А там и в первый отъезд, а там и в дальний поход, — вся жизнь из проводов и встреч, редких минут счастья, вечных мук сердца. Снуют, пока есть над кем, пока есть надежда, снуют и когда нет надежды, обряжая дитя в могилу...

И всем нашлось дело. Еще перебрали с дядей Колей бумаги. Пришлось сжечь дневник. Кто-то зашил в тужурку его комсомольский билет, бланки временных комсомольских билетов. Зачинили белье — одну смену. Уложили все в вещевой мешок: продукты, мыло, зубную щетку, иголку с нитками, белыми и черными. Нашли старую меховую шапку-ушанку

для Сережки Тюленина. И еще продукты — в другой мешок, для Сережки, ведь их же пятеро...

Не удалось только посидеть, как сиживали когда-то... Сережка то заходил, то уходил. Потом вернулись Валя, Нина и Оля. И уже ночь спустилась. И надо было прощаться...

Никто не плакал. Бабушка Вера всех оглядела, у той застегнула пуговицу, тому поправила сумку. Судорожно прижимала к себе каждого и отталкивала, а Олега придержала долго, прижавшись к его шапке острым подбородком.

Олег взял мать за руку; они вышли в другую комнату.

— Прости меня, — сказал он.

Мать выбежала во двор, и мороз ударил ей в лицо и в ноги. Она уже не видела ребят, она только слышала, как они хрустят валенками по снегу, — едва слышен был этот звук, а вот уже и его не стало. А она все стояла и стояла под темным звездным небом...

На рассвете так и не сомкнувшая глаз Елена Николаевна услышала стук в дверь. Она быстро накинула платье, спросила:

— Кто?

Их было четверо: начальник полиции Соликовский, унтер Фенбонг и двое солдат. Они спросили Олега. Елена Николаевна сказала, что он пошел по селам менять вещи на продукты.

Они обыскали квартиру и арестовали всех жильцов, даже бабушку Веру Васильевну и Марину с трехлетним сыном. Бабушка едва успела предупредить соседей, чтобы присмотрели за домом.

В тюрьме их рассадили по разным камерам. Марина с мальчиком попала в камеру, где сидело много женщин, не имевших никакого отношения к «Молодой гвардии». Но среди них были Мария Андреевна Борц и сестра Сережки Тюленина — Феня, которая жила с детьми отдельно от семьи. От Фени Марина узнала, что старики — Александра Васильевна и даже скрюченный «дед» со своей клюшкой — тоже арестованы, а сестры Надя и Даша успели уйти.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Ваню Земнухова взяли на заре. Он собрался навестить Клаву в Нижне-Александровском, встал затемно, прихватил с собой горбушку хлеба, надел пальто и шапку-ушанку и вышел на улицу.

Необыкновенной чистоты и густоты ярко-желтая заря ровной полосой лежала на горизонте ниже серо-розовой дымки,

растворявшейся в бледном ясном небе. Несколько дымков, розоватых и желтоватых, очень кучных и в то же время очень воздушных, стояло над городом. Ваня ничего этого не увидел, но он с детства помнил, что так это бывает в такое ясное раннее морозное утро, и на лице его, без очков,— он спрятал их во внутренний карман, чтобы они не отпотевали,— появилось счастливое выражение. С этим счастливым выражением он и встретил подошедших к дому четырех человек, пока не рассмотрел, что это немцы-жандармы и новый следователь полиции — Кулешов.

В тот момент, как они подошли вплотную к нему и Ваня узнал их, Кулешов уже что-то спрашивал его, и Ваня понял, что они пришли за ним. И в то же мгновение, как это всегда бывало у него в решающие минуты жизни, он стал предельно холодно-спокоен, и вопрос Кулешова дошел до него.

— Да, это я, — сказал Ваня.

— Достукался... — сказал Кулешов.

— Я предупрежу родных,— сказал Ваня. Но он уже знал, что они не дадут ему войти в дом, и, отвернувшись, постучал в ближнее окно — не по стеклу, а кулаком по среднему переплету рамы.

В то же мгновение Кулешов и солдат жандармерии схватили его за руки, и Кулешов быстро ощупал ему карманы пальто и сквозь пальто карманы брюк.

Открылась форточка, и выглянула сестра; Ваня не мог разглядеть выражение ее лица.

— Скажи папане и маме, вызвали в полицию, пусть не тревожатся, скоро вернусь, — сказал он.

Кулешов хмыкнул, покачал головой и в сопровождении немца-солдата взошел на крылечко: они должны были произвести обыск. А немец-сержант и другой солдат повели Ваню по узкой тропинке, протоптанной вдоль ряда домов в неглубоком снегу на этой малоезженой улице. Сержанту и солдату пришлось идти по снегу, они отпустили Ваню и пошли за ним в затылок.

Ваню, как он был в пальто и в шапке-ушанке и в потертых ботинках со стоптанными каблуками, втолкнули в маленькую темную камеру с заиндевевшими стенами и склизким полом и заперли за ним дверь на ключ. Он остался один.

Утренний свет чуть пробивался в узкую щель под потолком. В камере не было ни нар, ни койки. Острый запах исходил из параши в углу.

Догадки, за что он взят, стало ли им известно что-нибудь о его деятельности, просто ли по подозрению, предал ли кто-нибудь, мысли о Клаве, о родителях, товарищах нахлынули на него. Но он привычным усилием воли, словно уговаривая се-

бя: «Спокойно, Ваня, только спокойно», привел себя к единственной и главной для него сейчас мысли: «Терпи, там видно будет...»

Ваня сунул окоченевшие руки в карманы пальто и прислонился к стене, склонив голову в ушанке, и так с присущим ему терпением простоял долго, он не знал сколько, — может быть, несколько часов.

Тяжелые шаги одного или нескольких человек беспрерывно звучали вдоль по коридору из конца в конец, хлопали двери камер. Доносились отдаленные или более ближние голоса.

Потом шаги нескольких человек остановились у его камеры, и хриплый голос спросил:

— В этой?.. К майстеру!..

И человек этот прошел дальше, и ключ завизжал в замке.

Ваня отделился от стены и повернул голову. Вошел немецкий солдат, не тот, что сопровождал его, а другой, с ключом, наверно дежурный по коридору, и «полицай», лицо которого было знакомо Ване, потому что за это время они изучили всех «полицаев». Ваня был отведен «полицаем» в приемную майстера Брюкнера, где, под охраной другого полицейского, Ваня увидел мальчишку, одного из тех, кого они посылали продавать сигареты.

Мальчишка, очень осунувшийся, немытый, взглянул на Ваню, вскинул плечами, втянул в себя воздух носом и отвернулся.

Ваня почувствовал некоторое облегчение. Но все равно ему придется все отрицать: если он признает хотя бы, что он, Земнухов, украл подарки для того, чтобы немного подработать, от него потребуют выдать соучастников. Нет, не следует думать, что дело может сложиться благоприятно...

Немец-писарь вышел из кабинета майстера и посторонился, придерживая дверь.

— Иди... иди... — с испуганным выражением торопливо сказал «полицай», подтолкнув Ваню к дверям. И другой «полицай» также подтолкнул мальчишку, взяв его сзади за шею. Ваня и мальчишка почти разом вступили в кабинет, и дверь за ними затворилась. Ваня снял шапку.

В кабинете было несколько человек. Ваня узнал майстера Брюкнера, сидевшего, откинувшись, за столом, с толстыми складками шеи над воротником мундира, и смотревшего прямо на Ваню округлившимися, как у филина, глазами.

— Ближе! Смирненький стал... — хрипло, словно голос его сквозь чащу продирался, сказал Соликовский, стоявший сбоку перед столом майстера с хлыстом в громадной руке.

Следователь Кулешов, стоявший с другого боку, протянув длинную руку, подхватил под руку мальчишку и рывком подтащил его к столу.

— Он? — спросил он с тихой усмешкой, моргнув в сторону Вани.

— Он... — едва выговорил мальчишка, втянул воздух носом и застыл.

Кулешов, довольный, взглянул на майстера, потом на Соликовского. Переводчик по ту сторону стола, почтительно склонившись к майстеру, пояснил, что здесь произошло. В этом переводчике Ваня признал Шурку Рейбанда, с которым он был хорошо знаком, как и все в Краснодоне.

— Понял?.. — И Соликовский, прищурившись, посмотрел на Ваню узкими глазами, которые так далеко были спрятаны за его напухшими скулами, будто выглядывали из-за гор. — Расскажи господину майстеру, с кем трудился. Живо!

— Не знаю, о чем вы говорите, — прямо взглянув на него, сказал Ваня своим глуховатым баском.

— Видал, а? — с удивлением и возмущением сказал Соликовский Кулешову. — Такое им советская власть дала образование!

А мальчишка при словах Земнухова испуганно посмотрел на него и поежился, точно ему стало холодно.

— Не совестно тебе? Мальчишку бы пожалел, ведь он за тебя страдает,— сказал Кулешов с тихой укоризной.— Посмотри, это что лежит?

Ваня оглянулся, куда указывал взгляд Кулешова. Возле стены лежал вскрытый мешок с подарками, часть из которых высыпалась на пол.

— Не знаю, какое это может иметь ко мне отношение. Мальчика этого вижу в первый раз,— сказал Ваня, становившийся все более и более спокойным.

Майстеру Брюкнеру, которому Шурка Рейбанд переводил все, что они говорили, видимо, надоело это, и он, мельком взглянув на Рейбанда, пробурчал что-то. Кулешов почтительно смолк, Соликовский вытянулся, опустив руки по швам.

— Господин майстер требует рассказать, сколько раз ты нападал на машины, с какой целью, кто соучастник, что делали кроме,— все, все рассказать...— глядя мимо Вани, холодно говорил Шурка Рейбанд.

— Как я мог нападать на машины, когда я даже тебя не вижу, это же тебе известно! — сказал Ваня.

— Прошу отвечать господину майстеру...

Но господину майстеру, видно, все уже было ясно, и он, сделав движение пальцами, сказал:

— К Фенбонгу!

В одно мгновение все переменилось. Соликовский громадной рукой схватил Ваню за воротник и, злобно сотрясая его, выволок в приемную, повернул лицом к себе и с силой ударил

его крест-накрест хлыстом по лицу. На лице Вани выступили багровые полосы. Один удар пришелся на угол левого глаза, и глаз сразу стал оплывать. «Полицай», приведший его, схватил его за воротник, и они вместе с Соликовским, толкая Ваню и пиная коленями, поволокли его по коридору.

В помещении, куда его втолкнули, сидел унтер Фенбонг и два солдата службы СС; они сидели с утомленными лицами и курили.

— Если ты, мерзавец, сейчас же не выдашь своих...— страшным, шипящим голосом заговорил Соликовский, схватив Ваню за лицо громадной рукой с твердыми, железными ногтями на пальцах.

Солдаты, докурив и ногой притушив окурки, неторопливыми умелыми движениями сорвали с Вани пальто и всю одежду и голого швырнули на окровавленный топчан.

Фенбонг красной рукой, поросшей светлыми волосами, так же неторопливо перебрал на столе линьки из скрученного электрического провода и подал один Соликовскому, а другой взял себе, опробовав его взмахом в воздухе. И они вдвоем по очереди стали бить Ваню по голому телу, оттягивая линьки на себя. Солдаты держали Ваню за ноги и за голову. Кровь выступила по его телу после первых же ударов.

Как только они начали бить его, Ваня дал себе клятву, что никогда больше не раскроет рта, чтобы отвечать на вопросы, и никогда не издаст ни одного стона.

И так он молчал все время, пока его били. Время от времени его переставали бить, и Соликовский спрашивал:

— Вошел в разум?

Ваня лежал молча, не подымая лица, и его начинали бить снова.

Не более чем за полчаса до него на том же топчане так же били Мошкова. Мошков, как и Ваня, отрицал какое бы то ни было участие свое в хищении подарков.

Стахович, который жил далеко на окраине, был арестован позже них.

Стахович, как все молодые люди его складки, у которых основная двигательная пружина в жизни — самолюбие, мог быть более или менее стоек, мог даже совершить истерически-героический поступок на глазах у людей, особенно людей, ему близких или обладающих моральным весом. Но при встрече с опасностью или с трудностью один на один он был трус.

Он потерял себя уже в тот момент, как его арестовали. Но он был умен тем изворотливым умом, который мгновенно находит десятки и сотни моральных оправданий, чтобы облегчить свое положение.

При очной ставке с мальчишкой Стахович сразу понял, что

новогодние подарки — единственная улика против него и его товарищей, которые не могут не быть арестованы. И мысль перевести все это в уголовное дело, чистосердечно признаться, что они сделали это втроем, пустить слезу о страшной нужде и голоде и обещать искупить все честным трудом,— мысль эта мгновенно пришла ему в голову. И он с такой искренностью проделал все это перед майстером Брюкнером и другими, что они сразу поняли, с кем имеют дело. Его стали бить тут же в кабинете, требуя назвать и других сообщников: они же, трое, были вечером в клубе и не могли сами разгрузить машину!

На его счастье, подошло время, когда майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер обедали. И Стаховича оставили в покое до вечера.

Вечером с ним обошлись ласково и сказали, что его сразу же отпустят, если он назовет, кто похитил подарки. Он снова сказал, что они сделали это втроем. Тогда его отдали в руки Фенбонга и терзали до тех пор, пока не вырвали фамилию Тюленина. Про остальных он сказал, что не разобрал их в темноте.

Жалкий, он не знал, что, выдав Тюленина, он вверг себя в пучину еще более страшных мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны сломить его до конца именно теперь, когда он проявил слабость.

Его мучили, и отливали водой, и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик человека, он взмолился: он не заслужил такой муки, он был только исполнителем, были люди, которые приказывали ему, пусть они и отвечают! И он выдал штаб «Молодой гвардии» вместе со связными. Он не назвал только Ульяны Громовой, — неизвестно почему. В какую-то сотую мгновения он увидел ее прекрасные черные глаза перед собой и не назвал ее.

В эти дни была доставлена из поселка Краснодон в жандармерию Лядская, и ей дали очную ставку с Выриковой. Каждая считала другую виновницей своих злоключений, и они на глазах невозмутимого Балдера и потешавшегося Кулешова стали браниться, как базарные торговки, и разоблачать друг друга.

— Извини-подвинься, ты была пионервожатая!..— красная до того, что не стало видно веснушек на ее скуластом лице, кричала Лядская.

— Ох ты, вся Первомайка помнит, кто ходил с кружкой на Осоавиахим! — сжав кулачки, кричала Вырикова, так и пронзая ненавистную острыми косичками.

Они едва не полезли в драку. Их развели и подержали сутки под арестом. Потом их порознь снова вызвали к вахтмай-

стеру Балдеру. Схватив за руку сначала Вырикову, а потом точно так же Лядскую, Кулешов каждой шипел одно и то же:

— Будешь еще ангела из себя строить? Говори, кто состоит в организации!

И Вырикова, а потом Лядская, заливаясь слезами и клянясь, что они не только не состоят в организации, а всю жизнь ненавидели большевиков, так же как большевики их, назвали всех комсомольцев и всех видных ребят, которые остались на «Первомайке» и в поселке Краснодон. Они прекрасно знали своих товарищей по школе и по месту жительства, кто нес общественную работу, кто как настроен, и каждая назвала десятка по два фамилий, которые довольно точно определяли круг молодежи, связанной с «Молодой гвардией».

Вахтмайстер Балдер, свирепо вращая глазами, сказал каждой из них, что он не верит в ее непричастность к организации и должен предать ее наряду с выданными ею преступниками страшным мучениям. Но он жалеет ее, есть выход из положения...

Вырикова и Лядская были выпущены из тюрьмы одновременно, каждая не зная, но предполагая, что другая тоже не вышла чистенькой. Им положено было жалованье по двадцать три марки в месяц. Они сунули друг другу деревянные руки, как если бы между ними ничего не было.

— Дешево отделались, — сказала Вырикова.— Заходи как-нибудь.

— Уж правда, что дешево, как-нибудь зайду, — сказала Лядская.

И они разошлись.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Была какая-то странная закономерность в арестах, каждый из которых немедленно становился известным всему городу. Арестовали сначала родителей тех членов штаба, кто ушел из города. Потом арестовали родителей Арутюнянца, Сафонова и Левашова, то есть тех ребят, близких к штабу, кто тоже ушел из города.

Вдруг арестовали Тосю Мащенко и еще кое-кого из рядовых членов «Молодой гвардии». Но почему именно этих, а не других?

Никто из оставшихся на свободе не мог предположить, что эти новые аресты, их приливы и отливы зависят от страшной стихии признаний Стаховича. После того, как он выдавал кого-нибудь, ему давали отдых. Начинали мучить снова, и он опять кого-нибудь выдавал.

Но из работников подпольной организации, возглавляемой Лютиковым и Бараковым, никто не был затронут, хотя прошло уже несколько суток после ареста Мошкова, Земнухова и Стаховича. Все оставалось по-прежнему и в Центральных мастерских.

Володя Осьмухин, проведший три дня нового года в деревне у дедушки, четвертого января вышел на работу. Он еще с вечера узнал от матери об арестах и об указании штаба «Молодой гвардии» уходить из города. Но он отказался уйти.

— Ребята не выдадут,— сказал он матери, перед которой не было теперь смысла таиться.

Было много причин, по которым Володя не хотел уходить из города. Жалко ему было оставить мать и сестру — особенно когда он вспоминал о том, что они-то не эвакуировались в свое время из-за него. Но главной была та причина, что Володя, не участвовавший в совещании на квартире Олега, не только не представлял себе опасности, угрожавшей ему, а даже считал в душе, что ребята из штаба поторопились. Все трое арестованных были из числа ребят, наиболее близких Володе, он им верил. В удалой душе Володи («Я — как Васька Буслай!») зародились даже планы освобождения ребят, планы, один фантастичней другого.

Но едва Володя появился в мастерских, Лютиков вызвал его под каким-то предлогом к себе в конторку. По старой связи с домом Осьмухиных, а также потому, что из всех молодых людей Лютиков ближе всего знал Володю, Филипп Петрович очень любил его. Не только опыт и разум, а и сердце подсказывали старику, какая страшная угроза нависла над его юным другом и воспитанником. Филипп Петрович предложил Володе немедленно уйти. Филипп Петрович не пожелал даже выслушать объяснений Володи, был жесток и неумолим, не советовал, а приказывал.

Но было уже поздно. Володя не успел даже обдумать, когда и куда ему идти, как был арестован тут же в мастерских на своем рабочем месте.

Усилия палачей, пытавших Стаховича, были направлены не только на то, чтобы он разоблачил всех членов «Молодой гвардии», а и на то, чтобы он дал нити, ведущие к подпольной большевистской организации в городе. Многие данные, да и простой здравый смысл давно уже подсказывали большим и малым чинам жандармерии, что молодежь работает под руководством взрослых, что центр краснодонского заговора — в подпольной организации большевиков.

Но Стахович действительно не знал, каким путем Олег осуществляет связь с райкомом, Стахович мог только сказать, что связь эта существует. Когда стали допытываться,

кто из взрослых наиболее часто посещает квартиру Кошевых, он, перебрав всех в памяти, назвал Соколову. В первый период работы, когда он был еще членом штаба, и позже, когда он бывал у Олега по делам организации, Стахович действительно чаще всего встречал на квартире Кошевых Полину Георгиевну. Раньше он не ставил присутствие Полины Георгиевны в какую-нибудь связь с деятельностью «Молодой гвардии». Но теперь ему вспомнилось, что Олег иногда уединялся и перешептывался с Полиной Георгиевной, и Стахович назвал ее имя.

Нити от Соколовой вели в первую очередь к тяжелому, молчаливому, загадочному человеку — Лютикову. Не случайным показалось майстеру Брюкнеру и то обстоятельство, что арестованные Мошков и Осьмухин работали в цехе у Лютикова. Были сведены воедино все данные его биографии, все факты диверсий и аварий в Центральных мастерских.

Пятого января, на заре, Полина Георгиевна, как всегда, принесла Филиппу Петровичу молоко и унесла под кофточкой на груди листовку, написанную Филиппом Петровичем от имени «Молодой гвардии». В листовке ничего не говорилось об арестах молодежи. Филипп Петрович хотел показать этой листовкой, что враг не попал в цель,— «Молодая гвардия» живет и действует.

Вечером, вернувшись с работы, он застал в кухне у Пелагеи Ильиничны жену, Евдокию Федотовну, и дочку Раю, пришедших с хутора его навестить. Воистину радость посетила его дом! Филипп Петрович переоделся во все чистое, надел свежую белую сорочку, темно-синий галстук в серую полоску и парадный костюм, вычищенный Пелагеей Ильиничной. В этом праздничном костюме, спокойный, ровный, добрый, он просидел с самыми близкими ему людьми до темноты и шутил так, как если бы ничего не случилось.

Знал ли Филипп Петрович, что угроза гибели уже нависла и над ним? Нет, он не знал и не мог знать этого. Но он всегда допускал эту возможность, всегда был готов к ней, а в последнее время он чувствовал, что опасность возросла.

Все чаще молчаливый Швейде набрасывался на Баракова, в припадке неудержимого бешенства обвиняя его в саботаже. Кто мог поручиться, что немец не напал на верный след?

Несколько дней тому назад четыре подводы с углем ушли в ближайшие деревни якобы для обмена угля на хлеб. Вывоз угля с территории мастерских сам по себе был уже неслыханным нарушением «нового порядка». Но другого выхода из положения у Филиппа Петровича и Баракова не было, а ждать они права не имели: под углем было спрятано оружие для краснодонской партизанской группы, влившейся в Митякин-

ский отряд. Кто мог поручиться, что дерзкое это предприятие так и пройдет незамеченным?

Враг арестовывал членов «Молодой гвардии» одного за другим. Кто мог знать, какие скрытые пружины вызывали провал целых звеньев этой организации?

Все это понимал и чувствовал старый Филипп Петрович. Но у него не было оснований и возможности для отступления. Могучий дух его был не здесь, он шествовал через реки и степи, через стужу и снега вместе с великой армией освобождения. Все, о чем бы он ни говорил с женой и дочкой, все возвращалось к этому гигантскому наступлению наших войск. Как мог он на основании одних предположений оставить пост свой как раз в ту минуту, когда требовалось наибольшее напряжение всех его сил! Остались считанные недели, а может быть, дни, когда он сможет наконец сбросить угнетающее душу рабье притворство и открыть людям честное лицо свое!.. Ну, а если уж не приведет судьба дожить до этого светлого часа, останутся люди, которые и без него доведут дело до конца. Еще с того памятного разговора в кабинете Баракова был создан второй, «запасной» райком из новых верных людей, которым были переданы все явки и связи.

Филипп Петрович сидел празднично одетый, веселый, немножко, может быть, более добрый и разговорчивый, чем к этому привыкли. И дочка смотрела на отца смешливыми глазами. И только Евдокия Федотовна, прошедшая с мужем долгий путь жизни, умевшая улавливать даже самые малые оттенки его состояния, нет-нет да и останавливала на нем беспокойный, испытующий взгляд, который словно говорил: «Уж больно ты наряден, уж больно ты весел, не нравится мне это».

Улучив минуту, когда жена снова отлучилась на кухню и занялась своим женским разговором с Пелагеей Ильиничной, Филипп Петрович все-таки рассказал дочери об арестах в организации «Молодая гвардия». Рае только что исполнилось тринадцать лет, она знала по рассказам о существовании «Молодой гвардии», догадывалась о занятиях отца, мечтала о том, что будет помогать ему, но не смела просить об этом.

— Вы у меня не засиживайтесь, ночевать не оставлю. Идти вам отсюда все равно степью, никто вас не увидит ночью, — говорил Филипп Петрович, понизив голос.— Маме скажи, что так, мол, лучше. Ей ведь не объяснишь,— сказал Филипп Петрович с насмешливой улыбкой.

— Тебе грозит опасность? — спросила Рая и побледнела.

— Определенного ничего нет. А опасность всегда грозит нашему брату, да я к ней привык. Я отдал свою жизнь на это. Хотел бы, чтобы и ты была такая,— спокойно сказал он.

Дочь призадумалась, потом обняла шею отца тонкими руками и прижалась лицом к его лицу. Мать вошла, удивленно посмотрела на них. Филипп Петрович стал шутливо выпроваживать жену и дочь. Они не раз встречались за время оккупации. Евдокия Федотовна привыкла к тому, что муж ее бывает суров, когда семейные дела становятся ему помехой в работе, не могла судить, когда он прав, а когда не прав, уступала ему, даже если ей бывало больно.

Евдокия Федотовна точно новыми глазами увидела мужа в этом хорошо сохранившемся, отглаженном пиджаке на его большом теле и вдруг стала целовать его гладко выбритое и все-таки колючее лицо, поцеловала его даже куда-то в галстук и припала головой к его груди. Тяжелая нижняя часть его лица дрогнула, он бережно отстранил жену, сказал что-то шутливое. На глазах дочери показались слезы, она отвернулась и потянула мать за рукав.

Полина Георгиевна была арестована этой ночью. А утром шестого января были арестованы — не на дому, а в мастерских — Филипп Петрович и Бараков. Вместе с ними из мастерских взяли несколько десятков человек. Как и предполагал Филипп Петрович, врагу не важны были улики: большинство арестованных не имело никакого отношения к организации.

Толя «Гром гремит» не был арестован ни в тот день, когда взяли Володю, ни в этот день массовых арестов в мастерских. Едва-едва дотянул он до конца работы и пошел к Елизавете Алексеевне и к Люсе. Они уже знали о случившемся.

— Что же ты делаешь? Ты же губишь себя! Уходи немедленно!.. — в порыве материнского отчаяния воскликнула Елизавета Алексеевна.

— Не пойду я, — тихо сказал Толя.— Чего же я пойду?— И он махнул шапкой.

Нет, он не мог никуда уйти, пока Володя в тюрьме.

Его уговаривали остаться ночевать. Но он ушел. Он ушел к Витьке Лукьянченко посоветоваться, что можно сделать для освобождения ребят. Он шел ночью, привычно обходя полицейские посты. Каким одиноким чувствовал он себя в родном городе, когда нет Володи, когда нет Земнухова, Мошкова, Жоры Арутюнянца и других... Чувства отчаяния и мести мешались в душе его.

Под самое утро раздался сильный стук в дверь дома Осьмухиных. Елизавета Алексеевна со свойственной ей бесстрашной решимостью отворила дверь не спрашивая. И едва не отпрянула. В дверях опять стоял Толя Орлов, сильно промерзший, осунувшийся до того, что его нельзя было узнать, с запавшими глазами, горевшими мрачным огнем.

— Читайте...— сказал он и протянул Елизавете Алексеевне и Люсе скомканную бумажку.

Пока они читали, он страстно говорил:

— Нет, вам можно, вам нужно сказать всю, всю правду... Витя получил ее от одного военного, бывшего раненого, которого он когда-то спрятал. Я и Витя, мы всю ночь расклеивали ее по всему городу. Это поручение от райкома партии. Ее клеили сегодня десятки людей; весь город, все хутора и поселки читают теперь эту листовку! — говорил Толя с ожесточением и не мог остановиться, потому что ему все казалось, что он говорит не самое главное.

Но Елизавета Алексеевна и Люся не слушали его, они читали:

«Граждане Краснодона! Шахтеры, колхозники, служащие! Все советские люди! Братья и сестры!

Враг раздавлен могучей Красной Армией и бежит! В бессильной звериной злобе хватает он ни в чем не повинных людей, предает их нечеловеческим пыткам. Пусть же помнят выродки: мы — здесь! За каждую каплю крови советского человека они заплатят нам всей своей подлой жизнью. Пусть содрогнутся сердца врагов от нашей мести! Мстите врагу, уничтожайте врага! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

Наши идут! Наши идут! Наши идут!

Краснодонский подпольный райком ВКП(б)».

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Первые дни после того, как начались аресты, Уля не ночевала дома. Но аресты, как предсказывал Олег, не затронули «Первомайку» и поселок Краснодон. И Уля вернулась домой.

Проснувшись в своей постели после того, как она столько ночей провела где ни придется, Уля по внутренней потребности отвлечь себя от тяжелых мыслей с рвением занялась домашними делами, вымыла пол, собрала завтрак. Мать, посветлев оттого, что дочка дома, даже встала к столу. Отец был угрюм и молчалив. Все дни, что Уля не ночевала дома, а только днем забегала на час-другой проведать родных или взять что-нибудь, все эти дни Матвей Максимович и Матрена Савельевна только и говорили об арестах в городе, избегая смотреть в глаза друг другу.

Уля попробовала было заговорить о посторонних делах, мать неловко поддержала ее, но так фальшиво это прозвучало, что обе смолкли. Уля даже не запомнила, когда она вымыла и перетерла посуду и убрала со стола.

Отец ушел по хозяйству.

Уля стояла у окна, спиной к матери, в простом темно-синем с белыми пятнышками домашнем платье, которое она так любила. Тяжелые волнистые косы ее спокойно, свободно сбегали по спине до гибкой сильной талии; ясный свет солнца, бивший в оттаявшее окно, сквозил через вившиеся у висков неприглаженные волосы.

Уля стояла и смотрела в окно на степь и пела. Она не пела с той поры, как пришли немцы. Мать штопала что-то, полулежа в постели. Она с удивлением услышала, что дочь поет, и даже отложила штопку. Дочь пела что-то совсем незнакомое матери, пела свободным грудным голосом:

...Служил ты недолго, но честно
Во славу родимой земли...

Никогда Матрена Савельевна даже не слышала этих слов. Что-то тяжелое, скорбное было в пении дочери.

...Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней...

Уля оборвала песню и все стояла так, глядя в окно на степь.

— Что это ты пела? — спросила мать.

— Так, не думаючи, что вспомнилось,— сказала Уля не оборачиваясь.

В это время распахнулась дверь, и в комнату, запыхавшись, вбежала старшая сестра Ули. Она была полнее Ули, румяная, светлая, в отца, но теперь на ней лица не было.

— К Поповым жандармы пришли! — сказала она задыхающимся шепотом, будто ее могли услышать там, у Поповых.

Уля обернулась.

— Вот как! От них лучше подальше,— не изменившись в лице, сказала Уля спокойным голосом, подошла к двери, неторопливо надела пальто и накрылась платком. Но в это время она уже услышала топот тяжелых ботинок по крылечку, чуть откинулась на цветастый полог, которым занавешена была зимняя одежда, и повернула лицо к двери.

Так на всю жизнь она и запомнилась матери на фоне этого цветастого полога, выделившего сильный профиль ее лица, с подрагивающими ноздрями и длинными полуопущенными ресницами, словно пытавшимися притушить огонь, бивший из глаз ее, и в белом платке, еще не повязанном и ниспадавшем по ее плечам.

В горницу вошли начальник полиции Соликовский и унтер Фенбонг в сопровождении солдата с оружием.

— Вот она и сама, красотка! — сказал Соликовский.— Не

успела? Ай-я-яй...— сказал он, окинув взглядом ее стройную фигуру в пальто и в этом ниспадавшем платке.

— Голубчики! Родимые мои! — запричитала мать, пытаясь подняться с постели. Уля вдруг гневно сверкнула на нее глазами, и мать осеклась и примолкла. Нижняя челюсть у нее тряслась.

Начался обыск. Отец толкнулся в дверь, но солдат не впустил его.

В это время обыск шел и у Анатолия. Его производил следователь Кулешов.

Анатолий стоял посреди комнаты в распахнутом пальто, без шапки, немецкий солдат держал его сзади за руки. «Полицай» наступал на Таисью Прокофьевну и кричал:

— Давай веревку, тебе говорят!

Таисья Прокофьевна, рослая, красная от гнева, кричала:

— Очумел ты, — чтоб я дала тебе веревку родного сына вязать?..

— Дай ему веревку, мама, чтобы он не визжал,— говорил Анатолий, раздувая ноздри, — их же шестеро, как же им вести одного несвязанного?..

Таисья Прокофьевна заплакала, вышла в сени и бросила веревку к ногам сына.

Улю поместили в ту большую общую камеру, где сидели Марина с маленьким сыном, Мария Андреевна Борц, Феня — сестра Тюленина, а из «молодогвардейцев» Аня Сопова из пятерки Стаховича, белая, рыхлая полногрудая девушка, которая была уже так сильно избита, что едва могла лежать. Камеру освободили от посторонних, и в течение дня она заполнилась девушками с «Первомайки». Среди них были Майя Пегливанова, Саша Бондарева, Шура Дубровина, сестры Иванихины — Лиля, Тоня и другие...

Не было ни нар, ни коек, девушки и женщины размещались на полу. Камера была так забита, что начала оттаивать, и с потолка все время капало.

Соседняя, тоже большая, камера, судя по всему, была отведена для мальчиков. Туда все время приводили арестованных. Уля стала выстукивать: «Кто там сидит?» Оттуда ответили: «Кто спрашивает?» Уля назвала себя. Ей отвечал Анатолий. В соседней камере сидело большинство мальчиков-первомайцев: Виктор Петров, Боря Главан, Рагозин, Женя Шепелев, брат Саши Бондаревой — Вася,— их арестовали вместе. Если уж так случилось, девушкам все-таки стало теплее от того, что мальчишки с «Первомайки» сидят рядом.

— Я очень боюсь мучений, — чистосердечно призналась Тоня Иванихина, стоя перед группой сидевших у стенки девушек, со своими детскими крупными чертами лица и длинны-

ми ногами.— Я, конечно, умру — ничего не скажу, а только я очень боюсь...

— Бояться не нужно: наши близко, а может быть, мы еще устроим побег! — сказала Саша Бондарева.

— Девочки, вы совсем не знаете диалектики...— начала вдруг Майя, и, как ни тяжело было у всех на душе, все вдруг рассмеялись: так трудно было представить, что такие слова можно произносить в тюрьме.— Конечно! Ко всякой боли можно притерпеться! — говорила нерастерявшаяся Майя.

К вечеру в тюрьме стало тише. В камере горела под потолком тусклая электрическая лампочка, оплетенная проволокой, углы камеры лежали во мраке. Иногда доносился какой-нибудь дальний окрик по-немецки и кто-то пробегал мимо камер. Иногда несколько пар ног, стуча, проходило по коридору, и слышно было звяканье оружия. Однажды они все вскочили, потому что донесся ужасный звериный крик, — кричал мужчина, и от этого было особенно страшно.

Уля простукала в стенку к мальчикам:

«Это не из вашей камеры?»

Оттуда ответили:

«Нет, это у больших...» — Так они по внутреннему коду называли взрослых подпольщиков.

Девушки сами услышали, когда повели из соседней камеры. И тотчас же послышался стук:

«Уля... Уля...»

Она отозвалась.

«Говорит Виктор... Толю увели...»

Уля вдруг явственно увидела перед собой лицо Анатолия, его всегда серьезные глаза, которые обладали такой особенностью вдруг просиять, точно одарить,— и содрогнулась, представив себе, что ему предстоит. Но в это время щелкнул ключ в замке, дверь их камеры отворилась и развязный голос произнес:

— Громова!..

Вот что осталось в ее памяти... Некоторое время она стояла в приемной Соликовского. В кабинете кого-то били. В приемной на диване сидела жена Соликовского, с завитыми бледно-русыми пакляными волосами, с узелком в руке, и, зевая, ожидала мужа. А рядом сидела маленькая девочка с такими же пакляными волосами и сонными глазами и ела пирожок с яблочной начинкой. Дверь открылась, и из кабинета вывели Ваню Земнухова с неузнаваемо опухшим лицом. Он чуть не натолкнулся на Улю, и она едва не вскрикнула.

Потом она вместе с Соликовским стояла перед майстером Брюкнером, и тот, должно быть, не в первый уже раз, совершенно равнодушно задал ей какой-то вопрос. И Шурка Рей-

банд, с которым она танцевала в клубе перед войной и который пытался за ней ухаживать, теперь, делая вид, что ее совершенно не знает, перевел ей этот вопрос. Но она не расслышала того, что он ей сказал, потому что она, еще будучи на воле, приготовила то, что она скажет, если ее арестуют. И она с холодным выражением лица сказала это:

— Я не буду отвечать на вопросы, потому что не признаю за вами права судить меня. Делайте со мной, что хотите, но вы больше ничего от меня не услышите...

И майстер Брюкнер, который за эти дни, наверно, много раз слышал подобные фразы, не рассердился, а сделал движение пальцами и сказал:

— К Фенбонгу!..

Ужасна была не боль от мучений,— она могла перенести любую боль, она даже не помнила, как били ее,— ужасно было, когда они кинулись ее раздевать, и она, чтобы избавиться от их рук, вынуждена была сама раздеться перед ними...

Когда ее вели назад в камеру, навстречу ей пронесли на руках Анатолия Попова с запрокинутой светлой головой и свесившимися до полу руками, из угла его рта струйкой текла кровь.

Уля все же помнила, что должна владеть собой, когда войдет в камеру, и, может быть, ей это удалось. Она входила в камеру, а «полицай», сопровождавший ее, крикнул:

— Иванихина Антонина!..

Уля разминулась в дверях с Тоней, взглянувшей на нее кроткими, полными ужаса глазами, и дверь за Улей закрылась. Но в это время на всю тюрьму прозвучал пронзительный детский крик, не Тонин, а просто какой-то девочки.

— Они взяли мою младшую! — вскричала Мария Андреевна Борц. Она, как тигрица, кинулась на дверь и стала биться в нее и кричать: — Люся!.. Они схватили тебя, маленькую! Пустите! Пустите!..

Маленький сынишка Марины проснулся и заплакал.

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

Эти дни Любку видели в Ворошиловграде, в Каменске, в Ровеньках, однажды она попала даже в осажденное Миллерово. Круг ее знакомств среди вражеских офицеров сильно вырос. Карманы ее были набиты дареным печеньем, конфетами, шоколадом, и она простодушно угощала ими первого встречного.

С отчаянной отвагой и беспечностью кружилась она по самой кромке пропасти, с детской улыбкой и сощуренными го-

лубыми глазами, в которых иногда проскальзывало что-то жестокое.

В эту поездку в Ворошиловград она снова связалась с тем человеком, который был ее прямым начальником. Человек этот сказал ей, что немцы сильно свирепствуют в городе. Сам он менял квартиры чуть ли не ежедневно. Он был немыт, небрит, с глазами, красными от бессонницы, но очень возбужден новостями с фронта. Ему нужны были сведения о ближних резервах немцев, о снабжении, об отдельных частях,— целый ворох сведений.

Любке снова пришлось связаться с интендантским полковником, и был момент, когда ей показалось, что вряд ли она сможет выкарабкаться. Все интендантское управление, во главе с этим полковником с несвежим лицом и обвисающими брылями, покидало Ворошиловград, покидало с неслыханной торопливостью. Поэтому и у самого полковника, который, чем больше он пил, становился все стеклянней, и у других офицеров было отчаянное настроение.

Любка выкарабкалась только потому, что их было слишком много. Они мешали друг другу и ссорились, и в конце концов она все-таки очутилась на квартире, где жила девочка гриб-боровик. Любка даже унесла с собой банку чудного варенья, подаренного ей лейтенантом, который все еще на что-то надеялся.

Любка разделась и легла в постель в холодной, нетопленной комнате с высоким потолком. В это время раздался страшный стук в дверь. Любка приподняла голову. В соседней комнате проснулись гриб-боровик и ее мама. В дверь так стучали, будто хотели ее выломать. Любка быстро вскочила из-под одеяла,— от холода она спала в лифе и в чулках,— сунула ноги в туфли и влезла в платье. В комнате было совсем темно. Хозяйка испуганно спрашивала в сенях, кто это, ей отвечали грубые голоса,— это были немцы. Любка подумала, что это перепившиеся офицеры приехали к ней, и сильно растерялась.

Она еще не успела сообразить, что ей предпринять, как в комнату к ней, стуча тяжелыми ботинками на толстой подметке, вошли три человека, и один из них осветил Любку электрическим фонарем.

— Licht! [1] — вскричал чей-то голос, и Любка узнала лейтенанта.

Да, это был он и два жандарма. У лейтенанта было перекошено лицо от злости, когда он, держа над головой ночник, поданный ему из-за двери хозяйкой, всматривался в Любку. Он передал ночник жандарму и изо всей силы ударил Любку

[1] Свет!

по лицу. Потом растопыренными пальцами он разбросал лежавшие на столе у изголовья мелкие предметы туалета, будто искал что-то. Губная гармоника, лежавшая под носовым платком, упала на пол, лейтенант со злобой наступил на нее и смял каблуком.

Жандармы произвели обыск во всей квартире, а лейтенант уехал. И Любка поняла, что это не он привез жандармов, а они нашли Любку через него: где-то что-то открылось, но что — этого она не могла знать.

Дама, хозяйка квартиры, и девочка гриб-боровик оделись и, ежась от холода, наблюдали за обыском. Вернее, дама наблюдала, а гриб-боровик с жгучим интересом и любопытством неотрывно смотрел на Любку. В последний момент Любка порывисто прижала гриб-боровик к себе и поцеловала его прямо в крепкую щечку.

Любку привезли в ворошиловградскую жандармерию. Какой-то чин просмотрел ее документы и с помощью переводчика расспросил ее, действительно ли она Любовь Шевцова и в каком городе она проживает. При допросе присутствовал, сидя в углу, какой-то паренек, лица его Любка не рассмотрела. Паренек все время дергался. У Любки забрали чемодан с платьем и со всеми вещами, кроме разных мелких предметов, банки с вареньем и пестрого большого платка, которым она повязывала иногда шею и который попросила вернуть ей, чтобы завязать все, что у нее осталось.

Так она и появилась, в оставшемся на ней ярко-пестром крепдешиновом платье и с этим узелком с различными принадлежностями косметики и с банкой варенья, в камере первомайцев — днем, когда шел допрос.

«Полицай» открыл дверь камеры, впихнул ее и сказал:

— Принимайте ворошиловградскую артистку!

Любка, румяная от мороза, прищуренными блестящими глазами оглядела, кто в камере, увидела Улю, Марину с мальчиком, Сашу Бондареву, всех своих подруг. Руки ее, в одной из которых был узелок, опустились, румянец сошел с лица, и оно стало совсем белым.

К тому времени, когда Любка была привезена в краснодонскую тюрьму, тюрьма была переполнена и взрослыми и «молодогвардейцами» с их родными до того, что люди с детьми жили в коридоре, а еще предстояло разместить здесь всю группу из поселка Краснодон.

В городе происходили все новые и новые аресты, по-прежнему зависевшие от стихийных признаний Стаховича. Доведенный до состояния измученного животного, он покупал себе отдых, предавая своих товарищей, но каждое новое предатель-

ство сулило ему все новые и новые мученья. То он вспоминал всю историю с Ковалевым и Пирожком. То вспоминал о том, что у Тюленина был приятель, он даже не знал его фамилии, но он помнил его приметы и помнил, что тот живет на «Шанхае».

Вдруг Стахович вспоминал, что у Осьмухина был друг Толя Орлов. И вот уже истерзанный Володя и мужественный «Гром гремит» стояли друг перед другом в кабинете вахтмайстера Балдера.

— Нет, я первый раз его вижу,— тихо говорил Толя.

— Нет, я его совсем не знаю,— говорил Володя.

Стахович вспоминал о том, что у Земнухова в Нижне-Александровском живет любимая девушка. И через несколько дней перед майстером Брюкнером стояли уже не похожий на самого себя Земнухов и Клава со своими косящими глазами. И она говорила чуть слышно:

— Нет... Когда-то учились вместе. А с начала войны не видела. Ведь я жила в деревне...

Земнухов молчал.

Всю группу поселка Краснодон содержали в местной поселковой тюрьме. Лядская, выдавшая группу, не могла знать, кто из них какую роль играл в организации, но она знала, например, об отношениях Лиды Андросовой с Колей Сумским, в которого Лида была влюблена.

Лиду Андросову, хорошенькую девушку с остреньким подбородком, похожую на лисичку, избивали ремнями, снятыми с винтовок: от нее требовали рассказать о деятельности Сумского в организации. Лида Андросова вслух считала удары, но отказалась говорить хоть что-нибудь.

Чтобы старшее поколение не могло оказывать влияния на младшее, их содержали отдельно и следили за тем, чтобы между ними не было никакой связи.

Но даже для палачей в их зверской деятельности существует предел возможного. Не только никто из закаленных большевиков, но и никто из арестованных «молодогвардейцев» не признавался в своей принадлежности к организации и не показывал на товарищей. Эта беспримерная в истории стойкость почти ста юношей и девушек, почти детей, постепенно выделила их среди невинно арестованных и среди родных и близких. И, чтобы облегчить свое положение, немцы стали постепенно выпускать всех, кто попал случайно, и тех из родных, кого взяли в качестве заложников. Так были выпущены родные Кошевого, Тюленина, Арутюнянца и других. Выпущена была и Мария Андреевна Борц. Маленькую Люсю отпустили за день до нее, и Мария Андреевна только дома смогла в слезах проверить, что материнский слух не обманул ее и млад-

шая дочь была в тюрьме. Теперь в руках палачей осталась только группа взрослых подпольщиков во главе с Лютиковым и Бараковым и члены организации «Молодая гвардия».

Родные арестованных с утра до ночи толпились у здания тюрьмы, хватая за руки выходивших и входивших «полицаев» и немецких солдат с просьбой дать весточку или пронести передачу. Их разгоняли, они собирались снова, обрастали прохожими и просто любопытными. Из-за дощатых стен иногда слышны были вопли избиваемых, и, чтобы заглушить их, в тюрьме с утра заводили патефон. Город било, как в лихорадке: не было человека, который не побывал бы в эти дни у здания тюрьмы. И майстер Брюкнер вынужден был дать распоряжение принимать передачу для заключенных. Так Филипп Петрович и Бараков смогли узнать, что райком, созданный ими, живет и действует и изыскивает способы, чтобы освободить и «больших» и «маленьких».

Как ни противоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской из зверских немецкой оккупационной тюрьмы, они жили в ней уже около двух недель, и постепенно у них образовался свой, особенный тюремный быт с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями любви, дружбы и даже привычками развлечения.

— Девочки, хотите варенья? — говорила Любка, усевшись посредине камеры на пол и развязывая свой узелок.— Балда! Раздавил мою губную гармошку! Что я буду здесь делать без гармошки?..

— Обожди, сыграют они на твоей спинке, отобьют охоту к гармошке! — в сердцах сказала Шура Дубровина.

— Так ты знаешь Любку! Думаешь, я буду хныкать или молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться, кричать. Вот так: «А-а-а!.. Дураки! За что вы бьете Любку?» — завизжала она.

Девушки засмеялись.

— И то правда, девушки, на что нам жаловаться? А кому легче? Нашим родным еще тяжелее. Они, бедные, не знают даже, что с нами. Да то ли им еще придется пережить!..— говорила Лиля Иванихина.

Круглолицая, светленькая, она, должно быть, ко многому привыкла в концентрационных лагерях, она ни на что не жаловалась, за всеми ухаживала и была добрым духом всей камеры.

Вечером Любку вызвали на допрос к майстеру Брюкнеру. Это был необычайный допрос: присутствовали все начальники жандармерии и полиции. Любку не били, с ней были даже вкрадчиво-ласковы. Любка, вполне владевшая собой и не

знавшая, что им известно, по привычке своего общения с немцами, кокетничала и смеялась и выражала полное непонимание того, что они от нее хотят. Ей намекали, что было бы очень хорошо для нее, если бы она выдала радиопередатчик, а заодно и шифр.

Это была с их стороны только догадка, у них не было прямых улик, но они не сомневались в том, что это так и есть. Достаточно было узнать о принадлежности Любки к организации, чтобы догадаться о характере ее разъездов по городам и сближения с немцами. Немецкая контрразведка имела данные о том, что в области работает несколько тайных радиопередатчиков. А тот парень, который присутствовал при допросе Любки в ворошиловградской жандармерии, был парень из компании Борьки Дубинского, ее приятеля по курсам, он подтвердил, что Любка училась на этих секретных курсах.

Любке сказали, чтобы она подумала, не лучше ли ей сознаться, и отпустили в камеру.

Мать прислала ей полную кошелку продуктов. Любка сидела на полу, зажав ногами кошелку, извлекала оттуда то сухарь, то яичко, покачивала головой и напевала:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить...

Полицейскому, принесшему передачу, она сказала:

— Передай маме, что Любка жива и здорова, просит, чтобы побольше передавала борща! — Она обернулась к девушкам и закричала: — Дивчата, налетай!..

В конце концов она все-таки попала к Фенбонгу, который ее довольно сильно побил. И она сдержала свое обещание: она ругалась так, что это было слышно не только в тюрьме, а по всему пустырю:

— Балда!.. Плешивый дурак!.. Сучья лапа!..— Это были еще самые легкие из тех слов, какими она наградила Фенбонга.

В последующий раз, когда Фенбонг в присутствии майстера Брюкнера и Соликовского избил ее скрученным проводом, Любка, как ни кусала губы, не смогла удержать слез. Она вернулась в камеру и молча легла на живот, положив голову на руки, чтобы не видели ее лица.

Уля в светлой вязаной кофточке, присланной ей из дому и шедшей к ее черным глазам и волосам, сидела в углу камеры и, таинственно поблескивая глазами, рассказывала девушкам, сгрудившимся вокруг нее, «Тайну монастыря святой Магдалины». Теперь она изо дня в день рассказывала им что-нибудь занимательное с продолжением: они прослушали уже «Овод», «Ледяной дом», «Королеву Марго».

Дверь в коридор была открыта, чтобы проветрить камеру. Полицейский из русских сидел напротив двери на табурете и тоже слушал «Тайну монастыря».

Любка отдохнула немного и села, невнимательно прислушиваясь к рассказу Ули, потом перевела взгляд на Майю Пегливанову, который день лежавшую не вставая. Вырикова выдала, что Майя была когда-то секретарем комсомольской ячейки в школе, и ее теперь мучили больше других. Любка увидела Майю, и неутоленное мстительное чувство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода.

— Саша... Саша...— тихо позвала она Бондареву, сидевшую в группе, окружавшей Улю.— Что-то наши мальчишки притихли...

— Да...

— Уж не повесили ли они носы?

— Все-таки их, знаешь, больше терзают,— сказала Саша и вздохнула.

В Саше Бондаревой, с ее резкими мальчишескими ухватками и голосом, только в тюрьме раскрылись вдруг какие-то мягкие, девические черты, и она точно стыдилась их оттого, что они так запоздало проявились.

— Давай мы их малость расшевелим,— сказала Любка, оживившись.— Мы сейчас на них карикатуру нарисуем.

Любка быстро достала в изголовье листок бумаги и маленький карандашик — с одной стороны синий, с другой красный,— и обе они, Любка и Саша, улеглись на животе лицами друг к другу, стали шепотом разрабатывать содержание карикатуры. Потом, пересмеиваясь и отнимая друг у друга карандаш, изобразили худенького, изможденного паренька с громадным носом, оттягивавшим голову паренька книзу так, что он весь изогнулся и ткнулся носом в пол. Они сделали паренька синим, лицо его оставили белым, а нос покрасили красным и подписали ниже:

Ой вы, хлопцы, что невеселы,
Что носы свои повесили?

Уля кончила рассказывать. Девушки вставали, потягивались, расходились по своим углам, некоторые обернулись к Любке и Саше. Карикатура пошла по рукам. Девушки смеялись:

— Вот где талант пропадал!

— А как передать?

Любка взяла бумажку, подошла к двери.

— Давыдов! — вызывающе сказала она полицейскому.— Передай ребятам их портрет.

— И откуда у вас карандаши, бумага? Ей-богу, скажу начальнику, чтоб обыск сделал! — хмуро сказал полицейский.

Шурка Рейбанд, проходивший по коридору, увидел Любку в дверях.

— Ну как, Люба? Скоро в Ворошиловград поедем? — сказал он, заигрывая с ней.

— Я с тобой не поеду... Нет, поеду, если передашь вот ребятам, портрет мы их нарисовали!..

Рейбанд посмотрел карикатуру, усмехнулся костяным личиком и сунул листок Давыдову.

— Передай, чего там,— небрежно сказал он и пошел дальше по коридору.

Давыдов, знавший близость Рейбанда к главному начальнику и, как все «полицаи», заискивавший перед ним, молча приоткрыл дверь в камеру к мальчикам и вбросил листок. Оттуда послышался дружный смех. Через некоторое время застучали в стенку:

— Это вам показалось, девочки. Жильцы нашего дома ведут себя прилично... Говорит Вася Бондарев. Привет сестренке...

Саша взяла в изголовье стеклянную банку, в которой мать передавала ей молоко, подбежала к стенке и простучала:

— Вася, слышишь меня?

Потом она приставила банку дном к стенке и, приблизив губы к краям, запела любимую песню брата — «Сулико».

Но едва она стала петь, как все слова песни стали оборачиваться такой памятью о прошлом, что голос у Саши прервался. Лиля подошла к ней и, гладя ее по руке, сказала своим добрым, спокойным голосом:

— Ну, не надо... Ну, успокойся...

— Я сама ненавижу, когда потечет эта соленая водичка,— сказала Саша, нервно смеясь.

— Стаховича! — раздался по коридору хриплый голос Соликовского.

— Начинается...— сказала Уля.

Полицейский захлопнул дверь и закрыл на ключ.

— Лучше не слушать,— сказала Лиля.— Улечка, ты же знаешь мою любовь, прочти «Демона», как тогда, помнишь?

...Что люди? — что их жизнь и труд? —

начала Уля, подняв руку.

Они пришли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,

То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень,—
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

О, как задрожали в сердцах девушек эти строки, точно говорили им: «Это о вас, о ваших еще не родившихся страстях и погибших надеждах!»

Уля прочла и те строки поэмы, где ангел уносит грешную душу Тамары. Тоня Иванихина сказала:

— Видите! Все-таки ангел ее спас. Как это хорошо!

— Нет! — сказала Уля все еще с тем стремительным выражением в глазах, с каким она читала.— Нет!.. Я бы улетела с Демоном... Подумайте, он восстал против самого бога!

— А что! Нашего народа не сломит никто! — вдруг сказала Любка с страстным блеском в глазах.— Да разве есть другой такой народ на свете? У кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может?.. Может быть, мы погибнем, мне не страшно. Да, мне совсем не страшно,— с силой, от которой содрогалось ее тело, говорила Любка.— Но мне бы не хотелось... Мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими! Да песен попеть,— за это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших! Подумайте только, прожили шесть месяцев при немцах, как в могиле просидели: ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы,— с силой говорила Любка.

— А мы и сейчас заспиваем, ну их всех к чертовой матери! — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой смуглой своей рукой, запела:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня, очень дружная, покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки.

Дверь в камеру с шумом отворилась, и полицейский, с злым, испуганным лицом, зашипел:

— Да вы что, очумели? Замолчать!..

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда,—
Партизанские отряды
Занимали города...

Полицейский захлопнул дверь и убежал.

Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным тугим животом, с темными на желтом лице мешками под глазами и собравшимися на воротнике толстыми складка-

ми шеи, стоял в дверях, в руке его тряслась дымившаяся сигара.

— Platz nehmen! Ruhe!..[1] — вырвалось из него с таким резким оглушительным звуком, будто он стрелял из пугача.

...Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни...—

пели девушки.

Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере, у мальчиков, завязалась драка. Девушки попадали на пол у стен камеры.

Любка, одна оставшись посредине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собою жестокими невидящими глазами, пошла прямо на Брюкнера, отбивая каблуками чечетку.

— А! Дочь чумы! — вскричал Брюкнер задыхаясь. Схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку, выволок из камеры.

Любка, оскалившись, быстро наклонила голову и впилась зубами в эту его большую руку в клеточках желтой кожи.

— Verdammt noch mal![2] — взревел Брюкнер и другой рукой кулаком стал бить Любку по голове. Но она не отпускала его руки.

Солдаты с трудом оторвали ее от него и с помощью самого майстера Брюкнера, мотавшего в воздухе кистью, поволокли Любку по коридору.

Солдаты держали ее, а майстер Брюкнер и унтер Фенбонг били ее электрическими проводами по только что присохшим струпьям. Любка злобно прикусила губу и молчала. Вдруг она услышала возникший где-то очень высоко над камерой звук мотора. И она узнала этот звук, и сердце ее преисполнилось торжества.

— А, сучьи лапы! А!.. Бейте, бейте! Вон наши голосок подают! — закричала она.

Рокот снижавшегося самолета с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Фенбонг прекратили истязания. Кто-то быстро выключил свет. Солдаты отпустили Любку.

— А! Трусы! Подлецы! Пришел ваш час, выродки из выродков! Ага-а!..— кричала Любка, не в силах повернуться на окровавленном топчане и яростно стуча ногами.

Раскат взрывной волны потряс дощатое здание тюрьмы. Самолет бомбил город.

---

[1] По местам! Молчать!..
[2] Проклятие!

С этого дня в жизни «молодогвардейцев» в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями. Они грубили им, издевались над ними, пели в камерах революционные песни, танцевали, буянили, когда из камеры вытаскивали кого-нибудь на пытку.

И мучения, которым их подвергали теперь, были мучения, уже непредставимые человеческим сознанием, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Олег, наиболее осведомленный о передвижении на фронте, повел группу почти на север, с тем чтобы где-то в районе Гундоровской перейти замерзший Северный Донец и выйти к станции Глубокой на железной дороге Воронеж — Ростов.

Они шли всю ночь. Мысли о родных и товарищах не оставляли их. Почти всю дорогу они шли молча.

К утру, обойдя Гундоровскую, они беспрепятственно перешли Донец и хорошо укатанной военной дорогой, проложенной по старой грунтовой, пошли направлением на хутор Дубовой, ища глазами по степи какого-нибудь жилья, чтобы согреться и закусить.

Погода была безветренная, взошло солнце, начало пригревать. Степь со своими балками и курганами сияла чистой белизной. Укатанная дорога начала оттаивать, по обочинам обнажились края канав, пошел парок, и запахло землею.

И по дороге, по которой они шли, и по далеко видным, особенно с холмов, боковым и дальним проселкам то и дело двигались навстречу им разрозненные остатки немецких пехотных, артиллерийских подразделений, служб, интендантских частей, не попавших в великое кольцо сталинградского окружения и разбитых в последующих боях. Это были немцы, непохожие на тех, какие двигались на тысячах грузовиков пять с половиной месяцев тому назад. Они шли в расхлыстанных шинелях, с обмотанными головами и ногами, чтобы было теплее, обросшие щетиной, с такими грязными, черными лицами и руками, будто они только что вылезли из печной трубы.

Однажды, проселком с востока на запад, ребятам пересекла дорогу группа итальянских солдат, в большинстве без ружей, а некоторые несли ружья, положив их на плечи, как палки, вверх ложем. Офицер в летней накидке, с головой, обмотанной поверх покосившейся полуфуражки-полукепки дет-

скими рейтузами, ехал среди своих солдат верхом на ишаке без седла, едва не бороздя дорогу громадными башмаками. Он был так смешон и так символичен с замерзшими под носом соплями, этот житель теплой, южной страны в снегах России, что ребята, переглянувшись, захохотали.

На дорогах попадалось немало мирных жителей, сорванных войной со своих мест. И никто не обращал внимания на двух юношей и трех девушек, идущих по зимней дороге с вещевыми мешками.

Все это подняло их настроение. С беспечной отвагой юности, не имеющей реального представления об опасности, они видели себя уже по ту сторону фронта.

Нина, в валенках и шапке-ушанке, из-под которой тяжелые завитки ее волос падали на воротник теплого пальто, вся разрумянилась от ходьбы. Олег все время поглядывал на нее. И они, встретившись глазами, улыбались друг другу. А Сережка и Валя в одном месте даже завязались играть в снежки и далеко оставили позади своих товарищей, перегоняя один другого. Оля, старшая среди них, одетая во все темное, спокойная и молчаливая, держалась по отношению к этим двум парам, как снисходительная мамаша.

На хуторе Дубовом они провели около суток, исподволь выспрашивая о фронтовых делах. Какой-то инвалид, без руки, должно быть, из осевших «окруженцев», посоветовал им идти дальше на север, в деревню Дячкино.

В этой деревне и в ближайших к ней хуторах они прослонялись несколько суток среди смешавшихся тылов немецких частей и прятавшихся по подвалам жителей. Они находились теперь в непосредственной близости от линии боев, с которой доносился беспрерывный гул орудий и ночами, как зарницы, вспыхивали огни их жерл. Авиация бомбила немецкие тылы, и, видно, фронт подавался под напором советских войск, потому что все немецкое вокруг сдвигалось и текло на запад.

На них косился каждый прохожий солдат, а жители боялись впустить, не зная, что это за люди. Не только переходить фронт впятером, а просто бродить или оставаться здесь было опасно. В одном из хуторков хозяйка, очень недружелюбно поглядывавшая на них, ночью вдруг тепло оделась и вышла. Не спавший Олег разбудил своих товарищей, и они ушли с хутора в степь. Ветер, поднявшийся с прошлого дня, сильно донимал их после сна, и прислониться некуда было. Никогда они не чувствовали себя такими беспомощными и заброшенными. И тогда заговорила Оля, старшая среди них.

— Не обижайтесь на то, что я скажу,— так начала она, ни на кого не глядя, прикрывая рукавом щеку от ветра. — Нам не перейти фронта такой большой компанией. И, дол-

жно быть, очень трудно перейти фронт женщине или девушке...— Она взглянула на Олега и Сережку, ожидая возражений, но они молчали, потому что это была правда.— Нам, девушкам, надо освободить своих мальчишек,— твердо сказала она. Нина и Валя поняли, что говорят о них.— Нина, может быть, будет возражать, но твоя мама поручила мне тебя, мы пойдем в деревню Фокино, там живет моя подружка по институту, она нас приютит, и мы у нее дождемся фронта,— сказала Оля.

Олег впервые не нашелся, что ответить, Сережка и Валя молчали.

— Почему же я буду возражать? Нет, я не буду возражать,— сказала Нина, чуть не плача.

Так они постояли еще молча все пятеро, томясь и не решаясь сделать последний шаг. Тогда Олег сказал:

— Оля права. Зачем подвергать девушек риску, когда у них есть более простой выход. И правда, нам будет легче. И в-вы ид-дите,— сказал он, вдруг начав заикаться, и обнял старшую, Олю.

Потом он подошел к Нине, а все остальные отвернулись. Нина порывисто обняла его и стала покрывать поцелуями все его лицо. Он обнял ее и поцеловал в губы.

— П-помнишь, как я один раз пристал к тебе, все п-просил разрешения поцеловать в щеку, п-помнишь, как я говорил: «Только в щеку, ну, понимаешь, п-просто в щеку?» И вот аж когда пришлось поцеловаться. Т-ты помнишь? — шептал он ей с детским счастливым выражением.

— Я помню, я все помню, я помню больше, чем ты думаешь... Я всегда буду помнить тебя... Я буду ждать тебя,— шептала она.

Он снова поцеловал ее и высвободился.

Отойдя немного, Оля и Нина еще окликнули их, а потом их сразу не стало ни видно, ни слышно, только поземка мела по тонкому насту.

— Как вы? — спросил Олег у Вали и Сережки.

— Мы все-таки попробуем вместе,— виновато сказал Сережка.— Мы пойдем вдоль фронта, может, где и проскочим. А ты?

— Я все-таки здесь попробую. Здесь я по крайней мере уже местность знаю,— сказал Олег.

Снова наступила тягостная минута молчания.

— Милый друг ты мой, не стыдись, не вешай голову... Н-ну? — сказал Олег, понимая все, что творится в Сережкиной душе.

Валя порывисто обняла Олега. А Сережка, который не лю-

бил нежностей, пожал Олегу руку и потом чуть толкнул его ладонью в плечо и пошел не оглядываясь, а Валя догнала его.

Это было седьмого января.

Но они тоже не могли перейти фронт вдвоем. Они все ходили из деревни в деревню и так дошли до Каменска. Они выдавали себя за брата и сестру, отбившихся от семьи в районе боев на Среднем Дону. И люди жалели их и стелили им где-нибудь на холодном земляном полу, и они спали обнявшись, как брат и сестра в беде. А утром снова вставали и шли. Валя требовала, чтобы они сделали попытку перейти фронт в любом месте, но Сережка был человек реального склада и все не хотел переходить фронт.

И наконец она поняла, что Сережка и не сделает попытки перейти фронт, пока она, Валя, будет ходить с ним: Сережка мог перейти фронт в любом месте, но он боялся погубить ее. И тогда она сказала ему:

— Ведь я одна всегда могу пристроиться где-нибудь тут в деревне и переждать, пока фронт перейдет через нашу местность...

Но он не хотел и слышать об этом.

И все-таки она его перехитрила. Во всей их деятельности, особенно когда они стали все делать вдвоем, он всегда был коноводом, и она подчинялась ему. Но в личных делах она всегда брала верх над ним, и он сам не замечал, как шел за ней в поводу. Так и теперь она сказала ему, что он сможет попасть в часть Красной Армии и рассказать, что в Краснодоне гибнут свои ребята, и вместе с этой частью спасти ребят от гибели, а заодно и выручить Валю.

— Я буду ждать тебя где-нибудь тут поблизости,— сказала она.

Валя, уставшая за день, крепко заснула, а когда она проснулась перед зарей, Сережки уже не было: он пожалел будить ее, чтобы проститься.

И она осталась одна.

Елена Николаевна на всю жизнь запомнила эту морозную ночь, это была ночь с одиннадцатого на двенадцатое января. Вся семья уже спала, когда кто-то тихо постучал в оконце с улицы. Елена Николаевна сразу услышала этот стук и сразу поняла, что это он.

Олег с помороженными щеками опустился на стул, от усталости даже не сняв шапки. Все проснулись. Бабушка зажгла коптилку и поставила под стол, чтобы свет не виден был с улицы: полиция навещала их по нескольку раз в день. Олег сидел,

освещенный снизу, шапка его заиндевела вокруг лица, на скулах у него были черные пятна. Он похудел.

Он сделал несколько попыток перейти фронт, но он совсем не знал современной системы огня и расположения подразделений и групп в обороне. И был слишком большой и темно одет, чтобы незаметно переползти по снегу. Мысль о том, что же с ребятами в городе, все время преследовала его. В конце концов он убедил себя, что может незаметно проникнуть в город, когда уже прошло столько времени.

— Что о Земнухове слыхать? — спрашивал он.

— Все то же...— сказала мать, избегая смотреть на него.

Она сняла с него шапку, тужурку. Не на чем было даже чаю согреть, но домашние и так переглядывались, боясь, чтобы его вот-вот не захватили здесь.

— Уля как? — спросил он.

Все молчали.

— Улю взяли,— тихо сказала мать.

— А Любу?

— Тоже...

Он изменился в лице и, помолчав, спросил:

— А в поселке Краснодон?

Нельзя было так мучить его по капле, и дядя Коля сказал:

— Легче назвать тех, кто еще не взят...

И он рассказал об аресте большой группы рабочих Центральных мастерских вместе с Лютиковым и Бараковым. Теперь уже никто в Краснодоне не сомневался, что это были свои люди, оставленные в немецком тылу со специальным заданием.

Олег поник головой и больше ни о чем не спрашивал.

Посоветовавшись, они решили отправить его в село к родне Марины, сейчас же, ночью. Дядя Коля взялся проводить его.

Они шли по дороге на Ровеньки, по степи безлюдной, видной на большое пространство под звездами, струившими тихий синеватый свет по снегу.

Несмотря на то, что он почти не отдохнул после стольких дней скитаний, часто без пищи и крова,— после всего, что обрушилось на него дома, Олег уже вполне владел собой и по дороге расспросил у дяди Коли все подробности, связанные с провалом «Молодой гвардии» и арестом Лютикова и Баракова. Он рассказал дяде Коле свои злоключения.

Они не заметили, как кончился длинный, пологий подъем дороги, и они достигли его высшей точки и круто стали спускаться с холма метрах в пятидесяти от окраины большого села, темневшего перед ними.

— В село премся, надо бы обойти,— сказал дядя Коля.

И они свернули с дороги и пошли левым краем, все так же метрах в пятидесяти от села,— снег был глубок только в сугробах.

Они пересекли было одну из боковых дорог, ведущих в село, как из-за крайнего дома, наперерез к ним, кинулось несколько серых фигур. Они бежали и кричали по-немецки очень сипло.

Дядя Коля и Олег, не сговариваясь, бросились от них по дороге.

Олег чувствовал, что у него нет сил бежать, слышал, что его нагоняют. Он напряг последние силы, но поскользнулся и упал. На него навалились и заломили назад руки. Двое еще гнались за дядей Колей и несколько раз выстрелили ему вслед из револьвера. Через некоторое время они вернулись, ругаясь и посмеиваясь, что не удалось поймать.

Олега привели в большой дом, где раньше была, должно быть, сельрада, а теперь канцелярия старосты. На соломе на полу спало несколько солдат жандармерии. Олег понял, что нарвались на жандармский пост. На столе стоял полевой телефон в темной коже.

Ефрейтор поднял фитиль в лампе и, сердясь и крича на Олега, начал обыскивать его. Не найдя ничего подозрительного, он сдернул с Олега тужурку и пядь за пядью стал прощупывать ее. Большие пальцы его рук были плоские и расширенные у ногтя, и он методично и ловко работал ими.

Так пальцы его добрались до картона комсомольского билета, и Олег понял, что все кончено.

Ефрейтор, прикрывая рукой выложенные на стол комсомольский билет и бланки временных комсомольских билетов, надрываясь, сипло говорил по телефону. Потом он положил трубку и что-то сказал солдату, который привел Олега.

Только к ночи следующего дня Олег, сопровождаемый этим ефрейтором и солдатом вместо кучера, на розвальнях подъехал к зданию жандармерии и полиции в городе Ровеньки и был сдан на руки дежурному жандарму.

Олег сидел один в камере, в полной темноте, обхватив руками колени. Если бы можно было видеть его лицо,— выражение его было спокойное и суровое. Мысли о Нине, о матери, о том, как глупо он попался, — на все это у него было много времени, пока он сидел в канцелярии старосты и пока его везли, и все это уже отошло от него. И не о том он думал, что ожидает его: он это знал. Он был спокоен и суров, потому что он подводил черту под всей своей недолгой жизнью.

«Пусть мне шестнадцать лет, не я виноват в том, что мой жизненный путь оказался таким малым... Что может стра-

шить меня? Смерть? Мучения? Я смогу вынести это... Конечно, я хотел бы умереть так, чтобы память обо мне осталась в сердцах людей. Но пусть я умру безвестным... Что ж, так умирают сейчас миллионы людей, так же, как и я, полные сил и любви к жизни. В чем я могу упрекнуть себя? Я не лгал, не искал легкого пути в жизни. Иногда был легкомыслен,— может быть, слаб от излишней доброты сердца... Милый Олежка-дролежка! Это не такая большая вина в шестнадцать лет... Я даже не изведал всего счастья, какое было отпущено мне. И все равно я счастлив! Счастлив, что не пресмыкался, как червь,— я боролся... Мама всегда говорила мне: «Орлик мой!..» Я не обману ее веры и доверия товарищей. Пусть моя смерть будет так же чиста, как моя жизнь,— не стыжусь сказать себе это... Ты умрешь достойно, Олежка-дролежка...»

Черты его лица разгладились, он лег на подмерзшем склизком полу, подмостив под голову шапку, и крепко уснул.

Он открыл глаза, почувствовав, что кто-то стоит над ним. Было утро.

Почти закрыв собой дверь в камеру, перед Олегом стоял в казачьей шинели, в польской конфедератке, едва налезавшей на крупную рыжую голову, плотный старик с большим сизым носом, в крупных рыжих веснушках по всему лицу, с слезящимися безумными глазами.

Олег сел на полу, с удивлением глядя на него.

— А я думаю, какой он такой, Кошевой?.. А он, вон он какой... Гаденыш! Прохвост этакий!.. Жалко, что тебя гестапо будет учить,— у меня б тебе лучше было. Я бью в исключительных случаях... Так вон ты какой! Про тебя слава, как про Дубровского. Читал, небось, Пушкина? У, гаденыш!.. Жалко, что ты не у меня,— старик нагнулся к Олегу, прищурил один безумный слезящийся глаз и, дыша на Олега водкой, таинственно зашептал: — Ты думаешь, я почему так рано? — Он подмигнул уже совсем интимно и доверительно.— Сегодня отправляю партию туда...— он покрутил набухшим пальцем куда-то в небо.— Пришел с парикмахером всех побрить, я всегда брею перед этим,— шептал он. Он выпрямился, крякнул, поднял большой палец руки и сказал: — Культурненько!.. А ты пойдешь по линии гестапо, не завидую тебе. Оревуар! — Он поднес набухшую старческую руку к козырьку конфедератки и вышел, и кто-то захлопнул дверь камеры.

Когда Олег был переведен уже в общую камеру, где сидели совсем неизвестные ему люди из дальних мест, он узнал, что это был начальник ровеньковской полиции Орлов, из бывших деникинских офицеров, страшный палач и истязатель.

Спустя два-три часа его повели на допрос. Им занимались только одни гестаповцы, переводчик тоже был немец-ефрейтор.

Их было много, немецких жандармских офицеров, в кабинете, куда его ввели. Все они с открытым любопытством, удивлением, а некоторые даже так, как смотрят на лицо значительное, смотрели на него. По своему, во многом еще детскому восприятию мира он не мог предполагать, насколько широко разошлась слава о «Молодой гвардии» и насколько он сам благодаря показаниям Стаховича и тому, что его так долго не могли поймать, превратился в фигуру легендарную. Его допрашивал гибкий, точно был без костей, как минога, немец, с лицом, которому страшные фиолетовые полукружья под глазами, исходящие из-под углов темных, почти черных век, огибающие скулы и растворяющиеся на худых щеках в трупные пятна, придавали вид сверхъестественный,— такой человек мог присниться только в страшном сне.

На требование раскрыть всю деятельность «Молодой гвардии» и выдать всех ее членов и сообщников Олег сказал:

— Я руководил Молодой гвардией один и один отвечаю за все, что делали ее члены по моему указанию... Я мог бы рассказать о деятельности Молодой гвардии, если бы меня судили открытым судом. Но бесполезно для организации рассказывать о ее деятельности людям, которые убивают и невинных...— Он помолчал немного, окинул спокойным взглядом офицеров и сказал: — Да вы и сами уже мертвецы...

Этот немец, действительно похожий на мертвеца, все-таки еще спросил его что-то.

— Эти мои слова — последние, — сказал Олег и опустил ресницы.

После того Олег был брошен в застенок гестапо, и для него началась та страшная жизнь, которую не то что выдержать, о которой невозможно писать человеку, имеющему душу.

Но Олег выдерживал эту жизнь до конца месяца, и его не убивали, потому что ждали фельдкоменданта области генерал-майора Клера, который хотел лично допросить главарей организации и распорядиться их судьбою.

Олег не знал, что сюда же, в ровеньковское гестапо, привезен на допрос фельдкоменданта и Филипп Петрович Лютиков. Врагам не удалось узнать, что Лютиков был главою подпольной большевистской организации Краснодона, но они чувствовали и видели, что это самый крупный человек из всех захваченных ими.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Ручные пулеметы с трех точек, как из углов треугольника, били по ложбине меж холмов, похожей на седло двугорбого верблюда, и пули шмякали по кашице из снега и грязи и издавали на излете звук: «Иу-у... иу-у...» Но Сережка был уже по ту сторону седловины. Сильные руки, схватив его повыше кисти, втащили в окоп.

— Не стыдно тебе? — сказал маленький сержант с большими глазами на чистом курском наречии.— Что это такоича! Русский паренек, а поди ты... Пристращали они тебя или посулили чего?

— Я свой, свой,— сказал Сережка, нервно смеясь,— у меня документы в ватнике зашиты, отведите меня к командиру. У меня важное сообщение!

Начальник штаба дивизии и Сережка стояли перед командиром в единственной неразбитой хате на хуторке неподалеку от железной дороги. Хуторок был весь когда-то обсажен акациями, теперь их побили авиация и артиллерия. Здесь был командный пункт дивизии, здесь не проходили части и запрещалось ездить на машинах, и в хуторке и в хате было очень тихо, если не считать все время перекатывавшегося за холмами на юге многоголосого гула боя.

— Сужу не только по документам, а и по тому, что он говорит. Мальчишка все знает: местность, огневые позиции тяжелой, даже огневые точки в квадратах двадцать семь, двадцать восемь, семнадцать...— начальник назвал еще несколько цифр.— Многое совпало с данными разведки, кое-что он уточнил. Кстати, берега эскарпированы. Помните? — говорил начальник, кудрявый молодой человек с тремя шпалами на петлицах, то и дело втягивая одной стороной рта воздух и морщась: у него болел зуб.

Командир дивизии осмотрел комсомольский билет Сережки и рукописное удостоверение с примитивным печатным бланком за подписью командира Туркенича и комиссара Кашука, выданное в том, что Сергей Тюленин является членом штаба подпольной организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне. Он осмотрел билет и это удостоверение и вернул их не начальнику штаба, от которого их получил, а в руки Сережке и с грубоватой наивностью осмотрел Сережку с головы до ног.

— Так...— сказал командир дивизии.

Начальник штаба сморщился от боли, втянул воздух одной стороной рта и сказал:

— У него есть важное сообщение, которое он хочет сказать только вам.

И Сережка рассказал им о «Молодой гвардии» и высказал соображение, что дивизия, несомненно, должна тотчас же выступить на выручку ребят, сидящих в тюрьме.

Начальник штаба, выслушав тактический план движения дивизии на Краснодон, улыбнулся, но тут же тихо простонал и взялся рукой за щеку. Но командир не улыбнулся, как видно, не считая марш дивизии на Краснодон таким невероятным делом. Он спросил:

— Каменск-то ты знаешь?

— Знаю, только не отсюда, а оттуда, с той стороны. Я оттуда пришел...

— Федоренко! — крикнул командир таким голосом, что где-то зазвенела посуда.

Никого, кроме них, не было в комнате, но в то же мгновение Федоренко, самозародившись из воздуха, вырос перед командиром и так щелкнул каблуками, что всем стало весело.

— Есть Федоренко!

— Парнишке обутки — раз. Покормить — два. Пусть отоспится в тепле, пока не вызову.

— Есть обутки, есть покормить, пусть спит, пока не вызовете.

— В тепле...— И командир наставительно поднял палец.— Как баня?

— Будет, товарищ генерал!

— Ступай!

Сережка и сержант Федоренко, приятельски обнявший его за плечи, вышли из хаты.

— Командующий приедет,— с улыбкой сказал командир.

— Да ну-у? — весь просияв и на мгновение забыв даже боль зуба, сказал начальник штаба.

— Придется ведь в блиндаж переходить. Вели, чтоб подтопили, а то ведь Колобок, он, знаешь, задаст! — с веселой улыбкой говорил командир дивизии.

В это время командующий армией, которого командир дивизии назвал любовным солдатским прозвищем «Колобок», еще спал. Он спал на своем командном пункте, который помещался не в доме и вообще не в жилой местности, а в бывшем немецком блиндаже в роще. Хотя армия наступала очень быстро, командующий придерживался принципа останавливаться не в населенных пунктах, а на каждом новом месте занимать немецкие блиндажи, а если они были разрушены, рыть новые блиндажи для себя и для всего штаба, как в первые дни войны. Этого принципа он стал придерживаться после того, как в первые дни войны погибло немало крупных военных, его товарищей, от вражеской авиации: они не считали нужным рыть блиндажи.

Командующий армией в недалеком прошлом командовал дивизией, в которую вышел Сережка Тюленин. Это была та самая дивизия, с которой ровно полгода тому назад должен был взаимодействовать партизанский отряд, руководимый Иваном Федоровичем Проценко. А командующий армией, в прошлом командир этой дивизии, был тот генерал, с которым Иван Федорович лично договаривался в помещении райкома в Краснодоне и который так отличился в обороне сначала Ворошиловграда, потом Каменска и последующими умелыми арьергардными боями во время памятного отступления в июле и августе 1942 года.

У командующего была простая, доставшаяся ему от отца и деда крестьянская фамилия. После этих боев она выделилась среди фамилий других военачальников и сохранилась в памяти жителей Северного Донца и Среднего Дона. А теперь, за два месяца боев на Юго-Западном фронте, фамилия эта стала известной всей стране, как и фамилии других военачальников, прославивших себя в великой Сталинградской эпопее. «Колобок» — это было его новое прозвище, о котором он сам и не подозревал.

Прозвище это в известном отношении отвечало его внешности. Он был низкий, широкий в плечах, грудастый, с полным, сильным по выражению и очень простым русским лицом. При этой тяжеловатой внешности он был очень легок на подъем, подвижен, глаза у него были маленькие, умные, веселые, а движения ловкие и круглые. Однако он был прозван «Колобком» не за эту свою внешность.

По стечению обстоятельств он наступал теми же местами, по каким отступал в июле и в августе. Несмотря на тяжесть боев в те памятные дни, он тогда довольно легко оторвался от противника и укатился в неизвестном направлении так, что противник и следу его не мог найти.

Влившись в состав частей, образовавших впоследствии Юго-Западный фронт, он вместе с ними зарылся в землю и так и просидел в земле вместе со всеми, пока исступленная ярость противника не разбилась о их каменное упорство. А когда пришел момент, он вместе со всеми вылез из-под земли и — покатился сначала во главе этой же дивизии, потом армии, по пятам противника, беря тысячи пленных и сотни орудий, обгоняя и оставляя у себя в тылу на доделку разрозненные части противника, сегодня одной ногой еще на Дону, а другой уже на Чиру, завтра одной на Чиру, а другой уже на Донце.

И тогда из самой потаенной солдатской гущи выкатилось это круглое сказочное слово «колобок» и прилепилось к нему. И впрямь, он катился, как колобок.

Сережка вышел к своим в те переломные дни середины

января, когда развертывалось колоссальное наступательное движение Воронежского, Юго-Западного, Донского, Южного, Северо-Кавказского, Закавказского, Волховского и Ленинградского фронтов, приведшее к окончательному разгрому и пленению немецко-фашистских войск, окруженных под Сталинградом, к прорыву более чем двухлетней ленинградской блокады и к освобождению за полтора лишь месяца таких городов, как Воронеж, Курск, Харьков, Краснодар, Ростов, Новочеркасск, Ворошиловград.

Сережка вышел к своим как раз в те дни января, когда началось новое мощное танковое наступление на немецкие оборонительные укрепления по линии рек Деркул, Айдар, Оскол — северных притоков Донца,— когда на участке железной дороги Каменск — Кантемировка ликвидировано было последнее сопротивление немецкого гарнизона в осажденном Миллерове, а за два дня до этого занята станция Глубокая и наши части готовились форсировать Северный Донец.

В то время, когда командир дивизии беседовал с Сережкой, командующий армией еще спал. Как и все командующие, он все самое важное, имеющее отношение собственно к командованию, подготавливал и проделывал ночью, когда люди, не имеющие отношения к этим вопросам, не мешали ему и он был свободен от повседневной текучки армейской жизни. Но старший сержант Мишин, ростом с Петра Великого, Мишин, который при генерале, командующем армией, занимал то же место, что сержант Федоренко при генерале, командире дивизии, уже посматривал на дареные трофейные часы на руке — не пора ли будить.

Командующий всегда недосыпал, а сегодня он должен был встать раньше обычного. По стечению обстоятельств, столь нередких на войне, дивизии, которая в июле под его командованием обороняла Каменск, предстояло теперь взять этот город. Правда, в ней уже мало было «стариков». Ее командир, недавно произведенный в генералы, в те дни командовал полком. Таких, как он, «старожилов» еще можно было найти среди офицеров, а среди бойцов их было совсем мало: дивизия на девять десятых состояла из пополнения, влившегося в нее перед наступлением на Среднем Дону.

В последний раз взглянув на часы, старший сержант Мишин подошел к полке, на которой спал генерал. Это была именно полка, так как генералу, который опасался сырости, всегда делали ложе на втором этаже, как в вагоне.

Мишин, как обычно, вначале сильно потряс генерала, спавшего на боку с детским лицом здорового человека с чистой совестью. Но, конечно, это не могло нарушить его богатырского сна, это была только подготовка к тому, что Мишин должен

был проделать в дальнейшем. Он просунул одну свою руку под бок генералу, а другой обнял его сверху, под мышку, и очень легко и бережно, как ребенка, приподнял тяжелое тело генерала в постели.

Генерал, спавший в халате, мгновенно проснулся, и глаза его взглянули на Мишина с такой ясностью, как будто он и не спал.

— Вот и спасибо, — сказал он, с неожиданной легкостью соскочил с полки, пригладил волосы и уселся на табурет, оглядываясь, где парикмахер. Мишин подбросил генералу туфли под ноги.

Парикмахер в огромных юфтовых сапогах и белоснежном переднике поверх гимнастерки уже крутил мыло в отделении блиндажа, где помещалась кухня. Неслышно, как дух, он оказался возле командующего, заправил ему салфетку за ворот халата и зефирными касаниями мгновенно намылил ему лицо с выбившейся за ночь жесткой и темной щетинкой.

Не прошло и четверти часа, как генерал, уже вполне одетый, в застегнутом кителе, массивно сидел у столика и, пока ему подавали завтрак, быстро просматривал бумаги, которые одну за другой, ловко выхватывая их из папки с кожаным верхом и красной суконной изнанкой, подавал адъютант генерала. Первым он подал только поступившее сообщение о взятии нашими Миллерова, но это уже не было новостью для генерала, он знал, что Миллерово обязательно падет ночью или утром. Потом пошли разные повседневные дела.

— Черт их не учил, оставить им этот сахар — раз они уже его захватили!.. Переставить Сафронова с медали «За отвагу» на Боевое Красное Знамя: они там, в дивизии, думают, наверное, что рядовых можно представлять только к медалям, а к орденам только офицеров!.. Еще не расстреляли? Не трибунал, а прямо редакция «Задушевного слова»! Расстрелять немедленно, не то самих под суд отдам!.. Ух, черти его не учили: «Требуется приглашение на замещение...» Я хотя и из солдат, а по-русски нельзя так сказать, право слово. Скажи Клепикову, который подписал это, не читая, пусть прочтет, выправит ошибки синим или красным карандашом и придет ко мне с этой бумагой лично... Нет, нет! Ты мне сегодня подносишь какую-то особенную муру. Все, все подождет,— говорил генерал, очень энергично принимаясь за завтрак.

Командующий уже допивал кофе, когда небольшого роста генерал, ладно скроенный, с большим белым лбом, казавшимся еще больше оттого, что генерал спереди лысел, с аккуратно подстриженными на висках светлыми волосами, спокойный, точный и экономный в движениях, возник с папкой возле стола. Внешность у него была скорее ученого, а не военного.

— Садись, — сказал ему командующий.

Начальник штаба пришел с делами, более важными, чем те, какие подсовывал командующему его адъютант. Но прежде чем приступить к делам, начальник штаба с улыбкой подал генералу московскую газету, самую последнюю, доставленную самолетом в штаб фронта и утром сегодня разосланную по штабам армии.

В газете был очередной список награжденных и повышенных в званиях офицеров и генералов, в том числе некоторых представленных по его армии.

С живым, веселым интересом, присущим военным людям, командующий быстро читал списки вслух и, натыкаясь на фамилии людей, знакомых по академии и по Отечественной войне, поглядывал на начальника штаба то со значительным, то с удивленным, то с сомневающимся, а то и просто с детски сияющим — особенно когда дело касалось его армии — выражением лица.

В списке был уже много раз награжденный командир той дивизии, которой раньше командовал «Колобок» и из которой вышел также теперешний начальник штаба армии. Командир дивизии был награжден за давнишнее дело, но пока это проходило по инстанциям и только теперь попало в печать.

— Вот не вовремя узнает, когда Каменск брать! — сказал командующий. — Еще размагнитится!

— Наоборот, подтянется, — с улыбкой сказал начальник штаба.

— Знаем, знаем все ваши слабости!.. Сегодня буду у него, поздравлю... Чувырину — поздравительную телеграмму. Харченко — тоже. А Куколеву прямо что-нибудь человеческое, понимаешь, не казенное, а что-нибудь ласковое. Рад, рад за него. Я уж думал, не выправится он после этой Вязьмы, — говорил командующий. Вдруг он хитро заулыбался.—Когда ж погоны?

— Везут! — сказал начальник штаба и опять улыбнулся.

Совсем недавно был опубликован приказ о введении в армии для рядового и офицерского состава и для генералов погонов, и это занимало всю армию.

Достаточно было командиру дивизии сказать начальнику своего штаба о приезде командующего, как весть эта мгновенно прошла по всей дивизии. Она дошла даже до тех, кто в это время лежал в мокрой каше из снега и грязи на открытой степной стороне Донца, откуда виден был крутой правый берег реки и здания города Каменска, дымившиеся во многих местах, и силуэты наших штурмовиков, бомбивших в тумане город.

Когда командующий еще на машине подъезжал ко второму эшелону дивизии, где встретил его сам командир, а потом они вместе пешком прошли на командный пункт, — по всему пути

его следования как бы невзначай возникали одиночные фигуры и целые группы бойцов и офицеров, и всем хотелось не только увидеть его, но чтобы и он их увидел. Все с особенным шиком и удальством щелкали каблуками, и на всех лицах было выражение старания или приветливой улыбки.

— Признавайтесь, час тому назад влезли в блиндаж, черт вас не учил, еще стены не пропотели! — сказал командующий, мгновенно разоблачив маневр командира дивизии.

— Так точно, два часа назад. Больше не вылезем, пока Каменск не возьмем, — говорил командир дивизии, почтительно стоя перед командующим, с хитрым выражением в глазах и со спокойной, уверенной складкой в нижней части лица, говорившей: «Я у себя в дивизии хозяин и знаю, за что ты будешь ругать меня всерьез, а это так, пустяки».

Командующий поздравил его с награждением. И командир дивизии, воспользовавшись подходящим моментом, сказал как бы небрежно:

— Пока до дела не дошли... здесь поблизости банька в деревне уцелела, топим. Тоже, поди, давно не мылись, товарищ генерал?

— Ну-у?.. — сказал генерал очень серьезно. — А готова?

— Федоренко!

Выяснилось, что баня будет готова только к вечеру. Командир дивизии наградил Федоренко таким взглядом, что было понятно: будет ему за это!

— Вечером... — Командующий подумал, нельзя ли то-то передвинуть, а то-то отменить, но вдруг вспомнил, что по дороге сюда вклинилось еще то-то. — Придется в другой раз, — сказал он.

Командир дивизии по совету начальника штаба армии, который считался во всей армии непререкаемым военным авторитетом, разработал свой план захвата Каменска и начал излагать этот план командующему. Командующий послушал и стал проявлять признаки недовольства.

— Тут же какой треугольник: река, железная дорога, окраина города — это же все укреплено...

— Я высказал те же сомнения, но Иван Иванович справедливо заметил...

Иван Иваныч был начальником штаба армии.

— Ты форсируешь ее, а потом тебе некуда расшириться по фронту. Они все время будут избивать тебя на подходе, — говорил командующий, тактично обходя вопрос об Иване Ивановиче.

Но командир дивизии понимал, что его позицию укрепляет авторитет Ивана Ивановича, и он снова сказал:

— Иван Иванович говорит, что они не могут ждать лобового удара отсюда, примут за демонстрацию, и данные разведки нашей это подтверждают.

— Только вы ворветесь отсюда в город, как они начнут поливать вас вдоль по улицам и отсюда, с вокзала..

— Иван Иванович...

Командующий понял, что они не сдвинутся с места, пока он не устранит препятствие в лице Ивана Ивановича, и он сказал:

— Иван Иванович ошибся.

После того он в довольно мягких выражениях, ловкими круглыми движениями широкой кисти с короткими пальцами показал по карте и по воображаемой местности план обхода и штурма города с совершенно другого направления.

Командир дивизии вспомнил о мальчишке, который утром перешел фронт из окрестностей города, со стороны которых командующий наметил направление главного удара. И вдруг план штурма города сам собою очень легко и свободно улегся в его голове.

К ночи все главное и решающее было закончено в штабе дивизии и передано полкам. И командиры пошли в баньку, случайно уцелевшую в соседней бывшей деревушке.

А в пять часов утра командир дивизии и его заместитель по политической части выехали в полки — проверить их готовность.

В блиндаже майора Кононенко, командира полка, не спали всю ночь, потому что всю ночь отдавались приказания и разъяснения от все бо́льших ко все меньшим командирам, применительно к их маленьким, частным, а на деле главным и решающим задачам.

Несмотря на то, что все уже было приказано и разъяснено, командир дивизии с необыкновенной методичностью и терпением еще раз повторил то, что уже было сказано накануне, и проверил, что сделано майором Кононенко.

И майор Кононенко, молодой командир, типичный военный-труженик, с выбивающимся из-под ворота гимнастерки свитером, в стеганом ватнике и ватных штанах, без шинели, чтобы легче было двигаться, с отважным, худым, энергичным лицом и тихим голосом, так же терпеливо и не очень внимательно, потому что он все это уже знал, выслушал командира и отрапортовал, что́ он уже сделал.

Это был полк, в который попал Сережка. Он прошел обратно всю лестницу от штаба дивизии до командира роты, получил автомат и две гранаты и был зачислен в штурмовую группу, которая должна была первой ворваться на разъезд возле Каменска.

В течение последних дней над всей окружающей Каменск холмистой, в редких кустарниках, открытой местностью крутила теплая метель. Потом ветер с юга нагнал туман. Снег, на открытых местах еще не глубокий, начал таять, развезло поля и дороги.

Села и хутора по обоим берегам Донца были сильно разбиты бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Бойцы расположились в старых блиндажах и землянках, в палатках и просто под открытым небом, не разводя костров.

Весь день накануне штурма им виден был в тумане расположенный по ту сторону реки довольно большой город с пустынными пересеченными улицами и возвышающимися над крышами жилых домов станционной водокачкой, уцелевшими кое-где трубами заводов и разбитыми колокольнями церквей. Простым глазом можно было видеть на холмах перед городом и по окраинам его немецкие дзоты.

Сложное чувство владеет советским человеком, одетым в солдатскую шинель, перед сражением за освобождение такого вот населенного пункта. Чувство нравственного подъема оттого, что он, человек в шинели, наступает, освобождает свое, кровное. Чувство жалости к городу и к жителям его, к матерям и малым детишкам, попрятавшимся в холодные подвалы, мокрые щели. Ожесточение на противника, который — это известно по опыту — будет сопротивляться с удвоенной, утроенной силой от сознания своих преступлений и предстоящей расплаты. Чувство невольной душевной заминки от понимания, что смерть грозит и задача трудна. А сколько сердец сжимается от естественного чувства страха!

Но ни один из бойцов не проявлял этих чувств, все были возбужденно веселы и грубовато шутили.

— Колобок, раз уж он взялся, он вкатится, — говорили бойцы так, точно и впрямь не им самим, а сказочному колобку предстояло вкатиться в этот город.

Штурмовой группой, в которую попал Сережка, командовал тот самый сержант, к кому он вышел, перейдя линию фронта, — маленький, подвижной, веселый человек, с лицом, испещренным множеством мелких морщинок, и с большими глазами, синими, но такими искристыми, что казалось, будто они беспрерывно меняют цвет. Фамилия его была Каюткин.

— Так ты из Краснодона? — переспросил сержант с выражением одновременно и радости и как бы даже недоверия.

— Бывал, что ли? — спросил Сережка.

— У меня был друг — девушка оттуда,— сказал Каюткин, немного пригрустнув,— да она эвакуировалась. Я с ней в дороге и познакомился. Очень хорошая девушка... Проходил я че-

рез Краснодон, — сказал он, помолчав. — И Каменск я оборонял. Все, кто обороняли, тот погиб, тот в плену, а я вот снова тут. Слыхал стишки?

И он прочел с серьезным лицом:

Был задет не раз в атаке, —
Зажило, чуть видны знаки.
Трижды был я окружен,
Трижды — вот он! — вышел вон.

И хоть было беспокойно,
Оставался невредим
Под косым и под трехслойным,
Под навесным и прямым...

И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был «рассеян» я частично
И частично «истреблен»...

— Про таких, как я, сложены,— сказал Каюткин, посмеялся и подмигнул Сережке.

Так прошел день и наступила ночь. В то время, когда командир дивизии повторял майору Кононенко его задачу, бойцы, которым предстояло решить эту задачу, спали. Спал и Сережка.

В шесть часов утра их разбудили дневальные. Бойцы выпили по чарке водки, съели по полкотелка мясного супа, засыпанного крупой, и по доброй порции пшенной каши. И под прикрытием тумана, ложбинками и кустарниками, стали накапливаться на исходных для атаки рубежах.

Под ногами передвигавшихся группами бойцов образовалась грязная кашица из мокрого снега и глины. Метрах в двухстах уже ничего не было видно. Загудели тяжелые пушки, а последние группы бойцов еще подтягивались к берегу Донца и залегали в этой мокрой каше.

Орудия били размеренно, методически, но их было так много, что звуки выстрелов и разрывов снарядов сливались в непрерывный гул.

Сережка лежал рядом с Каюткиным и видел перелетающие в тумане через реку, справа от них и прямо над ними, то круглые, то с огненными хвостами красные шары, слышал их скользящий шелест, резкие разрывы на той стороне и гул дальних разрывов в городе, и эти звуки возбуждающе действовали на него, как и на его товарищей.

Немцы только подбрасывали мины в места, где они предполагали скопление пехоты. Иногда из города отвечал шестиствольный миномет. И Каюткин с некоторой опаской говорил:

— Ишь, заскрипел...

И вдруг издалека, из-за спины Сережки, накатились громовые гулы. Они все нарастали, распространялись по горизонту. И над головами залегших на берегу бойцов загудело, запело, и страшные огненные разрывы, окутываемые густым черным дымом, закрыли весь противоположный берег.

— Катюши заиграли, — сказал Каюткин, весь подобрался, и его лицо, испещренное морщинками, приобрело ожесточенное выражение. — Сейчас Иван-долбай еще даст, тогда уж...

И еще не смолкли гулы позади них, и еще продолжались разрывы на том берегу, когда Сережка, не слышавший, была ли какая-нибудь команда или нет, а только увидевший, что Каюткин высунулся вперед и побежал, тоже выскочил из окопчика и побежал на лед.

Они бежали по льду, казалось, в абсолютной тишине. На деле по ним били с того берега, и люди падали на льду. Черный дым и серный запах волнами накатывались на бегущих сквозь движущуюся массу тумана. Но ощущение того, что все вышло правильно и все будет хорошо, уже владело всеми бойцами.

Сережка, оглушенный этой внезапно наступившей тишиной, пришел в себя, когда уже лежал рядом с Каюткиным на том берегу в воронке развороченной дымящейся земли. Каюткин со страшным лицом бил во что-то прямо перед собой из автомата, и Сережка увидел не далее как шагах в пятидесяти от них высунувшийся из полузасыпанной щели сотрясающийся хобот пулемета и тоже стал бить в эту щель. Пулемет не видел ни Сережки, ни Каюткина, а видел что-то более дальнее, и мгновенно захлебнулся.

Город был далеко справа от них, по ним уже почти не стреляли, и они все дальше и дальше отходили от берега в глубь степи. Спустя уже много времени на степь, по всему направлению их движения, стали ложиться снаряды, посылаемые из города.

У невидных в тумане, но хорошо знакомых Сережке хуторков их снова встретил сильный огонь пулеметов и автоматов. Они залегли и лежали так довольно долго, пока их не нагнали легкие пушки, которые почти в упор стали бить по хуторкам. В конце концов группы бойцов ворвались на хуторки вместе с этими пушками, которые катили и катили перед собой рослые, веселые и подвыпившие артиллеристы. Здесь сразу же появился командир батальона, и связисты уже тянули провод в подвал разбитого каменного домика.

Так все шло хорошо до этого продвижения к разъезду, конечной цели их маленькой, частной операции. Если бы у них были танки, они давно были бы уже на этом разъезде, но

танки на этот раз не были пущены в дело, потому что их не выдерживал лед на Донце.

Теперь бойцы наступали в полной темноте. Командир батальона, который лично возглавлял эту операцию, как только противник открыл огонь, вынужден был пойти в атаку с теми группами, которые были у него под рукой, а главные силы были еще на подходе. Бойцы ворвались на этот хутор, группа Каюткина проникла довольно глубоко по улице и завязала бой за здание школы.

Огонь из школы открылся такой сильный, что Сережка перестал стрелять и уткнул лицо в кашу из грязи. Пуля прожгла ему левую руку повыше локтя, но кость была не тронута, и сгоряча он не почувствовал боли. А когда он решился наконец поднять голову, никого уже не было возле него.

Вернее всего было бы предположить, что товарищи его, не выдержав огня, отошли на окраину к своим. Но Сережка был еще неопытен, ему показалось, что все товарищи его убиты, и ужас вошел в его сердце. Он отполз за угол домика и стал прислушиваться. Двое немцев пробежали мимо него. Он слышал немецкие голоса уже и справа, и слева, и позади. Стрельба здесь смолкла, она все усиливалась на окраине, а потом и там стала стихать.

Далеко над городом, окрашивая не небо, а сгустившиеся черные клубы дыма, колыхалось огромное зарево, и оттуда доносился стозвучный рев.

Раненый Сережка один лежал в холодной каше из снега и грязи на хуторе, занятом немцами.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Друг мой! Друг мой!.. Я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о тебе...

Если бы ты знал, какое волнение овладевало мной в те далекие дни детства, когда мы ездили с тобой учиться в город! Более пятидесяти верст разделяло нас, и, выезжая из дому, я так боялся, что не застану тебя, что ты уже уехал, — ведь мы не виделись целое лето!

Одна возможность такого горя невыразимой тоской сжимала мне сердце в тот час ночи, когда я за спиной у отца въезжал на подводе в ваше село и притомившийся конь так медленно брел по улице. Еще не доезжая вашей избы, я соскакивал с телеги, я знал, что ты всегда спишь на сеновале и уж если тебя там нет, значит, тебя нет... Но разве был хоть один случай, чтобы ты не дождался меня, — я знаю, ты готов был

бы запоздать в школу, лишь бы не оставить меня одного... Мы уже не смыкали глаз до рассвета, мы сидели, свесив босые ноги с сеновала, и все говорили, говорили и прыскали в ладони так, что куры на насесте встряхивали крыльями. Пахло сеном, осеннее солнце, выглянув из-за леса, вдруг освещало наши лица, и только тогда мы могли видеть, как мы изменились за лето...

Я помню, как однажды мы, юноши, стояли в реке по колено в зеленой воде, с подвернутыми штанами, и ты мне признался, что ты влюблен... Скажу откровенно, она мне не нравилась, но я сказал тебе:

— Ты влюблен, не я! Будь же ты счастлив!..

И ты засмеялся и сказал:

— В самом деле, можно даже порвать отношения, чтобы удержать человека от дурного поступка, но разве можно дать совет в любви? Как часто самые близкие люди вмешиваются со своим опекунством в дела любви, сводят, разводят, передают дурное, что слышат о любимом тобой человеке... Если бы они знали, сколько они причиняют этим зла, сколько отравляют чистых минут, которые не повторятся никогда в жизни!..

Еще я помню, когда пришел этот, я не хочу называть его имени, этот Н. и стал беспечно, с насмешливой улыбкой болтать о своих друзьях: «Этот по уши влюблен в такую-то, он просто пресмыкается перед нею, а у нее грязные ногти,—только это между нами... А этот, вы знаете, вчера так напился в гостях, его даже рвало, — только это между нами... А такой-то ходит в потасканной одежде, притворяется бедным, а на самом деле он просто скуп, я это точно знаю,— он не стыдится пить пиво на чужой счёт, — только это между нами...»

Ты посмотрел на него и сказал:

— Вот что, Н., уйди отсюда вон да только поскорее...

— Как вон? — удивился Н.

— А просто вон... Что может быть презреннее человека, который ничего не может рассказать о лице своего товарища, потому что всегда смотрит на него сзади? И что может быть презреннее юноши-сплетника?..

С каким восхищением смотрел я на тебя! Я думал точно так же, но, может быть, я не смог бы поступить так резко...

Но лучше всего сохранилось в моей памяти то лето, когда вдали от тебя я понял, что у меня нет другого пути, как вступить в комсомол...

И вот мы, как всегда, встретились осенью все на том же сеновале, и я почувствовал с твоей стороны какую-то неловкость и отчужденность, и я сам испытывал это по отношению к тебе. Мы, как в детстве, сидели, свесив босые ноги, и молчали. Потом ты сказал:

— Может быть, ты не поймешь меня и даже осудишь за то, что я решил так, не посоветовавшись с тобой, но я, живя тут один летом, понял, что иного пути у меня нет. Ты знаешь, я решил вступить в комсомол...

— Но у тебя появятся новые обязанности и новые друзья, а как же я? — сказал я, чтобы испытать нашу дружбу.

— Да, — грустно ответил ты, — это, конечно, так и будет. Я, конечно, понимаю, что это дело совести, но как было бы хорошо, если бы ты тоже вступил в комсомол!

И я уже больше не мог терзать тебя: мы прямо посмотрели в глаза друг другу и засмеялись.

Может быть, никогда уже не было у нас такого счастливого разговора, как в этот последний раз, на твоем сеновале, с этими курами на насесте и солнцем, которое выглянуло из-за осин, когда мы поклялись, что никогда уже не свернем с пути, на который вступили, и всегда будем верны нашей дружбе...

Дружба! Сколько людей на свете произносят это слово, подразумевая под ним приятную беседу за бутылкой вина и снисхождение к слабостям друг друга! А какое это отношение имеет к дружбе?

Нет, мы дрались по всякому поводу, мы совсем не щадили самолюбия друг друга, — да, если мы были несогласны, мы наносили друг другу раны! А дружба наша от этого только крепла, она мужала, она точно наливалась тяжестью металла...

Я так часто бывал несправедлив к тебе, но, если я сознавал, что ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, это то, что я был неправ. А ты говорил:

— Не мучайся, — это бесполезно... Если ты все понял, забудь, то ли бывает, — это борьба...

А потом ты ухаживал за мной лучше, чем самая добрая из добрых госпитальных сестер, и, может быть, даже лучше, чем мать, потому что ты был грубоватый, несентиментальный юноша...

А теперь мне придется рассказать, как я потерял тебя, — это было так давно, а мне кажется, что это было не в ту войну, а в эту... Я тащил тебя через камыши от озера, и кровь твоя текла мне на руки, и солнце пекло невыносимо, и там, на берегу, наверно, уже не осталось никого в живых, такой огонь был направлен на эту поросшую камышом узкую полоску земли. Я тащил тебя, потому что я не мог представить себе, что ты можешь не жить... И вот ты лежал на камышовой подстилке, ты был в памяти, только губы у тебя были совсем сухие, и ты сказал:

— Пить... Дай мне немножко попить...

Но здесь уже не было воды, и у нас не было ни кружки, ни котелка, ни фляжки, а то бы я сходил обратно к озеру. Тогда ты сказал:

— Сними с меня осторожно сапоги, они у меня еще совсем крепкие.

И я понял твою мысль. Я снял с тебя большой солдатский сапог, истоптавший столько дорог,— мы столько дней были на походе, не меняли портянок, но я пошел с этим сапогом к озеру, а потом пополз, — я сам хотел пить невыносимо. Конечно, нельзя было и мечтать, чтобы я сам успел напиться под таким огнем, — это было чудо, что мне удалось хоть зачерпнуть в сапог воды и доползти обратно.

Но когда я дополз до тебя, ты был уже мертв. Лицо у тебя было очень спокойное. Я впервые увидел, какой ты большой,— недаром нас так часто путали. Слезы хлынули у меня из глаз. Невыносимо хотелось пить, и я припал к твоему сапогу, к этой горькой чаше нашей солдатской дружбы, и, плача, выпил ее до дна...

Не чувствуя ни холода, ни страха, изнуренная, намерзшаяся, голодная, как волчица, бродила Валя вдоль фронта от хутора к хутору, ночуя иногда просто в степи. И волны отступавших немцев, после каждой новой передвижки фронта, заставляли и ее подаваться все ближе к родным местам.

Она бродила день, два, неделю, бродила, сама не зная зачем. Может быть, она надеялась еще перейти фронт, а потом сама поверила в то, чем обманула Сережку: а почему бы и в самом деле ему не прийти сюда с какой-нибудь частью Красной Армии? Он сказал: «Я обязательно приду». А он всегда выполнял то, что обещал.

В ночь, когда завязался бой в самом Каменске и огромное зарево на клубах черного дыма видно было на десятки верст окрест, Валя нашла приют на хуторе километрах в пятнадцати от Каменска. На хуторе не было немцев, и Валя, как и большинство жителей, не спала всю ночь, глядя на зарево. Что-то заставляло ее ждать, ждать...

Часов около одиннадцати дня на хуторе стало известно, что части Красной Армии ворвались в Каменск, и бой идет в самом городе, и немцы вытеснены уже из большей части города. Сейчас сюда хлынет самый страшный из врагов — враг, побитый в бою... Валя снова взяла свой мешок, в который хозяйка из жалости бросила горбушку хлеба, и вышла из хутора...

Она шла, сама не зная куда. Все продолжалась оттепель, но ветер уже изменил направление, стал холоднее, туман сошел, и снежные тучи, лишенные резких очертаний, затянули

все небо. Валя остановилась посреди дороги и стояла долго-долго, худая, с этим мешком за плечами, и ветер теребил мокрый, выбившийся из-под берета завиток ее волос. Потом она медленно побрела расплывшимся в снежной воде проселком в сторону Краснодона.

В это время Сережка с отвисшей рукой в окровавленном рукаве, без оружия, стучался в оконце крайней хаты с другого конца хутора.

Нет, судьба не судила ему погибнуть на этот раз... Он долго лежал в грязном, мокром снегу, посреди того хутора у разъезда, пока не угомонились немцы. Нельзя было надеяться, что свои вновь ворвутся на хутор этой ночью. Надо было уходить, уходить в сторону от фронта. Он был в штатском, оружие можно было оставить здесь. Не впервой ему пробираться сквозь вражеское расположение!

Стояла неясная предутренняя муть, когда он с трудом, волоча раненую руку, переполз железную дорогу. В такой час в избе уже встает добрая хозяйка и зажигает светец до рассвета. Но добрые хозяйки сидели в подвалах со своими детишками.

Сережка отполз от железной дороги метров сто, потом встал и пошел. Так он добрел до этого хутора.

Девушка с русой косою, только что принесшая воду в ведре, сделала ему перевязку, распоров что-то из старья, замыла окровавленный рукав и затерла золой. Хозяева так боялись, что вот-вот нагрянут немцы, даже не накормили Сережку горячим, а только дали ему кое-что с собой.

И Сережка, не спавший всю ночь, пошел по хуторам вдоль фронта — искать Валю.

Как это часто бывает в донецкой степи, погода опять переломилась на зиму. Повалил снег, он уже не таял. Потом ударил мороз. В последних числах января Феня, сестра Сережки, жившая своей отдельной семьей, пришла как-то с рынка и застала дверь запертой.

— Мама, ты одна? — спросил из-за двери ее старший сынишка.

Сережка сидел у стола, облокотившись одной рукой, другая висела. Он всегда был худ, а теперь и вовсе спал с лица, ссутулился, только глаза его встретили сестру с прежним, живым и деятельным выражением.

Феня рассказала ему об аресте в Центральных мастерских и о том, что бо̀льшая часть «Молодой гвардии» в тюрьме. Она знала уже от Марины и об аресте Кошевого. Сережка сидел молча, глаза его страшно блестели. Через некоторое время он сказал:

— Я уйду, не бойся...

Он чувствовал, что Феня беспокоится и за него и за своих детей.

Сестра сделала ему перевязку. Переодела его в женское платье, а то, что было на нем, сложила в узелок и в сумерках проводила его домой.

Отца после лишений, перенесенных в тюрьме, так скрючило, что он почти все время лежал в постели. Мать еще крепилась. Сестер не было — ни Даши, ни любимой Нади: они тоже ушли куда-то в сторону фронта.

Сережка стал расспрашивать: не слыхали ли, где Валя Борц?

За это время родители «молодогвардейцев» сблизились между собой, но Мария Андреевна ничего не говорила матери Сережки о своей дочери.

— А там ее нет? — мрачно спросил Сережка.

Нет, в тюрьме Вали не было: это они знали наверное.

Сережка разделся и впервые за целый месяц лег в чистую постель, в свою постель.

Коптилка горела на столе. Все было такое же, как во времена его детства, но он ничего не видел. Отец, лежа в соседней горенке, кашлял так, что стены тряслись. А Сережке казалось, что в горенке неестественно тихо: не было привычной возни сестер. Только маленький племянник ползал в горенке у «деда» по земляному полу и лепетал про что-то свое.

Мать вышла по хозяйству. В горенку «деда» вошла соседка, молодая женщина. Она заходила почти каждый день, а родители Сережки по своей душевной наивности и чистоте никогда не задумывались над тем, почему она так зачастила к ним. Соседка зашла и разговорилась с «дедом».

Ребенок, ползавший по полу, подобрал что-то и пополз в горницу к Сережке, лепеча:

— Дядя... дядя...

Женщина мельком заглянула в горницу, увидела Сережку, потом еще поговорила с «дедом» и ушла.

Сережка свернулся на койке и затих.

Мать и отец уже спали. Темно и тихо было в доме, а Сережка все не спал, томимый тоскою...

Вдруг сильный стук раздался в дверь со двора:

— Отворяй!..

Еще секунду тому назад казалось, что та неугомонная сила жизни, которая вела его через все испытания, уже навсегда оставила его, казалось, он был сломлен. Но в то же мгновение, как раздался этот стук, тело его сразу стало гибким и ловким, и, бесшумно выскочив из постели, он подбежал к оконцу и чуть приподнял уголок затемнения. Все было бело вокруг. Все было залито ровным сиянием луны. Не только фигура немец-

кого солдата с автоматом на изготовку, стоявшего у окна, даже тень солдата были словно вырезаны на снегу.

Мать и отец проснулись, испуганно переговорили спросонья и притихли, прислушиваясь к ударам в дверь. Сережка одной рукой, как он уже привык, надел штаны, рубаху, обулся, только не смог завязать кожаные шнуры красноармейских ботинок, выданных ему в дивизии, и вышел в горницу, где спали мать и отец.

— Откройте кто-нибудь, света не зажигайте,— тихо сказал он.

Мазанка, казалось, вот-вот рассыплется от ударов.

Мать заметалась по комнате, она совсем потеряла себя.

Отец тихо встал с постели, и по его молчаливым движениям Сережка чувствовал, как старику тяжело двигаться, как ему тяжело все это.

— Нечего делать, придется открывать, — сказал отец странным тонким голосом.

Сережка понял, что отец плачет.

Отец, стуча клюшкой, вышел в сени и сказал:

— Сейчас, сейчас...

Сережка неслышно выскользнул за отцом.

Мать грузно выбежала в сени и что-то там тронула металлическое, и вроде пахнуло морозным воздухом. Отец открыл наружную дверь и, придерживая ее, отступил в сторону.

Три темные фигуры, одна за другой, вошли в сени из прямоугольника лунного света. Последний из вошедших прикрыл за собой дверь, и сени осветились прожектором сильного электрического фонаря. Луч упал сначала на мать, которая стояла в глубине, у двери, ведущей из сеней в пристройку — сарай для коровы. Сережка из своего темного угла увидел, что крючок на двери в сарай откинут и дверь полуоткрыта, и понял, что мать это сделала для него. Но в это мгновение свет прожектора упал на отца и на Сережку, спрятавшегося за его спиной: Сережка не думал, что они осветят сени фонарем, и надеялся выскользнуть во двор, когда они пройдут в горницу.

Двое схватили его за руки. Сережка вскрикнул, такою болью отозвалась раненая рука. Его втащили в горницу.

— Зажги свет! Чего стоишь, как молодая роза! — закричал Соликовский на мать.

Мать трясущимися руками долго не могла зажечь коптилку, и Соликовский сам чиркнул зажигалку. Сережку держали солдат-эсэсовец и Фенбонг.

Мать, увидев их, зарыдала и упала в ноги. Большая, грузная, она ползла, перебирая по земляному полу круглыми, старческими руками. Старик стоял, согнувшись до земли, опершись на клюку, и его всего трясло.

Соликовский произвел поверхностный обыск,— они уже не раз обыскивали квартиру Тюлениных. Солдат вытащил из кармана штанов веревку и стал скручивать Сережке руки позади.

— Сын один... пожалейте... возьмите все, корову, одежду.

Бог знает, что она говорила... Сережке так до слез было жаль ее, что он боялся сказать хоть что-нибудь, чтобы не расплакаться.

— Веди, — сказал Фенбонг солдату.

Мать мешала ему, и он брезгливо отодвинул ее ногою.

Солдат, подталкивая Сережку, пошел вперед, Фенбонг и Соликовский за ним. Сережка обернулся и сказал:

— Прощай, мама... Прощай, мой отец...

Мать кинулась на Фенбонга и стала бить его своими все еще сильными руками, крича:

— Душегубцы, вас убить мало! Обождите, вот придут наши!..

— Ах ты... опять туда же захотела! — взревел Соликовский и, несмотря на хриплые срывающиеся просьбы «деда», поволок Александру Васильевну в старом платье-капоте, в каком она всегда спала, на улицу. «Дед» едва успел выбросить ей пальто и платок.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Сережка молчал, когда его били, молчал, когда Фенбонг, скрутив ему руки назад, вздернул его на дыбу, молчал, несмотря на страшную боль в раненой руке. И только когда Фенбонг проткнул ему рану шомполом, Сережка заскрипел зубами.

Все же он был поразительно живуч. Его бросили в одиночную камеру, и он тотчас же стал выстукивать в обе стороны, узнавая соседей. Поднявшись на цыпочки, он обследовал щель под потолком,—нельзя ли как-нибудь расширить ее, выломать доску и выскользнуть хотя бы во двор тюрьмы: он был уверен, что уйдет отовсюду, если вырвется из-под замка. Он сидел и вспоминал, как расположены окна в помещении, где его допрашивали и мучили, и на замке ли та дверь, что вела из коридора во двор. Ах, если бы не раненая рука!.. Нет, он не считал еще, что все потеряно. В эти ясные морозные ночи гул артиллерии на Донце слышен был даже в камерах.

Наутро сделали очную ставку ему и Витьке Лукьянченко.

— Нет... слыхал, что живет рядом, а никогда не видал,— говорил Витька Лукьянченко, глядя мимо Сережки темными

бархатными глазами, которые только одни и жили на его лице.

Сережка молчал.

Потом Витьку Лукьянченко увели, и через несколько минут в камеру, в сопровождении Соликовского, вошла мать.

Они сорвали одежды со старой женщины, матери одиннадцати детей, швырнули ее на окровавленный топчан и стали избивать проводами на глазах у ее сына.

Сережка не отворачивался, он смотрел, как бьют его мать, и молчал.

Потом его били на глазах матери, а он все молчал. И даже Фенбонг вышел из себя и, схватив со стола железный ломик, перебил Сережке в локте здоровую руку. Сережка стал весь белый, испарина выступила на его лбу. Он сказал:

— Это — все...

В этот день в тюрьму привезли всю группу арестованных из поселка Краснодон. Большинство из них уже не могло ходить, их волокли по полу, взяв под мышки, и вбрасывали в переполненные и без того камеры. Коля Сумской еще двигался, но один глаз у него был выбит плетью и вытек. Тося Елисеенко, та самая девушка, которая когда-то так жизнерадостно закричала, увидев взвившегося в небо турмана, Тося Елисеенко могла только лежать на животе: перед тем как ее отправить сюда, ее посадили на раскаленную плиту.

И только их привезли, как в камеру к девушкам вошел жандарм за Любкой. Все девушки и сама Любка были уверены, что ее ведут на казнь... Она простилась с девушками, и ее увели.

Но Любку повели не на казнь. По требованию фельдкоменданта области генерал-майора Клера ее увезли в Ровеньки на допрос к нему.

Был день передачи, морозный, тихий, ни дуновения; стук топора, звон ведра у колодца, шаги пешеходов далеко разносились в воздухе, искрившемся от солнца и снега. Елизавета Алексеевна и Людмила — они всегда носили передачу вместе, — связав узелок провизии и захватив подушку, которую Володя просил в последней записке, подходили тропинкой, протоptенной в снегу через пустырь, к продолговатому зданию тюрьмы, которая со своими белыми стенами и снегом на крыше, с теневой стороны отливавшим синевою, сливалась с окружающей местностью.

Обе они, и мать и дочь, так похудели, что еще больше стали походить друг на друга, их можно было принять за сестер. Мать, всегда порывистая и резкая, теперь вовсе казалась сотканной из одних нервных жил.

И уже по звуку голосов женщин, столпившихся у тюрьмы, и по тому, что все женщины были с узелками и не было никакого движения к дверям тюрьмы, Елизавета Алексеевна и Люся почувствовали недоброе. У самого крылечка, не глядя на толпу женщин, стоял, как всегда, немецкий часовой, а на крылечке, на перильцах, сидел «полицай» в желтом полушубке. Но он не принимал передач.

Ни Елизавете Алексеевне, ни Люсе не надо было разглядывать, кто здесь стоит: они встречались здесь каждый день.

Мать Земнухова, маленькая старушка, стояла перед ступенями крыльца, держа перед собой узелок и сверток, и говорила:

— Возьми хоть что-нибудь из продуктов...

— Не нужно. Мы его сами накормим, — говорил полицейский не глядя.

— Он простынку просил...

— Мы дадим ему сегодня хорошую постель...

Елизавета Алексеевна подошла к крыльцу и сказала своим резким голосом:

— Почему передачу не принимаете?

Полицейский молчал, не обращая на нее внимания.

— Нам не к спеху, будем стоять, пока не выйдет кто-нибудь, кто ответит! — сказала Елизавета Алексеевна, оглядываясь на толпу женщин.

Так они стояли, пока не услышали шагов многих людей во дворе тюрьмы и кто-то завозился, отпирая ворота. Женщины всегда пользовались таким случаем, чтобы заглянуть в выходящие на эту сторону окна тюрьмы, — иногда им удавалось даже увидеть своих детей, сидевших в этих камерах. Толпа женщин хлынула на левую сторону ворот. Но из ворот, под командой сержанта Больмана, вышло несколько солдат, и они стали разгонять женщин.

Женщины отбегали и вновь возвращались. Многие начали голосить.

Елизавета Алексеевна и Люся отошли в сторону и молча смотрели на все это.

— Сегодня их казнят, — сказала Люся.

— Нет, я только об одном молю бога, чтобы до самой смерти не сломали ему крыльев, чтобы не дрожал он перед этими псами, чтобы он плевал им в лицо! — говорила Елизавета Алексеевна с низким хриплым клокотаньем в горле и страшным блеском в глазах.

А в это время их дети проходили самые последние и самые страшные из испытаний, выпавших на их долю.

Земнухов, покачиваясь, стоял перед майстером Брюкнером, кровь текла по лицу его, голова бессильно клонилась, но

Ваня все время старался поднять ее и все-таки поднял и в первый раз за эти четыре недели молчания заговорил.

— Что, не можете?.. — сказал он. — Не можете!.. Столько стран захватили... Отказались от чести, совести... а не можете... сил нет у вас...

И он засмеялся.

Поздним вечером двое немецких солдат внесли в камеру Улю с запрокинутым бледным лицом и волочащимися по полу косами и швырнули к стене.

Уля, застонав, перевернулась на живот.

— Лилечка... — сказала она старшей Иванихиной. — Подыми мне кофточку, жжет...

Лиля, сама едва двигавшаяся, но до самой последней минуты ходившая за своими подругами, как няня, осторожно завернула к подмышкам набухшую в крови кофточку, в ужасе отпрянула и заплакала: на спине Ули, окровавленная, горела пятиконечная звезда.

Никогда, пока не сойдет в могилу последнее из этих поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. На десятки километров видно было вокруг по степи. Мороз стоял нестерпимый. На севере по всему протяжению Донца вспыхивали зарницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы больших и малых боев.

Никто из родных не спал в эту ночь. Да и не только родные не спали: все знали, что в эту ночь казнят «молодогвардейцев». Люди сидели у коптилок, а то и в полной темноте в своих нетопленных квартирах и хибарках, а кто выбегал во двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, не донесутся ли голоса, или урчание машин, или выстрелы.

Никто не спал и в камерах, кроме тех, кто находился уже в бесчувственном состоянии. Те из «молодогвардейцев», которых водили на пытки последними, видели, что в тюрьму приехал бургомистр Стаценко. Все знали, что бургомистр приезжает в тюрьму перед казнью, когда нужна его подпись на приговоре...

В камерах тоже слышны были величественные гулы, перекатывавшиеся по Донцу.

Уля, полулежа на боку, прислонившись к стене головой, выстукивала соседям-мальчишкам:

— Ребята, слышите, слышите?.. Крепитесь... Наши идут... Все равно наши идут...

В коридоре послышался топот солдатских ботинок, захлопали двери камер. Заключенных начали выводить в коридор и на улицу не через двор, а прямо через главный вход. Девушки, сидевшие в камере в пальто или в теплых жакетах, помо-

гали друг другу надеть шапки, повязаться платками. Лиля одела лежавшую неподвижно Аню Сопову, а Шура Дубровина — свою любимую подругу Майю. Некоторые из девушек писали последние записки и запрятывали в брошенном белье.

С прошлой передачей Уле передали чистое белье, она начала теперь связывать старое в узелок. Вдруг слезы стали душить ее, она была не в силах совладать с ними и, схватив окровавленное белье и закрыв им лицо, чтобы ее не было слышно, уткнулась в угол камеры и некоторое время так посидела.

Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали в два грузовика. Первым вынесли лишившегося всяких сил и потерявшего рассудок Стаховича и, раскачав, бросили в грузовик. Многие «молодогвардейцы» не могли идти сами. Вынесли Анатолия Попова, у которого была отрублена ступня. Витю Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рагозин и Женя Шепелев. У Володи Осьмухина была отрублена правая рука, но он шел сам. Ваню Земнухова вынесли Толя Орлов и Витя Лукьянченко. За ними, шатаясь, как былинка, шел Сережка Тюленин.

Их посадили в разные грузовики — девушек и юношей.

Солдаты, захлопнув боковые откидные стенки грузовиков, влезли через борта в переполненные машины. Унтер Фенбонг занял место рядом с водителем на переднем грузовике. Машины тронулись. Их везли дорогой через пустырь мимо зданий детской больницы и школы имени Ворошилова. Передней шла машина с девушками. Уля, Саша Бондарева и Лиля запели:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил...

Девушки присоединились к ним. Запели и мальчики на задней машине. Пение их далеко разносилось в морозном неподвижном воздухе.

Грузовики, оставив слева последний дом, выехали на дорогу, ведущую к шахте № 5.

Сережка, сидя прижатый к задней стенке грузовика, жадно вбирал ноздрями морозный воздух... Вот грузовики уже миновали поворот на выселки, скоро они должны были пересечь балку. Нет, Сережка знал, что он не в силах сделать это. Но впереди него, стоя на коленях, ехал Ковалев со связанными за спиной руками. Он был еще силен, недаром ему связали руки. Сережка толкнул его головой. Ковалев обернулся.

— Толька... Сейчас балка...— прошептал Сережка и кивнул головой вбок.

Ковалев, покосившись за плечо себе, пошевелил связанными руками. Сережка припал зубами к узлу, связывавшему

руки Ковалева. Сережка был так слаб, что несколько раз откидывался к стенке грузовика с испариной на лбу. Но он боролся так, как если бы он боролся за свою свободу. И вот узел был развязан. Ковалев, по-прежнему держа руки за спиной, пошевелил ими.

...Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней...—

пели девушки и юноши.

Грузовики съехали в балку, и передний уже взбирался на подъем. Второй, рыча и буксуя, тоже начал въезжать. Ковалев, став ногой на заднюю стенку, спрыгнул и побежал по балке, вспахивая снег.

Прошло первое мгновение растерянности, а грузовик в это время выполз из балки, и Ковалева не стало видно. Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались другие арестованные, начали наугад стрелять из грузовика. Услышав выстрелы, Фенбонг остановил машину и выпрыгнул. Грузовики стали. Фенбонг яростно ругался своим бабьим голосом.

— Ушел!.. Ушел!..— с невыразимой силой торжества кричал Сережка тонким голосом и ругался самыми страшными словами, какие только знал. Но эти ругательства звучали сейчас в устах Сережки, как святое заклятие.

Вот уже виден был косо свалившийся набок после взрыва копер шахты № 5.

Юноши и девушки запели «Интернационал».

Их всех сгрузили в промерзшее помещение бани при шахте и некоторое время продержали тут: поджидали, пока приедут Брюкнер, Балдер и Стаценко. Жандармы начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь.

«Молодогвардейцы» получили возможность проститься друг с другом. И Клава Ковалева смогла сесть рядом с Ваней и положить ему руку на лоб и уже не разлучаться с ним.

Их выводили небольшими партиями и сбрасывали в шурф по одному. И каждый, кто мог, успевал сказать те несколько слов, какие он хотел оставить миру.

Опасаясь, что не все погибнут в шурфе, куда одновременно сбросили несколько десятков тел, немцы спустили на них две вагонетки. Но стон из шахты слышен был еще на протяжении нескольких суток.

Они стояли перед фельдкомендантом Клером, связанные за кисти рук, Филипп Петрович Лютиков и Олег Кошевой. Все время, пока их держали в Ровеньках, они не знали, что сидят в одной тюрьме. Но этим утром их свели и связали вместе и повели на очную ставку в надежде заставить их ука-

зать след всего подполья — не только в районе, а и во всей области.

Зачем они их связали? Они боялись их несвязанных. Враги хотели также показать, что им известно, какую роль играли эти двое в организации.

Седые волосы на голове Филиппа Петровича слиплись в засохшей крови, истерзанная одежда прилипла к ранам на его большом теле, и каждое движение доставляло ему мучительную боль, но он ничем не выдавал этого. Тяжкие муки и голод подсушили тело Филиппа Петровича, и на лице его резче обозначились те черты силы, которые делали его лицо таким приметным в молодости и говорили о великой душевной его мощи. Выражение глаз у него было спокойное и строгое, как всегда.

Олег стоял, бессильно свесив правую перебитую руку, с лицом, почти не изменившимся, только виски у него стали совершенно седые. Большие глаза его из-под темных золотящихся ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда, выражением.

Так стояли они перед фельдкомендантом Клером, народные вожаки — старый и молодой.

И Клер, закосневший в убийствах, потому что ничего другого он не умел делать, подверг их новым страшным испытаниям, но можно сказать, что они уже ничего не чувствовали: дух их парил беспредельно высоко, как только может парить великий творческий дух человека.

Потом их разлучили, и Филипп Петрович был снова отвезен в краснодонскую тюрьму. Дело Центральных мастерских все еще не было доследовано.

Однако товарищи в подполье так и не смогли оказать помощь заключенным, не только потому, что тюрьма сильно охранялась, но и потому, что теперь весь город был переполнен отступающими вражескими войсками.

Филиппа Петровича Лютикова, Николая Баракова и его товарищей постигла та же участь, что и «молодогвардейцев»: их сбросили в шурф шахты № 5.

Олег Кошевой был расстрелян в Ровеньках тридцать первого января днем, и тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в общей яме.

А Любу Шевцову мучили еще до седьмого февраля, все пытаясь добыть у нее шифр и радиопередатчик. Перед расстрелом ей удалось переслать на волю записку матери:

«Прощай, мама, твоя дочь Люба уходит в сырую землю».

Когда Любу вывели на расстрел, она запела одну из самых своих любимых песен:

На широких московских просторах...

Ротенфюрер СС, ведший ее на расстрел, хотел поставить ее на колени и выстрелить в затылок, но Люба не стала на колени и приняла пулю в лицо.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Филипп Петрович, передавая через Полину Георгиевну адрес, которым, он полагал, воспользуются Олег и Ваня Туркенич, из предосторожности не велел говорить им, что это за адрес. Филипп Петрович знал, что Марфа Корниенко, к которой он их направлял, сообщит об их приходе Проценко или жене его. А там уже сумеют использовать руководителей «Молодой гвардии».

То, что Филипп Петрович решился сообщить этот самый потаенный адрес Олегу и Туркеничу, само по себе говорило, насколько он доверял им, ценил их и как тревожился за их судьбу.

Но хотя Полина Георгиевна и не объяснила Олегу, куда Лютиков направляет его и Туркенича, Ваня сразу догадался, что это путь к партизанам.

Среди всех участников «Молодой гвардии» только он и Мошков были уже сформировавшимися, взрослыми людьми. Ваня Туркенич, как и его товарищи, тяжело переживал арест друзей своих. Все силы души его были сосредоточены на том, как их выручить. Но в отличие от товарищей своих Туркенич видел события в их реальном свете. И мысль о помощи друзьям носила у него характер вполне практический.

Наиболее близкий путь к освобождению друзей — это был путь в партизаны. Туркенич знал, что советские войска находятся уже на территории Ворошиловградской области и идут вперед, а в Краснодоне готовится вооруженное выступление. Он нисколько не сомневался, что ему, человеку с военным опытом, дадут отряд или, во всяком случае, дадут возможность сформировать отряд. И Туркенич без колебаний воспользовался адресом, переданным ему Олегом.

Он допускал, что фамилия его уже может быть известна во всех жандармских управлениях и полицейских пунктах, и не рискнул взять с собой документы, подтверждающие его личность. Документов на чужое имя он не имел, и добывать их некогда было. Ваня двинулся в путь, на север, без всяких документов. На левой кисти его руки с детства была вытатуирована заглавная буква его имени. Поэтому имя он себе оставил прежнее, а фамилию придумал — Крапивин.

Положение его было тяжелое. И выправкой своей и просто

по возрасту он никак не подходил к той категории людей, которые могут слоняться с места на место без документов и без дела в немецком тылу, да еще в непосредственной близости от фронта. Объяснения, которые он мог бы дать, попав в руки гестапо или полиции,— скажем, бежал от красных из Ольхового Рога Ростовской области, когда их танки ворвались на хутор, даже документов не успел захватить,— эти объяснения в лучшем случае могли сохранить ему жизнь. Но они, эти объяснения, с неизбежностью обрекали его на тыловые работы в немецких войсках или на угон в Германию.

Ваня шел и днем и ночью, обходя такие населенные пункты, где, по его расчетам, можно было наскочить на полицейских, шел то дорогами, то степью, выбирая более укрытые места. Если он чувствовал, что слишком виден со всех сторон, он днем отлеживался, а ночью шел. Он сильно мерз в сапогах, особенно когда нельзя было двигаться, и почти ничего не ел. Душевные страдания ожесточили его дух. Физически он был так вынослив, как только может быть вынослив русский рабочий, да еще молодой, да еще прошедший школу Отечественной войны.

Так добрался он до Марфы Корниенко.

В деревне, где она жила, даже в ее доме, во всех соседних хуторах — Давыдова, Макарова Яра и других — стояли вражеские войска. По правой стороне Северного Донца так же, как и по левой, возводились мощные оборонительные укрепления. Этот рубеж немецкой обороны настолько отделил северную часть Ворошиловградской области от южной, что связь между Марфой и Иваном Федоровичем стала почти невозможной. А если бы она и была возможна, эта связь, в ней не было теперь надобности. Отряды северных районов области вступили в непосредственное взаимодействие с частями Красной Армии и воевали по указаниям командования этих частей, а не по указаниям Ивана Федоровича. Отряды южных районов, к которым фронт приблизился только в середине февраля, действовали сейчас по обстановке. Проценко, отделенный от них десятками и сотнями километров, не мог учесть этой обстановки и не мог руководить отрядами.

Беловодский отряд, в котором непосредственно находился Иван Федорович, покинул свою базу в селе Городищи, где теперь стояли немцы, и уже не имел постоянной базы, а действовал в тылу немецких войск по указаниям советского командования. Марфа не имела связи ни с Иваном Федоровичем, ни со своим мужем. Она не имела связи и с Корнеем Тихоновичем и вообще ни с кем из Митякинского отряда, тоже покинувшего свою базу: в районе Митякинской стояли немецкие войска и возводились укрепления. К тому времени, когда

Туркенич попал к Марфе, Екатерина Павловна давно уже была в Ворошиловграде, и всякая связь с ней прекратилась.

Самая встреча Марфы и Туркенича смогла состояться только благодаря его находчивости и смелости. И счастье еще, что Марфа поверила ему,— поверила так, без документов, просто на слово: никакой возможности проверить слова Туркенича у нее не было. Она с деланным равнодушием встретила его спокойный, очень серьезный взгляд; ей сразу бросилось в глаза его усталое худое лицо с мужественными складками, исподволь она уловила его военную выправку, скромную манеру держаться и вдруг поверила ему так, как могут верить только женщины-славянки — сразу и без ошибки. Правда, она не сразу показала, что поверила ему, но тут случилось еще одно чудо. После того как она подтвердила, что она действительно Марфа Корниенко, Ваня вспомнил о Гордее Корниенко, об освобождении которого из лагеря военнопленных он знал от тезки своего, Вани Земнухова, и от участников операции, и спросил, не родственник ли это Марфы?

— Ну, нехай родственник,— сказала Марфа с внезапно скользнувшим в ее черных молодых глазах живым выражением.

— Это наши ребята из Молодой гвардии освободили его...— И он рассказал, как это произошло.

Марфа не раз слышала этот рассказ от мужа. И вся благодарность ее женского, материнского сердца, которую она не могла выразить ребятам, освободившим ее мужа, излилась на Ваню Туркенича, излилась не в словах, не в жестах: она просто дала Ване адрес своей родни под Городищами.

— Там фронт блище, дадут вам допомогу через фронт перейти,— сказала она.

Ваня кивнул головой. Через фронт он не стремился, но ему нужны были партизаны, взаимодействующие с нашими частями, и, конечно, он мог найти их скорее всего там, куда его направляла Марфа.

Они разговаривали не в деревне, а в степи за курганом. Уже начинало темнеть. Марфа сказала, что пришлет человека, который проведет его через Донец этой же ночью, и ушла. Из скромности и гордости он не попросил ее принести ему поесть. Но не такова была Марфа, чтобы забыть об этом. Маленький дед — тот самый, с которым Иван Федорович обменялся когда-то одеждой,— принес Ване сухарей в шапке и кусок сала Словоохотливый дед зловещим шепотом пояснил Ване, что не поведет его через Донец, потому что нет такого человека, который рискнул бы сейчас не то чтобы провести партизана, а и сам перейти через реку. Но он, дед, покажет ему путь, где легче и ближе всего перейти Донец.

И Туркенич перешел Донец. Через несколько суток он достиг глухой деревни Чугинки, километрах в тридцати южнее Городищ. Он шел теперь по местности, где часто попадались вражеские укрепления и наблюдались крупные передвижения немецких войск. От местных жителей Ваня узнал, что в Чугинке помещается небольшой полицейский пункт и что через деревню часто проходят отряды то немецкие, то румынские. Ваня узнал также, что Чугинка — самый близкий населенный пункт от занятой нашими деревни Волошино на речке Камышной, неподалеку от ее впадения в реку Деркул. И он решил во что бы то ни стало проникнуть в Чугинку: у местных жителей могли быть связи с нашими войсками.

Здесь ему не повезло: под самой деревней его схватила полиция. Он был приведен в помещение «сельской управы», где происходило не поддающееся изображению — по мерзости человеческого падения — пьянство русских полицейских чинов на немецкой службе.

Туркенича раздели до белья, связали руки и ноги и бросили в подвал с насквозь промерзшими стенками. Ваня был так изнурен походом, всеми переживаниями и этим последним потрясением, что, невзирая на страшный холод, бросавший его в дрожь, заснул на вонючей подстилке, обнаруженной им в углу после того, как он выползал по земляному полу все это гнусное помещение.

Проснулся он от выхлопных звуков машины, со сна показавшихся ему выстрелами. Тут же он услышал взревывание нескольких тяжелых машин, застопоривших на улице за стеной. Пол загрохотал над головой его. Через некоторое время дверь в подвальное помещение открылась, и в свете зимнего утра Ваня увидел входивших в подвал советских автоматчиков в темных ватниках. Сержант впереди навел на Ваню электрический фонарик.

Туркенича освободила наша разведка, ворвавшаяся в деревню на трех трофейных немецких бронемашинах. Кроме полицейских, которые были уже все повязаны, в деревне размещалась еще рота немецких солдат, насчитывавшая всего семь бойцов вместе с офицером и поваром. При появлении немецких бронемашин повар, только что принявшийся за стряпню, не проявил никакого смятения, а даже на всякий случай вытянулся: в машинах могло оказаться начальство. А через несколько минут, будучи уже пленным, он очень охотно показывал, где спит командир роты. Ведя за собой советских автоматчиков, он ступал на цыпочки в чудовищных эрзацваленках из соломы, хитро подмигивал, прикладывал палец к губам и говорил: «Тс-сс!..»

Старший лейтенант, командир разведки, которая по недо-

статку горючего должна была уже возвращаться в свою часть, предложил Туркеничу ехать вместе с ними. Но Ваня отказался. Разговор этот происходил уже в тот час, когда бронемашины были окружены местными жителями, обласкавшими красноармейцев, а теперь умолявшими их не покидать деревни. И тут оказалось, что найдется человек, который их не покинет... Люди? Вот они! Он найдет и еще столько людей, сколько надо будет! Оружие? Дайте ему для начала оружие пленной немецкой роты, остальное он добудет сам! И не откажите связать его с нашими частями на Камышной...

Так положено было начало прогремевшему на всю область партизанскому отряду Ивана Крапивина. Уже через неделю отряд насчитывал свыше сорока бойцов и был вооружен всем современным вооружением, кроме орудий. Отряд базировался на бывшей молочнотоварной ферме в селе Александрове, а оборонял район нескольких деревень в непосредственном тылу немецкого фронта. И до самого прихода наших войск немцы не могли вышибить партизан Ивана Крапивина из этого района.

Но так и не удалось Ване выручить «Молодую гвардию». Фронт стабилизировался на этом участке до двадцатых чисел января. Северный Донец на значительном протяжении был форсирован советскими войсками только в феврале, причем вначале форсировали Донец части, действовавшие значительно выше по реке — в районе Красного Лимана, Изюма, Балаклеи.

Ваня не знал о трагической судьбе большинства своих друзей по «Молодой гвардии». Но чем дальше оттягивалось время похода на Краснодон, тем больше мучилась и страдала душа его. И тем выше, чище, благородней вырастали в глазах его юноши и девушки, вместе с которыми он совершил столько славных дел, которым отдана была лучшая часть его сердца.

Однажды девушки, доярки молочнотоварной фермы, заколебались в выполнении одного его приказа, откровенно сознавшись, что боятся немецких фашистов. Крапивин, он же Ваня Туркенич, вместо того чтобы рассердиться на девушек, с горечью сказал:

— Эх вы, девушки! Разве такие наши девушки?..

И, забыв обо всем, он начал рассказывать девушкам про Улю Громову, про Любу Шевцову и их подруг. Девушки замерли, пристыженные и в то же время завороженные внезапным счастливым блеском его глаз. Вдруг Ваня осекся, махнул обеими руками и ушел, не договорив.

Только в феврале Туркенич, влившийся со своим отрядом в регулярную часть Красной Армии, в рядах этой части, с боями форсировавшей Северный Донец, подошел к Краснодону.

Жители Краснодона пережили за это время все бедствия, какие несла с собой бегущая германская армия. Отступающие части СС грабили и сгоняли со своих мест жителей, взрывали в городе и по всему району шахты и предприятия и все крупные здания.

Люба Шевцова не дожила неделю до того, как Красная Армия вошла в Краснодон и в Ворошиловград. Пятнадцатого февраля советские танки ворвались в Краснодон, и сразу вслед за ними вернулась в город советская власть.

В течение многих и долгих дней, при огромном стечении народа, шахтеры извлекали из шурфа шахты № 5 тела погибших большевиков и «молодогвардейцев». И в течение всех этих дней не отходили матери и жены погибших от ствола шахты, принимая на руки изуродованные тела своих детей и мужей.

Елена Николаевна ушла в Ровеньки еще в те дни, когда Олег был жив. Но она не смогла ничего сделать для сына, и он не знал, что мать находится вблизи от него.

Теперь в присутствии матери Олега и всех его родных жители города Ровеньки извлекли из ям тела Олега и Любы Шевцовой.

Трудно было узнать в маленькой постаревшей женщине с темными ввалившимися щеками, с глазами, выражавшими то глубокое страдание, какое с особенной силой поражает цельные натуры,— трудно было узнать в ней прежнюю Елену Николаевну Кошевую. Но то, что она все эти месяцы была помощницей сына, а особенно гибель его, обрекшая ее на эти страдания, раскрыли в ней такие душевные силы, которые подняли ее над ее личным горем. Словно спала завеса будней, скрывавшая от нее большой мир человеческих борений, усилий и страстей. Она вошла в этот мир вслед за сыном, и перед ней открылась большая дорога общественного служения.

В эти дни раскрылись подробности еще одного преступления немцев: была разрыта в парке могила шахтеров. Когда их начали отрывать, они так и стояли в земле: сначала обнажились головы, потом плечи, туловища, руки. Среди них были обнаружены трупы Валько, Шульги, Петрова и женщины с ребенком на руках.

И «молодогвардейцев» и взрослых, извлеченных из шурфа шахты № 5, похоронили в двух братских могилах в парке.

В похоронах участвовали все оставшиеся в живых члены краснодонской подпольной организации большевиков и члены «Молодой гвардии»: Иван Туркенич, Валя Борц, Жора Арутюнянц, Оля и Нина Иванцовы, Радик Юркин и другие.

Туркенич получил отпуск из части, уже выступившей из Краснодона на реку Миус, чтобы проститься с погибшими друзьями.

Валя Борц из-под Каменска добралась домой, и Мария Андреевна направила ее к близким людям в Ворошиловград, где Валя и встретила Красную Армию.

Не было среди живых Сергея Левашова — при переходе линии фронта он был убит.

Погиб и Степа Сафонов. Он находился в той части города Каменска, которая была занята Красной Армией в первую ночь штурма, участвовал в составе одного из подразделений в боях за город и был убит.

Анатолия Ковалева укрыл рабочий на выселках. Могучее тело Ковалева было так иссечено, что представляло собой сплошную рану. Перевязать его не было никакой возможности, его просто обмыли теплой водой и завернули в простыню. Ковалев скрывался у них несколько дней, но опасно было его держать дальше, и он ушел к родне. Он жил в той части Донбасса, которая еще не была освобождена.

Иван Федорович Проценко с отрядом все время двигался впереди отступавших немцев, сражаясь с ними в их непосредственном тылу, пока Красная Армия не заняла Ворошиловград. Только там Иван Федорович впервые встретился с женой Катей после их разлуки под Городищами.

По поручению Ивана Федоровича группа партизан во главе с Корнеем Тихоновичем извлекла из заваленного карьера под станицей Митякинской знаменитый «газик», который стоял себе целехонек, полный бензина, даже с запасным баком, вечный, как время, которое его породило.

На этом «газике» Иван Федорович и Катя поехали в Краснодон, а по пути завезли на побывку к Марфе ее мужа Гордея Корниенко. И здесь им довелось услышать рассказ Марфы о последних днях немцев в ее селе.

За день до того, как село было занято советскими войсками, Марфа в сопровождении того деда, который когда-то вез родню Кошевого и который снабдил Ивана Федоровича своей одеждой, пошли к помещению сельрады, где остановились на время чины немецкой жандармерии и полиции, бежавшей из-за Донца. Много жителей села толклось у сельрады, желая услышать невзначай, чи далеко, чи близко Красная Армия, и просто, чтобы получить удовольствие от вида бегущих фашистов.

Пока они тут стояли, Марфа и дед, примчался на розвальнях еще какой-то полицейский чин. Соскочив с розвальней возле самого деда и оглядевшись безумными глазами, он обратился к деду с торопливым вопросом:

— Где господин начальник?

Дед прищурился и сказал:

— Господин-то господин, а видать, товарищи догоняют?..

Полицейский чин выругался, но он так торопился, что даже не ударил деда.

Немцы, жуя на ходу, выбежали из хаты и вскоре умчались на нескольких санях, только снежная пыль завилась за ними.

А на другой день в село вошла Красная Армия.

Иван Федорович и Катя прибыли в Краснодон почтить память погибших большевиков и «молодогвардейцев».

У Ивана Федоровича были тут и другие дела: надо было возрождать трест «Краснодонуголь», восстанавливать шахты. Кроме того, он хотел лично узнать подробности гибели взрослых подпольщиков и «молодогвардейцев» и узнать, что сталось с их палачами.

Стаценко и Соликовскому удалось бежать со своими хозяевами, но следователь Кулешов был опознан жителями, задержан и предан в руки советского правосудия. И через него стало известно о показаниях Стаховича и какую роль в гибели «Молодой гвардии» сыграли Вырикова и Лядская.

Над могилами павших большевиков и «молодогвардейцев» их товарищи, оставшиеся в живых, дали клятву отомстить за своих друзей. На могилах были сооружены временные памятники — простые деревянные обелиски. На том из них, что воздвигнут над взрослыми подпольщиками, написаны их имена во главе с Филиппом Петровичем Лютиковым и Бараковым, а на гранях обелиска «Молодой гвардии» написаны имена всех ее участников-бойцов, погибших за родину.

Вот они, эти имена:

Олег Кошевой, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Анатолий Попов, Николай Сумской, Владимир Осьмухин, Анатолий Орлов, Сергей Левашов, Степан Сафонов, Виктор Петров, Антонина Елисеенко, Виктор Лукьянченко, Клавдия Ковалева, Майя Пегливанова, Александра Бондарева, Василий Бондарев, Александра Дубровина, Лидия Андросова, Антонина Мащенко, Евгений Мошков, Лилия Иванихина, Антонина Иванихина, Борис Главан, Владимир Рагозин, Евгений Шепелев, Анна Сопова, Владимир Жданов, Василий Пирожок, Семен Остапенко, Геннадий Лукашев, Ангелина Самошина, Нина Минаева, Леонид Дадышев, Александр Шищенко, Анатолий Николаев, Демьян Фомин, Нина Герасимова, Георгий Щербаков, Нина Старцева, Надежда Петля, Владимир Куликов, Евгения Кийкова, Николай Жуков, Владимир Загоруйко, Юрий Виценовский, Михаил Григорьев, Василий Борисов, Нина Кезикова, Антонина Дьяченко, Николай Миронов, Василий Ткачев, Павел Палагута, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин.

1943—45—51 гг.

РОМАН О НАРОДНОМ ПОДВИГЕ

Уже многие годы отделяют нас от героической поры Великой Отечественной войны, а события тех лет по-прежнему не меркнут в памяти людей. Да и можно ли забыть высокую самоотверженность советских патриотов, отстоявших свою Родину и избавивших мир от коричневой чумы! В суровых испытаниях войны с особой силой раскрылись стойкость, отвага, прекрасный духовный облик нового, социалистического человека.

Живым интересом к новому человеку проникнуто все творчество известного советского писателя Александра Фадеева. В «Разгроме» и «Последнем из удэге» он рассказал о рождении этого человека в огне социалистической революции, гражданской войны. В «Молодой гвардии» он запечатлел подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Сильнее фашистских танков и пушек оказались замечательные советские люди с их благородными идеями, беззаветной любовью к Родине, отвагой и бескорыстием. В суровых боях с врагом они, эти люди, продемонстрировали могущество и непобедимость Советского государства, неизмеримое превосходство нашей морали над растленной моралью буржуазного строя.

Вскоре после освобождения Краснодона стали известны факты о действовавшей в городе подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». По просьбе ЦК ВЛКСМ в Краснодон выехал А. Фадеев. Героические подвиги комсомольцев вдохновили его на создание художественного произведения. Уже в 1945 году был напечатан его роман «Молодая гвардия».

Берет в руки читатель книгу А. Фадеева, и перед ним воскресают трудные и доблестные дни антифашистского подполья, как живые поднимаются во весь свой рост юноши и девушки боевого комсомола. Небольшой шахтерский городок, оккупированный гитлеровцами, не покорился врагу; над ним взвивается красное знамя, на тихих его улицах гремят разрывы гранат. Фашистские палачи и их подручные тщат себя надеждой, что город покорился им, а в это время комсомольцы

расклеивают листовки, добывают оружие, казнят предателей. С большой любовью нарисовал писатель образы молодогвардейцев.

Многое их объединяет, этих стойких, самоотверженных бойцов, и все же неповторимо характерен образ каждого. Общительный, жизнелюбивый, внутренне собранный и организованный Олег Кошевой. Озорной, отчаянно смелый Сергей Тюленин. Поразительно пунктуальный Жора Арутюнянц, застенчивый и твердый Ваня Земнухов, живая и темпераментная Люба Шевцова, строгая и сосредоточенная Уля Громова... Кого бы из молодогвардейцев мы ни назвали, в любом из них видны своеобразные черты духовно богатой человеческой личности. А все вместе составляют они орлиное племя, о котором автор романа сказал такими словами:

«Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действенность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение — эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения».

Отличительная черта этого поколения — впитанная с молоком матери горячая преданность социалистической Родине и готовность беззаветно бороться за свободу и счастье народа. Вступая в борьбу, Уля Громова говорила: «Я все думаю, хватит ли силы у меня, имею ли я право вступить на этот путь? И я поняла, что иного пути у меня нет. Да, я могу жить только так, или я не могу жить вовсе. Клянусь, матерью своей, что до последнего дыхания я не сверну с этого пути!»

Прекрасны и дела, и мысли, и чувства тех, кто верен такой клятве. С глубочайшим волнением читаешь об отважных подвигах молодогвардейцев, об их героической гибели. Благородные чувства и побуждения юных борцов за советскую Родину дают наглядное представление не только о наших славных современниках, но и о том, какими должны быть люди коммунистического будущего.

Посвященная героическому подвигу краснодонцев, «Молодая гвардия» воспринимается как правдивая художественная летопись Отечественной войны. В ней нарисованы картины нашего отступления летом 1942 года, боевых действий партизан и частей регулярной Советской Армии. Положительным героям романа противостоят сатирически очерченные фигуры фашистских вояк, предателей. Наряду с образами молодежи автор изобразил и людей старшего поколения. Деятельность «Молодой гвардии» сравнивается писателем с одним из ручейков «широкого движения миллионов людей, стремившихся вернуться к своему естественному состоянию, в каком они находились до прихода немцев».

Правда, в первой редакции романа работа коммунистов-подпольщиков не получила вполне верного освещения. Почти все свое внимание А. Фадеев уделил Шульге и Валько, которые погибли в самые первые дни оккупации, не сумев развернуть подпольную работу. В то время, когда писался роман, еще не были известны материалы о подпольном райкоме партии г. Краснодона, осуществлявшем руководство партизанскими действиями, «Молодой гвардией». Не показав партийного руководства молодежью, А. Фадеев невольно обеднил широкую картину всенародной борьбы, которая вставала со страниц его книги.

В связи с этим роман подвергся существенной критике. Не все в нем было правильно, кое-что высказывалось в излишне резкой форме, но основной упрек в слабом изображении подпольщиков старшего поколения А. Фадеев принял. Переработав роман, он во второе издание (1951 г.) ввел новые главы, углубил некоторые образы, и благодаря этому стала наглядной роль коммунистов как

организаторов и руководителей всего подполья. Важное место заняли в произведении образы Проценко и Лютикова. Филипп Петрович Лютиков — теперь уже не тот «тихий, незаметный старик», о котором кратко сообщалось в первой редакции романа, он секретарь подпольного райкома партии, принимает деятельное участие в создании «Молодой гвардии», заботливо воспитывает и направляет молодежь. Очень рельефным стал во второй редакции и образ Ивана Федоровича Проценко. Он в центре всей большой и многосторонней работы, которую ведут патриоты в те грозные дни. Проценко показан не только умелым организатором, но и обаятельным человеком, пример которого может многому научить наше юношество. С проникновенным лиризмом описаны его отношения с женой: «Чувство жило в них, скрытое, как жар в золе. Оно вдруг вспыхивало в дни жизненных испытаний, общественных потрясений, горя, радости». Как сердечный завет молодежи, звучат слова романа о том, что такая любовь — «это — вечный свет молодости, зов в дальнейший путь, в будущее».

В новой редакции получили углубление и образы молодых героев, они стали еще более естественными и непосредственными. Кстати, жизнь принесла новые факты и о деятельности младшего поколения краснодонцев. В частности, уже после смерти А. Фадеева были уточнены обстоятельства гибели молодогвардейцев.

Как известно, один из фашистских подручных, пойманный вскоре же после освобождения Краснодона, заявил, что молодогвардейцев предал член их штаба Виктор Третьякевич. Только через шестнадцать лет выяснилось: это была подлая клевета, понадобившаяся гитлеровцам для того, чтобы скрыть имя подлинного убийцы, завербованного затем в их разведку. На самом деле Виктор Третьякевич держался мужественно и смело. Он сражался в партизанском отряде, затем по заданию обкома комсомола отправился в Краснодон, стал организатором «Молодой гвардии», ее первым комиссаром. Схваченный гестапо, он не дрогнул, вел себя достойно, а когда его повели на казнь, нашел в себе силы броситься на эсэсовца. Фашисты живым сбросили его в 80-метровый колодец. В декабре 1960 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Виктор Третьякевич был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Выяснилось и имя предателя — им оказался некий Геннадий Почепцов, подлый и мелкий человечишка. Вступив в «Молодую гвардию», он при первой же опасности испугался за свою шкуру и сочинил донос о деятельности организации.

Историческая справедливость восторжествовала. Но некоторые читатели задают вопрос, как теперь рассматривать выведенный в романе образ Стаховича. При этом происходит вольное или невольное отождествление художественного образа с живым человеком, которого такие читатели хотят видеть под именем Стаховича. На самом деле А. Фадеев, следуя в основном фактическим событиям, писал не документальную повесть о Краснодоне, а художественное произведение, не совпадающее дословно со всеми жизненными фактами.

Когда родственники молодогвардейцев обратили внимание на неточность отдельных деталей романа, А. Фадеев объяснил: «Я писал не подлинную историю молодогвардейцев, а роман, который не только допускает, а даже предполагает художественный вымысел. Поэтому ни Вы, ни родные других молодогвардейцев не должны требовать от меня абсолютной точности».

На встрече с читателями писатель заявил: «... Мой роман построен на фактах. Вместе с тем, конечно, это и не история, это часто подлинные факты, и все-таки в них много художественного вымысла. У меня имеются, например, вымышленные герои».

К числу вымышленных персонажей относится и Стахович. Во время встречи А. Фадеева с оставшимися в живых молодогвардейцами один из них спросил писателя, действительно ли Стахович в романе — это Третьякевич в жизни. На этот вопрос А. Фадеев ответил категорически: «Нет».

Автор романа ставил перед собой задачу не писать историю конкретной комсомольской организации, а художественно воссоздать героический подвиг советского народа, нашей доблестной молодежи, раскрыть главные, существенные стороны патриотической борьбы, самый ее дух, источники, порождавшие людей разного склада. Он тщательно отбирал документально-исторический материал, по-своему освещал некоторые факты. Создавая вымышленный образ Стаховича, он попытался вскрыть истоки малодушия человека такого типа: крайний индивидуализм, карьеристские замашки, себялюбие, трусость.

Именно таким путем художественного обобщения, типизации и создаются произведения искусства. Давая широкую панораму борьбы двух сил — социализма и фашизма, А. Фадеев считал необходимым раскрыть, как и откуда брались враждебные, фальшивые люди. Однако в центре его внимания находились прежде всего самоотверженные и бескорыстные борцы за социалистическую Родину. Изображая их дела, думы, чувства, писатель создавал типические образы строителей и защитников нового мира.

Жизнь и деяния молодогвардейцев вырастают в сознании читателей романа до символического обобщения героической деятельности советской молодежи. Это достигнуто благодаря вдохновенному творческому труду писателя, который нашел яркие романтические краски для изображения своих героев как подлинно новых людей.

Хорошо передана в романе сама атмосфера, в которой живут советские люди: душевная открытость, забота друг о друге, крепкая дружба, верная любовь. Роман кончается трагически: молодогвардейцы погибают. Однако это не меняет оптимистического пафоса произведения. Ничто не могло сломить духа патриотов, их идеалы остались непоколебленными, торжествуя над звериными инстинктами современных каннибалов в эсэсовских мундирах.

А. Фадеев одержал творческую победу, поэтически воссоздав размах и целеустремленность народной борьбы, раскрыв богатство и красоту души советского человека. Певец массового героизма, он стремился художественно подчеркнуть в своих героях передовое, положительное, их нравственное величие. В книге органически сочетаются психологическая глубина, революционная романтика, проникновенный лиризм. Необыкновенность обыкновенного — такова сущность фадеевской романтики. В отважных подпольщиках писатель, отнюдь не ставя их на ходули, выявляет «что-то сильное, большое». Патетические описания подвигов, высокий, торжественный строй речи, взволнованные лирические монологи и отступления — все это создает общую героическую тональность книги. Роман «Молодая гвардия» эмоционально заряжает и вдохновляет читателя, пробуждает лучшие струны его души, зовет на большие дела.

Если попытаться двумя словами определить основу героизма, духовной привлекательности молодогвардейцев, нужно сказать об их безграничной верности коммунизму. Верность идеям коммунизма делает их высоким примером для людей доброй воли всех частей света. Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Люба Шевцова, Уля Громова, Виктор Третьякевич, их боевые соратники — это современники нынешних поколений советской молодежи, продолжающей своим трудом борьбу за великое дело коммунизма, во имя торжества которого отдали жизнь юные краснодонцы.

В. ОЗЕРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Книга печатается по изданию
издательства «Правда» 1965 года.

А. ФАДЕЕВ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Редактор *Л. Файзуллина*

Оформление художников *Н. Хантимирова, В. Щеглова, Г. Фишер*

Технический редактор *З. Ибрагимова*

Корректоры *Г. Харисова, В. Юневич*

Сдано в набор 28/VIII-65 г. Подписано в печать 20/IX-65 г. Формат бумаги $60 \times 90^1/_{16}$. Учетн.-изд. листов 35,82+вкл. 0,12. Печатн. листов 36,5+вкл. 0,13. Зак. Л-1125. Цена без переплета 1 рубл. 07 коп., переплет 15 коп., вкл. 1 коп. 120 000 экз.

Комбинат печати имени Камиля Якуба Управления по печати при Совете Министров ТАССР. Казань, Баумана, 19, 1965 г.

1 руб. 23 коп.

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1966

А. Фадеев

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ